

РАВНИНА РУССКАЯ

**Елизавета
Кузьмина-
Караваева**

Елизавета Кузьмина-Караваева
Мать Мария

Мать Мария

РАВНИНА

РУССКАЯ





Санкт-Петербург «ИСКУССТВО-СПБ» 2001



Елизавета Юрьевна Пиленко (Кузьмина-Караваева). 1909



Что же с нашими душами станется
Пред священной Господнею Чашею?

**Елизавета
Кузьмина-
Караваева**

Мать Мария

Стихотворения и поэмы. Пьесы-мистерии.
Художественная и автобиографическая проза. Письма

**РАВНИНА
РУССКАЯ**

ББК 84
УДК 821.161.1
К89

Федеральная программа книгоиздания России

Составитель, автор вступительной статьи и примечаний
А. Н. Шустов

Художник Е. А. Поликашин

Редактор тома Н. Г. Николаюк

В оформлении использованы графические работы Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, фотографии мастерской Карла Буллы (Центральный гос. архив кинофотофонодокументов, Санкт-Петербург).

В книге собрано воедино литературное наследие нашей выдающейся соотечественницы — Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой. Кровно связанная с культурой «серебряного века», входившая в круг известных поэтов (А. Блок, Вяч. Иванов, Н. Гумилев) и философов (Н. Лосский, Н. Бердяев, С. Булгаков), она оказалась «человеком на все времена». Революции, гражданская война, эмигрантские скитания, нищая жизнь в Париже, монашеское служение «загнанным и забитым», участие в Сопротивлении, Равенсбрюк и «огнепальный конец» стали ее судьбой. Эти «хождения по мукам» запечатлены в поэзии и прозе Кузьминой-Караваевой в их сокровенном значении.

Многое в этом томе станет открытием для читателя: неизвестные до последнего времени книга стихов «Дорога» и письма С. Булгакову, поэма «Похвала труду» и пьесы-мистерии «Семь чаш» и «Солдаты», философская повесть «Юрали», изданные в Париже в 1920-х гг. повести «Равнина русская» и «Клим Семенович Барынькин». Таким образом, перед читателем впервые предстанет весь объем произведений Кузьминой-Караваевой, дающий представление о ее подлинном духовном масштабе и уникальности ее таланта. Все написанное — единый текст, непрерывный диалог с Создателем о мире, им созданном, и о путях человека в этом мире, о тайне смерти и воскресения. «...Это уже не поэзия — это кровь, это сердце, это дух», — сказал о ее стихах писатель В. Лугин.

Настоящее издание — первое текстологически выверенное, содержащее подробный комментарий, который, вместе со вступительной статьей, раскрывает многие исторические и биографические реалии произведений. Своего рода комментарием являются также иллюстрации, среди которых — редкие фотодокументы.

Книга предназначена как для специалистов — филологов, историков культуры, так и для любителей русской поэзии, для всех, кто ищет в литературе духовную опору.

© Издательство «Искусство—СПБ», 2001 г.

© А. Н. Шустов, составление, вступительная статья, примечания, 2001 г.

ISBN 5-210-01541-6

© Е. А. Поликашин, оформление, 2001 г.

Сила веры и сила слова

...Личность определяется тем, как она вкладывается в свое жизненное дело, в свой жизненный подвиг. Если ее подход к любому делу есть подход творческий и живой, если она может своим прикосновением оживить и одухотворить любую мертвую материю, к которой она прикасается, любой мертвый и механический процесс, то она есть подлинная и живая творческая личность.

*Мать Мария «Размышления
о судьбах Европы и Азии»*

Лиза Пиленко (девичья фамилия м. Марии) родилась в Риге 8 (20) декабря 1891 года в семье юриста Ю. Д. Пиленко. Раннее детство ее ничем не было омрачено: девочка росла окруженной любовью и заботой. В 1895 году отец Лизы вышел в отставку и уехал с семьей в Анапу. С тех пор она полюбила этот южный городок и всю жизнь считала его своей родиной.

На юге Ю. Д. Пиленко продолжил дело своего покойного отца и за успехи в виноградарстве в мае 1905 года был назначен директором Никитского ботанического сада и училища виноделия. Семья переехала в Ялту. Там Лиза окончила 4-й класс гимназии с наградой 2-й степени и там же пережила революцию 1905 года. Своё отношение к ней она позже охарактеризовала следующим образом: «Долой царя? Я на это легко соглашалась. Республика? Власть народа? — тоже, все выходило гладко и ловко <...> В общем вся эта суетливо-восторженная и героическая революция была очень приемлема, так же, как и социализм, не вызывая никаких возражений, а борьба, риск,

опасность, конспирация, подвиг, героизм — просто даже привлекали».

Весной 1906 года Ю. Д. Пиленко был переведен на службу в Петербург, но выехать к месту своего нового назначения не успел. В июне он скоропостижно скончался в Анапе. Эта трагедия потрясла Лизу; она потеряла веру в Бога: «Эта смерть никому не нужна. Она несправедливость. Значит, нет справедливости. А если нет справедливости, то нет и справедливого Бога. Если же нет справедливого Бога, то, значит, и вообще Бога нет».

Осенью 1906 года вдова Ю. Д. Пиленко с двумя детьми (у Лизы был брат двумя годами младше ее) приехала в Петербург. Девочку определили на учебу в частную гимназию Л. С. Таганцевой, где она проучилась два года (5-й и 6-й классы). Ей трудно было привыкать к Петербургу с его короткими зимними днями, жить в окружении чужих и, казалось, равнодушных людей. Она частенько пропускала уроки, убегая на пустыри, на городские окраины. Но с несколькими гимназистками-одноклассницами Е. Пиленко сблизилась. Это была духовно спаянная группа, объединившаяся в конспиративный кружок по изучению марксизма¹. К нему примкнула и Лиза. Все помыслы ее в ту пору занимала «Эрфуртская программа» германских социал-демократов. О том, как относилась к ней тогдашняя молодежь, свидетельствовал О. Мандельштам: «Эрфуртская программа, марксистские Пропилеи... мне и другим дала ощущение жизни в предысторические годы, когда мысль жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу нужнее всего красная кровь аорты»².

По разным причинам продолжать учебу в таганцевской гимназии Лиза не стала и осенью 1908 года перешла в гимназию М. Н. Стоюниной. Седьмой класс она закончила весной 1909 года с серебряной медалью и поступила на высшие Бестужевские курсы. Видимо по совету родных, она подала прошение на юридический факультет, дабы продолжить семейную традицию. Однако вскоре передумала и избрала философское отделение историко-филологического факультета.

Училась Елизавета Пиленко с большой охотой, принимала деятельное участие в просеминарских занятиях по философии у С. Л. Франка и Н. О. Лосского и одновременно слушала лекции по философии права у юриста профессора Л. И. Петражицкого. Работала она много: ее фамилия — в числе лучших слушательниц в отчете о научно-учебной работе и жизни факультета за 1909/10 учебный год.

В апреле 1910 года Елизавета Пиленко вышла замуж за помощника присяжного поверенного Д. В. Кузьмина-Караваева³. Кузьмин-Караваев был дружен со многими столичными поэтами, и вместе с мужем молодая женщина стала часто посещать

¹ См.: *Эйгер-Мошкова Ю. Я.* Надеждой бились юные сердца // Ленинградская панорама. 1990. № 11. С. 33—35.

² *Мандельштам О.* Шум времени. Л., 1925. С. 56.

³ Подробнее см.: *Шустов А. Н.* Повенчана с дворянином Кузьминым-Караваевым // Тверская старина. 1992. № 1. С. 70—75.

знаменитую «башню» Вяч. Иванова. Через него Елизавета Юрьевна в декабре 1910 года вторично знакомится с Блоком¹. Когда же в 1911 г. Гумилев и Городецкий создали акмеистический «Цех поэтов», Д. Кузьмин-Караваев стал его третьим «синдиком», а его жена — активной участницей «цеховых» заседаний, многие из которых проходили у нее на квартире. В «Цехе» Кузьмина-Караваева близко общалась с А. Ахматовой, М. Лозинским, О. Мандельштамом, М. Моравской... Бывала она и в других литературных «очагах» столицы: кабачке «Бродячая собака», ресторане «Вена», не пропускала религиозно-философские собрания.

Бестужевские курсы были оставлены, и весной 1912 года в «Цехе поэтов» вышел сборник стихов Кузьминой-Караваевой «Скифские черепки». В первой скромной книжке поэтесса замахнулась на необычную (да и непосильную) задачу: открыть дверь в заповедную прародину славян, создать некую скифскую мифологию.

Сборник встретил на удивление большое количество откликов², в основном умеренно-положительных. Имя поэтессы получило известность в литературном мире, ее ставили в один ряд с начинающими А. Ахматовой и М. Цветаевой. От нее ждали «продолжения». Гумилев пророчески писал в своей краткой рецензии: «Я думаю, что эти черепки имеют много шансов слиться в полный сосуд, хранящий драгоценное миро поэзии, но вряд ли это случится очень скоро и так, как думает автор...»³

Но «продолжения» не последовало. Мирок кружков, салонов, и ранее не затрагивавший душу Кузьминой-Караваевой, становится ей окончательно неинтересен. Она и к поэзии охладевает. Подобно Блоку, поэтесса считает участников столичной эстетической элиты «умирающими», а позже образно назовет их «последними римлянами». Чтобы атмосфера распада и гибели окончательно ее не отравила, она решает бежать «к земле», то есть в свою любимую Анапу, к морю и виноградникам.

Но уже осенью 1913 года Елизавета Юрьевна неожиданно приезжает в Москву. Там она встречает своих старых знакомых: Вяч. Иванова, А. Н. Толстого, С. И. Дымшиц. В «обормотнике» у матери поэта М. Волошина она общается со многими известными литераторами и художниками. Именно в это время она задумала издать вторую книгу стихов — «Дорога» и выслала рукопись ее в Петербург на просмотр Блоку. Тот быстро вернул рукопись со своими замечаниями на полях⁴, но книга уже перестала интересовать Кузьмину-Караваеву: все заслонило чувство глубокой любви к Блоку. Начинается длительный пери-

¹ Об их первой встрече см.: Шустов А. Н. «Письмо» или посвящение? // Русская литература. 1999. № 4. С. 138—140.

² Шустов А. Н. Библиографический указатель литературных, философских, публицистических и художественных произведений Е. Ю. Кузьминой-Караваевой (матери Марии). Томск, 1994.

³ Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 144.

⁴ См.: Шустов А. Н. Неизданная книга Е. Ю. Кузьминой-Караваевой с редакторскими замечаниями Блока // Труды Гос. музея истории С.-Петербурга. СПб., 1999. Вып. 4. С. 130—138.

од их нелегких личных отношений¹, многое изменивших во взглядах Елизаветы Юрьевны на мир, на поэзию, на предназначение искусства. Для нее наступило время душевного разлада, которое сама она называла «перепутьем»: «...у меня всю эту зиму — *перепутье...*» (из письма Блоку от 15 февраля 1914 года). Аналогично и в стихотворении тех лет:

Я не хотела перепутья,
Устала без дорог блуждать.

Начавшаяся мировая война все резко изменила. «Почувствовался, — писала Кузьмина-Караваева позже, — непомерный сдвиг в общерусской жизни». У молодой женщины усиливается тяга к религии, к поиску смысла и цели жизни. В 1915 году она издает философскую повесть «Юрали», стилизованную под Евангелия. Герой ее — странник, мыслитель, взыскующий истины и обретающий ее в действенной любви к людям: «Отныне я буду нести и грех, и покаяние, потому что сильны плечи мои и не согнутся под мукой этой». Юрали «расточал душу свою всем», «расколол сердце свое на куски, растопил любовь свою» на многих грешников. «Юрали» был книгой исканий, и искания здесь «преобладали над решениями»².

Как свидетельствовала мать поэтессы, в 1914 году та писала ей: «Покупаю толстую свинцовую трубку, довольно тяжелую. Расплющиваю ее молотком. Ношу под платьем, как пояс. Все это, чтобы стяжать Христа, вынудить Его открыться, помочь, нет, просто дать знать, что Он есть. <...> Для народа нужен только Христос, — я это знаю»³. В этот же период Кузьмина-Караваева экстерном сдает экзамены профессорам Петербургской Духовной академии.

В 1916 году она выпускает вторую поэтическую книгу — «Руфь», в которую вошли многие стихи из неопубликованной «Дороги». «Руфь» резко отличается от «Скифских черепков»: основной мотив стихотворений — разочарованность в жизни, усталость, безнадежность. Эти мысли навеяны как общими настроениями растерявшейся русской интеллигенции, так и личными переживаниями автора: развод с мужем, рождение и болезни дочери, неразделенная любовь к Блоку.

В целом можно согласиться с мнением Д. Е. Максимова, что «Руфь» — «книга аскетическая, однотонная, но в своей однострунности, самоограниченности не лишенная своеобразной выразительности и душевной энергии»⁴.

«Руфь» — книга мятущейся души. Характерно в этом отношении ее вводное стихотворение. В отличие от библейской мавитянки Руфи, ставшей верной женой Воозу и оставшейся в его доме, героиня Кузьминой-Караваевой предпочитает жить

¹ См.: Шустов А. Н. Блок в жизни и творчестве Е. Ю. Кузьминой-Караваевой // Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1991. С. 125—141.

² Максимов Д. Е. Воспоминания о Блоке Е. Ю. Кузьминой-Караваевой // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1968. Вып. 209. С. 259.

³ Мать Мария. Стихи. Париж, 1949. С. 11.

⁴ Максимов Д. Е. Цит. соч. С. 259.

подаянием «на равнинах чужих деревень»; она постоянно в дороге, в пути:

И ушла через синий туман
Далеко от равнины Вооза;
И идет средь неведомых стран,
Завернувшись в платок от мороза.

Книга Кузьминой-Караваевой удостоилась лишь одной рецензии — С. Городецкого, бывшего наставником Елизаветы Юрьевны по «Цеху поэтов» и благословившего в свое время ее «Скифские черепки» (он автор рисунка обложки): «После книги „Руфь“ о Кузьминой-Караваевой можно говорить как о вполне определившемся работнике на черноземе поэзии. Она вся близка земле, природе, глубоким и темным ее силам. <...> Нельзя сказать, чтобы книга „Руфь“ была легка для чтения. В ее образах много бывает стихийной грузности, земной тяги. Пытливая мысль часто идет путями извилистыми и дальними. Любители „легкого“ чтения, иначе говоря — книгоглотатели, не берите этой книги. Но все, кого беспокоит, тревожит и волнует психическая жизнь современной женщины, заблудившейся в противоречиях между свободным чувством и лицемерным бытом, все, для кого жизнь человеческая не кончается с последним ударом молотка в последний гвоздь, забиваемый в крышку гроба, найдут в стихах „Руфи“ немало откликов и отзвуков на свои думы»¹.

В этот же период (вплоть до 1917 года) Кузьмина-Караваева работает над большой поэмой. Это вольная импровизация, в основе которой — роман Ч. Р. Метьюрина «Мельмот Скиталец», повествующий о любви таинственного, демоноподобного Мельмота к прекрасной островитянке. В поэме герой не столько жестокий мучитель, продавший душу дьяволу, сколько уставший от долгих скитаний, отчаявшийся человек.

Мне блага не надо;
Я согласна нести твой грех.
Благословенна отрада
Пасть за любовь ниже всех.
В любви мне сияет награда.
<...>
На весы бросаю с радостною грустью
Я судьбу мою, беру твою судьбу...

Мельмот спасен — душа его находит вечный покой на небе. Тема жертвенности, звучавшая в повести «Юрали», в поэме о Мельмоте получает дальнейшее развитие.

В своей лирической части поэма во многом автобиографична. Мысль об обмене душами Елизавета Юрьевна высказала и в письме Блоку (от 26 июля 1916 года): «Только одного хочу: Вы должны вспомнить, когда это будет нужно, обо мне; прямо займы взять мою душу».

¹ Кавказское слово. (Тифлис). 1917. 21 июля.

Подводя краткий итог дореволюционному поэтическому творчеству Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, следует отметить, что в поэзии она проявила себя как самобытный лирик, имеющий свой особый поэтический голос. Да и в «материи» стиха — их речевом строе, рифмах, лексике, ритмике — ощутимо перво-родство.

Вместе с тем в стихах Кузьминой-Караваевой можно встретить темы и образы, родственные поэзии современников.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть «земляные» истоки в поэзии Кузьминой-Караваевой, тот самый «чернозем», о котором говорил Городецкий. Вяч. Иванов, которого Елизавета Юрьевна лично хорошо знала и ценила как поэта и мыслителя, считал, что человек прежде всего должен почувствовать себя первенцем Матери-Земли. Только ощутив себя таковым, уподобившись древнему «простому» человеку, поэту можно подняться на новые высоты. Подобное «опрошение» было созвучно Кузьминой-Караваевой.

Поэтесса не могла согласиться с уничижительными оценками Земли, которые проскальзывали у некоторых ее современников¹. Полемизируя с ними, она и в «Дороге», и в «Руфи» создала поэтически возвышенный облик Земли:

Питая всех деревьев корни,
Лелея зерна средь полей,
О, мать, ты солнца чудотворней,
И звезд пылающих мудрей.

<...>

И каждый раз, в свершенья круг вступая,
Я буду помнить о тебе, земля.

<...>

И земля, но не планета,
А земной единый мир, —
В синий плащ небес одета,
Будет править долгий пир.

Творческая мысль поэтессы шла дальше: если все живое — это дети единой Матери-Земли, то, значит, растения, животные и люди — *братья и сестры*:

...куда тропа земная
Не вела б меня теперь, —
Я сынам земным родная,
Брат мне — каждый дикий зверь.

И в более позднем стихотворении:

Мне, кажется, трава сродни
И старый дуб — мой милый пращур.

¹ Например, у поэта И. Филипченко: «Земля, Земля, / Комок сгущенной грязи, / Средь золотых нулей — ты вид нуля».

В. Брюсов также считал себя «землянином». Но он мечтал (хотя бы в стихах) вырваться за пределы Галактики. Умозрительный «космизм» был чужд Кузьминой-Караваевой, она осталась с теми, кто, подобно ей, ощущал свою корневую, родственную связь с Землей, со всем ее «населением»: И. Коневским, А. Добролюбовым, Л. Зиновьевой-Аннибал и другими. В одной из помет на рукописи «Дороги» Блок писал Елизавете Юрьевне: «Зверей Вы любите, и я тоже».

Тема Земли (земли) найдет свое дальнейшее развитие в творчестве поэтессы в 1930-е годы.

Несколько слов следует сказать о «символизме» Кузьминой-Караваевой. Если подлинные символисты увлекались метафизической стороной символов, то в ее поэзии символ равнозначен метафоре. Наиболее часто встречающиеся у нее образы — *огонь, пламя, костер, горение, пожар, крылатость, корабль, крест...* Они характерны и для многих ее современников: «огнепоклонниками» были З. Гиппиус и Блок, вся книга Вяч. Иванова «*Cor Ardens*» пронизана образами солнца, огня, костров и т. п. Не говоря уже о «солнечном» Бальмонте. Этот символ-метафора был очень устойчивым у Елизаветы Юрьевны и заключал в себе не общее понятие, но осязаемую реальность — в 1930-е годы она создает пророческое стихотворение о своем «огнепальном» конце...

Однако следует подчеркнуть, что в целом переключки со своими современниками у Кузьминой-Караваевой незначительны.

* * *

Февральскую революцию 1917 года в Петрограде Кузьмина-Караваева приняла со свойственным ей энтузиазмом. Уже в марте она вступила в партию эсеров. Выбор был продиктован ее социальным положением (садовладелица и винодел) и мировоззрением (неонародничество). Какую-то роль, возможно, сыграло и то обстоятельство, что эсерам симпатизировал Блок.

Лето и осень 1917 года Кузьмина-Караваева провела в Анапе. 15 февраля (н. ст.) 1918 года Елизавета Юрьевна была избрана городским головой. Пребывание женщины на «мужском» посту рассматривалось многими как прямое следствие революции. Октябрьские события 1917 года докатились до юга с опозданием: большевики взяли власть в Анапе в феврале 1918 года. Они прибыли из соседнего Новороссийска; частично их ряды пополнились за счет солдат-дезертиров. Вскоре был организован городской Совет; дума (и управа) ликвидированы, и многие депутаты механически стали «комиссарами». Кузьмина-Караваева не разделяла большевистской идеологии, но *поневоле* согласилась принять должность комиссара по здравоохранению и народному образованию, поскольку считала, что сумеет защитить население от большевистских эксцессов. Эта роль «буфера» ей вполне удалась, хотя и потребовала больших нервных затрат.

В мае 1918 года Е. Ю. Кузьмина-Караваева участвовала в работе 8-го съезда партии правых эсеров в Москве и осталась в столице на подпольной антибольшевистской работе по организации белого Восточного фронта.

Осенью 1918 года, «после полугода риска и конспираций», она пересекла линию фронта и вернулась в Анапу, где вскоре была арестована деникинской контрразведкой. Ей грозила смертная казнь за «комиссарство», за содействие национализации анапских санаториев и винных подвалов акционерного общества «Латипак». 15 марта 1919 года дело Кузьминой-Караваевой рассматривал краевой военно-окружной суд в Екатеринодаре. Благодаря хорошо организованной защите подсудимая получила лишь две недели ареста «при тюрьме».

Помимо профессиональных адвокатов в защиту поэтессы с открытым письмом выступили писатели, жившие тогда в Одессе: «Невозможно подумать, что даже в пылу гражданской войны сторона государственного порядка (так авторы дипломатично назвали белую власть Юга. — А. Ш.) способна решиться на истребление русских духовных ценностей, особенно такого веса и подлинности, как Кузьмина-Караваева»¹. Текст письма (и всю защитную кампанию из Одессы) подготовил М. А. Волошин. Подписали его А. Толстой, В. Инбер, Л. Гроссман, Н. Краңдиевская, Н. Тэффи и другие.

Летом 1919 года Елизавета Юрьевна вышла замуж за видного кубанского казачьего деятеля, бывшего некоторое время председателем Краевой Рады, Д. Е. Скобцова. Весной 1920 года белое движение на Кубани потерпело полное поражение, и Скобцовы были вынуждены эмигрировать. Путь Е. Ю. Скобцовой лежал через Новороссийск в Грузию. В Тифлисе у нее родился сын Юрий, и спустя некоторое время семья двинулась через Батум в Константинополь. Далее — сожженный зноем Лемнос, Сербия...

Три года революций и гражданской войны, насыщенные кровью, пожарами, разрухой, на многое раскрыли глаза Е. Ю. Скобцовой. Она поняла, что пути к освобождению родины, предлагаемые, в частности, правыми эсерами, бесперспективны, как и все белое дело: «Стало ясным, что... вооруженная борьба оказалась несостоятельной». Отреклась она и от террористических методов борьбы. В целом же, подводя жизненные итоги незадолго до ареста гестапо, она имела все основания сказать о себе:

Копала землю и стихи писала.
С моим народом вместе шла на бунт,
В восстании всеобщем восставала.

В январе 1924 года семья Скобцовых обосновалась в Париже. К этому времени у Елизаветы Юрьевны на руках было трое детей (младшая дочь Анастасия родилась в 1922 году) и пожилая мать. Началось их полуголодное нищенское существование — удел многих русских эмигрантов той поры.

Однако Е. Ю. Скобцова, наряду с заботами о хлебе насущном, проявляет большую творческую активность. В 1924—1925 годах в парижском и пражском журналах она публикует две «хроникальные» повести о смутных 1917—1919 годах в Рос-

¹ Одесский листок. 1919. 11 (24) марта.

сии. В них немало реальных исторических событий, и некоторые страницы читаются как своеобразные дневниковые записи. Собственных приключений и, главное, переживаний Скобцовой хватило для многих персонажей. Показателен финал «Равнины русской». Елизавета Юрьевна оставляет свою героиню в России, избрав ей долю странницы-богомолки. Это продолжение авторской темы странничества и бездомности, заявленной еще в «Дороге», «Руфи» и «Юрали». И сама м. Мария мечтала как-нибудь вернуться на родину и странствовать по святым местам.

В 1920-х годах выходят в свет и другие ее автобиографические произведения: «Друг моего детства» — о дружбе с К. П. Победоносцевым; «Последние римляне» — о предреволюционном «гибельном» периоде русской литературы и ее представителях, наиболее подробно — о Гумилеве и Вяч. Иванове. Интересен и мемуарный очерк «Как я была городским головой» (1925), который ценен как объективный исторический документ.

О поэтическом творчестве Скобцовой той поры (первая половина 20-х годов) доподлинно ничего не известно. Скорее всего, стихов она тогда не писала, очень уж неподходящее было для них время.

В марте 1926 года у Скобцовых умерла младшая дочь Анастасия. Мать была убита горем. Позже, при перенесении праха дочери на другой участок кладбища, Елизавета Юрьевна сказала: «Мне открылось другое, какое-то особое, широкое-широкое, всеобъемлющее материнство... Я вернулась с кладбища другим человеком, я увидела перед собой новую дорогу и новый смысл жизни...» Эту «новую дорогу» она видела в служении людям во имя Бога.

В 1927 году в Париже вышли две небольшие брошюры, которые Скобцова символически назвала «Жатва духа». По существу, это жития святых, особо почитаемых Елизаветой Юрьевной, тех подвижников, что не уединялись в пещерах и монастырских кельях, а под видом смиренных и убогих служили людям. Они готовы были отдать все ради спасения ближнего. Г. П. Федотов отметил, что автор «Жатвы духа» примыкает к таким писателям, обращавшимся к аналогичному жанру, как Н. С. Лесков, М. А. Кузмин, А. М. Ремизов. Показательно, что она «не взяла ни одной мученической и ни одной аскетической легенды. <...> Ее восемь сказаний являются находкой, плодом определенных поисков»¹.

В 1927 году в Париж из Чехии переместился центр Русского Студенческого Христианского Движения. Е. Ю. Скобцова прикнула к нему и вскоре стала в нем разъездным секретарем. В ее задачу входили поездки по «русской Франции», общение и беседы с простыми людьми. Она старалась всячески поддерживать упавших духом, вселять в них надежду, показывать им, что они не одиноки, по мере сил своих помогать. Задача была не из легких. Но у Елизаветы Юрьевны был твердый характер и прирожденный дар пропагандиста.

¹ Современные записки. Париж. 1928. № 35. С. 554—555.

Следствием этой работы стали опубликованные в парижских газетах заметки о положении русских апатридов. А вскоре Е. Ю. Скобцова вернулась к стихам. Во многих из них нашли отражение подмеченные ею в поездках детали быта:

Лица женские одутловаты, —
Непригляден и тосклив разврат,
Облака, как клочья грязной ваты,
Улицы — дороги в черный ад.
Негры бродят в синих, грязных блузах...
<...>

Номер стопятидесятый
В городе Марселе, в морге.
От судьбы не спас проклятой
Воин воинов Георгий.
<...>

Вольно льется на рассвете ветер.
За стеклом плуги с сноповязалкой.
Сумрак. Римский дом. С ногою-палкой
Сторож бродит в бархатном берете.

Но не эти темы стали для нее главными...

* * *

Общественная деятельность, казалось бы, не оставляла времени ни на что другое, и все же Е. Ю. Скобцова успевает заочно окончить Сергиевский Богословский институт в Париже, где кафедру догматического богословия возглавлял о. Сергей Булгаков. Духовное влияние его на Елизавету Юрьевну было настолько значительным, что позже она с полным основанием назвала его своим духовным отцом.

Е. Ю. Скобцова решает принять монашеский постриг, чтобы целиком отдаться благотворительной социальной работе. Никакой православной монашеской традиции, тем более монастырей, во Франции не было, но это ее не смущало. Глава русской зарубежной церкви митрополит Евлогий дал супругам Скобцовым церковный развод (де-юре они оставались мужем и женой до конца дней своих). 16 марта 1932 года в храме Сергиевского подворья в Париже владыка Евлогий совершил обряд пострижения. Елизавета Скобцова получила новое имя — Мария, в честь святой Марии Египетской. Сама она так описала свое состояние:

В рубаху белую одета...
О, внутренний мой человек.
Сейчас еще Елизавета,
А завтра буду — имярек.
<...>
Отменили мое отчество
И другое имя дали.
Так я стала Божьей дочерью.

Вскоре после пострига м. Мария ехала в поезде вместе с митрополитом Евлогием. Обратив ее внимание на простор

полей за окнами, он сказал: «Вот вам монастырь, мать Мария». Как свидетельствовала Ю. Н. Рейтлингер, присутствовавшая на постриге, Евлогий тогда же благословил ее; он «думал о том, что как Мария Египет<ская> ушла в пустыню к зверям, так она идет в своем монашестве в мир к людям, с которыми часто труднее, чем со зверями»¹.

Таким образом, по благословению о. Сергия Булгакова и наставлению владыки Евлогия м. Мария избрала нетрадиционный путь — *монашество в миру*. Поступок Елизаветы Юрьевны у многих соотечественников вызвал недоумение. Она же, не обращая на это внимания, еще активнее включилась в христианско-социальную работу. В основу своей деятельности монахиня Мария положила вторую евангельскую заповедь о любви к ближнему: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:13)². И от этой заповеди она никогда не отступала. В 1930-е годы монахиня Мария написала и опубликовала большое количество религиозно-философских статей. В них ощущается ее горячее сердце, наполненное этой большой любовью. Вот некоторые из ее высказываний, взятые на выборку:

Христианская любовь учит нас давать брату не только гары духовные, но и гары матерьяльные. Мы должны дать ему и нашу последнюю рубашку, и наш последний кусок хлеба. Тут одинаково оправданы и нужны как личное милосердие, так и самая широкая социальная работа.

(Вторая евангельская заповедь)

Душевность, которая отгораживает человека от внешнего мира и ограничивает его областью собственных переживаний, сосредоточивает на внимательном слежении за малейшими движениями собственной души, — недолжная душевность. Душевность, которая позволяет человеку ближе и внимательнее подойти к другому, которая раскрывает ему внутренние причины и мотивы поведения другой души, которая создает мост между ним и его ближним, — это должная душевность.

(Вторая евангельская заповедь)

Во время «катастроф и общего шатания» малодушный человек стремится спрятаться, укрыться; ему кажется, что если он будет помнить только о Боге, то «избавится от всех напастей и останется чист во время всеобщего осквернения». Такому человеку надо неустанно повторять себе слова Иоанна Богослова о лицемерах, которые говорят, что любят Бога, не любя человека. Как они могут любить Бога, которого не видят, и ненавидеть брата своего, который около них?

(Вторая евангельская заповедь)

Я знаю, что нет ничего лицемернее, чем отказ от борьбы за сносное матерьяльное существование обездоленных под предлогом, что перед вечностью их матерьяльные беды ничего не значат.

(Прозрение в войне)

¹ Реализм святости. СПб., 2000. С. 91.

² Подробнее об этом см. в сб. «Реализм святости».

Конечно, подобные мысли (а ими пронизаны все доклады и статьи м. Марии) не всегда совпадали со взглядами церковных ортодоксов.

М. Мария призналась как-то: «Я не анализирую своих отношений к людям, но одно сознаю ясно: мне свойственно чувство жалости». Она была не добренькой благодетельницей, подающей пятак (или франк) нищему, но матерью отчаявшихся и потерявших веру, оказавшихся на дне. Она не знала границ в добротворчестве, рассматривая свою жизнь как монашеское послушание. Материально обеспеченные эмигранты не понимали м. Марию, часто подтрунивали над ней, а порой и откровенно издевались. Позже она призналась:

Я много вижу. Я везде бывала.
Я знаю честь, я знаю и плевки,
И клеветы губительное жало,
И шепот, и враждебные кивки.

Но обездоленными постоянная, поистине материнская забота о них воспринималась с сердечной благодарностью. Хорошо знавшая монахиню Марию критик Т. А. Манухина писала: «Елизавета Юрьевна легко стала именоваться матерью Марией... стадия ее духовного роста отмечена мелким, но характерным знаком: ее окружение — друзья и родные, а потом случалось даже чужие, которые знали ее или имели с нею дело, — начинают именовать ее не „мать Мария“, а просто „Мать“ <...> Это наименование все чаще и чаще раздается в стенах общежития и в разговорах об [его] основательнице»¹.

И в стихах той поры у м. Марии звучит эта материнская тема:

Ты дал мне право, — говорю, как мать,
И на себя приемлю их соблазны.
<...>
Подарила мне покров свой синий Матерь,
Чтоб была я и на этом свете матерь.
<...>
Каждая царапинка и ранка
В мире говорит мне, что я мать.
<...>
...я не отдам врагу (дьяволу. — А. Ш.)
Не только человека, даже камня.

У м. Марии при полном отсутствии средств были поистине грандиозные социальные планы. И самое поразительное то, что она их воплощала в жизнь. Прежде всего, на удивление окружающим, она смогла открыть женский пансионат на улице Сакс. Не прошло и года, как помещение стало тесным, и м. Мария сняла новое — на улице Лурмель, 77. За ним последовал дом для выздоравливающих в Нуази-ле-Гран под Парижем и ряд других заведений. В своих пансионатах (общежи-

¹ Манухина Т. А. Монахиня Мария // Кузьмина-Караваева Е. Избранное. М., 1991. С. 419, 427.

тяж) большую часть работы она делала сама: ходила на рынок, убирала, готовила пищу, расписывала домовые церкви, вышивала для них иконы и плащаницы.

Трудилась она до полного изнеможения. Критик К. В. Мочульский, друживший с м. Марией, писал о ней: «...она не признает законов природы, не понимает, что такое холод, по суткам может не есть, отрицает болезнь и усталость, любит опасность, не знает страха и ненавидит всяческий комфорт — материальный и духовный»¹.

В 1935 году по инициативе м. Марии создается общество «Православное дело» и ее выбирают председателем. Социальной работы, естественно, прибавилось, а «кивки» и «плевки» не прекращались, хотя с ее мнением многие считались и дорожили им. Но той миссии, на которую рассчитывал при ее постриге митрополит Евлогий, она все же не исполнила: м. Мария — «поэтесса, журналистка, в прошлом член партии социал<истов>-революционеров. Необычайная энергия, свободолюбивая широта взглядов, дар инициативы и властность — характерные черты ее натуры. Ни левых политических симпатий, ни демагогической (руководящей. — А. Ш.) склонности влиять на людей она в монашестве не изжила. Собрания, речи, диспуты, свободное общение с толпой — стихия, в которую она чувствует потребность хоть изредка погружаться, дабы не увянуть душою в суетной и ответственной административной работе...»².

Загруженная до предела человеческих возможностей, м. Мария тем не менее много выступает с докладами и беседами. Темы этих докладов говорят сами за себя: «Православное служение в миру», «Христианский активизм», «О любви к человеку», «За что мы несем ответственность?», «Что делать?», «Личное покаяние» и т. д. и т. п. М. Мария любила живой обмен мнениями, споры. Об одном из докладчиков на съезде РСХД она обмолвилась: «Ему нельзя возразить, и это плохо» (а докладчиком был сам председатель Движения В. В. Зеньковский). И в докладах, и в религиозной публицистике (зачастую это переработанные доклады) она высказывала порой весьма спорные с точки зрения ортодоксальных богословов идеи. Многие из них и сегодня принимаются далеко не всеми.

М. Мария была истинным патриотом, Россия для нее — Святая Русь, земля обетованная, родной Ханаан. Об истории России, ее культуре она говорила и в своих докладах. В эмиграции все тогда клялись в любви к России, но у каждого она была своя, что приводило порой к острейшим разногласиям, не говоря уже о глубоком рве, отделившем эмиграцию от родины. М. Мария была в числе тех немногих, кто стремился его «закопать»: «Левые (группа Пянова и м. Марии — последователей и учеников Бердяева) обвиняют правых в непонимании со-

¹ Мочульский К. В. Монахиня Мария (Скобцова) // Третий час. (Нью-Йорк). 1946. № 1. С. 67.

² Путь моей жизни. Воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского). М., 1994. С. 494.

ветской действительности, „нового советского человека“, в нежелании примириться с советским отечеством и закапывать ров между прошлым и настоящим»¹.

Сфера общения м. Марии была довольно широка: она сотрудничает и дружит с такими людьми, как митрополит Евлогий, С. Булгаков, Н. Бердяев, Г. Федотов, А. Ельчанинов, С. Четвериков, Л. Зандер, И. Фондаминский, В. Зеньковский, К. Мочульский, и многими, многими другими замечательными религиозными деятелями и мыслителями. В то же время сугубо литературными кругами эмиграции м. Мария старалась не контактировать. Причиной тому был не только дефицит времени, но и та неприятная ей «суета сует», которая была свойственна многим собраниям и кружкам и от которой она в свое время «бежала» из Петербурга.

В этот период м. Марии пришлось испытать еще одну личную трагедию. Летом 1935 года ее старшая дочь Гаяна уехала в СССР. Мать отпустила ее со своим старым другом А. Н. Толстым, который приезжал в Париж на Всемирный конгресс писателей в защиту культуры². Спустя год, летом 1936 года, Гаяна скоропостижно скончалась в Москве. В автобиографической поэме «Духов день» м. Мария писала:

И я вместила много; трижды — мать —
Рождала в жизнь, и дважды в смерть рождала.
А хоронить детей, как умирать.

* * *

В 1930-е годы м. Мария много времени уделяет поэзии. Сочиняла и в дороге, и во время собраний — она умела совмещать несколько дел. Стихотворения давали ей возможность остаться наедине с собой, раскрепоститься, уйти от бытовой тесноты, от тоски в высшие духовные сферы. В стихах этого периода м. Мария предстает перед читателем как подлинный религиозный поэт. Лишь весьма незначительная часть стихов написана «на злобу дня» или является путевыми зарисовками. Основной же корпус стихотворений — это лирические миниатюры, в которых она рассуждает о Боге, о Богородице, о состоянии мира, о добре и зле, о смысле жизни. Ее стихи — это своеобразные внутренние монологи, многим из которых присуще философское содержание. В религиозной поэзии, «в отличие от проповеди, богословского трактата или поучения, не так ярко представлена, а иногда вообще не представлена доктринальная сторона веры, но зато во всей полноте выплескивается из сердца автора его личное чувство, его надежды, ожидания, все, что живет в его душе»³. Все это в полной мере характеризует и поэзию м. Марии: «...специфически церковные, культо-

¹ Митрополит Евлогий. Указ. соч. С. 492.

² Подробнее см.: Шустов А. Н. Встречи судеб: Е. Ю. и Г. Кузьмины-Караваевы и А. Н. Толстой // Филологические записки. Воронежский гос. ун-т. 1997. Вып. 9. С. 212—222.

³ Чистяков Г. П. Тебе поем... М., 1992. С. 3.

вые мотивы в стихах Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Каравевой почти не звучали» (Д. Е. Максимов). Многие произведения м. Марии — возвышенные и строгие, лишенные поэтических украшений; в них все просто, сурово, скудно, все обнажено; в них проявляется *гушевная зрелость* поэтессы (К. В. Мочульский).

У м. Марии Бог — это «Премудрый Зодчий и Художник», это Творец мира, Домостроитель, Архитектор. Но она не ограничивается осанной Ему, а зачастую спорит и Ним и даже упрекает:

Ты, Создатель, Миродержец мой,
Что создал и чем Ты правишь в мире?
Видишь сам Ты, — струнья, язвы, гной,
Грех, закутанный в Твоей порфире.
<...>

И не знаю, — кто уж виноват,
Кто невинно терпит немощь плоти, —
Только мир Твой богозданный — ад,
В язвах, в пьянстве, в нищете, в заботе,
Шар земной грехами раскален...

За двадцать веков, прошедших со времени распятия Христа, —

Ничто не изменилось: крови, пота
И гнойных язв во всех земных телах —
Как было, столько же и есть. И та ж забота...

Накал этих строк заставляет вспомнить о «неутоленном негодовании» Ивана Карамазова. В них та же боль о «слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра», и тот же порыв отказаться от купленной страданиями «высшей гармонии». Здесь заявляет о себе старинное богоборчество: «Без сопротивления Божеству нет мистической жизни в человеке, — нет внутренней драмы, нет действия и события, которые отличают религиозное творчество»¹. Правда, до карамазовской крайности, до «возвращения билета», м. Мария не дошла.

В стихотворении, написанном вскоре после кончины старшей дочери, она обращается к Богу:

Мне же дай мое сердце смирять,
Чтоб Тебя и весь мир Твой принять.

Непереносимая мысль о детских страданиях одного приводит к «бунту», другую — к готовности «смирить сердце» и принять миропорядок, даже и непостижимый для разума.

В парижском окружении м. Марии многие (в том числе Н. А. Бердяев, с которым ее связывали дружеские контакты) утвердились в мысли, что мир «лежит во зле» (1 Ин 5:19). И это определяло их отношение к обществу. А м. Мария любила мир

¹ Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994. С. 51.

таким, каков он есть, страдала за него, поскольку он «грехами раскален», старалась по возможности улучшить его, хотя бы в частностях. Порой ей казалось, что роль зла преувеличивается, ведь зло — это лишь «несовершенное добро» (ее слова из работы о Вл. Соловьеве), а мир просто застыл в тоске и скорби.

Не то, что мир во зле лежит, не так, —
Но он лежит в такой тоске дремучей.
Всё сумерки, — а не огонь и мрак,
Всё дождичек, — не грозвые тучи.

М. Мария ощущает себя то сотрудницей Бога, то Его «строительным материалом» или «орудием»:

Возьми меня, я только Твой кирпич.
Строй из меня, непостижимый Зодчий.
<...>
Палицей Твоею быть хочу
И громоподобною трубою.

Ее молитвы не всегда смиренны, поскольку она считала, что на многое способна и сама, что «сила мне дается непосильная». Каясь и принижая себя (как того требует ее положение и закон жанра), поэтесса прибегает к высокому и архаически звучащему стилю, восходящему к поэзии библейских пророков и евангелистов, и просит у Бога:

Дай мне много, — ангельскую мощь,
Обличительную речь пророка.

Одна из основных тем поэзии м. Марии того периода — это забота о людях, жертвенная любовь к ним. Такая любовь подразумевает наличие двух составляющих: конкретной помощи человеку и исправления человеческой природы. По трудности исполнения они совершенно несопоставимы. Чтобы вывести человека на правильный путь, надо приложить огромные усилия, иметь большое терпение, волю. За человека в человеке надо бороться. И Елизавета Юрьевна уподобляет себя библейскому патриарху Иакову, который осмелился бороться с самим Богом:

Бились мы с Тобой до заревого срока,
И тела сплетались, и сшибались латы.
<...>
Не могу пустить Тебя, Соратник-Боже,
Не приняв от рук Твоих благословенья.
<...>
Ночью Ты в борьбе меня сразишь,
И Тобою сокрушатся ребра.
Не пущу, коль не благословишь,
Мой Соратник добрый.

Поэт и критик Г. А. Раевский, друживший с м. Марией в последние годы ее жизни и издавший в 1949 году ее стихи, отмечал их «вулканическое» происхождение. Они — «отражение ее жизни, этой великой и непрерывной тяжбы с Богом, борьбы

Иакова: „Не отпущу, пока не благословишь“ [Быт 32:26]. И мать Мария как бы добавляет: „...пока не благословишь всех тех, за кого я готова отдать свою жизнь“»¹.

Будучи сама великой труженицей, м. Мария умела ценить и славить труд. Ею написана небольшая поэма-псалом с характерным названием — «Похвала труду»:

О, подвиг трудовой, ты благороден,
Кто потрудился, тот недаром жил.

Эти слова перекликаются с ее более ранним высказыванием: «Труд неправильно понимать лишь как дело рук, как поделку, — он требует ответственности, вдохновения и любви». Первобытный хаос, любой беспорядок способен преобразить только упорный и вдохновенный труд:

Коси косою, пили, стучи, —
Из хаоса мы храм построим.
И в этот храм одни ключи —
Изнеможенье трудовое.

Особую группу стихотворений составляют «исповедальные» произведения. В них перед читателем предстает живой человек, одинокий и очень уставший. Эти ее стихи «пронизаны мучительным ощущением неустроенности, одиночества, сиротства» (М. Алигер):

Господи, когда же выбирают муку?
Выбрала б, быть может, озеро в горах,
А не вьюгу, голод, смертную разлуку,
Вечный труд кровавый и кровавый страх.
<...>
Трудный путь мы избирали вольно.

Свою жизнь на чужбине она считала «парижскими Соловками»:

Под крышею чужих домов,
В своей бессрочно-долгой ссылке.

Она прекрасно сознает и переживает свою бездомность и бытовую убогость; ей тоже хочется любви и заботы:

Господи, наверно в мире целом
Никого меня бездомней нет.
<...>
Господи, я никогда не дома,
Холодом неистовым влекома.
Никогда, под сенью райских яблонь,
Ты не скажешь: «Грейся, коль озябла».

Пройденный ею духовный путь был далеко не так прям, легок, как это могло показаться со стороны, особенно тем, кто был мало знаком с ней.

¹ Мать Мария. Стихи. Париж. 1949. С. 13—14.

Мукой пройдена каждая пядь, —
Мукой, горечью, болью, пороком.

<...>

Мы много и трудно грешили,
Мы были на самом дне.

<...>

В этой жизни, тихой и короткой,
Падала я ниже всех.

Стихотворения м. Марии изредка печатались в эмигрантских журналах, а в 1937 году в Берлине вышла ее книга «Стихи», которая не осталась незамеченной. Современная автору критика отметила ее высокий душевный накал, внутреннее горение.

* * *

Помимо стихотворений м. Мария проявила себя и в жанре драматургии: в конце 1930-х и в начале 1940-х годов она написала три стихотворные мистерии — «Анна», «Семь чаш» и «Солдаты». Ее пьесы «представляют своего рода синтез современной драмы и средневековой мистерии... где тесно сплетаются западные и восточные культурные традиции»¹. В то же время эти произведения не похожи на пьесы в привычном для нас смысле. Скорее это «драмы для чтения», то, что немцы называют Lesedrama, Buchdrama. В них нет сценического действия (драматургического конфликта), сюжета с его завязкой/развязкой, психологических характеристик действующих лиц; многие герои, по существу, выступают резонерами драматурга, прямо и непосредственно обозначая проблемы, волнующие его.

Из трех пьес м. Марии наиболее значительной является «Анна». Это проблемное произведение, продолжение ее публицистики. В идейной основе мистерии лежит глубокий внутренний, духовный конфликт между двумя монахинями — Анной и Павлой. Павла — представительница старого, традиционного типа монашества; Анна же — носительница новой (может быть, возрождаемой?) формы. Она отстаивает право монашествующего жить в миру, активно участвовать в делах мира:

...не какой-то безлюдный пустырь —
Мир населенный — вот монастырь.

<...>

Мы крест мирской несем на наших спинах.
Забрызганы монашеские рясы
Земною грязью, — в мире мы живем.

¹ Емельянова Т. В. Типология жанра мистерии в английской и русской драматургии первой половины XX века // Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. М., 1998. С. 27; см. также: она же. Жанр средневековой мистерии. О творчестве матери Марии (Скобцовой) // Страницы. 1997. Т. 2. Вып. 4. С. 586—595.

В финале пьесы Анна во имя спасения грешного странника (подобно героине поэмы о Мельмоте) обменивается с ним душами:

За душу душу дам в обмен.
Приму навеки вражий плен,
Спасу тебя, себя губя.

И вновь бескорыстная «грешница» оправдана высшим судом!..

«Анна» — пьеса по существу своему автобиографическая, ее героиня декларирует идеи своего автора. Вскоре после пострига м. Мария была командирована в монастыри Прибалтики. Вернувшись, она высказала неудовлетворенность внешним благочестием и холодным аскетизмом местных монахинь: в них не было вожделенного ею *внутреннего огня*, мир был закрыт для них. М. Мария публикует несколько статей о монашестве, в которых четко разделяет монашество аскетическое и активное. Именно во втором типе, «обращенном к миру монашестве, особенно сильно ощущается, что мир во зле лежит <...> И монашество обращается к миру, потому что любит этот образ Божий мира, образ Божий человека, прозревает его в грехе и гное исторической действительности». В 1937 году м. Мария готовит большую статью о четырех типах религиозной жизни. Тогда эта ее работа не увидела света; она была издана лишь в 1997 году. Высказанные в ней идеи настолько неординарны, что и сегодня вызывают дискуссии в церковной среде.

В двух других мистериях отразился опыт общения м. Марии с участниками французского Сопротивления во время гитлеровской оккупации. Интермедия «Семь чаш» создана в 1942 году, в самые тяжелые дни войны, на реалистическом материале, который органически увязан с апокалипсическими образами ангельских чаш:

Три казни нашим миром овладели:
Война. Ее всегдашний спутник — голод.
И рабство.
<...>
Война и голод, подневольный труд
Сейчас меняют лик привычный мира.

Мужчин враги отправляют в рабство на германские заводы, девушек отдают на поругание солдатам, детей ожидает голодная смерть, евреи «обречены на смерть, на истребленье»:

Мир не может больше
Существовать средь этой тьмы кромешной.

Выход из «тьмы», по мнению автора, возможен только через активное сопротивление насильникам:

Нет выбора у нас. Или к расстрелу
За неисполненный приказ мы будем
Обречены судом их незаконным,
Иль мертвыми колесиками станем
В военной их машине беспощадной.

Жизненный опыт, историческое и философское осмысление событий поддерживали веру м. Марии в то, что кошмар не может быть бесконечным:

...что бы ни пришлось нам испытать, —
Противник самый сильный истощится,
И прах его смешается с землею,
И имени его не будут помнить.

Небольшая мистерия «Солдаты» (осень 1942 года) — это своеобразный «эюд с натуры», который м. Мария, возможно, предполагала вставить в более обширную пьесу в качестве отдельной интермедии. Даже само название (если оно авторское)¹ в значительной степени условно. В самом деле, не считать же заглавными героями *солдат*-охранников, таких «мелких сошек». Очевидно, слово «солдаты» следует понимать расширительно, как «противоборцы», «супротивники». Необычным является и то, что в качестве положительных героев произведения м. Мария вывела коммунистов. Не разделяя коммунистической идеологии, она тем не менее объективно оценивала вклад французских патриотов в борьбу с фашизмом.

Главными персонажами мистерии «Солдаты» являются Старик-еврей и Юноша-христианин. В их образах заложена идея о мессианстве, о спасительной роли народов, в том числе — русского, как понимали эту роль Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, Д. С. Мережковский и другие. При этом Россия рассматривалась ими как Новый Израиль. В 1930-е годы под Новым Израилем прямо подразумевались русские эмигранты, которые сами себя сравнивали с вечно гонимыми иудеями. Таким образом, взаимосвязью Старика и Юноши подчеркивается не просто преемственность поколений, но и мессианская общность народов-богоносцев: старый еврей — символ Ветхого Завета, а юный христианин — Нового².

* * *

В далекие десятилетия годы Лиза Пиленко говорила своей знакомой — художнице Н. Войтинской, что «Россия живет и мыслит не только для себя, но и для всей Европы». Когда Германия напала на Советский Союз, м. Мария сказала друзьям: «Я не боюсь за Россию.. Я знаю, что она победит. <...> России предстоит великое будущее. Но какой океан крови!»

В неопубликованной работе (1941), касающейся судеб народов Европы, м. Мария назвала Германию отравительницей «всех европейских источников и колодцев», во главе которой «стоит безумец, параноик, место которому в палате сумасшедшего дома, который нуждается в смирительной рубаше, в проб-

¹ Мистерия восстановлена по рукописи матерью автора, С. Б. Пиленко.

² Иное понимание идеи мистерии см.: Аржаковская-Клепинина Е. Звезда Давида // Христианос. Рига, 1999. Вып. 8. С. 102—112.

ковой комнате, чтобы его звериный вой не потрясал вселенной».

После оккупации Франции фашистской Германией м. Мария налаживает контакты с русскими участниками французского Сопротивления: Б. Вильде, В. Оболенской и другими. У нее появились дополнительные заботы чисто практического порядка: заготовка продуктов, топлива, одежды для своих пансионатов. Она не прекращает благотворительной работы в общежитиях. Но теперь к ней прибавились новые дела: укрытие патриотов, евреев, бежавших военнопленных. Кто-то из уехавших знакомых оставил м. Марии свой радиоприемник, и она ловила по нему запрещенные передачи из Москвы и из Лондона. В ее каморке висела карта Европы, на которой она отмечала натянутой на булавки шерстинкой линию восточного фронта. По отношению к оккупантам она вела себя смело, а порой — вызывающе.

Адрес «улица Лурмель, 77» фашистам был хорошо известен, агенты гестапо и коллаборационисты нередко присутствовали на общих трапезах. Поэтому арест м. Марии не явился для окружающих чем-то неожиданным.

Был ли у м. Марии выбор, могла ли она спастись? Да, был. Еще накануне нападения Германии на СССР Американский Еврейский Рабочий комитет составил список лиц, которых США готовы были принять в качестве беженцев. В их число вошли Г. Федотов, Н. Бердяев, И. Фондаминский, м. Мария и другие. Из названных лиц в Америку уехал только Федотов. В своем выборе м. Мария была полностью свободна. Она предпочла борьбу, тем более что на ее попечении, кроме родных, были еще и пансионеры, за судьбу которых она несла моральную ответственность.

9 февраля 1943 года м. Мария была арестована. Около трех месяцев провела она в пересыльной тюрьме в форте Роменвиль, а затем была отправлена в концлагерь Равенсбрюк. В ужасных условиях концлагеря она не только сумела сохранить человеческое достоинство, но всячески вселяла бодрость и в других узниц. М. Мария дружила с советскими женщинами-военнопленными, их рассказы о родине и их песни она переводила французенкам. После освобождения м. Мария собиралась написать большую книгу о Равенсбрюке и вернуться в Россию. Однако дожить до победы ей не было суждено. За неделю до освобождения лагеря Красной Армией, 31 марта 1945 года, ослабевшая физически, но не сломленная духовно, монахиня Мария, русская поэтесса и публицист Е. Ю. Кузьмина-Караваева (Скобцова) была казнена в газовой камере.

Последний знак последнего листа, —
И книга жизни в вечности закрылась.

Несмотря на многие тяготы и невзгоды, м. Мария прожила свою жизнь «с открытыми миру глазами, с открытою ветру душой». Она была оптимистом по натуре:

О, смерть, нет, не тебя я полюбила,
Но самое живое в мире — вечность,
И самое смертельное в нем — жить.

Друживший с м. Марией в 1930-е годы Б. В. Плюханов в мемуарной статье о ней написал: «В „Жатве духа“ монахиня Мария рассказывает, как отходили из жизни некоторые древние праведники. Умирили они „с лицами, имеющими на себе печать дивного света. Как бы изливалась божественным озарением на лица их вся любовь и жалость, которую они принесли в мир“. Братья же, наблюдавшие их кончину, „благодарили Творца, что сподобились умного света“. Образ монахини Марии также озарен „дивным светом“ любви и жалости, которые она принесла в мир. И обращаясь к ее образу, мы также удостоиваемся „умного света“ ее творческой жизни»¹.

А. Н. Шустов

¹ Плюханов Б. В. Мать Мария (Скобцова) // Блоковский сборник. IX. Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 857. 1989. С. 175.

СКИФСКИЕ ЧЕРЕПКИ (1912)

Предисловие

Дети всегда просили о чуде, но не хотели отдать за него Царствия Небесного; беспечальное снилось оно им. Не ведали, что познавшие его становились бессмертными; что не просившие его — пили яд и принимали муку; что яд этот пивших лишал ясной смерти, мука давила все дни, когда они были свободны от служений.

Детям надлежит знать, что нет чуда; знать, что смерть придет безбольная и тихая; что за горестные дни ожидает их Царствие Небесное. И радость этого знания навеки уничтожит плач о чуде, так как не такой же ценой покупать его?

Но есть отравленные. И вместе с ними говорю: «Мой путь опоясывал землю не раз». Теперь, когда многие века прошли, когда о времени человеческой молодости говорят лишь поросшие ковылем курганы, черепки, истлевшие одежды и пожелтелые кости, — теперь стало ясней, что отравы, спрятанная дальше самого далекого клада, некогда давалась Богом всем, кто просил. Из отошедших в даль веков слышим мы голоса, за завесой времени раздаются шаги. Мука — цена за чудо — открыла нам двери в древние царства, в заповедную родину. И знающий повествует. Без скорби и без надежд, без прикрас и обвинений, означает знающий: было и есть. Ценой светлого рая куплена древняя родина; ценой детской ясности куплена мудрость долгих веков, которые состарили; ценой веры и надежды куплено знание; было и есть.

И о том, что было, о том, что есть, говорит эта книга.

Курганная царица

1

Смотрю, смотрю с одинокой башни.
Ах, заснуть, заснуть бы непробудно!
Пятна черные русской пашни,
Паруса подняты турецкого судна.

Там, где кровь пролили любимые братья,
Где отца покрыв суровый курган, —
Там прошли толпой иноземцев рати,
Там прошел чужой, чужой мне караван.

Греки, генуэзцы и черкесы
Попирали прах моих отцов,
Гордые, взбирались к морю на отвесы,
Посылали вдаль с победою гонцов.

Перстень, — будто связанные змеи, —
Я дала однажды скифскому рабу,
А теперь любовь сторожат музеи
И лежит, бессмертная, в каменном гробу.

2

Половина обгащенного кольца, —
Сгинет месяц за туманом горизонта;
К черным водам мертвенного понта
Сил нет повернуть лица.

Вы, — хранители заветов, вы, — курганы, —
К вам я припаду, ища забытой веры,
Мир живой, как явь фата-морганы,
А осколки бывшего спрятали пещеры.

Долго я держалась между скал залива,
Ночью набегала с диким караваном,
Чтоб предать пожару их дома и нивы,
Чтоб попить над родным курганом.

Я пила из кубка кровь упавших в битве,
Я пьянела, предаваясь дикой мести,
Павших больше, чем колосьев в жнитве; —
Друг, в кургане спящий, вспомни о невесте.

До костей, обвитых багряницей,
Просочатся капли пиршественной влаги;
Дивно улыбнется царь мой темнолицый,
Средь кургана спящий, в белом саркофаге...

Кровь горячая, радостно стынь:
Дерево скоро подрубит секира.

6

Я весь путь, весь путь держалась за стремя
владыки;

Конь белый летел как птица;
Далеко остались рабынь испуганных лица;
Перестали быть слышны вопли и крики.
Это было бегство, бегство от победивших;
Нас в степи спасла звериная тропа,
Мы врагам не оставили ни одного снопа, —
Я даже видала людей — богов паливших.

Владыка одной рукой прикоснулся к секире,
А в другой держал бога — покровителя нашего
племени,

Вот отчего я бежала у стремени:
Владыка и идол, — что ж другое осталось
в мире?

7

Я не ищу забытых мифов, —
Я жду, я верю, я клянусь.
Потомок огненосцев-скифов, —
Я с детства в тягостном плену.

Когда искали вы заложников,
Меня вам отдал мой отец, —
Но помню жертвы у треножников,
Но помню царственный венец...

И рабства дни бегут случайные,
Курганного царя я дочь,
Я жрица, и хранитель тайны я,
Мелькнет заря, — уйду я прочь.

Пока ж я буду вам послушною
И тихо веки опущу,
А втайне — месть бездонно-душную
Средь ваших городов ращу.

8

Хлеб ваш на земле родился,
Где некогда мы истекали кровью;

Он золотом надежды накалился,
Он клонится, как тяжесть поражений,
И, восходя зеленой новью,
Несет былых годин отображенье.

9

Родная мать, твой прах люблю, —
Ты была царицей курганной.
Я жизнь средь врагов гублю,
Я полна отравой туманной.

Благослови меня рукой,
Я кричу, я плачу на тризне;
Укрой плащом своим, укрой,
Я стремлюсь, я стремлюсь к отчизне.

Мой кубок горестный испей, —
Ты увидишь, — ночь моя гневна;
Блуждала я среди степей, —
Я устала, — дочь и царевна.

Вот припадаю к тебе:
Мне под небом жутко и тесно.
Царевна я — равна рабе,
И мертва... Нет, нет — не воскресну...

10

Щит в руке и шлем блистающий,
Меч побед, стрела отравлена, —
Но ушел ты, невзирающий, —
Я от битв твоих избавлена;

Смолкли возгласы победные,
Дверь открыта моей хижины;
Я пошла в пути бесследные, —
Вижу, — дали, вы принижены.

Буду я у вас заложником,
Буду раб, свободу чающий...
Жрец молился за треножником,
Жрец, судьбу мою вещающий.

11

Бог мне являлся курганный два раза,
Был он, как призрак во сне, — не живой,

Жду третий раз я благого указа, —
Дальше ж — пусть голос мой будет, как вой,
Дальше — лицо пусть изъест мне проказа.

Смерть после встреч недостаточна... Мало...
К смерти идет мой нетленный сосед.
Сердце зажжется так пламенно-ало
От тихих, недолгих, тяжелых бесед,
Крикну: «Мой бог, я тебя увидала».

12

Я языка и обычаев ваших не знаю:
Меня привели и сразу ярмо надели...
И потянулись в работе недели,
Не знаю конца ей и краю.

В руках у меня всегда лопата,
А горло сохнет от жажды,
И бить меня может каждый, —
Нет близко отца или брата.

Ну, что же? Глумитесь над непосильной задачей
И веруйте в силу бичей, —
Но сколько б ни стали вы слушать ночей, —
Не выдам себя я ни стоном, ни плачем.

13

Я испила прозрачную воду,
Я бросала лицо в водоем.
Трубы пели и звали к походу,
Мы остались, мой идол, вдвоем.

Все ушли, и сменили недели
Миг, как кровь пролилась тельца,
Как вы песню победную пели...
Не увижу я брата лица.

Где-то там, за десятым курганом,
Стальные клинки взнесены;
Вы сразились с чужим караваном, —
Я да идол — одни спасены.

Я испила прозрачную воду,
Я бросала лицо в водоем...
Недоступна чужому народу
Степь, где с богом в веках мы вдвоем.

Невзирающий

1

Бесстрастна я, как в храме жрица.
Мгновенья — вечности гробы,
Всегда испуганные лица,
Всегда покорные рабы,

Цари без царства и без славы,
Послы неведомых мне стран, —
Нет терпкости и нет отравы,
И боли нет от ваших ран.

Иду средь вас я одиноко,
И сердцу чужд ваш смертный страх.
Дождусь ли я велений рока:
Иль ты, мой царь, курганный прах?

Смотрю я пристально и строго, —
Вот руку рок ко мне простер.
Иль жду я не царя, а бога,
Чтоб лечь на пламенный костер?

Мой бог, приди, как встарь, без гнева
И вознеси, победно строг,
Чтоб я — царевна, жрица, дева —
Могла истлеть у царских ног.

2

Тот, кто в рану вложил мне кровавые пальцы;
Кто мечтать о несбыточном мне повелел;
Кто явился, как призрак минутный скитальца,
Начертав предо мной этот жизни предел;

Кто ушел без улыбки в незримые дали;
Кто над морем и сушей с луной ворожил;
Кто оставил мне пути змеиной печали
И тяжелую кровь каменеющих жил;

Тот, кому моя песнь веками поется,
Тот, кто вечно со мной, — никогда не вернется.

3

Будет ли новая сеча?
Вернешься ль ты, клятву поправ?
Зажжется ль надежды томлень?
Какая бы ни была встреча,

Я знаю, владыка, ты прав:
Нам не дано единенье.

В пожатьи сомкнуты руки
И пристален жаждущий взор,
Минута, — и будешь ты нежен...
Но страх нескончаемой муки
И вечных неверий позор
Кричит, что конец неизбежен.

Уйду я в незримые земли
(Ведь много средь жизни дорог),
Свершу знак последней молитвы, —
Но помни, но помни и внемли, —
Нести ты томленья не смог
И первый не выдержал битвы.

Мы крепко держались друг друга, —
Не смог ты руки опустить,
Просил незнакомых и встречных
Расторгнуть цепь светлого круга,
Порвать нас обвившую нить, —
Но связаны в путах мы вечных.

4

Не беспокойтесь, сторожа:
Мы — дети, мы — к восстанью глухи,
И я иду с душой старухи
И ест меня слепая ржа.

Хоть прозвучал мне голос ныне:
«Борясь, в плену не сможешь ты
Пройти весь путь былой мечты,
И я, твой царь, в песках пустыни».

О, солнце, солнце, лей огонь,
Зажги костер последней встречи,
Предвечные, горите речи,
Ты, смерть, рукою очи тронь.

Тоска сковала крепко тело,
Не преступлю я твой порог,
И ты, ушедший вдаль пророк,
Воскликнешь: «Этого ль хотела?»

Нет, но я знала, что на муку,
На вечный, на святой позор
Манил меня твой темный взор.
Ты дал свою стальную руку,

И я припала к ней; испили
Мы вместе часть благих надежд,
И в путях тлеющих одежд
Лежу теперь в твоей могиле.

Ну, что же? Горе или смех
Тебе несет моя кончина?..
Знай, — не достойно властелина
Отринуть этот темный грех.

5

Мне не быть рабой господней,
Не носить его вериг, —
Завтра минет как сегодня,
Околдует новый миг.

Я раба без господина,
Не могу главы склонить, —
Сестры, вы сгибали спины,
Знали, чью отраву пить.

Сестры, чтили вы заветы
Дивно-строгого царя, —
А мои напевы спеты,
А моя мертва заря.

Завтра минет как сегодня, —
Кто придет, чтобы сказать:
«Внемли, ты раба господня;
Он дарует благодать».

6

Я склонила голову мою,
Я тебе молитву новую пою:
Мое солнце, светлый боже.
Но глядит он, мудрый, строже...
Буду ль я в его раю?

Кровью запеклася рана,
Взор мой меркнет от тумана...
Мое солнце, светлый боже.
Но глядит он, мудрый, строже...
Где ты, тихая нирвана?

7

Я, как слепая, бродила, ища уверений;
Сердце давно говорило мне: верь.

Закрылась железная дверь;
Нету надежд и нету сомнений.

Я, как дитя, вырывала цветочные корни;
На рост их хотела смотреть.
Цветы мои начали быстро желтеть;
Пустынное стало, а может, просторней?

Я, как невеста, ждала, чтоб свершилось;
Ты не позволил, — я ждать перестала...
Теперь я немного устала...
Может, в нежданном мне счастье открылось?

Я, как раба, отказалась от мысли и воли,
Жду лишь велений и властного слова...
Ты близко, — я плакать от боли готова...
Пусть больно, — смеюсь я от радостной боли.

8

Неведомый, нездешний человек
Пришел в мои родные степи,
И сохнут русла быстрых рек,
И на ногах влачатся цепи,
И табунов не слышен бег.

Нездешний и неведомый нам царь
Восстал один на наше племя,
Мы бились так же, как и встарь,
Но я врага целую стремя,
Молю: мечом меня ударь.

Наш светлый, дивный господин,
Перед тобой мы в доле равной,
Мы ждали множество годин, —
Ты наш владыка полноправный, —
Цари, казни и награждай один.

9

Когда ты вернешься, то солнце восстанет
вторично.
Заря загорится над только что бледным востоком.
И я, чья дорога намечена роком, —
Пойму, что безумье годов безразлично.

Над снегом зажжется нежданное лето,
Увижу я степь и вершину кургана,
Губами прильну к ободку талисмана,
На шее расправляю я цепь амулета.

Когда ты вернешься, — взметусь я на лошади
белой,

И крикну над далью последнее слово,
Пойму, что не в силах принять я иного,
И в небо взлетят оперенные стрелы.

10

Вокруг меня — золотые пески,
Только тень синее у ног.
Освободившись от тоски,
Иду я — твой пророк.

Над далью — дерево в дыму
И призрачность морей.
Теперь я знаю, что пойму
Немую речь зверей.

Ты мне велел найти твой след
Среди песчаных гор.
Найду его я или нет, —
Все ж, — мой святой простор.

У пристани

1

Чтобы взять пшеницу с нивы,
И кровавое, пьянящее вино, —
Вы входили в тихие заливы,
Где сквозь синь мелькает дно.

За вино платили звонкими рублями,
На зерно меняли золото монет.
И, гремя по борту якорями,
Оставляли в море пенный след.

Мы ж — купцы и виноделы,
Пахари береговой земли —
Ждем, чтоб вновь мелькнули дыма стрелы,
Чтоб на якорях качались корабли.

2

Тебе молюсь, тебя пою,
Твой свет, твой белый блеск.
Как встарь, в волне я узнаю
Приветный, вещий плеск.

Высоки мачты из сосны,
А парус — ветром полн.
Навей, навей благие сны
Под шум зеленых волн.

Я кубок выпила до дна,
Мой яд — из терпких трав...
Опять одна, всегда одна...
А парус плещется, опав...

3

Перекладыны на мачтах сосновых —
Кресты на могилах отцов;
А рядом — множество готовых
К отплытию гонцов.

Кресты, кресты, родной погост,
Морское дно — вот цель конечная.
Зари последний луч так прост;
А путь мой в море, в море вечное.

Доской я отделилась тонкою
От зыбкого небытия.
Играй, играй с волною звонкою,
Моя гробница, жизнь моя.

Немеркнувшие крылья

1

Причастились благодати
Прежде, чем глаза открыли,
Осенили Божьей рати
Нас немеркнувшие крылья.

Не молились мы о чуде
И надежды не искали, —
Мукой вскормленные люди,
Чудотворцами мы стали.

Мука нас к могиле тянет,
Здесь и казнь, — на этом месте,
Но вокруг трава не вянет:
«Дня и часа бо не весте».

И когда предсмертный холод
Медленно проникнет в душу, —
Крикну я, что снова молод,
И закон земли нарушу.

Крылья реяли незримо...
Мукой вскормленные люди
Не видали серафима
И не плакали о чуде.

2

Ты рассек мне грудь и вынул
Сердце — чашу налитую,
Год с тех пор еще не минул, —
Я ж столетия тоскую.

Бьют невидимые плети...
И, добывшая бессмертье,
Знаю, — царство ваше, дети,
В милость Бога свято верьте.

3

И вынули сердце, и не дали рая...
Мой путь опоясывал землю не раз.
Я стала другая, я стала чужая,
Иду средь людей выполнять ваш наказ.

Тропинки, дороги, равнины, заборы,
Моря, океаны, излучины рек,
Бездонные глубы, высокие горы,
И каждый день сызнава солнечный бег.

А рядом, а рядом состарились дети,
Дождались. Открылись врата им небес...
Иду, чудотворец, в немеркнувшем свете,
Не страшен, не страшен над бездной отвес.

Живые и в смерти, — не плачьте о чуде, —
Вам рай уготован за горести дней...
А я, чудотворец, — бессильные люди, —
Не в силах нести всей победы своей...

Я площади эти давно проходила
И слышала тот же тоскующий плач, —
Не бойтесь, не бойтесь, — вас ждет лишь
Я ж — тихий, целящий и благостный врач.

Песнь Иммали

Тихая я, тихая, тихая Иммали.
Где вы, розы Индии, яркие огни?
В небо пальмы листья подымали,
И летели быстрые, сладостные дни.

Я на острове, средь синих волн была единой,
Я жила в душистом, тихом гроте,
Пестрые бродили гордые павлины...
А теперь всегда я с мыслью о Мельмоте...

Царство-призрак

Я не забуду, всю жизнь не забуду, —
Пусть жало огня мою память язвит,
И скошенных трав пожелтевшую груду,
И старой царицы испуганный вид,

И смолкший наш стан, освещенный кострами,
И стадо овечьих белеющих рун,
Тебя, озаренного, здесь, между нами,
В волненьи и пеньи торжественных струн.

И помню, сказала я: «Где же другую
Найдешь ты, зажженную кровью зари,
Твою всю, до сердца, до сердца нагую,
Какую владеют ветра и цари.

Я о тебе у колдуньи гадала,
Я для тебя зажигала костер,
Я для тебя хороводы сплетала,
Белой царевной средь верных сестер».

Опершись на ручку высокого жезла,
Ответил: «Иду, завершается бой!
Но помни в победе, в веках я с тобой...»
Сказал, и все царство, как призрак, исчезло.

Когда времени больше не будет

Они говорят, что ты, мертвый, восстанешь
из гроба,
Когда небеса словно огненный свиток совьются,
Когда все моря в океан бесконечный сольются.
Они говорят, что пред Богом предстанем мы оба.

Царь мой, владыка, живой и под темным
курганом.
Пусть ангелы их покарают за их прегрешенья,
Ты не забудешь в веках рокового решенья,
Не встанешь, влекомый чужим ураганом.

Когда же Премудрый Судья всех рассудит
Живущих, и жившим иная предстанет обитель,
И смолкнет каравший и грозный их мститель,
Земля будет нашей и нашей вовеки пребудет.

Послание Д. Д. Б.

Как радостно, как радостно над бездной
голубеющей
Идти по перекладинам, бояться вниз взглянуть,
И знать, что древний, древний Бог, Бог мудрый,
нежалеющий,
Не испугавшись гибели, послал в последний путь.
И знать, что воин преданный поймет костер
пылающий
И примет посвящение, и примет тяжесть риз,
Поймет, что Бог пыгает нас, что светел
невзирающий,
Что надо мудро, радостно глядеть в туманы, вниз.
Что надо тяжесть темную с простою, детской
радостью
Принять, как дар премудрого, и выполнить завет.
Нальется сердце мукою, душа занает сладостно,
И Бог, ведущий к гибели, даст светлый амулет.

Царица усталая

Царица была королевной,
Королевна любила опалы, —
Но пришел царь, свободный и гневный, —
И стала царицей усталой...

И царь ей могилы дороже,
Ему — ее взгляд и молитвы,
Но с каждым днем дальше и строже,
Мечтает о новой он битве.

И сын ее — сын властелина,
Рабыней царю она стала.
Путь пройден последний, единый...
Царица устала, устала...

ДОРОГА (1914)

Перекресток

[1]

Пахарь, идущий за плугом,
Владыка, сидящий на троне,
Свободный, плененный,
Туман над нескошенным лугом,
И факел звезды в небосклоне,
И мир опьяненный, —

Вот светлое царство мое,
От века сужденное роком,
Путь ежечасный;
Пусть в сердце стрелы острие,
Пусть снятся мне сны о далеком,
Пусть срывы опасны, —

Я выну отравное жало,
Над пропастью крылья расправлю
И сны все забуду;
Узнаю, — судьба увенчала;
Терновый венец свой восславлю,
Покорная чуду.

И в мире я ласку мирскую,
И волю, незримую ныне,
Как чудо свершаю;
И в тайне свершенной ликую,
И вижу я в древней святыне
Путь к новому раю.

[2]

Город больных сердец,
Город последней встречи;
Скоро ль настанет конец?
Скоро ль потухнут свечи?

Убей, опьяни меня, яд;
О, сердце, любви осколок,
О, пристальный, пристальный взгляд, —
А путь мой пустынен и долог.

Воздух как темный металл,
А кровь как металл раскаленный;
Я знаю, он долго алкал, —
Владыка, в безмерность влюбленный.

Владыка, он снова придет
И выпьет всю жадную душу;
Исчезнет томительный гнет.
Безмолвие снова нарушу.

[3] Notre Dame

О, страх забытый, страх вчерашний, —
Стучусь, вхожу в твой темный храм;
Над нами сводчатые башни
И синий цвет в оправе рам.

Я прислонюсь у темных сводов
И буду ждать твоих чудес,
Чтоб ты, Царица всех народов,
Дала мне синь своих небес.

Ты назвалась, как я, рабыней
И стала выше всех цариц;
Иду из огненной пустыни
Перед тобой склониться ниц.

Где все зовет нас к позабытым,
Где сумрак благостный царит,
Несут благих в гробу увитом,
Стучат по камням древний плит.

[4] Notre Dame

Стучат по темным, древним плитам;
Мелькнули в сводчатых вратах.
Ты будешь помнить о забытом,
Ты будешь осенять наш прах.

Царица всех цариц, Мадонна,
Вот темный гроб перед Тобой,
Взгляни навеки благосклонно, —
Она звалась, как Ты, рабой.

Но не пришел к ней дух Господний;
Смотри, — блестит мерцанье свеч, —
И шире мир, и мир свободней,
И нет того, что в нем беречь.

Покровом вечным осенила
Последний мой и долгий путь;
Теперь я знаю, что могила
Навек, навек мне сдавит грудь.

[5]

Я не хотела перепутья,
Устала без дорог блуждать.
Так неужели надо ждать?
И не могу покой вернуть я?

Вот, странник тихий, странник вечный,
Иду; и дом мне — в поле стог;
Забыла я родной порог;
И брат любимый — каждый встречный.

От долгих верст устали ноги,
И много примелькалось лиц.
Ведь гнезда есть у вольных птиц,
И у зверей земных — берлоги.

[6]

Да, видно, так назначено,
Так, видно, рок велел:
Не ведать, что утрачено,
Не ведать, где предел.

С людскими поколениями
Вступаю в череду,
Дорогами, как звеньями,
Я землю обведу.

Так больно. Всё без времени,
Без срока, без конца.
Не вынесу я бремени
Тернового венца.

[7]

Мне нечего уже жалеть,
И все изведано, знакомо;
И ширь земли, как птице клеть;
В полях, в пустыне — вечно дома.

Но если путь мой пересек
Живую цепь былых событий
И если много синих рек
Шумело в час моих отплытий, —

То знаю, — где-то дуб растет
Среди равнин, покрытых рожью,
Где не дано мне птичий взлет
Следить со сладостною дрожью.

[8]

Буду ль тихим молитвам внимать?
Твои руки в окно постучали,
Ты пришла ко мне, светлая Мать,
Из надзвездной и благостной дали.

Вновь мой путь не безлесен и радостно нов,
Вновь мой дух не томится и радостно волен;
Распростерла навеки Ты светлый покров
С еле зримых в полях колоколен.

Простучала в окно; выхожу, выхожу,
Выхожу без улыбки и слова;
Буду тихо считать за межою межу,
Ждать в полях еле слышного зова.

[9]

Теперь, когда я ближе к цели
И светит мне любовь иная,
Не вижу, судьбы проклиная,
Младенца в тихой колыбели.

Теперь, когда земная стужа
Навек, навек с душой сроднилась,
Хочу, чтоб сердце громче билось
Не от тоски о силе мужа.

Я радость горькую приемлю;
Я отрекусь от тихой доли
И променяю ваше поле
На богоданную мне землю.

Мой дух, в борьбе былой сраженный,
Теперь постиг твою святыню;
Не смейтесь, глядя на рабыню,
Земные матери и жены.

И с сожаленьем не смотрите, —
Зачем мне горечь сожалений?
Ведет от благостных селений
Святая цепь иных событий.

Но подходите без опаски:
Мои слова всегда простые;
Их дети услыхав земные
Смеются, как от Божьей ласки.

Я не певала колыбельных —
О тихой грусти песен нежных,

Забыла знак страстей мятежных
В моих скитаньях беспредельных; —

Но каждый червь, но каждый стебель
И дым над низкою деревней
Мне говорит о тайне древней,
О том, что Мудрый ждет на небе.

Не обреченность, не заклатье
Меня влечет от тихой жизни, —
Я встречу вас в иной отчизне,
Пред Богом Сил, земные братья.

[10]

Дорога ослепит, изгорбит,
Главу покроет сединой;
О, сколько мудрой, светлой скорби
В тебе, последний мой покой.

Иду, путем пересекая
Просторы сел земных и нив;
Смотрю, как вьется птичья стая,
Смотрю на бешеный прилив.

И каждый спутник мой случайный
Меня приветствует, как брат;
И сердце внемлет знакам тайны;
И дух, как в дни созданья, рад.

Иду; — как белый саван, — зимы,
Как день воскресный, — шум весны;
Земли просторы мной любимы,
Ее торжественные сны.

Пойми, пойми мой путь бесславный,
И скорбь незримую пойми;
Теперь зверям я стала равной.
Мой путь земной, как крест, прими.

[11]

Я сама гадалка и ведунья;
О судьбе не спрашивай других.
Мы с тобой дождемся полнолуны,
Мы дождемся, чтобы день утих.

И тогда, без тайного заклатья,
Не глядя на очертанья рук,
Точным словом все смогу сказать я,
Угадать, в какой ты вступишь круг.

Я тогда узнаю тайным знанием,
На черты лица ночного поглядев,
То, что не узнать иным гаданьем, —
Твой восторг, твою печаль, твой гнев;

Перед кем ты будешь жечь лампы,
На кого отточишь остро нож.
Не благодарю, не жду награды;
Иначе мое гаданье — ложь.

Только в час опасности последней,
Той, что ты не в силах превозмочь,
Вспомни ты торжественные бредни,
Полнолуние, и меня, и ночь.

Вестники

[1]

Широко разметало руки
Над морем облако свинцовое;
И в сердце нет вчерашней муки, —
Встаю я, к таинству готовая.

Весь день, весь день встречала знаки,
Таинственно меня манившие;
Полеты птиц и в поле злаки,
Обет грядущего хранившие.

И знали в светлой ризе горы,
Куда ведут пути тернистые,
Какие новые просторы
Откроют мне леса огнистые.

Но я, не ведая, молчала,
И сердце было зачаровано.
Да, этот светлый знак начала,
Залог, что сердце не заковано.

Я подымусь дорогой млечной,
Взметусь с далекими планетами,
С землею — путницею встречной —
Свяжу навек себя обетами.

[2]

Кто знает, тот молчит...
А ветер в поле воет,
И в небе тучи мчит,
И в море гребни роет.

Травую заросло
То поле, где мы жили,
И сгнило то весло,
С которым в дали плыли.

К нам смерть не подойдет:
В тиши мы молча знаем, —
Исчезнет темный гнет, —
Мы жизнь обретаем.

Наш путь среди могил,
Но к вечности нетленной
Вот вестник протрубил,
Вот в сердце знак священный...

Кто знает, тот молчит.

[3]

Свершены ль железные законы?
Иль последний Твой закон нарушен?
И бывшие стоны, — сны, — не стоны?
И покой холодный мой бездушен?

Я не знаю. Только путь окрашен
И отмечен красным, тайным знаком;
И гонец неведомый не страшен,
Сочетая нас последним браком.

Но когда я сплю, мне четко снится, —
Мы подвластны мудрой, светлой воле,
И хранит стеклянная теплица
Нас, откопанных в морозном поле.

И когда мы буйно мечем лозы,
К нам подходит благостный Садовник,
Чтоб в цветок кровавый розы
Перевить откопанный шиповник.

Нам, не знавшим непонятной тайны,
Кажется, что жизни ход нарушен,
И законы мудрые — случайны,
И Садовник благостный — бездушен.

Начало

[1]

Всё — только раз, и всё — неповторимо;
Года летят, как в небе облака;
Уводит путь тяжелый мимо, мимо,
И катит воды мутная река.
Всё — только раз, и всё — неповторимо.

Всему черед, всему свое «довольно».
Кто вышел в путь, тому возврата нет;
Пусть будет радостно, мучительно иль больно; —
И минет ночь, как миновал рассвет.
Всему черед, всему свое «довольно».

И я иду, и солнце в море гаснет.
За мной туман, как белая стена,
И с каждым шагом пропасти опасней,
И ночью встанет красная луна.
Так я иду, и солнце в море гаснет.

[2]

Скоро мальчик, горбатый и низкий,
Перестанет по дому бродить;
Тот, кто стал мне нечаянно близкий,
Разорвет нас связавшую нить.

Только серая спящая кошка
Будет тихо мурлыкать во сне;
Да в открытое утром окошко
Осень вести подаст о весне.

О приют мой последний, священный,
Вот, — тебя окружила стена;
Знаю, — мир твой восстанет нетленный,
Расцветет, как цветок, тишина.

Может быть, я, усталая, снова
Путь мой древний средь гор обрету,
Прошепчу безответное слово
И к земле темных туч намету.

[3]

Рыбак плывет, чтобы закинуть сети,
И птица вдалеке кричит,
И плачут в комнатах земные дети,
И муха бьется, маятник стучит.

В руках прохожего по камням палка
Так гулко отбивает каждый шаг,
А мне мучительно кого-то жалко
И другом кажется вчерашний враг.

Зачем, зачем с такой тоской невнятной
Кружится под луной лиловый дым?
Все призрачно, далеко, непонятно
Работникам и пахарям земным.

Я знаю: утром снова выйдет стадо,
Погонят псы играющих телят,
Сбежится, солнечному свету рада,
Веселая толпа нечесаных ребят.

И о тоске ночной опять забудут,
От тайны отрекутся, чтоб забыть;
Потом с луной, подвластна вечно чуду,
Дворовая собака станет выть.

И пронесутся с дальних колоколен
Удары полночи, — за часом час, —
И каждый, непонятным страхом болен,
Опять увидит призраков средь нас.

[4]

Много шумело и стихло неясных, обманчивых
вёсен;
К западу солнце клонилось; ветер холодный подул;
С моря донесся протяжный, как вой,
угрожающий гул.
Не было, не было лета; багряная близилась осень.
Сердце в предчувствии смерти отрывочно, гулко
стучало;
Так наступило нежданно великих свершений
начало.

Пусть исчезает былое и новое в жизнь
устремится;
Канет багряная осень и зимний блистающий снег;
Солнце померкнет; и волны скуют свой
прибойный набег;
В небе закатном исчезнет плывущая птиц
вереница.

Смертному ясно: то близятся смерти карающей
знаки;
Верь, — не воскреснут, пока не истлеют, как
мертвые, злаки.

[5]

А на душе всё те же песни;
Пусть бьется море подо мной,
Пусть с каждым шагом путь отвесней
Со мною — песнь; во мне — покой.

Я знаю, — за горой отлого
Спускаются квадраты нив;
Крутую изберу дорогу,
Покой мой светлый возлюбив.

Избрав мой путь, конец избрала:
Там, где кружат одни орлы,
Я подыму свое забрало
На желтом выступе скалы.

Узнают через год в деревне,
Что кто-то умер над скалой;
Так я вернусь к тебе, мой древний,
Так я вернусь к красе былой.

И там, где в роще кизиловой
Уж облетел последний лист,
Где каждый выступ гор лиловый
Прозрачно-ясен, четко-чист,

Где тихо вязь плетут минуты,
И в них неведомый покой, —
Там, разорвав земные путы,
Я буду вновь навек с тобой.

[6]

Никому не стану я рассказывать
О путях к последней высоте;
Мне ль, усталой, всем указывать,
Как стремиться к тихой красоте?

Знаю, на рассказ пошли б с котомками,
С палками и с грудой ребят;
Потревожили бы возгласами громкими
Гор лиловых неприступный ряд.

Я пойду горами кизиловыми,
Одинокую звериною тропой,
Так, как зорями идут лиловыми
Звери дикие на водопой.

Никому не стану я рассказывать,
Что я видела, куда иду;

Мне ль, усталой, всем указывать
К миру дней грядущих череду.

[7]

Замедляю шаги торопливые,
Опускаю я пристальный взгляд;
Отошли дни ненужно-крикливые,
Землю кроет осенний наряд.

Выхожу я безвестною странницей;
Впереди ни жилья, ни дорог;
Выхожу, чтоб вернуться избраницей,
Чтоб украсил главу мне венок.

Лист увянувший с шелестом падает,
Тучи близко прижались к земле;
И меня так таинственно радует
Жизнь тихая в каждом стебле.

Норы, гнезда, берлоги трущобные,
И в лесу у ручья водопой, —
Всё мне ближе, чем дни мои злобные;
Зверям я не кажуся слепой.

Выходите, медведи косматые,
Змеи, мыши, лягушки, кроты,
Водяные, земные, пернатые,
Братья, — дети одной красоты.

Будем славить мы мать нашу древнюю,
Славить голосом вечным, земным;
Ночь пройдет, и над вставшей деревнею
Распластается утренний дым.

[8]

Там, где были груды пепла,
Где звучал мне смерти зов,
Жизнь новая окрепла,
Мир восстал, могуч и нов.

Оборвав минуты резко,
Стала вольной я теперь;
Вот, смотри, из перелеска
Выбегает смелый зверь;

Над водой почти что черной
Поднялись хребты гребней.
Долго ль я тропою торной
Шла, не числа тихих дней?

Долго ль шла, не веря чуду,
Зная, — путь мой одинокий,
Дел влача ненужных груды,
Веря, что всевластен рок?

[9]

Вы говорили мне о смерти; да, у вас
Короткий день пророчит гибель;
А я привыкла громко славить каждый час
Моря, зарю и низкий стебель.

И, вольная, опять уйду в святой простор,
Чтоб сердце сочетать с землею;
О том, что было средь высоких, древних гор,
Не помню я и не жалею.

Пришедший, — милый брат, — скитаясь
по земле,
Расскажет мне земные сказки;
О том, что жизнь вечная течет в стебле,
Что тучи завтра будут низки.

И жадно буду я его словам внимать,
Почувствую всей алой кровью,
Что предо мной лежит земля, — родная мать,
И что молитва — путь по жнивью.

[10]

Суровая тайна земли обетованной,
Суровая радость свободного ветра;
Я снова вернулась, я снова раскована,
Я знаю, — готовится к радости жертва.

Отступнику только грозит одиночество,
И смерть сочетается с тайною жизни;
А верные чтят огневое пророчество
И в очи заглянут, бесстрастные, бездне.

Последняя грань между нами раздвинута,
И сердце навеки слилось с землею,
И знаки людских отречений закинута;
Что было, — не помню и дней не жалею.

Ветер то стихнет, то крепнет порывами;
Над морем несутся свинцовые тучи;
И птицы летят высоко над обрывами;
И сердца удары короче, короче.

Пусть море шумит, угрожает и пенится,
Пусть где-то людские, ненужные войны; —

Мы, верные, знаем, — ничто не изменится,
Мы видели знаки неведомой тайны.

[11]

Мерная музыка тихо звучит в небесах;
В комнате жарко, за окнами падает снег;
Волны стремят к нам на берег немолчный набег;
А в сердце свободном исчез угнетающий страх.

О, петь бы, все петь и прославить в звенящих
стихах,
Прославить средь мертвого мира, прославить
навек,
И силу земли, и паденье бушующих рек,
И тихую тайну, сокрытую в темных лесах.

О, петь бы, все петь, чтобы каждый тотчас же
узнал,
Что я полюбила морской набегающий вал,

Просторы полей зеленеющих, вспаханных нив,
Звериные тайны, и птиц пролетающих крик,
И в небе пылающий радостно солнечный лик, —
Единого силой земною навек полюбив.

[12]

О, разве мне нужна борьба с забытыми врагами?
О, разве стану я теперь у них искать свободы?
Пусть было время, что на нивах вешние восходы
Они в борьбе со мной топтали конскими ногами;

Пусть было время, что они мутили в реках воды
И к солнцу поднимали в битвах меч, и щит,
и знамя;
Пусть встретили мы их тогда нестройными
рядами;
Прошли давно их времена, и миновали годы.

Вершины горные лежат у наших ног теперь;
К нам недоступен путь; лишь изредка мохнатый
зверь

До нас дойдет; да облако в пути заденет краем;
Да утренний седой туман оденет склоны круч;
Иль с неба по горам скользнет слепящий, яркий
луч; —
О том, что есть борьба внизу, — забыли мы,
не знаем.

[13]

Так завершаются пути, назначенные людям;
Нежданное приходит и незримое спит:
Мы скоро, скоро мертвых громким голосом
Разбудим,
Разложим скоро жаркий дó неба костер в степи.

Вступивший в путь, годин своих не числи:
Мертвы названья и не нужны мысли.

Я тоже, выходя, измерила дорог подъемы;
Пытала волны в бурном море, кормщика, весло;
Всегда заранее были мне извивы рек знакомы;
Я облекала в сроки — дни и все шаги — в число.

Исчислен грех, и сочтены пороки;
Я видела, — несут мне гибель сроки.

Но, мудрый, не стремися к недоступному нам
Знанию; —
В последний миг дорога может круто повернуть:
Я гибели ждала перед последней, смертной
Гранью, —
К высотам горным повернул земной, кремнистый
Путь.

О, путник, кто судьбу живых рассудит?
Всему хвала, что было и что будет.

[14]

Паломники к неведомой святыне,
Мы обойдем все храмы на земле;
Мы поплывем через моря к пустыне
На легком, острогрудом корабле.

И совершая таинства религий,
Как братьев, примет нас верховный жрец,
Познавший: человек — великой книги
Живых и мертвых непрерывный чтец.

Так, из веков в века влекомы роком,
Мы совершаем медленный полет,
Мы приближаемся к последним срокам
И верим, что бывшее оживет.

Как правоверного зовет Медина,
Как манят зерна золотые птиц,
Так нас зовет, во всех веках едина,
Святыня нами преиденных границ.

[15]

Так. Всем сомненьям дан ответ;
Теперь узнала я свой жребий;
И — вещий знак — разлился в небе
Неугасимый, синий свет.

Я говорила всем: не те;
Я все дороги отвергала;
Земных просторов было мало
Для глаз, ослепших в темноте.

Когда ж средь желтых, знойных нив
Я шла с тоскою о далеком,
Казалось солнце лишь намеком,
Мой путь лучами обагрив.

Шли дни, тоской сжимая грудь;
И прозвучало мне ответом,
Что в мире пленном, мире этом
Проходит радостно мой путь.

[16]

Да, в тебя, судьба, я верю;
Рок — событиям пастух,
Указал дорогу зверю,
Людям дал смятенный дух.

И глядя, как зреют злаки,
Как кружат орлы свой лёт, —
Я судьбы читаю знаки,
Жду свершениям черед.

Впереди года разлуки;
В прошлом — горная тропа;
Верю, что дождутся руки
Роком данного серпа.

И пойду широкой нивой,
К жизни призванный косец,
Жать рукою торопливой
Урожай земных сердец.

Я узнала: не случайно
Муку мне дала судьба;
Тайна тайн, святая тайна:
Где покорность — там борьба.

Тайна тайн: я плоть от плоти
Каждой пахоты земной;

Призвана к ее работе;
Все в ней завершится мной.

[17]

Во мне вселенская душа
С любовью тихой опочила;
Так; пусть ведет, ведет, спеша,
А в сердце зреет жизни сила.

В грядущем много крестных мук,
И скорбь без меры, и утрата;
Но новых не боюсь разлук
И в каждом встречном вижу брата.

Придут на мой протяжный зов
Из всех трущоб земные звери,
И звуки птичьих голосов
Поведают о новой вере.

Зазеленеет голый куст,
И запылают ярко зори;
Пусть мир, как кладбище, был пуст, —
Он будет в праздничном уборе;

Пусть долгий путь был одинок, —
Теперь, один с земли путями,
Он приведет чрез долгий срок
К заре, пылающей огнями.

Земля

[1]

Сердце никогда мое не билось чаще,
Никогда ясней не видел дали взор;
Выходите, звери, из заросшей чащи,
Выползайте, звери, из подземных нор.

Я опять сестра вам, я опять земная;
Долго мне чужбиною была земля,
Долго шла бесцельно, о путях не зная,
Дни свои с рабами слабыми деля.

А теперь я снова непонятно рада,
Снова в сердце вольном песни и покой;
Братом милым назову земного гада,
Каждую былинку назову сестрой.

А тебе, пришедший, чтобы выпить душу,
Имени совсем я не могу найти;
Знаю только ясно: тайны не нарушу,
Не сверну теперь с найдённого пути.

[2]

Все забыла, все забыла, только знаю, —
Солнце раньше не сияло никогда;
Я могу теперь вмешаться в птичью стаю,
Я могу теперь остановить года.

Я могу сказать теперь всему бывшему
На когда-то непонятном языке,
Что мы все спешим к последнему, родному,
Что мы все — лишь волны на одной реке.

Знаю, что когда пойду скитаться в горы,
На мохнатых лапах звери прибегут,
Птицы бросят гнезда, мыши бросят норы,
Чтобы вместе числить ход земных минут.

[3]

Давно я увидела в небе закатном сияющий знак:
Помню, — неслись облака в непонятной,
торжественной требе;
Весна наступила; на ниве пророс зеленеющий
злак;
И яркое солнце по-новому светит в лазоревом
небе;

Водою кипучей до края наполнило низкий овраг;
И к жизни вернулись и птицы, и зверь,
и таинственный стебель;
А я замедляю, идя в путь далекий, размеренный
шаг;
И ветер играет порывами в зреющем хлебе.
О, дух мой, как прежде, спокоен, и волен,
и радостно наг.

[4]

Торжественно и звонко, будто первый дождь
весною,
Иль грозы быстрые над взрытой, черной грудью
нив,
Навек душа моя теперь становится родною
Тебе, тебе, земля, простор твой светлый возлюбив.

Звенят и ширятся во мне потоки внешней силы;
Сестра моя, сестра моя, любимая земля,
Мне каждый вздох твой тихий, все твои
движенья милы,
От мощных гроз и шумных бурь до шелеста
стебля.

Сестра моя, узнай, — с тобой один мне выпал
жребий;
Твой пройден путь давно, — судьбы моей
грядущий знак.
Напрасно я ждала вестей в закатном, рдяном
небе,
Напрасно угасал забытый мой земной очаг.

Пусть гаснут зори в небе буйно-алом сиротливо,
Пусть манит в неизвестность и пророчит смерть
весна; —
Лежит, чернеет предо мною вспаханная нива,
И зернам прозябающим земля теперь тесна.

Да, жребий кинут; больше не ищу ни стран,
ни славы; —
Отверженным тобой земным не нужен
приговор; —
Вот под дождем весенним ярко заблестали травы,
Вот ветра шелесты бегут к нам от далеких гор.

[5]

Тянут невод розоватый;
Бьются рыбы серебром;
Золотым гребет веслом
Солнце — огненный вожатый.

Чайки кружат с легким криком;
Рыбаки смеясь шумят;
Облаков закатных ряд
Мне пророчит о великом.

Я ль пойму их тайный голос?
Я ль услышу их слова?
Чутко внемлет им трава,
Нива клонит желтый колос.

Небо — брат мой синеокий,
Пашня — черная сестра,
Ждем мы все огня костра, —
Верим, что свершатся сроки.

Черной пашни взрыты глыбы, —
Скоро грянет первый гром;
Невод полон серебром, —
Плещутся и бьются рыбы.

Тайна тайн: земля в цветеньи;
Яркий, пламенный закат.
Каждый ныне — милый брат,
Каждый в радостном смятеньи.

Всякий путь земной чудесен;
Тайна светлая везде:
В черной взрытой борозде
И в тоске забытых песен.

Тайна тайн: путей извивы,
И степной огонь вдали;
Каждый вздох родной земли,
Каждый колос желтой нивы.

[6]

Земли родной оторванный осколок,
Свершала с ней я праздничный мой путь;
Ко мне, как к ней, склонялся синий полог,
Дыханием ее вздымалась грудь.

И летом, в час, когда клонился колос,
И пламенел пылающий закат,
И с зноем солнечным земля боролась, —
Я знала, каждый знак — мой мудрый брат.

Так дни текли; зима сменяла лето;
И холод зимний душу умертвил;
Забыв слова единого завета,
Забыла тех, кто был когда-то мил.

Ты вестника послала мне, родная,
Чтоб снова к прежним дням меня вернуть?
Смотри: несется в небе птичья стая,
Вступила я на праздничный мой путь;

И, будто туча, быстро мчится время,
И близок, близок солнечный восход, —
Под сердцем зреет новой жизни семя,
Земли залог, ее священный плод.

[7]

Да, блаженна причастная чуду
И узревшая злаков восход;

О, как нежно лелеять я буду,
Мать-земля, твой залог и твой плод.

Нет ни страха, ни муки, ни гнева;
Нет тоски многих пламенных лет;
Да, стократно блаженно то чрево,
Что несет твой единый завет.

Так. Во мне твоей жизни начало;
Я как цепи стальное звено;
Помню, вёсны твои я встречала,
Зная, — рок нам назначил одно.

Но всходили весенние злаки
И сменялся закатом закат,
И вещали грядущие знаки
Много новых, неожиданных утрат.

Но пришедший твой сын и твой вестник —
Дал любя мне твою благодать.
Так. Ему моя нежность и песни,
А тебе — моя вера, о мать.

[8]

Весенний дождь поит земные нивы
И солнце светит на земную грудь.
«Ты — дочь земли; как мать покорна будь», —
Меня учили волн приливы:

«И, как земля с любовью нежит корни,
Расти в себе родимое зерно;
От плоти плоть, ты с матерью одно,
И звезд горящих в небе чудотворней».

В животворящей, радостной работе
Зерно земных покровов сбросит гнет;
И верю я, что здесь во мне растет
Мое дитя земное, — плоть любимой плоти.

[9]

Так. Так. Мои сплелись с землею корни;
Родство предвечное я узнаю.
День ото дня ищу, ищу упорней
Земную, древнюю судьбу мою.

Кто дал мне жизнь, — ушел в твои глубины;
Я с ним разлучена, как с корнем ствол.
И дремлют только камни-исполины
Над ним, кто вновь к тебе, родной, ушел.

А новых вёсен радостная зелень,
Кто жив во мне, — родной единый плод, —
Как знак того, что путь наш беспределен,
Что ночь сменяет солнечный восход.

[10]

Зерна желтые осеннего посева
От метелей прятать долгою зимой; —
О, земля, теперь твой древний путь — и мой, —
Жизнь взрастившее, мое блаженно чрево.

А когда нальются и созреют всходы,
Муку принесет серпов точеных взмах;
Мать родимая, нам чужд ненужный страх:
Мука — к радости последней; жатва — роды.

Только в смерти радость светлую познаем,
Смертью перейдем чрез грань небытия.
Чуем жизнь земную; внемлем, — ты и я, —
Злакам, волнам, облакам и птичьим стаям.

[11]

Так. Жребий кинут. Связана навеки
С землею, древнею моею колыбелью.
Я слышу, как весной шумят земные реки
И как зимой поля сливаются с метелью.

Я слышу, как растет и зреет желтый колос,
Как облака несутся в поднебесной пашне.
Напрасно я с тобой века, земля, боролась,
И был мой дух твоих глубин бесстрашней.

Пусть ты готовишь мне последней жатвы муку
И златотканый саван твой осенний; —
Вот точат серп косцы; прислушаюсь к их стуку;
То смерти стук; смерть в светлом откровеньи.

[12]

С серпом отточенным придет к нам твой косец;
И, мертвые, мы припадем к тебе, родная.
Земля, ты мук земных дала святой венец,
Ты житницей сменила путь иного рая.

Нам хорошо, земля, земля, — родная мать,
В твоих глубинах вечных тихо нежить корни
И светлой осенью с тобою умирать.
Нам хорошо судьбе быть с каждым днем
покорней.

Из житницы, с травой сорной
Была я выброшена вместе;
Исчез покой; душой покорной
Я буду ждать великой вести,
Идти, идти тропою горной.

Так, братья; дружно мы возражали
Над черной, взрытой бороздою;
Нас днем палили неба дали;
Мы ночью с каждою звездою,
Смирясь, дней жатв осенних ждали.

Настала жатва; пали дружно;
Мы смяты, стоптаны косцами.
И сердце стало безоружно;
Но братья, братья мы сердцами.
Мое ж зерно косцу не нужно.

Ну что ж? Как плевелы сгорая,
Увижу вновь родные дали,
Взметусь, как искр золотая стая,
Дождусь, чтоб искры все упали,
Умру, судьбы своей не зная.

[Предисловие]

Неизбежность заставила меня подняться на высоты. Обреченный не знает: зачем, но ему дано иное знание: так надо.

Оставив холмы и долины внизу, я видела сроки, и вера моя сливалась со знанием, потому что я могла пересчитать, сколько холмов меня отделяет от них, и могла сверху проследить все изгибы дороги, ведущей к ним.

Неизбежность заставила меня оплакивать умершую мою душу человеческую. Разучившись говорить на земных языках, потеряв тайну земных чувств и желаний, я могла только именовать холод, который был во мне, и созерцать зеленую планету Землю, распростертую предо мною.

Волею, мне неведомой, я вновь спустилась в долины. Как паломник, иду я к восходу солнца. Тайна, влекущая меня с высоты, открылась мне: «если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Перестала видеть, чтобы осязать, чтобы не только измерить разумом дорогу, но и пройти ее, медленно и любовно.

Еще по-детски звучит моя земная речь, вновь познаваемая мною, еще случайными спутниками кажутся мне те, кто тоже идет на Восток и кому надлежит пересечь холмы. И мне, не забывшей сроков и не слившейся с дорогой, кажется, что сумраком окутана земля и что ноша моя — необходимый искус, а не любимое дело.

Если дано мне читать страницы еще несвершенного, если сквозь память о том, что было и что есть, я не забыла счета холмам и извивам дороги, — то все же смиренно говорю: сейчас трудная цель моя — взойти на первый пригорок; оттуда я увижу, как солнце подымается меж холмами; и может быть, не мне будет дано видеть его восход из-за грани земли, из бездны темной и непознаваемой. Вероятно, что и я, как многие другие, умру, не дождавшись срока, который я видела с высоты. Но близок, близок он.

Немногие спутники мои, те, кто вместе со мною смотрел или только верил в мои виденья, на новом языке вспоминаю вас; и вы узнаете меня в новых одеждах: разлука не суждена нам.

И Ты, обрекший меня и утаивший явное, чтобы тайным осветить разум мой, не оставляй меня, когда длится земной закат, и не ослепляй взора моего, который прозрел по Твоей воле.



Диза Пилленко с братом Дмитрием.
Новоросси́йск. Конец 1890-х годов.



Диза Пилленко в костюме русской принцессы
и брат Дмитри́й в костюме гнома.
Новоросси́йск. 1899



Невский проспект в дни коронации Николая II.
Санкт-Петербург. 1896





Лиза Пиленко. 1903



Причал Анапы. 1900-е годы



Аллея Летнего сада.
Санкт-Петербург. 1900-е годы



Константин Петрович Победоносцев.
Начало 1900-х годов



На Литейном проспекте. Санкт-Петербург. Начало 1900-х годов



ШОВА.

КАЛАЧИ





10 линия Васильевского острова. Бестужевские курсы.
Санкт-Петербург. Около 1910 года



София Пиленко с сыном Дмитрием.
Санкт-Петербург. Около 1908 года

Руфь

Собирала колосья в подол,
Шла по жнивью чужому босая;
Пролетала над избами сел
Журавлей вереница косая.

И ушла через синий туман
Далеко от равнины Вооза;
И идет средь неведомых стран,
Завернувшись в платок от мороза.

А журавль, уплывая на юг,
Никому, никому не расскажет,
Как от жатвы оставшийся тук
Руфь в снопы золотистые вяжет.

Лишь короткий подыметса день,
И уйдет хлебороб на работу,
На равнинах чужих деревень
Руфь начнет золотую охоту.

Низко спустит платок свой на лоб,
Чтоб не выдали южные косы,
Соберет свой разбросанный сноп,
Обойдет все холмы и откосы.

А зимою, ступив чрез порог,
Бабы часто сквозь утренний холод
На снегу замечали, у ног,
Сноп колосьев несмолотых...

Исход

И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего.

Иоиль 2:28-29

Прочитал ли ты в Писаньи,
Во святых, старинных книгах,
Что стоит про наше время?
Наше время — на исходе.

Из сербской песни

[1]

Жить днями, править ремесло
Размеренных и вечных будней;
О, путь земной, что многотрудней,
Чем твой закон, твое число?

Мне дали множество имен,
Связали дух земным обличем,
Но он сияющим величем
Безмерных далей ослеплен.

И здесь, средь путников одна,
Я о путях не вопрошаю:
Широкая дорога к раю
Средь звезд зеленых мне видна.

Пусть яркий полог звезд высок,
Пусть мы без пищи и без крова, —
Лишь бы была душа готова,
Когда придет последний срок.

Еще не четок в небе знак,
Пророчество вещает глухо; —
Брат, верь: язык Святого Духа
Огнем прорежет вечный мрак.

Недолго ждать, уж близок час;
Взметает ветер пыль с дороги;
Мы все полны святой тревоги,
И вестники идут средь нас.

[2]

Отвратила снова неудачу,
Отвратила тяжкую беду.
Нет, я в этой жизни не заплачу, —
Как назначено, так и пойду.

Но бессмертьем очарована навеки,
Я творю лишь смертные дела;
Этим же путем проходят все калеки,
Эта же дорога к смерти всех вела.

Нам обещано бессмертье Богом,
Кровью он обет запечатлел;
Отчего же в совершеньи строгом
В этой жизни дан нам всем предел?

Отчего ж мы в вечность только верим
И так ясно видим наш конечный путь?
Разъяренным и безумным зверям
Разве можно в вечность заглянуть?

Бог, отдавши вечность, сердце вынул, —
Уголь пламенный в груди.
Господи, Твой мир на нас нахлынул;
Господи, веди!

[3]

Начало новых, белых лет.
Не ты ли, солнце, знак мне дало?
Разлить в зеленом мире свет, —
Торжественных времен начало.

Но мой язык, как прежде, нем,
Рука дороги не укажет;
Я в этот мир пришла не к тем,
Кого земная тяжесть вяжет.

Мне хорошо; мой дух распят,
И крест поднял меня высоко;
Крестов других, пройденных ряд —
Знак безначальности и срока.

Теперь, когда мой взор привык
Глядеть в лицо бесстрастно небу,
Пусть шепчет мертвенный язык
Иным страстям святую потребу.

[4]

Снова здесь; среди мирских равнин
Я не затерялась, не исчезла;
Путь измерила ударом жезла;
Знаю, — он назначен, он один.

Помню, помню, знаю, что я мать,
И навек безмужняя невеста;
Укажи, земля, теперь мне место,
Где я буду в вечности лежать.

Холодом изранена душа,
И тяжелым сном томит усталость;
Не пьянит уж ни любовь, ни жалость;
Так кончаю путь я, не спеша.

У забывших цели ясен взор,
Тот, кто не надеется, спокоен;
И иных полей свободный воин,
Я смотрю в глаза судьбы в упор.

[5]

Какой бы ни было ценой
Я слово вещее добуду,
Приблизжусь к огневому чуду,
Верну навеки мой покой.

Пусть давит плечи темный грех,
Пусть нет прощенья земного, —
Я жду таинственного зова,
Который прозвучит для всех.

[6]

Довольно. Все равно настанет час последний:
Кому ж звучат стихи? Кому звучат слова?
Наместо мудрости — таинственные бредни, —
И буду вновь вольна, и буду вновь права.

Взгляните пристально, — уж призрак между нами;
Всмотритесь, — на пути чуть виден тонкий след;
Прислушайтесь к стихам, — найдите меж словами
Еще не слышимый, еще нечеткий бред.

Мне радостно теперь: я знаю, час закатный
Поможет мне уснуть и все забыть, не зная;
О, только тот, кто шел дорогой безвозвратной,
О, только тот мог так томительно устать.

Не нужно больше слов. Я в этом пленном мире,
Как странник обнищальный, завершаю путь;
В последний час открыть глаза пошире
И грудь утомленной раз еще вздохнуть.

[7]

Надо мерно идти, не спешить;
Плечи давит тяжелая ноша;
А на сердце все тише, все строже.
Так ведет бесконечная нить.

И с пути повернуть мне нельзя,
И не жду средь забытых ночлега...
Мимо едет со скрипом телега;
А душа моя — Божья стезя.

Даже нынче не мучает страх,
Хоть со мной ты, неведомый, вместе;
Ты приходишь, ко мне — не к невесте, —
А к познавшей свой путь в небесах.

И мой дух так смиренен и строг,
Сердце больше земного не хочет,
Оттого, что мне тайна пророчит:
Близок белый, слепительный срок.

[8]

И за стеной ребенка крик,
И реки ветра под небесным сводом,
И меж камней пробившийся родник,
К которому устами ты приник, —
Все исчезает, год за годом.

Нежданно ослепил слепящий, яркий свет
Мой путь земной и одинокий;
Я так ждала, что прозвучит ответ;
Теперь же ясно мне, — ответа нет,
Но близятся и пламенеют сроки.

О, тихий отзвук вечных слов,
Зеленой матери таинственные зовы.
Как Даниил средь львиных рвов,
Мой дух к мучению готов,
А львы к покорности готовы.

[9]

День новый наступил суров:
Все те же мысли, те же люди;

Над миром вознесен покров,
Во всех — тоска о вечном чуде.

И близится звенящий миг
Стрелою, пущенной на землю;
Какой восторг мой дух постиг,
Каким призывам тайным внемлю.

Вонзилась острая стрела
В земное сердце, в уголь черный;
Чрез смерть дорога привела
К последней грани чудотворной.

И видит взор бывшие сны
И помнит все бывшие знаки,
И ворота уж не тесны,
Бросающие свет во мраке.

[10]

Только б смерть не изменила.
Буду жить и буду знать
Тайну жизни и греха.
Только б смерть не изменила, —
И тогда — невеста, мать, —
Встречу ночью Жениха.

Только б час настал последний.
В долгий путь теперь иду;
Надо мной не властен страх.
Только б час настал последний.
В самом сладостном бреду
Вижу спутников в гробах.

Верю, верю, — будет отдых.
Всем дорогам есть конец;
Жизнь ведет минутам счет.
Верю, верю, — будет отдых.
Смерть тяжелый мой венец
В час последний разобьет.

[11]

А когда прижала книзу длань,
Длань Отца, каравшего, как мститель, —
Сердце, тихим и безумным стань,
Вечный делатель и вечный зритель.

Так тяжел был миновавший день;
Помнить ли всю боль и все потери?

Врезанный в плечо мое ремень
Распуцу у первой встречной двери.

Из дали, чрез голубой туман,
Распевает колокол негромко:
«Не дошла ты до желанных стран,
И не упадет с плечей котомка».

Тяжела земля мне в час глухой;
Как нести любовь, чужую ношу?
Этой ночью, гневной и лихой,
Я мой груз на перекрестке брошу.

Господи, кто слышит? Кто поймет?
Мне ль нести мою земную тяжесть?
На поля тяжелой длани гнет
Скоро, скоро черной тучей ляжет.

[12]

И стало темно в высоте;
За мглою, там правит Он суд.
К Нему по земной темноте
Два ангела душу влекут.

Упав с заповедных высот,
О, сердце, не зная, поверь:
Восток через бездну влечет,
Ничто не свершится теперь.

Назначил Господь миновать
Мне холод, и тьму, и холмы;
Как тяжко засов подымать,
Спускаясь до Отчей тюрьмы,

Принять предрешенную часть,
Познать мне назначенный грех,
И глубже, и ниже упасть
Людей всех и ангелов всех.

И мне ли незнающей быть?
И мне ль, уходящей от гор,
Сверкавшие сроки забыть
И синий небесный простор?

Иду, и туманы окрест;
Туманы слились в темноту,
Задержали пологом крест,
И вестников Божьих чету.

О, Господи, грех, — он мертвит;
Не дай умереть до конца.

За мглою, там рай Твой горит,
Там ждут неземного венца.

Как тяжка дорога к Тебе
Через искус забыть и уснуть;
Забыть о священной судьбе,
Уснуть, не вступая на путь.

[13]

Завороженные годами
Ненужных слов, ненужных дел,
Мы шли незримыми следами;
Никто из бывших между нами
Взглянуть на знаки не хотел.

Быть может, и теперь — все то же
И мы опять идем в бреду;
Но только знаки стали строже,
И тайный трепет сердце гложет,
Пророчит явь, несет беду.

Пусть будут новые утраты,
Иль призрак на пути моем; —
Все, чем идущие богаты,
Оставим в жертву многократы
И вновь в незримое уйдем.
Зачем жалеть? Чего страшиться?
И разве смерть враждебна нам?
В бою земном мы будем биться,
Пред непостижным склоним лица,
Как предназначено рабам.

[14]

Покорно Божий путь приму,
Забыв о том, что завтра будет;
И по неспетому псалму
Господь нас милует и судит.

Пусть накануне мы конца,
И путь мой — будний путь всегдашний,
И к небу мне поднять лица
Нельзя от этой черной пашни.

Не все ль равно, коль Божий зов
Меня застанет на работе?
И в будних днях мой дух готов
К преображенью темной плоти.

[15]

Схоронила всю юность мою;
Не нашла я, строитель, работу;
Ежедневную жизни заботу
Без печали и счастья пою.

И слова — «еще все впереди» —
Заменились словами — «все было».
Я скорбевшее сердце укрыла
Без любви у себя на груди.

В вышине проплывают года,
И душа ничего не забудет;
Только смерть не в прошедшем, а будет:
Уж известна моя череда.

И последний пред вечностью час
Обручит мою старость и детство;
Чую крыл золотистых соседство
На границе, единственный раз.

Тихо, дивно теперь умереть;
Отчего ж ты стоишь пред весами,
Вестник, посланный мне небесами?
Долго ль надо без скорби терпеть?

Крылья душу во мрак унесут,
Где рыданья, и скорби, и скрежет;
Вестник тихо пространства разрежет,
И начнется Божественный суд.

Знаю я, что не может с главы
Пасть без воли Твоей даже волос;
О, Судья, я довольно боролась, —
Не карай же безмерно рабы.

[16]

Кипит вражда; бряцают латы;
Кровавой раной зори в небе;
В цветах кровавых каждый стебель;
И близок, близок гость крылатый.

Вот жатвы, смятые врагами,
Вот, — на земле белеют кости;
И мы, сгорая в темной злости,
Их топчем конскими ногами.

И солнце, — пламеневший слиток, —
Погасло у последней грани,

Моря слилися в океане,
И свилось небо в пыльный свиток.

И женщина на льве пятнистом,
Гоня его ударом жезла,
Кометой огненной исчезла
За морем взрытым и бутристым.

Могилы древние открыты;
Настал последний, светлый холод.
Вот, Агнец-Бог за мир заколот,
Грехи былые Им избыты.

[17]

Тесный мир; вот гневный сев
Всклосился и разлил заразу.
Боле тучной жатвою ни разу
Не являлся людям Божий гнев.

Точно твердь поили не дожди,
А соленые Господни слезы,
Боронили молниями грозы,
Шли за плугом гневные вожди.

Ты послал, и мы Тебе покорны;
С этой жатвой все отдаст земля;
Все бери от чахлого стебля:
Все пропитанные кровью зерна.

В гневный год, к порогу Царства Славы
Жертвою хвалы восходим мы;
И звучат напутствием псалмы,
И блестят надмирной Церкви главы.

Духом подготовимся к исходу.
Возвещает все о сроках нам.
Верим Слову, вестникам и снам:
Ангел осеняет Силоам
И крылами возмущает воду.

Вестники

[1]

В окне взметнулся белый стяг зимы,
С полей далеких слышен звон метелей;
Так дни плывут, — неделя за неделей;
Путем незримым в даль уходим мы.

Я помню, помню меру и число;
Я помню вас, все спутники и братья;
Но не избыть мне древнего заклатья;
Очаг потух, забыто ремесло.

Я в путь пойду, и мерной чередой
Потянутся поля, людские лица,
И облаков закатных вереница,
И корабли над дремлющей водой.

Чужой мне снова будет горек хлеб;
Не утолит вода чужая жажды; —
Кто видел в небе вестников однажды,
Внимает медленным свершеньям треб.

[2]

Разве я знаю, что меня ждет?
Разве я вижу таинственный жребий?
Но снится и снится в пылающем небе
Надмирный, спокойный и вечный полет.

Мне снится дрожанье немеркнувших крыл,
Земля, за плывущими вдаль облаками;
Благословляю земными руками
Всех, кто живет и кто будет, кто был.

Ярки виденья; размерен мой шаг;
Сердцу грядущие чужды потери.
В чьи ж постучусь я закрытые двери?
Как угадаю, кто брат мой, кто враг?

Верю, надеюсь и знаю: придет
Час мой последний; и в откровеньи
Увижу ведущие к небу ступени,
Приму мой надмирный и вечный полет.

[3]

Верю, верю в ваши темные вещанья
В час, когда закат лилов;
Помню, помню проклятые обещанья
Несвершенных, давних снов.

Вестники мои, взметитесь в дали неба,
Возвестите взмахом крыл,
Что опять свершится вами в небе треба
Мертвым, тихим, тем, кто был.

И не веря в смысл свершенного обряда,
Смысл, неведомый живым,

Мы увидим среди облачного ряда
Всех кадьльниц альй дым.

В день грядущий дайте светлого причастья,
Дайте свиток всех чудес,
Чтоб узнала я под вашей мудрой властью:
Мертвый к радости воскрес.

[4]

Вестников путь неведом:
Где проплывут золотые моря,
Где за звериным следом
Будет вести огневая заря.

Но заревые знаки
Четко клеймят на земле все пути:
Птицы полет и злаки;
Знавшим нельзя от судьбы уйти.

Видевший зори — пленный;
Вестников знающий — на смерть идет.
Вечный и неизменный
Кружат над мертвой землею полет:

Ближе, и снова к небу;
Четки средь утренних облачных гряд,
Мертвым свершают требу,
Чтут неизвестный живущим обряд.

[5]

Это там вопрошали бойцы,
Там, где в час заревой
За высокой кормой
Ветер плачет:

«Кто измерит дорогой концы
Нашей темной земли?
Кто опять корабли
В путь назначит?»

Ветром полны, дрожат паруса;
Ангел поднял свой меч,
Чтобы волны рассечь,
Показать корабельщикам дали.

И за ними летят небеса,
Точно альй покров.
Выплывая на лов,
Моряки ни о чем не гадали.

Вот они подплывают ко мне;
Полог неба высок,
А сыпучий песок
Острым мысом врезается в море.

И высокий трубач на корме
Зазывает трубой.
Отражает прибой
Распростертые зори.

[6]

От пути долины, от пути средь пыли
Далеко уводит светлый, звездный путь;
Пусть могилы вечны, пусть страданья были, —
Радость ждет могущих вниз к былым взглянуть.

И хочу исчислить, и хочу вернуть я
Радость горькую нежданных, быстрых встреч;
Вспомнить безнадежность, вспомнить перепутья,
Осветить былое светом звездных свеч.

Я плыла к закату; трудный путь был долог;
Думала, что нет ему конца;
Но незримый поднял мне закатный полог
И послал навстречу светлого гонца.

Я к нему в обитель тихо постучала;
Он открыл мне звездный, мой последний путь.
И настал конец, и близилось начало;
И сдавила радость мне тисками грудь.

[7]

Везде — обряд священной службы;
Всегда — мной деемая треба, —
Путь по назначенным следам.
Не разделю любви и дружбы,
Огня, пристанища и хлеба
Ни с кем; и все чужим отдам.

И холод душу не пугает,
И тайна не внушает страха,
Забыта мной ночная жуть.
А спутник тихий не узнает,
Как свился желтый столб из праха
И пересек спокойный путь.

Сосредоточенней, яснее
Глаза, измерившие дали,
И низок братский мой поклон;

Но я никак забыть не смею,
Как груды праха тучей стали
И полонили небосклон.

А в сердце тайная тревога
Лишь о тебе, мой спутник милый;
Ведь это час последний мой.
Пойми, — дорог у Бога много;
Под легкою землей могилы
Мне будет сниться твой покой.

[8]

В последний день не плачь и не кричи:
Он все равно придет неотвратимо.
Я отдала души моей ключи
Случайно проходившим мимо.

Я рассказала, как найти мой клад,
Открыла все незримые приметы;
И каждый мне сказал, что он мой брат,
И всем дала я верности обеты.

Теперь томится дух — без сил и ног;
Теперь я только странник, тихий нищий;
В окно ко мне стучится злобный враг,
Чтоб я открыла дверь в мое жилище.

Да будет сердцу легок вечный путь,
Да будет пламенный закат недолог;
Найду и я в пути когда-нибудь
Нездешних солнц слепительный осколок.

[9]

На пыльной земле все то же,
Но я скитаюсь опять.
Вы не стали ни лучше, ни строже,
Но мне вас уже не понять.

Мой корабль озаряли дали,
И ближе казался срок;
Но паруса опали,
И не пылает восток.

И здесь, среди пыли дорожной,
Людей узнавая с трудом,
Мечусь я мечтою тревожной,
Ищу мой заброшенный дом.

Мои корабли все уплыли,
Далек огневеющий срок;

Усталая, жду я средь пыли
Земных, бесконечных дорог.

[10]

Разве можно забыть? Разве можно не знать?
Помню, — небо пылало тоскою закатной,
И в заре разметался вестников рать,
И заря им пророчила путь безвозвратный.

Если сила в руках, — путник вечный, иди;
Не пытай и не мерь, и не знай и не числи.
Все мы встретим смеясь, что нас ждет впереди,
Все паденья и взлеты, восторги и мысли.

Кто узнает, — зачем, кто узнает, — куда
За собой нас уводит дорога земная?
Не считаем минут, не жалеем года,
И не ищем упорно заветного рая.

[11]

Белый голубь рассекает дали,
Пламенеет огненный язык;
Вот на всех челах Святого Духа
Видима кровавая печать.
Господи, глаза мои устали,
Дух к томленьям смертным не привык,
И звучат слова святые глухо.
Разве я могу Тебя познать?

Только б сердце растеклось рекою,
Только б расколосся мой сосуд,
Только б мне, потерянной и нищей,
В час грядущий пред Тобой упасть.
К неземному, вечному покою
Волны тихо душу унесут;
Причастит меня нетленной пищей
Утешителя благая власть.

Пусть теперь средь холода и вьюги
В пляске мечется моя душа;
Пусть пугает новая утрата;
Пусть затеряна я в белой мгле; —
Так замкнувшись в бесконечном круге
И напрасно плача и спеша,
Встретила дарованного брата,
Просвещенного крещеньем на земле.

Война

Аз же, внегда они стужаху ми, облачахся во
вретище и смирях постом душу мою, и молитва
моя в недро мое возвратится.

Пс 34:13

[1]

Нам, верным, суждена одна дорога,
Но разный труд, но разные дела.
Война к последним срокам привела,
И мы впервые видим, как нас много.

Не мучит память, не пугает кара:
Мы будем взвешивать тяжелый груз греха
Перед судом иного Жениха,
Спокойно ждать торжественного дара.

Принять последний час душа готова,
Крещеньем огненным просвещена;
А впереди крылатая Жена
По слову Иоанна Богослова.

[2]

Средь знаков тайных и тревог,
В путях людей, во всей природе
Узнала я, что близок срок,
Что время наше на исходе.

Не миновал последний час,
Еще не отзвучало слово;
Но видя призраки средь нас,
Душа к грядущему готова.

За смертью смерть несет война;
Среди незнающих — тревога.
А в душу смотрит тишина
И ясный взгляд седого Бога.
И ум земной уже привык
Считать спокойно дни и ночи;
Забыл слова земной язык,
И время жизни все короче.

Где ж обагрится небосклон?
Откуда свет слепящий хлынет?
Кто первый меч свой из ножен
Навстречу битве чудной вынет?

[3]

Напрасно путник утра ждет
И отдыха напрасно ищет;
Осенний ветер в ушах поет,
Осенний ветер меж прутьев свищет.

Родятся дети средь забот;
Отходят старцы средь тревоги;
Сменяет все минувший год;
А путник тайны ждет о Боге.

Открыть порывам ветра грудь,
Смотреть вперед с тоской упорной;
Быть может, встанет кто-нибудь
На поворот дороги горной.

И будет он, как пламя, чист;
И будет он, как смерть, спокоен;
И даст истлевший жизни лист
Иных полей священный воин.

И вострубит с конца в конец;
Совьется неба пыльный свиток;
И мук немеркнущих венец
Убьет всех дней моих избыток.

И будет долог Божий суд,
И жизнь пройдет ненужно, даром,
И ангелы в тоске замрут
Пред сокрушающим ударом.

[4]

Все горят в таинственном горниле;
Все приемлют тяжкий путь войны.
В эти дни неизреченной силе
Наши души Богом вручены.

Мы близки нетленнейшей Невесте,
И над каждым тонкий знак креста.
Пусть, приняв божественные вести,
Будет ныне наша смерть чиста.

Только в сердце тайная тревога —
Знак, что близок временам исход;
О, Господь благой, колосьев много:
Кончи жатвою кровавый год.

Возвести часы суда и кары
И пошли Архангела с мечом;

Верим, — очистительны пожары;
Тело в алый саван облечем.

Разве нам страшны теперь утраты?
Иль боимся Божьего суда?
Вот, благословенны иль прокляты, —
Мы впервые шепчем: навсегда.

[5]

Так затихнуть — только перед бурей,
Только зная, что настанет час.
Господи, в слепительной лазури,
Ты за что меня избрал и спас?

Изнемог мой край, войной смятенный,
Каждый верит в слово: смерть;
Шепчет мой язык, сухой и воспаленный:
Душу ангела умилосердь.

Знаю я, — не пламенем пожара
И не гибелью в боях Твоих детей
Начинается мучительная кара
Ангелом взметаемых плетей.

Пусть смеется не забывший смеха:
Время не ушло, но близок час суда.
Разве жизнь еще живых — помеха
Ангелу, что шепчет: навсегда?

Перед гибелью застыло время;
Дух мой в паутине тишины.
Медленно возрастает брошенное семя
Позабытой и глухой вины;

Медленно возрастает колос мести;
Медленно взмывает ангел Твой крылом:
Он поет еще таинственной Невесте
На равнинах битв последний свой псалом.

Гулкий час, но скоро на исходе;
Плоть живая, веруй и молись.
В притаившемся пред бурю народе
Поднят крест спокойный ввысь.

[6]

Не прошу Тебя: помилуй, не карай;
Мера боли все еще далеко.
Еле выплывает тонкий край
Солнца, что подымется с Востока.

Всех больных, безумных и калек
Принимает родина любовно;
Праведный и грешный человек —
Каждый — сын ее единокровный.

Ты же научи ее не знать
И не верить, что близка награда:
Только без надежды любит мать;
Ничего ей от детей не надо.

Эта кровь — не жертва для Тебя;
Милость Ты от нас хотел, не плату.
Только верю, — Твой конец, трубя,
Даст спасенье гибнущему брату.

Этих вот, усталых, успокой,
Милуй юных, исцеляй увечных.
Можешь Ты всеильною рукой
Показать сиянье сроков вечных.

Обреченность

А ты просишь себе великого: не проси; ибо
вот, Я наведу бедствие на всякую плоть, гово-
рит Господь, а тебе вместо добычи оставлю
душу твою во всех местах, куда ни пойдешь.

Иер 45:5

[1]

Не в пристани еще ладья,
А солнце близится к закату;
Мы ждем лишь милость, а не плату,
Лишь смерть на родине, Судья.

Но ночью налетит туман,
И волны унесут далеко, —
От смерти, солнца и Востока
К пределам мгlistых, чуждых стран.

Ты запретил просить и ждать
Великих дел и дней великих;
Разбив наш челн, в пустынях диких
Ты кормщикам велел блуждать.

И Ты сказал: траву с полей
И плоть живую Я разрушу.
В добычу вам оставлю душу
На всех путях земли Моей.

[2]

Что скрыто, все сердце узнало;
И все поверяю достойным.
Дорога в метель увела.
Ах, если б могла, как бывало,
Поверить словам я нестройным
Иные пути и дела.

Средь холода вечной дороги
Сказать, что усталость земная
Земное мне сердце томит.
Что ангелы Божии строги,
Что в рощах небесного рая
Холодное пламя горит.

О Царстве пророчить мне больно
Тому, кто любимее мужа,
Кто спутник, и брат, и жених.
Напрасно шепчу я: довольно, —
Все та же звенящая стужа,
И так же все голос мой тих.

И ангелов грустные гусли,
И ветра унылые трубы
Звучат из седой глубины.
Расторгну ль запреты? Вернусь ли?
Как смогут холодные губы
Тебя целовать без вины?

[3]

Легкий час голубой;
От лучей на камнях позолота.
Наступает обещанный миг.
Ангел с гулкой трубой
Распахнул предо мною ворота;
Трепет радостный сердце настиг.

Средь спокойного бега планет,
В светлом рае, венчанна трикратно,
Вижу белый, холодный огонь.
На земле, средь тревоги и бед,
В ночь и мглу ускакал безвозвратно,
Разорвав удила, белый конь.

[4]

Смотрю на высокие стекла,
А постучаться нельзя;

Как ты замерла и поблекла,
Земля и земная стезя.

Над западом черные краны
И дока чуть видная пасть;
Покрыла незримые страны
Крестом вознесенная снасть.

На улицах бегают дети,
И город сегодня шумлив,
И близок в алеющем свете
Балтийского моря залив.

Не жду ничего я сегодня:
Я только проверить иду,
Как вестница слова Господня,
Свершаемых дней череду.

Я знаю, — живущий к закату
Не слышит священную весть,
И рано мне тихому брату
Призывное слово прочесть.

Смотрю на горящее небо,
Разлившее свет между рам;
Какая священная треба
Так скоро исполнится там?

[5]

За крепкой стеною, в блистающем мраке
И искры, и звезды, и быстрые знаки,
Движенье в бескрайних пространствах планет;
Жених, опьяненный восторгом и хмелем,
Слепец, покоренный звенящим метелям,
Мой гость, потерявший таинственный след.

Пусть светом вечерним блистает лампада,
Пусть мне ничего от ушедших не надо,
И верю: он песни поет во хмелю, —
Но песни доносятся издали глухо;
И как я дары голубинога Духа
Не с ним, не с ушедшим в веках разделю?

Мой дух истомился в безумье знакомом;
Вот кинул ушедший серебряным комом
В окно; и дорога в метель увела.
Смотрю за стекло: только звезды и блестки.
Он снова поет на ином перекрестке.
Запойте же золотом, колокола.

[6]

Не знаю, кто будет крещен
Последним земным крещеньем.
Навеки наш взор обращен
К блистающим нам извещеньям.

Но с кем мне дано пировать
На тризне по тленном величье?
Зеленую мать погребать
В последнем и смертном обличье?

Последние сроки горят
И мечется по небу вестник;
На мне белотканый наряд,
Я вестника светлого крестник.

Сжигает душистый елей
Чело мне помазаньем крестным;
Средь этих известных полей
Все сожжено неизвестным.

Мой колокол бьется: спеши
К причастью Божественной Плоти.
Я жду обнищалою души,
Зову к богоданной работе.

Он встанет, он встанет опять,
Уснувший с землей непробудной,
Чтоб воинский меч свой поднять
Для битвы священной и чудной.

[7]

Да, каждый мудр, и чудотворец каждый:
Всем вечным спутникам моим хвала.
Я верю: изойдет водой скала,
Когда мы будем погибать от жажды.

Я верю: мы идем, причастны чуду,
Единым словом можем вызывать
Небесных духов яростную рать.
Но знаю: я творить чудес не буду.

Зову, зову я пахаря от плуга,
И от возлюбленных — земных невест;
Зову поднять тяжелый крест,
Забьть отца, и мать, и друга.

И знаю я: рыбаки оставят сети
На желтых берегах своей реки;

Все в путь пойдут: калеки, старики,
И женщины, и юноши, и дети.

[8]

В небе, угольно-багровом,
Солнце точит кровь мою;
Я уже не запою
Песни о свиданье новом.

Нет возврата, нет возврата;
Мы на кладбище чудес;
Видишь, омывает лес
Свой простор в реке заката.

Видны резко начертанья
Даже на твоем челе;
Все мы на одной земле,
Всем пророчило сказанье.

Вынимай уж нож точеный,
Жертвенную кровь пролей,
Кровь из облачных углей,
Вольный, вольный, обреченный.

Будь могучим, будь бессильным, —
Кровь твоя зальет закат
И венец земной, мой брат,
Заменит венцом могильным.

[9]

Я силу много раз еще утрачу;
Я вновь умру, и я воскресну вновь;
Переживу потерю, неудачу,
Рожденье, смерть, любовь.

И каждый раз, в свершенья круг вступая,
Я буду помнить о тебе, земля;
Всех спутников случайных, степь без края,
Движение стебля.

Но только помнить; путь мой снова в гору;
Теперь мне вестник ближе протрубил;
И виден явственно земному взору
Размах широких крыл.
Но знаю, — будет долгая разлука;
Неузнанной вернусь еще я к вам.
Так; верю: не услышите вы стука,
И не поверите словам.

Но будет час; когда? — еще не знаю;
И я приду, чтоб дать живым ответ,
Чтоб вновь вам указать дорогу к раю,
Сказать, что боли нет.

Не чудо, нет; мой путь не чудотворен,
А только дух пред тайной светлой наг,
Всегда судьбе неведомой покорен,
Любовью вечной благ.

И вы придете все: калека, нищий,
И воин, и мудрец, дитя, старик,
Чтобы вкусить добытой мною пищи,
Увидеть светлый Лик.

[10]

Меня не время утомило,
И руки могут сделать много,
Глаза не слепнут, чуток слух.
Но выжигает сердце сила
Ведущего к бессмертью Бога,
Его святой, мятежный Дух.

И как принять Его достойна?
Быть мудрою и быть безумной,
И петь внушенный мне псалом?
Земное сердце неспокойно;
Трепещет в небе Голубь шумный,
Блестает пламенным крылом.

Нет, не мои слова отныне,
Не этих рук прикосновение,
Не мой земной смятенный ум,
А вестник неба и святыни,
Вкусивший тайны откровенья,
Предвечный, гулкий, вещий шум.

А надо мной все то же небо,
А рядом те же, те же лица;
Земля свой мерный круг ведет.
Как знать, где завершится треба?
Куда испуганная Птица
Направит завтра свой полет?

[11]

Прихожу к нищете и бездолю,
Всю прошедши дорогу греха;
Помнить мертвенный лик Жениха
Я могу только с тайною болью.

Как несутся года надо мною;
Сколько минуло горестных встреч;
Как могла я Твой облик сберечь,
Приближаясь навеки к покою.

И забыв имена и обличья
Всех, кто некогда мною владел,
С тайной болью я вижу предел,
Где Твое воссияло величье.

[12]

Вела звериная тропа
Меня к воде седой залива;
Раскинулась за мною нива;
Колосья зрелы, ждут серпа.

Но вдруг тропу мне пересек
Бушующий поток обвала,
За ним вода дробясь бежала,
Чтоб слиться с бегом тихих рек.

И я, чужая всем средь гор,
С моею верой, с тайным словом,
Прислушалась к незримым зовам
Из гнезд, берлог земных и нор.

Я слышала: шуршит тростник,
Деревья клонят низко ветки,
Скользит паук по серой сетке;
Так тайну тайн мой дух постиг.

Как будто много крепких жил
Меня навек с землей связало;
Как будто в бешенстве обвала
Мне рок свой образ обнажил.

И то, что знает каждый зверь,
Так близко мне, так ясно стало,
С событий пелена упала:
Судьба, закон; словам не верь.

[13]

Новых венцов не сковать,
Явленных волею Божей;
Скоро ль устанет блистать
Змей золотистою кожей?

Свился кольцом вокруг меня,
Смотрит в глаза не мигая;

В небе несется звеня
Птиц перелетная стая.

В море плывут рыбаки,
Закинуть за рыбою невод.
Куда ж я уйду от тоски
И от змеиного гнева?

[14]

Когда мой взор рассвет заметил,
Я отреклась в последний раз;
И прокричал заутро петел,
И слезы полились из глаз.

Теперь я вновь бичую тело;
Обречена душа; прости.
Напрасно стать земной хотела, —
Мне надо подвиг свой нести.

Мечтать не мне о мудром муже
И о пути земных невест;
Вот с каждым шагом путь мой уже,
И давит плечи черный крест.

Под ним паду. В дорожной пыли
Пойму, что нет пути назад;
Сердца безумные застыли
Под бременем земных утрат.

Спутники

[1]

Бездумное сердце не ищет тревог,
Не помнит разлуки;
Ведут мою лодку в кипучий поток
Спокойные руки.

Так громко поет и бормочет вода
И хлещет волною;
Так я без дорог, без пути, без следа
Приблизусь к покою.

О, кто этот путь до меня проходил
К закату с востока?
Среди молчаливых, бескрестных могил,
В морях, одиноко.

И призрак-корабль над волнами встает
Крутою кормою,
И вечным призывом в туманы плывет,
К покою, к покою.

И кормщик тихий стоит у руля;
Я знаю: он видит,
Что скоро из моря иная земля
Навстречу к нам снидет.

Что скоро войдем мы в спокойный залив
И врежемся грудью
В раздолье сбегających к берегу нив;
Причтемся безлюдью.

[2]

Как сладко мне стоять на страже;
Сокровище неисчислимо,
И я всю ночь над ним не сплю.
А мой маяк пути укажет
Всем рыбакам, плывущим мимо,
И между ними кораблю.

И тот, кто ночью у кормила
Ведет корабль средь волн и пены,
Поймет спящий, белый луч.
Как много лет я клад хранила;
Без горечи, без перемены
С крестом носила ржавый ключ.

Тремя большими якорями
Корабль в заливе будет сдержан,
Чтобы принять тяжелый груз.
Какими он проплыл морями?
В какие бури был он ввержен?
Где встретил мертвый взгляд Медуз?

Но кормщик тихий не расскажет,
Куда теперь дорогу правит;
Не разомкнет спокойных уст;
Мой клад канатами увяжет
И ничего мне не оставит; —
Я только страж; вот дом мой пуст.

[3]

Медленно пламень погас.
Я ль не искала упорно

Взгляда невидящих глаз?
Перед тобой столько раз
Я ль не склонялась покорно?

Млечный, таинственный путь
Дымится в безоблачном небе.
Ушедшим с него не свернуть.
Мне страшно на звезды взглянуть,
Увидеть назначенный жребий.

Лаврентия льется поток;
Доколе звезда не скатилась,
Шепчу, чтоб исполнился срок,
Чтоб ты преступил мой порог,
Чтоб сердце, как некогда, билось.

Потом я могу вспоминать,
Чтоб медленно пламя погасло,
И трепетно, схимница-мать,
В светильник свой вновь наливать
Неугасимого масла.

[4]

Снова можно греться у печей;
Вижу; — на неясном языке
Сложены слова среди огня.
Я на утре трудового дня
Помню, как шептал он вдалеке,
Верю в силу клятвенных речей.

Тот же сон в младенчестве томил;
Треск от дров и солнца полоса,
Удлинившая квадраты рам;
В каждом деле, непонятном нам,
Совершались часто чудеса,
Не было на кладбище могил.

И не в нашей силе воскресить
И прочесть священные листы,
И не так теперь горят дрова;
Только есть волшебные слова:
Строят через пропасти мосты,
Связывают порванную нить.

Искупитель

[1]

Как тяжело на пути земном,
Среди туманов бездорожья
Услышать имя, имя Божье,
И тосковать о нем одном.

Но принимать мой дух готов
Писанье, — людям Божью ласку, —
О том, как на пути к Дамаску
Услышал Савл Господний зов.

И зрячий, он тогда ослеп,
Чтоб видеть мир преображенный;
Упал, крещеньем пораженный,
Чтобы вкусить причастья хлеб.

Забыв гоненья и вражду,
Позвал Господь слепого: Павел.
Мой дух к Дамаску путь направил
И зова Божьего я жду.

[2]

И жребий кинули, и ризы разделили;
И в час последний дали желчи мне испить.
О, Господи, Ты знаешь, я ли буду в силе
Своею волей ужас смерти победить?

Внизу глумится над моим мученьем воин;
Собрались люди у подножия креста;
Сочится кровь из ран моих; а дух спокоен;
Ночь многозвездная глубока и чиста.

Земля уснула; месяц стал дугой щербатой.
И вот с последней и предсмертной высоты
Везде мне видимы, забытой и распятой,
Такие, как и мой, проклятые кресты.

[3]

Какие суровые дни наступили:
До дна мы всю горькую чашу испили
И верим, что близок блистающий срок.
Господь мой, прими же теперь искупленье:
Не в силах нести мы бывшее томленье
Средь новых и грозных тревог.

О, черный Твой крест, он нас мучит и давит,
Молитва и пост от страстей не избавит,
Бездумное сердце не хочет забот.
И час отречения все ближе и ближе;
О, знающий тайны, Ты видишь: приди же,
Единый и верный оплот.

Горим; рассветает; и мы не сгораем;
Плененны забытым, неведомым раем,
Мы видим везде его призрачный свет.
Придет Искупитель? Иль будет все то же?
Я вижу, Ты смотришь спокойней и строже;
Так; знаю: надежды нам нет.

[4]

Ветер плачет в трубе;
Ангел скрывает лик;
Дым воздыханий достиг,
Боже Владыка, к Тебе.

Погребаем Тело Иисуса.

Хлеб с Твоих нив и вино —
Сыновнее Тело и Кровь,
Жертвенная любовь;
Сердце обогрено.

Погребаем Тело Иисуса.

Вечная Дева и Мать
И тайноведа Иоанн
Склонились у ран,
Пришли погребать.

Погребаем Тело Иисуса.

[5]

Волосы спускаются на лоб;
С язвами кровавыми ладони;
Кровь с водой сочится из ребра.
Господи, Ты там, на Отчем лоне,
Сделай так, чтоб опустел мой гроб,
Гроб мой из литого серебра.

Холодом измучена душа;
Крест Твой, — он навеки обрекает,
И его душе забыть нельзя.
Разве кто-нибудь из верных знает,
Как ведешь Ты мерно, не спеша,
Вечная, единая Стезя.

Искупитель! Смертью смерть поправ;
Древний враг бессилен и поруган;
Побежденный, прячет жало ад.
Отчего ж мой дух земной испуган?
Неужели час чудес настал?
На земле ль уже священный град?

[6]

Избороздил все нивы плуг.
Борозды, как земные ребра,
Обнажены трудами рук
Мозолистых, Оратай добрый.

И вновь сегодня, как всегда,
По пастбищу, сквозь дождик частый,
Медлительно идут стада
Овец и коз, о добрый Пастырь.

Вдали, в монастырях Твоих,
Собралось тихих братьев трое;
А Ты четвертый был среди них, —
Незримо вел часы покоя.

На всех излучинах дорог,
На перекрестке всех тропинок
Встречается распятый Бог,
Как тихий странник, или инок.

О всех обидах и ярмах
Душа не вспоминает наша,
Когда блеснет в Его руках
Глазам бескровной Жертвы чаша.

[7]

Совершится священная встреча
На земле оскуделой и нищей.
Покидаю земное жилище,
Потому что познавший — предтеча;
Ухожу я в пустыню, далече,
Без питья, и одежды, и пищи.

Слышу звуки голодного писка
Всех птенцов, что оставлены в гнездах;
Ночью небо в рассыпанных звездах
Над пустыней склоняется низко.
Я пришла, чтоб закончить мой искус
Здесь, где сух и томителен воздух.

Заколите для гостя ягненка
И зовите на праздник субботний
Всех, кто был Ему верный работник.
Зов несется протяжно и звонко.
Примет старца, калеку, ребенка,
Грешниц, нищих, — неведомый Плотник.

[8]

Огнем Твоим поражена,
В путях навек Тебе покорна,
Я только слабая жена;
Твоя ж дорога чудотворна.

Но Ты меня послал призвать
Всех заколдованных метелью;
Я к ним в дома вхожу, как мать,
Шепчу зарок над колыбелью.

Меня прогонят снова прочь
Их жены, матери и сестры:
Зачем со мной земная дочь?
Не плачу я от боли острой?

Поймите, нечему болеть:
Ведь вместо сердца уголь черный.
Закинул Бог на землю сеть, —
И я в ловитве чудотворной.

Пред вами не моя вина:
Чужую власть я завершаю.
Я — только слабая жена,
Его ж пути приводят к раю.

[9]

Под бременем Божьего ига
Мне даже устать нельзя.
Раскрыта священная книга,
Меж строчек — моя стезя.

Я вижу, как древних пророков
Исполнены все слова,
И знаю сверкающих сроков
Законы, нужду и права.

И вестник неведомых таин
Сияет уже вблизи;
А я все в пыли у окраин
Моей богоданной стези.

Сегодня все мертвые встали
И обгоняют меня;
Живые, вы не угадали
Все признаки Судного дня.

[10]

Бодрствуйте, молитесь обо мне,
Все, держащие души моей осколок;
Ныне час настал, и путь уже недолог;
Все свершается, что виделось во сне.

Дух в томленьи смертном изнемог;
Братья крепким сном забылись;
Час настал; дороги завершились;
И с душой моею только Бог.

Господи, мне страшно пред Тобой предстать:
Как вкусить, заблудшейся и нищей,
От Твоей всегда нетленной пищи?
Как принять Твою мне благодать?

[11]

Господи, среди звезд, Тебе покорных
И блюдущих строго череду,
Как же я мою звезду найду,
Знаменье деяний чудотворных?

Все знакомым вознеслись узором;
И напрасно ожидает глаз
Ту, что просияла в первый раз,
Что видна лишь просветленным взорам?

Неужели на земле усталой,
Где мой дух томится, наг и нем,
Высится священный Вифлеем
И окрашен путь звездою алой?

[12]

На праздник всех народов и племен
Ты тоже, мой народ богоизбранный,
Придешь, как шел, нищ и с котомкой странной,
Еще не свят, еще не искуплен.

В родные борозды бросая сев,
Трудился без вопроса, без отказа;
Но по полям твоим прошла зараза,
И все смешал нежданно темный гнев.

Ты мздовоздатель волею судьбы;
Даны тебе весы, дана секира, —
И с грешных плеч срывается порфира,
И рубятся старинные гербы.

Так ты готовишься, чтобы предстать на суд.
С тобой приблизятся к подножью трона
Все слуги вражьи мстителя дракона
И подвиг твой пред Богом проклянут.

И скажут: «Нивы больше не родят,
Амбары пусты и не пашут сохи
Ленивых пахарей, что просят крохи,
Одев на плечи нищенский наряд».

И дальше: «Ты вручил им суд и меч;—
Они ж не различают зла от блага,
Идут, как велено, не прибавляя шага,
Чтоб от огня соседний дом сберечь».

Их укачали средь родных равнин
Пестуны старые, седые вьюги;
До смерти — дети; не ищи заслуги
В смиренье или вере, Господин».

И ясноглазый выступит старик
И скажет: «Боже, прав он: мы не знаем,
Чем оправдать себя пред светлым раем,
Никто из нас и правду не постиг».

Когда велел Ты, мы растили хлеб,
Чтоб было чем кормиться детям, женам,
Потом судили по Твоим законам,
Не знаем как: ведь каждый в мире слеп».

[13]

Премудрый Зодчий и Художник,
Сын вечно вечного Отца,
Христос, мой Подвигоположник, —
Не видно дням земным конца;

И этот мир еще ни разу
Мне родиной второй не стал;
И дух лишь тления заразу
С горячим воздухом вдыхал.

Отдавши дни глухой заботе,
Следя, где сеет зерна тать,
Преображенья темной плоти
Мучительно и трудно ждать.

Но память сберегла обеты
И слово тихое: смирись;
И на пути земном приметы
Дороги, что уводит ввысь.

Преображенная земля

[1]

Взлетая в небо, к звездным млечным рекам,
Одним размахом сильных белых крыл,
Так хорошо остаться человеком,
Каким веками каждый брат мой был.

И в даль идя крутой тропею горной,
Чтобы найти заросший древний рай,
На нивах хорошо рукой упорной
Жать зреющих колосьев урожай.

Читая в небе знак созвездий каждый
И внемля медленным свершеньям треб,
Мне хорошо земной томиться жаждой
И трудовой делить с земными хлеб.

[2]

Рано стало темнеть;
Этот год трудовой на закате.
О земной ли заплачу утрате?
Иль боюсь умереть?

Догорает закат.
На душе с каждым часом все тише;
Лишь комар зазвенит; или мыши
У окна прошуршат.

Научила нас мать
Собирать уж умершие корни;
День от дня безответней, покорней,
Мы умеем не ждать.

И с какою тоской
Мы бросаем заветные зерна,
Принимаем бездолье покорно,
Верим в вечный покой.

А вечерняя жуть
Паутиной заткала нам очи.
Хорошо средь медлительной ночи
Все забыть и уснуть.

[3]

Дух мой, плененный неведомой силой, —
Сном или бредом, —
Уводит из жизни, и тленной и милой,
Таинственным следом.

Родимый язык мой, — от предков наследство, —
Звучит мне невнятно;
И все, что любила я с первого детства,
Душе непонятно.

Но недра земли, и высокие горы,
И звери, и злаки,
Морские пучины и неба просторы —
Все тайные знаки.

И знакам таинственным чутко я внимлю,
В душе сочетая
Усталую, тихую, черную землю
С равнинами рая.

[4]

И около спокойной смерти стоя,
Душа не перестала улыбаться.
Я верю, что пути все завершатся,
Что ищем мы последнего покоя.

И помню, как покрыл меня крылами
Иных полей, кровавых, тихий воин.
С тех пор мой шаг размерен, взор спокоен,
С тех пор я лишь недолгий гость меж вами.

Круговорот души, года в мгновенье,
Рожденье, смерть, пути земли в эфире,
И грех земной, — на вольном сердце гири, —
Все только отраженья, только тени.

И не спешу идти я, с роком споря,
И жизни ноша тяжкая легка мне,
И как родник, пробившийся из камня,
Я воды донесу к просторам моря.

И житница небес, — зеленая планета,
И вечный свет созвездий, бледных блестков,
Восторг пути, восторги перекрестков, —
Вот книга бытия, слова завета.

[5]

За тонкою перегородкой
Так ясно слышен тихий бред.
В такую ночь от слез и бед
Не охранит и образ кроткий.
На жизни легкой и короткой
Лежит неизгладимый след.

Что шепчет он, сосед незримый?
Ночную мудрость не узнать;
Мне снова надо утром встать,
Пройти опять без боли мимо;
Ты можешь быть неумолима,
Моя земля, — и враг, и мать.

И снова шепот слышен слева;
В ушах звенит, звенит покой.
Мать в жизнь ввела меня слепой.
Покинув тишь родного чрева,
Я слышу ночь без сна и гнева,
А днем иду своей тропой.

Вся спутана твоим покровом,
Вся предана твоей судьбе, —
Я знаю, — нищей и рабе
Дано дышать пространством новым
И быть водимой тихим словом:
«Одним — покорность, — не тебе».

[6]

Небесного веретена
Свет, как тончайшая пряжа;
Скоро вдоль комнаты ляжет
Косыми лучами луна.

Точит медлительный век
Та же, все та же работа;
Вижу или снится, что кто-то
Лунный поток пересек?

Слышу иль кажется мне,
Что кто-то вступил на ступени?
Причудливо черные тени
Всплывают на лунной стене.

И шепчет, и шепчет в тиши,
Склонился седыми крылами:
— «Я здесь, на земле, между вами;
Довольно работать, спешите».

— «Я рада, я рада, Господь;
Надеяться сердце устало;
Но как мне, еще не узнала,
Предутренний сон побороть».

Впервые в священную явь
Облекся чуждавшийся плоти;
К иной, несказанной работе
Ты путь мой сегодня направь.

Уколов на пальцах не счесть,
И пряжи готовой не смерить;
Как больно и дивно мне верить
В Твою несказанную весть».

На улицах сонный покой;
Часы разогнали дремоту.
Берусь я опять за работу
Привычной и верной рукой.

[7]

Полей Твоих суровый хлебороб
В вспоенной потом борозде не волен;
На благовест далеких колоколен,
Оставив плуг, перекрестит он лоб.

Как велено, как надо, бережет
Наследственную колыбель-могилу,
В полях по каплям источает силу,
Трудами приближая Твой приход.

Уж побелел на нивах урожай,
И с неба серп для скорой жатвы брошен;
Пока не будет каждый колос скошен,
Не спустится на землю тихий рай.

А взявший плуг не смотрит пусть назад:
Его трудом не быстро зреют сроки.
У виноградаря налились соки
В готовый для точила виноград.

И нам повелено; и мы берем
Свой плуг, как два прилежных хлебороба;
С трудами мы смиренно примем оба
Надежд и клятв торжественный ярем;
Мы примем, чтоб нести его до гроба,
До встречи с Косарем.

[8]

Земле все прегрешенья отпустили
Лукавых помыслов, и дел, и слов;
Лежит крыло Твоей епитрахили —
Снег, — нежно голубеющий покров.

Вся в смерти; а лукавое и злое
Исчислено и отдано на суд;
От голубого вечного покоя
Лишь отделяют несколько минут.

Как шелестят Твоей одежды складки,
О отпускающий грехи Судья;
К умершим подплывет дорогой краткой
В лазури нежной белая ладья.

Ты, Господи, вручил ключи от Царства
Умелым кормщикам; мы будем там;
Лишь бы смиренно претерпеть мытарства
И дать свой труд родимым бороздам.

Кто соберет посеянные зерна?
Умрет земля и сеятель умрет.
Мы можем ждать бездумно и покорно,
Что наша лодка уплывет вперед.

[9]

На востоке — кресты и сиянье;
Здесь — нельзя темноты превозмочь.
У тебя попросить подаянья
Хочет, родина, блудная дочь.

Все растрчено; нету заслуги
Не запятнанной темным грехом;
Лишь пестуны родимые, вьюги
Ждут венчанья еще с Женихом.

Но кольца моего уж не надо
Жениху пяти праведных дев;
В брачном доме сияют лампы,
В свете утра слегка пожелтев.

Как недолго я верность хранила:
В ночь недужную свет мой погас,
И исчезла заветная сила
Пред рассветом, в торжественный час.

Где ты, родина-мать, затерялась?
Ни в одной не сказали избе,
Как ждала ты меня, не дождалась
И вручила с молитвой судьбе.

Птица крикнет; бегу от испуга.
В снеге вязну; нельзя не устать.
От Сибири до самого юга
Снеговая раскинулась гладь.

Только мимо равнины безлесной
Часто, часто бегут поезда;
Да горит на границе небесной
Красным светом фонарь иль звезда.

Да в деревне уснувшей, в соседстве,
Заливается пес до утра.
О твоём ли заплачу наследстве,
Что развеяли в степи ветра?

Люди, спутники, землю измерьте, —
Все равно не найти тишины,
Все равно мне не встретить до смерти
Друга, сына родимой страны.

[10]

От ангелов Ты умалил
Немногим нас; Тебя мы знаем.
И связаны холмы могил
С Твоим неизреченным Раем.

Но только в ночь приходит тать,
Чтобы взглянуть на восходы плевел;
Как страшно; мы могли узнать, —
Ты грозен в правосудном гневе.

И чужья Твой грядущий гнев,
Мы отделяем от пшеницы
Руки проклятой черный сев,
Чтоб быть готовыми к деннице.

И только брат, что младше нас,
Поет Тебе молитвы звонко:
Он заколот (в который раз?)
Тебе субботнего янгенка.

Он говорит, глядясь в туман:
«Вы видите Господни ризы?
Идет Господь из дальних стран,
Покрыт налетом пыли сизой».

И мы спешим сложить в костер
Все вырванные нами корни.
Господь грядущий распростер
Над нами тишь равнины горней.

Последние дни

Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник
Мой, Мною посланный? Кто так слеп, как воз-
любленный, так слеп, как раб Господа?

Исаия 42:19

...И не постигнешь синего Ока,
Пока не станешь сам, как стезя.
Пока такой же нищий не будешь,
Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,
Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь
И не поблекнешь, как мертвый знак.

Блок «Нечаянная радость»

[1]

Господи, душе так близки чудеса.
Нивы и волов с скрипучими возами,
Алую лампаду перед образами
Ныне окропила тихая роса.

И волы, и нивы, и голодный пес,
Сумрак в комнате и алая лампада, —
Все мне говорит: душе смириться надо;
Чудо тихое грядущий день принес.

Господи, не Ты ли сам острил мой плуг?
И не Ты ль всегда вонзал мою лопату?
И не Ты ль ответил страннику и брату:
«Раздели со мною кров и пищу, друг?»

Господи, не оставляй меня в ночи,
Утомленною, голодной и босою,
Окропи меня прохладною росой,
В душу, как усталый путник, простучи.

[2]

Встает зубчатою стеной
Над морем туч свинцовых стража.
Теперь я знаю, что я та же
И что нельзя мне стать иной.

Пусть много долгих лет пройдет,
Пусть будет волос серебриться, —
Я, как испуганная птица,
Лечу; и к дали мой полет.

Закатом пьяны облака,
И солнце борется с звездою;

Над каждой взрытой бороздою
Все то же небо; так века.

И так века взрывает плуг
Усталые от зерен нивы,
И так века шумят приливы,
Ведет земля свой мерный круг.

И так же все; закрыть глаза,
Внимать без счастья и без муки,
Как ширятся земные звуки,
Как ночь идет, растет лоза.

Идти смеясь, идти вперед
Тропой крутой, звериным следом;
И знать, — конец пути неведом;
И знать, — в конце пути — полет.

[3]

Не надо всех былых времен,
И новых знамений не надо;
В тисках работы дух пленен
Здесь, на полях земного сада.

Я выполняю Твой урок,
Бог многомилостивый, щедрый;
Ты Сам назначил долгий срок
И углубил земные недры.

Я верю, — в дни, когда Ты Сам
Трудился здесь, как скромный плотник,
Тобой приближен к небесам
Был каждый брат, — земной работник.

Ты освящаешь ремесло
Трудящемуся тихо брату;
И челн, и сети, и весло,
Соху, рубанок и лопату.

[4]

Много путников прошло; не постучалось;
Многим я сама навстречу выходила;
Но опять свершалось все, как прежде.
Рассветало; скоро ночь кончалась;
И меня звала неведомая сила
День от дня к покою и надежде.

Уж с полей весь хлеб свезен и смолот;
Пыль свивается туманом на дороге;
Желтая заря горит за облаками.

Может быть, когда настанет холод,
Постучится в дверь ко мне убогий
Посиневшими от холода руками.

Голуби не водятся под крышей,
И не слышно на дворе моем собаки;
Горный дом давно уже заброшен.
Знаю я, что там, поднявшись выше,
Видны над жильем забытым знаки,
Осенью, когда последний колос скошен.

[5]

Вновь плен томительный; и вновь
Душе и жизнь, и смерть далека;
А с осиянного востока
Всплывает солнце, — гнев и кровь.

Молчи, молись, забудь, не знай,
Склонись, бездумный, ниже, ниже;
Тяжелый ветер тихо лижет
Твоей одежды пыльный край.

Да не вменится темный грех
Тому, кто испытал соблазны.
Влекумы мы дорогой разной,
Но оба мимо тех же вех.

И над тобой ли плакать мне,
Поверившей в твой светлый жребий?
Смотри: на этом мутном небе
Всплывает солнце в вышине.

[6]

Донесу мою тяжкую ношу,
Потому что Ты это велел;
Груз томительных, будничных дел
До последнего часа не брошу.

Повелел Ты измерить дороги
И всю черную землю вспахать;
Как же руки тут смогут устать
И в колючках израниться ноги?

В черных глыбах заветные зерна,
Не исчислен еще урожай;
Вижу в снах Твой сияющий рай,
И проснувшись, всему я покорна.

И работая, жду я заката,
Чтобы больше не видеть восход,

Чтобы больше не числить забот
И понять, что мне нету возврата.

[7]

Тружусь, как велено, как надо;
Ращу зерно, собираю плод.
Не средь равнин земного сада
Мне обетованный оплот.

И в час, когда темнеют зори,
Окончен путь мой трудовой;
Земной покой, земное горе
Не властны больше надо мной.

Я вспоминаю час закатный,
Когда мой дух был наг и сир,
И нить дороги безвозвратной,
Которой я вступала в мир.

Теперь свершилось: сочетаю
В один и тот же Божий час
Дорогу, что приводит к раю,
И жизнь, что длится только раз.

[8]

Куда мне за вами лететь
Средь облачных гряд?
Засохшую, черную ветвь
Огнем попалят.

И только принесшая плод
Останется здесь.
Времен незаветный исход
Свершается весь.

Под облаком, как журавли,
Летите на юг;
Среди богоданной земли
Свершайте свой круг.

А мне мое поле пахать
И травы косить,
И в небе увидевши рать,
За нею следовать.

Кричат, словно сеют свой яд,
Зовут и зовут.
Нам разный назначен обряд:
На нивах мой труд.

[9]

В земную грудь войти корнями,
Земной корнями выпить сок
И мерить время только днями;
Забывать, не зная, что близок срок.

Так. Пусть ведет опять дорога
За грань небес, к иной звезде, —
Прозябнут зерна, — много, много,
Во взрытой, черной борозде.

И пусть простор земной, нам тесный,
Минутой больно сдавит грудь, —
В простор иной, в простор небесный
Не повернет тоска наш путь.

Земные дети, плоть от плоти,
Поток земных, единых сил,
Мы спали с ней в ее дремоте;
Земной нас голос разбудил.

Питая всех деревьев корни,
Лелея зерна средь полей,
О мать, ты солнца чудотворней
И звезд пылающих мудрей.

[10]

В небо, к стаям ястребиным,
В море, к волнам на простор,
К хлебным золотым равнинам
Или в синий сумрак гор, —

Да, куда тропа земная
Ни вела б меня теперь, —
Я сынам земным родная,
Брат мне — каждый дикий зверь.

В небо чуждое не манит
Путь к пылающей звезде:
Здесь зерно звездой канет
В каждой взрытой борозде.

И земля, — но не планета,
А земной единый мир, —
В синий плащ небес одета,
Будет править долгий пир.

[11]

Наложили на душу запрет
И сказали: живи же.
И к земле наклоняюсь я ниже,
Забываю слепительный свет.

День за днем исчезает вдали;
Именуется год урожаем;
Я и братья с трудом обнажаем
Острым плугом глубины земли.

Тот, Кто солнце зажег в небесах,
Оросил наши нивы так щедро,
Бросил зерна в заветные недра, —
Нам не явлен еще в чудесах.

Но меж строчек и слов Его книг,
В череде этих ясных событий,
Светлый путь бесконечных открытий
Дух мой с трепетом сразу постиг.

Принимаю с любовью мой дом
За земною оградой сада,
Потому что я знаю: так надо,
Чтобы все сочеталось в одном.

[12]

Рядом пономарь горбатый
Каждый час звонит в колокола,
Чтоб дорога вдоль по ниве сжатой
К нам усталого на отдых привела.

К пристани привязаны канаты,
И на привязи — корабль без парусов,
Будто пленный воин, снявший латы,
Будто страж, что к бою не готов.

Колокольного тоскующего звона
И прибоя волн душе не перенести;
Боже, верю я, — во время оно
Этим же путем пришла святая весть.

[13]

Пусть будет день суров и прост
За текстами великой книги;
Пусть тело изнуряет пост,
И бичеванья, и вериги.

К тебе иду я, тишина;
В толпе или на жестком ложе,
За все, где есть моя вина,
Суди меня, Единый, строже.

О, Ты — спасенье, Ты — оплот;
Верни мне, падшей, труд упорный,
Вели, чтобы поил мой пот
На нивах золотые зерна.

[14]

Вечером родился человек;
Ночью мать пошла искать дороги,
И фонарь в руке ее погас.
Спутники же — несколько калек,
Нищий старец, тихий и убогий, —
Ждали, что придет рассвета час.

Спал ребенок у родной груди,
Теплыми лохмотьями укутан,
И во сне размеренно дышал;
Старец шел с клюкою впереди
И ворчал, что путь в горах запутан,
Что не видно света между скал.

А когда они устали ждать
И пылало солнце на востоке, —
Спали все: калеки и старик,
Под скалою задремала мать;
Но нарушив их покой глубокий,
Прозвенел младенца первый крик.

[15]

Испытал огнем; испытывай любовью
И земным трудом.
Все мои дела стремятся к славословью,
Песни — об одном.

Откопаю клад земной моей лопатой;
Долог будет труд.
Неужели мне, всесильной и крылатой,
Числить ход минут?

Там, в горах, могла я близко видеть сроки
И пространств не знать;
Здесь, где я случайный путник одинокий,
Надо долго ждать.

Научи меня словам земным, забытым,
Чтоб и чуждой, — мне,
Видеть над сокровищем, в земле зарытом,
Солнце в вышине.

[16]

От будничной житейской суеты,
От помыслов слепых и суеверных
Иду туда, где расцвели цветы
Житъя святых, пророков, старцев верных.

Лежат оковы на моей гордыне,
Я помню, — лапами взял камень лев,
Чтоб облегчить Петра, прожившего в пустыне,
Когда его терзал суровый княжий гнев.

И князь, увидя, как покорно звери
Идут из нор своих на старца зов,
Припал к нему, моля о новой вере,
Обогадив собою Божий лов.

Так некогда здесь на земле неплодной
Цвела цветами мучеников кровь,
Лизал их раны дикий лев голодный,
И к муке шли они с душой свободной,
Как Божьей милостью пойдем мы вновь.

[17]

Еще остановилась на пороге;
Вот эти стены, лица, образа,
Уже не видят более глаза;
Но я прощаюсь с ними без тревоги.

А там, далеко, пробегает рощи
Целебных, освященных вод родник;
Показывает в кlobуке старик
В тяжелых раках праведников мощи,

И за стеклом лежащие вериги,
И хижину, где жил святой,
В прозрачных каплях свечки восковой
Страницы желтые священной книги.

Там приложившись ко святым иконам,
Услышав шелесты старинных риз,
Спустишь через лесок к оврагу вниз,
Где жметя келья к побуревшим склонам.

Восток пожаром хочет разгореться,
В соседних деревнях уж скоро день начнут.

Лишь бы припомнить все и дать на суд
Ушедшего от мира сердцеведца;

Усталость, слабость, гордость, безразличье,
Ненужных дней, лукавых мыслей круг.
Он слушает слова, как старый друг,
Он полон весь смиренного величья.

Как верится, что здесь ключи от Царства
Оставил, уходя, страдающий Господь.
Старик поможет молча побороть
Грядущих дней грядущие мытарства.

[18]

Освяти нам темное житье,
Темный труд над этой скудной пашней;
Божье Тело — истинная Брашна,
Кровь Твоя — неложное Питье.

Рук мозолистых, упорных труд
Будет ремеслом благословенным;
Эти нивы с трепетом священным
Хлеб с вином для Жертвы принесут.

И покажут путь к иным мирам
Сонмы ангелов в Твоем жилище.
С верою приступим к Божьей пище,
К Духа голубинога дарам.

[19]

Наше время еще не разгадано,
Наши дни — лишь земные предтечи,
Как и волны душистого ладана,
Восковые, горячие свечи.

Но отмечены тайными знаками
Неземной и божественной мощи
Чудеса, что бывают над раками,
Где покоятся древние мощи.

Над святыми владыками добрыми,
Над лежащими тихо костями,
Встал Распятый с пронзенными ребрами,
А ладони пробиты гвоздями.

И ему гольтѣба деревенская
Ставит свечи и служит молебны;
И раскинула Церковь Вселенская
Над Россией покров свой целебный.

Но поклоны и знаменья крестные
И душистый, синеющий ладан —
Только путь в небеса неизвестные,
Где наш жребий решен и угадан.

И дары, что в дороге растратили,
И грехи, что согнули нам спину, —
Все расскажут Отцу предстоятели
И поведают Духу и Сыну.

В рощах рая Его изумрудного
Будет каждый наш помысел взвешен.
Кто достигнет мгновения судного
Перед Троицей свят и безгрешен?

[20]

Все говорит мне: тяга лет
И детских помыслов утрата, —
Что солнечный померкнет свет
И что придет за все расплата.

Предвидя сроки мятежа,
Забыв о вековой работе,
Мы лишь слепые сторожа
Темницы нашей, темной плоти.

И не дано нам побороть
Ее стремлений к жизни мирной;
А над землей вознес Господь
Всей звездной ризы свод порфирный.

Но близок наших душ исход,
Успенье, праздник, праздник страшный;
На ложе смерти Твой народ
Вкушает Питие и Брашно.

И облачает тело в лен:
Давно уж сотканы полотна,
Давно исчислен ход времен
И нашей жизни ход заботный.

Всех со святыми упокой
В стране без скорби и утраты, —
Чтобы рыбак — на лов богатый,
На жатву тучную — оратай
Пришли от жизни трудовой.

Монах

От севера пришел он к нам
И стал в обители монахом;
Был непривычен труд над прахом
Его изнеженным рукам.

Он каждый выполнял урок:
Пахал и сеял в землю зерна,
Пред алтарем стоял покорно,
На рыбной ловле ночью дрог.

Он пел на клиросе псалмы,
Клад в ящик после службы свечи,
И слыша богомольцев речи,
Не помнил дальней стороны.

Но братья в черных клобуках
И память их о прошлых годах,
Тоскливый шепот в низких сводах —
Ему внушали грусть и страх.

Исчезнувшие дни опять
Вставали перед ним упорно;
И мог страстной порыв тлетворный
Цветы смирения измять.

Усталость, бремя долгих мук,
Бездолье духа и потери
Он не забыл, вручаясь вере,
И низко надвигал клобук.

Лишь Ты, не знающий греха,
Чья кровь — Питье, а тело — Брашна,
Ты слушать научи бесстрашно
Заутро возглас петуха.

Ты научи нести обет
И побеждать желанья плоти;
На трудной ниве, на работе
Пошли нам разуменья свет.

Но отчего глядят с тоской
На Твой закат кровавый братья?
Земные узы и проклятья
Уносят долгих дней покой.

Что вспоминают? Что клянут?
О ком жалеют за вечерней?
Поклоны возгласов размерней,
А думы к давним дням бегут.

И к настоятелю монах
Пришел просить благословенья
На долгий подвиг отречения
И одиночества в горах.

Там, где бежит меж скал родник
И плещ раскинут над пещерой,
На камне он поставит с верой
Христа Иисуса скорбный лик.

На склонах много есть корней,
И низки ветви дикой сливы,
Не нужно боле тучной нивы
Монаху для осенних дней.

И отпустил его старик.
Теперь смотрел он одиноко
На пламя дальнего востока
И слушал утром птичий крик.

Желтел на лозах виноград,
Внизу блистали ярко главы;
Монах берег цветы и травы
Один у входа в Божий сад.

И громко поверять привык
Он Богу все грехи и думы;
И листьев шелестели шумы, —
Ответный, явственный язык.

И тих был взмах спокойных крыл
Летающих ангелов иль ночи;
И звездные склонялись очи;
И мрак монаха не страшил.

Он видел все; и мог узнать,
Кто облетает тихо склоны:
Взметаает прах и ставит троны
Земле усталой Божья рать.

Небесных сил Ахристратиг
Сзывает воинство трубою;
И над землей, готовой к бою,
Он в небе синем крест воздвиг.

Тяжелый ветер наклонил
Перед пещерою ракиту;
Ведет полки свои в защиту
Людей усталых Михаил.

Ушли; за мглою мгла течет;
Монах склонился пред иконой.

Священной слышны обороны
Далеко крики и полет.

Но кто-то встал в тиши ночной
И облегчил ему вериги,
Перевернул страницы книги
Незримой, тонкою рукой,

Растолковал ему слова; —
Монаху больше знать не надо:
Вот райская пред ним ограда
И ветром клонится трава.

О жизни

[1]

Мне кажется, что мир еще в лесах,
На камень камень, известь, доски, щебень.
Ты строишь дом, Ты обращаешь прах
В единый мир, где будут петь молебен.

Растут медлительные купола...
Неименуемый, нездешний Некто,
Ты нам открыт лишь чрез Твои дела,
Открыт нам, как великий Архитектор.

На нерадивых Ты подьешь бич,
Бросаешь их из жизни в сумрак ночи.
Возьми меня, я только Твой кирпич,
Строй из меня, непостижимый Зодчий.

[2]

Камни на камни, скала на скалу.
Вздыбленных скал сероватые груды.
Бывший в начале, приемли хвалу,
Сам Безначальный, Предвечный, Премудрый.

Вижу, — подъят указующий перст,
Чертит средь бездны чертеж о живущем.
Хаос шевелится, хаос отверст,
Хаос чреват всем твореньем грядущим.

Вечной завесой закрыт Ты теперь, —
Только нежданно средь молний и грома
В мир отверзаешь широкую дверь
Из Твоего недоступного дома.

Тварь среди хляби и медленных туч,
В недрах печальных укрывшись глубоко,
Видит на небе сияющий луч,
Средь треугольника грозное Око.

[3]

Господь всех воинств, Элогим,
Всемощный и всевечный, Суций, —
Лежит ничтожным и нагим
Мой мир пред волей всемогущей.

Своих слепых законов ряд,
Как колесо в веках вращает,
И отражает Божий взгляд,
Премудрость Божью воплощает.

И вечной Божьей Славы Свет,
И воплощенье Сына-Слова,
И благодатный Параклет
Глядятся в прах лица земного.

И мы за гранью вещества,
В домостроительной работе
Предвидим сроки торжества, —
Преображенье темной плоти.

[4]

Дома земные — в щепы, в пыль и в щебень.
Раскол в семью и государства в прах.
Волны Твоей серебропенный гребень
Несет с собой отчаянье и страх.

Средь хаоса — отчизны вечной почва,
Средь хляби водной — каменный оплот.
Среди пустынь — касанье длани Отчей
И солнца незакатного восход.

Прошли века или прошли мгновенья,
Иль в будущем, там, у Тебя в раю
Я вместе с ангелами песнопенья
Пред ликом пламенеющим пою.

[5]

Там было молоко и мед,
И соки винные в точилах.
А здесь — паденье и полет,
Снег на полях и пламень в жилах.

И мне блаженный жребий дан, —
В изодранном бреду наряде.
О Русь, о нищий Ханаан,
Земли не уступлю ни пяди.

Я лягу в прах, и об земь лбом.
Врасту в твою сухую глину.
И щебня горсть, и пыли ком
Слились со мной во плоть едину.

[6]

Мы не выбирали нашей колыбели,
Над постелью снежной пьяный ветер выл.
Очи матери такой тоской горели,
Первый час — страданье, вздох наш криком был.

Господи, когда же выбирают муку?
Выбрала б, быть может, озеро в горах,
А не вьюгу, голод, смертную разлуку,
Вечный труд кровавый и кровавый страх.

Только Ты дал муку, — мы ей не изменим,
Верные насмерть терзающей мечте,
Мы такое море нашей грудью вспеним,
Отдадим себя жестокой красоте.

Господи, Ты знаешь, — хорошо на плахе
Головой за вечную отчизну лечь.
Господи, я чую, как в предсмертном страхе
Крылья шумные расправлены у плеч.

[7]

Всех моих усталых
На путях свободы
Братьев береги...
Шлюзы на каналах,
Полновесны воды,
От дождя круги.

Заблужусь средь улиц,
В этажах нависших,
Средь чужих людей.
Где же мед твой, улей?
Что под мшистой крышей?
Покажи скорей.

С колотушкой двери,
Пиво ледяное,
Аисты в гнезде.
Пусть живут, как верят,
Сонного покоя
Не найдешь везде.

О себе ж — глазаста,
На чужое зряча,
Чуть взгляну, — мое.
Только слишком часто
Слышу, — песни плача
Колокол поет.

[8]

Как капли серебра, бой башенных часов,
Им отвечают все задумчиво и нежно.
О ангел трубный, у твоих святых весов
Уравновешены две чаши безнадежно.

Зеленовато-сер и мутно-вял канал,
Прибрежные кусты отражены в цветеньи.
О ангел вечности, еще ты не устал
Считать, считать, считать текущие мгновенья.

Смотри, — здесь даже камни сонно устают,
Колокола, и те не очень голосисты.
О ангел гибели, ты покажи приют
Средь вечности твоей для этой плоти чистой.

Преображенная усталостью своей,
Она за каплей числит капли золотые, —
Веков далеких звон, и звон далеких дней
На чаши вечности Божественно-пустые.

[9]

Была весна, — теперь осенний месяц.
Спокойна так же тихая вода,
Такая ж мера светлых равновесий,
И не уйти отсюда никуда.

На берегах уснувшего канала
Иль в улочках, где вечно спят дома,
Мне кажется, я душу потеряла;
Потерянному радуюсь сама.

Пойти еще по набережным смежным,
Средь красноватых, как загар, камней.
Вот бьют часы таким заветом нежным,
Небесным зовом родины моей.

Собор, и крыши, и людские лица,
И сонных вод зеленая струя, —
О, город, город, что-то здесь случится,
Со мной случится, — не избегну я.

Все прошлые дела, обиды, тяжесть,
Усталость медленных и горьких дней,
Все непробудным сном на душу ляжет,
Под бой часов, средь четкости твоей,
Серо-зеленый город Страсбург.

[10]

Слишком светлый воздух,
Ветер слишком острый.
Это отдых, отдых, —
Сзади версты, версты.

Камни, церкви, люди, —
Льется светлый воздух.
Знаю, — будет, будет
Тихогласый отдых.

В тишине звенящей
И в небесной сини
Вот Он, всецелящий,
Боже, Отчий Сыне.

[11]

Развинтил винты, ослабил скрепы
И вином насытил темноту.
Фонари в туманном небе слепы,
Улицы открыли наготу.

Лица женские одутловаты, —
Непригляден и тосклив разврат.
Облака, как клочья грязной ваты.
Улицы — дороги в черный ад.

Негры бродят в синих, грязных блузах,
Кто так сочетал порок и труд?
И неужто в этих грешных узах
Люди нищие Твои умрут?

Все смотрю на эти перекрестки, —
Что ни перекресток — Божий крест.
Ветер кружится морской и хлесткий
Средь заплеванных, проклятых мест.

Не хочу я никаких условий, —
Без условий за Тобой пойду.
Все пронжу Иисусовой любовью
В этом грустном и лихом аду.

Марсель

[12]

У каждого — имя и отчество,
И сроки рожденья и смерти.

О каждом — Господне пророчество:
Будьте внимательны, верьте.

Любить их нельзя в отвлеченности,
Ничто в них ни тень и ни малость.
И каждый в своей обреченности
Ввергает нас в терпкую жалость.

И жалостью сердце подточено.
Чем мучили Божее Слово?
Плевками, ударом, пощечиной?
Венцом из колючек терновых?

Иль чашей в саду Гефсимании?
Нет, мучило братьев по плоти
Убогое в мире страдание
В болезни, в грехе и в работе.

Посмотришь, — и силы украдены...
Пред светлым и благостным раем
На крестной Твоей перекладине
Мы с ними себя распинаем.

[13]

И нищ, и болен. Был запой.
Прошел. Болит руки обрубок.
Еще осушит он, слепой,
Веселия иного кубок.

О, мель спокойных городов, —
Девятый вал ушел к другому.
Лишь не тревожить муть годов,
Души многострадальной омут.

А в прошлом — голод, смерть и кровь.
А в прошлом — вихри, беды, войны.
О, узнаю тебя, любовь,
И бремя жалости запойной.

[14]

Под ноги им душу я кину, —
Чужое страдание жжет.
Водой запивают мякину,
И горек работы их мед.

Сейчас умирает на койке
В больничной палате один,
Другой пропивает у стойки
Тяжелую память годин.

Тоска и беспутная тяжесть.
Работай, трудись и трудись.
Никто на земле не покажет
Дорогу широкую ввысь.

Бездумное племя, куда ты
От фабрик, заводов, потом?
Чу, в небе сшибаются латы, —
Там крылья, и копыя, и гром.

Не здесь, на земле, между нами, —
Нет, бой над бываньем возник.
Сверкает огнем пред полками
Сияющий Архистратиг.

[15]

Повели, как на цепи собаку,
И наручник на руку надели.
Иль ввязался в пьяную он драку?
Иль схватили ночью на постели?

Он — приземистый и низколобый.
Да не все ль равно какой? — Их много.
Имя им — разврат, нужда и злоба,
Каторжная каждому дорога.

Здесь воронка к самой преисподней,
Скат крутой до горестного ада...
Помнить о любви Господней
И молиться надо.

[16]

Людей колючие слова,
О, рвите, рвите душу в клочья.
Ты, непокорствующая голова,
Ты слышишь, слышишь — дни пророчат.

Когда я соберу весь мед
Со всех пустынь, со всех колючек,
Тогда небесный звон плеснет,
Небесный свет разрежет тучи.

И сердце кровью изойдет
О каждом беспризорном Ваньке,
Пока не совершит полет
На землю мой Хранитель-Ангел.

Он исцелит заноз укол,
Введет он души беспризорных

Туда, где дом, постель и стол
Средь снежных далей, далей горных.

И там, на небе, высоко,
Не помня о земном соблазне,
Небесным пьяны молоком,
Мы с Ваньками устроим праздник.

[17]

Подвел ко мне, сказал: усынови
Вот этих, — каждого в его заботе.
Пусть будут жить они в твоей крови, —
Кость от костей твоих и плоть от плоти.

Дарующий, смотри, я понесла
Их нежную потерянность и гордость,
Их язвинки и ранки без числа,
Упрямую ребяческую твердость.

О, Господи, не дай еще блуждать
Им по путям, где смерть многообразна.
Ты дал мне право, — говорю, как мать,
И на себя приемлю их соблазны.

[18]

Братья, братья, разбойники, пьяницы,
Что же будет с надеждою нашею?
Что же с нашими душами станется
Пред священной Господнею Чашею?

Как придем мы к нему неумытые?
Как приступим с душой вороватою?
С раной гнойной и язвой открытою,
Все блудницы, разбойники, мытари,
За последней и вечной расплатою?

Будет час, — и воскреснут покойники, —
Те, — одетые в белые саваны,
Эти, — в вечности будут разбойники,
Встанут в рубищах окровавленных.

Только сердце влечется и тянется
Быть, где души людей не устроены.
Братья, братья, разбойники, пьяницы,
Вместе встретим Господнего Воина.

[19]

Припасть к окну в чужую маету
И полюбить ее, пронзиться ею.

Иную жизнь почувствовать свою,
Ее восторг, и боль, и суету.

О, стены милые чужих жилищ,
Раз навсегда в них принятый порядок,
Цепь маленьких восторгов и загадок, —
Пред вашей полнотою дух мой нищ.

Прильнет он к вам, благоговейно-нем,
Срастется с вами... Вдруг Господни длани
Меня швырнут в круги иных скитаний...
За что? Зачем?

[20]

Что Ему я за братьев отвечу,
Когда просто не ведаю, как
Выносить очередную встречу,
Разговоры про труд и кабак?

Будто кто-то каленой иглой
Выжег в душах надежду дотла.
И в надеждах, в призывах что толку?
Толк от жирного только котла.

Поработал, — наешься и выпей.
А напьешься, — слегка посудачь.
Тихо плавай по жизненной зыби,
Вспоминай о былом и не плачь.

А в былом все молочные реки,
А в былом все орехи да мед...
Братья, братья мои, человеки,
Вот над миром сияющий Некий
Нищим духом блаженство несет.

[21]

«И каждую косточку ломит,
И каждая мышца болит.
О, Боже, в земном Твоем доме
Даже и камень горит.

Пронзила великая жалость
Мою истомленную плоть.
Все мы — ничтожность и малость
Пред славой Твоею, Господь».

Мне голос ответил: «Трущобы —
Людского безумья печать —
Великой любовью попробуй
До славы небесной поднять».

[22]

Как они живут спокойной жизнью,
Когда ветер облака метет,
Когда каждую минуту может брызнуть
Дождь неистовый потопных вод?

Дети с куклой, женщины с вязаньем,
Пчелы с медом, — множество труда.
Как успеть с грехом и наказаньем,
Как успеть до Страшного Суда?

[23]

Где, Каин, твой брат, где твой Авель?
Ты мертвого брата оставил.
Стенай же, проклятый, и кайся.
Никто не подаст тебе, Каин,
Ни отпущенья, ни Таин, —
По мертвой пустыне скитайся.

Владыка печатью багровой
К скитанью мой дух уготовал,
Чтоб зверь и убийца не трогал.
Я брата всегда предавала,
И в жизни любила я мало,
И ненавидела много.

Владыка, я Авелю сторож,
Я брату слуга и опора,
Я брату и раб, и предтеча.
Я Авелю путь уготовлю,
Я Авеля скорбь славословлю,
Его я подьему на плечи.

[24]

Что еще в пути я соберу
На свою непутевую голову?
Грызть железную просфору,
Пить горячее олово.

[25]

Что я делаю? — Вот без оглядки
Вихрь уносится грехов, страстей.
Иль я вечность все играла в прятки
С нищею душою своей?

Нет, теперь все именую четко, —
Гибель значит гибель, грех так грех.
В этой жизни, дикой и короткой,
Падала я ниже всех.

И со дна, с привычной преисподней,
Подгребая в свой костер золу,
Я предвечной мудрости Господней
Возношу мою хвалу.

[26]

Не иные грехи проклинать,
Не стремиться к иной добродетели, —
О моем троекратном, о петеле,
Все о нем буду я вспоминать,
Чтоб глаза выплакать.

Вот нагой в ночь укрылся, исчез,
А других сторожа не заметили.
О вскричавшем заутро, о петеле,
Надо помнить средь мертвых небес,
Чтоб глаза выплакать.

Крест на гору Учитель унес, —
Предстоятели там, там свидетели.
Об алекторе помню, о петеле,
Надо бездну соленую слез,
Чтоб глаза выплакать.

[27]

Трудный путь мы избирали вольно,
А теперь уж не восстать, не крикнуть.
Все мы тщимся теснотой игольной
В Царствие небесное проникнуть.

Не давал ли Ты бесспорных знаков?
И не звал ли всех нас, Пастырь добрый?
Вот в бореньи мы с Тобой, как Яков,
И сокрушены Тобою ребра.

[28]

Там, между Тигром и Ефратом,
Сказали: юности конец.
Брат будет смертно биться с братом,
И сына проклянет отец.

Мы больше не вернемся к рощам
У тихих вод Твоих возлечь,

Мы ждем дождя посевам тощим,
В золе мы будем хлеб наш печь.

Тебе мучительно быть с нами,
Бессильный грех наш сторожить.
Создал нас светлыми руками, —
Мы ж в свете не умеем жить.

[29]

Не засыпает тяжелая кровь,
Ветер доносится острый и резкий.
Древняя родина вспомнилась вновь,
В воздухе трубы, и вихри, и плески.

Нет, не насытиться, только хлебнуть
Хаоса пьяную, мутную брагу.
Древней бессмыслицы темная жуть
Тянет и мчит к роковому оврагу.

Только коснуться мне, только припасть
К недрам, поющим про вечную смену.
Кружатся вихри, вздымается страсть, —
Это дорога к последнему плену.

Если же хочешь и можешь спасти,
Ты, одолевшая древнего змия,
Душу смятенную перекрести
Тихой рукою, Мария.

[30]

Дух смятенный, знаешь, как бывает, —
Вдруг пробьет какой-то вещей час, —
И Господняя рука терзает,
Мучает, палит, карает нас.

Все пронзит и все наименует.
Господи, ужели пустота?
И каким мертвящим ветром дует,
Душу ветром топит высота.

Будто в произволе я проклятом,
Будто в вихре, в хаосе, во тьме.
Закружилась, безответный атом,
Потеряла путь к родной земле.

Господи, дай только искру света,
А иначе ослепит нас мрак...
Вижу я, — огнистая комета
Чертит в хаосе кровавый знак.

[31]

Не то, что мир во зле лежит, — не так,
Но он лежит в такой тоске дремучей.
Все сумерки, — а не огонь и мрак,
Все дождичек, — не грозвые тучи.

За первородный грех Ты покарал
Не ранами, не гибелью, не мукой, —
Ты просто нам всю правду показал
И все пронзил тоской и скукой.

[32]

С какой тоской иной печати рвет
И с отвращением читает книгу.
Как камень сердце, дух его как лед,
И в рабство жизнь дана страстному игу.

И кается иной. Потокотом слез
Смывает он кровавые страницы.
Он был раздавлен тяжестью колес
Летящей мимо Божьей колесницы.

Иной себя по медленным строкам,
За словом слово, будто жемчуг нижет.
Он строит дух как некий светлый храм,
На вольный подвиг тихо душу движет.

И я читаю книгу жития,
Слежу дороги на предгорьях рая.
О, долгий путь. И как ничтожна я,
Как слушаюсь, себя не понимая.

Одним Ты дал, как жизни знак, стрелу,
Другим даешь молитвы, пост, вериги.
Одним даешь перо, другим — пилу.
Как вычитать свое в священной книге?

Уж очень перепутал Ты узор
Заглавной буквы на моей странице.
В нем якоря треххвостого упор
И крылья человековидной птицы.

[33]

Спокойно, будто опытный анатом,
Я разложу души моей состав, —
Костяк и сердце, кровь и каждый атом.

И под ланцетом душу распластав,
Измерю все, что силу убивало,
Измерю меру всех земных отрав.

О, кровь уже давно черна, не ала,
Давно не быстро, медленно течет,
Как реки полноводные, устала.

Два тяжкие крыла душа несет.
Мы эти крылья тоже распластаем
И вычислим возможный их полет.

Костяк тяжеловесен. Чертит краем
Крыло такое низко по земле,
И не равняется пернатым стаям.

Устало хлопает в туманной мгле
Над сизою водой, такой тягучей,
Багряной искрой в стынувшей золе.

Но мышц сплетенья у крыла могучи, —
Души зажившейся тяжелый вес,
Все пронесут через поток ревучий.

К тем берегам, где низок край небес.

[34]

Возник. Не отстает. И сердцу нудно.
У сердца новый многопудный вес.
Что спрятался? Узнать нетрудно, —
Ко мне приставленный ты бес.

Со мною рядом шлепаешь уныло.
Не прогоню. Не бойся. Помолчи,
Я помню, — все иначе было,
И я дала тебе ключи.

Не враг, и не противник, и не спорщик,
Который бы на слово десять слов, —
Ты комнаты моей уборщик, —
Мети же сор из всех углов.

Подымешь пыль, напомним все бывшее,
Размечешь весь мой многотрудный сор, —
Ну что ж? Мети. Не знай покоя.
Ты только честный бес, не вор.

И сердце медленно отяжелело...
Чего же, дух, был ты недавно горд?
Чего же ты, душа, хотела?
Все вымел мой унылый черт.

Еще скользнул по смятому он платью
И вышел, двери за собой прикрыв.
А ты гордился благодатью,
Ты верил в огненный порыв.

Ляг на постель без воли и без силы,
Сложивши пальцы в крепкий крестный знак.
Одна немереная милость
Поможет просветить твой мрак.

[35]

Всех демонов, всех демонов в подвал,
Чтоб не мешали строить колокольню,
Вот колокол отлит. Гудит металл.
О, колокол, о, колокол мой вольный.

И бесов всех сковать и под замок.
Молчите, тихо, тише, бесенята.
Последний день настал, последний срок,
Конец для вашей вольности проклятой.

И вихри кружатся, и тянет гарь,
Оттуда тянет, все из тьмы кромешной.
О, колокол, мой колокол, ударь,
Обрушь потоп, на мир излейся грешный.

[36]

Нечего больше тебе притворяться,
За непонятное прятать свой лик.
Узнавшие тайну уже не боятся, —
Пусть ты хитер, и умен, и велик.

И не обманешь слезинкой ребенка,
Не восстановишь на Бога меня.
Падает с глаз наваждения пленка,
Все я увидела в четкости дня.

Один на один я с тобой, с сатаной,
По Божью велению, как отрок Давид.
Снимаю доспехи и грудь я открою.
Взметнула пращой, и камень летит.

В лоб. И ты рухнул. Довольно, проклятый,
Глумился над воинством ты, Голиаф.
Божью силу, не царские латы
Узнал ты, навеки на землю упав.

Сильный Израилев, вижу врага я,
И Твоей воли спокойно ищу.

Вот выхожу без доспехов, нагая,
Сжавши меж пальцев тугую пращу.

[37]

Чудом Ты отверз слепой мой взор,
И за оболочкой смертной боли
С моей волей встретились в упор
Все предначертанья черной воли.

И людскую немощь покарав,
Ты открыл мне тайну злого чуда.
Господи, всегда Ты свят и прав, —
Я ли буду пред Тобой Иуда?

Но прошу, — нет, — даже не прошу, —
Просто говорю Тебе, что нужно.
Благодать не даруй по грошу,
Не оставь меня пред злобой безоружной.

Дай мне много, — ангельскую мощь,
Обличительную речь пророка.
В каждом деле будь мне жезл и вождь,
Солнце незакатное с Востока.

Палицей Твоею быть хочу
И громopodobною трубою.
Засвети меня, Твою свечу,
Меч покорный и готовый к бою.

И о братьях: разве их вина,
Что они как поле битвы стали?
Выходи навстречу, сатана,
Меч мой кован из Господней стали.

[38]

Убери меня с Твоей земли,
С этой пьяной, нищей и бездарной,
Боже Силы, больше не дремли,
Бей, и бей, и бей в набат пожарный.

Господи, зачем же нас в удел
Дьяволу оставить на расправу?
В тысячи людских тщедушных тел
Влить необоримую отраву?

И не знаю, — кто уж виноват,
Кто невинно терпит немощь плоти, —
Только мир Твой богозданный — ад,
В язвах, в пьянстве, в нищете, в заботе.

Шар земной грехами раскален,
Только гной и струпья, — плоть людская.
Не запомнишь списка всех имен,
Всех, лишенных радости и рая.

От любви и горя говорю, —
Иль пошли мне ангельские рати,
Или двери сердца затворю
Для отмеренной так скупой благодати.

[39]

Никогда, ни на каком пути
Ты, ведущий, не даруешь встречи,
Но дано мне за Тобой идти,
И иду. Согнуло время плечи.

Если многочасовых молитв
От меня Ты принимать не хочешь,
Брошу их. А сердце вновь горит.
Нет Тебя. Ты снова в дали Отчей.

Многомыслия тяжелый труд
Тоже мне Тебя не открывает,
А ступени эти всех ведут
К воротам сияющего рая.

Слава Отчая. Закрыв глаза,
Чтоб не видеть, только чую — здесь Ты.
Люди — этой славы образа —
Подают таинственные вести.

То Ты рядом, то Ты впереди,
О, Неузнанный, Нездешний, Некто,
Господи, когда-нибудь приди,
До того, как закричит алектор.

Господи, не видя, но любя,
За Тобой тянусь не вольной волей.
В час закатный я добыюсь Тебя
Всем залогом пота и мозолей.

Ночью Ты в борьбе меня сразишь
И Тобою сокрушатся ребра.
Не пущу, коль не благословишь,
Мой соратник добрый.

[40]

Ты остановил на берегу потока,
У Йордана, в полночь, яростный, крылатый.

Бились мы с Тобой до заревого срока,
И тела сплетались, и сшибались латы.

Долго никому победа не давалась.
Или были в силе мы равны, как братья?
Вдруг в душе моей упорство оборвалось,
Грудь стеснилась сразу в каменных объятьях.

Ты сломал ребро мне. Падая средь праха,
Я схватил Твой огневидный плащ руками.
Отчего в тот час Ты не внушил мне страха,
Ты, владеющий небесными полками?

Не могу пустить Тебя, Соратник-Боже,
Не приняв от рук Твоих благословенья.
Тут Ты дланью лба дотронулся. На коже
Вечность чую я Твое прикосновенье.

Хромота моя теперь благословенна:
Это знак таинственный борьбы священной.

[41]

Наконец-то. Дверь скорей на ключ.
Как запущено хозяйство в доме,
В пыльных окнах еле бьется луч.
Мыши где-то возятся в соломе.

Вымету я сор из всех углов.
Добела отмою стол мочалой,
Соберу остатки дум и слов,
И сожгу, чтоб пламя затрещало.

Будет дом, а не какой-то склеп,
Будет кров, — не душная берлога.
На тарелке я нарежу хлеб,
В чаше растворю вина немного.

Сяду, лоб руками подперев,
(Вот заря за окнами погасла).
Помню повесть про немудрых дев,
Как не стало в их лампадах масла.

Мутный день, потом закат, закат,
Ночь потом, — и тишина бормочет.
Холодом рассветным воздух сжат,
Тело сну противиться не хочет.

Только б не сковал мне волю сон.
Пахнет пол прохладной тишиною.
Еле видны рамы у окон,
Все налито гулкой чернотою.

Дух, боренье в этот час усиль.
Тише. Стук. Кричит пред утром петел.
Маслом сыт в лампаде мой фитиль.
Гость вошел. За ним широкий ветер.

<28.III 1935 г.>

[42]

Сопряжены во мне два духа, —
Один спокойно счет ведет:
Сегодня воля, завтра гнет,
Сегодня горечь, завтра мед,
Всему есть мера, есть и счет...
И стучают костяшки глухо...

Другой — несчетный и бродяга,
Слепых и нищих поводырь.
Ну что ж? Пустырь, так чрез пустырь,
Сегодня вдаль, а завтра вширь,
А послезавтра в небо тяга.

Пророчит он о граде, трусе,
О волнах огненной реки, —
И дал его мне в жожаки
Ты, Господи Иисусе.

[43]

Когда-нибудь, я знаю, запою
О неподвижности, о мерной мере.
Ведь не поспешны ангелы в раю
И мудрые не суетятся звери.

И только тот, кто создан в день шестой,
Кто мост меж жизнью тварной и Господней,
Все мечется в своей тоске пустой,
Свободней духов и зверей безродней.

Навек покинув эту плоть мою,
Такую же, в какой томятся звери,
В Твоем прохладном, голубом раю
Когда-нибудь, я знаю, запою
О неподвижности, о мерной мере.

[44]

Ты не изменишь... Быть одной...
О, нет, делить труды, заботы,
Мечтанья о земле родной,
Плоды от будничной работы, —

Веселье, грусть, тепло и хлеб...
Да, все делить... Да только все ли?
А вот когда уж нету скреп
И дух бушует в вольной воле,

И в муке и в восторге он
Вопит безумно: аллилуйя,
От всех запретов разрешен...
Делить вот это не могу я...

[45]

Вдруг свет упал, и видны все ступени
От комнаты, где стол, плита, кровать,
Где только что развернута тетрадь, —
Куда-то вдаль, где облачные тени,
И вдаль еще, где блещет благодать.

Так сильно связано все в жизни в узел вечный:
И неба синь, и улиц серый прах,
И детский звонкий крик, и смысл в стихах, —
Что кажется, — вот пьяный нищий встречный, —
А за спиной широких крыл размах.

Пронзительным лучом, крепчайшей нитью
Отсюда мы уводимся за грань.
И средь людей гудит иная брань,
И кажется, что к каждому событию
Касается невидимая длань.

[46]

Жить в клопиной, нищенской каморке,
Что-то день грядущий принесет?
Нет, люблю я этот тихий гнет,
О, Христос, Твой грустный мир прогорклый.

Выцветшие грязные обои,
Лампы свет однообразно тускл.
Мир Твой горький, горький, Иисус,
Узнаю я в трудовом покое.

Не внезапно, не в иные сроки,
А все время, с горем пополам,
По моим по сумрачным углам
Виден мне простор иной, широкий.

Нищенство и пыль, и мелочь, мелочь,
И забота, так что нету сил...
Но не Ты ль мне руку укрепил?
Отвратил губительные стрелы?

Все смешалось — радость и страданье,
Теснота и ширь, и верх и дно,
И над всем звенит, звенит одно
Ликованье.

[47]

Холодом по комнатам сквозняк.
Ходит ветер, ключник быстроногий,
Хлопнул дверью, взвился на пороге, —
Ветер странник и мирской бедняк.

Хорошо жить в мире на юру,
С ветром о Господней правде спорить,
Хорошо мне человечесь горе
Позабьть в осеннюю пору.

Не бояться никаких окраин,
С легким небом дымовейным слиться,
Вместе с миром Божьим причаститься
Всечестных и страшных Таин.

[48]

Не помню я часа Завета,
Не помню Божественной Торы.
Но дал Ты мне зиму и лето,
И небо, и реки, и горы.

Не научил Ты молиться
По правилам и по законам, —
Поет мое сердце, как птица,
Нерукотворным иконам:

Росе, и заре, и дороге,
Камням, человеку и зверю.
Прими, Справедливый и Строгий,
Одно мое слово: я верю.

<2.1 1933 г.>

[49]

Довольно, о, довольно, счетовод.
Ты вихрей не исчислишь, вихрей много, -
Они сломают правильность итога
И перепутают число и год.

Вот жизнь моя. Не думай подсчитать
И по графам разметить ты не пробуй,
Как от пеленок вихрями до гроба
Не устает Господь меня пытать.

Не вгонишь в строку, не замкнешь в число
Дней осиянных вихревые дуги,
Смотри, смотри, в каком блаженном круге
По океану мой корабль несло.

Смотри, наперекор тебе, опять
С восторгом вольным сочетаю тяжесть.
Тяжелый груз на вихри цепью ляжет, —
И вихри смогут этот груз измять.

[50]

Испепеляющий огонь
Приходит от далекой воли.
А здесь взглядишь в мою ладонь,
В корявые мои мозоли.

Благословен спокойный труд
Среди полей мирских и весей.
Блаженно люди спину гнут
Под легким сводом поднебесий.

Я знаю, что Христос трудом
Навеки освятил рубанок.
И мы трудом как часть войдем
Домостроительного плана.

Коси косою, пили, стучи, —
Из хаоса мы храм построим.
И в этот храм одни ключи —
Изнеможенье трудовое.

[51]

Название улиц незнакомых.
Заглядываю в пасть ворот.
Еще последний поворот, —
И наконец я буду дома.

Вот в дымном небе лунный серп.
Вечерней прелести разливы.
Бегу. Ищу нетерпеливо
Неведомых весов и мер.

Иду среди спокойных мест,
Среди спешащего народа.
Тяжелокрылая свобода
Подъяла в зелень небосвода
Единственный мне данный крест.

[52]

Какие праздничные дни —
Чем дальше в жизнь, тем чаще, чаще.
Мне кажется трава сродни,
И старый дуб — мой милый пращур.

Когда-нибудь Тебе на суд
Я с грустью принесу любовной
Полей родимых изумруд
И прах земли единокровной.

Единая нас носит мать,
Единая растит утроба.
И как Ты можешь покарать
Свое подобие и образ?

Мы выйдем из могил и нор, —
Зверь, камень, человек, растение, —
И предрешит Твой приговор
Всеобщее восстановление.

Лето 30

[53]

С народом моим предстану,
А Ты воздвигнешь весы,
Измеришь каждую рану
И спросишь про все часы.

Ничто, ничто мы не скроем, —
Читай же в наших сердцах, —
Мы жили, не зная покоя,
Как ветром носимый прах.

Мы много и трудно грешили,
Мы были на самом дне,
Мечтали средь грязи и пыли
О самом тяжелом зерне.

И вот он, колос наш спелый.
Не горек ли хлеб из него?
Что примешь из нашего дела
Для Царствия Твоего?

От горького хлеба жажда.
Вот эту жажду прими,
Чтоб в жажде помнил каждый
О муках милой земли.

[54]

Глуше, и туже, и крепче
Свивают проклятые смерчи,
Сметают нас в логово смерти.
Вы, погребальные свечи,
И отпевающий ветер,
Ты, синеокая вечность.
Что ж не пугаются бесы
Жертвы торжественной крестной?
Или она не воскреснет?
Вихри, и смерчи, и вести
О мертвой Христовой невесте,
Об отнятой части и чести.
Туго подвязана челюсть,
На каждом глазу пятак,
Были — соблазны, прелесть...
Есть — мрак...

[55]

Дверь за спиною распахнулась.
Куда? — Из пропасти сквозняк.
И сталь невидимого дула,
Неведомая западня.

Обнажены глухие корни,
Последний ужас бытия.
А ты все тише, все покорней,
Смиренномудрая моя.

И не запомнят старожилы,
Чтоб на земле бывало так.
Смотри, — вот кости, кровь и жилы,
Смотри, — в глазах предсмертный мрак.

А там на дне стучат костяшки.
Подсчитывает счетовод
Твой бред безумный, вздох твой тяжкий,
И каплями кровавый пот.

Лето 30

[56]

Кирпичный дом и небосвод белесый,
Среди кофеен пыльный карнавал,
Шумят автомобильные колеса,
И пляшет тот, кто в буднях не устал.

О, этот истукан молвы стоустой, —
Оделись в чистое, пьют на углах.
И ясно вдруг, что в мире стало пусто,
Один кирпич да камень, пыль да прах.

В глухой дали прямолинейных улиц,
Там, где смолкает пыльный карнавал,
Я вдруг почувствую расстрела пули
И в небеса бесцветные провал.

В душе моей предвиденье заныло:
И пыль, и карнавал, — все будет так.
А может быть, давно все это было,
И нет уже, — и всепобеден мрак.

О смерти

[1]

Да, надо будет в гробовой колоде
Всего совлечься, — о, не только чувств,
Но даже мыслей, выросших в свободе,
Чтоб дух был трезв, серьезен, наг и пуст.

И души с погребальными свечами
Вокруг обстанут. Я же все одна.
И вот тогда пронзит Господь лучами
Все помыслы и душу всю до дна.

Любимых нету, и душа убога,
И бьется сердце на руках Судьи,
И смотрит Он на все движенья строго
Грехами перегруженной бады.

Сейчас, сейчас, сейчас в веках настанет
Последний срок, последний Божий суд, —
И ангел трубный в небеса воспрянет,
И чаши гнева в бездну упадут.

[2]

Как удочка на землю тянет рыбу,
Как над железом властвует магнит,
Так и тоска моя. Какой уж выбор,
Когда она всю опалит.

И вижу я за тонким покрывалом
Земных вещей обглоданный скелет,
И в небе, от закатной славы алом,
Горит иной, потусторонний свет.

О, как пронзительно терзает память,
Как вьедливы свершенные грехи.
Зачем рифмую строки? Между нами
Жить не должны ни рифмы, ни стихи.

А мысль все возвращается упрямо,
Пытается определить теперь,
Какая будет выкопана яма,
Чтоб в ней отпраздновать мне смерть.

[3]

Подвяжут белым платом челюсть
И руки на груди скрестят,
Навек закроют мертвый взгляд, —
О, дней быстротекущих прелесть...

Пусть землю заступом и ломом
Тревожат люди для меня...
Через сколько лет предстану я
Таким тяжелым черноземом?

[4]

Прикидываешь тесную колоду, —
По росту ль будет мне в земле лежать.
А если я предам свою свободу,
В комок один сумею душу сжать?

И так навек срастусь с досками гроба,
И гроб так в недрах темных пропадет,
Что ни надежда, ни любовь, ни злоба
Меня от них уже не оторвет.

Доподлинно я расцвету бурьяном,
Навек корнями в глубину врасту.
И о моем безумстве окаянном
И ангел помолится на кресту.

[5]

Взял за руку и прочь повел меня.
...И город спит, и в окнах нет огня.

А Ты ведешь, неведомый Вожатый,
Легучий, огневидный и крылатый...

И в час, когда затеплится заря,
Найдем в густом бурьяне пустыря

Средь городских заброшенных окраин
Такое место святости и таин,

Что будем мы, колена преклонив,
От высей ждать торжественный призыв,

И воздух вечности огнем обнимет...
На месте этом каждый обувь снимет...

И ринется навстречу нам звезда,
В бурьянах сердца канет навсегда.

[6]

Земля человека не хочет,
Заботы его и трудов.
Водой его стены подточит,
Развеет их силой ветров.

И будут дубравы и рощи
В безлюдьи своем зелены.
И стебель подымется тощий
В расщелинах старой стены.

Но люди земле моей милы,
Когда, завершивши свой путь,
К разверстому зеву могилы
Усталое тело несут.

Вот, в черной лежи колыбели, —
Ах, баюшки-баю-баю,
Чтоб больше ветра не гудели,
Закаты огнем не горели,
Не веяли б снегом метели,
Не мучали б тишь твою.

[7]

Не все ль равно? Сначала заболело,
И близких не узнаю. Будет жар.
Иль смертью уподоблюсь я злодею,
Иль дух уснет, от дней устал и стар.

Не все ль равно? Чрез месяц иль сегодня,
Вот в эту самую глухую ночь,
Дотянется до глаз рука Господня
И отберет весь свет от взора прочь.

Я не услышу, если будут плакать,
Ничьих молитв не буду больше знать.
Средь вечного и благостного мрака
Как каменная лягу на кровать.

Забудут. Нет людей незаменимых.
И разрушаются все склепы и гроба.

О, только б слышать: с песней серафимов
Сливается Архангела труба.

О, только б видеть отблеск вечной Славы,
В Тебе исчезнуть, триединый Свет...
Не спи, душа. Как эти дни лукавы,
Сегодня срок иль через десять лет...

[8]

Ни сахаром, ни калачами,
И ни моей копейкой медной,
Ни пламенем, и ни речами,
Ни жизнью праведной и бедной —
Ничем, ничем нельзя помочь
Там, где победна ночь.

И кто пошлет на землю рати?
И кто склонится к этим зовам?
Ты, только Ты, живому Матерь,
Воздвигнешь длань с Своим Покровом.
И кто поймет, заплачет он.
И кто заплачет, тот спасен.

[9]

Все обычно: кому-то худо,
Кровью харкает кто-то сейчас.
Все обычно, — не будет чуда
В этот тысячу тысячный раз.

И наверное к койке больничной
Не сиделка, а смерть подойдет.
Умирать никому не привычно, —
Остальное обычно, обычно, —
Час придет, он умрет.

[10]

Последнее солнце и день наш последний
Из тысячи тысячных дней и часов.
Лишь несколько верных поймет за обедней,
Что свился, как свиток, небесный покров.
Трава полевая и звери в лесах,
И люди, — всё в прах.

Волною последней огнистая лава
Голодный, стенающий мир Твой зальет.
О, мука какая. А сердце поет:
Тебе, показавшему солнце нам, слава.
Пусть разрывается сердце в груди.

Вот ангелы, трубы, огонь впереди.
Ей, Боже, гряди.

[11]

Уже и солнца шар не раскален,
И завершат последний круг планеты,
Кончатся все времена времен,
И тихо гаснут мировые светы.
Я облачая тело в смертный лен,
Даю Тебе последние обеты.

О, падайте, тяжелые болты
Ворот чугуновых в бесконечность Божью.
Конец трудов, забот и суеты
Встречаю я с непобедимой дрожью...
А все еще в лугах цветут цветы
И ветер движет золотою рожью...

А все еще пронзает детский плач
И кто-то любит, кто-то деньги копит...
Но белый конь уже несется вскачь, —
Нездешняя рука его торопит...
Убивший время, чудотворный Врач,
Весь кубок допит...

[12]

Как хорошо, что есть глухая ночь,
Как хорошо, что есть глубокий сон,
Как хорошо, что есть слепая смерть,
Утих звериный вой среди пещер,
В домах покой, в больницах смолкнул стон,
И злая жизнь отходит смирно прочь.

Даруется живому тишина,
Ушам — не слышать, немота — устам,
И сердцу — сон, и пальцам — крестный знак.
Не тяжек им, не тяжек вечный мрак.
Как радостно кончаем счет годам.
Прими нас, вечность, пой нам, тишина...

[13]

Распахивают полосу. Курится пар.
Нечерноземная белесовата почва.
Весна. Весенний воздух яр,
И облаков несутся клочья.

Убогая душа, на что тебе теперь
Крылатость и простор бездонный, поднебесный?

Смотри: вот вырыл нору зверь
Средь недр земли сырой и тесной.

И знай, — среди каких-нибудь спокойных мест,
Где корни трав сухих вросли глубоко в глину,
Навеки обозначит крест
Твою родную домовину.

[14]

Знаю я, что будет тишина,
Этой ночью подойдет, быть может,
И ни горе больше, ни вина,
Ничего мой дух не потревожит.

Как собака, лягу я у ног,
У хозяйских ног, средь серой персти.
И Хозяин скажет: мой щенок,
Мой щенок с взлохмаченною шерстью.

Буду видеть, как к Нему идут
Мудрые, подвижники, святые,
Чтоб отдать Ему любовь и труд,
Чтобы дал Он им венцы литые.

Буду я внимательно смотреть,
Как благословляет их Хозяин.
Хорошо мне тихо умереть,
По-собачьи, средь земных окраин.

Господи, вот глупый Твой щенок
Неумело Твои ноги лижет.
Дай мне вечность пролежать у ног, —
Только б потеплее и поближе.

[15]

Господи, на этой вот постели
(Не другую ж, в самом деле, ждать)
Пролежу предсмертные недели,
Медленно я буду умирать.

Медленно провалятся все звуки,
Выцветут все краски. И покой
Сложит костенеющие руки
Ледящей, мертвою рукой.

Разольется тихо в этом теле
Холод от макушки и до ног.
И тугим узлом подвяжет челюсть
Новый, белый, холщевой платок.

А душа, рожденный вновь младенец,
Будет вихриться там на лугах,
Воплями покроет птичье пенье,
Ангельскую песню в небесах.

Господи, Твою ручную птицу
Ты из рук пшеницей покорми,
Чтоб она забыла про пшеницу
В хаосе оставленной земли.

[16]

Вот ты в размеренный планетный круг
Влетела. Огненной дугою
В зенит метнулась, запылала вдруг,
Пчелиному подобна рою.

В восторге сыпала снопы лучей,
Сжигала неба твердь пожаром,
Средь осиянных и живых ночей
Катилась огнекрылым шаром.

Смотрела я, любуясь и любя,
На весь твой пир огня и света,
Пока Великий не умчал тебя
За грань миров, моя комета.

И я вперяю взор в ночную твердь,
Чтоб он увидел, окаянный,
Как в черноте сплелось слово: смерть
С крылатым именем Гаяны.

7.VIII 1936

[17]

Не слепи меня, Боже, светом,
Не терзай меня, Боже, страданьем.
Прикоснулась я этим летом
К тайникам Твоего мирозданья.
Средь зеленых, дождливых мест
Вдруг с небес уронил Ты крест.

Принимаю Твоей же силой
И кричу через силу: «Осанна!»
Есть бескрестная в мире могила,
Над могилою надпись: Гаяна.
Под землей моя милая дочь,
Над землей осиянная ночь.

Тяжелы Твои светлые длани,
Твою правду с трудом принимаю.

Крылья дай отошедшей Гаяне,
Чтоб лететь ей к небесному раю.
Мне же дай мое сердце смирать,
Чтоб Тебя и весь мир Твой принять.

<23.VIII 1936 г.>

[18]

Сила мне дается непосильная.
Не было б ее, давно упала бы,
Тело я на камнях распластала бы,
Плакала б, чтоб Ты услышал жалобы,
Чтоб слезой прожглась земля могильная.

Отпер Ты замок от сердца бедами.
Вот лежит теперь дорога скатертью
Во все стороны. То быть мне матерью,
То поставил над церковной папертью,
Чем еще велишь мне быть, — неведомо.

Сердцем все заранее угадано,
Сердце принимает все заранее.
Принужденное, как вольное, страдание,
Средь углей кадиланицы пылание
Духа человеческого, разума.

Дух мой... Сочтены Тобою дни его.
Ты решил, карающий и губящий,
Подарил, ведущий нас и любящий,
Сохраненное Тобою рубище
От многотрадального, от Иова.

<24.VIII 1936 г.>

[19]

Я струпья черепком скребу.
На гноище сажу, как Иов.
В проказе члены все нагие,
Но это что... Вот дочь в гробу...

Друзья, у нас с Предвечным счет,
Но милосерд Он даже в гневе.
Пусть некогда в проклятье Еве
Велел понести Он жизнь во чреве, —
И вот теперь Он жизнь берет.

Я струпья черепком скребу...
Друзья, склоните ниже главы, —
Вот приближается Царь Славы,
Чтоб мукой освятить рабу.

[20]

Не укрыться в мирозерцанье,
В этот тканый временем наряд.
Ни к чему словесное бряцанье, —
Люди тысячелетья говорят.

Буду только зрячей, только честной, —
(У несчастья таковы права), —
Никаких полетов в свод небесный
И рассказов, как растет трава.

Буду честно ничего не видеть,
Ни во что не верить и не знать.
И неизживаемой обиде
Оправдания не подбирать.

Избрана я. Гостя посетила,
Подошла неведомой тропой.
Все взяла, — одним лишь наградила —
Этой дикой зрячестью слепой.

Было тихо. И ветра подули.
Стало тише. Иль от глухоты
Я не слышу, как в подземном гуле
Гибнут искры мертвой красоты.

Вот я вехами пустыню мечу
И Сорокадневного пою.
Если хочешь, выйди мне навстречу,
В честную безрадостность мою.

[21]

Прославь бессмыслицу и тлен.
Скажи, что дух людской, как атом,
Кружится в вихре перемен
И в беззаконии проклятом.

Пылинка в солнечных лучах
Скользнула к теневому краю, —
Так исчезаем мы в ночах,
Бессмысленно, — я это знаю.

Но в самой гуще пустоты,
Склонившись в преисподней низко,
Средь неподвижной черноты
Я вижу, — вдруг сверкнула искра.

Земля расколота в куски,
Слабеет в судорожном труссе, —

Сквозь пытку, — пилы и тиски, —
Шепчу я: Господи Иисусе.

И вдруг размах широких крыл,
И дым кадила, и свечи,
И нарастает плоть из жил,
И вдунут дух, и жаждет встречи.

[22]

Из недр восстали мертвецы
И каждый сбрасывает саван.
И ангелы несут венцы,
Чтобы венчать святые главы.

И сонм святых мужей и жен
Идет тушить земли пожары.
Сам смысл дает нам свой закон,
Свивает неба свиток старый.

[23]

Не буду ничего беречь,
Опустошенная, нагая,
Ты, обоюдоострый меч,
Чего ж ты медлишь, нас карая?

Без всяких слаженных систем,
Без всяких тонких философий,
Бредет мой дух, смятен и нем,
К своей торжественной Голгофе.

Пустынен мертвый небосвод,
И мертвая земля пустынна.
И вечно Мать отдаст
На вечную Голгофу Сына.

[24]

О, горлица моя, лети, лети же.
Среди разлившихся, раздутых рек.
Вода на убыли, и берег ближе,
И ударяется о дно ковчег.

О, горлица, среди разверстой хляби
Лети, лети, ищи себе приют.
Не для тебя законы жизни рабьей,
Которыми в ковчеге все живут.

И ринулась, бесшумно полетела,
Сверкнула искрой меж небес и вод.

А мы гребем размеренно, умело,
А мы гребем, гребем мы целый год.

Не рано ли? Ветрами рвутся снасти,
Ковчег кипучими волнами сжат.
Из водной яростной разверстой пасти
Еще нам не извергнут Арарат.

Ковчег огромный, будто душегубка,
Как паутина снасти, мачта — жердь...
Ты не вернешься, вольная голубка,
И Арарат твой чаемый был смерть.

Гребите, братья, веруйте в усладу
Земли, восставшей из морского дна.
В обетованьи семицветных радуг
Моя голубка больше не видна.

[25]

Нет, и скала несокрушимой веры
Мне больше не приют.
Молчат все поученья и примеры,
А вот ветра поют.

И вновь я отдаю на испытанье
И догмат, и закон.
Зовет пустыня в вечное скитанье,
Пески со всех сторон.

Я отдаю себя волне зыбучей, —
Неясен небосвод.
Свиваются на горизонте тучи,
А ветер все поет.

Кто созидает нашей жизни трепет?
Кто смерть нам к сроку даст?
Покроет хрупкость всех великолепий
Песков зыбучих пласт.

Я заново не знаю и не верю,
Ослеплена я вновь.
Мучительным сомненьем только мерю
Твой горький путь, любовь.

<2.IX 1936 г.>

[26]

С осенними листьями вместе
Исчезнуть, исчезнуть, не быть.
Растаять, как в воздухе птица,

Дымком над костром заструиться,
И листья, и ветер, — все вести,
И сладко глаза мне закрыть.

У сердца миллионы ударов.
Пора от миллионов устать.
Всю длинную книгу прочла я,
А дальше лишь даль голубая,
Пылание звездных пожаров,
Крылатая вестников рать.

Вот невод, что прорван уловом,
Омытый средь множества рек,
И что принесу от улова
К порогу быванья иного?
Каким сожигающим словом
Растопится вечности снег?

[27]

Господь мой, я жизнь принимала,
Любовно и жарко жила.
Любовно я смерть принимаю,
Вот налита чаша до края,
К ногам Твоим чаша упала.
Я жизнь пред Тобой разлила.

О милости или пощаде
Молиться теперь не хочу.
Стучу и стучу в Твои двери,
Поверь моей нищенской вере,
Дай крылья к спине мне приладить, —
Без страха к Тебе полечу.

<24.X 1936 г.>

[28]

Нет, только грусть и тонкий запах тленья
От опыта, от жизни, от вещей.
Игра от поколенья в поколенья
И пытка вечная мечей, клещей.

В осенний день небесный свод так близок
Что кажется, порог переступить, —
И нас покроет Божьей Славы риза,
Чтоб вечным светом взор наш ослепить.

В осенний день все мертвые меж нами,
И радуется касанье нежных рук.

И дни сплетаются с ночными снами,
И втягивает нас в блаженный круг.

Торжественный, слепительный подарок —
Ты даровал мне смерть. В ней изнемочь.
Душа, сожженная в огне пожара,
Медлительно, навек уходит в ночь.

На дне ее лишь уголь черно-рыжий,
Ей притаиться надо, помолчать.
Но в сердце Ты огнем предвечным выжиг
Смертельного крещения печать.

Я весть Твоя. Как факел, кинь средь ночи,
Чтоб все увидели, узнали вдруг,
Чего от человечества Ты хочешь,
Каких на жатву высылаешь слуг.

<24.X 1936 г.>

[29]

Каждая мышца свинцом налита.
Крылья... Но крыльев давно уже нету.
Пасет мою душу бичом суета,
Неистово гонит кругами по свету.

Ничтожная, нищая, ну-ка, пляши,
Оденься в восторги и лги о заветах,
Сегодня покайся, а завтра грехи
И повторяй себя в песнях пропетых.

Каким бы тебя раскаленным клеймом
Достойно, позорно навеки отметить,
Каким бы сковать твою шею ярмом
И истрепать на спине твоей плети.

Пригнись. Иль не слышишь, — вон Некто идет,
Который не числит даров и не мерит,
Он грех умерщвляет и горе берет,
Бескрылых кидает в надзвездный полет,
Рождается снова в пастушьей пещере.

Не надо усилий. Сама Благодать
Окамененное сердце растопит.
Я даже не смею Его призывать,
Но Сам Он призывами душу торопит.

ПРИЖИЗНЕННЫЕ ЖУРНАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ АВТОРОМ В КНИГИ

Хорошо, хорошо, отойду я теперь,
Крепкий узел смеясь разрублю;
Но владыка мой темный, навеки поверь,
Что я та же и так же люблю.

Только раз надо мной огневел небосвод,
Осиянный узором светил.
Уронил ты кольцо над зеркальностью вод,
Быстрый парус смеясь распустил.

О другой тишине буду Бога молить,
Вышивать бесконечный узор,
Поведет меня медленно алая нить
Средь пустынь и сияющих гор.

Вышью я над водою оливковый лес,
Темных снастей кресты, рыбарей,
Бесконечную синь распростертых небес,
Красных рыб средь прозрачных морей.

И средь синего полога Голубь взлетит
С ореолом прозрачных лучей;
И средь звездных полей будет дьявол разбит:
Вышью золотом взмахи мечей.

Так усну я средь пестрых, блестящих шелков,
Средь приснившихся, вышитых нив;
Выйду в море на Божий таинственный лов.
Мой единый, ты будешь счастлив.

* * *

Как исчислю, Владыка, Твою благодать!
Как пойму несказанность молитвы?
Ты пришел, чтоб зерно в закрома отобрать
От полыни и плевел со жнитвы.

Ты над нами Свой огненный лик распростер.
Слышу я вопрошающий голос.
Боже сильный, — я знаю, — пылает костер,
И отобран желтеющий колос.

Но вот колос, — незрел он, не нужен и пуст,
Но вот колос, — увял и бесплоден, —
Боже, все ж не сомкну славословящих уст, —
Он — колос, он — колос Господень.

* * *

По вечерам горят огни на баке;
А днем мы ждем таинственных вестей;
Хотим понять сплетений тайных знаки
На небе распластавшихся снастей.

Качается корабль острогрудый,
Подъемля в небо четкий знак креста.
И смотрим пристально, и ждем мы чуда;
Вода внизу прозрачна и чиста.

О, вестник стран иных и чуждой тайны,
Питомец бурь, соратник волн в морях, —
Мы верим, — знаки в небе не случайны
И не случайно пламенна заря.

Так близится минута расставанья, —
Тебя зовет нам чуждый небосклон
В страну, где чтут слова иных преданий
И властвует неведомый закон.

Быть может, мы, кто рвется в дали, к небу,
Кто связан тяжким, длительным путем,
Свершим когда-нибудь живущим требу,
К земле стальные тучи наметим.

Быть может, мы, распятые во имя
Неведомых богов, увидим вновь,
Как пламенем просторы нив палимы
И как заря точит святую кровь.

Так говорят снастей сплетенных знаки
И алого заката полоса...
По вечерам горят огни на баке
И слышатся людские голоса.

* * *

Исчезла горизонта полоса;
Казались продолженьем неба воды;
На кораблях упали паруса;
Застыло время; так катились годы.

Смотреть, смотреть, как нежно тает мгла,
Как над водой несутся низко птицы,
Как взвилась мачты тонкая игла,
Как паруса над ней устали биться,

Как дальний берег полосой повис
Меж небом и бесцветною водою;
Сейчас он сразу оборвется вниз
Иль унесется облачной грядюю.

* * *

Холодно ли? — Нету холода.
Одиноко ли мне? — Нет.
В солнечном победном золоте
Растворяется мой свет.

И не знаю, где же разница
Между Богом, миром, мной, —
Колокольным звоном праздника
Все слилось в один покой.

Только б меч, делящий надвое,
Эту общность не расторг,
Не отсек от вечной радости
Мой медлительный восторг.

1929

* * *

Средь этой мертвенной пустыни
Обугленную головню
Я поливаю и храню.
Таков мой долг суровый ныне.

Сжав зубы, напряженно-бодро,
Как только опадает зной,
Вдвоем с сотрудницей, с тоской,
Я лью в сухую землю ведра.

А где-то нивы побелели,
И не хватает им жнецов.
Зовет Господь со всех концов
Работников, чтоб сжать поспели.

Господь мой, я трудиться буду
Над углем черным, буду ждать,
Но только помоги мне знать,
Что будет чудо, верить чуду.

Не тосковать о нивах белых,
О звонких, выгнутый серпах, —
Принять обуглившийся прах,
Как данное Тобою дело.

* * *

Ты по-разному отринул всех, —
И душа в безлюдье одинока.
Только Ты и я, Твой свет, — мой грех,
Прах мой, — Твое солнце от Востока.

Это все. Зачем еще блуждать?
Никуда не уведут блужданья.
Все должна была я покупать
Полновесным золотом страданья.

Уплатила я по всем счетам
И осталась лишь в свободе нищей.
Вот последнее, — я дух отдам
За Твое холодное жилище.

Бездыханная, гляжу в глаза,
В этот взор и грозный, и любовный.
Нет, не так смотрели образа
На земле бездольной и греховой.

Тут вся терпкость мира, весь огонь,
Вся любовь Твоей Голгофской муки.
И молю: руками душу тронь...
Трепещу: Ты приближаешь руки.

* * *

Вечно громоздить на встречу встречу,
Дело громоздить на сотни дел...
Что за эту душу человечью
Я в час смерти Судие отвечу?

Ничего не знаю, не умею.
Ты вели. И пусть привяжут мне
Тяжкий жернов каменный на шею,
Уподобят пусть меня злодею.

Кирпичи из глины и соломы
Все сгорят. Останется лишь прах.
Господи, я никогда не дома,
Холодом неистовым влекома.

Никогда, под сенью райских яблонь,
Ты не скажешь: «Грейся, коль озябла».

* * *

Вижу одежды сияющий край.
Тени в долины с горы убежали.
Каждую ночь — на Синай, на Синай,
Новые требовать миру скрижали.

Туча насыщена ярим огнем.
Мгла загустела. Дышать больше нечем.
В самую тучу мы вопли взметнем,
Молнии наши Господним навстречу.

Господь Саваоф, Ты ль не слышишь? Пора.
Народ Твой поставил себе истукана...
Колеблется бурей святая гора,
Средь туч обнажилась багровая рана.

И чертит на камне невидимый перст
Новую заповедь — крест.

ИЗ КНИГИ «СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОЭМЫ, МИСТЕРИИ...» (1947)

До свиданья, путники земные...
Будем скорбно вспоминать в могиле,
Как мы много не договорили,
И не дотрудились, и недолюбили...

Как от многого мы отвернулись,
Как мы души холодом пронзили,
Как в сердца мы острие вонзили,
Будем скорбно вспоминать в могиле.

До свиданья, названные братья,
Будем скорбно вспоминать в могиле
Как мы скупо и несмело жили,
Как при жизни жизнь свою убили.

* * *

У самых ног раздастся скрип и скрежет.
Бездонная пучина обнажится, —
Не по ступенькам, — головою вниз
Тяжелый груз мой темноту разрежет.
И крылья будут надо мною биться,
Мелькнет сверканье огневидных риз.

О, смерть, нет, не тебя я полюбила,
Но самое живое в мире — вечность.
И самое смертельное в нем — жить.
Родился дух, рука уж у кормила
Огромных рек взрывает быстротечность,
Пора, пора, давно пора мне плыть.

[2.VI 1936 г.]

* * *

Святости, труда или достоинства
Нет во мне. За что ж меня избрать,
Дать услышать шум иного воинства,
В душу влить святую благодать?

Лишь руками развожу. Неведомо,
Как и кто ко мне стучится в дверь,
Чтоб помочь со всеми биться бедами,
Чтобы побороть мне даже смерть.

Знай же, сердце, что чертить на знамени;
Начертай: «о Боге ликовать».
Потому что в ликованьи, пламени,
Принимаешь, сердце, благодать.

Вестники

[1]

Знак этой книги — стрела,
Покоя и мира в ней нету.
Влекутся земные дела,
Влекутся к нездешнему свету.

Знак этой книги — исход,
И позванность вдаль и несытость.
Путь — человеческий род,
Цель — Божьего ока открытость.

[2]

Близорукие мои глаза
На одно лишь как-то четко зрячи:
Будто бы не может быть иначе, —
И за тишиной растет гроза.

Будто бы домов людских уют
Только призрак, только сон средь яви.
Ветер вдруг крыло свое расправит,
В бездне звонко вихри запоют.

И людские слабые тела,
Жаждавшие пития и пищи,
Рухнут, как убогое жилище,
Обнаживши мысли и дела.

Звезды, вихри, ветер впереди...
Сердце не сжимается, не трусит...
 Господи Иисусе,
 Ей, гряди...

[3]

И вновь пылающий рубеж,
И странник на пути крылатый.
Протягивает меч и латы,
Велит опять начать мятеж.

Какою, Боже, силой мы
Подыдем латы и кольчуги,
И ринутся Твои к нам слуги,
Небесных воинств тьмы и тьмы.

Ты в небе снова крест воздвиг,
И душу вихрями уносит...
Призывно трубит меченосец,
Сам Михаил Архистратиг.

[4]

Гул вечности доходит глухо,
Твой вихрь, о суета сует...
И круг: рассвет, закат, рассвет, —
Опять, опять томленье духа.

Круженье ветра, вихри пыли...
И вот, как некий властелин,
Мой дух средь вечности один
Свершает круг своих усилий.

Объединяет воедино
Растерзанного мира прах.
И явлен в творческих руках
Единый образ в комьях глины.

В руках — преграда и оправа
Всех вихрей, всех кружений — твердь.
В руках — вложенье смысла в смерть
И укрощенный смыслом хаос.

[5]

...И были вестники средь нас:
Я точно видела их прежде, —
В такой пылающей одежде,
С таким огнем крылатых глаз.

Они нам предвещали смерть
И мира гибель и горенье.
Иное разве откровенье
Они нам предвестят теперь?

И ведаю — их путь не тих.
Небесный друг — огонь и воин.
Призывен он и неспокоен,
Как в небо вознесенный вихрь.

И слышу я за смыслом слов,
В какой-то недоступной глуби, —
Начало ангел вновь вострубит
Священнопламенных костров.

[6]

Крылатому вестнику ринусь навстречу,
О, мир, предадим все глухие обиды.
Мы видели тайны, мы ждали Предтечу, —
И пищей нам были лишь мед и акриды:

«Покайтесь» — гремит средь пустыни безводной
И взор не спускает Предтеча с Востока.
«Покайтесь». Мы грешны душою голодной
И с трепетом ждем предрешенного срока.

И стонет земля в покаянии, стонет.
И сохнет от стона и стебель, и камень.
И все, что перстами Взывающий тронет, —
То — пламень.

[7]

Подземный гул все слышен мне:
Там темные клокочут силы,
Пылают там земные жилы
В неугасающем огне.

И в небе зарево стоит,
И облаком окутан кратер...
Вы слышите, друзья и братья,
Моя душа, моя сгорит.

И дальше будет только ночь,
И будет только мрак повсюду...
О, Господи, взываю к чуду,
Чтоб гибнущей душе помочь.

Я принимаю всякий груз, —
Один-единственный от века, —
Тяжелый подвиг человека,
Сын Человеческий, Иисус.

Здесь, на путях моей земли,
Зеленой и родной планеты,
Прими теперь мои обеты
И голод духа утоли.

[8]

Мне казалось, — не тихость,
А звенящие латы,
А взметенные вихри,
Огневая крылатость.

А потом согласилась,
Что нездешнею песней
Возвещает нам милость
Друг небесный и вестник.

Отчего же пронзенный
Дух не знает покою?
— Он пронзен оперенной,
Огневою стрелою...

Покаяние

[1]

Я верю, Господи, что если Ты зажег
Огонь в душе моей, то не погаснет пламя,
Что Ты не только там, но что и здесь Ты с нами,
В любви и творчестве наш христианский Бог.

И верую: придет неизреченный свет
С востока в этот мир — воистину неложно —
И то, что кажется сегодня невозможно, —
Раскроется в труде несовершенных лет.

Тогда настанет день: на широту миров —
Во всем преодолев стихию разрушенья —
Творца мы прославлять восстанем из гробов,
Исполнив заповедь любви и воскрешенья.

И будет новый мир и в мире — Новый Град,
Где каждый светлый дом и в доме каждый
камень
Тобою, Отче наш, преображенный Лад,
Воздвигнутый из тьмы сыновними руками.

[2]

Что осталось нам? — Только звезды,
Только древней Медведицы хвост.
Остальное — иное. И воздух,
И весеннего семени рост.

Что забыли? — Мы не забыли.
Ничего нам забыть не дано.
Чтоб прозябло средь грязи и пыли
В нашей памяти муки зерно.

Что ответим? — Что можем ответить?
Только молча мы ниц упадем

Под ударом карающей плети,
Под свинцовым, смертельным дождем...

[3]

Мне надоела я. К чему забота
О собственном глухонемом уме?
О, слышу я, вокруг гудит охота
И всадники сшибаются во тьме.

Не буду числить ни грехов, ни боли.
Другой исчислит. Мне же только в бой.
Судья поймет, — одних ли своеволий
Так тяготели крылья надо мной.

Вот крепко в сердце замыкаю тяжесть.
Вот связываю крылья за спиной.
Пусть, если надо, их Господь развяжет...
И отягчит меня еще виной.

[4]

Как было легко грешить,
А плата сурова ныне.
Мне надо всю жизнь разрешить
В неугасимой святыне.

Грехов моих темный ларец,
Ларец, что сковала мне память,
Беру я в последний конец,
Беру я своими руками.

Течет и уносит река.
Родным берегам — простите.
Пусть режет моя рука
Прошедшего крепкие нити.

[5]

Каждый час желает побороть,
Каждый перекресток сетью ловит.
Я хочу, чтоб просияла плоть,
Жду преображенья крови.

О, легко закрыть глаза, уста
И легко предать мне плоть земную, —
Будто бы на дереве креста
Проливал Он кровь иную.

Миру вечному сказать, — не мой,
Роду человеческому — не ваша.

А мое — суровость и покой
И бескровной жертвы Чаша.

[6]

Все еще думала я, что богата,
Думала я, что живому я мать.
Господи, Господи, близится плата,
И до конца надо мне обнищать.

Земные надежды, порывы, восторги, —
Все, чем питаюсь и чем я сыта, —
Из утомленного сердца исторгни,
Чтобы осталась одна маета.

Мысли мои так ничтожно убоги,
Чувства — греховны и воля — слаба.
И средь земной многотрудной дороги
Я неключимая, Боже, раба.

[7]

Не удержать моей плотиной
Напора разъяренной хляби.
Вот мир могучий и единый
Обрушился на дом мой рабий.

Трещат и падают засовы.
Пылают в пламени стропила.
Поток взметается багровый.
Непобедима мира сила.

И мне — освобожденной — внове
Родство с морями, с небом, с сушей.
И вечный рокот славословий,
Преображенных братьев души.

[8]

И в покаяньи есть веселье, —
О, горькое; как бы с вершин
Бросаешь камни в глубь ущелья
И остается дух один.

Из пропасти доходит глухо
Тревожный ропот в высоту,
Терзает обнаженье духа, —
И чем прикроешь наготу?

[9]

Расчет, и учет, и плата...
Довольно, — я вижу край.
О, Господи, нива сжата
И вымерен урожай.

Безрадостно, но покорно,
Покорно своей судьбе
Отдаю все тяжелые зерна
И колосья мои — Тебе.

Чтоб остаться без крова и пищи,
Чтобы душу не защищать,
Чтоб такой одинокой и нищей
Мне Твое озаренье вмещать.

О, возмездье. Все сроки проходят.
Грех и грех. И расчет, и учет.
Только сердце о новой свободе
Под ударами тихо поет.

[10]

Бичом железным — прочь на пажити,
К житейским, выжженным лугам...
Когда-нибудь Он путь укажет ли
Свободным к новым берегам?

Трудись, паси дела и помыслы,
Всегда тоскуй, всегда молись,
Чтоб благодатной дланью Промысла
Был дух изъят из тленья ввысь.

Когда же ляжешь ты распластанный
И припадешь к земле сухой,
Взовьет пылающие, красные
Архангел крылья над тобой.

[11]

Имеющий ухо, да слышит.
И слышу: среди знойных камней
Бичи из воловьих ремней
Взметаются выше и выше.

Одна. Средь лазури Господней
Бичи Твои, Суд Твой идет.
Все взвихрит — от самых высот —
До вечной Твоей преисподней.

Да слышит имеющий ухо.
И слышу — дрожит моя плоть.
Бичи размахнулись, Господь,
И хлещут протяжно и сухо.

Я не взываю, — о жалость,
О милосердие, — Ты.
Средь вечной земной суеты
Все мы ничтожность и малость.

Имеющий ухо услышал, —
Жнец в поле за жатвою вышел.

Постриг

[1]

Я не буду роптать на Тебя, —
Завоюет ли волю мне ропот?
Но зачем средь рабочего дня
Слышу конский торжественный топот?

Но зачем средь обычных тревог,
Средь кольца, что сжимает все туже,
Только стоит шагнуть за порог, —
И взметаюсь я в ветреной стуже?

Как незрима бывания нить,
Каждый день я ее сберегаю, —
Ты же хочешь меня уводить
В хаос, в бездну, к Отцовскому раю.

[2]

Вот кружится ничтожной щепкой
Душа в земном кипеньи вод.
Все, все мгновенно, все некрепко,
Река торжественно плывет.

К опустошительной свободе
Глас Господа меня позвал.
Пусть кружат воды в половодье,
Пусть хлещет белопенный вал.

[3]

Раздваивает жизнь меня:
То череда суровых буден,
То отблеск Духова огня, —
И путь земной тогда не труден.

Тогда сжимается в комок
Палач и страж — слепое время.
Несет сияющий поток
Грех, горечь, тяжесть, смерти бремя.

И мне, блаженной, у весла,
Наверное, уже не надо
Ни меры больше, ни числа.
Перед тобой — Господня радость.

[4]

Все пересмотрено. Готов мой инвентарь.
О, колокол, в последний раз ударь.
Последний раз звучи последнему уходу.
Все пересмотрено, ничто не держит тут.

А из туманов голоса зовут...
О, голоса зовут в надежду и свободу.
Все пересмотрено. Былому мой поклон...
О, колокол, какой тревожный звон,

Какой крылатый звон ты шлешь неутомимо...
Вот скоро будет горный перевал,
Которого мой дух с таким восторгом ждал,
А настоящее идет упрямо мимо.

Я оставляю плату, труд и торг,
Я принимаю крылья и восторг,
Я говорю торжественно: «Во имя,
Во имя крестное, во имя крестных уз,
Во имя крестной муки, Иисус,
Я делаю все дни мои Твоими».

[5]

Ввели босого и в рубахе, —
Пускай он ищет, наг, один,
Простертый на полу, во прахе,
Свой ангелоподобный чин.

Там, в прошлом, страстной воли скрежет:
Был нерадивый Иоанн.
Потом власы главы обрежут,
Обет священный будет дан.

И облекут в иное платье,
И отрешат от прежних мук.
Вставай же, инок, брат Игнатий,
Твою главу венчал клобук.

Новоначального помилуй
И отгони полночный страх,
Ты, чьей недремлющею силой
Вооружается монах.

А я стою перед иконой
И знаю, — скоро буду там
Босой идти, с свечой зажженной —
Пересекать затихший храм.

В рубаху белую одета...
О, внутренний мой человек.
Сейчас еще Елизавета,
А завтра буду — имярек.

[6]

Отменили мое отчество
И другое имя дали.
Так я стала Божьей дочерью.
И в спокойном одиночестве
Тихо слушаю пророчества, —
Близки, близки дни печали.

[7]

А в келье будет жарко у печи,
А в окнах будет тихий снег кружиться.
И тающий огонь свечи
Чуть озарит святые лица.

И темноликий, синеокий Спас,
Крестом раскинувший свой медный венчик,
Не отведет спокойных глаз...
Длиннее ночи, дни все меньше.

Славянских букв таинственен узор...
О подвигах и о соблазнах змея
В скитах, среди пустынь и гор
Мне говорят Четьи-Минеи.

Когда же ветер дробью застучит,
Опять метель забарабанит в стекла
И холод щеки опалит,
Тогда пойму, как жизнь поблекла.

Пусть будет дух тоской убит и смят, —
Не кончит он с змеиным жалом битву, —
Сто и еще сто раз подряд
Прочту Иисусову молитву.

[8]

Так устать, чтоб быть ничем, исчезнуть:
Господи, Ты сердце укроти.
Слышу цоканье подков железных
На небесном огненном пути.

Знаю, — дальше им лежит дорога,
Через сердце, — тяжек сердца стук.
Благостью внимающего Бога
Увенчает голову клобук.

Все запечатлеть и все оставить, —
О, усталость, даже твой покой.
На коне, сияющем во славе,
С топотом подняться в мир иной.

Черный мой венец неизреченный,
Вечного венчания печать, —
К самым небесам, над всей вселенной
Надобно торжественно поднять.

Древняя усталость сердце сушит
(Плоть истленья, праотец Адам). —
Конь небесный мчит спокойно душу
На гору Сион к святым садам.

Мертвой шелухой свилась усталость,
В светлом небе смертный мрак исчез, —
Это солнце вечности вставало, —
Солнце вечности, — осьмиконечный крест.

Странствия

[1]

Приеду. Спросят: «Вы откуда?»
Откуда я, — Бог весть.
Но где была, там худо, худо
И слез людских не счесть.

Была я средь такой метели,
Средь злых, злых выюг,
Где даже ангелы не пели,
Где сомкнут адский круг.

И, пьяны от тоски и гнева,
Живут там без надежд.
Неужто Богоматерь-Дева
К ним не склоняет вежд?

И с чем приехала? С тюками
Людских глухих обид.
Пусть воин Михаил с полками
Скорее к ним спешит.

Забрался там во двор Твой овчий,
Отпора не боясь,
Губительный, могучий ловчий,
Несметной силы князь.

Петлей унынья душит души,
Чтоб стали души — прах,
Чтоб крик мертвел все глуше, глуше
На сомкнутых устах.

Чтоб ничего уж не желали
Средь этих серых мест...
Воздвигни им средь их печали
Твой всепобедный крест.

[2]

Вольно льется на рассвете ветер.
На лугу плуги с сноповязалкой.
Сумрак. Римский дом. С ногою-палкой
Сторож бродит в бархатном берете.

На базар ослы везут капусту.
Солнце загорелось, в тучах рдея.
В сумрачных пролетах колизея
Одиноко, мертвенно и пусто.

Вольно льется на рассвете ветер...
Хорошо быть странником бездомным,
Странником на этом Божьем свете,
Многозвучном, мудром и огромном.

Ним

[3]

Черные фигуры двух монахинь.
В низкой шляпе и плаще священник.
В этом звонком, в этом древнем прахе
Ясно слышу поступь поколений.

По холмам чуть пыльные оливы.
Всюду камень желтовато-белый.
О, земля, частица древней нивы,
Божий урожай, в веках созрелый!

О, земля, я слышу, — ты устала.
Скоро час последней судной жатвы.
Вот на небе яростно и ало
Вестника пылают латы.

Ним

[4]

Обрывки снов. Певуче плещут недра.
И вдруг до самой тайны тайн прорыв.
Явился, сокровенное открыв,
Бог воинств, Элогим, Даятель щедрый.

Что я могу, Вершитель и Каратель?
Я только зов, я только меч в руке,
Я лишь волна в пылающей реке,
Мытарь, напоминающий о плате.

Но Ты и тут мои дороги сузил:
«Иди, живи средь нищих и бродяг».
Себя и их, меня и мир сопряг
В неразрубаемый единый узел.

Поезд. Весна 31

[5]

Желтый камень, прокорми
Земледельца, стадо коз,
Корни виноградных лоз, —
Всех работников земли.

Небо, влагой напитай
Эти скудные поля,
Чтоб опять цвела земля,
Чтоб родил суровый край.

Тамарис

[6]

Небесный Иерусалим,
И звон, и звон спокойно-вещий.
Душа земная, улетим,
Где небо морем в стены плещет;

Где серебром литым поют
Бесчисленные колокольни,
Где уготовал Он приют
Для каждой смертной твари дольней.

Быть — нищим и безродным нам,
Которых жизнь в огне и стоне, —
Где пребывает Авраам,
И отдыхать на Отчем лоне.

Но только кладь любви земной
Не обойду никак я мимо.
Вот груз людской. И он со мной
У башен Иерусалима.

Тулуза. Весна 31

[7]

Искала я таинственное племя,
Тех, что среди ночи остаются зрячи,
Что в жизни отменили срок и время,
Тех, что умеют радоваться в плаче.

Искала я мечтателей, пророков,
Всегда стоящих у небесных лестниц
И зрящих знаки недоступных сроков,
Поющих недоступные нам песни.

И находила буйных, нищих, сырых,
Упившихся, унылых, непотребных,
Заблудшихся на всех дорогах мира,
Бездомных, голодающих, бесхлебных.

О, племя роковое, нет пророчеств, —
Лишь наша жизнь пророчит неустанно —
И сроки близятся, — и дни короче...
Приявший раб поет Тебе: Осанна!

Лион

[8]

Земли Твоей убогое житье,
Твоих людей убогая работа...
Какое-то звериное чутье
Мне говорит: не жди у поворота.

Пославший в мир послал нас не за тем,
Чтоб только сравнивать, как не похожи
Земля изгнания и былой Эдем,
Иль лоно праотцев и это ложе.

Был этот тварный мир добро зело,
Стал тварный мир границей преисподней.
Но чую я, — вот шелестит крыло
Всю тварь пронзающей любви Господней.

Все, что привычно, что всегда вблизи, —
Борьба за жизнь, работа, скука, будни, —
Всего коснись и все преобрази,
Ты, — Солнце незакатного полудня.

Вот голый куст, а вот голодный зверь,
Вот облако, вот человек бездомный.
Они стучатся. Ты открой теперь,
Открой им дверь в Твой Дом, как мир, огромный.

О, Господи, я не отдам врагу
Не только человека, даже камня.
О имени Твоем я все могу,
О имени Твоем и смерть легка мне.

Лион

[9]

Благовестительство. Се — меч.
Се — град и мор средь мирных пашен.
Се — ангел пламенен и страшен
Гудит набатом древних веч.

Благовестительство. Спеша,
Благоразумный запер двери.
В темнице ли его душа
Взыскует об огне и вере?

И если нет в моих устах
Благовествующих глаголов, —
Пусть взглянут, — средь полей и долов
Взметенный ветром учит прах.

Вот низких туч косматый лес,
Вот воздух, даже он в темнице.
Вот поднимает Светлолицый
Над миром крест.

Лион

[10]

Закрутит вдруг средь незнакомых улиц,
Нездешним ветром душу полоснет...
Неужто ли к земле опять свернули
Воители небесные полет?

Вот океан не поглощает сушу
И в черной тьме фонарь горит, горит.
Ты вкладываешь даже в камень душу, —
И в срок душа немая закричит.

Архангелы и ангелы, господства,
И серафимов пламеносный лик...
Что я могу?.. прими мое юродство,
Земли моей во мне звучащий крик.

Ницца, весной 31

[11]

Усталость забаякала меня,
Всегда меж нищими и богачами,
Как я дождусь сияющего дня,
Последнего пред смертными ночами?

Вот лунный столб в воде и тишина.
Фонарь на лодке беспокойно красен.
Неужто же везде моя вина?
Неужто же мой путь напрасен?

[12]

Я высоко. Внизу тюки, бочонки,
Лебедек лязг и рев морских сирен.
Преодолев на повороте крен,
Мой парусник скользит стрелой тонкой.

Волна темно-зеленая. Вы, волны,
Вы — пашня трудная для рыбаков.
Стоит скала, стоит века веков,
И тенью осеняет порт и челны.

Не знаю я, зачем я здесь сегодня,
Какую вновь должна прочесть скрижаль.
О, люди-братья, необъятна даль,
Непостижимо таинство Господне.

Ницца

[13]

Кто я, Господи? Лишь самозванка,
Расточающая благодать.
Каждая царапинка и ранка
В мире говорит мне, что я мать.

Только полагаться уж довольно
На одно сцепление причин.
Камень, камень Ты краеугольный,
Основавший в небе каждый чин.

Господи, Христос-чиноположник,
Приобщи к работникам меня,
Чтоб ответственной и осторожней
Расточать мне искры от огня.

Чтоб не человеческим благодушьем,
А Твоей сокровищницей сил
Мне с тоской бороться и с удушьем,
С древним змием, что людей пленил.

Гренобль

[14]

О, волны каменные, вы —
Застывшей бури отраженье,
Вы — космы мечущие львы,
Хребта земного обнаженье.

Как звери дикие, как вал
Огнекипящего потока,
Вздымался прах, хребет вставал,
Долины зыбились глубоко.

Рождалась тверди нашей плоть,
Рождалась жизнь в огнистой груди.
И ночь была. Был день. Господь
Небывшему сказал: «Да будет!»

Гренобль

[15]

Постыло мне ненужное витийство,
Постылы мне слова и строчки книг,
Когда повсюду кажут мертвый лик
Отчаянье, тоска, самоубийство.

О, Боже, отчего нам так бездомно?
Зачем так много нищих и сирот?
Зачем блуждает горький Твой народ
В пустыне мира, вечной и огромной?

Я знаю только радости отдачи,
Чтобы собой тушить мирскую скорбь,
Чтобы огонь и вопль кровавых зорь
Потоплен в сострадательном был плаче.

Клозон

[16]

На закате загорятся свечи
Всех соборных башен крутолобых.
Отчего же ведаешь ты, вечер,
Только тайну смерти, жертвы, гроба?

Вечер тих, прозрачен и неярок.
Вечер, вечер, милый гость весенний,
С севера несу тебе подарок —
Тайну жизни, тайну воскресенья.

Страсбург. Весна 31

[17]

Устало дышит паровоз,
Под крышей легкий пар клубится,
И в легкий утренний мороз
Торопятся людские лица.

От города, где тихо спят
Соборы, площади и люди,
Где темный каменный наряд
Веками был, веками будет,

Где зелена струя реки,
Где все в зеленоватом свете,
Где забрались на чердаки
Моей России милой дети,

Опять я отрываюсь вдаль,
Опять душа моя нищает,
И только одного мне жаль, —
Что сердце мира не вмещает.

Безансон. Осень 31

Ожидание

[1]

За этот день, за каждый день ответу, —
За каждую негаданную встречу, —
За мысль и необдуманную речь,
За то, что душу засоряю пылью
И что никак я не расправлю крылья,
Не выпрямлю усталых этих плеч.

За царский путь и за тропу пастушью,
Но главное — за дани малодушью,

За то, что не иду я по воде,
Не думая о глубине подводной,
С душой такой крылатой и свободной,
Не преданной обиде и беде.

О, Боже, сжался над Твоею дочерью!
Не дай над сердцем власти малoverью.
Ты мне велел, — не думая, иду.
И будет мне по слову и по вере
В конце пути такой спокойный берег
И отдых радостный в Твоем саду.

21 августа 1933 г.

[2]

...И за стеною двери замурую.
Тебя хочу, вольно найденный гроб.
Всей жизнью врежусь в глубину земную,
На грудь персты сложить и оземь лоб.

Мне, сердце тесное, в тебе просторно.
И много ль нужно? Тело же в комок.
Пространство лжет, и это время вздорно,
Надвинься ниже, черный потолок.

Пусть будет черное для глаз усталых,
Пусть будет горек хлеб земной на вкус,
В прикосновеньи каждом яд и жало,
Лишь точка света — имя: Иисус.

Лишь бы хотеть... Хотеть я не умею.
Быть чистою — и мука не чиста.
Дай мне, как дал распятому злодею,
Тебя познать на высоте креста.

Вели, как недостойной Магдалине,
Разбить мой алавастровый сосуд,
И пусть грехи на чашу мститель кинет,
И пусть настанет Твой последний суд.

1933

[3]

Охраняющий сев, не дремли,
Данный мне навсегда провожатый.
Посмотри — я сегодня оратай
Средь Господней зеленой земли.

Не дремли, охраняющий сев,
Чтобы некто не сеял средь ночи

Плевел черных напажити Отчей,
Чтоб не сеял унынье и гнев.

Охраняющий душу мою,
Ангел Божий великой печали,
Здесь, на поле, я все лишь в начале,
Пот и кровь бороздам отдаю.

Серп Твой светлый тяжел и остер.
Ты спокоен, мой друг огнеличный.
В закрома собираешь пшеницу,
Вражьи плевелы только в костер.

7 августа 1934

[4]

Верчу я на мельнице жернов,
Скрипучий, тяжелый, упорный,
Мелю полновесные зерна,
Помол же — песок или пыль,
Как будто я сыпала щебень,
Волчец, что в еду непотребен,
Седой и мохнатый ковыль.

О сердце, о жернов усталый,
Вот боль полновесно упала, —
Мели, этих зерен немало, —
И трудится сердце, и бьется,
Но белый помол не дается
И боль не рождает покой.

Как будто незримые воры
Пшеницы мучительный ворох
Запрятали в темные норы
И сердце напрасно стучит.
И дух мой, убогий и нищий,
Опять остается без пищи
И новую ниву растит.

[5]

Господи, Ты видишь — нищета,
Сердце как унылый, гулкий дом,
А вокруг такая суета...
Все проходит, все одна тщета,
Все кончается смертельным сном.

Но не надо нам пчелиных сот,
Но не надо нам и рыб из рек,
Хлеба и елея. Твой приход

Все земное сразу отсечет,
Как от сердца суету отсек.

Господи, не говорить, не петь,
И не каяться, и не хотеть.
Ни о чем не плакать, не просить...
Господи, Тыходишь в сердца клеть.
Буду эту ночь, как дар, носить.

[6]

Постучалась. Есть за дверью кто-то.
С шумом отпирается замок...
Что вам? Тут забота и работа,
Незачем ступать за мой порог.

Дальше, дальше! Тут вот деньги копят,
Думают о семьях и себе,
Платя штобауют и печи топят,
И к привычной клонятся судьбе.

Бескорыстного искать меж нами?
Где-то он один свой крест влачит?
Господи, весь мир как мертвый камень.
Боже, мир, как кладбище, молчит.

<25.VI 1938 г.>

[7]

У брата крепкий дом и много золота,
На каждой двери у него замок,
Не пустит он бродягу на порог,
Разумный брат, — он не боится голода.
Моя душа давно нема от холода.
И крыша ей давно небесный свод.
Вокруг все голодающий народ,
Она ж безумно не боится голода.
У брата время точно все размерено.
Срок — что приобретать, срок — отдыхать.
Днем суета, а ночью на кровать.
И он живет спокойно и уверенно.
А мера у души моей потеряна:
То я ничто, то кто-то за меня
Ночами чертит буквы из огня,
И я живу спокойно и уверенно.
И брат придет с смертельной усталостью,
Вне бытия, к ногам Твоим, Судья.
И медленно поднимется бадня,
Гружена добродетельною малостью.
И я приду с смертельной усталостью

И скажешь Ты: зачем же отдавать
Дарованную Мною благодать,
Ничем не оправдать тебя, — лишь жалостью.

10 мая 1933 г.

[8]

Мертва ли я? Иль все еще живая?
Немотствуют душа моя и плоть.
Но за сады сияющего рая
И немоту мне надо побороть.

Как скупы в этом мире измерения.
Лишь три. Куда же ветер крыльев деть?
Четвертое пронзает все — горенье, —
И надо мне всей, до конца, сгореть.

Господь, не я, лишь горсть седого пепла,
А в нем страстей и всех желаний гроб.
Душа глуха, душа уже ослепла.
И сжат и сложен в закрома мой сноп.

Пусть мне не быть, Ты надо мной средь праха,
Пусть мне не петь, пусть ангелы трубят.
Пусть мне не знать ни радости, ни страха,
Когда миры в последний срок горят.

7-го августа 1934 г.

[9]

Пусть отдам мою душу я каждому,
Тот, кто голоден, пусть будет есть,
Наг — одет, и напьется пусть жаждущий,
Пусть услышит неслышавший весть.

От небесного грома до шепота
Учит все — до копейки отдай.
Грузом тяжким священного опыта
Переполнен мой дух через край.

И забыла я, есть ли средь множества
То, что всем именуется — я.
Только крылья, любовь и убожество,
И биение всебытия.

[10]

От жизни трудовой и трудной,
От этих многозначных встреч,

От всей земли скупой и скудной
Что мне для вечности беречь?

Лишь голод мой неутолимый,
Погоню по Его следам,
Все остальное — херувиму
У врат небесных я отдам.

Войду туда с душою голой,
С одной неистовой мольбой,
Прострусь я с воплем у Престола,
Сама ограблена собой.

Мне оправдаться нечем, нечем, —
Но Ты меня рукою тронь,
И ринется Тебе навстречу
Изголодавшийся огонь.

[11]

Трехсолнечный свет и нет страха,
Восстану в час судный из гроба.
Извергнет земная утроба
Останки сожженного праха.

Ты, триединое пламя,
Взметешь огневидные струи,
Крещеньем огонь испытует
Извергнутых к жизни гробами.

И вспыхнет сухая солома...
Как мало от жизни осталось...
Огнеупорная малость
Нужна ли для Отчего дома?

27 апреля 1933 г.

[12]

И в этот вольный, безразличный город
Сошла пристрастья и неволи тень.
И северных сияний пышный ворох,
И соловецкий безрассветный день.

При всякой власти, при любых законах,
Палач ли в куртке кожаной придет,
Или ревнитель колокольных звонов
Создаст такой же соловецкий гнет.

Один тюрьму на острове поставил
Во имя равенства, придет другой —

Во имя мертвых, отвлеченных правил
На грудь наступит тяжкою стопой.

Нет, ничего я здесь не выбирала,
Меня позвал Ты, как же мне молчать?
Любви Твоей вонзилось в сердце жало
И на челе избрания печать.

22-го июня 1937 г.

[13]

Я знаю, зажгутся костры
Спокойной рукою сестры,
А братья пойдут за дровами,
И даже добрейший из всех
Про путь мой, который лишь грех,
Недобрыми скажет словами.

И будет гореть мой костер
Под песнопенье сестер,
Под сладостный звон колокольный,
На месте на Лобном, в Кремле,
Иль здесь, на чужой мне земле,
Везде, где есть люд богомольный.

От хвороста тянет дымок,
Огонь показался у ног,
И громче напев погребальный.
И мгла не мертва, не пуста,
И в ней начертанье креста —
Конец мой, конец огнепальный.

17-го июля 1938 г.

[14]

Парижские приму я Соловки,
Прообраз будущей полярной ночи.
Надменных укорителей кивки,
Гнушенье, сухость, мертвость и плевки, —
Здесь, на свободе, о тюрьме пророчат.

При всякой власти отошлет канон
(Какой ни будь!) на этот мертвый остров.
Где в северном сияньи небосклон,
Где множество поруганных икон,
Где в кельях-тюрьмах хлеб дается черствый.

Повелевающий мне крест поднять,
Сама, в борьбу свободу претворяя,
О, взявши плуг, не поверну я вспять,

В любой стране, в любой тюрьме опять
На дар Твой кинусь, плача и взывая.

В любые кандалы пусть закуют,
Лишь был бы лик Твой ясен и раскован.
И Соловки приму я, как приют,
В котором Ангелы всегда поют, —
Мне каждый край Тобою обетован.

Чтоб только в человеческих руках
Твоя любовь живая не черствела,
Чтоб Твой огонь не вызвал рабий страх,
Чтоб в наших нищих и слепых сердцах
Всегда пылающая кровь горела.

22-го июня 1937 г.

[15]

Запишет все протоколист,
А судьи применяют законы.
И поведут. И рог возьмет горнист.
И рев толпы. И колокола звоны...

И крестный путь священного костра,
Как должно, братья подгребают уголь.
Вся жизнь, — огонь, — паляща и быстра,
Конец. (Как стянуты веревки туго).

Приди, приди, приди в последний час!
...Скрещенье деревянных перекладин.
И точится, незримая для глаз,
Веками кровь из незаживших ссадин.

17-го апреля 1938 г.

Покров

[1]

Ни формулы, ни мера вещества
И ни механика небесной сферы
Навек не уничтожат торжества
Без чисел, без механики, без меры.

Нет, мир, с тобой я говорю, сестра, —
И ты сестру свою с любовью слушай, —
Мы — искры от единого костра,
Мы — воедино слившиеся души.

О мир, о мой одноутробный брат, —
Нам вместе радостно под небом Божиим
Глядеть, как Мать воздвигла белый плат
Над нашим хаосом и бездорожьем.

[2]

Из вечных таинственных книг
Познали мы древнюю веру.
О, Боже, какую воздвиг
Ты хаосу мерную меру.

Сознанием тьма сражена,
И с тьмой совершилась расплата.
Вот в вечность восходит Жена,
Вся огнезрачна, крылата.

Ты, вечная Дева и Мать,
Ты, радость измученным взорам, —
Вовек не устань покрывать
Нас, смертных, своим омофором.

Как птица птенцов стережет,
Как недра земельные — севы, —
Так нас омофор бережет
Крылатой и огненной Девы.

[3]

Мать, мы с тобою договор,
Завет мы заключим любовный, —
Птенцов из гнезд, зверей из нор
Принять, любить, объять покровно.

И человеческих свобод
Тяжелый и священный камень
Под самый Божий небосвод
Своими вознести руками.

Ты знаешь все, ты видишь, Мать,
Что ничего душе не надо.
Лишь все до дна навек отдать, —
И в этом тихая услада.

[4]

Сразу даль обнажена,
В льды душа моя уводится...
О, крылатая Жена,
Дева, Матерь, Богородица.

Вижу зорче зорких снов,
Птиц неведомых крылатее, —
Хаос, — и над ним покров,
Распростертый Девой Матерью.

Тайна, — хаос, — это я, —
И Покровом жизнь исчислена.
Нет иного бытия, —
Только мрак и Мать Пречистая.

[5]

Присмотришься, — и сердце узнает,
Кто Ветхого, кто Нового Завета,
Кто в Бытии, и кто вступил в Исход,
И кто уже созрел в Господне лето.

Последних строк грядущие дела
Стоят под знаком женщины родящей,
Жены с крылами горного орла,
В пустыню мира Сына уносящей.

О, чую шелест этих дивных крыл
Над родиной, над снеговой равниной.
В снегах нетающих Рожденный был
Спасен крылами Женщины орлиной.

[6]

Над тварью, в вечности возносится Покров, —
Над тварным тлением в своей предвечной
славе, —
И собирает Мать к себе земных сынов,
И материнскую о них тревогу правит.

Земля владычица, невеста из невест,
Мать матерей, — все тихо и все просто:
Сын человеческий воздвиг над миром крест, —
Нам меч дала ты обоюдоострый.

Со дна, из пропасти, от тленья, от гробов, —
До глубины небес и до хрустальной сферы,
Сын в Матери открыт, и Мать в путях сынов
Навек открыла нам Покровом тайну веры.

Крест Сына Божьего, — он миру острый меч,
Пронзенная мечом, земля стенает, — мать.
Крест Господа, — как крылья он у плеч, —
И Мать — всех птиц, всех бурь свободней и
крылатей.

[7]

Два треугольника — звезда,
Щит праотца, отца Давида,
Избрание — а не обида,
Великий дар — а не беда.

Израиль, ты опять гоним, —
Но что людская воля злая,
Когда тебе в грозе Синая
Вновь отвечает Элогим!

Пускай же те, на ком печать,
Печать звезды шестиугольной,
Научатся душою вольной
На знак неволи отвечать.

Париж, 1942 г.

Земля

[1]

Обряд земли — питать родные зерна,
А осенью, под ветром, умирать —
Я приняла любовно и покорно,
Я научилась ничего не знать.

Есть в мире два Божественных искусства —
Начальное, — все, что познал, хранить,
Питать себя наукою стоустой,
От каждой веры мудрости испить.

И есть искусство. Как назвать — не знаю,
Символ его — все зачеркнувший крест,
Обрыв путей, ведущих сердце к раю,
Блуждание среди пустынных мест.

Искусство от любимого отречься
И в осень жизни в ветре холодеть,
Чтоб захотело сердце человечье
Безропотно под ветром умереть.

Лишь этот путь душе моей потребен,
Вот рассыпаю хранину мою
И Господу суровому молебен
С землей и ветром осенью пою.

[2]

В двух обликах я землю поняла:
То мчит она сияющим фрегатом
Надежды наши, мысли и дела
В восторге и безумии крылатом.

И вечность вся послушна кораблю,
Ложится океаном за кормою, —
Такой приемлю землю и люблю,
И вижу я ее такую.

И облик есть еще. Как грузна плоть, —
Распластана, разъята, неподвижна.
Куда идти? Кого, зачем бороться?
И вечность Божья плоти непостижна.

О, недра темные, вулканов гул,
Семян таинственное прозябанье.
Путь человеческий нас повернул
К гробам, к гробам, в истленье, в увяданье.

И знаю я, не руль в моих руках, —
Гробовщика тяжелая лопата.
Земля моя, ты только тлен, ты прах, —
И я с тобой во прах разъята.

[3]

Знаю я извечное притворство,
Различаю твой, земля, обман.
Божья. И откуда богоборство, —
Этот дымный и сухой туман?

Претворяешься, земля, — иная
В первозданной сущности своей,
И теперь хранишь ты отсвет рая
Средь холодных вспаханных полей.

И не мне — сестре единокровной —
Позабывать, не слышать, не узнать,
Как звенит одной волной любовной
Всеспасаящая благодать.

По утрам заря пылает ало.
Свились, уплывают тени снов.
И рука на небе распластала
Голубой Покров.

[4]

Весь твой подвиг измерила я, —
Знаю, знаю глухую покорность
И непрочность, и смерть, и тлетворность,
Надоевшего так бытия.

Ты земля моя, ты и сестра мне.
Слышу осени звонкий напев,
Вижу, — вот прорастает твой сев
В глине, щебне, песках или камне.

Знаю, знаю, измерила я,
Не измерила, — сердцем узнала,
Как лежать ты под небом устала, —
Как гнетет вечный тлен бытия.

Услыхав под землею удары,
Возвестившие сердцу вражду,
Я теперь напрягаюсь и жду, —
Где раскинутся в небе пожары.

Как ты свой многолиственный сад
Вихрем, взрывом в хаос покоробишь
И, пылая в неистовой злобе,
Ударишь в набат.

[5]

Не хотят колючие слова
В эти мерные вмещаться строки.
Знаю, знаю, будет сон глубокий,
Будет тихо шелестеть трава,
Звезды станут гаснуть на востоке.

Будет так прохладно на земле,
На лугах разросшегося сада,
Станет так мне ничего не надо,
Как теперь бывает лишь во сне,
Когда сердце беспричинно радо.

Я смогу тогда глядеть, глядеть
На далекие в тумане горы,
На воды блестящие узоры,
На деревьев кружевную сеть,
На берлоги, птичьи гнезда, норы.

Господи, ведь нечего беречь.
И растратить тоже не могу я.
Все свивая, плача и тоскуя,
Чую крылья у усталых плеч,
Вижу небывалую судьбу я.

Пусть понятен весь земной мой путь
Людам-спутникам и людам-братьям
И приветливым рукопожатьем
Провожают в смерть, во мрак и жуть —
Ближе к мертвенным ночным объятьям.

Или еще верят до конца?
Иль еще не тронула тревога,
Что стоит у самого порога?
Вот — чрез мрак, чрез смерть к путям Отца,
Строгого карающего Бога.

[6]

Нет, Господь, я дорогу не мерю, —
Что положено, то и пройду.
Вот услышу опять про потерю,
Вот увижу борьбу и вражду.

Я с открытыми миру глазами,
Я с открытою ветру душой;
Знаю, слышу, — Ты здесь, между нами,
Мерой меряешь весь путь наш большой.

Что же? Меряй. Мой подвиг убогий
И такой неискупленный грех,
Может быть, исчислением строгий, —
И найдешь непростительней всех.

И смотреть я не буду на чашу,
Где грехи мои в бездну летят,
И ничем пред Тобой не украшу
Мой разорванный, нищий наряд.

Но скажу я, какую тоскою
Ты всю землю Свою напоил,
Как закрыты дороги к покою,
Сколько в прошлом путей и могил.

Как в закатную серую пору
Раздается нездешний набат
И видны истомленному взору
Вихри крыльев и отблески лат.

И тогда, нагибаясь средь праха,
Прячась в пыльном земном бурьяне,
Я не знаю сомненья и страха,
Неповинна в свершенной вине.

Что ж? — Суди. Я тоскою закатной,
Этим плеском немеркнувших крыл



Елизавета Пиленко (вторая слева) – ученица Таганцевской гимназии, среди одноклассниц. Санкт-Петербург. Весна 1908 года



Преподаватели и ученицы Стоюнинской гимназии. Санкт-Петербург. Начало 1900-х годов



Баржи на Фонтанке у Семеновского моста.
Санкт-Петербург. 1900-е годы





Имение Елизаветы Цейдлер, тетки Елизаветы Кузьминой-Караваевой, в Джемете под Анапой. До 1917 года



Доктор Владимир Будзинский – основатель анапских санаториев.
Бюст на центральной аллее санатория «Анапа». 1990-е годы



Павел Протапов — председатель Совета рабочих и солдатских депутатов в Анапе. Весна 1918 года



Унтер-офицер Дмитрий Пиленко. Петроград. 1914





Каланчевская площадь. Николаевский и Ярославский вокзалы. Москва. 1910



Дмитрий Кузьмин-Караваев, студент Санкт-Петербургского университета –
первый муж Елизаветы Пиленко. Санкт-Петербург. 1904



Елизавета Кузьмина-Караваева в 1914 году

Оправдаюсь в пути безвозвратном,
В том, что день мой не подвигом был.

[7]

Ни памяти, ни пламени, ни злобы, —
Господь, Господь, я Твой узнала шаг.
От детских дней, от матерней утробы
Ты в сердце выжег этот точный знак.

Меня влечешь сурово, Пастырь добрый,
Взвалил на плечи непомерный груз.
И меченое сердце бьется в ребра, —
Ты знаешь, слышишь, Пастырь Иисус.

Ты сердцу дал обличье вещей птицы,
Той, что в ночах тоскует и зовет,
В тисках ребристой и глухой темницы
Ей запретил надежду и полет.

Влеку меня, хромую, по дорогам,
Крылатой, сильной, — не давай летать,
Чтоб я могла о подвиге убогом
Мозолями и потом все узнать.

Чтоб не умом, не праздною мечтою,
А чередой тугих и цепких дней, —
Пришел бы дух к последнему покою
И отдохнул бы у Твоих дверей.

[8]

Наступающее лето...
Сколько их, созревших нив.
В зелень земля одета,
Ветки тяжелы от цвета.

Зеленеющие нови
Соком налились зеленым.
Памяти сиротской, вдовьей
Этот сок, как реки крови.

Скоро хлынут волны, скоро,
И идет на нивы серп.
Сок зальет земли просторы,
Сгинут в красном море горы.

Не было с начала мира
Урожая тяжелее.
Серп, коса, топор, секира
Дорвались теперь до пира.

Вся земля, как плод, созрела,
Виноградарь уж припас
Ведро темные — для тела,
Духу — воздух сребробелый.

[9]

Вот и надгробный плач творю
Я над тобой, земля-праматерь.
Какую мутную зарю
Мы встретим в нынешнем закате?

Вдвоем смотрели на тебя,
На мертвый лик, лежащий в гробе, —
Смотрел лишь ветер, в рог трубя,
Смотрела я в бессильной злобе.

Ты, ветер-друг, ушел потом
Скитаться по просторам звездным,
Земля уснула под крестом,
Под нашим пением бесслезным.

И я одна от похорон
Осталась на дорогах жизни.
Как знать, какой призывный звон
Меня вернет к моей отчизне?

Не научу ль я плакать всех,
Так, чтоб глаза от слез ослепли?
Твой путь, земля, и смерть и грех, —
Не путь ли наш, не грех, не хлеб ли?

[10]

Не голодная рысит волчиха,
Не бродягу поглотил туман, —
Господи, не ясно и не тихо
Средь Твоих оголодавших стран.

Над морозными и льдистыми реками
Реки ветра шумные гудят.
Иль мерещится мне только между нами
Вестников иных тревожный ряд?

Долгий путь ведет нас всех к покою,
(Где уж там, на родине, покой?)
Лучше по-звериному завою —
И раздастся отовсюду вой.

Посмотрите, — разметала вьюга
Космы дикие свои в простор.

В сердце нет ни боли, ни испуга —
И приюта нет средь изб и нор.

Нашей правды будем мы достойны,
Правду в смерть мы пронесем, как щит...
Господи, неясно, беспокойно
Солнце над землей Твоей горит.

Смерть

[1]

Только к вам не заказан след,
Только с вами не одиноко,
Вы, — которых уж больше нет,
Ты, мое недреманное Око.

Точно ветром колеблема жердь,
Я средь дней. И нету покоя.
Только вами, ушедшими в смерть,
Оправдается дело земное.

Знаю, знаю, — немотствует ад.
Смерть лишилась губящего жала.
Но я двери в немеркнущий сад
Среди дней навсегда потеряла.

Мукой пройдена каждая пядь, —
Мукой, горечью, болью, пороком.
Вам, любимым, дано предстоять
За меня пред сияющим Оком.

[2]

Не солнце ль мертвых поднялось сегодня?
Не наступил ли день расплат?
Вот урожай пшеничный сжат,
В точилах зрелый виноград,
И медленно грядет закат
На лето благости Господней.

Мертвящий свет. А сердце так крылато!
Меж «здесь» и «там» исчезла грань.
Погибла временная брань.
Господь нас взял в святую длань,
И страж мне рек: душа, восстань, —
Вот час, вот срок, вот суд, вот плата.

[3]

Моих молитв бескрылых тонкой нитью, —
Ничтожной нитью, я держусь лишь ей.
Готов корабль к последнему отплытию,
На берегу развил все кольца змей.

Там или здесь, в порыве корабельном
Могу оставить берег я змеи,
Могу тонуть в пространстве запредельном,
Там, где блаженно тонут корабли.

А если нет? А если битве в жертву
Навек должна остаться я сама?
И час придет. И змей закончит жатву
И плевелы уложит в закрома.

[4]

Прощайте, берега. Нагружен мой корабль
Плодами грешными оставленной земли.
Без груза этого отплыть я не могла б
Туда, где в вечности блуждают корабли.

Всем, всем ветрам морским открыты ныне снасти.
Все бури собираю в тугие паруса.
Путь корабля таков, — от берега, где страсти,
В бесстрастные Господни небеса.

А если не доплыть? А если сил не хватит?
О, груз достаточен, неприхотливо дно.
Тогда холодных, разрушительных объятий,
Наверное, мне миновать не суждено.

[5]

Мы снискиваем питье и брашно
Заклятьем первородного греха.
Мы трудимся, мы утучняем пашню,
И нашу землю бороздит соха.

И оттрудившись, тихо умираем.
Каким судом судить Ты будешь нас,
Стоящих перед осиянным раем,
Наш брат по плоти, вечный Бог и Спас?

Сын Человеческий, Домостроитель,
В обширном доме Своего Отца
Какую уготовишь нам обитель,
Какого удостоишь нас венца?

[6]

О, всепредчувствие, преддверье срока,
О, всеподготовительный восторг.
На торжищах земли закончим торг,
Проснемся, крикнем и вздохнем глубоко.

Ты, солнце вечности, восход багров,
И предрассветный холод сердце душит.
Минула ночь. Уже проснулись души
От утренних туманно-теплых снов.

И сны бегут, и правда обнажилась.
Простая. Перекладина креста.
Последний знак последнего листа, —
И книга жизни в вечности закрылась.

ПОСМЕРТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Каждый был безумно строг,
Как писал: король наш — Блок...
«Венский» преступив порог,
Мы рекли: король наш — Блок.
И решил премудрый рок,
Что король поэтов — Блок.

10 декабря 1911

* * *

Увидишь ты не на войне,
Не в бранном пламенном восторге,
Как мчится в латах на коне
Великомученик Георгий.

Ты будешь видеть смерти лик,
Сомкнешь пред долгой ночью вежды;
И только в полночь громкий крик
Тебя разбудит: зов надежды.

И белый всадник даст копьё,
Покажет, как идти к дракону;
И лишь желание твое
Начнет завтра оборону.

Пусть длится напряженья ад, —
Рассвет томительный и скудный, —
Нет славного пути назад
Тому, кто зван для битвы чудной.

И знай, мой царственный, не я
Тебе кую венец и латы:
Ты в древних книгах бытия
Отмечен, вольный и крылатый.

Смотреть в туманы — мой удел;
Вверяться тайнам бездорожья
И под напором вражьих стрел
Твердить простое слово Божье,

И всадника ввести к тебе,
И повторить надежды зовы,
Чтоб был ты к утренней борьбе
И в полночь — мудрый и готовый.

26 июля 1916

* * *

А медный и стертый мой грошик
Нищему только в суму.
Не то что поступок хороший, —
Так душу отдам ему.

А если душа не монета,
А золотая звезда, —
Швырну я осколок света
Туда же, где в свете нужда.

Нанси, весна 31

* * *

Стоит ли быть Бонапартом?
Кромсать и коробить границы?
Скитаться по вражеским картам?
За эти поля и границы
С полками несметными биться?
 Какою покажется горстью
 Средь моря затерянный остров.
Вот храм — пожелтевший пергамент,
И черных узоров подтеки.
Готический каменный пламень
Взмощен не моими руками,
Я здесь чужестранец далекий.
 Какою отнимется тяжбой
 У сердца камней этих тяжесть.
Замолкните все Чингисханы, —
Вот конница радостных мыслей
Уже покорила все страны.
Завоеватель, исчисли,
Где пули, где трупы, где раны
 Сдаются без боя. Мгновенье, —
 И мир весь навеки мой пленник.

Мец, лето 31

* * *

Средневековых улиц тишь.
Во сне ребристые соборы.
Святые средь высоких ниш.
А далее река и горы.

И над рекой горбатый мост,
Прямоугольник пыльный сквера,

И памятника дикий рост, —
Вот быт чужой, чужая вера.

Иду по этой мостовой,
Ищу затерянное племя,
Гуляки, милые, домой;
Вы слышите, — настало время.

О, несколько привычных слов,
Лишь слов простых, не заклинаний,
И нет ни гор, ни городов,
Ни памятников и ни зданий.

Лишь из-за туч колокола
Все льются, воздух разрезая.
Тебе, страна моя, хвала,
Страна всех стран, земля святая.

* * *

Не попутным, видно, ветром
Занесло сюда меня.
Вижу я по всем приметам, —
Что ни встреча — не родня.

Не родня река Гаронна
И дома из кирпича,
Черной Матери корона,
Храма белая свеча.

Не родня мне и родные:
Что-то уж с восторгом гнут
Многомученные выи
Под тяжелый, нудный труд.

Побеждающие узы
Где им вольно перевозмочь?
Нет, пора мне из Тулузы
В дали, в ветер, к людям, прочь.

* * *

Не похожи друг на друга реки, —
С этою рекой Нева не сестры,
Но как будто корабельщик некий
Там и тут воздвиг такие ж ростры.

Подымают якорь мореходы,
Отплывают, как Колумб, на запад...

Излучают медленные воды
Океанский и соленый запах...

Только что корабль новый прибыл,
Может быть, из города Петрова.
На базаре серебрятся рыбы
Самого последнего улова.

Город — ключ к морским седым просторам,
Город — морю крепость и препона.
Дым табачный, пиво, кости, споры
За дверями каждого притона.

Знаю я, какие могут зовы
Здесь рождаться в час глухой, закатный...
Вот над морем небеса багровы...
Шкипер, шкипер, нет тебе возврата.

Борго, 1.IX 31

* * *

Самое вместительное в мире — сердце.
Всех людей себе усыновило сердце.
Понесло все тяжести и гири милых.
И немилое для сердца мило в милых.

Господи, там, в самой сердцевине, нежность.
В самой сердцевине к милым детям нежность.
Подарила мне покров свой синий Матерь,
Чтоб была и я на этом свете матерь.

Клермон-Ферран

* * *

Нет, не покорная трусливость,
Боязнь, что победят соблазны,
Не омертвелая красивость
Твоих одежд многообразных.
Какая тяжесть в каждом шаге,
Дорога круче, одиноче.
Совсем не о нетленном благе
Все дни кричат мне и пророчат.

7.I 1937

* * *

Недра земли, океаны, пещеры,
Звезды, что в небе хрустальном повисли,
Солнечный свет и эфирные сферы, —
Все угадай, все познай, все исчисли.
Не отрекайся от срока и меры, —
Не вопрошай лишь о пламенном смысле.

Смысл — он в вулкане, смысл — он в кометах,
В бешено мчащихся вдаль антилопах,
В пламенных вихрях, в слепительных светах,
Что наше сердце в безумии топят;
Смысл — он в стихах, никогда не допетых,
Смысл — в недоступных нехоженных тропах.

Смысл — он крестом осененный погост.
Смысл — как крест. Он — прост.

1929

* * *

Внизу написано: «Агата.
Марсельский порт». Недалеко.
Над ней пылает высоко
Диск солнца в светлых волнах злата.

А меж «Агатой» оснащенной
И легкой солнечной ладьей
Скала-маяк стоит судьей,
Маяк, в две бездны обращенный.

Земля, суровая обитель,
Морей твоих исчислен риск.
А солнечный над морем диск, —
Он к вечности детоводитель.

Ницца

* * *

Глаза, глаза, — я знаю вас.
Ты, племя родины жестокой, —
Пускай устало ты до срока, —
Но этот взгляд родимых глаз.

Смотрю, смотрю, — и нету дна.
Что, — заглянула в преисподню?
Иль в высь бездонную Господню
Дорога стал мне видна?

Глаза, — и все понятно вдруг.
Воздушные мосты вы, взоры.
За вами снежные просторы,
В просторах русский наш испуг.

Страсбург

* * *

Единство мира угадать
Из всех вещей, из всех событий.
Увидеть крепость вечных нитей,
Какими нас связала Мать.

Святая тайна вручена
Несмысленным и слабым детям,
Указывает путь столетьям
Преображенная Жена.

И каждый, кто о нас прочел
В предмирном и предвечном гуле,
О, чувствует, — наполнен улей
Тревогою рабочих пчел.

Мы строим дом, мы строим храм,
Мы ткem Владычице порфиру.
Приникшая в единстве к миру,
Будь Матерью предвечной нам.

1930

* * *

Испанцы некогда здесь жить хотели
И строились. Камней чернильный цвет.
Гудят ветра в высокой цитадели,
Заброшенной уж много сотен лет.

На перекрестке светлый шум фонтана,
Тугие дуги сводчатых ворот,
И фонари здесь потухают рано,
И не спешит на площадях народ.

Средь частой паутины улиц узких,
Где даже днем полупрозрачный мрак,
Забралось несколько скитальцев русских
На исторический чердак.

Безансон

* * *

Посты и куличи. Добротный быт.
Ложиться в полночь, просыпаться в девять,
Размеренность во всем, в любви и в гнев.
Нет, этим дух уже по горло сыт.

Не только надо этот дух сломать,
Но и себя сломать и искалечить,
И непомерность всю поднять на плечи,
И вихрями чужой покой взорвать.

* * *

Ты, серебряная птица, Голубь,
Как ты бьешься, как трепещешь ты
На земле, засушенной и голой.

Посмотри, — не пахнут и цветы,
Если ж пахнут, то они бесплодны,
Выросли для мертвенной тщеты.

Посмотри, — все души не свободны, —
Если же свободны, то болят,
Если же свободны, то безродны.

Обрати свой озаренный взгляд
На зеленую мою планету,
Посмотри, и камни говорят:

Благодатного покоя нету.

Ницца, весна 1931

* * *

Плывет с двумя баржами тихо катер,
И нежных облаков плывет гряда.
И плавно мир летит туда, туда,
Где сочетается все в единство Матерь...

Разлив реки.. И по двойному небу
В подобии двойные облака —
О, мир двойной, ты так века, века
Взыскуешь о едином на потребу.

Весной зеленою, восстав из гроба,
Всей страстью устремись в иную явь.
В том, верхнем небе все свое расплавь,
Его подобию, неотличный образ.

Поезд Париж — Нанси

* * *

И в эту лямку радостно впрягусь, —
Хоти лишь, сердце, тяжести и боли.
Хмельная, нищая, святая Русь,
С тобою я средь пьяниц и средь голи.

О Господи, Тебе даю обет, —
Я о себе не помолюсь вовеки, —
Молюсь Тебе, чтоб воссиял Твой свет
В унылом этом в пьяном человеке.

В безумце этом или чудаке,
В том, что в одежде драной и рабочей,
Иль в том, что учится на чердаке
Или еще о гибели пророчит.

Европы фабрики и города,
Европы фермы, шахты и заводы, —
Их обрести Господь привел сюда
Необретаемой свободы.

И средь полей и городов молюсь
За тех, кто в этой жизни вечно голы, —
Хмельную, нищую, святую Русь
Ты помяни у Твоего престола!

Ницца 31

* * *

Смотри, — измозолены пальцы,
Навьючен уродливо горб, —
Калеки мы все и скитальцы,
И шаг наш порывист и скор.

И пусть многовечен ты, Запад, —
Понять нас с любовью потщись.
Плетем мы наш лыковый лапоть
Сегодня, сегодня, — а завтра
Путь лапотный в Божию высь.

Готических каменных башен
Закинул ты в небо узду.
И надписью дом твой украшен:
«Воздвигнут в таком-то году».

У нас же ни года, ни дома, —
Воздвигнуты Бог весть когда, —
Мы все — и зерно, и солома,
И ждем мы небесного грома
И сроков Господня суда.

Смотри, — измозолены пальцы...
Спасусь я, мой Боже, спасусь,
Спасетесь вы, братья скитальцы,
Молитвословная Русь.

Страсбург

* * *

Господи, Господи, Господи,
Ни о чем я просить не хочу.
Мне ли видеть оконные росписи
И собора чужого свечу?

Не хочу я ответом быть заданным,
Выше туч в небеса вырастать, —
Лишь куриться туманом и ладаном,
Лишь средь поля себя распластать.

Оттого, что душа беспризорная,
Оттого не ко мне этот зов.
Боже, Господи, даль чудотворная,
Православная Церковь Соборная,
Божьей Матери синий Покров.

Страсбург, весна 31

* * *

Нашу русскую затерянность
Все равно не потерять.
Господи, дай мне уверенность,
Что целебна благодать.

Задержалась я у проруби,
У смертельной у воды, —
Только вижу — крылья Голубя
Серебристы и седы.

И бездонное убожество
Осняет Параклет.
Шлет он ангельское множество,
Льет холодный горний свет.

Други, воинство крылатое,
За потерянный народ
С князем тьмы над бездной ратуя,
Будьте крепкий нам оплот.

Гренобль

Марсель Ленуар

Белый цвет и цвет коричневатый.
Синий лишь у Матери хитон,
Ангельские одеянья сини.
Сбоку видны воинские латы, —
В них коричневый светлеет тон,
Легче в них волна спокойных линий.

Мальчики навек застыли в песне
И не перелистывают нот,
Ангелы смычком коснулись скрипки.
Дева-Мать сидит в высоком кресле,
У нее в руках распластан Тот,
Тень Кого как крестный символ зыбкий.

И воздвиг незримый Треугольник
Око недреманное, над Ней
Золотой венец, камнями пестрый.
Вольного страдания Невольник.
Что сейчас апостолам родней?
Твой ли крест иль меч двоякоострый?

Низкий свод просторной светлой залы,
Цвет коричневый и белый цвет
С синим цветом вместе на иконе.
Дева венчанная так устало
Смотрит в дали, за окно, во след
Быстро мчащейся реке Гаронне.

Тулуза, 31

Люди

[1]

Номер сто пятидесятый,
В городе Марселе, в морге.
От судьбы не спас проклятой
Воин воинов — Георгий.

Только мой свободный постриг
Мертвых мне усыновляет,
Меч он обоюдоострый
Прямо в сердце направляет.

Марсель, 31

[2]

По кофейням, где шлепают карты,
Сизым облаком дым табачный.
Мелкотравчатого азарта
Еще пьяный восторг не утрачен.

Так не в праздник, а ежедневно, —
Табак все время пропахло.
Вдруг спокойно войдет и безгневно
К ним пророк в длиннополой рубахе.

Опрокинет мраморный столик,
Тучу дыма раздвинет руками,
Просто скажет о Божьей воле —
«Божьей волей я между вами».

И затихнет пьяная ругань,
По полу покатится монета,
И начнут принимать без испуга
Языки благодатного света.

А пророк в одеянии белом, —
Это значит — все сроки постели.
Что ж, считайте, пишите мелом
Все, что выиграть еще не успели.

Тулуза, 31

[3]

Гостиничные номера...
Я не в гостях и я не дома.
Без родины огня и грома
Везде мне дома быть пора.

Я вглядываюсь вам в глаза
И вижу тишь природы доброй,
Христов нерукотворный образ,
Которого вы образа.

И знаю, что в последний миг,
Который и не так уж долот,
Последний я найду осколок,
Восстановлю единый Лик.

По городам, по номерам
Ищу я вас всегда — сегодня —
Носители лица Господня,
Вот кланяюсь я низко вам.

Страсбург, 31

[4]

В людях любить всю ущербность их,
И припадать к их язвинке, к их ранке.
Как же любить Его, если Он тих,
Если Он пламенем веющий ангел?

Господи, Господи, я высоту, —
Даже Твою, — полюбить не умею,
Что мне добавить еще в полноту?
Как Всеблаженного я пожалею?

Там лишь, где можно себя отдавать,
Там моя радость, — и в скорби, и в плаче.
Господи, Боже, прости мне, — я мать, —
И полюбить не умею иначе.

[5]

К каждому сердцу мне ключ подобрать.
Что я ищу по чужим по подвалам?
Или ребенка отдавшая мать
Чует черты его в каждом усталом?

Нет, лишь с тех пор я, как дух мой прозрел,
Вижу такое средь язв и средь гноя,
Преображение вижу я тел,
Райские крылья земного покоя.

Складки на лбу иль морщинки у рта,
Иль худоба, иль сутуловатость, —
В них, не за ними проходит черта,
А за чертой огневая крылатость.

Ницца, весна 31

Города

[1]

Измерена верною мерою вера,
Пылающей готики каменной мерой, —
Не знаю я, — камень иль пепел то серый, —
Дай соблудности мне смиренное сердце.

Господи мой, отчего же мне страшно?
Эти крутые, крылатые башни
Всё заместили, и реки, и пашни, —
Дай соблудности мне смиренное сердце.

Солнце все топит в своей позолоте.
Мерная мера таинственных готик
Ввысь устремилась за небом в охоте, —
Дай соблюсти мне смиренное сердце.

Не ввысь, не пылающим камнем, не сводом,
Вширь распластать себя под небосводом,
Вместе спастись с дремучим народом, —
Дай соблюсти мне смиренное сердце.

Это чужое. Здесь Бога наместник.
Здесь не боятся готических лестниц
До самого рая, до ангельских песен, —
Дай соблюсти мне смиренное сердце.

Страсбург, весна 31

[2]

Рождающие пену узы, —
Кипит зеленое стекло,
И пену в бездну повлекло, —
О, страсбургских каналов шлюзы.

По берегам такая тишь, —
Лишь женский лик среди низких окон,
И ветер облачных волокон
Над крутизной горбатых крыш.

Небесный веер желтоперый,
Зари осенняя печаль, —
Там родины предвечной даль,
Там громки ангельские хоры.

Страсбург, осень 31

[3]

Еще мне подарили город,
И заворот реки, и мост,
И в листьях шелест ветра скорый,
Казарму, офицера шпоры,
Лихой кавалерийский пост.

Мне подарили на придачу
Зари такой янтарный мед,
Таких туманов легких лет.
О, Господи, с утра я трачу, —
Богатство же мое растет.

Я знаю, — Ты даятель щедрый,
Не оскудет Твоей руке,

Пока не дашь всех волн в реке,
Все небо, все земные недра,
Все, что вблизи, что вдалеке.

Пускай, и плача, и ликуя,
Душа дары все сохранит —
От дружеского поцелуя
До самых горестных обид, —
Господь-Даятель, аллилуйя.

Мец, лето 30

[4]

Ты ли, милосердный Пастырь,
Этой ночью на рассвете
Сквозь туман и дождик частый
Вновь предрек о Параклете?

Вот и день. А сердцу нежно,
Сердцу тихо в Отчей длани,
Как звезде в пути безбрежном
Иль в лазурном океане.

Среди города чужого,
Средь камней и плит звенящих
Тишина, огонь и Слово
На воскрылиях парящих.

И к земле зеленой плетью
Припадаю. Горы-ребра.
Параклета благодатью
Все пронзил Ты, Пастырь добрый.

Монпелье

Иное

[1]

Десять раз десять,
А в промежутке одна.
От самого дна
Это мой путь в поднебесье.

Черпаю четки,
И не могу исчерпать
Мудрости тихую гладь,
Сладость, Сладчайший и Кроткий.

Сто раз подряд
Твержу я молитву Иисуса.
Меж пальцами катятся бусы,
Меж пальцами искры горят.

Смерти и тли оболочка
Рассыпья, исчезни.
В черной и мертвенной бездне
Имя, — огнистая точка.

32

[2]

Помазанность, христовость наша...
Чего боимся? Мы как прах,
В Первосвященнических руках
Вот в жертву мир подъят, как чаша.

Нет, — не лицо пронзает душу, —
Одушевленный космос, — Ты
Пасешь законом чистоты
Моря, и небеса, и сушу.

Круженье ветра, срок прилива,
Пути людей, дрожанье струн.
Твой мир как огненный скакун,
И пламенем мятется грива.

32

[3]

Инок и странник-сородич,
Если он знает, — мир пуст.
Ненасытимая горечь
Ядом касается уст.

Вот она, книга исхода
Из мира, где все как во сне.
Богоизбранного рода,
Знаю, печать и на мне.

Терпкое, горькое пламя,
Терпкий, даешь нам в питье.
Терпкими буду устами
Славить пустыни житье.

32

В начале

[1]

И нет меня уже как будто...
Но тварный мир, но звездный рой,
Вечерний сумрак, пурпур утра
Все так же живы надо мной.

И нет уже моих желаний, —
Тот, Кто сказал: «Я есмь Сый»,
Подъял в сияющие длани
Нездешней истины весы.

И наши нищенские беды,
И голод наших нищих дум
Подъял огнем своей победы
Предвечный, непостижный ум.

Канны

[2] **Мать**

Как вы, веселые, еще не догадались,
Что здесь средь праздника суровый музыкант
Не сладострастные играет вальсы,
А вихревую музыку далеких стран.

Вот порвалась она. Пересекла напевы.
По камням брызнул дождь. Шарманщик замолчал.
Заснувший на руках пламеннокрылой Девы,
Летит Младенец Бог, начало всех начал.

Мец, 14 июля 29

[3] **Покаяние**

Да, каяться, чтоб не хватило плача,
Чтоб высохнуть, чтоб онеметь.
О, Господи, как же теперь иначе?
Что я могу еще хотеть?

Все тени восстают, клеймят укором,
Все обратились в кровь и плоть.
Рази меня последним приговором,
Последняя любовь — Господь.

Медон, 28

[4]

Моих грехов не отпуская
И благодать не даруй даром, —
Все взвесь, все смеряй, все карай,
Смотри, каким тлетворным паром
Клубится память о былом.
Сокрушена душа пожаром.
Я предавала Отчий дом,
И благодать всю расточала,
И призывала гнев и гром.
Вот слушай. Дней моих начало.
И солнца южного ладья
Меня в лазурности качала.
Пуста была грехов бадья,
Тяжеловесна — благодати,
И милостив Твой взор, Судья.
Ты посылаи небесных ратей
В закатном небе алый полк.
И я не ведала о плате.
Как накопился темный долг,
И стал скитаться дух средь ночи,
Затравленный, голодный волк?
Ты слышишь, — дни мои пророчат,
Пророчат гнев, пророчат суд,
И сроки с каждым днем короче.
И смерть, и кровь, разгул и блуд.
Разнузданность страстей насытых
Они как знак в себе несут.
Кто перечислит всех убитых?
Растленных всех кто соберет?
Кто вспомнит мертвых незарытых?
Но и не в этом темный гнет, —
Все это знак иной измены.
И все вменяю я в умет.
Я захотела жизни тленной
И гибель в сердце приняла,
И приняла я знаки плена,
И почести я воздала —
Не смыслу — божеские. Вот
Закон, свершивший все дела.
Сзывай же Свой святой народ,
И распластай меня на плахе,
И перечисли каждый год,
Так, чтоб душа смешалась в страхе,
Чтоб кнут Твой жилы обнажил.
В посконной буду я рубахе,
В натуге почерневших жил,
Со взором, что от муки

Все кается, как дух мой жил.
С ударом каждым кнут Твой крепнет.
О, суд Твой милостив и свят.
Такой конец мой — благолепный.
Пусть будет только темный ад,
Пусть будет скорбно и тоскливо,
Не будет пусть пути назад, —
Все Ты решаешь справедливо.

[5]

В тысяча девятьсот тридцать первое
Лето от воплощения Слова
Ты, безумное сердце, ты, верное,
Будь же бестрепетно к жертве готово.

На земле нам печалиться некому,
Нет чудес, исцеляющих боли.
Жрец по образу Мелхиседекову
Вновь бескровную жертву заколет.

Пусть душа пред Тобой опорочена:
Не ее, а она зашала.
От насилия плевка и пощечины
В ней самой неисцельное жало.

Боже, жизнь, — скорпионы и аспиды.
И за то, что питалась их ядом,
Я хочу быть на дереве распятой,
Как разбойники, с Агнцем рядом.

Лион, лето 31

[6]

Обманывать себя. Иль пламя
Так радостно, так горячо?
Там в недрах вечно колет память,
Посасывает червячок.

Определен заране выбор, —
И скрою я от вас, друзья,
Какие каменные глыбы
Из года в год возвращаю я.

Не от веселья вечный хохот, —
Он — мой обманчивый значок.
О, Господи, мне плохо, плохо, —
Посасывает червячок.

[7]

Идет устрашающий гнев,
И огрызается грех.
О, Господи, вырос мой сев,
Наверно, тщедушнее всех.

О, Боже, мне — вопли и плач,
Мне здесь уже скорбный ад.
И взять не захочет ткач
Ни нити моей в свой плат.

Он ткет его, белый покров,
А мне — только адский озноб,
А мне — в суемудрии слов
Неотверзаемый гроб.

Я знаю — спастись мне нельзя.
Мои все восторги из тьмы
Туда, где проходит стезя
Воздвигшей Покров свой Жены.

Я вижу — Иоанн Богослов
Для мира срывает печать
С своих предвещающих слов, —
И в вечность подымается Мать.

И держит в руках омофор,
И мир, как единый Афон.
И только в безумье мой взор
Грехами навек погружен.

29

[8] Смерть

Не так уж много — двадцать четыре часа,
Сутки — колосья, часы же — как зерна
пшеницы.

Краткими взмахами косит Господня коса.
Долго ли ангелы будут над полем трудиться?

Вижу, как крылья трепещут у ангельских (сил)
Вольно и радостно колосом скошенным.

[9]

Живу в труде. Тяжелый мой кирпич
Усилиями создам для Божья Царства.
Пусть ничего мне не дано постичь, —
Как испытанья я приму мытарства.

И смерть хочу. Замолкнет шум труда.
Ослабнут мышцы, холодом нальются.
И выгнусь я в гробе навсегда.
И крышка хлопнет. Гвозди в гроб вопьются.

И никакой мне не поможет врач,
Не нужен будет маг или целитель, —
Час воскресенья Ты душе назначь,
Смерть одолевший ада Победитель.

22.VI 33

[10] Ликованье

Да, не беречь себя. Хожу на всех базарах
Товаром будничным, голодным на потребу,
За грош и каждому. В каких еще пожарах,
Душа моя, ты подыматься будешь к небу?

Никто, нигде, ничем, никак уж не поможет.
Что человек для человека? Голос дальний?
Иль сон забытый? Он уж не тревожит, —
Немного радостней или печальней.

Но есть защита крепкая. Иная помощь.
Господня длань тяжелая. Ты — лоно Божье.
Вот, безночлежная, я вечно дома. Дома, —
Одна, в туманах ветреных, во мраке бездорожья.

[11] Мир

Знаю, когда-нибудь правды сразятся:
Правда забывших и очи и уши,
Правда забывших смятенные души
С Правдой Твоей, о, Пийца и Ядца.

И будут оправданы вор и убийца,
Бездомные больше не будут без крова,
Мытарь и блудница насытятся вдоволь,
Волей Твоею, о, Ядца и Пийца.

Мы же, пришедши на солнечный Запад,
Мы же, увидевши свет Твой вечерний,
Слышим, — все громче, грозней и размерней
Воинов мстящих доносится топот.

[12]

Вечера мои перекликаются.
Был один... лет двадцать миновало...

Что ты, сердце? Не устало маяться?
И стучать, стучать ты не устало?

Лунный серп... Вот этим тонким ключиком
Отопру я в смысл последний двери,
Господи, отдам Тебе все лучшее
И не попрошу о мудрой вере.

Только бы глаза остались зрячими
Вечному, свершающему чуду.
Буду с осенью скорбеть я плачами
И с весною радоваться буду.

Страсбург, 30

[13]

Может, ничего я не узнала,
Только догадалась, — знает кто-то.
И от этого иной предстала
Нудная привычная работа.

Кто-то знает, кто-то путь измерил,
Кто-то тайну видит смертным взглядом.
И моей несовершенной вере
С верой совершенной легче рядом.

Чую я — не в небесах далече, —
В плоти мировой многострадальной, —
Вскрылась тайна Богочеловечья, —
Агнец закалается Пасхальный.

30

[14]

Ночью камни не согреешь телом,
Не накликаешь скорей рассвет.
Господи, наверно в мире целом
Никого меня бездомней нет.

Жметя по соседству кот бездомный, —
Будем вместе ночку коротать.
Мир ночной, — пустой, глухой, огромный,
Добрый надо двери запирать.

Потому что нет иной защиты
Добрый, кроме крепкого ключа...
Холодеют каменные плиты,
Утро возвестил петух, крича.

Господи, детей растящий нищих,
Охраняющий зверей, траву,
Неужели же в земных жилищах
Тебе негде приклонить главу?

Если так, то буду я бродяга,
Пасынок среди родных сынов.
В подворотнях на ступеньках лягу
У дверей людских глухих домов.

Ницца 31

[15]

Все забытые мои тетради,
Все статьи, стихи бросайте в печь.
Не затейте только, Бога ради,
Старый облик мой в сердцах беречь.

Не хочу я быть воспоминаньем, —
Буду вам в грядущее призыв.
Этим вот спокойным завещаньем
Совершу с прошедшим мой разрыв.

1932

[16]

Три года гость. И вот уже три года
Хлеб режем мы от одного куска.
Глядим на те же дали небосвода.
Меж этажами лестница узка.

Над потолком моим шаги уже три года,
Три года в доме веет немота.
Не может быть решенья и исхода,
Одно решенье — ветер, пустота.

Какой-то паутиной, пылью, ложью
Покрыло все, на всем тоски печать.
И думаю с отчаяньем и дрожью,
Что будем долго ни о чем молчать.

Чье это дело? Кто над нами шутит?
Иль искушает ненавистью Бог?
Бежать бы из дому от этой мутной жути,
И не могу я с места сдвинуть ног.

22 мая 1939

[17]

Еще до смерти будет суд,
Мой собственный и беспощадный,
Когда возьмут и унесут
Монашеский наряд нарядный.

С укором перечислят мне
Мои грехи святые сестры.
И суд велит гореть в огне.
И это будет новый постриг.

30.XII 1938

[18]

Исаия 21:11-12

Ночь. И звезд на небе нет.
Лает вдалеке собака.
Час грабителя и вора.
Сторож колотушкой будит.

— Сторож, скоро ли рассвет?

Отвечает он из мрака:

— Ночь еще, но утро скоро,

Ночь еще, но утро будет.

декабрь 1941

[19] **Звезда Давида**

Два треугольника, звезда,
Щит праотца, царя Давида, —
Избрание, а не обида,
Великий путь, а не беда.

Знак Суцего, знак Еговы́,
Слиянность Бога и творенья,
Таинственное откровенье,
Которое узрели вы.

Еще один исполнен срок.
Опять гремит труба Исхода.
Судьбу избранного народа
Вещает снова нам пророк.

Израиль, ты опять гоним.
Но что людская воля злая,
Когда тебя в грозе Синая
Вновь вопрошает Элогим?

И пусть же ты, на ком печать,
Печать звезды шестиугольной,
Научишься душою вольной
На знак неволи отвечать.

7.VI 1942

[20]

Моего смиренного Востока
Нищая и мудрая звезда.
Нивы спят. Зерно лежит глубоко.
Влагу пьет спокойно борозда.

Сеяли мы только звезды с неба,
Мы пахали, сами впрягшись в плуг...
И какого ожидать нам хлеба?
Где для молотьбы наметить круг?

Много нас, смиренных, несвободных
И отрекшихся от всех гордынь,
Хлеб растивших средь песков бесплодных
И пахавших средь глухих пустынь.

Мудрость наша в деле терпелива,
Неподвижен и ленив Восток,
Как земля, как звездной жатвы нива, —
Спят и ждут, когда настанет срок.

[21]

Обетовал нам землю. Мы идем.
Обетовал нам землю Ханаана.
И вел нас ночью пламенным огнем.
И вел нас днем
Ты облаком сгущенного тумана.
Господь, — идем.

И только наш лазутчик
Нам говорит, — не млеко там и мед, —
Пустыня, и пески, и кручи,
И небо — мрак. И реки — лед.
И в душах — гнет.

Святая Русь, мой нищий Ханаан,
С любовной мукой облик твой приемлю.
Обетовал Господь нам эту землю —
И путь в нее — огонь или туман,
Земля земель, страна всех стран,
И щебень и песок, и лед и мрак, —
Было и будет — колыбель — могила.

Так, Господи, суровый Боже, так.
Таков наш путь, таков наш знак.
О нищенстве душа молила.
Какой уж нам небесный сад...
Но будет снежно, будет тихо.
И выйдет старая волчиха
И поведет своих волчат.
И небо низкое придавит,
И слезы душу отягчат, —
О, Господи, душа прославит
Облезлых, маленьких волчат.
Идем, Господь, Ты нам обетовал
Бездолье нищее и крылья огневые,
Восторг и муку нам в наследье дал.
О, Ханаан родной, земля Россия.

[22]

Знаю я, — на скором повороте
Неожиданное стережет.
И забота лепится к заботе, —
Тяжки мне вериги из забот.
Вот катаю тачку я натужась,
Полную обиды и тревог;
Знаю, развернет грядущий ужас
Пропасть серую у самых ног.
Господи, Ты с неба только нитку,
Тоненькую ниточку спустил,
Чтоб не покорила я избытку
Темных, чуждых, непонятных сил.
Я по вере стану невесомой
И себя сумею побороть,
И пойду я в тайный, незнакомый,
Непрерывный Твой покой, Господь.
Не прошусь я за порог далекий,
Где раскинулись Твои сады, —
Мне бы только кончить путь жестокий,
Путь обиды, боли и беды.
Мне бы в сером воздухе носиться,
В непрерывной и прохладной мгле,
Чтоб забылись образа и лица,
Брошенные мною на земле.
Чтоб себя я в холоде забыла,
Расплескала б душу в вышине,
Чтобы не было того, что было, —
Памяти о боли и вине.

[23]

Глуше гремит труба,
Громче Архангела голос.
С треском разверсты гроба,
Небесная сдвинулась полость.

Облако, — нет, — костер,
Золото — огненный слиток.
Ангел сосуд простер,
Пролил свой терпкий напиток.

Высохли сразу моря,
Уголь — деревья и травы.
Золото — пламя, заря —
Это грядет к нам Царь Славы.

Вот я... один на один
С Ним я... без друга, без брата...
Ищу среди многих долин
Долину одну — Иосафата.

[24]

Будет день, в который с поездом
Унесусь я в заревые страны...
Слышу — вечно бьется воинство,
Слышу возглас бранный.

Шелковистым шелестом там, в воздухе,
Запевают песнь о вечном.
Песнь о земле чаемой, об отдыхе,
На пути небесном, звездном, млечном.

[МЕЛЬМОТ СКИТАЛЕЦ]

В полной уверенности, что близко время Мельмоту прилететь и искушать нас одним только большим обещанием, и с сомнением — неужели никто не согласится быть искушенным.

Елиз<авета> Кузьмина-Караваева

песня первая

На Индийском океане
Остров есть средь волн соленых,
Недоступный в пене вод;
Там, в предутреннем тумане,
Дева юная живет.

И иных людей не зная,
Средь павлинов у потока,
У подножья низких гор
Жизнь слагалась молодая,
В смерти розы — знаки срока
Видел только девы взор.

От земли свои печали
К белой островной богине
Привозил в ладьях народ.
Дева с именем Ималли
Пела песни о павлине,
О спокойном беге вод.

Тамаринды и бананы
Были ей от бурь защитой
И давали ей плоды;
Приносили ураганы
К острову челнок разбитый, —
Память смерти и беды.

Но Ималли смерть не знала
И не ведала утраты,
Скорбных дней и ранних бед;
И заря пред ней пылала,
Расцветал весь мир богатый
Каждый год; так много лет.

Песнь затянет: «Месяц много раз
Умирал, и увядали розы;
Лист желтел и засыхали лозы;
Тленья мира часто видел глаз.

Молнией зажженный ствол пылал,
Умирили пестрые павлины,
Дождь и ветер в поток земли и глины
Крепкие утесы разрушал.

Но опять на тверди голубой
Новый месяц тихо серебрился;
И из лоз опять побег развился;
Так назначено им всем судьбой.

Я же старше солнца и цветов,
Я всегда была без измененья.
Пусть все тлеет; не боюсь я тленья, —
В тленьи мир восстанет чист и нов».

Так жила она; и плыли корабли,
Над водой подняв свои крутые ребра,
От родной земли
К богине доброй.

Знали кормщики, что в море много раз
От камней подводных, бури и тумана
Тихий голос спас
Девы океана.

Часто юноши возили ей венки,
Восковые корабли пускали в море;
Даже старики
Шли к ней в горе.

Во время осеннее месяц щербатый
Нежданно воздушный корабль озарил;

Напрягся под бурею парус косматый.
На берегу деве моряк говорил
Про смерть и про грех, про земные утраты,
Про горечь безвременных, тихих могил,
О жизни средь мира, стяжаньем богатой,
О гибели частой и веры, и сил.

И рассыпалась в томительном стоне
Белая гряда разгневанных волн.
О гибели быстрой, о злобной погоне,
О множестве бед, и утрат, и забот
Скиталец рассказывал ей; в небосклоне
Ущербленный месяц свершал свой обход.
И с каждой минутой он был непреклонней,
Скиталец отверженный, скорбный Мельмот.

Суровых законов заложник,
Предавшийся пагубной страсти,
Великий владыка, безбожник,
Носитель таинственной власти.

Два века минуло, как он закончил счет
С небесной светлой силой;
Уже давно свершил позорный торг Мельмот,
Продав покой могилы.

Все скорби испытав и веры искусив,
Проникнув в тайны знаний,
Он не был в страсти спокоен и счастлив
Пред часом умираний.

И он решил перед концом земных дорог
Свершить свой торг позорный;
Душе своей он сам назначил краткий срок,
Предал ее руке тлетворной.

И был написан договор,
И договор рука скрепила;
Вначале власть, потом позор
И беспокойная могила.

И стал владыкою Мельмот
Пространства и времен до срока,
Когда дорога завернет
К Судье и Господину рока.

И взгляд земной его сгорел;
И сердце вдруг испепелилось;
И он забыл святой предел,
Забыл святое слово: милость.

Не угли, молния горит,
Нездешний пламень в мертвом взоре;
И, как маяк, людей манит
В бушующем осеннем море.

Он может все, он властелин
Столетий долгих, мысли, дела;
Из всех живых лишь он один
Глядит в запретные пределы.

Но час настанет, час суда,
В известный час придет возмездье;
И он исчезнет без следа,
Как облако среди созвездий.

Есть надежда и не все потеряно:
Заклучавший договор сказал,
Чтоб искал Мельмот рукой уверенной
Человека, что в несчастье впал.

Каждый может заменить изгнанника,
И он может отвратить судьбу,
Указав несчастного избранника
Иль страстей сжигающих рабу.

Может он вручить печать запретную
Каждому, кто согласится взять,
Кто отдаст за власть и силу тщетную
Божьего избранника печать.

Что тебе, враг? Иль души уже мало?
Что тебе, злобный? Иль ты недоволен?
Здесь бы богатую жатву собрал.
Душу живую, что долго страдала,
Разум, что был и спокоен, и волен,
Навеки ты черным пятном запятнал.

Что тебе, злобный? Иль жертвой богатой
Темный владыка еще не утешен?
Разве не сладок ему этот грех?
Нива Мельмота до ангелов сжата;
Жатвы иной недостойн и грешен,
Грешен Мельмот, недостойнее всех.

Ликуй и веселись,
Пускай из лука стрелы,
Враг злобный и умелый,
В сияющую высь.

Ты победил сейчас,
Ты господин сегодня;

Но помни власть Господню:
Он многих падших спас.

Жадный и высокомерный враг,
Как ловца, к живым послал Мельмота;
В мире скорбном каждый быстрый шаг —
За добычей верною охота.

Меры нет его греху; он пал,
И увлечь он за собой обязан
Всех, кто тщетно радости алкал,
Всех, чей путь был долго скорбью связан.

Грех, рождающий грехи; твой путь
Будет проклят и людьми и Богом;
Ты не дашь усталому вздохнуть,
Сторожишь ты нищих по дорогам.

Где безумье радость затемнит,
Где раскинет сети людям голод,
В кузнице твоей огонь горит,
Падает на наковальню молот.

Только слушай, слушай: вдалеке
Волны бьются на седом песке,
Кто-то песнь поет, поет в тоске.

И звучат, звучат колокола
Про надежды, мысли и дела,
И про твердь, что молодой была.

Слышен по пустыне конский бег,
Мерные раскаты дальних рек;
С тихим шелестом уходит век.

И другой в сиянии встает;
А корабль воздушный приплывает
К роковой, седой земле, Мельмот!

Будет слышен звездам разговор
Путников, разрезавших простор;
Злобно отвечал и спрашивал Мельмот

Про свой таинственный полет:

«Мы над какими землями плывем?
И отчего прозрачный воздух душен?
Не видно козых стад на склонах,
И потемнел спокойный небосвод».

— «Воздушным огибаем кораблем
Страну, где будет смерти час подслушан

Твоей души, в молениях и стонах,
Владыка воздуха и времени, Мельмот».

«Какие там звучат колокола,
И отчего не видно в окнах света?
Спокойно все; иль день рабочий трудный
Не дал усталым горя и забот?»

— «Дорога нас нежданно привела
К местам, где каждый куст — примета.
Еще далеко день Господень судный,
Но ты его предчувствуешь, Мельмот».

— «Угрюмые, безводные холмы;
Но обещает тень еще не жившей;
И в гибели заключена отрада.
Грядущая, Судью умиласердь».

— «Запомни договор: из тленной ты тюрьмы
В нетленную идешь, забывший,
Как надо жить и как смиряться надо.
И будет твой тюремщик — смерть».

Смятенный приметамы тайны
И знаками близкого срока,
Спустился на землю Мельмот.
И каждый прохожий случайный,
Идущий пред ним одиноко,
Нес много надежд и забот.

Стучался он в дом к земледелу,
Склонялся у смертного ложа,
Страшился, судьбу торопил.
И речь заводил он умело
О тайне, что сердце изложет,
О власти таинственных сил.

Приходит дорогою разной
К сердцам утомленным утрата,
И скорбь, и тяжелый недуг;
Различны Мельмота соблазны:
К одним он в обличии брата,
К другим он приходит как друг.

И золотом сыпет он нищим,
Покой обещает усталым
И тихую пристань пловцам;
Идет по убогим жилищам
И жалит невидимым жалом,
Везде приникает к сердцам.

Но ненадолго: пламенный восторг
В сердцах сменяет скоро размышление.
Пощады вопль и тихое моление
Все не дает ему закончить торг.

Когда готова чаша на весах
У мстителя в руках переместиться,
Несчастные склоняют низко лица,
И слово их задерживает страх.

Не только страх: иным навек упасть
И быть в пыли, из всех людей последним,
Достойнее, чем вверить сердце бредням,
Признать над ним враждебной силы власть.

Неужели на земле неплодной
Средь усталости и нищеты,
Среди тленья, тленья и тщеты, —
Все спокойны духом и святы,
В выборе дорог своих свободны?

Не томят греховной плоти гири,
И нужда не тронула сердец,
Не пугает дней земных конец, —
Или близок пламенный Творец?
Избранных ведет в свободном мире?

Иль никто из созданных в исленье,
Кроме одного, не смог поднять
Отреченья черную печать,
Властью долгою себя венчать?
Силу взять за вечное спасенье?

Кары страх иль вера в правду Бога
В час последний заградит уста?
Иль душа пред Богом так чиста?
Иль страшит их светлый знак креста?
Все молчат. А в мире боли много.

Боли много; скорби много;
Путает в полях дорога;
Жизнь вперед нас гонит строго.

А над пропастью отвесной
Мы к кончине неизвестной
С верой движемся чудесной:
Верим Бога муке крестной.

Не здесь, не здесь, — в пустынном океане,
Средь бурь, средь волн седых, в седом тумане
Решил Мельмот спасение искать.

И, рассекая облако бортами,
Корабль летит над тихими местами,
Мельмот смотрел на голубую гладь.

И к вечеру на острове далеком
Мельмот бродил, вперед гонимый роком.
Ложились тени, и горел закат;
И ящериц блестели слабо спины,
Ступали гордо пестрые павлины,
Желтел в лучах закатных виноград.

И серебрился месяц на востоке;
У ног журчали медленно потоки;
На крыльях тихих приближался сон.
В воде закатные лучи дрожали.
Раздвинув ветви, тихо шла Ималли
Меж пальмовых торжественных колонн.

Жертва ли дева Мельмоту?
Дева, не знавшая Бога,
Не знавшая в жизни заботу?
Здесь ли нашел он охоту?

Нет, лань убегает в теснины,
И прячутся дикие козы,
И с криком взлетают павлины, —
А дева идет средь равнины.

Не ведает страха, смеется;
Смущен ее смехом охотник,
И молча в тени остается;
У девы ль надежда найдется?

Подходит. С нежданным вопросом
Склонилась она пред скитальцем.
А ветер касается к косам,
И росы блестят по откосам.

Откуда он? И где челнок,
С которым ринулся в поток
В вечерний и опасный срок?

Что привело пловца сюда,
Где только небо и вода,
Где нет иных людей следа?

«Я от дальнего мира приплыл;
Не страшила мне сердца опасность.
Жизнь земная дала мне бесстрастность, —
Не напрасно я долго прожил.

Иль страшнее кипучий поток
Сердца-угля, что грудь сожигает?
Или ветер на нас нападает
Так лукаво, как враг средь дорог?

Там, где люди, там скорбь и беда;
Злоба там свои плевелы сеет.
Здесь на острове память немеет
И пространства скрывает вода».

Не поняла суровых слов Ималли:
Ей птицы и цветы не открывали
Миров далеких скорби и печали;
И стало ей впервые мира жаль.

Казались ей тоскою непонятной
Слова про мир чужой и необъятный.
А незнакомец снова говорил
О немощи людских смятенных сил,

О том, как властвует печаль и злоба,
О скудной жизни вплоть до двери гроба,
О смерти, смерти, стороже слепом,
Владычице над злобой и добром.

Нет, не страшно Ималли,
Но на сердце печально:
Отчего ей о тайне цветы не сказали,
И без скорби лучи на закате пылали?

Подымались с заката
Темно-серые тучи;
Будто знаки обиды, беды и утраты,
Будто знаки, что солнце ушло без возврата.

А Мельмот продолжал свой рассказ:
«Бог, далекий живым и суровый,
Царство страсти создал среди нас,
И она нас сковала в оковы.

На коне объезжает она
Наши земли, стучится в жилища;
Тот, кому ею милость дана,
Завтра будет бездомный и нищий.

Завлекает к себе и поет;
Стрелы мечет с улыбкой веселой.
И с надеждой к ней каждый идет,
Гибнут все под стопую тяжелой.

Гибель, гибель одна впереди
Всем, кто в мире однажды явился,

Кто лежал у родимой груди,
Кто за счастьем в дорогу пустился».

И солнце поднялось, когда Мельмот
Закончил речь, и в океан направил
Крутого корабля таинственный полет.
Имали он на берегу в тоске оставил.

Теперь не так был ярк пламень роз,
И воды в море уж не так прозрачны;
Покой младенческий корабль унес
К своей земле, усталой, грешной, мрачной.

Лишь волны так же бьются на песке,
И так же слышен дальней бури ропот.
Замолкли песни. О земной тоске
Несется девы изумленный шепот.

«С болью узрела я свет:
Камни про боль говорили,
О темной губительной силе
Волны мне весть приносили.
Мельмота нет.

Кануло множество лет,
И только недавно утрата
На жатве пирует богатой.
Про что я? Про мужа иль брата?
Мельмота нет.

Не страсти ль владычицы след
Остался средь мертвого сада?
Как быстро погибла отрада.
Ни птиц, ни цветов мне не надо.
Мельмота нет.

Но он вернется, он придет,
Измученный землей Мельмот;
И вместе мы начнем полет;
Туда, где ярк небосвод,
Где птица белая поет,
Где незаметен жизни гнет».

Вернулся он. Буря вопила;
Гудели утесы;
Пена собой оросила
Ималины косы.

И листья срывались, летели,
И тучи клубились;

И волны ревели, ревели,
И бились и бились.

Деве буря — древняя держава,
Что оставили в наследье предки;
И смеясь, и раздвигая ветки,
Близится; и буря ей забава.

И как равная взирает в очи,
В пламенный и мертвый взор Мельмоту;
Разделить изгнание и заботу
И понять его мученье хочет.

Просит: «На высоком корабле твоём
Скоро мы к земному миру приплывем;
Весело и жутко будет плыть вдвоём.

Я согласна долго, долго плыть,
Чтобы мне тебя достойной быть,
Чтобы мне всю боль твою изжить.

Покажи мне скорбь и гнев,
Вечной страсти темный сев:
Я взгляну, не побледнев».

И Мельмот на корабле своём
От павлинов, раковин и роз
Деву острова увез.
И плывут они вдвоём.

песня вторая

В стране беспокойной, суровой,
Где жили века рыбаки,
Где тихо желтели пески —
Имали для долгой тоски,
Для жизни оставлена новой.

И люди привыкли к ней скоро;
Не ведая их языка,
Была она всем далека;
Смотрела на путь челнока,
На птиц средь морского простора.

Казалась безумной Ималли:
Слова ее были как бред;
За много томительных лет
Один лишь всегдашний ответ
Все люди от девы слышали.

Она говорила о странах,
Где времени радостен гнет,

Откуда направил полет
Суровый скиталец Мельмот;
О вечных и радостных ранах.

Так пела: «Боль всегда с тоской у вас;
Моя же рана розой пламенеет.
Из вас никто надеяться не смеет, —
Я жду свершенья каждый скорбный час.

Несет вам преступленья ваша страсть, —
Моя ж любовь несет мне только радость;
Какая мука и какая сладость
Изведать сердцем светлой страсти власть.

Я в рубище как нищая брожу,
Не верьте рубищу и дням тревожным:
Мой дух в обетовании неложном, —
Корабль я воздушный сторожу.

И жду, и жду торжественных речей,
И откровений, пламенных наитий,
И мудрости, и чисел, и открытий,
Средь ваших темных, горестных ночей».

И рыбаки поверили в призыв
И в пламень страсти радостно-мятежной;
Шли к деве в час, когда шумел прилив
И рвался с воплем к полосе прибрежной.

Торжественная сказка им дала
Покой среди бурь и радость скорой встречи.
В устах Ималли — угли, не слова,
И взор ее — пылающие свечи.

И старые шли рыбаки
К избе, где Ималли живет;
И к деве несли моряки
Весь груз своей долгой тоски.

Безумная даст ли ответ
О том, чьи глаза-маяки
Несут ослепительный свет
И закрепляют завет?

Иль скажет она о стране,
Где детство ее протекало?
Об океанской волне?
О яркой индийской луне?

Ималли, Ималли, куда
Скиталец зовет и зовет?

Не видно средь моря следа,
Дорогу скрывает вода.

А дева срывает платок,
Танцует у белой волны,
Кричит, что настал уже срок
И нету далеких дорог.

Не облако, нет, паруса
Так быстро с заката плывут;
Кто слышит в морях голоса?
Кто смотрит наверх в небеса?

Оттуда, оттуда придет
Торжественной вести призыв;
Направит на землю полет
Оттуда скиталец Мельмот.

Наутро снова в море бросят сеть.
Ушли ладьи; а рыбаки молчали.
Еще восток едва кончал гореть
И над землею розовели дали.

Исчезла горизонта полоса;
Казались продолженьем неба воды;
На кораблях упали паруса;
Застыло время; так катились годы.

Смотреть, смотреть, как нежно тает мгла,
Как над водой несутся [низко] птицы,
Как взвилась мачты тонкая игла,
Как паруса на ней устали биться.

Как дальний берег полосой повис
Меж небом и бесцветною водою;
Сейчас он сразу оборвется вниз
Иль унесется облачной грядою.

Один рыбак, старик седой,
Склонился низко над водой,
И не касался он руля:
Суровый очерк корабля
В усталом разуме возник.
О тайне тосковал старик.

Тело уставало много;
Душу волны укачали;
Близок белой смерти срок.
Бесконечная дорога,
Все такая, как в начале.
Кто измерить землю мог?

Ты ли, ты, желанный тайно,
Ты, принесший всем тревогу
И одной из всех — любовь —
Силою необычайной
Завершишь мою дорогу
И вернешь мне радость вновь?

Так приближусь к перепутью:
Научи, что делать надо,
Как найти годам исход?
Бьется сердце сладкой жутью,
Сердце тайным знакам радо,
И твердит язык: Мельмот.

На закате забелели корабли,
Будто птицы, что стремятся в гнезда;
Тихо в небе запылали звезды,
И зажглись огни родной земли.

Всех народ встречает; лишь один старик
Не делит товарищей веселье,
После трудового дня — безделье;
Перед ним безумной девы крик.

К ней идет, стучится у дверей;
Песнями его встречает дева,
Воплями нездешнего напева
О властителе пространств и дней.

Кто он? Если власть его,
Пусть поможет, пусть избавит;
И туда, где торжество,
Он мои пути направит.

Оскудел мой дух и наг;
Жизнь прошла, прошла бесцельно;
Как теперь замедлю шаг
В час опасности смертельной?

И дева ему говорила
Об острове в море далеком,
О том, как текли ее годы,
Как правит нездешняя сила
Скитальцем, в путях одиноким,
О даре короткой свободы.

О том, как блестят его очи,
Как много беды и утраты
Находит изгнанник в скитаньи;
Под гнетом томительной ночи

Уходит вся жизнь без возврата,
Весь подвиг любви и страданий.

И вздрогнул старик: тайных сил обладатель,
Дающий надежду и радость, — предатель,
Иной бы такую тоской не томил,
Не звал бы на помощь таинственных сил.

Узнал он его по суровым приметам,
Не все ли понятно? Зачем за ответом
Пришел он к безумной на берег морской?
И сердце смешало надежду с тоской.

«Послушай, Ималли, Мельмота я встретил,
И был его взор несказанен и светел,
И мне обещал он и власть и покой;
Но обещал неоплатной ценой.

Я верю; он близок; устал я, Ималли,
Бездомные долго его ожидали:
Он наш и имеет великую власть.
Но гибели вечной виднеется пасть,

И темный водитель своими крылами
Скрывает Мельмота. Он здесь, между нами.
Владеешь ты силой любви роковой:
Не властен над девами склоненной главой

Владыка Мельмота — князь смерти и бездны.
И ты непосильна для воли железной.
Он вольную душу просил у меня,
И я отошел, искушение кляня».

«Ты хочешь любовь запятнать,
Иди, преисполненный злости,
Иди на путях умирать.
И будут проклятые кости
Лишь вороны с криком глотать.

Проклятый, проклятый, иди.
Пусть угнездится забота
В твоей обнищавшей груди:
Я вижу все царство Мельмота
Как светлый огонь впереди».

И захлопнула дверь за собой
И ушла с непонятной судьбой.
А по берегу тихо старик
Зашагал и главою поник.

Снова дева поет и поет
Про корабль, что свершает полет,

И надежду и гибель несет,
Будто душу ее захлестнул
Пенных волн набегающий гул.

«Все приму, что ты мне дашь:
Беды, скорбь и отреченья;
Полон путь далекий наш
Непонятого значенья.

Жду тебя я много лет;
И до смерти не устану
Ждать на небе белый след,
Повторять в тиши обет
И любить земную рану.

Взор мой долго сторожил
Твой возврат к земле печальной,
С радостью первоначальной
Жгу тебе я свет венчальный;
Ты мне в сердце страсть вложил,

Весь смятенный разум мой,
Все, что вижу, все, [что] знаю,
Я тебе навек вручаю;
Тяжкий путь, но к раю, раю
Ты ведешь своей рукой».

Она в тишине замолчала;
И гулко волна отвечала,
И ветер на воле шумел
О тайне свершаемых дел.

Не скоро свершаются сроки,
Томителен путь одинокий,
Гнетет неподвижная твердь,
Ступает медлительно смерть.

Рассекая воздух холодный,
В бесконечности правя путь,
Прилетает корабль острогрудый
К этой нищей приморской земле,
Или хочет скиталец свободный
У Имали в избе отдохнуть, —
Он, владыка простора и чуда,
Вольный царь на своем корабле?

Вздвогнув тихо крутыми бортами,
Опускает корабль якоря;
К очарованной деве подходит
Без улыбки и слова Мельмот.
Шепчет дева: «Ты здесь, между нами.

Иль, минуя седые моря,
Путь скитальца на отдых приводит
После долгих трудов и забот?

Или очи, сиявшие ярко,
Утомились так долго сиять?
Иль ты хочешь усталой главою
У Имали своей отдохнуть?
В бледном свете ночного огарка
Я видала, ложась на кровать,
Как ты встал над крутою кормою,
Как ты правишь медлительный путь».

И ввела его в дом свой убогий;
Замолчала и смотрит в глаза.
Он впервые улыбкой ответил
И коснулся кудрявых волос.
Или это от ветра в дороге
По щеке покати́лась слеза?
Иль в пути он обидчика встретил?
Но Имали скрывает вопрос.

«Ты так устал от долгого пути; забудь,
Что ждет тебя корабль высокий;
Пусть у Имали нынче завершится путь,
Пусть отдохнет твоя измученная грудь:
Так далеки еще все сроки.

На желтом берегу раскинув невода
Чуть розоватой сеткой,
Мы будем наблюдать, как пенится вода
И как за мысом сгинет лодка без следа,
Качаемая зыбью редкой.

Мы будем наблюдать, как зорь багровых власть
Повыше заалеет кротко
И как зажглась огнями бухты черной пасть,
Как бьется на ветру развязанная снасть
И вдалеке чернеет лодка».

Вот люди принесли какой-то темный тюк;
В заглушенных словах их тайна.
С высокой мачты вымпел мечется на юг,
И ветром донеслось с чернеющих фелюг
Как заклинанье моря: майна.

«Победив времена и пространства,
Овладев всем земным достояньем,
Я свершаю в веках договор.
Воле страшной мое постоянство:

Иль не видишь, как купленный знаньем
Все сияет мой пристальный взор?

Я подвластен суровым законам;
Подымаясь к туманным созвездьям,
Я свободы достигнуть не мог.
Скоро душу с томительным стоном
Я отдам предрешенным возмездьям:
Близок, близок губительный срок».

Ималли его обняла:
«Пусть роковая стрела
Меня беззащитной найдет.
Любовь моя будет оплот,
Не бойся возмездья, Мельмот.

Огороди собой
Того, кто суровой судьбой
Назначен на скорый черед;
Любовь моя будет оплот,
Не бойся возмездья, Мельмот.

Пусть дом мой прибрежный убог;
Иной призываю я срок:
Сегодня ты кончил полет.
Любовь моя будет оплот,
Не бойся возмездья, Мельмот».

— «О, дева, ты хочешь меня
Избавить навек от огня?
Принять мой томительный гнет?»
— «Любовь моя будет оплот,
Не бойся возмездья, Мельмот».

— «И ты не боишься борьбы
С волеьем суровой судьбы?
Иль душу и смерть не гнетет?»
— «Любовь моя будет оплот,
Не бойся возмездья, Мельмот».

— «Кидаешь ты жизнь на весы,
Последние числишь часы,
Смерть тихой стопою идет».
— «Любовь моя будет оплот,
Не бойся возмездья, Мельмот».

«Помедли еще, не спеши,
Там ждут обнищалою души
За душу Мельмота в обмен;
Там ждет тебя длительный плен;
И много греховных забот,

И гибельной воли оплот
Тебе предлагает Мельмот.

Получишь ты знание и власть
И примешь суровую часть
Расплаты бессмертием души.
Помедли еще, не спеши.
И гневного солнца восход,
И гибельной воли оплот
Тебе предлагает Мельмот».

«Господь мой исчислил мне годы
И тихого сердца удары,
Исчислил он каждый мой шаг;
За краткое время свободы
Несешь ты безмерные кары,
Возлюбленный мой и мой враг.

Коль надо тебе моей крови
Иль нескольких дней моей жизни, —
Бери безвозвратно, Мельмот;
Но ты в испытующем слове
Отречься велел от отчизны,
От Богом возвращенных забот.

Лишь в том, что подвержено тлению,
Я править поставлена ныне,
А Божья душа — не моя,
И как мне ответить моленью?
Причастной нездешней святине
Забуть про Господни края?

Бросаешь ты много на чашу;
Любовь ты бросаешь и верность;
Не смогут ли грех потянуть.
Но душу единую, нашу
Не примет и гнева безмерность;
Она не изменит твой путь».

«Ималли, лишаешь ты крова
Скитальца седую главу.
Меня ты принять не готова
И я за собой не зову.

Лишаешь меня погребенья
И отдыха мне не даешь.
К душе моей близится тленье;
В костях моих трепет и дрожь.

Прощай, и забудь; я исчезну
Без памяти, будто не жил.

Так близко последнюю бездну
Мне вестник суда обнажил».

«На суде скажи, что я тебя любила,
Что была карающая сила
Сильнее нас;
И что выбор был не в нашей воле;
Брось на чашу груз безмерной боли
В последний раз.

Только не забыть мне этих взоров,
Отрекаясь от греховных договоров,
Люблю тебя.
И когда душа пред Господом предстанет,
Ангел гибели про твой удел вспомянет,
В трубу трубя».

Море бросило с гулом опять
Волны к низкой избе;
Будто деву к себе
Зазывает.

Вознеслась озаренная рать;
Сыпет красным углем.
А Мельмот с кораблем
Уплывает.

Ветер паруса напряг;
Потемнел средь волн маяк;
На носу стоит моряк.

Помнит, помнит о земле
На высоком корабле,
Утопая в серой мгле.

Вьется туман.
Запел океан
Далеко внизу.

Из дальних стран
Несет грозу.

О чем, о чем, о чем
Ветер воет?
Гонитель откроет
Бездну ключом,
Ржавым ключом
Последнюю бездну откроет
И гибель, и гибель несет
Суд Господень.
Был выбор свободен;

Закончен полет,
Дикий полет
Безумца, чей выбор свободен.

песня третья

Не край родной, где я несу заботы
От вечного неплодородья лоз,
Где под ярмом томительной работы

Рос мой отец, и так же дед мой рос.
Край безымянный, где к тебе дороги?
Откуда ветер к нам корабль принес?

Я помню, помню серых гор отроги,
Кустарников колючий переплет
И белый дом таинственный и строгий.

Туда нас колокол зовет, зовет,
Чтоб отдохнуть меж низкими холмами,
Забуть на время темной жизни гнет.

И, окруженная седыми стариками,
Детьми, уставшими в пустыне на жаре,
Владычица с простертыми руками

Встречала нас с улыбкой на дворе,
Тая молчанье в долгих, светлых взорах
О действенном и пламенном добре.

Когда ж дремали ящерицы в норах,
От солнца утомленная, она
Нам говорила о земных просторах;

За нею шла незримо тишина.
А над пустыней разносились звоны.
Душа покоем светлым пленена.

Молилась перед золотой иконой,
И знали мы, что все вернемся вновь,
Где вечны страсти и безумья стоны,

Где людям источается любовь,
Неплодным нивам источится сила,
Где затуманена борьбою кровь.

И все, кого в объятиях томила
Слепая смерть; кто видел в небе знак,
Кого пугала ранняя могила, —

Дитя, старик, и нищий, и рыбак, —
Смотрели, как пылают тихо дали,
Как медленно всплывает в небе мрак.

Не отреклись мы только от печали,
И вечный путь открыт пред нами был;
Мы снова у истока; мы в начале:

Над нами слышится спокойный шелест крыл;
Впервые нам в преджизненной дремоте
Весь мир свой лик прекрасный обнажил;

И мы готовы к длительной работе;
Нас научила Дева иль Жена
Уверовать в преображенье плоти.

И сила нам для подвига дана.

Покатилась по небесным долам
Полная луна; шуршал песок;
Ветер плакал по острогам голым;
Был наш сон спокоен и глубок.

Лишь в окне владычицы не гасла
Алая лампада у икон;
Много раз она долила масла;
Утром заалелся небосклон.

И крестясь рукой неторопливой,
И шепча знакомые слова,
Ей казалось, что в тоске пугливой
Клонится за окнами трава;

Что тяжелый воздух камнем погребальным
Давит ей измученную грудь,
Что усталый брат в пространстве дальнем
Скорбно завершает путь.

«Дух мятежный успокой
И небесною росой
Окропи дорогу странным;
Помоги мне, Михаил,
И мечом небесных сил
Поддержи на поле бранном.

И покрой своим крылом
Твой пустынный белый дом,
Воина поставь на страже:
Пусть он огненным перстом
И сияющим крестом
Странникам пути покажет».

А в небе зазвенела жалобно струна.
Пустынная горячая страна
Залилась алым, нестерпимым светом.
Над расцветающим рассветом
Большого корабля скользили паруса
И пересекали тихо небеса.

Владычице казалось, что дремота
Нежданно оковала тело,
Что чьи-то крылья движутся у плеч;
Что близок гость нежданный, близок кто-то;
Что от последнего, холодного предела
Ей послан щит, ей послан меч.

И вздрогнула. Очнулась. У ворот
Стучал, стучал и требовал Мельмот.
И шелестом незримых крыл
Весь белый дом наполнен был.
Вот солнце выплыло. Холмов далеких тени
Причудливо легли на белые ступени.

И вышла женщина на белый двор;
И встретила спокойно мертвый взор
Скитальца вечного. И поклонилась.
А сердце вздрогнуло, быстрее забилося:
Незримый кто-то возвещал трубой
Бой роковой, неотвратимый бой.

«Войди, мой брат, покоя ты достиг.
Твой это дом.
Да охранит тебя Архистратиг
Своим крылом.

Здесь тишина навеки расцвела;
Все смолкнет здесь:
Твои паденья, муки и дела, —
Шум жизни весь.

Оставил у порога ты и грех,
И кары груз;
Забудь о днях и о тревогах всех
Греховных уз.

Я здесь давно поставлена стеречь
Людской покой.
Никто не омрачит спокойных встреч
Земной тоской».

Из житейского моря
И из огненных вод
Воздвигается крепкий оплот,

Будто каменный остров,
И молча склонился Мельмот.

Или женщина может,
Будто нежная мать,
Призрак долгих ночей разогнать?
Одним словом утешить?
Одним взглядом спокойным понять?

Иль родилась вторично
Эта грешная плоть?
Или позволил каравший Господь
На земле небывалой
Отдохнуть, чтоб врага побороть?

Но крикнул кто-то: пора.
И холмы повторили: пора.
Белой тучи поднялась гора;
Ветер взвился и пыль закрутил;
Налетела волною жара;
Воздух тяжкий весь дом охватил.

А стрелы пели: рази;
И незримые пели: рази.
Будто белое войско вблизи
Сразу начало яростный бой;
Напади, опрокинь, отрази,
И мечом, и стрелой, и трубой.

Средь пыли кто-то воздвиг,
Сияющий пламень воздвиг;
И крикнул приветственный крик;
Или этот удар отразил
Пылающий Архистратиг,
Защитник путей, Михаил?

Все затихло; женщина ведет
Гостя в тихий мрак опочивальни;
Там лампада свет зеленый льет,
И не слышен шум пустыни дальней.

Говорит, не поднимая глаз,
Все о том, что здесь конец дорогам,
Что Мельмот свершил в последний раз
Путь тяжелый по крутым отрогам.

Шепчет: «Иль не хорошо тебе
Божьего терпенья числить время?
Этой мирной золотой судьбе
Подарить своих восторгов бремя?»

Посмотри: в оливковых кустах
Темные плоды уже созрели;
Как далек от мирной жизни страх;
Ангельские близятся свирели.

Брат мой, Господу вручи свой грех
Или горе, если горе вяжет.
Ты устал; пусть ныне тише всех
Тихий вздох моей молитвы ляжет».

«Этой Жизни неустанный опыт,
Изменившая Отцу душа, —
Все сомнет и искалечит топот
Мстителя, что близится спеша.

Хочешь ныне овладеть вселенной?
Высушить бездонный океан?
И над жизнью горестной и тленной
Вознестись в пределы дальних стран?

Хочешь звезды двигать в небосводе?
Хочешь молниям велеть упасть?
Опьянеть в бездумье и свободе,
И познать над тленным миром власть?

Я даю тебе богатства, царства, —
Только душу вольную отдай,
Ныне власть; потом — века мытарства,
Вечный строгий страж у входа в рай».

«Искусить меня нельзя;
Видишь, Божия стезя
В этом доме оборвалась.
Мне бы только в дом глухой
Заключить навек покой;
Только бы все миновалось.

В час грядущий, в грозный час,
Видя призраков средь нас,
Захочу к Отцу вернуться.
И тогда мне груз вериг
Облегчит Архистратиг;
Очи тленные сомкнутся.

Но иной, нетленный взгляд
Будет видеть, белый ряд
Серафимов, Сил, Престолов;
Трубным звуком осиян,
Каждый расцветет бурьян,
Каждый куст средь этих долов.

Здесь останься, путник мой:
Я даю тебе покой,
За тебя молиться стану;
Богу дух твой поручу
И с любовью облегчу
Алую земную рану».

«Ангел молитву твою не снесет
В светлые рощи Господнего рая;
Трубы ответят: будь проклят, Мельмот;
Господь отвернется, меня проклиная;
Направит в защиту к тебе свой полет
Божественных вестников светлая стая.

Пойми же, что ищет Божественный гнев
Меня, осквернителя тайн и законов;
Что я соберу свой [п]осеянный сев
Изверженных плевел из райского лона,
Что мстители, с разных земель налетев,
Возьмут мою душу без крика и стона.

Пойми, что молитва твоя оскорбит
Отца Вседержителя, волю благую;
Я буду повержен, я буду разбит,
И не найду я могилу земную;
Где скрежет, где гневное солнце горит, —
Там дом мой; навеки я там затоскую».

Тогда она склонилась у икон
И молвила: «Божественный закон
Я не нарушу.
Но, Господи, не Ты ль мне дал узнать,
Как просветляет ярых воев рать
Земную душу.

Не Ты ли силы и любовь вложил
Мне в сердце? И не Ты ли обнажил
Всю тяжесть кары?
Я вижу, Боже, Ты закинул сеть;
Для грешного начнут гореть, гореть
Твои пожары.

Но я люблю его; Ты сохрани
И для него сияющие дни;
Прими молитву;
Прошу я, грешная Твоя слуга.
Ты для любимого, не для врага,
Оставь молитву.

То, что не в силах закон оправдать,
Любовь оправдает.

Не станет за душу мою воевать,
Узнав о любви, Божьих вестников рать;
Любовь оправдает.

Возьми, если любишь, на душу мой грех;
Любовь оправдает.
Любя, Ты светлей и безгрешнее всех,
Любя, Ты не встретишь ни бед, ни помех;
Любовь оправдает.

Не жертву, а милость прошу у Тебя:
Любовь оправдает.
Пусть мстители близятся, гневно трубя;
Мы знаем, мы верим, мы шепчем любя:
Любовь оправдает.

Горе рабе,
Если изменит завету;
Внемли трубе,
Стремися к надзвездному свету.

Или любовь
Может расторгнуть все клятвы?
Гибель и кровь
Собираем от этой мы жатвы.

Помни и верь:
Душа — это таинство Божье;
Не бойся потерь,
Ее сохранив в бездорожье.

И на весах
Душа, не любовь, перетянет;
Ты тленный, ты прах;
Любовь твоя смертная вянет.

И только душа
Средь этой медлительной ночи
Стремится, спеша,
От жизни — к обители Отчей.

И если б тебя
Любила, любовью сгорая,
То, душу губя,
С тобой не достигла б я рая».

Тогда Мельмот главой поник,
Униженный, безвольный;
А в окна лился птичий крик
И сыпал звон монах-старик
С высокой колокольни.

И ветер шелестел в листьях
Священных книг на аналое,
С улыбкой скорбной на устах
Мельмот шептал про темный страх,
Про чувство гибельное, злое.

Потом склонился тихо он
Перед владычицей спокойной;
Хотел под колокольный звон
Он повести былых времен
Поведать женщине достойной.

«Давно устал я; и давно, давно
Не Божья власть над сердцем тяготее.
Дух, изменив, надеяться не смеет,
Возврата нет; теперь мне все равно.

Все это было в юности; тогда
Я нес печать Божественного дара.
Я понимал, как мучит душу кара,
Предчувствие Господнего суда.

Но знание тайн, но скрытый смысл судьбы
И власть без меры сердце мне пленили;
Я человеческой поверил силе,
И я забыл, что Божьи мы рабы.

И дух мой был восторгом опален,
Когда я нарушал закон пространства,
И своевольно рушил постоянство
Господних числ, размеренных времен.

Я был везде; огромная земля
Казалась мячиком, игре покорным;
Не волею и не трудом упорным
Я проникал в пещеры бытия.

Могущество безмерное купил
Я неоплатной, роковой ценою.
О женщина, я ничего не скрою:
Ценою помощи проклятых сил.

Душа моя не Божья; близок срок.
И подойду к последней я потере,
И распахнутся проклятые двери;
И я паду; я слишком много мог.

Как я устал. К чему для сердца власть?
Покоя только дух смятенный ищет.
Устами раз коснуться Божьей пищи, —
И если неизбежно, то упасть.

Ты жалеешь? Ты смотришь без злости?
Слушай, если ты ведаешь жалость:
Смертной муки слепая усталость
Острой болью пронзила мне кости.

Можешь ты исцелить мое горе:
Было сказано мне в договоре,
Что равно покупатель оценит
Дух иной, что Мельмота заменит.

Душу, душу отдай за меня;
Поменяйся судьбою со мною;
Только этой проклятой ценою
Ты избавишь меня от огня.

Жизнь долгую, богатство, силу,
Царственный мой путь я отдаю
За твою безвестную могилу
И за смерть спокойную твою.

Ты добра, — и будет только благо
Людям власть запретная давать;
Расцветет и мудрость, и отвага,
И земля устанет пировать».

И шепнул: отвечай;
Ветер принес: отвечай.
А колокол бился высоко,
Будто в Божественный рай
Хотел достучаться до срока.

И шепнул: говори;
Пели пески: говори.
И ринулись с бешеным воем
Темные силы земли
На ангелов огненным роем.

Молись, молись, молись:
Небесная высь
И сонмы Божественных сил
Помогут тебе.
Вот битвы священной достиг
Архистратиг.
Победно трубит Михаил.
Внемли трубе.

Забудь, забудь, забудь
Свой горестный путь;
И душу свою не спасай:
Пусть ангел спасет.
Пой лишь Господню любовь.

Воспой, славословь
Господню мудрость и рай;
Туда твой полет.

Вечерней жертве молитва.
Господь открывает небесные раны,
И кровь сочится.
Не тихнет дикая битва,
И отзвук доносится в дальние страны.
О чем молиться?

Рази. И летит стрела.
Пали тела.
Рази. И сцепились бойцы.
Звенит тетива.
Блестят венцы.

Крылья белые и алые
Сплетены.
Слабые, усталые
Сметены.

Бой, бой, бой.
Зазывает трубой
Предводитель Божественных сил
Архистратиг Михаил.

Защитим, защитим, защитим.
Защити, защити, защити.
Пламенный Херувим,
От Божьих полей прилети.

Тучи сметены.
Песок стволom свивается.
Бой завершается.
У белой стены
Высокого дома
Средь молний и грома.

И стихли. Вечерело.

И поднялись суровые глаза,
Взглянули неподвижно на Мельмота.
Так смотрят только в церкви образа
На жизнь, где труд, и страсти, и забота.

Мельмот молчал, как будто приговор
Он должен выслушать, как подсудимый;
В тревоге опустил он долу взор,
Маяк блистающий и нестерпимый.

«Я согласна. Мне блага не надо;
Я согласна нести твой грех.
Благословенна отрада
Пасть за любовь ниже всех.
В любви мне сияет награда.

Ты устал. Мы равны перед Богом.
И душа моя — та же цена.
Твоим предаюсь я дорогам,
Твоя тяготеет вина
На мне перед Господом Богом.

Я без радости приму твою награду;
Плату за нее без скорби я отдам.
За высокую и крепкую ограду
Можно ль достучаться нам?

Истлевают время, и не жду событий;
И не все ль равно, с кем заключаю торг?
Не ищу прозренья, знаний и открытий;
Верю в тайну и восторг.

На весы бросаю с радостною грустью
Я судьбу мою, беру твою судьбу;
Тайна нам поможет докатиться к устью,
Встретить ангела трубу.

Встретимся. Прощай. Не бойся больше кары.
Эти плечи слабые мои несут
Всю судьбу твою чрез скрежет и пожары
В край, где завершится суд.

Пусть не гаснут в страхе пламенные очи:
Даже проданной есть для меня оплот.
И тебя из вечной и палящей ночи
Выведет любовь, Мельмот».

И руку дала, прошептав: будь покоен.
Пожав ее, он договор закрепил;
А в небе сияющем пламенный воин
Громко в златую трубу вострубил.
И из огненной тучи дождь золотой
Нежданно пролился над стихшей землей.

Потом же плакал жалобно кто-то
И в окна стучался.
Звал Мельмота,
С вихрем умчался.
Так тихо стало,
Что воздух прозрачным камнем казался;
Земля не дышала,

И блестел на ней огненный дождь.
Это поднял на дыбы
Время, лихого коня,
Пламенный дождь,
Чтоб закрепилось решенье судьбы
В час неподвижности дня.

Когда же очнулась земля
И снова запела цикада,
Мельмота обвила прохлада
Господних садов: где отрада
Прошедшим весь круг бытия.

Он умер. Спокойный старик,
Как праведник Божий уснувший,
О жизни не скажет минувшей,
И ангел, прах к праху вернувший,
Спокойный и белый возник.

Коснувшись лобзанием лба,
К усопшему просит монаха
Владычица, чуждая страха.
И праху, что вышло из праха.
И Господу — душу раба.

Колокол нас созвал
Об усопшем помолиться,
В церкви каждый прошептал:
Праху прах да возвратится.

В озареньи белых свеч
Мы молились Богу Силы:
Дай надежду светлых встреч
Спящему в земле могилы.

Шедшие узким, прискорбным путем
Взявшие в жизни Мой крест, как ярём,
Вы насладитесь небесной наградой,
Ждущей вас в рощах Господнего сада.

Успокой, Господь мой, Твоего раба в раю,
Где сияют праведники, как светила,
Попрал он волю всеблаженную Твою:
Ты прости его. Ты милость, свет и сила.

Господу поведаю печаль я и отраду;
Нарушитель я Господнего закона.
К гибели близки все дни мои и к аду;
Но молюсь Тебе я, как Иона:
Боже, спаси меня.

Душу со святыми упокой
Там, где нет болезни и ни стона,
Где раскинут рай прохладный Твой
Над спокойной синью небосклона.

песня четвертая

В белом доме ничего не изменилось:
Так же дни текли на берегу пустыни,
Так же женщина по вечерам молилась
Об усталых голубой святыне.

Были мы по-прежнему как дети:
Каждый раз, когда сходились двое вместе,
Нам казалось, что незримый третий
Шепчет о Божественной Невесте.

И что шелестит над нами покрывало
Непорочной голубой Царицы.
Сердце, что так долго уставало,
Было в силах радостно молиться.

И по-прежнему мы сразу замолкали,
Встретив женщину с седыми волосами
На дворе иль в полутемной зале,
Окруженную, как нимбом, чудесами.

Только по ночам казалось: к изголовью
Кто-то припадал со скрежетом и стоном,
Путал сны разгоряченной кровью,
Утром уносился с первым звоном.

Слишком, слишком долго пламенела
Вечерами у владычицы лампада;
Все молилась, бичевала тело
Та, которой в жизни ничего не надо.

И закрались тайные тревоги
В белый дом, и цепко окружили;
Будто мы не в доме, а в дороге,
Будто ангелы наш сон не сторожили.

Много времени прошло; не знаю: годы
Или только дни; никто не числил время;
Были так похожи солнца все восходы,
Так легко, спокойно жизни бремя.

Может быть, что сверстники седыми
Нас встретят у родимого жилища,
Где мы недавно жили молодыми,
И не узнают нас, и не предложат пищи.

И мы, неведомой страны пророки,
На языке расскажем непонятном,
Что близки дни заката, близки сроки,
Что мы путем уходим ратным.

О воле утраченной
Никто не вспомнит,
И в день назначенный
Смерти оплаченной
Минута настанет.

Помилуй, Владыко, помилуй, Отец;
Гибель идет,
Темный конец,
Последний полет.

Иль колокол ударил где-то?
Или волны голубого света
Налетели, потопили белый дом?
Воины сверкнули на песке сухом
И исчезли; только пыль крутилась
И маслина низко наклонилась;
Ветер зашептал, заговорил
О могуществе бесплотных сил.

В полночь раздался крик;
В окнах забегали светы.
Гибельной жуткой приметой
Призрак средь церкви возник.

Умирает владычица ныне;
Пойте, колокола.
О голубой святыне,
О тихой пустыне
Пойте, колокола.

Душу торжественным пеньем
Встретьте за гранью живого;
Милость ее прегрешеньям
Просите у Господа Слова.

Господи, мы ничего не можем, —
Ты помоги.
Даже и пред скорбным смертным ложем
Наши враги.
Милость, Господи, пошли незлобной
И охрани
Дух ее в Твоей тиши загробной,
В смертной тени.

Боже милости, Владыка мира,
Боже людей,
Ныне дух ее стучится сиро
У райских дверей.

Бытие, Законодатель строгий,
Благостный царь,
Пусть усопшую сегодня на пороге
Встретит ключарь.

И раздвинулось небо.

Ангелов Божественный собор,
Лик Господних воинов бесплотных
Окружили царственный предел,
Где средь пламени почила Сила.
Каждый смертный наклонил свой взор.
Среди нас, усталых и заботных,
Или вихрь нежданно зашумел,
Иль летели стрелы Михаила.

Серафимов шестокрылых ряд,
Пламеносцев, воинов небесных,
Разуменье многое и свет, —
Многоокий образ, — Херувимы
Вознеслись и в пламени горят
В озареньи солнц иных чудесных;
И Престолы Божьи, что блюдут завет, —
Столп таинственный, неопалимый.

И Господства, те, что учат нас,
Как нам покорять земные страсти
Или искушенья отражать;
Исполнители Господней воли,
Силы, немощь взявшие от нас,
И врага связующие Власти, —
Вознеслись, как Божьих воев рать,
Пламенные на лазурном поле.

И Начала, что блюдут весь мир,
И Архангелы, те, что издавна
Возвещают благодать Отца,
Ангелы, — хранители живущих,
Звуки гуслей, голосов и лир
Воспевали силою неравной
Яркий блеск Господнего венца,
Нестерпимый свет веков грядущих.

Тайна, Господь, триединый Господь,
Бог, безначальный Отец, Сын предвечный,

Приявший от Девы нетленнейшей плоть;
Дух Утешитель, благой, бесконечный.

Тайна. Господних даров благодать,
Огнем искупленья пронзившая кости;
Навеки не в силах победно восстать,
Враг задыхается в гневе и злости.

Любовь источает источник живой,
И вечную жизнь, и грехам отпущенье.
Придите с опущенной низко главой,
И кайтесь, и ждите Господня прощенья.

Но чашу надежды потянет лишь кровь,
Голгофская кровь, источник нетленья,
Судимый, прощенный, Христа славословь,
Христовую волю, Оплот и Спасенье.

Из земли извергся огненный поток,
Опясал твердь кольцом огня и гула;
Вышли в предрешенный срок
Слуги Вельзевула.

Бледный, бледный лик, сокрытый мраком крыл,
Взор спокойный, пламенный, безнадежный,
В неподвижности застыл,
В муке неизбежной.

Прямо к Господу, в запретный Божий взгляд,
Устремились очи мудрые и злые;
Реки, как всегда, горят,
Грани вековые.

Не в надежде боя, смерти и побед,
Даже не в надежде отдыха от брани,
Встретил он Господень свет
У небесной грани.

Пред Господом Ангел Хранитель
Души, проходящей мытарства,
Просил отворить ей обитель
Господнего Царства.
И смолк.

И вот от отчизны далекой и скудной
Слепая душа поднялась одиноко;
Над гранью прошла огневого потока
Дорогой медлительной, тесной и трудной.

Шла тихо, и голову низко склонила,
И опустила бессильные руки;

Покорно на вечную гибель и муки
От жизни и солнца она уходила.

И подал знак князь бездны;
И двинулись вестники черные,
Вихри тлетворные.
В тоске бесполезной
Душа заметалась.

Хлынул поток огневой,
Свершавшую путь поглотил;
И мститель победно трубой
Громоподобной трубил:

Пусть ликует ад:
Нет пути назад
Свершившей торг.
Райских дней восторг,
Светлый лик Отца,
Яркий блеск венца
Продала она.
Пламени стена
Заградит ей путь;
Рая не вернуть.

Душа, как тесен смерти путь;
Друзья и братья — все далеко;
А с осиянного Востока
Лучи разят. Ты все забудь.

Как будто только Бог и ты,
И тяжкий груз греха земного;
А вестники не слышат зова:
Они поют, они святы.

Какая глубь обнажена
Греховных помыслов и муки;
Заламывает скорбно руки
Идущая на суд жена.

Но ангел: ангел переплыл
Поток огня ладью белой;
Врага он отражает стрелы
Широким взмахом белых крыл.

Он взял ее. И вновь ладья
Пересекает быстро пламя;
И ангел, что стоит с весами, —
Он будет мститель и судья.

— Ты изменила Создателю? — Да.
— Ты отреклась от блаженства и рая?
— Да, отреклась навсегда, навсегда;
И плачу, о Божьих садах вспоминая.

— Поведай же грех Судие своему,
Скажи мне спокойно, кто был искуситель,
Зачем променяла на гнев и тюрьму
Ты Божью любовь и Господню обитель.

Поведай, — да судит тебя сам Господь, —
Чего ты хотела: богатства иль власти,
Иль победили смятенную плоть
Земные надежды, восторги и страсти.

— Нет, Судия, я все так же чиста,
И дух мой восторгом земли не взволнован;
Но как далеко от Христова креста
Томится он, мукой и скорбью прикован.

И вострубил Архистратиг;
И поднялся суровый мститель;
Лукавый князь и обвинитель
Пред Божьей славою поник.

И молвил: «Раб твоих рабов,
Бессилен я и не опасен;
Скитаюсь, темен и безгласен,
Лишь около земных гробов.

Но Ты, Ты сам мне отдал власть
Над нарушителем завета;
До нового дневного света
Забывшим надлежит упасть.

И эту душу примет ад,
Как реки воду принимают,
И никогда не возвращают
В русло старинное назад.

Да, отреклась сама она
И вольно предалась мне в руки.
Скажи, Творец, какие муки
Несет ее вина?»

И вновь вострубил Михаил.
Небесных долин вечный житель,
Сияющий Ангел Хранитель
Пред Господом взор свой склонил.

«Она отдала душу даром;
И не богатство, и не власть

Заставили предаться карам
И перед тихой смертью пасть.

Она была всегда богата;
В любой стране могла найти
Ночлег, привет спокойный брата
И отдых в длительном пути.

И путь ее повит был славой,
О белом доме знали все;
Ей поклонялись звери, травы,
Сверкая в утренней росе.

И власть ее была безмерной:
Она дарила радость вновь,
Людей вела дорогой верной,
Покой внушала и любовь.

Любовь — завет единый Бога,
Любовь — смятенных душ оплот;
Но Божий труд — для смертной много,
И соблазнил ее Мельмот.

Прости, Творец, жена ли властна
Безгрешно Божий труд принять?
Жена ль соблазну не причастна?
И ей ли грани тайны знать?»

— «Виновна, виновна. Молчи», —
Воскликнул тогда обвинявший;
И сразу скрестились мечи
Над женщиной, долу упавшей.

Но вновь затрубила труба.
По воле трубы Михаила
Смятенная смертью раба
Пред Господом Сил говорила:

«Он так тогда устал,
А Ты мне силу дал,
И я могла нести спокойно бремя кары.
Пусть отдыхает он;
Пусть дух мой поражен;
Пусть ждут меня еще мученья и удары.
И пусть ликует ад:
Я не возьму назад
Решенья своего под страхом вечной казни:
Уходит на покой
Усталый путник мой, —
И кару за него приму я без боязни.
Пред Господа лицом

Моим глухим концом
Пусть будет посрамлен лукавый вестник ада:
Опять любовь чиста.
И гибели места
Навеки смятены. В любви моя награда».

И перед престолом Божиим наклонилась.
Архангел поднял высоко весы,
Исчислил и скорби и муки часы,
Все взвесил и все оценил.
Судимая в последний раз молилась
Перед могуществом бесплотных сил.

И великая тишина наступила;
Только падали звонко на чаши
Мудрость, ласка, спокойная сила
И любовь ее, — радости наши.

И с жалобным звоном упала измена,
И снова любовь и великая жалость.
А женщина тихо склонила колена,
И оковала ей душу усталость.

И с неожиданным стуком
Взвилась чаша греха.
А зов неземной Жениха
Вещал ей пределы всем мукам.

Так кончился ангельский суд;
Поток пламеносный иссяк;
И с шумом бежал злобный враг
От Божьей темницы и пут.

И небо померкло опять;
И солнце земное нежданно
Взошло над равниною бранной
Нас, смертных, огнем озарять.

А мы, распростертые в прах,
Судью славословили с пеньем;
И в сердце вошло со смиреньем
Начало премудрости — страх.

ПОХВАЛА ТРУДУ

псалом

Тот, Кто имеет право приказать,
Чьей воле я всегда была покорна,
Опять велел мне: «Ты должна назвать
Тут, на земле, средь вечной ночи черной,
То, что во тьме сверкает как алмаз,
Что плод дает сторицею, как зерна,
Упавшие на чернозем. Средь вас,
Из персти созданных, есть отблеск Славы,
Есть отблеск Красоты среди прикрас.
Есть нечто. И оно дает вам право
Господними сотрудниками стать.
В строении вечном Церкви многоглавой
Ищи». Полвека я могла искать,
Все испытать, все пробовать полвека.
И средь стекла алмазы отбирать.
Священное избранье человека,
Которым Бог его почтил в раю,
Открылось мне. Пусть нищий, пусть калека,
Грехом растливший красоту свою,
Трудящийся среди волццов упрямо,
Рождающийся в муках, — узнаю
Того же первозданного Адама,
Носившего избрания печать.
Изгнанник под проклятым гнетом срама,
И Ева падшая, всех падших мать,
И мы, — их дети, — что мы можем Богу,
Что было бы Его достойно, дать?
Иду искать. И изберу дорогу
Среди полей. Теперь пора труда.
С конем своим идет спокойно, в ногу,
За плугом пахарь. В прежние года
Его отец и дед пахали ниву,
И сына ждет все та же борозда.
Конь медленно идет, склонивши гриву,
Тяжелая рука ведет тяжелый плуг.
Земля пластом легла. Неторопливо,
Движеньем медленным спокойных рук,
Раскинет сеятель на пашне зерна.
Они за полукругом полукруг
Падут, укроются в могиле черной.
Могила колыбелью будет им,
Земля — началом жизни чудотворной.
Пойдет работа чередом своим.
Придет косарь с своей косою звонкой,

И молотьба приблизится за ним.
Старик умрет. Из малого ребенка
Муж вырастет, суровый хлебобоб.
Незримой нитью, пеленою тонкой
Разделены рождение, труд и гроб.
В срок надлежащий солнце землю греет,
В срок землю зимний леденит озноб,
Пшеничный колос тоже в срок созреет.
Природа мерна. Мерен человек.
Не думая, он мышцами умеет
Владеть. Ногам велит спешить на бег,
Прижавши локти и дыша глубоко.
Он сети ставит средь спокойных рек,
Он тянет невод. Он взмахнет широко,
Откинется всем телом, — и топор
Вонзится в ствол. Пусть дерево высоко,
За зеленью его не видит неба взор,
Пусть прячутся в его макушке птицы, —
Оно падет... Лишь бы найти упор,
В рычаг железною рукой вонзиться, —
И землю сдвинет в воздухе рычаг.
Пусть человек беспомощным родится, —
Бессмысленный младенец, хил и наг, —
Как рычаги стальные мышцы станут,
Обдуманно сплетенные. И шаг,
И рук движенье созданы по плану,
Рассчитаны, чтоб труд посильным был,
Чтоб был костяк узлами жил обтянут,
Чтоб мышцы обросли сплетенье жил.
О подвиг трудовой, ты благороден,
Кто потрудился, тот не даром жил.
Тот, как Творец, спокоен и свободен,
В дни жатвы собирает урожай,
Сотрудник и соделатель Господень.
Когда Адамом был потерян рай
И труд объявлен для него проклятьем,
И он вступил навек в изгнанья край,
И Ева в муках жизнь дала двум братьям,
С тех давних пор и вплоть до наших лет
В поту трудился он. Рабов зачатые,
Рождение и смерть рабов. И нет
Приостановки в жизненном потоке.
Бог вопрошал. Каков же наш ответ?
Как мы усвоили Его уроки?
Работали, когда спустилась тьма,
Не вопрошая Господа о сроке.
Хозяин нив, открой нам закрома,
Чтоб мы могли наполнить их пшеницей.

Открой Свои небесные дома,
Чтоб мы вернули все Тебе сторицей.
Прими земных трудов тяжелый плод,
Ты, повелевший нам в поту трудиться,
Пусть спины гнет усталый Твой народ, —
Но есть чем оправдать нам жизнь земную:
На землю пролитый священный пот.
Прими, прими пшеницу золотую
Твоих сотрудников. Вот кирпичи, —
Мы ими глину сделали сырую,
Мы для Тебя работали в ночи.
Что создано в веках, — необозримо.
Как пчелы лепим воск мы для свечи
В алтарь небесного Иерусалима.

ДУХОВ ДЕНЬ

терцины

песня первая

У человека двойственен состав, —
Двух разных он миров пересечение —
Небесной вечности и праха сплав.

Он искры Божьей в тварной тьме свеченье,
Меж адом и спасеньем он порог.
И справедливо было изреченье

О нем: он червь, он раб, он царь, он Бог.
В рожденном, в каждом, кто б он ни был, явлен
Мир, крепко стянутый в один комок.

В ничтожном самом вечный Дух прославлен
И в малом; искуситель древний, змей,
Стопою Девы навсегда раздавлен.

Я говорю лишь о судьбе своей,
Неведомой, ничтожной и незримой.
Но знаю я, — Бог отражался в ней.

Вал выбросит из глубины родимой
На берег рыбу и умчится прочь.
Прилив отхлынет. Жаждою томима,

Она дышать не может. Ждет, чтоб ночь
Валы сгрудила, чтоб законы суши
Мог океан великий превозмочь.

Вот на скалу он вал за валом рушит,
Прибрежным страшно. Рыба спасена,
И воздух берега ее не душит,

И влагою своей поит волна.
Судьба моя. Мертвящими годами
Без влаги животворной спит она.

Но только хлынет океаном пламя,
Но только прокатится гулкий зов
И вестники покажутся меж нами, —

Она оставит свой привычный кров
И ринется навстречу, все забудет...
Однажды плыли рыбаки на лов.

Их на воде нагнал Учитель. Люди
Дивились. Петр навстречу по водам
Пошел к Нему, не сомневаясь в чуде.

И так же, как ему, дано и нам.
Мы не потонем, если будем верить,
Вода — дорога гладкая ногам.

Но надо выбрать раз. Потом не мерить,
Не сомневаться, как бы не пропасть.
Пошел — иди. Пошла — иду. Ощерит

Тут под ногами бездна злую пасть.
Пошла — иду. А дальше в воле Божьей
Моя судьба. И Он имеет власть

Легко промчат на крыльях в бездорожье,
Иль неподвижностью навек сковать,
Прогнать, приблизить к Своему подножью.

И я вместила много; трижды — мать —
Рождала в жизнь, и дважды в смерть рождала.
А хоронить детей, как умирать.

Копала землю и стихи писала.
С моим народом вместе шла на бунт,
В восстании всеобщем восставала.

В моей душе неукротимый гунн
Не знал ни заповеди, ни запрета,
И дни мои, — коней степных табун, —

Невзнузданных, носились. К краю света,
На запад солнца приведи меня, —
И имя было мне — Елизавета.

На взгляд все ясно. Други и родня
Законы дней моих могли б измерить, —
Спокойнее живется день от дня.

Лишь иногда приотворялись двери,
Лишь иногда звала меня труба.
Не знала я, в какую правду верить.

Ничтожна я. Великая судьба
Сплетается с моей душой ничтожной.
В себе сильна. Сама в себе слаба.

И шла я часто по дороге ложной,
И часто возвращалась я назад
И падала средь пыли придорожной.

Никто не мог помочь, ни друг, ни брат, —
Когда томил иного счастья вестник.
Он не сулил ни счастья, ни наград,

Он не учил ни мастерству, ни песням,
Он говорил мне: «Лишь закрой глаза,
Прислушиваясь к океанской бездне.

Ты только часть, а целое — гроза,
Ты только камень, а праща незрима,
Ты гроздь, которую поит лоза.

Ты только прах, но крылья херувима
Огнем насыщены и рядом, тут.
Не допусти, чтоб он промчался мимо.

Лишь подожди, наверное дадут
Тебе крестом отмеченные латы
И в мир иной ворота отпрут:

Иди, слепая, и не требуй платы.
Тебя не проводит ни брат, ни друг.
И я тебе лишь знак, а не вожатый».

Упала я, — крест распростертых рук
Был образом великим погребенья.
Шлем воина — меня венчал клобук.

Какое после было откровенье,
И именем Египтянки зачем
Меня назвали? Нет, не удаление,

А приближенность новая ко всем.
И не волчцы пустыни, и не скалы, —
Средь площадей ношу мой черный шлем.

Я много вижу. Я везде бывала.
Я знаю честь, я знаю и плевки,
И клеветы губительное жало,

И шепот, и враждебные кивки.
А дальше поведет меня дорога
При всех владыках мира в Соловки.

Мы все стоим у нового порога,
Его переступить не всем дано, —
Испуганных, отпавших будет много.

В цепи порвется лишь одно звено,
И цепь испорчена. Тут оборвалась
Белая жизнь. Льют новое вино

Не в старые мехи. Когда усталость
Кого-нибудь среди борьбы скует,
То у врага лишь торжество, не жалость,

В его победных песнях запоет.
Ни уставать, ни падать не дано нам.
Как пчелы майские, весенний мед

Мы собираем по расцветшим склонам.
В земле лежал костяк еще вчера
От кожи, жил и плоти обнаженным.

Еще вчера, — давнишняя пора.
Я отошла на сотни лет сегодня.
Пшеничный колос тут. Палит жара.

Благоприятно лето мне Господне.
И серп жнеца сегодня наострен.
Размах косы и шире и свободней.

Пади на землю, урожай времен,
В бессмертный урожай опять воскресни,
Людской пролитой кровью напоен.

Давнишний друг, иного мира вестник,
Пытает и в мои глаза глядит:
«Поймешь ли ты сегодняшние песни

И примешь мира измененный вид?
Твой челн от берега давно отчалил,
А новый берег все еще закрыт.

В который раз ты изберешь печали
Изгнанья, но теперь среди своих
Замкнулся круг, и ты опять в начале».

Но вестника вопрос еще не стих,
А я уже ответ мой твердый знала,
Уверенный, как вымеренный стих.

От тех печалей сердце не устало.
И я хочу всей кровию истечь
За то, что некогда средь неба увидала.

Спустился обоюдоострый меч,
Тот, памятный, разивший сердце Девы.
И должен он не плоть людей рассечь,

Крестом вонзиться. От Него налево
Разбойник похуливший виден мне.
Весь трепетный, без ярости и гнева,

Сосредоточенный в своей вине.
Да, знаю я, что меч крестом вонзится.
Вторым крещеньем окрестит в огне.

Печатью многие отметит лица.
Я чую приближенье белых крыл
Твоих, Твоих, сверкающая Птица.

Ты, Дух живой среди костей и жил,
В ответ Тебе вздохнет душа народа,
Который долго телом мертвым был.

Не человечья, а Твоя свобода
Живое в красоте преобразит
В преддверии последнего Исхода.

И пусть страданье мне еще грозит, —
Перед страданьем я склоняюсь долу,
Когда меня своим мечом разит

Утешитель, животворящий Голубь.

песня вторая

Звериное чутье иль дар пророка,
Но только не от разума учет
Дает нам чуютъ приближенье срока,

Какой Давид сегодня отсечет
У Голиафа голову, сначала
Державных лат отбросивши почет?

И челн какой, сорвавшись от причала,
От пристани отпрянувши кормой,
Навстречу буре кинется? Встречала

Я много знаков. Скромнен разум мой.
И если в чем упорствовать я буду,
Так уж не в том, что вычислить самой

Мне удалось. Лишь в приближеньи к чуду,
В том, что идет всему наперекор,
Искать священных знаков не забуду.

Как памятно. Какой-то косогор,
Вдали стреноженная кляча бродит.
И облака, как груда белых гор,

И ветер шальный бьется на свободе,
Клонит траву. Иль в мире этом есть
Лишь кляча да бурьян на огороде?

И есть еще, чего нельзя учесть:
Бездолье и тоска земной печали
И еле-еле слышимая весть.

О, в разных образах глаза встречали
Все тот же воплощенный лик тоски, —
Когда январские снега молчали,

Иль зыбились полдневные пески,
И Волга медленно катилась в Каспий,
Весной в Неве сшибались льда куски

И две зари полночные не гасли.
Я знаю, — Родина, — и сердце вновь, —
Фитиль лампадный, напоенный в масле, —

Замрет и вспыхнет. Отольется кровь
И вновь прильет. И снова будет больно.
О, как стрела, пронзительна любовь.

На всем печаль лежит. Гул колокольный,
И стены древние монастырей,
И странников порядок богомольный,

Дела в Москве преставшихся царей,
Торжественных и пышных Иоаннов,
И их земля среди семи морей,

И дым степных костров среди ханских
станов, —
Со свитою верхом летит баскак, —
Он дань собирает на Руси для ханов.

Потом от запада поднялся враг —
Поляк и рыцарь ордена немецкий.
А по Москве Василий, бос и наг,

С душою ангельской, с улыбкой детской,
Иоанну просто правду говорит.
Неистовый, пылает бунт стрелецкий.

Москва первопрестольная горит...
Еще... Еще... В руке Петра держава.
Сегодня он под Нарвою разбит, —

Заутра бой. И гул идет: Полтава.
Что вспоминать? Как шел Наполеон,
И как в снегах его погасла слава,

И как на запад возвратился он.
Что вспоминать? Дымящееся дуло,
Убийцу, тело на снегу и стон...

И смертной гибелью на все пахнуло...
Морозным, льдистым был тогда январь.
Метель в снегах Россию захлестнула.

Морозный, льдистый ею правил царь...
Но и тогда средь полюсных морозов
Пожар змеился и тянула гарь...

.....

Шуми и падай, белопенный вал.
Ушкуйник, четвертованный Емелька,
Осенней ночью на Руси восстал.

Русь в сне морозном. Белая постелька
Снежком пуховым занесет ее,
И пеньем убаюкает метелька.

Солдат, чтобы проснулась, острием
Штыка заспавшуюся пощекочет.
Он точно знает ремесло свое, —

И мертвая как встрепанная вскочит,
И будет мертвая еще плясать,
Развеявши волос седые клочья...

Звон погребальный... Отпевают мать...
А нам, ее оставшимся волчатам,
Кружить кругами в мире и молчать,

И забывать, что брат зовется братом...
За четверть века подвожу итог.
Прислушиваюсь к громовым раскатам.

.....
О, многое откроется. Сейчас
Неясно все. Иль новая порода

И племя незнакомое средь нас
Неведомый закон осуществляет
И звонко бьет его последний час?

Давно я вглядываюсь. Сердце знает
И то, чего не уловляет слух.
И странным именем все называет.

В Европе, здесь, на площади, петух,
Истерзанный петух разбитых галлов,
Теряет перья клочьями и пух...

Нет, не змея в него вонзила жало,
Глаза сощурив, спину выгнув, тигр
Его ударил лапою. Шакала

Я рядом вижу. Вместо летних игр
И плясок летних, летней же порою
На древнем месте новый мир воздвиг

Победоносный зверь. И стал тюрьмою
Огромный город. Сталь, железо, медь
Бряцают сухо. Все подвластно строю...

О, пристальнее будем мы глядеть
В туманы смысла, чтоб не ошибиться.
За тигром медленно идет медведь,

Пусть нужен срок ему расшевелиться,
Но, раз поднявшись, он неутомим, —
Врага задушит в лапах. Колесница

Медлительная катится за ним.
Тяжелым колесом живое давит.
Не тяжелей ступал железный Рим.

Кого везет? Кто колесницей правит?
Где родина его? Урал? Алтай?
Какой завет он на века оставит?

Тебя я знаю, снежной скорби край.
В себе несущей твоей весны напевы.
Тебя зову я. Миру правду дай.

Земля — Богоневестной Девы,
Для жертвы воздвигаемый престол,
Сегодня в житницу ты дашь посевы

Твоей пшеницы. Ты даешь на стол
Вино от гроздий, напоенных кровью,
Ты, чудотворный лекарь язв и зол.

Мир люто страдает. Надо к изголовью
Его одра смертельного припасть,
Благословить с надеждой и любовью,

На руки взять. И сразу стихнет страсть,
И сон целительный наступит сразу.
Проси, проси, и ты получишь власть

И кровь остановить, и снять проказу,
И вернуть ушам оглохший слух,
И зренье помутившемуся глазу.

За оболочкой плоти ярый дух,
Который вечен, и одновременно
Родился только что, — он не потух

В порывах урагана. И средь тлена,
Среди могил вопит Езекиил,
Вопивший некогда в години плена,

Костяк уже оброс узлами жил,
И плоть уже одета новой кожей.
Мы ждем, чтоб мертвых оживотворил

Животворящий Дух дыханья Божья.
И преклонились Божии уста, —
Жизнь пронесется молнией и дрожью,

И тайну Животворного Креста
Познает Иосафатова долина.
Могила Господа сейчас пуста,

И чудо прозревает Магдалина.

песня третья

Он жил средь нас. Его печать лежала
На двадцати веках. Все было в Нем.
Вселенная Его лишь отражала.

Не так давно, спокойным, серым днем,
Ушел из храмов и домов убогих
Один, босой, с сумой, с крестом, с огнем.

Никто не крикнул вслед. Среди немногих,
Средь избранных царил такой покой,
Венцы сияли на иконах строгих.

А Он проплыл над огненной рекой
И отворил тяжелые ворота,
Ворота вечности, Своей рукой.

Ничто не изменилось: крови, пота
И гнойных язв на всех земных телах, —
Как было, столько же и есть. И та ж забота,

И нет пути, и в сердце мутный страх,
Непроницаемы людские лица.
Одно лишь ново: бьется в небесах,

Заполнив мир, страдающая Птица,
И всех живущих в мире бьет озноб,
И даже нелегко перекреститься...

Пустыня населялась... Средь трущоб
Лепились гнезда старческих киногий.
В пещере дальней крест стоял и гроб.

И в городах, под пенье славословий,
Шлем война сменялся на клобук,
Покой дворцов — на камень в изголовьи.

Закончен двадцативековый круг.
Польнь растет, где храмы возрастали,
И города распахивает плуг.

Единый, славы Царь и Царь печали,
Источник радости, источник слез,
Кому не может развязать сандалий

Никто. Он в мир не мир, но меч принес.
Предсказанный пророками от Бога,
Краеугольный камень и утес,

Приявший плоть и возлюбивший много,
На дереве с Собой распявший грех,
Уже не смотрит ласково и строго,

Уж не зовет блудниц и нищих всех
Принять живой воды, нетленной пищи
И новое вино влить в новый мех.

И нищий мир по-новому стал нищий,
И горек хлеб и гнойны все моря,
Необитаемы людей жилища.

Что нам дворцы, коль нету в них Царя,
Что жизнь теперь нам? Первенец из мертвых
Ушел из жизни. Нету алтаря,

Коль нету в алтаре бескровной жертвы.
И пусть художник через сотни лет
О днях печали свой рассказ начертит.

Оставленный и одинокий свет.
В сутробах снежных рыскает волчица,
К себе волчат зовет, а их уж нет.

И над пустым гнездом тоскует птица,
И люди бродят средь земных дорог.
Непроницаемы людские лица.

Земную грудь попрут стопами ног,
Распределят между собой ревниво
Чужого хлеба найденный кусок.

Не отдохнут, а дальше торопливо
Пойдут искать... И что искать теперь,
Какого нам неведомого дива,

Какой свободы от каких потерь?..
А солнце быстро близится к закату.
Приотворилась преисподней дверь.

Иуда пересчитывает плату,
Дрожит рука, касаясь серебра,
К убитому склонился Каин брату,

Течет вода пронзенного ребра,
И говорят с привычкой вековой
Предатели о торжестве добра.

Подобен мир запекшемуся гною.
Как преисподним воздухом дышать,
Как к ядовитому привыкнуть зною?

Вглядись, взглядишь: вот бьется в небе рать,
И будет неустанно, вечно биться.
Вглядись: меч обоюдоострый... Мать...

Мать матерей... Небесная Царица,
Был плач такой же, на Голгофе был..
Вглядись еще: откуда эта Птица,

Как угадать размах священных крыл,
Как сочетать ее с землею грешной?
Пусть на устах последний вздох застыл, —

Глаза среди этой темноты кромешной
Привыкли в небе знаки различать.
Они видали, как рукой неспешной

Снял ангел с Откровения печать —
И гул достигнул до земного слуха.
Его услышав, не дано молчать.

Вздыхало раньше далеко и глухо,
Как вздох проснувшегося. А потом,
Как ураган, шумели крылья Духа

И прах, и небеса заполнил гром.
И лезвием блестящим рассекала
Струя огня храм, душу, камень, дом:

Впивалось в сердце огненное жало.
Ослепшие, как много вас теперь,
Прозревшие, как вас осталось мало.

Дух ведает один число потерь,
Дух только горечи и воли ищет.
Мать Иисуса и Давида дщерь,

Что херувимов огнекрылых чище,
Внесла свой обоюдоострый меч
На небеса небес, в Его жилище.

Никто не попытается извлечь
Из сердца Птицы смертоносной стали,
Он Сам пришел Себя на смерть обречь.

Так было предуказано вначале.
Начало мира, — этот меч и крест,
Мир на двуликой выращен печали:

Меч для Нее, Невесты из невест.
Крест Отпрыску Давида, Сыну Девы.
Одно и два. Смешенье двух веществ.

Сегодня вечности поспели севы
И Божьему серпу препятствий нет.
Сталь огненосна. Кровеносно древо.

Крещение второе. Параклет.
Огонь и животворный Дух крещения...
Сменяются потоки дней и лет, —

Все те же вы, бессмертны в повтореньи
Живые образы священных книг.
Пилат умоет руки. В отдаленьи

Петуший утренний раздастся крик,
И трижды отречение Петрово,
Сын плотника склонит Свой мертвый лик, —

Ворота адовы разрушит Слово.
Но Славы Царь сегодня в небесах,
Утешителя Он нам дал иного,

Иной и мытарь посыпает прах
На голову. Иного фарисея
Мы видим. Он с усмешкой на устах

Уж вычитал, об истине радея,
Что есть закон. Закон не превозмочь.
А кто восстанет, тем судьба злодея.

Которого Вараввы? Пусть он прочь,
Прочь от суда уходит на свободу.
Трехдневная приблизилась к нам ночь.

К избранному Израилю, к народу
Новозаветному, внимай, внимай.
Вот некий Дух крылом смущает воду,

Где хочет, дышит, воскрешает рай
В сердцах блудниц и грешников убогих.
Израиль новый, Божью волю знай,

Ведь сказано в Его законах строгих, —
Дар благодати взвешен на весах,
Дар благодати только для немногих.

Что создано из праха, будет прах...
И звонко заколачивает кто-то
Гвоздь в перекладину креста. И страх,

Кощунства страх, о чистоте забота,
И ужас непрощаемой хулы
Весь мир мертвит. И смертная дремота

Огонь покрыла пеленой золы.
Недвижны звезды в небе, звери в поле,
В морях застыли водные валы.

О, Дух животворящий, этой боли
Искал Ты? О, неузнанная весть,
Людьми не принятая весть о воле.

Где средь потопа Белой Птице сесть?
Где среди плевел отобрать пшеницу?
Что может пламень в этом мире съесть?

Лети от нас, истерзанная Птица.
К Тебе никто не рвется, не привык.
Не можешь Ты ничьей любви добиться.

Виденьям не покорствует язык.
Что видели глаза, пусть скажет слово.
Огонь средь мертвых, преисподней рык.

Пусть будет сердце смертное готово
Предстать на суд. Пусть взвесит все дела,
Пусть выйдет в вечность без сумы и крова.

Грудь голубя сегодня не бела,
На ней кровавые зарделись пятна,
И каплет кровь с высокого чела,

И шумы крыл не так для слуха внятны.
Единая Голгофская гора
Вдруг выросла и стала необъятна.

На площади Пилатова двора
Собрались все воскресшие народы,
И у костра гул голосов. Жара.

Как будто не существовали годы, —
Две тысячи годов исчезли вмиг.
Схватили Птицу, Вестника свободы.

В толпе огромной раздается крик:
«Распни ее, распни ее, довольно».
Вот кони стражи. Лес блестящих пик.

Глубоко вкопан столб. Доской продольной
Он перекрещен. Я в толпе, и ты,
И ты, — другой и все. Тропой окольной

Бежать средь наступившей темноты
В отчаяньи какой-то рыбарь хочет...
Вдруг в небе предрассветные цветы...

Вдруг серебро, слепящее средь ночи...
Небесный полог распахнулся вдруг...
Труба архангельская нам рокочет...

Не смею больше... В сердце не испуг,
Но все ж не смею... И усилие нужно
Опомниться... Вещей привычный круг.

Я в комнате. А за стеной наружной
Примята пыль. Прошел недавно дождь.
От северной границы и до южной

Пасет народы предреченный Вождь.

Духов день
25 мая 1942 г.

АННА

Действие первое

Монастырь. Трапезная рядом с церковью. Очень чисто и бедно. Столы, около них скамьи. Из церкви доносится пение. Потом пение смолкает.

Явление первое

В трапезную входят архимандрит, два монаха, игуменья и монахини, среди них Анна и Павла. Молча размещаются за столами.

Архимандрит

Как полагается нам по уставу,
Молитвою решенье предворяем.
Пора нам приступить.

Игуменья

Благословите

Чайком попотчевать.

Архимандрит

Монахи знают

Еще другой устав — о чаепитье.
Оно для них всегда в благое время.
Так, что ль, отцы?

Первый монах

По слабости житейской
Разрешено нам это утешенье.

Игуменья

Чем Бог послал, пожалуйста откушать.

Архимандрит

Мы к чаепитью не сейчас приступим.
Сначала все дела. Узнать нам должно
Все, что сестер обители смущает.
Пусть мать игуменья подробно скажет,
В чем тут вопрос.

Игуменья

Отец архимандрит
И вы, отцы, возлюбленные сестры,
Наверно, мы пред Богом согрешили,
Что попустил Господь врагу над нами
Нежданно власть иметь. Нет больше мира
В обители смиренной. Мы не сестры,
А будто заговорщицы какие:
Друг друга только в зле подозреваем,
Злорадствуем, коль это зло наружу
Нечайно выплывет. Прощать обиды
Как будто разучилось сердце наше.

Архимандрит

С чего же завелось такое дело?

Игуменья

От разговоров, праздной болтовни.
Одна сестра одно имеет мнение,
Сестра другая с нею не согласна.
В чем разница, — Господь их разберет.
А между тем обитель разделилась:
Порой и до вражды доходит дело.
Но лучше допросите вы виновных, —
Я, право, пересказчица плохая.
Вот две сестры. Обеим я велела
Все изложить пространно на бумаге.
За Павлу будто вся обитель нынче.
У Анны речь ясна. Неясно только,
К чему ведет.

Архимандрит

Пусть начинает Павла
Повествовать нам о своих делах.

Павла

Я написала все. Благословите
Прочеть вам.

Архимандрит

Ну, читай, коли не длинно.

Павла

«Инок — от слова: иное.
За монастырской стеной
Нету ни стужи, ни зноя, —
Есть лишь безмолвный покой.

В мире борьба и утраты,
Вечно в страстях он горит.
Мы лишь бесстрашьем богаты,
Мы — за броней молитв.

Пусть оградит нас от мира
Сторож суровый, устав.
У корня Господня секира,
И наказующий прав.

Ладанный дым и лампы,
Пение древних псалмов —
Звенья незримой ограды,
Меж миром и иноком ров.

Перебираем мы четки,
Сладкое имя твердим,
День наш, земной и короткий,
Исчезнет, как ладанный дым.

Здесь я живу для спасенья
Моей многогрешной души,
Для послушанья, смиренья,
Для жизни в уставной тиши.

И не могу расточать я
Скупой отмеренный срок,
И не открою объятья
Любому за то, что убог.

Страшно растратить мне время.
Слышу призыв: поспеши.
Одно принимаю я бремя:
Моей многогрешной души».

Первый монах

Благочестиво.

Второй монах

И смиренья много.

Первый монах

О Господе твоя святая ревность.

Архимандрит

Знавал я одного архиерея:
Бывало, молодых учил монахов:
Локтями продирайтесь в Божье Царство.
Все остальное — временно и тленно,
И уступайте всё без сожаленья.
Лишь к вечному тогда ревнивы будьте,
Локтями пробивайте путь.

Второй монах

Мудрейший,
По-видимому, архипастырь был.

Архимандрит

У Анны, видимо, другие мысли?

Игуменья

Ее спросите.

Архимандрит

Что ж ты возрекаешь?
Как мыслишь ты об иноческом деле?

Анна

Нет, не какой-то безлюдный пустырь,
Мир населенный — вот монастырь.
Нету границы и нету ограды
Для вечно цветущего Божьего сада.
Чем счастлив, чем полон смиренный монах?
Тем, что лопата он в Божьих руках.
И ходит по миру предвечный Садовник,
И в розы творит Он колючий шиповник.
Садовник — Господь, потрудиться дозволю,
Чтоб радость цвела, чтоб вянула боль.
Чтоб душу за каждое Божье растение
Мы отдавали без сожаленья.
Вы вопрошаете: что есть монах?
Труба громовая он в Божьих устах,
Господь отшвырнет ее — будет немая.
Инок — навоз для Господнего рая.

Архимандрит

Да, матушка игуменья права:
Занятно очень, — непонятно только.

Первый монах

И соблазнительно.

Второй монах

Возможны даже
Такие толкованья этой речи,
Что чувствую как бы мороз по коже.

Архимандрит

По справедливости решать должны мы,
Все обсудив, все стороны проверив.
Речам не будем, братья, поддаваться,
Пока дела пред нами не предстанут.
Пусть мать честная нам теперь расскажет
Про жизнь своих сестер.

Игуменья

Скажу про Павлу.
Исправно совершает послушанье.
Церковница она. Весьма прилежна
К псаломщицкому делу. Все читает,
Поет по будням и блюдет устав.

Архимандрит

В монастыре ты уставщицей, значит?

Павла

Так матушка меня благословила.
Но и помимо послушанья сердце
Меня к словам Божественным влечет.
Такая красота в святых молитвах!
Такая слаженность в свершенье службы!
Таят в себе священные страницы
Славянского узорного письма
Сокровища премудрости церковной.
За букву каждую я дать готова
Все искушенья мира.

Архимандрит

Понимаешь
Ты все, что в церкви надобно читать?

Павла

Как ограниченный рассудок может
Премудрость необъятную вместить?

Но в непонятном — будто отблеск тайны.
Читаю я, — Господь же все поймет.

Игуменья

Должна сказать: не пропустила службы
Она с тех пор, как в монастырь вошла.

Архимандрит

А как прилежна Анна?

Игуменья

Очень часто
Иные послушанья отвлекают
Ее от служб церковных. Очень трудно
Делить меж равными делами время.
Нежданно заболит богомолец,
Или простудится сестра какая,
Зеленых яблок дети наедятся,
Иль в деревнях соседних лихорадка
Скосит работников, — ее уж дело
Заботиться о всех больных.

Архимандрит

С постами
Достаточно ли строгости у вас?

Игуменья

В монастыре мы соблюдаем строго
Все, что повелено нам по уставу.
Но если сестрам отлучаться надо,
То вне обители не те законы.

Архимандрит

А часто отлучаются?

Игуменья

Нет, Павла
Не покидает никогда обитель.
У Анны много дел в селе соседнем,
И в городе она бывает часто.

Архимандрит

Не нахожу серьезной я причины
Безоговорочно решать ваш спор.
В святое послушанье вы вмените
Терпеть друг друга.

Павла

Если я права,
То, значит, Анна виновата. Если ж
За нею правда, — я грешна пред Богом.

Но только знаю, — не могут вместе
Противоположные две правды быть.

Архимандрит

Ты Анну обвиняешь?

Павла

Нет, не смею,
Не полагается мне обвинять сестру.
Я только знаю — с нею мир ворвался,
С своими язвами и с гноем, с кровью,
И со страстями, и с бедой своею.
Все замутил, все загрязнил, встревожил.
Коль монастырь обуреваем бурей,
Куда бежать, где тишины искать?

Архимандрит

Ты, бурная, что ей ответить можешь?

Анна

Я не ищу ни тишины, ни бури,
Но если в мире тяжело живется, —
Пусть будет тяжело в монастыре.
Мы крест мирской несем на наших спинах.
Забрызганы монашеские рясы
Земною грязью, — в мире мы живем.

Павла

Чин ангельский уводит нас из мира.

Анна

Коль Божий Сын людьми не погнушался
И снизошел до перстной нашей плоти,
То нам ли чистотой своей гордиться?

Павла

Мирская ты, — и уходи в свой мир.

Архимандрит

Я, повторяю, не хочу судить вас:
Различные пути дает Владыка,
Лишь он сердца людские испытует.
Но мир сестер я охранять обязан.
А потому мое решение будет
Считаться лишь с одною общей пользой.
И Анне, крепко связанной с землею,
Теперь даю святое послушанье:
Иди. Там, за оградой монастырской
На все четыре стороны дороги,
Любой иди. Потщись себя проверить.
И если ты в пути сломаешь крылья,

То возвратишься, жаждающая покоя,
Склонишь главу и скажешь нам: покорность.
Но может быть иначе. Мы не знаем.
Лишь Подвигоположник знает тайны.
Он ведает, зачем такую создал
Тебя, не схожей с образом привычным
Монашества. Веками существуют
Монашеские правила, обеты,
И нам не полагается менять,
Что было установлено отцами.
Господь спаси тебя. Иди же с миром.

*Анна крестится, кланяется на все стороны и уходит.
Молчанье. Звон к трапезе. Вносят чай и еду.*

Игуменья

Во время трапезы благословите,
Отец честной, читать Четьи-Минеи,
Очередная чтница ждет.

Архимандрит

Во имя
Отца и Сына и Святого Духа.

Чтница

«Из пустыни Нитрийской во град Константина
Кораблем был доставлен Виталий — монах.
Не покрыты плащом, развевались седины,
Не имел он сандалий на пыльных ногах.
Корабельщики дали ему пропитанье,
Чтоб носил на корабль отправляемый груз.
Так среди шума кончал он земное скитанье,
Раб Виталий Твой верный, Господь Иисус.
Среди толпы моряков, веселящихся женщин,
Среди торга дневного, полуночных драк
Был он вечно смирен, молчалив и застенчив,
Вечно холоден, голоден, грустен и наг.
От приморских трущоб возвращаясь с работы,
Остановлен был падшею женщиной он.
И она шла домой с неудачной охоты.
Сотворил он смиренно земной ей поклон.
Этой ночью никто не купил ее тела,
И Виталию тихо сказала она:
„Я с утра ничего не пила и не ела,
Дай немного мне хлеба и кружку вина...“»

Архимандрит

Кончай читать, сестра. Уже мы сыты,
И правило вечернее пора нам
С сердечным умилением совершать.



А. Остроумова-Лебедева. Мойка и Круглый рынок.
Санкт-Петербург. 1912



А. Бенуа. Портрет Иннокентия Анненского. 1909



Балтийский вокзал. Санкт-Петербург.
Начало 1910-х годов





Н. Ульянов. Портрет Вячеслава Иванова. 1918



Дом с башней. Таврическая ул. д. 25 (ныне 35)
Ленинград, 1980-е годы



Н. Войтинская. Портрет Николая Гумилева. 1910-е годы



Е. Кругликова. Силуэт Анны Ахматовой. 1916



Набережная Мойки и Реформатская немецкая церковь.
Санкт-Петербург. До 1914 года





А. Головин. Портрет Максимилиана Волошина. 1909



Сергей Есенин и Сергей Городецкий.
Петроград. Весна 1915 года

В Господен храм сейчас идите с миром
Благодарить Творца за то, что кончен
В монастыре тяжелый час соблазна.
За Анну-путницу мы вечно будем
Горячие моленья воссылать,
Чтоб ей сподобиться конец дороги
Средь света незакатного увидеть,
За всех сестер, за мать честную вашу,
За мир обители, за хлеб насущный
Молитвенно подыдем голоса.

Все уходят молча в церковь.

Действие второе

Постоялый двор. Большая комната. На столе тускло горит лампа. У стен нары, покрытые соломой.

Явление первое

Сидят на скамье и на нарах два богомольца, две матери с детьми, два парня, Анна.

Первая мать (*качает плачущего ребенка*)

Что ты плачешь? Что не спишь?
Волны в реках задремали,
Поле спит и в небе тишь,
На луга туманы пали.

В конуру забился пес,
Дремлет, стоя, конь в конюшне,
И не слышен скрип колес, —
Спи, Ванюшка непослушный.

Старый дал краюху мне,
Бабы вынесли полушку...
Что ты мечешься во сне?
Как утомонить Ванюшку?

Анна

Ты завяжи ему живот теплее, —
И он утихнет.

Первая мать

Так всю ночь орет.
И выспаться не даст. А утром снова
В дорогу надо на пустой желудок.
Эх, жизнь проклятая!

Анна

Давай-ка Ваню —

Сама же спать ложись, — а мне не спится.

(Берет ребенка, поет.)

Заранее чует утраты

Детское сердце твое.

Все мы бедою богаты,

Только не плачем — поем.

В мире мы нищи и наги,

Отлучены от небес.

Но помня о славе, о благе,

Несем мы ниспосланный крест.

Ребенок засыпает.

Первый богомолец

Кусок хороший хлеба, перья луку

Да кружечка кваску. Потом в дорогу.

При лунном свете выходить не страшно.

По холодку до утра отмахаем

Немало верст.

Второй богомолец

Поспеем мы к обедне.

Первый богомолец

А отдохнуть к полудню соберемся.

Анна

Вы долго так в пути?

Первый богомолец

Я со счета сбился.

Да почитай, четвертую неделю.

Вторая мать *(у которой погрались дети. Крик)*

У, проклятушие! Нет угомона

На этих пострелят!

Первый ребенок

Он начал первый.

Второй ребенок

А он меня ударил по затылку.

Вторая мать

Вот я обоих вас сейчас ударю,

Как вам еще не снилось никогда.

(Бьет их. Крик.)

Анна

Оставь их.

Вторая мать

Ты откуда взялася,
Защитница непрошенная детям?

Первый парень

Нет, брат, свою ты пользу упускаешь.
Из верных дело верное. Входи-ка
Четвертым в часть. Тебя мы не обидим.

Второй парень

Не очень я к таким делам привычен.

Первый парень

Лиха беда начало. Ты за пояс
Всю нашу тройку запросто заткнешь.

Явление второе

*Входят с котомками два странника, две женщины
и Скиталец.*

Первый странник

Мир всей честной компании.

Первый богомолец

Вам тоже.

Второй странник

А что, для нас местечка не найдется ль?

Второй богомолец

Как не найтись? Уляжетесь на нарах,
А нам уж скоро выходить в дорогу.

Первый странник

Устроимся легко мы. Только с нами
Один чужак, — Господь его поймет.
Испорченный иль просто полоумный.
Его устроить как?

Анна

Что с ним такое?

Первый странник

Пугал нас всю дорогу небылицей,
Как будто бы уж многие столетья
Он на земле живет. И срок подходит.

Женщина

Чего-то он боится.

Первый странник

Иль попутал

Его лукавый враг, иль одержимый.

Все размещаются. Богомольцы готовятся уходить. Складывают котомки. Женщины устраиваются на нарах с детьми и засыпают. Анна отгадет уснувшего ребенка.

Первый богомолец

Вот петухи поют. Пора в дорогу.

Господь храни вас.

Первый странник

С Богом, по прохладе.

Богомольцы уходят.

Явление третье

Два странника, два парня, Анна и Скиталец.

Второй странник (Анне)

Так вот что, добрая душа, попробуй

Ты старичка расшевелить немного.

Первый парень

Расшевелим

Его мы двое. Только не мешайте.

(Скитальцу.)

А ваш откуда будет путь, почтенный?

Второй парень

Тут слух пошел про вас довольно странный:

Как будто вы особым долголетьем

Владеете.

Первый парень

Так будьте так любезны

Открыть нам ваш секрет, а мы заплатим.

Первый странник

Да вы над ним глумиться сговорились.

Нет, этого не допущу я.

Первый парень

Сам ты

Просил заняться им.

Первый странник

Да не тебя.

Первый парень

А ну вас, Божьи дурачки! Охота
Терять с такою мразью время. Лучше
Еще часок всхрапнуть.

Второй парень

Вот это дело.
Идем на сеновал, на свежий воздух.

Уходят.

Явление четвертое

Два странника. Анна и Скиталец.

Первый странник

Будь милостива, матушка родная,
И обласкай больного старика.

Второй странник

Не болен вовсе он, — им дух владеет.

Первый странник

С ним третий день идем одной дорогой.
Сначала он молчал, и только ночью
Как будто в полусне разговорился.
Не нашей крови он. Забрел, скитаясь,
Из дальних стран, на острове рожденный.
Он в Индии жил долго, там, где змеи,
Послушные таинственной свирели,
Весною на лугу зеленом пляшут,
Где жемчуг раковины берегут,
Где, бархатом и золотом покрыты,
Слоны везут заморских королей,
Где вместо ржи — тростник, дающий сахар,
И не картошку — земляной орешек —
Выкапывают осенью в полях.

Второй странник

Не в этом дело. Где он только не был.
Все в поисках. Что ищет — непонятно.
Всего ж невероятнее, что будто
Не сорок лет, не пятьдесят — столетья
Живет он, коль ему поверить можно.

Скиталец (*про себя*)

В пору цветенья лип,
В давно миновавшем июле,

Я все получил — и погиб,
К концу мои дни повернули.

В пору цветения лип,
Грядущею ночью — расплата.
И в горле клокочущий хрип,
И в легких дыхание сжато.

Вот он, последний июль,
Липы цветут в отдаленье.
За эти часы не найду ль
Того, кто Скитальца заменит.

Первый странник
Ты слышишь?

Второй странник
Можно ли понять безумца?

Анна (*Скитальцу*)
Июль в начале. Липы расцветают.
Чего боишься ты? Какие сроки
Тебе цветенье лип напоминает?

Скиталец (*как бы приходя в себя*)
Оставь меня. Вниманием докучным
Не воскрешай обманчивой надежды.
Молчать мне лучше, чтоб не видеть снова,
Как человека искажает ужас.

Первый странник
Вот видишь, видишь. Даже слушать жутко.

Анна
Уйдите в сторону. Одних оставьте
Скитальца и меня.

Второй странник
Вот это дело.
Поговори с ним. Мы же ляжем спать.
Уходят в угол.

Явление пятое

Анна и Скиталец.

Анна
Не знаю я, старик, каким веленьем
Я вынуждена выслушать тебя.
Но думаю, что той же тайной волей

Ты вынужден мне рассказать о всем.
Так говори.

Скиталец

В июле ночи кратки.
Случится все сегодня до рассвета.
Спешим, спешим. Последний срок подходит.
Я задыхаюсь. Трудно говорить мне.
На договор, и вслух его прочти.

Анна (*читает*)

«Сей договор был заключен
По доброй воле. Он — закон.
Он будет в силе триста лет.
Тебя избавлю я от бед.
Богатство дам и славу дам, —
Но все мы делим пополам.
Ты на земле получишь власть.
А после смерти должен впасть,
Как плод созревший, в руки мне,
И мучиться века в огне.
Тебе протягиваю длань, —
Даю великодушью дань:
Себя ты можешь заменить,
А я закон сей применить
К любому, кто согласен с ним
И кто пойдет путем твоим.
Итак. Пройдет три сотни лет, —
И дашь ты мне тогда ответ:
Твоей душе или иной
От жизни в смерть идти за мной.
За триста лет ты не спеша
Отыщешь, где скорбит душа.
Могуществом пленишь ее.
Я получу то, что мое.
Как нужно, подпись приготовь.
Твоим чернилом будет кровь».

Анна

Когда же срок?

Скиталец

В июле... Этой ночью.

Молчанье.

Анна

Давай молиться вместе.

Скиталец

Не умею.

Анна

Так кайся же.

Скиталец

Душа моя мертва.

Анна

Что ж делать?

Скиталец

Женщина, тебя я вижу
Средь нищеты. Одета ты в отрепье.
Лишь захоти — несметные богатства,
Сокровища, которым нет цены,
Твоими будут. Города из камня
Белейшего, невиданного плана,
Сады, где пальмы с кипарисом рядом,
Где гроздья винограда, как янтарь.
А в сундуках тяжелые камни,
Алмазы, жемчуг, дорогие ткани —
Лишь захоти.

Анна

Не нужно мне богатства.

Скиталец

Твоею волею народы будут
Друг другу объявлять войну и гибнуть.
Твоею волей и война смиритсЯ.
И матери детей своих научат
Шептать с любовью благодарной имя
Той, кто от бед их защитила. Властью
Твоею будут изданы законы.

Анна

Не надо. Я от власти не пьянею.

Скиталец

Ты будешь молода еще недолго,
Но молодость века сберечь ты сможешь,
Поэты красоту твою прославят,
За взгляд твой воины пойдут на подвиг,
Свободный отречется от свободы.
Любовь твоя — для них одна награда.

Анна

Мне даже не обидно слушать это, —
Так ты далек от мира моего.

Скиталец

Подумай. Скоро ты придешь к закату,
Смежишь глаза. Уйдешь с земли любимой.
А я тебе дарую долголетье.
Из чаши жизни будешь пить спокойно,
Не торопясь, не отрываясь страхом.
И только через триста лет, насытив
Все помыслы и все желанья сердца,
Кому-нибудь дар страшный передашь.

Анна

Оставь меня. Ты сам, наверно, понял:
Без отклика твои слова.

Скиталец

Да, понял.
Ни разу сердце не забилося быстро,
Не перехвачено твое дыханье,
Ни разу не шепнула ты: хочу.
А срок подходит...

Анна

Отчего сейчас ты
О заместителе своем подумал?
А эти триста лет прошли беспечно?

Скиталец

Все триста лет искал я в мире целом.
Я в тюрьмах был, средь осужденных на смерть.
В последнюю минуту обещал я
Их увести тайком чрез подземелье.
Они кидались с плачем на колени
И благодарно целовали руки,
Пока я им не говорил о плате.
И с ужасом внезапным отшатнувшись,
Из двух дорог предпочитали плаху.
Да что? Ведь я бывал средь прокаженных,
Средь погребенных заживо в больницах,
Искал я голодающих детей
И матерям их предлагал богатства.
Я приходил к разбитым полководцам,
Манил их славой, лавровым венком, —
Никто не согласился на расплату.
Вот срок настал... Ты непреклонна, Анна?

Анна

Ты виноват...

Скиталец

Но, Анна, я страдаю, —
Нет в мире муки большей, чем моя.

Анна

Послушай... Я подумала... Решила...
Садись. Возьми перо, клочок бумаги
И запиши мое условие точно.

Ни золота, ни серебра,
И ни полей, и ни садов,
И ни рабов, и ни двorcов,
И никакого я добра
 Не принимаю.

Не буду войны объявлять,
Не буду мира заключать,
Противна мне господства страсть,
Над братом никакую власть
 Не принимаю.

Я обещалась побороть
Земную, грешную любовь.
Не закипает в сердце кровь.
Все, чем прельщает душу плоть,
 Не принимаю.

И если б ныне дух мой мог
Расстаться с телом, — он готов.
Я не хочу твоих веков,
И этот долголетний срок
 Не принимаю.

Но заплачу я за тебя,
За душу душу дам в обмен,
Приму навеки вражий плен,
Спасу тебя, себя губя.

 И подпись: Анна.

*(Берет у него бумагу и расписывается на ней.
Молчанье.)*

Скиталец

Ты, Анна, ты...

Анна

Теперь твой час молиться
И каяться. Последний срок приходит.

Скиталец

Да, каменное сердце растопилось,
Как воск, оно в груди блаженно тает.
Глаза прозрели. Вижу грех свершенный

И в ужасе от пропасти бегу я.
Ты, Анна, ты...

Анна

Светает... Срок подходит...

Скиталец (*молитвенно, сбиваясь, почти без сознания*)

Господь мой, я тебя благодарю...
Нет, покаянье — не благодаренье...
Не покаянье — за нее молю —
Прими мое предсмертное моление.
Нет, каюсь, каюсь, каюсь. Сладко мне,
Грудь разрывается огнем на части.
Я в преисподней был, я был во тьме,
Теперь она, не я, во вражьей власти.
Прошу... Благодарю... Нет больше сил...
Ворота в вечность, шире распахнитесь.
Вот страшный срок настал, мой час пробил.
Живые души — все о нас молитесь.
(*Умирает.*)

Действие третье

У монастырских ворот. Низкие облака. Скоро рассвет.

Явление первое

Анна (*входит, оглядываясь*)

Недавно я покинула обитель,
А кажется, что океаны лет
Над головой моею отшумели...
Не буду сразу я сестер тревожить, —
Пусть колокол ударит к ранней службе
И отопрет привратница ворота...
Как будто я у цели. Все ж не верю,
Что буду за оградой монастырской,
Что там меня отыщет смерть. Все ближе,
Все неотступнее она за мною, —
Как за лисицею в лесу собака.
Ударит час. Костлявою рукою
Она горячее мне сердце тронет,
Окаменит все тело... Иль боюсь я?
Без страха думала о смерти раньше,
Скорее с радостью, как земледелец,
Собравший к осени весь урожай.
Пора труда тяжелого минула,
Усилья дали плод. И жатва — праздник.

Теперь мне страшно. Мысль моя о встрече.
Он ждет меня, невидимый противник,
Ревниво сторожит он час мой смертный.
Пусть не тревожится — не отрекусь я,
Душою заплачу сполна за душу.
Но есть соблазн — искать себе замену,
Как тот, несчастный, триста лет искал...
Быть может, что в последнюю минуту
Мне встретится больной или голодный
И сам попросит, как о подаянье...
К монастырю я вовремя вернулась:
Ударит колокол — и постучусь я,
И доползу до паперти церковной,
И лягу, чтобы больше не вставать.
Усталость смертная...

Явление второе

Входят слепой Василий и поводырь.

Василий

Я не с тобою, —
Я сам иду, и мне тебя не надо.

Поводырь

Ишь, расшумелся как. А я ведь пользу
Огромную тебе принести могу.

Василий

Уйди. И пользы мне твоей не надо.
(*Садится и поет.*)
Васенька, Василек,
Костяной костылек!
Для людей дурачок!
На скамеечку прилег!
Ой да на скамеечку!
Засветил огонек,
Свечечку в копеечку!
Побасенка-басенка!
Василечек, Васенька!
Васенька, Василек!
Пред людьми дурачок!
Перед Богом свечечка,
Свечечка в копеечку!
Василий Блаженный, —
Мощи нетленны...

Поводырь (*Анне*)

Ты ждешь, когда ударят к ранней службе?

Анна

Да, жду.

Поводырь

Ты этой службы не дождешься.

Пора.

Анна

Тебя ждала я тоже. Знаю,
Что время умирать мне наступает.

Василий

Серая утка,
Желтый гусенок.
Басня прибаутка.
Васенька, Васенок,
Васенька, Васютка!

Поводырь (Анне)

Не торопись. Все изменить могу я.

Анна

Но не отказываюсь я.

Поводырь

Подумай.

Переписать условия на другого
Еще есть время.

Анна

Что твое — твое.
Но моего я уступать не стану.
Душой сполна за душу получай.

Поводырь

Василий, подойди-ка и не бойся,
И с женщиною этой побеседуй.

Василий

Я не боюсь. А вот тебе не страшно ль?
Вдруг птичка улетит из западни.

Поводырь

Брось дурака валять, Василий, слышишь?

Василий

А ты уйди, — я сразу поумнею.
Лишь на тебя взгляну, — и простокваша
В моей башке как будто перекисла.

Поводырь

Дурак калечный.

Анна

Тише, тише, Вася.

Василий

Дядька тянет репку,
Репка, держись крепко.
Тетенька, держись!
Нечистая сила — сгинь!
Нечистая сила, брысь!
Тетка, держись крепко!
Аминь, аминь, аминь!

Анна

Да, Вася, крепкие у репки корни,
Земные недра держат их упорно.

Василий

А ты за мною повторяй:
Для Анны, грешной Божьей дщери,
В зеленый сад, в Господен рай,
Пошире отворяйте двери.

Не яблоньки там, не дубки, —
Цвет купины неопалимой.
Не бабочки, не голубки —
Пылающие херувимы.

Я слеп — а все же видно мне, —
С мечом Архангел стал на страже.
Он поразит — и враг в огне,
И нету больше силы вражьей.

Анна

Нет, ты не знаешь, Вася. Он могуч.
Он вправе праздновать. По договору
Должна душой за душу я платить.
Ни на одну овцу Господня стада
Не умалила я, себя извергнув,
И тьмы я не обогатила.
Число Господних слуг все то же ныне,
Как и число плененных сатаной,
Но я должна была свободной волей
Себя, как выкуп за другого, дать.
Он триста лет уже в аду томился,
Все, что по договору он имел,
Томленье это превратило в щебень,
В ничто, в обман. Мне жалко стало душу,
При жизни испытавшую мученья,
Что грешников по смерти ожидают.

Мне так хотелось, чтоб уснул он с миром...
Теперь пора долги мои платить.

Василий

Эй, ты, вожатый, поводырь-противник,
Давай с тобой судиться за нее.

Поводырь

О чем судиться? Без суда все ясно.

Василий

В уплату за дарованные блага
Ты хочешь душу получить?

Поводырь

Конечно.
Согласна Анна, что мой счет исправен,
И в этом деле я купец, — не вор.

Василий (Анне)

Читай мне договор. Я все проверю.

Анна

«Ни золота, ни серебра...»

Василий

Так бедность
Оплачивается ценой огромной?

Анна

«Противна мне господства страсть...»

Василий

Ты тоже ценишь? Смиренье

Анна

«Обещала Богу
Плоть побороть...»

Василий

И умерщвление плоти
Обложено тобой налогом тяжким?

Анна

«Отказ от долголетия...»

Василий

Мысли трудно
Понять, за что она платить должна.

Анна

«За душу душу дам я.
Приму навеки вражий плен...»

Василий

Любовью

И жертвою торгуешь ты давно ли?
И право душу отдавать за душу
Распределяешь ты с какого срока?
Обманщик, лжец, убийца человека,
Купец бесчестный, — пустотой торгуешь.
Предательский твой договор пусть гибнет,
Я рву его, я рву его, — смотри.

*Василий как бы преображается. Поводырь только теперь
понял, кто перед ним.*

Суд совершен. Оправдана ты, Анна.
Твоя душа теперь в моих объятьях
Подыметя к небесному престолу.

*Анна умирает у него на руках. В монастыре начинают
звонить к ранней обедне. Ангельские голоса сливаются с
колокольным звоном.*

Душа, душа на родину вернулась.
Тельца упитанного заколоть,
Наверное, велит домохозяин
И подарит ей драгоценный перстень.

Ангелы (поют)

Ничтожную, телесную
Оставивши темницу,
На родину небесную
Должна ты возвратиться.

Враг, где твой меч губительный?
Змеиной пасти жало,
Где яд твой искусительный?
Душа венец стяжала,
И жертве искупительной
С любовью подражала.

СЕМЬ ЧАШ

I

Пустынный остров

Иоанн и Прохор.

Прохор

Нет, дедушка, не даром я на остров
Средь непогоды грозовой добрался.
Теперь я вижу, что тебя мне нужно.
А сколько раз сомненье начинало
Моей душой овладевать. Напрасны
Казались мне исканья и усилья.
Доверился я, будто мальчик, сказкам,
Ищу неведомо какого клада,
Иду в неведомо какое место,
Разужнаю неведомо о чем.
Я уж отчаялся. Хотел обратно
При первой же возможности вернуться.
Теперь все изменилось. Не уйду я,
Пока не выгонишь.

Иоанн

Зачем мне гнать,
Я рад тебе. Живи да слушай море,
Следи за облаками в небе синем,
Молись и думай.

Прохор

Ты не все сказал мне.
То, что тебя особенно пленяет,
Не перечислил ты.

Иоанн

А я не знаю,
Чем ты на острове займешь досуги.
Тут кроме облаков да моря нету
Ни одного занятного предмета.
Еще ты молод. Для забавы время
Не отошло.

Прохор

Нет, не в забавах дело,
Я их на дальнем берегу оставил.

Подсказывает разум беспокойный,
Что речь твоя — вот клад, искомый мною.
Ты много знаешь. Много видел в жизни...
Но и не в этом дело. Не напрасно
Сидишь на острове пустынном годы:
Уверен я, — ты голоса здесь слышишь,
Тебя виденья посещают тайно,
И лестницу священную от неба
До волн зеленых ангелы спускают.
Ты их полночный верный собеседник.
Так повтори мне их слова святые:
Изголодалось сердце. В мире жить —
Одно лишь значит: непонятым мерить
Такое ж непонятное.

Иоанн

О сердце,
О чистоты нетронутый источник,
И ты увидишь то, что вижу я.
Смотри на запад. Что перед тобою?

Прохор

Над морем золотятся облака,
Как корабли, напрягшие ветрила,
Плывут, плывут среди лазури бледной.

Иоанн

Семь облаков. Семь тучек легкокрылых.
Семь ангелов, одетых в одеянья
Из солнечных лучей. Ты видишь, — чаши
В своих прозрачных дланях поднимают,
Возносят их все выше, в дали неба.
И первый ангел, тот, что ближе к солнцу,
Огнем и золотом сейчас пронизан.
Гляди, гляди, — вот он расправил крылья,
И пламенные волосы струятся
Вдоль лика светозарного. Прозрачны
Его спокойные глаза. Вот чаша
Возносится к престолу Божьей Славы.
Господь благослови! Он опрокинет
Напиток страшный. Он зальет им землю.
Ты видишь, видишь?

Прохор

Страшно мне смотреть.
Все кончено. Вот влага золотая,
Как водопад, низверглась с высоты.

Иоанн

Остановись, мой мальчик, будем вместе
О разуменьи тайн молиться Богу.
(Молится.)
Открой глаза нам. Изощри наш слух.
Куда упала ярости стрела.
Кого ты покарал своей десницей.
Обнажены какие корни жизни.

Прохор

Помилуй, Господи, и вразуми нас.
Помилуй, Господи, открой нам зренье.

Иоанн

Да, древний дуб подсекла влага злая.
Труд, труд — благословенье и проклятье,
Труд — наказание грешного Адама.
Труд творческий — его Богоподобье...
Извечно выходил на ниву пахарь.
Рука ткача полотна ткала. Молот
По воле кузнеца ковал железо.
В поту трудился человек извечно.
И часто познавал он Божью тайну:
Проклятье становилось благодатью
И не был труженик рабом наемным, —
Сотрудником он делался Господним.
Учитель говорил нам: «Как Отец Мой
Доныне трудится, тружусь и Я».
И по Его стопам мы с сетью вышли,
И неустанно тянем невод полный,
На нивах трудимся, жнецы Господни.
Так было от начала мира. Ныне
Упала чаша ярости на землю,
И влага гнева отравила труд.
Все изменилось ныне. Будь свидетель
Переносись от берега глухого
На площадь города, в толпу людскую
Найди, где гневная струя излилась
Увидь, пойми.

Прохор

Отец мой, что со мною?
Отец мой, где ты? Или это сон?
Иль ангел смерти ослепил мне очи?
(Засыпает.)

II

Ночлежка

Безработные.

1-й безработный

Я безработный. Я шагаю в ногу
С законами, с их духом и с их смыслом.
Закон меня как будто умоляет:
Что хочешь делай, только не работай.
Я оплачу твои часы безделья,
За комнату внесу. Жене и детям
На годы я определю пособие.
Велик твой выбор: нищенствуй, иль пьянствуй,
Иль не вставай неделями с постели,
Сбирай побор с бездельников богатых, —
Все можно, все оправдано законом.
Но если ты возьмешься за работу
И донесет какой-нибудь завистник,
Что ты четвертый день таскаешь камни,
Поленья колешь или красишь стены, —
То берегись, — закон — он беспощаден:
С позором будешь вычеркнут из списка
Нуждающихся в помощи. С работой
Ты тоже распростишься, — и надолго.

2-й безработный

Сам дьявол выдумал машинку эту:
Закрутит колесо, — без остановки
Крутиться будет. Говорят, когда-то
Ученые изобрести хотели
Непрекращающееся движение,
И ничего у них не выходило,
Как ни хитрили, — тренья побороть
Механика ученая не может.
Но жизнь искуснее их оказалась:
Из нас любой без остановки будет
В проклятом колесе крутиться.

3-й безработный

Нам бы
Хоть ямы выгребные чистить дали,
Хотя бы нас полезными признали
И нужными в каком угодно деле, —
Почувствовали б мы себя спокойней, —
Не хлам ненужный, — человеки тоже, —
Коль человек, то жить имею право.

1-й безработный

Да, мышц рабочих перепроизводство —
Вот время наше чем известно будет.

2-й безработный

Коль мышцы не нужны, — душа подавно:
Она всегда недорого ценилась.
При хорошо трудящейся машине
Ее терпели.

3-й безработный

Лишняя душа
Находит, что сейчас не лишним было б
В компании лишнего хватить.

1-й безработный

И дело.
Кто хочет? В складчину. Я ставлю первый.

2-й безработный

Приятель мой блаженной смертью умер.
Напился с вечера. Едва дополз
До конуры своей. Спать завалился.
А утром в дверь не достучались. Смотрим, —
Уже успел похолодеть. Блаженство!
Вот за блаженную кончину выпьем.

Пьют и поют.

Песня

Бутылочка, бутылочка без дна.
Деньки мои, деньки мои без смысла.
Дорога под ногами не видна,
Со всех сторон густая мгла нависла.

Налево — яма, напрямик — ухаб,
Направо — невылазная грязь.
А все же как бы ни был пьян и слаб,
А доползу, наверно, до кладбища.

Там складывают весь ненужный лом
Средь скользкой и промозглой глины.
Бутылочка, с тобою напролом,
С тобой ничто не страшно, друг единый.

2-й безработный (плачет)

А матушка-покойница, качая
Меня, младенца, думала о счастье,
О том, как вырасту, разбогатею,
Как буду торговать в своей лавчонке,
Женюсь на раскрасавице...

1-й безработный

Бутылка

Не очень-то вместительной была.

Повторим, братцы.

3-й безработный

Я плачу вторую.

III

Пустынный остров

Иоанн и Прохор.

Прохор (*просыпаясь*)

Какой тяжелый сон смущал мне душу:
Жизнь без надежды, без просвета снилась.
Живым я был в тяжелый гроб положен,
И слышал, — ударяли глухо комья
По крыше гробовой. Уж хоронили
Меня живого... Снова воздух вольный,
И легкий ветер, по морю скользящий,
И рядом ты, мой мудрый Тайнозритель.

Иоанн

Ты спал недолго.

Прохор

Вечность, вечность спал я.

Как радостно, что можно просыпаться.

Иоанн

Когда ты засыпал, то в небе солнце
Лишь начинало к западу склоняться
И все топило в золотом потоке.
Теперь оно приблизилось к пучине
И золото сменяется багрянцем.

Прохор

Но ангелов священную седмицу
Ты видишь ли по-прежнему, отец мой?

Иоанн

Смотри, как уголь раскаленный, чаша
Подъята тонкими перстами в небо.
Лучами рыжими метутся крылья,
И волосы расплавлены огнем,
Суровый взор мне прожигает душу.

Как копие летучее, струя
С высот низринулась из чаши пенной.

Прохор

Кого пронзит? Кто ныне жертвой будет?

Иоанн

Закрой глаза, с вниманьем тихим слушай, —
Разлился гул в неведомых долинах,
Звучат там песни, слышны голоса,
И празднуют невидимые люди,
Толпа невидимая торжествует.

IV

Голоса толпы

1-й голос

Держите строй, и в ногу, в ногу, в ногу,
Рядами сомкнутыми маршируйте.
Эй, песельники, на десятом шаге
Запеть нам песню велено начальством,
Чтоб все слышали о веселье нашем.
Так в ногу, в ногу, в ногу... Запевайте.

Песня

Шагаем в ногу, — левой, левой, правой,
Ведет дорога — только смелых к славе.
Мы все, как каждый, — муравейник дружный.
Не скажут дважды — что нам делать нужно.
Приказ нам отдан, — мышцы, мысли — к делу.
За нашим взводным — мы шагаем смело.
За взводным старший, — а над старшим главный.
Победным маршем в ногу, к цели славной.

1-й голос

Эй, ты, философ, выбился из строя!
На ласточек небесных загляделся?
Иль вспомнил прошлогодний снег? Не надо
Зря забивать мозги различной дрянью,
Как у рахитика, распухнет голова.
Все за тебя обдумали другие.
Твоя задача — строй держать и в ногу
В назначенном тебе ряду шагать.

Песня

Раз, два, раз, два, раз, два, и в ногу, в ногу,
Прямее голову и пятки вместе.

Выходим на широкую дорогу
Беспрекословной, всем нам общей чести.

V

Пустынный остров

Иоанн и Прохор.

Прохор

Я этих голосов не понимаю:
Им весело, они грозят кому-то...
Какою язвою их ангел гнева,
Вторым изливший чашу, покарал?

Иоанн

Ты их не видел, — голоса лишь слышал.
И увидеть нельзя их, — нету ликов,
Многообразья нету в их толпе.
Средь тысяч листьев на деревьях летом
Двух одинаковых листочков нету.
А тут пред нами двигались рядами
И повторялись миллионы раз
Все те же человеческие тени.
Предательство Божественной свободы,
Неповторимому пути измена —
Вот страшный яд, который их погубит.

Прохор

Отец мой, если скованы их воли
И если лики их незримы даже,
Боюсь я, — может некий вор явиться
И нехранимое добро украсть.
Придет любитель жить за счет другого,
В свое хранилище их воли спрячет,
Их именем он строить царства будет,
На их костях захочет он прославить
Себя единственно, их жизнью жить.

Иоанн

Ты хорошо увидел, где опасность.
Но срок настал, и третий ангел в небе,
Весь дымный, в тихом одеянии тучи,
Печальный ангел, в час, когда за море
Круг пламеносный солнца закатился,
Подъемлет ввысь опаловую чашу.
Ночь медлит. День угас. Туманы вьются,
Как сонный рой бесшумных привидений.

И пепельные крылья распростер
Над бездною поблекшей третий ангел.
Он медленным движением наклоняет
Края ему врученной Богом чаши.
И медленно тяжелый дым струится
С небес на землю. Скорбен час заката.

Прохор

Помедди, Тайнозритель, я не в силах
Свои глаза от неба оторвать.
Мучительно мне было б видеть казни,
Которые последовать должны.
Мучительно вернуться мне на землю.
Тем более, что следует четвертый, —
Кто? Ночь сама иль ночи черный ангел?
Все небо осенил шатром крылатым,
Серебряные искры звезд рассыпал,
И льет на землю медленный напиток
Густой, смолистой темноты ночной.
Волна морская вдруг оцепенела, —
Не торжествует, — только тихо ропщет.
Вдыхаю я тяжелый, темный воздух.
Весь мир ночной отравой окован.
Все замерло, все ждет.

Иоанн

Уж дождалось.

Глаза к востоку обрати. Ты видишь, —
То пятый ангел в череду вступает.
Сметет тяжелыми кудрями с неба
Искристых звезд спокойные поля,
К земле прильнет и ладным вихрем кинет
Сухую пыль, расшевелит тростник.
В ответ ему деревья расшумятся,
Настойчиво ударит ветер в море,
Покой нарушит спящей глубины
И бросит волны на пустынный берег.
Вот пятый ангел, — грозовой, — уж близок.

Прохор

Гроза идет. Неразличима чаша
В руках невидимых. Лишь лезвие
Блестящей молнии простор пронзило.
Еще, еще. Весь небосклон исчерчен
Мелькающими быстро письменами.
Мгновенным светом озарились руки,
Поднявшие священный кубок. Змеи
Молниевидные в его глубинах

Зарожжены. Вместилище он бури.
И ангел грозовой — ее начальник.

Иоанн

Три ангела явились нашим взорам.
Три чаши опрокинуто над нами.
Три казни падшим миром овладели.
Война. Ее всегдашний спутник — голод.
И рабство. Многие века в свободе
Жил человек, свободный от природы.
Свобода высшим благом почиталась.
Война и голод, подневольный труд
Сейчас меняют лик привычный мира.
Средь мрака наступившего смотри,
Средь громовых раскатов слушай, слушай.

VI

Разрушенный полустанок

Вдали пушечный гул. Толпа, еле освещенная фонарем.

1-я женщина

Как будто удалился гул сраженья.
Ушла гроза, в развалинах оставив
Все, что мы прочной жизнью почитали.

2-я женщина

Дом, скарб, скотина, зимние запасы,
Деньжата, скопленные многими годами,
Все сожжено, развеяно, разбито.
Как родила нас мать, мы голы ныне,
Под голым небом, на пустой земле.

1-я женщина

Зачем меня снарядом не убило,
Зачем мне не было дано за ними,
За сыновьями милыми, уйти?
Упал в сраженьи старший, а меньшого
Невидимая пуля подкосила.
Остался средний мне. Но скоро гибель
И с ним расправилась. Теперь одна я.
Пусть враг окажет мне одну лишь милость,
Пожертвует одною лишней пулей,
Одним движеньем пальца, — и расчеты
Я кончу с этой жизнью ненавистной.

3-я женщина (с детьми)

Чего ты ропщешь, тетка. Иль не видишь,
Что жребий твой завидней моего.
Троих детей в войне ты потеряла.
Что ж, радоваться надо, а не плакать.
По крайней мере, ни один из них
Тебя не будет мучить тем, что хлеба
Нигде для них не можешь раздобыть.
Мы сами голодаем. Это горе
Еще терпеть возможно. Вот как дети
От голода метаться начинают,
И плачут, и заснуть не могут ночью,
А ты ничем помочь не в силах больше...
Я виновата без вины пред ними,
И думаешь, — зачем их породила,
Зачем пожар их не спалил иль пуля
Их не убила наповал.

Старик

Все было
Предсказано давно в священных книгах.
Читай в главе девятой Откровенья.
На Патмосе апостол Иоанн
В виденьи ясном видел наше время.
«По виду саранча была подобна
Коням, готовым на войну. И брони
На ней железные. А шум от крыльев
Как шум от колесниц. У скорпионов
Подобные хвосты. В них жала с ядом.
Царем над ними ангел бездны. Имя
По-иудейски Аввадон ему,
По-гречески Аполлион». И дальше:
«Я видел всадников. Их брони были
Из серы, пламени и гиацинта.
И головы коней подобны львиным.
И рот их извергал огонь и серу.
И мощь у них в их пасти и в хвостах их.
Хвосты подобны змеям. И имели
Те змеи головы. Вредили ими».

2-я женщина

Помилуй, Господи, не воздавай нам
По нашим многочисленным грехам.

Старик

Давайте плакать и молиться вместе.

1 - я женщина

Господь мой, упокой их со святыми,
Рабов и воинов Твоих, детей
Моих любимых, Твой венец приявших, —
Илью, и Симеона, и Петра.

Старик

И вечную им память сотвори.

Солдаты (*ведут группу пленных*)

Один сухарь, воды горячей кружка
Для каждого из пленных. Могут вместе
Часок какой-нибудь передохнуть.
Товарные вагоны соберем мы,
И первые пятьсот пойдут на рудник,
Вторая группа — на работы в поле.
Лишь опытных в каких-нибудь ремеслах
Приказано заранее отобрать нам,
Да бывших мастерами на заводах.

2 - й солдат

Эй, живо стройтесь в очередь за пищей!
Привал на полчаса, пока вагоны
Не подадут.

1 - й пленный

Поля пахать мы будем,
Чтоб было чем кормиться их солдатам,
И добывать руду им для снарядов.

2 - й пленный

На наших братьев нашими руками
Мы создадим смертельное оружие.

1 - й пленный

Нет выбора у нас. Или к расстрелу
За неисполненный приказ мы будем
Обречены судом их незаконным,
Иль мертвыми колесиками станем
В военной их машине беспощадной.
Неволею своею будем вместе
С врагами родины их дело делать.

3 - й пленный

Я раб, мы все рабы. Рабам — покорность, —
Единственная мера жизни их.

1 - й пленный

Мы более не люди, — скот рабочий.
Куда ему укажет бич, — иди,

И где ярмо к труду нас приневолит,
Там будем мы послушно выполнять
Задание любое.

1-й пленный

Умереть бы.

Стражники (*входят*)

Эй, расступитесь, пленные.

1-й стражник

Где бабы
Запрятались? Живее выходите!

2-й стражник

Не все, не все. На что старье такое!
Мы отберем красивых, молодых,
Захваченное все сослужит службу,
От восемнадцати годов, — ступайте, —
До тридцати, — другие не годятся.

1-я девушка

Куда нас повезут?

1-й стражник

Моя красотка,
Не любопытствуй зря. (*Обнимает ее.*)

1-я девушка

Не смей касаться!

1-й стражник

Ого, какая строгая! Недолго
Ты будешь недотрогой держаться.

2-я девушка

Я поняла. Погибли мы. О, горе!
Нас отдадут на грех и на позор.

Старуха

Молитесь, девушки. Не грех, а подвиг,
Не наказание, а венец нетленный
На страшном ожидает вас пути.
Святые мученицы, сохраните
Лишь душу чистую. Пусть тело будет
Лишь оболочкой недостойной вашей.

1-й стражник

К порогу рая верно доберутся
С носами провалившимися девы,

Гнусавым голосом Творца прославят.
Скорей, красотки, поданы вагоны.

VII

Пустынный остров

Иоанн и Прохор.

Прохор

Довольно, Боже. Мир не может больше
Существовать среди этой тьмы кромешной,
И сердце истекает состраданием.
Пять чаш, — пять казней, — больше нету силы
Последних двух, двух самых страшных ждать.

Иоанн

Никто не ведает, что будет страшно,
А что к спасенью приведет творенье.
Смотри. Уходит ночь. Ночные маки,
Насыщенные чернотой, — исчезли.
Лиловыми фиалками засыпан
Восток сейчас. И медленно струится
На смену им сиреневое море.
Заря, заря, предшественница солнца,
Все напояет отблеском прозрачным.
Розовопестрый ангел, тих и ясен,
В ее лучах свою подьемлет чашу.
Начало дня, начало жизни новой.
Из чаши расплескался мед тягучий.

Прохор

Начало жизни. Казни миновали.

Иоанн

Не знаю я, — быть может, в смертной муке
Должны искать земные обновления.
Над морем розовый туман клубится.
Вот ветер разорвал его завесу,
И не морская даль за ней открылась, —
Ты видишь шествие.

Прохор

Толпа стремится
Неисчислимая. Куда — не знаю.
Тут старики, и женщины, и дети,
Больных несут за ними на носилках
Иль под руки ведут. И молодые,

И старые согнули низко спины.
Идут, как обреченные на казнь.
О, кто они? Отец, народом целым
Они в тумане розовом влекутся.

Иоанн

Мои родные, сыновья сынов
И дочери сестер моих любимых.
Средь этого народа Мариам,
Как лилия долины, расцвела.
Тяжеловынный, — избранный, — Израиль,
Вот что глазам открылось на рассвете.

VIII

Израиль.

1-й еврей

Вот дожили. Нелепая легенда,
Которой верили в Средневековье,
Вдруг в наше время снова оживает.
Как будто есть один народ иудейский,
Один избранный Еговой Израиль.
Язык евреев не объединяет,
И нравы их подобны тем народам,
Среди которых жизнь их протекала.
От предрассудков гибнем.

1-я женщина

Ходят слухи,
Что всех детей от матерей отнимут
И отдадут в какие-то приюты,
А матерей угонят на работы.

2-й еврей

Всех в солеварни будут отсылать.

3-й еврей

И газами травить, коль не способны
К тяжелому труду.

2-й еврей

Всех уничтожат.

Проходят.

1-я девушка

Все было б легче, если б смысл увидеть.
Бессмыслица — страшнейшая из пыток.
Иль жертвы мы случайные безумцев,

Иль книги древние не обманули
Отцов.

2-я девушка

Ты знаешь, что в них говорится?

1-я девушка

Не очень точно. Об избраньи нашем
И о завете Еговы с народом.

2-я девушка

А хорошо бы без избранья жить.

Проходят.

1-й старик

Благочестивые и нечестивцы, —
Все пред лицом Твоим сравнялись в горе.
Я почитал Божественную Тору,
Я исполнял, что велено законом,
Не изменил я ни единой иоте,
И вот награда.

2-й старик

Только не ропщи.

Ты помнишь, как многострадальный Иов,
На гноище, проказою покрытый,
Не согласился Бога похулить.
Мы все подобны Иову сегодня.

1-й старик

Я не ропщу. Я знаю, — прав Создатель.
И трижды прав, и вечно прав, и нам ли
Уразуметь пути Господней воли.

Проходят.

1-й еврей

Обречены на смерть, на истребленье,
Кончаем дни бесславно в этом мире.

2-й еврей

Ты плохо вник в закон живого Бога.
Нас будут гнать, всечасно будут мучить,
Над нами явно враг восторжествует,
Но что бы ни пришлось нам испытать, —
Противник самый сильный истощится,
И прах его смешается с землею,
И имени его не будут помнить,
А мы — до дня Господнего — все те же, —
Гонимые, униженные, — будем
Существовать согласно волей Божьей.

1-й еврей

Да, знаю я, — когда придет Мессия,
Он нас освободит и крепость
Народным мышцам древнюю вернет.

2-й еврей

Мессия — Царь, Мессия — Жрец верховный...

3-й еврей

Мессия — жертва за грехи людские,
Мессия, как овца на заколанье
Врагом влекомый. Тростника не сломит,
Не загасит курящегося льна.

1-й еврей

Мессия, — Царь...

3-й еврей

Слуга слуги последний.

1-й еврей

Он будет на престоле вознесен.

3-й еврей

Был вознесен на крест людскою злобой
И освятил Свой крест. На наши плечи
Креста священный груз Он возложил.

1-й еврей

Ты говоришь не как израильтянин.

2-й еврей

Смотри, смотри, — передние ряды
В нежданном ужасе теснятся. Что там?

3-й еврей

Там видятся мне ангельские крылья,
Серебряные трубы там гремят,
Господь мой, Страшного Суда преддверье...

IX

Пустынный остров

Иоанн и Прохор.

Иоанн

По предуказанному все свершилось.
Двенадцать тысяч каждого колена,

Всего ж людей сто сорок и четыре.
Двенадцать дюжин тысяч ото всех
Израильтян запечатлено будет
Обещанной печатью избранья.
А это значит: сроки наступили
И Божья нива к жатве побелела,
Жнецы придут от Господина жатвы
И плевелы отделят от пшеницы,
В костры их кинут. Доброе зерно
Все уберется в закрома Господни.

Прохор

Как могут завершиться сроки жизни
Без ангела последнего, седьмого?

Иоанн

Недолго ждать. Смотри опять на небо.
Ты видишь, — дали налились лучами
Невидимого солнца, как плоды
Под осень соком налиты прозрачным.
И ветер стих. Немая неподвижность
Морской сковала предрассветный воздух,
И над востоком ширится сиянье:
Лучи, подобные мечам, метутся,
Средь неба царственная белизна.
И сталь расплавленная всплывает
На небосклон, как царь на колеснице,
Влекомой серебристыми конями.
Ты видишь ангела? Ты видишь латы?
Ты видишь раскаленной чаши пламень?

Прохор

Не вижу я: от света слепнут очи.
Везде разит он — этот свет слепящий.
Мне кажется, что у меня по жилам
Не кровь струится, — это серебро,
Что добела расплавлено. Мне больно.
Мне радостно. Как перья крыльев белы
У ангела, и у тебя, отец,
И за моей спиною тоже крылья.
Отец, отец, в крылатый мир вступаем,
В мир царственной, священной белизны,
И в солнце мы горим и не сгораем,
Неопалимой Купине причастны,
Крещаемы Огнем Святого Духа.

СОЛДАТЫ

Арестное помещение при комендатуре. Сводь. По стенам скамьи. Ночь.

Первая сцена

В углу неподвижно сидит старик-еврей. На переднем плане за небольшим столом три солдата играют в карты.

Первый солдат

Нет, брат, шалишь. Я отходил уж пики,
И козырем по даме. Получай-ка.

Второй солдат

Ну, делать нечего. Сдаюсь.

Третий солдат

Пора бы

На боковую.

Первый солдат

Нет, сегодня спать нам
До самой смены, верно, не придется.

Второй солдат

Еще сыграем.

Третий солдат

Надоело, право.

Вот наша жизнь: немецкие солдаты,
Часть армии непобедимой. К бою,
К трудам, к опасностям готовы были.
Но не противников вооруженных,
Помериться способных с нами силой, —
Встречаем мы лишь стариков да женщин, —
Трусливое еврейское отродье.
Не воины — тюремщики мы просто.

Первый солдат

Чего ж ты недоволен? Эдак лучше:
Живем в тепле, всегда по горло сыты,
Труд легкий и ничем мы не рискуем,
Всегда бы так.

Второй солдат

И весело в Париже.

Первый солдат

Семью свою сюда перетащить бы.

Третий солдат

Сейчас опять нам приведут с облавы
Людей неведомых. Хорош противник, —
Он лишь рыдать да трепетать умеет.

Старик

Довольно, Боже!

Первый солдат

Что он там бормочет?

Второй солдат

Наверное, плохие сны приснились.

Старик

Довольно, Боже!

Первый солдат

Эй, старик, в чем дело?

Третий солдат

Оставь его. Охота вечно слушать
Вопросы их, и жалобы, и просьбы.

Старик *(как бы во сне)*

Глаза почти не видят. Ссохлись кости.
Устал, устал я. Сколько тысяч лет
Земли мне пыльные дороги мерить
Когда меня долина Иосафата
В свои гроба, как плод созревший, примет?

Первый солдат

Чего он там? Тоску наводит только.

Второй солдат

Эх, спать как хочется... Развеем скуку.
Споем-ка что-нибудь.

Первый солдат

Ну, запевай.

Второй солдат

Жди меня, моя краса!
Сколько б лет ни длить разлуку, —
Через горы и леса,
Через радость, через муку,
Я в твой тихий дом приду.
Только вот — в каком году?
Жди меня, моя любовь!
Жди, чтоб в дверь я постучался.
Сердце к встрече приготовь.

Я любить навеки клялся.
Будь бодра и не больна...
Что нас разлучит? — Война...
Шлю тебе я письмецо
С нежным, любящим приветом.
Береги мое кольцо.
Я приеду этим летом.
А врага я — пулей в лоб.
Мне — невеста, ему — гроб...
Жди меня, моя краса...

Третий солдат

Да, пулей в лоб. Ведь тут, пожалуй, нету
И тени хвастовства. Уж коль стреляем, —
Всегда наверняка. Противник связан,
Стоит у края собственной могилы...
Нас много. Вооружены мы сильно...
Что говорить? Ничем мы не рискуем.

Первый солдат

Он все ворчит.

Второй солдат

Уж лучше песню спел бы.

Третий солдат

Есть тоже у меня в запасе песня.

Раз, два, раз, два, раз...
За спиною ранцы,
К Западу Эльзас,
А к Востоку — Данциг.
Раз, два, раз и два...
Всяк народ приманка.
Не боится рва
Гусеница танка.
Пусть в степях не спит
Красный воин русский.
Унесется бритт
По тропе французской.
Раз, два, раз, два, раз...
Остановим Темзу.
Все, что видит глаз,
Все доступно немцу.

Старик (сам с собою)

Народы поднимаются из праха
И в прах уходят. Все — гробов добыча.
Как ликовали римляне, к Сиону
Полки приблизивши по воле Тита.

Храм Егови пылал тогда как факел,
Как предсказал пророк, Рахиль рыдала.
Рабы-израильтяне в Рим входили
За императорскою колесницей.
И семисвечник, и ковчег завета,
На нем серебряные херувимы,
И трубы, все священные предметы, —
Для римской черни, требующей зрелищ,
Минутною забавой послужили...
Всевластью Рима не было границы...
Один лишь враг — настойчивое время, —
Но римских стен оно не осаждало,
Но никогда не начинало боя, —
Оно, как и всегда, стремилось к цели,
Нам, созданным из праха, не открытой.
И мы не знаем, где могила Тита,
Погашена веками слава Рима,
Развалины, — и скоро их не будет.
А Божий раб, Израиль тяжковыйный,
Он жив еще. И пусть гонимый вечно, —
Он вечно пребывает сам собою
И победителей своих хоронит,
Потом хоронит он о них и память...

Первый солдат

Не нравится мне что-то этот голос.
А ну, старик, о чем ты рассуждаешь?

Старик (*про себя*)

Знак Егови, щит праотца Давида...

Третий солдат

Какой там щит? Щитом не защитишься
От танка быстрого иль пулемета.

Старик

Звезда, звезда...

Второй солдат

Оставь его. Довольно.
Мне слышится неясный шум у двери.
Пришли охотники с своей добычей.
Ну, так и есть.

Третий солдат

Тюремщики готовы
Гостей достойным образом принять.

Вторая сцена

Входят офицер, стража и толпа арестованных. Среди них патриоты, бродяги, евреи, коммунисты, юноша. Солдаты встают. Офицер садится на их место. Все толпятся вокруг.

Офицер

Живей, живей! Мне некогда возиться.
Выстраивайтесь по порядку быстро.
Вот этот, тот, еще один, что сзади
Как будто избежать допроса хочет, —
Вперед ступайте. Кто еще? По списку
Пять патриотов мы сейчас схватили.
Из вас пяти кто отрицать решится,
Что принимал участие в заговоре?

Первый патриот

Что ж отрицать? Ты б сам на нашем месте
К восстанью тайно свой народ готовил.

Второй патриот

Играли крупно мы: на жизнь, на ставку,
Которую ты выиграл неожиданно.
Ну, что ж? не постоим мы за расплатой,
И наша кровь пусть будет честь народа, —
За родину и умирать не страшно.

Офицер

Отлично. Двое уж признались. Что же?
Одною честью только вы богаты,
А ваша жизнь...

Первый патриот

Мы ей не дорожим.

Офицер

Так. Пятеро вас всех. Эй, вы, солдаты!
Вот этих пятерых доставить нужно
В тюрьму с сопроводительной бумагой.
И живо.

Солдаты

Все исполним мигом.
(Уводят арестованных.)

Офицер

Дальше.
Без паспорта толпа бродяг парижских.
Ну, это невод вытащил мне рыбу,
Которой голода нельзя насытить.

Вот список их. По именам отметьте
И уберите, чтобы не мешали.
При всех властях всегда одна дорога
Бездельникам, лентяям, тунеядцам.

Солдаты проверяют бродяг по списку и увозят их.

Еврей, нарушители закона,
Отмечены, как шельмы, звездоносцы.
Один задержан здесь за то, что мечен,
Ну а другие так за то, что смели
На улицах, на площадях базарных,
Среди народа без звезды являться.

Старик (*про себя*)

Звезда, звезда, знак тайный Элогима...

Первый еврей

Потише, дед, себя и нас погубишь.

Старик

Звезда, звезда...

Офицер (*к первому еврею*)

Показывай бумаги.

Первый еврей

О, вот они. По ним вам будет ясно,
Что честный я портной, что сын мой старший
Полгода воевал, был тяжко ранен,
Что мать моей жены...

Офицер

Какое дело
Мне до нее, до бабушки, до деда?
Пусть следующий подходит.

Второй еврей

Вот бумаги.

Офицер

А это что? Врач пишет, что ты болен?

Второй еврей

Да, лишь неделя, как я из больницы
Домой вернулся.

Офицер

Лечат и в тюрьме.
Скорее. Дальше.

Третий еврей

Запираться не в чем.
Я только о пощаде умоляю.

Офицер

Пощады захотел? Конечно, — дети,
Жена больна и нету дома денег?
Охотно верю, что ты малый честный
И, может быть, воды не замутишь.
Нам кровь твоя важней расположенья,
И убеждений, и теорий всяких.
Тут против крови ополчилась кровь.
И верь, — она кипеть не перестанет,
Пока у вас вся в жилах не иссякнет.
Ну, звездоносцы, дальше.

Старик (про себя)

Авраам,
Исаак, Иаков, вы, патриархи?
Давид...

Офицер

Так, дело сделано. К полудню
Отправить их по лагерям различным.

Еврей

О, горе нам!

Офицер

Да вы не очень войте.
И знайте, — я могу утешить даже:
Заложников среди евреев нету.
За проволокой вы посидите только.

Первый еврей

О, мать моя!

Второй еврей

Я двух детей оставил!

Третий еврей

Я голода боюсь.

Первый еврей

О, горе, горе!

Второй еврей

Спасите нас. У вас, наверно, тоже
И мать и дети есть.

Офицер

Довольно. В лагерь.
Евреи вы, — о чем же говорить?

Их уводят.

И коммунистам очередь приходит.
Ну, с этими недолги разговоры.
Подвиньтесь ближе.

Они обступают стол.

Были вы все взяты,
Когда распространяли среди народа
Призыв к восстанью. Для другой державы,
Воюющей сейчас с державой нашей,
Вы были здесь ушами и глазами.

Первый коммунист

К народу вашему мы не враждебны.
Нам всякий труженик всегда товарищ.
К насильникам мы лишь непримиримы,
И с немцами у нас одни и те же
Смертельные враги.

Офицер

Как имя их?

Первый коммунист

Спроси себя, — и сам себе подскажешь,
Кто твой народ на рабство обрекает,
На подневольный труд и на войну,
Какое имя женщины с проклятьем
Над письмами убитых сыновей
Твердили тихо, а теперь все громче.

Офицер

Ну, ну, потише. Ври, — не завирайся.

Второй коммунист

Товарищ много не договорил.
Не понимаю я вояк немецких:
Был он крестьянином или рабочим.
Знал хорошо, как мир весь разделится
Меж богачами и простым народом.
И хоть немного богачей, — да люты,
А главное, хитры: кого угодно
Вокруг пустого места обведут.
Ведь знали же рабочие про войны, —
Кому их затевать пришла охота,
А вот под ж, — поддались.

Офицер

Значит знали,
За что их умирать заставят.

Второй коммунист

Право,
Подумать только, — очень нужны им
Захват Европы, власть над целым миром.
А дома голод, ни кусочка хлеба,
Сиди по десяти часов, работай, —
А на кого?

Офицер

Да, вам себя бы только
До смерти обеспечить жирным мясом,
А в праздник погулять с женою выйти.
Вы — просто стадо. Ваши сны про сытость.
Всеобщее кормление зверей.
У нас же есть высокие задачи.

Первый коммунист

Ну, чьи задачи выше, можно спорить.

Офицер

Довольно. К спорам ты привычен, видно.
И не взнуздается язык болтливый
Тем даже, что с поличным ты попался.
Сообрази, чем это пахнет.

Первый коммунист

Знаю.
Не первый я и не последний тоже.

Офицер

За дело безнадежное вы бьетесь,
Отравлены московской небылицей,
Что хорошо для варвара-народа,
То здесь, в Европе...

Второй коммунист

Варвар бьется ловко,
Не хуже избранной твоей породы.

Офицер

Как видно, не о чем нам пререкаться
И каждый на своем стоит упрямо.
А разница лишь в том, что я могу вас
Не только запереть, но уничтожить.
Вы в лучшем случае бурчите под нос
Иль пишете в листовках безымянных,

С привычной вашей, скучной болтовней.
Я — сильный. Вы слабы. А там, где сила,
Там также право.

Первый коммунист

Погоди немного:
Как вас советы к выходу попросят,
Небось о праве слабых завопишь.

Офицер

Наслушался я ваших басен глупых.
Солдаты, с этих не спускайте глазу, —
Они у нас заложниками будут.
Ступайте.

Солдаты уводят коммунистов — последних арестованных.

Третья сцена

В дальнем углу остаются лишь старик и юноша. Офицер их не замечает, раскладывает бумаги на столе, делает отметки.

Офицер

Так. Все правильно. Облава
Была удачной. Несколько десятков
Противников, скрывавшихся доселе,
Попалось наконец нам за решетку.
Десятков несколько. Конечно, мало.
Их ловишь, а они как будто могут
Пред нашими глазами размножаться,
Как в этом грязном городе клопы.
Война не кончилась, — и сразу люди,
Вчера еще готовые в нас видеть
Спасителей своих непобедимых,
Залаяли, — щенки из подворотни,
А завтра в ногу вцепятся зубами.
Трусливый мир. Пора ему исчезнуть.
Вчерашние владыки жизни будут
Скотом рабочим, тихими рабами,
Покорными избранной расе нашей.
Мы все учтем, мы многое изменим,
Мы их научим исполнять приказы,
По праздникам мы веселить их будем,
Забавить незатейливой игрою,
Кормить, чтоб мускулы не сдали в силе,
Женить, чтоб обеспечить им потомство,
Таких же, как они, рабов. Владыки
Мы — племя севера. И мы с планетой,
С старушкою дряхлеющей, с землей,

Распорядимся, будто огородник,
Работающий на большом участке.
Всего там есть: капуста и картошка,
И пышные цветы растут без пользы.
И все для нас. Отныне и до века.

Старик (*про себя*)

Довольно, Боже. Время отдохнуть.

Офицер

Кто там еще?

Старик

Звезда царя Давида...

Офицер

Да тут никак их двое оказалось?
Как вы сюда попали?

Старик

Отдохнуть я
Здесь на скамьях в углу расположился.
Но плох мой отдых.

Офицер (*к юноше*)

Ты откуда взялся?

Юноша

Пристал к задержанным.

Офицер

Вот чудаки.
Отсюда всяк, как чиж из клетки, рвется,
А вам проникнуть непременно надо
За все замки — за все засовы наши
Для отдыха.

Старик

Плох отдых мой повсюду.

Офицер

А вы-то хороши. Как на открытках,
Которыми знакомых поздравляют.
Ты — старый, дряхлый, уходящий год,
А ты идешь ему на смену, — новый, —
Пожалуй только худощав немного,
Но ничего. Часы бы лишь меж вами
Поставить, чтобы стрелки на двенадцать
Указывали. Приписать бы сбоку:
«С счастливым новым годом». Буквы
Из золота. Ни дать ни взять открытка.

Старик

Ты думаешь, что шутишь, а на деле
Одну лишь правду говоришь.

Юноша

Иначе

Мы эту правду увидеть умели.
Бывал ты в Страсбурге?

Офицер

Конечно. Город —

Один из заповедных городов,
Который вновь отечеству достался.
Так что же там?

Юноша

На площади собор.

Когда ты к боковым дверям его подходишь,
То женщин двух из розового камня
По сторонам увидишь, как на страже.

Офицер

На двух красавиц мало вы похожи.

Юноша

Одна стоит, венчанная короной,
И посох свой высокий прямо держит.
Другая... Посох сломлен, и повязкой
Завязаны глаза... И скорбь немую
На лице полузримом и в движеньи
Высокого, худого стана видно.

Старик (*про себя*)

В скорбях зачаты, в муках рождены.
Сион, Сион, твое великолепье
Врагами попрано. Нет храма Богу.
Мы как песок во время урагана.

Офицер

Немного помолчи. Хочу дослушать.

Юноша

Пусть слушают имеющие уши,
Но удивлюсь я, если ты услышишь.
Весь Божий мир и все пути людские
Разделены меж сестрами навеки.
Незрячая все прошлое вместила,
Другая — будущего госпожа.

Офицер

Что было и что будет — пусть. Сегодня —
Не этим сестрам — нам оно подвластно.

Юноша

Сегодня — грань между двумя мирами,
И этой грани в самом деле нету.
Ты не успел свои слова обдумать, —
Они уж сказаны, они уж в прошлом.
Немногого ты хочешь в жизни, если
Лишь настоящее в ней бережешь.

Офицер

Яснее говори.

Юноша

Я буду ясен.

Уж около двух тысяч лет минуло,
Как крест рассек вселенную на части.
С тех пор старик покоя не находит, —
Он обречен пройти по всем дорогам,
Которые под солнцем существуют, —
И на глазах сестры с тех пор повязка.

Старик

Как много их, дорог неисходимых!

Юноша

Тогда обрублены все ветви были
Еще в раю нам выросшей маслины,
И дикую маслину к ней привили.
И разрослась она могучим деревом,
Весь мир своей листвою осенила. —
И имя ей — Христово Тело, Церковь.

Офицер

А, это песня старая.

Юноша

Дослушай.

Нет в мире элина, нет иудея...

Офицер

Договорился. В мире есть и есть, —
Не только есть, но будет, будет, будет
Народ владыка, господин вселенной.

Старик (*про себя*)

Никто не знает, где могила Тита,
И по-египетски не говорит.

И пал Ассур, звезда войны кровавой,
И все умрет...

Офицер

Ты первый.

Юноша

Что торопишь
Ты ход событий, смысл которых — тайна?
Умрет и он. Но мне сначала надо
Повязку снять с очей сестры любимой.

Офицер

Снимай, снимай, — тебе я не помощник.

Юноша

Не думаю. Ты приближаешь сроки,
Того не ведая.

Офицер

Ты пьян иль бредишь.

Юноша (*вместе со стариком отходит в сторону, поды-
мает руки и начинает молиться*)

Благослови, Господь, благослови,
Вели, чтоб дерзновенная десница
Во имя распинаемой Любви
Двум сестрам помогла соединиться.

Благослови, Владыко, подвиг наш, —
Пусть Твой народ, пусть первенец Твой милый,
Поймет, что крест ему — и друг, и страж,
Источник вод живых, источник силы.

Благослови, распятый Иисус.
Вот у креста Твои по плоти братья,
Вот мор, и глад, и серный дождь, и трус, —
Голгофу осеняет вновь Распятые.

Благослови, Мессия, Свой народ
В лице измученного Агасфера,
Последний час, последний их Исход,
И очевидностью смени их веру.

Старик

Мы вопрошали безмолвное небо, —
В буре молчал, в урагане Ты не был.
Вот незакатное Солнце в сверканьи, —
Близок Ты, близок, — Ты в тонком дыханьи.

Слушай, Израиль, — склоняются главы, —
Царь приближается в облаке Славы.

Офицер

Нет, больше не могу. Я до рассвета
С безумцами проговорил бесплодно.
Солдаты, живо! Иль вы там заснули?

Входят солдаты.

Возьмите этих двух бродяг бездомных,
Обоих вытолкайте за ворота
И никогда их больше не пускайте.

Художественная и автобиографическая проза

ЮРАЛИ

1

Приближается моя смерть, и не хочу я, чтобы вместе со мной исчезли те слова учителя, которые я слышал.

Оглядываясь на долгий путь свой, вижу я, что многим, как и мне некогда, облегчат они дорогу, сделав зрение — ясным, сердце — бестрепетным, а руку — уверенной. Ибо, изнемогая на пути, встретил я Юрали и родился вторым рождением.

Вам, изнемогающие, пишу я, и верю, что слова и жизнь его будут вам источником воды живой.

Ясен и безбурен мой вечер. Мирно гаснет заря. Сердце — свиток, исписанный рукой мудрого. Как плод созревший, отдаю я жизнь свою вечности. Дети мои, узнайте, что близится жатва.

И еще узнайте, что здесь, среди нас, живущих и юных даже в старости, был тот, кто обречен. Обреченным назовете вы Юрали, узнав слова его и деяния.

Память моя, видя в тумане настоящее, сохранила мне каждое его слово, дабы поведать о нем мог я.

2

Среди горных пастбищ рос Юрали. Крутые скалы делали эти пастбища почти недоступными. Только в самые жаркие месяцы, когда весенние потоки пересыхали, от-

весная тропа могла вывести через несколько дней пути к селеньям, находящимся в долинах.

Начиная ранней весной и кончая дождливыми осенними днями отец Юрали пас свой стада на зеленых лугах, перегоняя их все выше и выше. Зимой с первым снегом скот запирался в низкие сараи; там же за перегородкой жил и Юрали с отцом.

Дни были так похожи один на другой, что казалось Юрали — всегда жил он в горах и вечно будет жить там.

Часто бродил младенец по лугам, собирая цветы и наблюдая птичьи стаи: к солнцу потянутся птицы, и знал он, что скоро белым снегом будут покрыты луга; и с весенним перелетом ждал он первой травы.

К полдню, когда отец задремлет, Юрали садился над обрывом и наблюдал, как внизу живут люди: пашут нивы, меряют пыльные дороги, собираются толпами у дверей низких домов своих.

Длинными же зимними вечерами просиживал Юрали у тлеющих поленьев напротив отца, слушая, как коровы за перегородкой мерно дышат и пережевывают жвачку, а в окна бьется и гудит ветер. И молчал младенец Юрали, мудрый неведением своим.

3

Однажды пропала из стада корова. Отец послал Юрали отыскать ее между скалами. С полдня вышел он. Долго виднелись с вершин пастбище, и тихо бредущее стадо, и отец с длинным бичом в руках. Но за последним поворотом скалы окружили его тесно; и уже склоняющееся солнце косыми лучами позлащало желтые зубцы. Юрали взглядывался в тропинку, ища следов копыт.

Наступила ночь. Бесстрашно брел Юрали, не узнавая скал и еле различая дорогу при слабом блеске звезд.

Уже и предутренним холодом потянуло и вновь зазолотились вершины скал.

Крутой тропой спустился он, ведомый следами копыт, к ручью. Еле различил в утреннем сумраке на берегу остов коровы, обглоданный хищниками. Надо было поворачивать; но скалы были так похожи одна на другую, что не знал Юрали, откуда пришел он.

Наугад начал он карабкаться вверх. Но куда ни поворачивал он, нигде не было видно следов копыт, которые привели его к ручью.

Долгие часы бродил он, то спускаясь, то вновь карабкаясь по крутым уступам; а скалы все теснее окружали его, и казалось, конца им нет.

Не боялся ребенок. Тайное знание осенило его: куда бы ни привели шаги, — везде будет его родина ждать —

родина еще неведомая. То же солнце будет освещать путь его, то же небо ласково раскинется над ним, те же звезды тихо запыхают ночью.

Извечная родина, ласковая колыбель лелеет усталого от пути Юрали; тихая мать нежит ноги его: мать земля зеленая.

И к восходу или к закату, в страну ночи или в страну солнца поведет его дорога — везде он желанный сын мудрой земли, везде он любимый брат зверям и злакам земным.

4

Поздним вечером на следующий день вернулся Юрали к стадам своим; случайно вывели шаги его к родному пастбищу.

Дремали коровы, отец тихо сидел у потухающего костра; и Юрали, уже отрок Юрали, рассказал ему, как скитался он между скалами, как узнало сердце, что везде родина любимая ждет его.

И впервые стал говорить ему отец, как равный равному, ибо в одиночестве своем двухдневном стал Юрали отроком мудрым и знающим.

«Юным принадлежит земля, тихая мать их; глаза отроков видят невидимое, и уши слышат неслышимое. И только тот, кто однажды услышал слово мира сего и запомнил его, только тот становится глухим, и не трогает его ласка родимой.

Милый отрок мой, Юрали тихий, о себе хочу поведать я. Некогда и я, как ты теперь, юный и неведающий, жил с отцом среди зеленых пастбищ.

Сердце мое не знало ни радости, ни горя; сердце мое ведало, что после ночи будет восход солнца, что зима предшествует весне; уши мои слышали рост трав; и голосом своим мог я призывать птиц и зверей земных.

Но кончилось мое отрочество: к селеньям в долины вывел меня отец и ушел от меня. Долгие годы жил я между людьми, питался их пищей, слушал их слова; из селений пришел я к городу и узнал тайну его.

Там впервые встретился я с матерью твоею, Юрали, и полюбил ее. И поразила любовь зрение мое и слух мой: только в ней видел я жизнь любимую, в ее голосе слышал я пение птиц; когда же она, оставив мне тебя, ушла, показалось мне, что смертельно ранена душа моя, что солнце больше не будет меня веселить, что птицы немые и трава не зелена.

Несла она тайну города; влила в меня яд, которым отравлены люди, слепые и лишенные слуха».

После этих слов просил Юрали отца, чтобы он открыл ему тайну иных жизней, тайну, убивающую людей.

Но с улыбкой возразил отец ему: «Не спрашивай, ласковый; еще долги годы твоего неведенья. Но знай, что настанет час, когда и ты поймешь тайну тех, кто живет в долинах.

Знай также, что вернулся я на родные пастбища уже дряхлым. И хотел спросить ручьи, но не поняли они вопроса моего; и хотел голосом тихим призвать к себе птичьих стаи, но с громкими щебетаньями мимо пролетали птицы. И показалось мне, что умер мир: мертвая лежала земля, мертвые шелестели травы.

Так стал я старцем, Юрали; каждый день с восходом солнца просыпаюсь я, надеясь, что вновь будут меня радостно приветствовать братья. Но молчаливо лежит земля.

Так тянулись годы; и я, чужой всему, что меня окружало, знал только одну радость: твою молодость, Юрали, твою юную мудрость».

И замолк старик. Юрали же начал ему рассказывать о тех тайнах, которые поведали ему травы и звери, скалы и звезды. И с грустной улыбкой слушал старик слова далекой, утерянной родины.

Снова потянулись весенние дни; снова бродил Юрали, радостный и тихий, по родимым лугам; снова ласковые речи шептало ему солнце, и сказки рассказывали пестрые цветы, и весенние песни пели птицы.

Только по вечерам, сидя у костра, возвращался Юрали к вопросам о иной жизни, о любви, о старости, о времени, о смерти.

И много думал он над ответами отца, и говорил ему так: «Если люди долин не знают и не слышат родину свою, то к ним хочу, отец; им хочу рассказать тайну живую, научить их тому, что сам знаю».

Но просил отец еще подождать Юрали, потому что придет его время — время первой смерти.

Юрали же не верил, что может душа его умереть, и хотел идти к людям, чтобы воскресить их.

5

В тот год была сильная засуха; весенние потоки пересохла раньше чем когда-либо; русла горных ручьев, прежде бушующих, были покрыты пылью; небольшие речки, ворочавшие камни, пересохла так, что их можно было перейти вброд. После долгих лет горные пастбища стали доступными людям: в течение нескольких летних месяцев вдоль по пересохшим руслам, как по тропе, можно было пройти, минуя отвесные, всегда неприступные скалы.

Однажды в жаркий полдень приблизились из-за уступа к стадам несколько путников. Впереди шли два старца, а за ними утомленные женщины, некоторые с детьми на руках. Отроки, девушки и дети постарше теснились дальше, удивленно взирая на Юралиного отца, на мирное стадо и на Юрали, тихо наигрывавшего на сопелке птичьей песни.

Отец Юрали встал к ним навстречу с приветом.

О приюте пришли просить они: неожиданный набег соседних племен разрушил их селенья; все мужчины, способные держать оружие, сейчас в бою; а они — слабые — решили искать спасенья в бегстве; несколько дней шли они и уже изнемогают от усталости.

Пастух предложил им пищу, а Юрали с любопытством наблюдал и слушал пришельцев. Он не мог понять, отчего женщины плакали, рассуждая о войне. Чуждыми казались мудрому отроку слова их, и думал он, что говорят они о тайне иной жизни.

Уже несколько дней жили люди долин на пастбище. Юрали рассказывал своим сверстникам сказки, которые он узнал в своем одиночестве, затевал с ними игры, водил их по зеленому лугу, называя странными именами цветы и кликая птиц.

Дети сначала с любопытством слушали непонятного им отрока и хотели научиться у него умению распознавать травы и кликать птичьей стаей; потом постепенно стали привыкать к нему и полюбили его даже, чуя в нем непонятную им силу и мудрость.

И в свою очередь, говорили они ему непонятные слова: мальчики мечтали о том, как они вырастут и станут воинами; играли в игры, где одна сторона шла на другую; на все же вопросы Юралины не могли объяснить они, отчего на словах и играх их лежит печать смерти; и тогда казалось ему, что они уже знают тайну, что они уже испытали то, что отец его назвал первым умиранием.

Юрали любил их, но был среди них одиноким и чужим.

6

Среди детей были две девочки: одна — горбунья, а другая — ласковая и злая; маленькой змейкой казалась она Юрали. Они особенно привязались к нему.

Горбунья впервые видела, что уродство ее не пугает, что Юрали так же ласков с ней, как и с другими детьми.

Часто говорила она ему так: «Ты как солнце, Юрали; солнце светит и добрым и злым, прекрасным и калекам. Ты на меня смотришь так же ласково, как и на других; ты не боишься моего уродства. Это потому, что ты мудр

и ясен, Юрали; только тот боится уродства, кто сам уродлив. Мой прекрасный, тихий Юрали, я люблю тебя».

И нежно гладила горбунья его руки и заглядывала ему в глаза.

Тогда Юрали говорил ей, что тоже любит ее, что сестра она ему желанная, что зеленая земля — извечная мать их. И учил он ее понимать птичьи голоса и ласкать стебли, говоря, что каждый злак земной тоже, как и он, Юрали, — брат ее. И потом удивленно замечал Юрали: «Только многих твоих слов не могу понять я. Разве не все знают, что и ты, горбунья, единая из светлых детей нашей матери?»

И после этих слов великая радость посещала девочку, потому что впервые чувствовала она, что и для нее, как и для других, светит солнце и пахнут цветы, что так же нежно и ей поют птицы, что в сердце Юралином равна она травам и зверям, звездам и людям — всем братьям любимым его.

А Юрали с улыбкой внимал радости ее, и в сердце его была пустота, потому что впервые узнал он жалость. И новым, еще неизвестным чувством казалась ему нежность к горбунье: иначе любил он других детей своей матери земли.

7

Другая девочка рассказывала ему о городе, о матери своей, и тогда казалось Юрали, что о страшном сне слышит он.

«Я могла бы быть такой же ясной, как ты, — говорила она. — Но люди сделали меня старой и мертвой. Когда я была еще совсем маленькой, приходили они к моей матери, и говорили ей ласковые слова, и нежно обнимали ее, и давали ей денег. Я думала долго, что они любят нас, и знала, что после нескольких дней голода придет кто-нибудь и будет у нас хлеб. Часто смеялись они и гладили меня по голове. Мать к приходу их одевала лучшие одежды и становилась красивой и молодой. И долго, засыпая, слышала я рядом смех и веселье.

Иногда к матери приходили подруги, и тогда эти ласковые люди и им давали денег, угощали сладкими винами. Ко всем всегда одинаково нежные, они любили всех. Как солнце, Юрали, светили они и добрым и злым, прекрасным и калекам».

И при этих словах девочка хохотала и злилась.

«Потом я узнала, что мать и ее подруги продают себя им; что они никого не любят, потому что любят всех; что, ласковые, не пустили бы мать на пороги домов своих; что, твердя слова любви, они презирают; что за стенами нашего дома они забывают нас.

О, Юрали, Юрали, ты, улыбающийся всем, ты воистину подобен солнцу, греющему и добрых и злых; и ты подобен тем, кто приходил к моей матери и говорил слова любви, никого не любя.

Разве ты не видишь, неразумный и неведающий Юрали, что нас всем ты нужен безраздельно? Если ты хочешь улыбаться мне, то не смей улыбаться другим; если же другие увидят твою улыбку, то бей, мучь, не замечай меня, — только не смотри ласково, потому что не верю я, что в твоём сердце есть любовь.

Я не хочу быть равной птицам и цветам для тебя. Я хочу быть солнцем твоим, дыханием твоим — всем, что ты видишь и слышишь. Ты слеп и глух, ты не мудр, Юрали».

И казалось тогда Юрали, что он не видит и не слышит, что он — как маленький зверь.

Тогда он обнимал нежно подругу свою, и сердце его наполнялось мучительной любовью; немудрые, простые слова говорил он ей, и на душе ее становилось тихо и радостно.

«Будь моим, только моим, Юрали; никто в мире не знает таких слов, как ты; никто не умеет так ласково заглянуть в глаза. Я знаю, Юрали, что не встречу любви большей, чем твоя любовь».

А у Юрали вновь становилось на душе ясно и холодно. Подходили другие дети, и он забывал о той, которая только что переполняла его любовью.

Несколько раз было так. Девочка мучилась, глядя на Юрали, как он улыбался другим; мучилась, когда он, задумчивый, уходил в скалы, не замечая никого.

И любовь сменилась в сердце ее ненавистью.

«Никогда не подходи ни к кому слишком близко, Юрали, — говорила она. — Ибо никто не может подойти ближе тебя, и никто не будет потом дальше, чем ты».

8

И Юрали поверил ей; каждый раз, когда кто-нибудь обращался к нему со словом более ласковым, чем обычные слова, он говорил: «Бойся, если я отвечу тебе лаской на ласку, любовью на любовь, потому что безмерна моя любовь, но не моя она. Не тебя одного буду любить я, а всех в тебе».

И многие отходили от него после этих слов.

Некоторые же отвечали ему: «О, Юрали, мы знаем, что ты, как солнце, светишь и добрым и злым. Но не ревнуем мы солнца. Единый раз улыбнись нам, и мы уйдем с улыбкой твоей. Любя нас, ты берешь нашу тяжесть, нашу смерть; и вечно юным остаешься ты, Юрали».

И чувствовал Юрали, что с каждым словом, с каждой улыбкой уходит из души его часть великой силы, которой жив он. Но улыбался ласковый отрок.

И видя, как расцветают детские души от слова его, решил он, что такова судьба; вечным странником будет брести он; и каждый возьмет у него, что надо, и уйдет.

Обреченной была душа отрока.

Узнав это, пришел он к отцу. Пастух сидел с другими старцами и мирно беседовал о делах минувших, вспоминал свою жизнь в приморском городе Гастогае.

И просил его Юрали, чтобы отпустил он его к людям свершать судьбу свою.

Но старик запечалился и снова стал говорить, что в долинах ждет его первая смерть.

Тогда один из старцев сказал: «Отпусти его, ибо никто не властен изменить предначертанного; разве не видишь ты, что обречен он на путь земной?»

Долго еще уговаривал Юрали отца отпустить его; и согласился наконец с печалью старик.

9

Последние летние дни приходили к концу. Скоро вместе с гостями своими должен был покинуть Юрали родимые пастбища.

Тихо бродил он по любимым местам; в последний раз перекликался с птицами. И тайная грусть обняла его; и уже тосковал он о родине зеленой; но знал, что судьба должна исполниться, что обречен он нести в мир радость минутную и горькую.

Так подошел последний день. С печальной улыбкой обнял его отец. Еще раз окинул Юрали взором пастбище и бодро двинулся в путь, к новому миру, к неведомой тайне, неся в сердце тайну свою и зеленую родину.

10

Уже несколько дней бродил Юрали по Гастогаю; давно оставил он спутников своих и чувствовал себя потерявшимся среди незнакомого ему мира.

В первый же день, скитаясь по городу, пришел случайно Юрали к храму; внизу под скалой расстилалось море: у берега высоко поднимали корабли свои неоснащенные мачты и суетились корабельщики.

Юрали вошел в храм. Сизый сумрак окружил его со всех сторон. По крутой лестнице взобрался он на башню; в косых лучах солнца встали перед ним каменные чудовища, окружавшие башню тесным кольцом.

Утомленный от дороги и одинокий, Юрали лег на каменных плитах и задремал. И приснился ему сон.

Снилось ему родное пастбище, по-весеннему зеленое; синее небо без единого облака низко нависло над ним; сам он, уже дряхлый пастух, сидит на камне, а перед ним, повернувшись к нему спиной, стоит его стадо — каменные чудовища с башни храма приморского города Гастогая. И косые вечерние лучи солнца золотят их каменные выщербленные спины. Низко опустили они головы, так что у некоторых резко выступают лопатки, а у других горбом выдается хребет.

И с трудом поднялся тоже каменеющий Юрали, чтобы оглядеть внимательно свою странную паству. Знал он также непонятным знаньем, что и им всем имя — Юрали.

И когда он начал обходить их по очереди и всматриваться им в глаза, то почувствовал неожиданно, что уже давно знает многих из них, других же только недавно встретил на площадях и улицах Гастогая.

Сначала подошел отрок к чудовищу с клювом ворона — и испугался; но, взглядевшись внимательно, он увидел большие и ясные глаза своей подруги-горбуни; и к следующему чудовищу подошел Юрали; и оскалился на него рот злой собаки; а волосы были у него подобны волосам окаменевшего воина, ясного и спокойного.

Всех узнавал Юрали среди стада своего: и отца-пастуха, и злую подругу-змею, и случайных спутников.

И тихой любовью наполнилось сердце его. Почувствовал он, что и ему, пастуху, назначено медленно каменеть под косыми лучами солнца, что навеки раскинулось над ним синее небо и навеки остановилось среди луга зеленого каменное стадо и он, пастух его.

11

Проснулся Юрали. Не ведая тайного смысла сна своего, почувствовал он только безмерную радость в сердце.

Уже утро настало; и вновь бодро смотрел Юрали в лицо ласковому солнцу, и вновь рассказывало солнце ему, любимому, мудрые сказки.

Тихо спустился Юрали к берегу. Только что прибыл из далеких стран корабль; корабельщики еще суетились, спуская и связывая паруса; широко раскинулись по небу тонкие снасти; толпа на берегу шумно приветствовала прибывших.

Юрали, спокойный и еще очарованный ночью, вынул свою сопелку и заиграл птичьими песни.

Приблизились люди к нему, чтобы внимать щебетанью и щелканью птичьему; и всем им стало радостно, ибо радостно было лицо отрока и о солнце пели птицы его сопелки. Долго пел Юрали; все знакомые напевы пастбища и еще новые, неведомые песни спел он.

Когда же он замолк, со всех сторон посыпались к нему мелкие монеты. Так, не ведая какими путями, стал Юрали, отрок тихий и мудрый, уличным музыкантом.

Потянулось время; к ночи уходил Юрали на башню храма, а днем бродил по берегу, встречая прибывшие корабли и следя за уходящими: с тоской провожал он каждого нового путника, похожего на белую птицу.

На берегу бывало всегда шумно: сильные и загорелые рабочие таскали тяжелые тюки; рыбаки выгружали серебряную рыбу; тут же торговались с ними купцы; и возчики пересыпали ее в большие плетеные корзины, чтобы везти в город.

Юрали любил этот шум; ему нравились лица рабочих, собиравшихся в Гастогай со всех стран света; его тянуло вдаль за уходящими парусами; ему казались непонятными тонкие знаки снастей, распластавшихся в небе.

Скоро уже все на берегу знали его и встречали приветом. В полдень, во время отдыха, он бродил между сидящими на земле корабельщиками и играл им на своей сопелке. Иногда он рассказывал им сказки.

12

Однажды рассказал он грустную сказку о продавце.

Вдоль по берегам рек земных, вдоль по пыльным дорогам бродил продавец, несущий за спиной большой короб, наполненный всем, что было лучшего на земле.

Красные осенние листья и пестрые оперенья птиц, белые изваянья и блестящие ожерелья были в его коробе.

Из селенья в селенье шел он, предлагая свой товар. И, завидя его, сбегались юноши и девушки, старцы и дети. И развязывал он свой короб.

Но, видя товар его, люди говорили: «Это слишком дорого» — и уходили от него.

Тогда он начинал убеждать их и назначал самую маленькую цену. И снова подходили люди, и щупали листья, и смотрели на изваянья. А потом, подумав, решали, что все это слишком прекрасно для их убогих жилищ.

И дальше шел продавец, изнемогая под тяжестью своего короба.

Наконец встретил он девушку, ласковую и ясную. «Возьми у меня все, что я имею», — сказал он ей. Но девушка ответила, что нечем ей будет заплатить за такой богатый дар.

И тщетно убеждал он ее, что не нужна ему награда; девушка не могла поверить ему.

Тогда вновь взвалил он на плечи короб и двинулся в путь; от пыльных дорог, через леса предгорий, через высокие зеленые пастбища и желтые безводные скалы,

пришел продавец к последним высотам, где вечно блистает снег. И там, под тяжестью короба своего, упал он и умер.

13

И, выслушав сказку, подошла к Юрали девушка и сказала: «Ты еще юн; но думается мне, что многое открыто тебе. Рассуди меня».

И длинную повесть о себе рассказала она.

Несколько лет назад встретила она человека, много старше себя; и с первой же встречи показалось ей, что мир стал иным, что иначе стало солнце светить и иначе волны биться о берег. Был этот человек моряком и только не на долгие дни приезжал в Гастогай. И этими днями овещалась вся жизнь ее.

Каждый раз, когда корабль его отплывал от Гастогая, думала она, что не любит он ее, ибо иначе остался бы он с ней, не ушел бы вновь в далекие страны; знала она сама слишком хорошо, как дороги часы встреч.

Когда же он возвращался, то по улыбке его, по каждому взгляду она могла догадаться, что долгая разлука не убила в его сердце любви; и несколько дней была она счастлива; ей же казалось каждый раз, что это счастье — навсегда.

И так велика была ее любовь, что могла бы она долгие годы ждать его возвращения, живя памятью о прошлой встрече и надеясь на новую.

Но вот в последний раз спросила она его, зачем уезжает он.

Он же ответил ей так. Тот, кто не хочет утрат, не должен говорить: только этим живу, только это прекрасно. Если несколько дней свиданья дают ей радость, то все же она не должна забывать, что радость эта — не единственная. Надо всю жизнь заполнить минутами радости. Если один источник ее иссякнет, то не жалеть о нем, а искать другого. И кто поймет это, у того не будет потерь.

Но не могла она принять этих слов, ибо знала, что и в потере иногда радость бывает, что человек, несущий любовь к другому в сердце своем, переполнил сердце до края и нет в нем места для другой любви.

И хотела девушка, чтобы любовь к ней так же до края наполнила сердце любимого. Не первой, но единственной хотела быть она.

Выслушав, ответил ей Юрали: «Если душа твоя щедра, то не бойся щедрости. Тот, кого ты любишь, скуп. Но на скупость его щедростью отвечай. И пусть он наполняет жизнь свою радостью, не считая потерь. Ты знаешь радость более светлую — радость разлуки и любви единст-

венной. Пока сердце вмещает ее, не бойся и неси бережно счастье неразделенное».

14

Рыбаки же и корабельщики долго молчали, выслушав ответы Юрали, и дивились мудрости отрока. И спросил его один из них: отчего говорит он, как может говорить лишь знающий тайну?

Но ничего не мог ответить ему Юрали, уже наигрывающий веселые песни на своей сопелке, ибо сам не знал тайного смысла слов своих.

Иногда говорил он о родных пастбищах и о других родинах своих, имени которым не знал он.

И тихая радость владела сердцем всех, кто его слушал.

Часто увозили рыбаки его в море, и помогал он им вытаскивать тяжелые сети. Они же замечали, что от его присутствия больше ловится рыбы и не рвут камни и водоросли сетей. Тогда стали все еще ласковее к нему, и подымались споры, потому что каждый хотел видеть Юрали на своей лодке.

На высокие, острогрудые корабли звали его, веря, что его песня зачарует море и будет огражден корабль от бурь и подводных камней.

И ласково разговаривал Юрали с морем, поручал ему корабли и рыбацьи лодки; море же тихо шумело в ответ.

Так жил Юрали в Гастогае; осенью он переселялся в рыбацьи хижины, ночуя по очереди у всех своих новых друзей, чтобы не обидеть никого.

И знал он, что судьба уже стережет его, но не ведал путей своих.

И часто казалось ему, что тайна города уже постигнута, но нет в ней смерти. И тогда вспоминал он отца, который не вынес тяжести своего пути.

А рыбаки и корабельщики, все, хотя раз видевшие Юрали, верили, что тайная мудрость привела к ним юношу, и ждали с нетерпением дальнейшего.

Слава же о сказках и песнях его разнеслась далеко за пределы Гастогая; каждый корабль приносил его имя, приносил радость о светлом Юрали.

15

Так прожил Юрали уже несколько лет в Гастогае.

Однажды правитель города давал пир; много недель по дороге к Гастогаю двигались приглашенные: воины в блестящих доспехах верхом на разукрашенных лошадях; властители соседних стран, предшествоваемые придворными и слугами; музыканты и певцы с лютнями и флейтами

своими — все стремились в Гастогай на пир, зная, что сзывает их правитель, желая выбрать мужа для единственной дочери своей.

Каждый надеялся быть избранником, хотя о царевне ходили в народе странные слухи. Говорили, что больна она тяжким недугом; что судьба властительная пугает ее; что с радостью променяла бы она судьбу свою на судьбу последней рабыни своей или рыбачки, живущей у подножья ее дворца.

Юрали, гастогаевский певец, тоже был зван на пир.

В день торжества подошел он к широким воротам дворца. Слуги правителя ввели его во двор, заполненный уже гостями: всадники правильными рядами разместились у лестницы, поблескивая золотыми доспехами своими; царевичи и властители разместились по другую сторону двора, окруженные пышными свитами и пестро одетыми скороходами; самые именитые граждане города с женами и дочерьми занимали глубь двора; а за ними теснились музыканты и певцы, пробуя флейты, лютни и сопелки, слагая и напевая песни в честь славного своего хозяина. К ним подошел и Юрали.

Когда все гости собрались, вышел к ним правитель, ведя за руку дочь свою.

И несмотря на то, что весело светило солнце, что для радости собрались нарядные гости, что уже слагались песни, долженствующие прославить царевну, глаза ее были грустны, и ни разу не мелькнула улыбка на губах ее.

И, ответив на привет гостей, такую речь повел правитель: «Я становлюсь стар, и скоро придет ко мне смерть. Дочь же моя не сможет справиться с великой властью, которая ее ожидает. Многих власть радует, ее же она пугает. Вот созвал я вас, чтобы выбрать достойнейшего и сделать его преемником моим, правителем Гастогая, отдав ему в жены царевну».

И каждый гость после этих слов стал перебирать заслуги свои и заслуги своих предков и высчитывать богатство и славу города, думая, что он и есть достойнейший.

Тогда объявил правитель, что только тот из воинов сможет заместить его в Гастогае, чья рука сильнее его руки, чей меч иступит его меч.

На бой вызывал он гостей своих.

Но многие, думая, что он хочет испытать их, отказались от этого боя; и только несколько воинов выехало на середину двора, приняв вызов правителя.

Много раз менялись сражающиеся; много было нанесено таких ударов, о которых потом могли слагаться песни;

много мечей было сломано и убито коней; но ни разу не дрогнула рука правителя, ни разу не дотронулся чужой меч до его доспехов.

А когда состязание было окончено, объявил правитель, что не нашлось среди воинов достойного заместителя ему, что судьба найдет заместителя не воина, который духом своим заменит силу меча и мудростью своею оградит Гастогай от враждебных ратей.

И широкой толпой двинулись гости в покои дворца.

В большом зале, освещенном факелами и пропитанном запахом цветов, стали разносить слуги гостям яства и вина. На широких серебряных подносах еле несли четыре человека огромных птиц с радужным опереньем, розоватых рыб, пойманных в бассейнах дворца, баранов с вызолоченными рогами. Прекрасные девушки-рабыни в легких одеждах разносили полные кубки с пенящимся золотым вином или с густым и непрозрачным красным.

А когда пир приходил к концу, подал правитель знак, чтобы выступили вперед певцы и музыканты.

16

Первым вышел старик, пришедший издалека, и начал песней своей восхвалять силу правителя, богатство его города и пышность дворца.

«Много кораблей острогрудых привозят к стенам Гастогая шелк и золото, мечи и щиты; много кораблей разносит по свету весть о гастогаевском правителе, о храбрых воинах его, о богатых гражданах города. Подобны солнцу щиты гастогаевской дружины; подобны лучам его седые кудри правителя; и дню ослепительному подобна слава его».

Так пел старик. Когда же он кончил, велел правитель слугам своим дать ему кованый кубок со стола.

И запел другой певец — юноша с золотыми кудрями.

«Славен Гастогай, великий город; но прекраснее богатств его царевна юная. Как звезды, глаза ее; как волны морские, волосы ее; как свет месяца, улыбка ее. Ласковым словом побеждает она сильных воинов и взором дарует радость певцам».

И долго еще восхвалял юноша царевну; и в награду за песню велел правитель увенчать чело его венком.

Наконец настала очередь Юрали; но не славословие начал петь он.

«Каждого человека стережет судьба; и никто не может уйти от пути своего. Много царевичей рождением предназначены властвовать, но не дает им судьба власти: еще юными идут они в плен и рабами кончают жизнь свою.

Только тот властитель, кто с колыбели почувствовал судьбу властительную, кто знает, что не изменит ему рука и не обманет счастье. Только тот властитель, кто не боится себя, не боится ни своих воинов, ни воинов врага своего. Каждое слово его должно быть словом властителя. И кто бы он ни был — пастух или рыбак, хлебопашец или воин, — знаком власти отмечен каждый взор его, знаком власти отмечены все деяния его.

Если он скажет: счастлив будь, — то дарует счастье; если он скажет: погибни, — то гибель дарует. И под взором его пенится море и расцветают цветы; и от слова его слетаются птицы и выздоравливают недужные.

Если ты, властитель города Гастогая, таков, то радуйся». Кончил Юрали, и ласковой улыбкой наградил правитель певца.

17

Потом же, когда состязанье кончилось, позвал правитель его к дочери своей, минуя толпу воинов и певцов, восхвалявших царевну и певших ей славословия.

И так сказал он: «Если ты знаешь, что значит власть, то попробуй силу свою на царевне. По песне твоей решил я, что ты тот, кого я ищу; но докажи мне это на деле».

И расступилась толпа перед ними, и ушел правитель. Тут впервые взглянул Юрали в глаза царевнины.

И внезапно острая любовь и жалость охватила сердце юноши; знал он эту любовь давно уже: еще при встречах с первыми подругами посещала она его.

Царевна же задумчиво глядела куда-то вдаль, в звездное небо за окнами; и полны слез были глаза ее.

Тогда стал Юрали расспрашивать о причине тоски ее и нежно гладить ее холодные руки.

Царевна же ответила ему так: «Каждая девушка в стране отца моего может мечтать, что придет ее час, встретится ей тот, кому она отдаст юность свою и любовь; как властителя ждет она мужа; и покорно войдет в дом его; каждому слову поверит и каждому приказанию подчинится. Я же, слабая и незнающая, должна отречься от мечты, на которую имеет право последняя из служанок моих. Руки мои понесут великую власть, слова мои будут менять судьбу людскую».

О, Юрали-певец, ты знаешь, что такое власть; посмотри на меня: разве этим рукам нести тяготу ее, разве этому голосу повелевать? Тихой доли хочу я; властителя жду; но не даст мне его судьба».

И задумался Юрали.

Царевна же продолжала: «Если же и смогу я передать власть тому, кого отец выберет мужем мне, то все же от

самой светлой мечты должна буду отказаться: власть мою и страну, а не меня полюбит избранник». И просила царица сказать ей хоть несколько ласковых слов.

Тогда Юрали, переполненный любовью, острой и мучительной, так сказал ей: «Царица, ты для меня сейчас тихая девочка, и в сердце моем любовь к тебе. Но не за власть твою грядущую полюбил я тебя, ибо власть твоя моею не будет; а за тоску твою».

И после этих слов положила царица ему руки на плечи и улыбнулась.

Он же продолжал: «Но хочу я, чтобы ты радовалась. Радуйся, ибо и над твоею властью будет солнце сиять; ибо и у твоего трона будут земные цветы; ибо и тебе будут птицы петь. Радуйся, царица, ибо обречена ты на путь властительный, ибо радуется сердце мое о тебе; радуйся, тихая девочка».

И нежно гладил Юрали руки ее. И знал, что все его слова от судьбы предназначены, что долго уже ждала его больная и грустная царица.

Она же, впервые слыша слова, обращенные к ней — тихой и грустной девочке, а не к царице, будущей властительнице Гастогая, почувствовала радость в сердце своем.

Перестала ее страшить грядущая власть; и поняла она неожиданно, что исцелилось сердце ее, что бодро и смело может она заглянуть в лицо судьбе нелюбимой. И впервые светло смотрели глаза ее; гостям же, стоявшим в отдалении, показалось, что огласился двор дворцовый птичьими песнями и расцвели алые цветы во дворцовом саду, — так была светла улыбка царицы.

И приблизилась царица к гостям, держа за руку Юрали, ибо знала она в сердце своем, что только с ним сможет она разделить власть, он только освободит ее от тяготы правления и сделает со временем сердце ее мужественным и спокойным.

Юрали же, не ведая путей своих, думал, что уже время ему возвратиться домой к рыбакам.

Но встал навстречу ему правитель и сказал: «Ты, не славословящий певец, разве не о себе пел ты в песне своей? От ласки твоей распустились цветы и птицы запели; от слова твоего недужные обрели исцеление. И не боялся ты себя, потому что судьба владела словами твоими. Не тебя ли я ждал давно, чтобы выбрать тебя преемником своим? Отныне ты будешь правителем Гастогая; зятем моим, мужем единственной дочери моей будешь ты».

А Юрали, покорный судьбе и ведающий, что все предназначено, ответил: «Да будет так».

Так стал Юрали, сын пастуха и уличный певец, правителем великого города Гастогая и мужем царицы.

Единолично правил Юрали городом; старый властитель, найдя в нем достойного заместителя себе, с радостью отошел от власти; после долгой и полной труда и волнений жизни смог он наконец отдохнуть. Царевна же, впервые узнавшая молодость, с тихими песнями бродила по саду или спускалась к морю, ни единым словом не вмешиваясь в дела названного мужа своего.

По утрам приходили к Юрали царедворцы; и мудрые веленья давал он им, ибо не его — пастуха и певца — веленья были, а судьбы, которая стояла за плечами его и обрекла его на великую власть.

Иногда он спускался в город провожать уходящие корабли или напутствовать воинов, идущих в бой; и знали тогда корабельщики, что удачно будет их плаванье; и не сомневались воины в победе, — так велика была вера их в Юрали и в слова его.

Часто приезжали в Гастогай послы от соседних правителей и дивились мудрости Юралиной, и возвращались в страну свою, зачарованные его лаской.

Так проходили его дни, полные забот и труда; только поздним вечером освобождался он; и короткие часы отдыха проводил в саду дворцовом с царевной, рассказывая ей сказки и играя на своей сопелке.

19

Ежедневно в дворцовом дворе собирались просители, и он выходил к ним; прикосновением руки исцелял больных и единым словом возвращал жизнь тем, кто отчаялся.

И были перед лицом его равны все; всем одинаково давал он помощь и исцеление.

Однажды, обходя просителей, увидел Юрали мальчика, над которым все смеялись; и спросил Юрали его, что ему нужно. Тогда люди, смеявшиеся над мальчиком, сказали, что с ничтожным желаньем он к Юрали и недостойна просьба его обратить на себя внимание правителя.

Но Юрали настаивал. И протянул ему мальчик мертвую птицу и сказал: «Я слышал, что радость и исцеление даруешь ты, правитель; по слову твоему мертвые возвращаются к жизни. Вот птица моя; я отбил ее уже мертвую у коршуна; если ты хочешь дать мне радость — воскреси ее».

И подал мальчик мертвую птицу Юрали.

Тот с улыбкой поднял вперед руку, положив на нее мертвую птицу; она же свесила зачоченевшую голову с красным пятном раны, и вытянулись по ладони ее лапы.

И долго стоял молча Юрали и улыбался. Птица же неожиданно для всех вздрогнула, встрепенулась и, расправив крылья, медленно полетела. Несколько минут кружила

она над изумленной толпой; потом опустилась на плечо к мальчику, хозяину своему.

Тогда великая радость овладела всеми, ибо поняли они, что нет цены чуду и силе правителя, что равны перед ним все, несущие горе свое и утраты.

Он же стал опрашивать следующих просителей.

Так давал Юрали радость всем, кто просил ее.

Иногда приводила к нему царица друзей своих, с которыми она встретила в городе, и говорила: «Этот человек нуждается в ласке твоей, Юрали». И тихие слова говорил ему правитель, и заглядывал в глаза; и уходил от него человек исцеленным.

Юрали же никогда не сомневался в шагах своих и действовал как знающий, ибо ведал, что ведет его судьба.

А тот, кто уходил от него исцеленным, не возвращался более к нему. И у Юрали в сердце тоже быстро угасала любовь. Был он одинок в могуществе своем. Каждый раз, когда приближался к нему кто-нибудь и осеняла его минутная и мучительная любовь, дающая исцеление и радость, чувствовал он, что исходит из него часть великой силы, которой он жив. И уставал властитель и чудотворец Юрали.

А слава о нем разнеслась далеко за пределы Гастогая; и со всех стран земных приходили к нему калеки и усталые, отчаявшиеся и грешники. И великую радость давал он. Но с каждым днем росла толпа ищущих его, и понял Юрали, что никогда не сможет он исцелить всех.

20

Однажды среди просителей увидел Юрали женщину в нарядных одеяниях, с браслетами и серьгами; несколько слуг держали носилки, на которых лежала она. Когда, обходя всех, приблизился Юрали к ней, спустилась она с ложа своего и, склонившись, сказала: «Не об исцелении и не о чуде пришла просить я, а о прощении. Несколько лет тому назад стала я женой царедворца. Он был стар и богат, а я только молодостью и красотой обладала; золото его заставило меня согласиться стать его женой. Целый год жила я с ним, надеясь победить злые мысли в сердце своем; но наконец победили они меня: не стерпела я не любимого мужа и отравила его. Никто не узнал о моем преступлении; и стала я свободно владеть богатствами убитого; и все, знающие меня, по-прежнему ласково обращались со мной. Так думала я некоторое время, что достигла счастья. Но потом по ночам стала меня тревожить тень мужа: преступление не давало покою, и не радовало меня больше золото, и ненужными казались слуги. Так поняла я, что навеки проклятье надо мной. Если ты сможешь, то прости меня, и слово твое облегчит мою душу.

Или воскреси моего мужа и сделай меня последней его рабыней».

Толпа же, стоявшая во дворе, заволновалась, потому что многие знали женщину эту, но никто не думал, что преступница она.

Юрали же, положив ей руки на плечи, так ответил: «Нельзя вернуть того, что прошло. Не в моей власти дать жизнь тому, кого ты лишила ее. Пусть спит с миром. Но если искренне раскаянье твое, если воистину мука твоя безмерна и не по силам тебе, то я возьму ее от тебя. Вот собрались во дворе моем люди, нуждающиеся в хлебе; раздай им богатства свои неправедные».

И с радостью согласилась женщина; но отшатнулась от нее толпа, ибо никто не мог решиться запятнать руки свои золотом, на котором кровь. Женщина стала тогда умолять и плакать, и протягивала ожерелья свои. Но толпа стояла в отдалении, молчаливая и угрожающая.

Тогда сказал Юрали: «Не бойтесь; слезы ее смыли с золота кровь. Но если не хотите вы принять этого даяния, то я возьму его, как залог. Отныне, женщина, ты должна знать, что преступленья не совершала ты. Я его взял от тебя вместе с золотом твоим. Отныне я буду нести и грех, и покаяние, потому что сильны плечи мои и не согнутся под мукой этой. Ты же вновь стала невинной и чистой; и знак невинности, знак того, что ничего не было, — бедность, вернувшаяся к тебе. Иди».

И сложила женщина к ногам Юралиным драгоценности свои, и радостно покинула дворец, ибо была душа ее снова светлой и омытой словами Юралиными.

А когда проходила она мимо других просителей, поняли они по взгляду ее, что нет больше на душе у нее преступления, что воистину обновилось сердце женщины.

И слух об этом деянии Юралином быстро разнесся по стране. И стали приходить к нему люди, совершившие преступление или не знающие путей своих. И с улыбкой брал Юрали их грехи и сомнения на свои плечи, и говорил им: «Так надо». Они же верили ему, и казалось им, что у ног его оставили они тяжесть своей жизни, что могут они снова, подобно детям, ждать радости и чуда, верить в силу свою; ибо не они совершили грех, а Юрали, вздевший его на свои плечи, и не силой своей сильны они, а его силой; он вернул им юность, отдав часть души своей.

И тогда понял Юрали, как слабы и нищи все, кто приходит к нему; понял он, что ни преступленья, ни подвига не в силах они вынести, что не чудо нужно им, а слово, которому они могли бы поверить; потому что не могли они сами сказать в сердце своем: «да, принимаю» или

«нет», — чужая мудрость и чужая власть делала для них каждое деяние злым или добрым.

И тяжелым бременем ложились их преступления на душу молодого и ведающего Юрали. Но знал он, что такова судьба, и никому не отказывал в ласковом слове и тихой улыбке.

Только изредка твердил он: «Обреченная душа, обреченная на радость горькую и минутную».

21

А рядом с ним, под улыбкой его, под нежными словами его, росла и крепла его нареченная жена, царица.

Часто уже вместе с ним выходила она к просителям, часто напутствовала воинов. И радовался Юрали, потому что видел, что воскресает душа ее, что скоро сможет она править страной отца своего. Радовался он, потому что знал: для этого чуда привела судьба его в Гастогай.

Но пока был он единственным в полноте своей власти, и к нему как к первоисточнику шли за силой и мудростью. Завершителем живого был он. Когда же он сомневался и мучился, то чувствовал, что от края земли и до края нет человека, к которому он может прийти как младший, как ученик.

Шло время; и с каждым днем незаметно становилась царица сильнее и способнее нести тяготу власти. Мудро вел ее Юрали по пути властительному. И видя, как ясно на сердце его, как легко ему бремя правленья, стала она забывать слабость и страх перед судьбой своею.

Когда же совсем окрепло ее сердце и впервые почувствовала она себя властительницей Гастогая, исцеленной и сильной, — быстро погасла в сердце ее любовь к тому, кто дал ей исцеление.

И узнав это, не удивился Юрали, ибо ведал, что такова судьба его: уходят прозревшие и обрадованные, чтобы не возвращаться более.

И знаком исцеления был уход царицы.

22

Тогда решил он, что завершается путь его власти, что новые пути готовит ему судьба.

И в ночь, никем не замеченный, покинул правитель Юрали дворец, уступив царице власть свою недолгую.

И было на душе у него пусто и холодно, ибо много силы своей источил он; но ведал, что еще долог путь, что трудные испытания ждут его и никто не ведает, куда ведет его судьба. Еще не узнал он последнего слова, которое даст ему свободу творить предназначенное.

Пока же жаждал он утомленной душой отдыха и покоя. Под бременем власти устал он и властью чужой думал исцелиться.

Так стал искать Юрали учителя и владыку.

Из Гастогая пошел он по берегу морскому. Встречные не узнавали в скромном путнике правителя. Долгие дни шел он; много неведомых стран миновал; через глубокие реки переправлялся. Но нигде не находил Юрали желанного учителя и владыку.

Иногда казалось ему, что среди пахарей должен остаться он; но сразу узнавали они в нем обреченного, и были ему не строгими хозяевами, а послушными учениками.

И тогда казалось Юрали, что осужден он на вечное одиночество, что никто не услышит голоса его вопрошающего, что своими усилиями и великой мукой должен он приблизиться к тайне, которая откроет ему дальнейший путь его.

23

И пришел он наконец к стенам монастырским; как неведомого паломника приняли его в монастыре и строгому брату отдали, чтобы тот научил его правилам суровым и мудрым.

И узнал Юрали, что монастырь этот — оплот братии воинствующей. Как из орлиного гнезда выезжали монахи на конях своих творить суд, расправу и милость. И недоступны были монастырские стены напору враждебных воинств: острыми стрелами отражали монахи приступ. Так много уже веков стояли они на страже справедливости и закона.

И часто выходили монахи, воины монастырские, в мир, чтобы возвестить людям суровые слова своей мудрости.

И карали они грех, и знали одну добродетель — справедливость.

И странные вещи узнал Юрали о брате начальнике своем: когда он по уставу монастырскому спускался к людям, то брал на себя подвиг защиты. Но не во имя любви требовал он оправданья, а во имя справедливости.

«Призванное к жизни, — говорил он, — должно завершить круг свой; и не вы, судьи, обреченные рождением смерти, можете сказать: смерть. За преступленья будет их жизнь карать».

Так говорил монах. И суровая справедливость пьянила его. Часто, кончая речь свою, зачарованный верой в единую добродетель, падал он замертво перед судьями. И ни разу не вынесли они обвинения тем, кого защищал монах.

А оправданные вновь возвращались в жизнь. Но не радовала их она, ибо не для радости давалась им, а для искупления.

Монах же защищал новых преступников, не ведая любви к ним, ибо справедливость была его добродетель.

И был он только единственным из слуг справедливости; все воины монастырские служили ей, и никто из них не знал слова «любовь».

24

А Юрали радовался тому, что пришел к ним, так как казалось ему, что здесь найдет он учителя и владыку.

И бежало время; все суровее и холоднее становилось на душе у тихого и любящего Юрали.

Тяжелые работы давал ему учитель, и безропотно исполнял он их. И никогда не видел улыбки на лице его.

Монах же, всегда суровый и бесстрастный, полюбил покорного Юрали, но никто не знал, что в сердце его любовь, ибо считалась она по уставу монастырскому позором.

Когда же выдержал Юрали первый искус — послушание, начал изредка вести с ним беседу учитель.

О работе и о пути тяжелом говорил он ему. И слушал Юрали, и вместо холода и суровости подкрадывалось к нему еще неведомое чувство. Забыл он о жалости и о любви мучительной и минутной: другая любовь покорила его. Как ребенок нежную мать любит, как любит больной ласковую улыбку той, кто не спит у его изголовья, так полюбил он суровую душу владыки, выбранного волей свободной, ибо в его пути видел путь своей судьбы обрекающей.

И долго молчал он о любви своей. И были они, спаянные любовью взаимной и первой, чужды друг другу.

Иногда, когда умирал трудовой день, призывал монах к себе Юрали и говорил слова суровые и мудрые.

«Вытрави из сердца своего жалость; пусть бестрепетным будет оно, Юрали; если ты увидишь горе людское, то карай того, кто его создал, но не жалея огорченного, ибо слабостью был он виновен. Будь бесстрастным и знай один закон, один путь; и закон этот и путь — справедливость».

И тогда рассказывал ему Юрали о жизни своей, о чудотворчестве, о любви, дающей исцеление и радость. Монах же назначал строгие наказания ему за всю прошлую жизнь.

«Любви твоей имя — порок. Как женщина, продающая себя, не охранял ты своего сердца от любви минутной,

расточал душу свою всем. Не ведал ты закона справедливого и карающего».

И чувствовал тогда Юрали, что обнищала душа его, ибо единым богатством была сила любви и радости у него. Но оставил он эту силу у ног учителя.

Нагим и нищим стал он. А любовь, острая и уничтожающая, все сильнее завладевала его сердцем.

Учитель же говорил дальше: «Ты из последних последних, Юрали, из преступников преступнейший, ибо и преступники знают любовь, но любовь эта у них едина; ты же расколол сердце свое на куски, ты расточил любовь свою».

И о суровых уставах монастырских говорил он.

«Кто хочет быть свободным и справедливым, должен выжечь из души своей любовь. Отец и мать, невеста и сестра должны быть равны в сердце его с другими людьми, друзьями и оскорбителями, спутниками и встретившимися впервые. Беспристрастно должен сказать освободившийся: виновен или прав. Только суровая справедливость должна владеть помыслами его».

И, говоря это, чувствовал монах, как растет и крепнет в сердце его любовь к тихому и покорному Юрали. И после суровых слов своих долгие ночи проводил он в покаянии, бичуя себя; и не мог вытравить великой нежности из сердца своего.

25

Юрали же не замечал борьбы, которая была в душе монаха. Тяжелыми усилиями хотел он добиться понимания закона единой добродетели — справедливости.

Наконец показалось ему, что сможет он бесстрастно и мудро, подобно учителю, нести в мир справедливость.

И когда поведал он об этом монаху, вывел тот его к просителям. В широком дворе монастырском собирались часто люди, обвиняя или ища защиты.

И должен был Юрали в этот раз по приказанию монаха быть им судьей.

Когда появились на крыльце монах и Юрали, выступил вперед богатый купец, прибывший издалека, чтобы найти справедливость в монастыре; а за ним шла дочь его, неся ребенка на руках.

И так сказал купец: «Много поколений славился род наш добродетелью. Женщины наши до замужества не смели поднять взора на мужчину; а выйдя замуж, становилось покорными слугами мужей своих. Ясной и безбурной бывала жизнь их. Но позор пал теперь на мою голову; дочь моя принесла его в дом мой. Ты видишь, на руках ее ребенок; но не знаем мы, кто отец его. Рассуди

меня по закону справедливому и мудрому, как поступить мне с нею».

А Юрали, сердцем которого уже овладела великая жалость и любовь к девушке, стоящей перед ним и покорно ждущей приговора, старался вспомнить учение монаха и быть безжалостным и справедливым.

«Да будет ребенок не на радость ей, — сказал он, — да будет он ей вечным напоминанием о позоре и грехе».

И склонились перед ним отец и дочь. Он же не в силах был продолжать, видя покорность словам своим жестоким. Тогда дотронулся монах до руки его, чтобы напомнить о долге судьи карающего.

Но Юрали, покорившийся жалости своей и любви, так кончил суд свой: «Женщина, я вижу, что не в силах нести ты подвига своего искупающего. Властью, вам неизвестной, говорю я: отныне свободна ты от греха; иди с миром в дом отца своего».

И к купцу обратился он: «Пусть исчезнет и из твоего сердца память о позоре; знай, что с этой минуты вновь чист дом твой; помни, что женщины вашего рода вновь и навеки добродетельны. Я, Юрали, по велению судьбы моей, беру на себя и грех, и память о нем».

И с этими словами подошел Юрали к женщине и взял из рук ее ребенка. «Ребенок этот теперь мой ребенок».

Когда же Юрали нагнулся к нему, то увидел, что тот умер.

Тогда, обращаясь к монаху — учителю своему, воскликнул Юрали: «Суровая тайна ваша убила жизнь. Где нет любви — жизни нет. Я говорил о забвении греха; теперь же скажу я: женщина, иди в дом отца своего и плачь о сыне, и помни о нем, и знай, что справедливость безжалостная отняла его у тебя. Помни, что смерть его — наказание роду вашему; ибо призваны люди любить и лелеять жизнь; ты же видела в жизни ребенка своего грех; отец твой считал тебя, жизнедательницу, — несущей позор. Идите, и когда все, живущие в доме вашем, поймут, что совершали они преступление, не радуясь новой жизни, когда не будет у них уже хватать слез, чтобы оплакивать умершего, — тогда только вернется вновь в дом ваш покой и мир».

И с этими словами ушел Юрали в келью свою.

26

Монах же, смятенный и потерявший путь свой, пришел к Юрали и молча встал перед ним.

Знал он, что по уставу монастырскому должен был он строго осудить поступок Юралин; но великая любовь за-

владела сердцем его, и не имел он силы исполнить свой долг.

Когда же Юрали поднял на него глаза свои, то впервые заметил эту любовь ответную во взоре учителя. И испугался он сначала. Потом же понял, что совершилось великое чудо, что привела его дорога к стенам монастырским для этого чуда: подобно воскрешению умершего было оно, ибо новую жизнь — жизнь любви и прощения — открыл он воину монастырскому.

Но молчал он, ибо видел, как борется с чувством своим монах.

Наконец, после нескольких дней безуспешной борьбы, пришел он к Юрали и сказал о любви своей. И обоим им стало ясно, что это навеки; но оба молчали. И просил монах, чтобы помог ему Юрали освободиться и стать вновь холодным и бесстрастным служителем суровой справедливости.

Когда же увидел он, что нет в мире силы, могущей исцелить его, то пошел к настоятелю монастырскому, чтобы тот отпустил его навеки в мир; недостойным братом почитал он себя.

И выслушал его исповедь настоятель, и закрылись за ним ворота монастырские. Так ушел он в мир, неся заповеди суровой справедливости, бесстрастной и холодной, в мыслях своих, и великую, единую до смерти любовь к Юрали, тихому ученику своему.

И ни Юрали, и никто из братии не знал, куда исчез суровый монах.

Тогда призвал настоятель к себе Юрали и сказал ему: «Уже много веков стоит монастырь наш; но ни разу не было среди братии его отступников. Но ты внес в стены монастыря отступничество. Сильнейшего и мудрого брата соблазнил ты; долгие годы был он подвижником суровым. С твоим же приходом овладела сердцем его любовь — позор для познавшего. И дабы не распространилась от тебя зараза далее, на других братьев, приказываю я тебе покинуть стены нашего монастыря».

И молча вышел от настоятеля Юрали; ни с кем не прощаясь, как отверженный и преступник, покинул он монастырь.

27

Казалось ему, что смерти обречена душа его, что, как немудрый мальчик, верил он в свою судьбу необычайную.

Ни владыкой и целителем, ни учеником покорным не мог он быть. В мир вела его дорога; и равным пахарям и рыбакам чувствовал он себя. О власти тоскуют они — и владыку ищут; о свободе мечтают — и ждут покорите-

ля. Таков и он, Юрали, прошедший через власть и послушание.

И тогда решил Юрали, что и его ждет где-то нива и плуг, ласковая жена и дети. И стал он искать судьбы человеческой.

И сложилась в душе его притча. Жил некогда садовод; с любовью взращивал он цветы свои; каждого нового побега ждал он, каждого листика распускающегося.

И однажды достал он семена неведомых цветов, о красоте которых только слышал. И посеял он семена эти на грядках своих.

Каждый день выходил он смотреть, не проросли ли они; но черными были гряды его.

Тогда, не в силах больше ждать, разрыл он в одном месте землю и увидал, что тонкие, белые стебельки проросли уже из семян. И снова стал ждать садовод.

Наконец показались из земли зеленые ростки; и только на том месте, где разрыл он грядку, осталась черная земля, потому что завяли им однажды обнаженные семена.

А нетерпеливому садоводу казалось, что слишком медленно двигались вверх стебли, и вновь стал он разрывать землю, чтобы посмотреть, как развиваются цветочные корни. Так каждый день перекапывал он часть своих грядок.

Когда же настало время цветам расцвести, только желтые, высохшие листья покрывали землю, ибо все семена убил садовод, желая видеть рост их.

Такова была сказка Юрали. И думал он, что подобна душа его неразумному садоводу, что пытал он судьбу свою и раньше часа назначенного стучался к ней в двери. И мертвой стала судьба его.

Ни сомнений, ни надежд не было в сердце Юралином. Казалось ему, что дорога его круто оборвалась у пропасти, что белым туманом покрыты высоты, что должен он, погубивший душу свою, идти к людям долин и искать судьбы человеческой.

28

А она, ему незримая, уже стерегла его.

Среди пахарей стал жить он, острым плугом взрывать землю, бросать золотые зерна в нее.

По вечерам же, утомленный долгим днем, делил он скудную пищу приютивших его. И наступала ночь; и без сновидений засыпал Юрали, ища во сне только отдыха, только силы к новому трудовому дню.

И там, среди вечной работы, встретил он ту, которая должна была стать женой его. Юной была она, но от ра-

боты были покрыты мозолями ее ладони; силой была равна она братьям своим. И долгое время, живя под одним кровом с Юрали, у тех же хозяев, не замечала она его, ибо были всегда ее мысли только о работе ежедневной или о коротких днях отдыха, которые казались ей великой радостью: громкие песни запевала она и подхватывали эти песни ее подруги; и начиналось веселие у них иногда вплоть до нового трудового дня.

Юрали же после первых слов с нею понял, что должно ему полюбить ее любовью земной; но не видела она, как Юрали присматривается к ней, как он уже решил судьбу ее.

И однажды, когда вместе жали они хлеб, сказал ей Юрали, что хочет назвать ее женой своей.

Она же знала, что с детства предназначена она войти в дом чужой и назвать его своим домом, и принять с любовью мужа, доселе чужого и, может быть, нелюбимого, ибо так поступила и мать ее, ибо так поступили сестры и сверстницы; и дочери ее поступят так же. Поэтому, выслушав слова Юралины, сразу согласилась она.

И совершилась судьба: как жену ввел он ее в свое жилище, только что для нее выстроенное им.

И, видя безмерную покорность ее, знал он, что не ему — обреченному и властительному — покоряется, а только мужу своему, Юрали, так же, как покорилась бы всякому, кого ей судьба мужем назначила бы.

И казалось ему, что наконец обрела покой душа его; что миновала его судьба грозная и обрекающая.

29

А когда кончилась жатва и наступили долгие осенние дни, узнал он, что с новым летним урожаем станет жена его матерью. И было это знание подтверждением ему, что верный путь избрал он.

С любовью стал ждать Юрали ребенка своего. И говорил он жене своей так: «Многие мудрые и сильные лепят себе крылья, чтобы подняться с пути земного. И не знают, что судьбою предназначен каждый земле, что путь земной — единый путь их. Я был одним из них и много раз собирался полететь. Не выполнив завета земли, иного завета искал. Но не несли меня крылья мои. Тогда взбирался я на высокие горы и на крыльях своих бросался в пропасти; и разбивались крылья, и долго запертво лежал я на дне. Так наказывала за измену меня родина.

Но наконец понял я, что не дана мне, земному, возможность полета. И к земле вернулся я, и тебя встретил.

И, видя путь твой земной, думал я, что вместе пойдем мы по нему. Но теперь понял я, что не могу стать к земле

столь близко, как ты, ибо несешь ты ее заветы; и знаю я, что так назначено, потому что ты женщина.

В свои темные недра принимает семя земля и покорно несет его; и выходят зеленые посевы, и колосится нива, — тихо лелеет земля все корни в глубинах своих. А летом, когда придут дни жатвы, покорно несет она муку от серпов отточенных. И падают долу дети ее — колосья желтые.

Так к осени остается вновь земля одинокой, вновь готовится к великому подвигу своему — подвигу жизнедательному.

Воистину подобна ты, женщина, земле. Так же, как и она, несешь ты семя жизни новой; так же, как и она, с покорностью принимаешь муку родов.

И знай, женщина, что только тобою приобщился я земле, только через ласку твою почувствовал ласку извечной родины».

Так говорил Юрали; но не внимала ему жена его, потому что все ее помыслы были в той новой жизни, которую носила она.

И тогда понял он, что хоть и велика ее покорность мужу, назначенному судьбою, но не последняя покорность это. Покорилась она навеки заветам земным и несет тяжесть их с любовью и без ропота; и муж-властитель только единая из тяжестей, которым служит она.

И показалась она тогда ему далекой и замкнутой в недоступной тайне. Но еще сильнее почувствовал он, что только ею к земле вернуться может.

Вновь настала весна; и с каждым днем сильнее ждал Юрали ребенка своего. Казалось ему, что им благословляет его земля и принимает в число сынов своих, простив долгое забвение.

И часто, идя по ниве, чувствовал Юрали, что будет подобен его ребенок каждому колосу желтому.

30

Настали наконец дни родов. Как о торжестве мучительном и великом думал о них Юрали.

И тянулись часы, и ждал он ребенка своего любовно и нетерпеливо. А жена кричала от боли, и казалось ему — изнемогает она.

Юрали же не ведал, что вновь стоит судьба у дверей, что новые испытания ему готовит: в миг, когда раздался крик детский, возвещающий о том, что новый человек вступил в жизнь, мертвой откинулась жена его на ложе.

Так дала ему земля скорбь великую и великую радость. И у изголовья умершей плакал он от горя своего и сме-

ялся от счастья, ибо еще не знал, что значит ее смерть, и видел в ней только утрату.

Когда же похоронил он жену свою, пришлось ему быть для ребенка не только отцом, но и матерью. И долгие ночи сидел он над ним, и баюкал его, и песни грустные и спокойные ему напевал.

Казалось ему, что у колыбели ребенка закончилась дорога его, что ни радости, ни печали его, Юралиной, больше не будет, а будет радость, и печаль, и дорога длинная его сына. И тогда думал он, что себя отдала ему земля, унеся от него жену.

А ребенок стал расти и грустной радостью переполнять сердце Юралино. Знал он, что приблизился к тайне, но не постиг ее.

31

Когда же три года исполнилось его сыну, вернулся он к смерти жены своей и понял.

Понял он, что вновь провещала в смерти этой судьба; понял он, что о тайне земли сказала она смертью.

Не вечная покорность была дана земле, а покорность минутная, ибо после нее наступает вечная смерть.

И несущая жизнь земля смерти причастна, а не жизни. Ибо нет смерти только там, где нет начала. Извечный покой ведет к бессмертию. Там же, где приходят желанья и вновь уходят, где страсть чередуется с бесстрашием, там наступает смерть. Семя любовно принимает земля и любовно несет его, но не во имя радости ожидания вечного, а во имя завершения, жизнедеятельства. И когда под серпами падают колосья, смерть принимает земля и ждет нового рождения.

Так думал Юрали.

И еще узнал он, что говорит ему земля о бессмертии вечном, которое над желаньем и достиженьем, ибо минуты они и смерти причастны.

Тогда увидел он, что только опоясывает землю дорога его и вновь в неизведанное уходит.

Пусть нежность и ласка его принадлежит матери зеленой, и жене, и невесте; будет вновь перекресток; расстанется душа его человеческая со спутницей своею, с землей родимой, как и с женой своей, тихой женщиной, пришедшей с нив земных, расстался он.

Тогда стал ждать Юрали новых знаков судьбы, стал искать дороги уже не земной.

И великая ясность осенила его душу. Понял он, что земля не только мать и невеста извечная, не только рождение, но и смерть. Смертью рождает она жизнь и рож-

дением смерти обрекает ее. Так обретает она новую жизнь, но жизнь, ограниченную годами короткими.

Так понял он знаки судьбы своей: мать зеленая сама на новый путь его посылает; жена желанная освобождает от дороги человеческой; и отрекается от него невеста, обручившись с извечным женихом своим — смертью.

Тогда, обездоленный, почувствовал он силу свою и, нищий, не мог измерить богатств своих. И сочетал горе потери с радостью освобождения.

И такое сказанье сложилось у него в сердце:

32

Некогда были все люди только детьми своей матери зеленой, только старшими сыновьями ее, нежными братьями зверю каждому и злаку. И как злакам, только однажды улыбалась им весна; только однажды лето колосистое наступало; и приходила вслед за жатвою к ним смерть, а к жизни призывались новые братья.

И поняли они, непричастные чуду и не ведающие, что короток круг жизни их и вечна жизнь сама.

И однажды, внимая торжественному пению солнца, наблюдая извечную дорогу его чудотворную, взалкали они о чуде и о вечности. Долго молили они солнце о лучах его жизнедательных; долгие годы продолжалось их терпеливое ожидание; и умирали прошедшие круг свой и расплывались в мире и в жизни его вечной. Тогда другие, младшие братья, молили о чуде.

И наконец пришел к ним вестник и сказал: «Услышана ваша мольба; отныне будут жить среди вас чудотворцы и жизнедатели; но знайте, что имя им — обреченные. Обречены они, ибо должны сочетать в сердце своем смерть и бессмертие, чудотворение и бессилие; обречены они, ибо среди вас, умирающих, будут они вечными; обречены они, ибо не поймут, что значит на языке вашем время. И будет им мать зеленая чужой и неласковой и братья родные неслышащими и слепыми. И будет радость их торжественна, и скорбь обречения торжественна будет. Но знайте, что судьба даст им силу и власть творить, потому что будут сильны они от рождения; первым их словом будет слово властительное. Вы же, молящие о чудотворчестве и вечности, не могли бы обречения вынести. Радуйтесь, что услышано ваше моление, и радуйтесь, что не вам дано чудо, а посланным и отмеченным обречением».

Так сказал вестник.

И вот пришли в мир и назвали землю матерью дети вечности и чудотворцы. И поклонились им братья их, и дали им имя учителей и пророков. Имя же их истинное было — обреченные. Когда же забывали они о призвании

своим, стуком в дверь напоминала им о нем судьба, и они выходили в путь.

И расточали они силу свою среди ищущих и просящих; и любовь свою делили между обездоленными и нищими. И уходила сила, и не было на любовь любви ответной. Когда же, усталые, искали они пути человеческого и простого, вновь стучала к ним судьба их обрекающая, и уходили они. И были они, дающие радость и освобождение, одиноки.

Так думал Юрали. И ведал он, что и его сердце обречено, что нет на земле крова, под которым может он обрести покой, что нет конца дороге его. И ведал он еще, что нет смерти для его души.

33

И, видя знаки судьбы своей обрекающей, видя, что даже мать земная на путь неземной ему указывает, решил он, что великие жертвы должен он принести, ибо только с кровью вырвет он память о родине из сердца.

В неизведанное должен уйти он, отрекшись от любимого и близкого. И как залог неумирающей любви своей к родине, как знак великой раны в сердце его, должен был он оставить земле своего ребенка.

Решив так, взял он за руку сына, запер дверь дома своего и отвел мальчика к родным его матери. И не оглядываясь на сына своего, вечным странником пошел он в путь. И не было у Юрали на душе ни радости, ни горя, — все сгорело в нем от жизни томительной и вечной. И хотел он только выполнить предназначенное.

Когда же в пути его обращались к нему с расспросами люди, молчал он и опускал взор свой, чтобы и по взору его не могли они догадаться, что перед ними обреченный. Тяжелого испытания ждал он, и только обновившись им, мог он вернуться в мир, к тем, кто нуждался в нем.

Так пришел Юрали в пустыню. И в первую же ночь приснился ему там сон.

34

Снилось ему, будто идет он, не зная пути своего, и уже ноги подкашиваются от усталости. А с неба спускается к нему плавно орел и говорит голосом человеческим: «Юрали усталый, на своих крыльях хочу я донести тебя к великому городу Гастогаю, к власти и славе». Юрали же молча идет дальше. Тогда падает к ногам его перо из крыла орлиного и вновь говорит орел: «Подыми это перо; и в час, когда ты его прижмешь к сердцу, прилечу я к тебе и дам невиданную власть». Но мимо идет молчаливый Юрали.

И встает на пути его ягненок с покорными глазами и говорит голосом человеческим: «Усталый Юрали, покорись; только в покорности найдешь ты покой». Но не внемлет Юрали. Тогда падает к ногам его веревка с шеи ягненка и вновь говорит ему ягненок: «В миг, когда прижмешь ты эту веревку к сердцу, явится к тебе учитель, и сможешь ты отречься от себя, и будешь ты, как дитя, как учитель перед знающим». Но дальше ведет дорога Юралина и молча проходит он.

Наконец, видит он женщину красоты великой. Неподвижно лежит женщина, и голова ее покоится на снопе колосьев зрелых. И с ласковой улыбкой простирает она к Юрали руки и говорит: «Здравствуй, сын мой возлюбленный, усталый Юрали; у меня обретешь ты покой, ибо недолгие пути даю я; все пути мои пресекает смерть — покой вечный».

Но видит Юрали, что далеко за ней извивами вьется путь его, и идет. Тогда подымается женщина и дает колос желтый ему и говорит: «В час томления последнего прижми этот колос к сердцу, и приду я; и дам тебе жизнь простую и ясную; и дам тебе легкую смерть».

Тогда бросил Юрали колос на землю; и исчезла женщина, и потемнело небо; а путь Юралин извечной чертой лежал вновь перед ним.

35

Когда же он проснулся, то понял, что отрекся от всего, что было в прошлой жизни у него.

И почувствовал он, что среди желтой пустыни затерял он сердце свое человеческое. И страшно стало ему.

И еще яснее узнал он, что в сердце обреченного тайно сочетаются бессилие и чудотворение, смерть и бессмертие; и что его сердцем сильнее всего владеет усталость.

И понял Юрали еще, что нужно ему освобождение. Свободным должно быть его сердце нежелающее.

И еще понял он, что соблюдал в тайне чистоту души своей, боясь греха, как осквернения, и чтил праведность свою.

Удаляясь от пройденного пути, должен был он удалиться и от праведности своей. С высоты, где вечный лед и холод, должен был он спуститься вниз и, окруженный искушениями, принять их, оставшись холодным и бесстрастным; разумом укорял себя за то, что соблазнился, а сердцем вольным знал, что чужды ему желанья и, значит, соблазны чужды.

Тогда отрекся он от пути обрекающего и от детской привязанности к матери своей земле; так предался он в руки судьбы.

А когда он подумал так, заметили глаза его, что приближается к нему толпа кочевников. И молча стал ждать их Юрали. Когда же были они уже совсем близко, вышла из среды их женщина с мертвым ребенком на руках и бросилась к Юралиным ногам.

«Ты чист душой и мудр, учитель, — сказала она. — Сердцем матери знаю я, что в твоей власти вернуть жизнь моему ребенку; возложи на него руки, и он воскреснет».

Но молчал Юрали. Тогда стала женщина умолять его, и протягивала к нему ребенка своего, и слезами орошала ноги Юралины.

Мучительная жалость посетила Юрали. Знал он, что права женщина, что единым словом вернет он ребенку жизнь. И была минута, когда хотел он уже протянуть руки свои и возложить их на умершего. Но вспомнил он недавние мысли свои и решил, отказавшись от пути обычного, не совершать чуда и тем от чудотворения избавиться. А дабы победить в сердце своем жалость и великую возможность помощи, грехом хотел он заменить обрекающую добродетель.

И так сказал он женщине: «Воистину узнала ты сердцем твоим, что пред тобою тот, кто может облегчить твою скорбь. Но узнай также, что отныне отрекся я от чудотворения, что теперь будут уходить от меня голодные ненасыщенными и просящие неудовлетворенными. Иди от меня со скорбью своей и не искушай моей судьбы».

И стала тогда называть его женщина жестоким; но не внимал ей Юрали. А вслед за женщиной стали просить все кочевники о чуде. Потом начали грозить они; но безмолвным оставалось сердце Юралино.

Тогда решили кочевники, что не имеет Юрали власти чудотворческой, и хотели уже отойти от него. Юрали же, желая завершить путь отречения и греха, остановил их, подошел к женщине и возложил руки на ребенка ее. И воскрес ребенок.

Прежде же, чем начала женщина благодарить его, вновь возложил он руки на ребенка и сказал: «Этим деянием своим отрекаюсь я от чуда и от любви, дабы свободно было сердце мое для ожидания судьбы обрекающей». И вновь мертвым был ребенок на руках у женщины.

Тогда пришли кочевники в великую ярость и в гнев своем начали побивать Юрали камнями. Он же не мог бежать от них.

Когда же они решили, что мертв он, то отошли от него.

А он, избитый и израненный, понял, что освободился от чудотворения и вечности и не по закону обреченности может вернуться к чуду, а лишь в конце длинного пути, когда не будут молить познавшие о чуде.

Так остался Юрали один в пустыне безводной и желтой. Много раз уже подымалось над головой его солнце; много раз мерещились ему деревья вдали; но когда направлял он к ним шаги, разлетались призраки дымом.

И уже с трудом шел он, ибо изнемогали ноги его от усталости, ибо мучительный голод и жажда томили его.

Тогда послышался ему голос: «Поклонись своей матери, земле зеленой; и прохладные родники потекут тебе из недр ее».

Но не внимал Юрали голосу искушающему.

Тогда вновь услышал он: «Припади к своей жене возлюбленной, земле зеленой; и колосья с желтыми зернами прорастут из недр ее».

Но вновь безмолвным оставался Юрали, ибо ведал, что к отречению от своей судьбы единственной приведет его слабость.

И шел он дальше, чувствуя, что изнемогает от голода томительного и жажды.

Когда же обессилел он совсем, спустился к нему голубь, неся в клюве хлеб и сочные плоды. И долго старался Юрали отворачиваться от птицы; а голубь кружился и сел наконец к нему на плечо.

Тогда взял его Юрали в руки и держал так в руках, полный страха и нерешительности. И была минута, когда хотел он уже взять из клюва голубиного пищу. Но понял он тотчас же, что этим навеки отречется он от дороги своей единственной, им и его судьбою созданной.

Тогда медленно стал он душить птицу и задушил ее. Хлеб же и плоды закопал в землю.

И почувствовал Юрали, что грех великий свободно выбрало сердце его.

А голод и жажда перестали его мучить.

Так впервые узнал он слово: грех; впервые совершила душа его преступление. Тогда узнал он, что душа обреченного бывала всегда чистой и святой; что для свободы великой и для завершения пути, предназначенного судьбою, должен был он совершить грех, но грех, избранный сердцем свободным.

А когда узнал это Юрали, увидел он, как над его головой погасло земное солнце, — мертвый красный шар плыл вместо солнца жизнедательного по небу. И земля мертвая распростерлась у ног его.

Тогда решил Юрали, что долгие годы надлежит провести ему в пустыне и что нет выхода из нее, ибо бесплод-

ной стала мертвая земля, и вымерли люди, и пожелтели на всех лугах стебли и листья.

Среди каменных желтых утесов выбрал он себе пещеру. Одинок был Юрали; изредка только подползали к жилищу его змеи и ящерицы; да пауки ткали над изголовьем его паутину.

Когда же приближались к нему звери — некогда любимые братья, — камнями отгонял он их.

Так стал Юрали пустынником, одиноко ищущим путей своих.

Казалось ему, что нету больше звуков земных, ибо ни птичьих песен, ни голоса человеческого не слышал он и нем был язык его. Часто под палящими лучами солнца стоял Юрали около пещеры долгими часами, так что видел он, как с движеньем солнечным медленно передвигалась тень его за ним. И, склонив голову, не думал он в это время и не рассуждал о пути своем, а только вглядывался в мир, некогда родной. И тогда казалось ему, что у любимой могилы стоит он.

И так долгие годы провел он в желтой пустыне; и долгие годы думал, что грехом освободил он душу свою от вечности, что подойдет к нему старость; и смерти ждал как искупления, как отдыха от длинного пути земного.

Когда же увидел он, что волосы его не седеют и не горбится спина, поняло сердце его, что от земли и ее заветов освободился он, совершив грех, ибо убил он одного из братьев своих, сына земного, и отвернулась от него зеленая мать.

Понял он, что грехом своим нарушил путь обреченного, ибо извечно была обреченная душа безгрешной; что убил он чудотворение в сердце своем.

И ясно видел Юрали, что обреченной по-новому остается душа его. Нет чуда в его сердце, но нет и земной смерти; есть дорога вечная, но есть и грех. И тайна эта казалась ему недоступной, ибо знал он, что первым грехом отдала себя душа его времени, а времени не чувствовал он.

Наконец, после долгих лет понял он тайну пути своего и испугался. Понял он, что и величайшее преступление, им совершенное, не будет грехом, что без нужды совершит он его, волей свободной выберет.

И еще узнал он, что свободно совершенный грех делает его навеки вольным и греху непричастным.

Так уверовав в бессмертие свое, увидел Юрали, что не может он и других лишить жизни, и не может, значит, греха совершить, ибо грех есть всегда умерщвление.

И тогда умерли желанья в сердце Юралином; а ему казалось, что сердце умерло.

И тогда посетила его новая ясность; он же думал, что вторым рождением земным родился он.

И тогда зазвенела пустыня, и властно простучала судьба в сердце Юрали, и упал он перед ней, освобожденный и покорный, с ненарушимой верой в долгий и великий путь, от века ему предназначенный.

Так просветилось его сердце. И настал в пустыне великий покой. Юрали же почувствовал, что каменеет он, что подобно острым скалам пустыни становится его тело.

И долгое время пребывал он так.

Когда же вновь поднялись глаза его, давно забытый призрак его посетил.

Показалось ему, что зазеленела пустыня безводная; что небо, только что бывшее пустым и серым, синим куполом вознеслось над ним. И ярко засияли косые лучи вечернего солнца, долго им невиданного.

И с трудом поднял Юрали голову, потому что чувствовал, как медленно каменеет он.

Когда же пристально всмотрелся он в даль, то увидел, что приближается к нему каменное стадо, ярко позлащенное солнцем.

И далеко, от края и до края земли, раскинулось стадо его. И всех узнал он, кого встречал в жизни, среди каменных чудовищ. И многих еще невиданных людей заметил он среди них.

Тогда понял он, что в эту минуту не осталось на земле ни единого человека; что все пришли к нему в изгнание, в желтую и безводную пустыню.

И хотел встать Юрали, и не мог.

Тогда внезапно нарушилось безмолвие, и громкую песню запело солнце, и звонкие птичьи щебетанья раздались, и зашуршали прорастающие травы, и невидимые звери земные стали вновь говорить понятным языком.

А стадо чудовищ каменных с выщербленными спинами низко склонилось перед Юрали.

И раздался голос, покрывающий голоса земные: «Отныне призван ты пасти все стадо земное; и имя пастве твоей — Юрали. Обреченным осталось сердце твое, но обреченным твоей судьбе единственной».

И камнем упал к ногам его мертвый орел с поднебесья; и зарезанный ягненок оказался у ног его; когда же он оглянулся, то увидел мертвую женщину, покоящуюся на снопе выветрившихся колосьев.

И громко возопила паства его: «Иди и веди нас, учитель; дай нам мудрость и ясность твою».

После этих слов сразу исчезло все. Вновь пустынные и бесплодные стояли скалы, да змеи грелись на солнце.

40

Юрали же понял, что повернула его дорога снова в мир; и с надеждой великой, с последним покоем и бесстрашием в сердце покинул он пустыню.

И когда через много дней пути приблизился он к приморскому городу Гастогаю, то не узнал его; и кораблей, стоявших у берега, не узнал.

В вечерний час вошел он в Гастогай. Миновав предместье, увидал он дворец, где некогда был правителем, и храм, увенчанный башней.

В темном проулке, который вел к морю, остановила его женщина и просила, чтобы он последовал за ней, обещая ему ночь свою.

И Юрали, который знал, что нельзя противиться судьбе, согласился за нею идти.

По пути же начала вести с ним беседу женщина и удивлялась суровым словам его, ибо все, кого она раньше встречала, отвечали ей шуткой на шутку и были веселы и ласковы.

Когда же проходили они мимо раскрытых дверей какого-то притона, ярко освещенного и шумного, впервые увидала ясно женщина лицо и одежду спутника своего. Тогда поняла она, что идет с нею суровый отшельник.

И она, вечно творящая любовь и радующаяся ей, сказала Юрали: «Посмотри на меня и ответь: есть ли желание в сердце твоём?»

И отрицательно ответил ей Юрали.

Женщина же, помня, что ведет она строгого пустытника, начала рассказывать ему о радости ночей своих и о радости той жизни, которую вела она. Когда же не было у нее больше слов, чтобы сделать речь свою еще более убедительной, вновь спросила она Юрали, хочет ли он приобщиться той жизни, которую вела она. И сказал ей Юрали: «У меня нет желаний в сердце».

Тогда замолчала женщина. Так вышли они к берегу морскому. И вновь спросила она Юрали: «Зачем же идешь ты со мной?»

Но на этот вопрос промолчал он.

Тогда стала говорить ему женщина, что только презренным может она объяснить себе деяние его. Строгий отшельник, лелеющий и любящий только добродетель свою, пришел он, чтобы глумиться над нею, ибо грешна она; пришел он, чтобы еще раз убедиться в белизне одежд своих, ибо в грязи она, ибо низко пала она.

Но ответил ей Юрали: «Женщина, жизнь твоя дает тебе радость; грех же ведет к отчаянью. Итак, нет грешных желаний в сердце твоём. Как же могу презирать я чистое сердце?»

Но не поверила ему женщина и стала упрекать его еще больше в гордости, ибо даже презренье недостойна она по его мнению.

Когда же Юрали несколько раз повторил ей, что чиста она перед лицом его, потребовала она, чтобы деяниями доказал он ей это.

«Упади до меня, — говорила она, — не отворачивайся от греха моего, ибо совершишь ты его, не имея грешных желаний. Если же не согласишься ты исполнить то, что прошу, то буду знать я, что слова твои лживы».

И ласково улыбнулся ей Юрали и сказал: «Да будет по воле твоей. Если тебе будет радостно от моей близости или от знания, что я равен тебе, то я пойду с тобой. Только помни, что презираешь ты себя больше, чем я».

И с этими словами взял он женщину за руку, и повела она его по темным переулкам к себе.

А на душе у Юрали было так же тихо и ясно, ибо знал он, что бессилен грех перед судьбою обрекающей.

41

В ранний же утренний час привела его женщина в притон, где пили и веселились гуляки с подругами ее. И удивленно смотрели юноши и девушки веселившиеся на строгое лицо Юралино; и смеялись над запыленной его одеждой.

«Если ты мудрец, — говорили они, — то не можешь знать радости. Вот мы пьяны и нам весело; может быть, многих из нас ждет дома невеста или жена; может быть, многие оставлены возлюбленными. Мы же смеемся; мы говорим друг другу слова любви, и нам весело. Будь с нами, пустынный».

И снова пили они, и переходили из притона в притон. И пил с ними Юрали.

Многие же из них уже плакали пьяными слезами и жизнь свою ежедневную проклинали. Потом вновь начинали смеяться и обнимали спутниц своих.

И пели они песни: о любви минутной говорили песни эти. И тогда хохотали женщины и объявляли, что от ночи и до новой ночи тянутся часы сна, что вся жизнь их любви минутной предана. И кричали они так: «Сердце развеяно! Душа умерла! Слава любви!»

Юрали же молчал.

Тогда стали они просить его, чтобы разделил он веселье их, чтобы сказал им хоть несколько ласковых слов.

Он же притчу им, пьяным, сказал.

«О сердце растраченном и о душе уснувшей буду говорить я. Подобна душа человеческая ядру; человек же скорлупе ореховой подобен. Однажды решил мудрый садовод вырастить ореховую рощу; и много орехов посадил он в землю и стал ждать роста их.

Но мимо проходило стадо; и копытами своими разрыл бык в одном месте мягкую землю; и многие орехи обнажились. И пошли дожди; и морозом сковалась земля; а орехи лежали, открытые ветру. И тогда сказали они: „Нет у нас ядра; мертва наша сердцевина“. Потом пришли дети и стали играть ими. Тогда обрадовались откопанные орехи и закричали: „Слава любви! Слава жизни!“

Другие же орехи, оставшиеся под землей, начали расти. Но у одних из них была тонкая скорлупа, и быстро пробили ее молодые побеги; другие же были как броней непроницаемой закованы и не могли прорасти поэтому. Но все славил жизнь по-своему. Первые говорили: „Слава жизни; слава небу синему и черной земле“. А вторые говорили: „Разве есть что-нибудь за нашей скорлупой? Слава нашему миру, темному и тесному“.

Тогда вновь пришел мудрый садовод, отнял у детей выкопанные орехи, зарыл их в землю и часто стал поливать насаждение свое.

Когда же пришло время — проросли все орехи и зеленым молодняком покрылась земля».

Так кончил Юрали.

А пьяные слушали его внимательно, и казалось им, что еще никогда так властно и громко не звучали слова человеческие.

И спросила одна из женщин его: «Странник, что значит твоя притча?»

Юрали же ей ответил: «Все вы пели: сердце развеяно, душа умерла. А я знал, что уже близится к вам садовод, чтобы вновь предать вас земле; и что скоро прорастут зеленые стебли из оболочки вашей».

И когда он сказал это, молча встали все.

Он же продолжал: «Призываю вас. Ныне впервые увидите вы небо, увидите мир земной; ныне впервые покинете вы оболочку свою, и сгниет она. Кто может, пусть идет за мной».

Тогда вышла из среды их та женщина, с которой провел он предшествующую ночь, и сказала: «Я хотела бы, но я не могу».

Но еще раз позвал ее Юрали.

И юноша подошел к нему и спросил так: «О любви ли ты говоришь или о смерти?»

И ответил Юрали: «О ясности и покое».

После этих слов вышли они втроем, и знал Юрали, что навеки принадлежат ему первые ученики его. Они же чувствовали, как упадет с сердец их оболочка за оболочкой и как тянется душа из-под покрова земного на волю.

Те же, кто остался, хотели вновь славить жизнь свою. Но знал Юрали, что еще не пробил их час и что не могут они пока жизнь по-иному славить.

43

Юрали же и спутники его вышли из Гастогая.

И быстро подошел к ним человек, испуганный и растерянный, и сказал так:

«Я убил и ограбил встретившегося путника. Золото взял у него. Теперь настигает меня погоня. Если есть в сердцах ваших жалость, то спасите меня, — скажите, что вместе вышли мы из города. И тогда погоня пройдет мимо».

И Юрали согласился. Так встретили они погоню и миновали ее. А разбойник не ушел от них.

После нескольких дней пути заметил Юрали, что тайная тоска мучит его. И спросил он у него, какая причина ей. Тогда рассказал ему разбойник о своей жизни.

Много убийств совершил он; много золота прошло через руки его. Но каждый раз вслед за радостью о полученном начинала мучить его тоска. Так, уже давно терзают его стоны умирающих. И тогда, чтобы не слышать их, новые убийства совершает он, но не может душа его никогда освободиться.

Однажды решил он, что искупить надо совершенные грехи. Тогда отдал он все награбленное нищим; но и это не помогло: по-прежнему продолжала тоска его терзать, по-прежнему мучили по ночам стоны убитых.

И теперь знает он, что нет на земле силы, которая может его исцелить.

Так говорил он о преступлениях своих, как о рабстве.

Юрали же молча слушал его и только раз сказал: «Вольна душа твоя».

Тогда на следующий день вновь приступил к нему убийца со словами: «Зачем сказал ты мне, что душа моя вольна? Слова такие может говорить только тот, кто обладает властью освобождать. Я поверил тебе; но наступила ночь, и вновь призраки мною убитых стали меня мучить, вновь узнал я, что вечен мой плен. Лучше было бы, если бы не слышал я твоих слов о свободе».

И взял его Юрали за руку и такую речь повел:

«Неразумный и неведающий, разве не знаешь ты, что, и не имея награбленного золота, не умер бы ты с голоду? Разве не вольным сердцем выбрал ты путь греха?»

И помолчав, ответил ему убийца, что истинны слова его.

Тогда стал говорить Юрали о том, что каждый шаг человеческого предназначен судьбою; но может всякий отречься от того, что свободно выбрала его душа. «Ибо, — говорил Юрали, — как тяжелую ношу нес ты преступления свои и они же карали тебя. Но говорю я тебе: вольным сердцем избрал ты этот путь. И когда исполнишь ты предначертанное, когда каждое убийство острым ножом пронзит твою душу, тогда знай, что завершён твой круг, что исполнилась мера мук твоих и радостей. Тогда знай, что круто оборвалась твоя дорога и что выбор новых путей в твоих руках».

Но не верил преступник Юралиным словам и только знал, что после этих слов свободна душа его от желаний, ибо открылась ему истинная цена достижения желаемых благ.

Когда же он сказал об этом Юрали, то возрадовался тот и воскликнул: «Знай, что нет греха там, где нет желаний!»

И последними этими словами очистилась наконец душа преступника; и радостно отошел он от Юрали, чтобы предаться новой своей, еще неведомой судьбе.

44

Спутники же Юралины молча внимали всему совершившемуся. Тогда стал говорить Юрали им о путях человеческих, выбираемых свободным сердцем, и о том, что только без желаний выбранный путь совпадает с путем, судьбою предназначенным. И о грехах и искушении говорил он.

Когда же проходили они мимо селений, случайно встретившиеся провожали их, чтобы послушать слова Юралины.

И вот подошел к Юрали один юноша и стал просить его, чтобы тот рассудил одно его деяние.

Был он слугою богатого купца; и однажды взял его господин вместе с другим слугою своим, чтобы сопутствовать каравану, везшему в дальний город товар.

Когда все уже было распродано и возвращался купец домой с большими барышами, стал убеждать юношу товарищ его убить купца и поделить между собой барыши. Но он отказался. И много раз вновь приступал к нему неверный слуга, желая склонить к преступлению.

Однажды в пустыне безводной и голой, после того, как помогал юноша хозяину своему сосчитать выручку и был совсем ослеплен золотом, отправил купец слуг своих на охоту, так как вышел весь запас пищи.

А во время охоты вновь стал убеждать юношу товарищ и соблазнять золотом виденным, и рассказывал о том, что можно будет на это золото приобрести.

Когда же почувствовал юноша, что склоняется сердце его к преступлению, то решил он, дабы избежать искушения и не лишит жизни хозяина, всегда к нему добро-го, освободиться от искушающего.

И в пустыне убил он спутника своего; когда же вернулся к хозяину, то сказал, что растерзали его дикие звери.

И так рассудил его Юрали: «Не о поступках могу судить я, а о желаниях, которые их создавали. Ты, юноша, боролся с искушением, — благо будет тебе за желание преодолеть его. Но ты убил искушающего, и это значит, что бесплодна была борьба твоя, что поддался ты искушению. И если в мыслях своих мог бы ты убить соблазн, то не нужно было бы тебе в действительности убивать соблазнителя. Ты убил его потому, что желанья твои подчинились его желаньям. А раз совпадали желанья ваши, то значит, ограбил и лишил ты жизни хозяина своего, потому что этого хотел соблазнитель».

И, оборачиваясь к другим своим слушателям, так продолжал Юрали: «Запомните навсегда, что не тот преступник, кто совершает грех, — ибо грех может быть иногда без грешных желаний совершен, — а тот, кто имеет желанья эти в сердце своем. И не тот победил соблазн, кто уничтожил его, а тот, кто сумел заставить себя не замечать соблазна. Знайте, что руки могут быть в крови и грязи, а душа чиста; и что чистые руки не могут еще быть доказательством чистоты душевной».

И многие не поняли слов Юралиных. Другие же, понявшие его, стали вспоминать свои деяния и думы; и многие, считавшие себя преступниками, почувствовали, как обелилась душа их словами Юралиными; другие же неожиданно открыли в сердцах своих преступления, не совершенные, но великие.

45

Так, поучая и творя суд, пришел наконец Юрали с учениками своими к городу, которого он никогда еще не видел. Начиная с предместий была заметна небывалая суета на улицах. Чем дальше шли они, тем сильнее рос шум и крики становились все громче. Юрали спросил мимо бегущих граждан о причине волнения, и узнал, что город охвачен восстанием.

Когда же он со спутниками своими приблизился к главной площади города, то великая толпа уже не по-

зволюла им двигаться дальше. С трудом пробрались они к дворцу правителя.

Окруженный вожаками восстания стоял правитель на высокой лестнице и пробовал защищать поступки свои от обвинений толпы. И уже носилось по рядам тихим шепотом: «Смерть ему».

Но никто не хотел громко сказать этого слова, потому что всем было ясно, что сказавший так будет палачом: вслед за словом, громко произнесенным, бросится толпа на правителя и убьет его.

И узнал Юрали из речей окружавших его, что не ведал правитель единого закона властительного — милости; что, будучи жестоким, боялся он возмездий, боялся даже тех, кто оставался ему верен.

Уже долго стояла толпа и не могла сказать последнего слова, ибо не может обиженный судить обидчика.

И ждали все они человека, который не имел бы в сердце обиды на правителя, но мог бы мудро и справедливо судить его без ненависти и боязни.

Наконец один из вожаков, бывших рядом с правителем, узнал по одежде, что чужестранец Юрали, и просил его выйти, чтобы бесстрастно и справедливо сказать последнее слово.

46

И вышел Юрали, и сразу замолкла многоголосая толпа, ибо сразу поверила ему.

А он начал говорить: «К смерти хотите вы присудить человека, перед которым недавно склоняли головы. Если вы были покорны ему, то не ненависть к власти в ваших сердцах, а ненависть к тому, кто нес эту власть. И воистину правы вы, ибо не достоин власти тот, кого не любят, как владыку своего. Но не надо присуждать его к смерти, ибо каждому человеку указаны пути его, и вся вина вашего правителя в том, что не понял он своей судьбы, дорогу чужую избрал. И ваша вина, что поверили вы в него. Верните его предназначенному пути и отпустите с миром. За власть украденную властью же и наказан он».

И когда замолк Юрали, поняли все, что им безразлична судьба дальнейшая правителя их, что страха к нему нет ни в чьем сердце; и отпустили они его.

А перед Юрали низко склонились, ибо думали, что дала им судьба владыку мудрого и справедливого.

Но отрекся Юрали перед ними от пути властительного и такую речь повел им: «Знаю я, что каждому из вас его дорога единственная предназначена. И вот говорю я вам об этом, и отныне навеки запомните слова мои.

Когда почувствуют ваши сердца, что искать этот единственный путь свой надо, не сможете вы принять владыку. Те дела и проступки, за которые судил он вас, дела ежедневные; вы же уже чувствуете после слов моих, что не будет день ваш похож на минувший день и день грядущий будет разниться от сегодняшнего. Так и преступлений совершенных больше не повторит ваша душа; и значит, не нуждается вы в каре.

Только знайте отныне, что долог путь ваш, только сможете полюбить его безраздельно и навеки».

Так кончил Юрали и хотел уже удалиться, но не пускала его толпа из города, и громко приветствовала, и бросала ему под ноги одежды свои и цветы.

47

Когда же после большого труда удалось ему покинуть стены города, многие из граждан продолжали следовать за ним, обращаясь с вопросами и прося точно разъяснить, что назвал он путем души человеческой.

Тогда остановился Юрали на вершине холма придорожного и стал беседовать с ними.

«С детства видит человек, что пути его от судьбы предначинаны. Но начинается жизнь его зрелая, и о случае говорит он. Тогда предается он в руки старшего, в руки владыки, свободно выбранного им, и думает, что власть чужая сделает шаги его не случайными, к тайной цели поведет его; владыка же названный сильнейшего ищет, ибо душу его терзает не только случайность его единственного пути, но и случайности в путях его паствы. И так тоскует каждый владыка земной о рабстве и покорности.

Я же пришел сказать вам: нет случая. Как зерно не случайно вырастает, как стебель не случайно выкидывает колос свой, так же не случайна дорога человека.

Всеми вами властно правит судьба. И не бойтесь прямо заглянуть ей в глаза, ибо не обманет она вас, ибо даст она вам знание великое — знание каждого дальнейшего шага. Но помните и знайте, что судьба каждого — его судьба единственная. Великий путь лежит перед каждой душой человеческой, и не властен никто изменить его, — властен только отсрочить.

И вот о пути этом хотел я поведать вам».

48

Тогда подошел к Юрали юноша из толпы и сказал: «Учитель мудрый, о своей единственной судьбе хотел я спросить тебя. Сердцем своим давно знаю я то, о чем говорил ты; но найти дороги не могу, ибо слепы глаза мои и уши не слышат. Вот уже несколько лет прошло юности

моей; и все, смотря на меня, радуются, ибо все, что может желать человек, есть у меня. Только я один на судьбу свою не радуюсь. Каждый раз, когда посещает любовь меня, жалость мучительная посещает мое сердце. И жалость эта убивает любовь. Сначала я не понимал, что значит эта жалость. Теперь же знаю, что тайным знаком отмечает она путь мой единственный, но все же не ведаю, каков этот путь. Научи меня, ибо зорко зрение твое и чуток слух».

И положил ему Юрали руки на плечи, и спросил: «Юноша, а себя не жалеешь ли ты так же мучительно, как и других?»

Юноша же, подумав, сказал: «Нет».

Тогда ласково улыбнулся ему Юрали.

«Прав ты, юноша, видя в жалости своей мучительной тайный знак пути своего. Но знай только, что о муке нестерпимой говорит твоя жалость. Нигде не найдешь ты человека, который тебя за тебя самого любить будет; всякий полюбит жалость твою. И твое сердце тоже любви не узнает, ибо любя, будешь ты жалость свою любить.

Так будет, если станешь искать ты любви земной и безжалостной; потому что этим только отсрочишь ты путь, от судьбы тебе предназначенный.

Я говорю тебе: иди. Иди к тем, кто любовью не тронет сердца твоего, иди к отверженным и не знающим путей своих. Приди и скажи: я владыка ваш. И они поверят тебе, и их грех понесешь ты; и тогда наполнится до края сердце твое и увидишь ты, как дальше поведет твоя дорога.

Но пока ты молод и не знаешь сердец человеческих, за собой зову тебя я».

И последовал юноша за Юрали.

Перед тем же, как покинуть толпу, еще раз сказал Юрали, что ждет каждого великий и трудный путь судьбы его.

49

Через несколько дней пути пришел Юрали со спутниками своими к стенам монастырским. Много народу собралось в эти дни в монастыре. В стране той свирепствовал мор, и не было семьи, в которой не погиб бы кто-нибудь.

Поэтому и стояла большая толпа в монастырском дворе: одни пришли просить чудотворцев-монахов об исцелении братьев и детей своих, оставшихся дома; большинство же молило облегчить души их от ужаса смерти и тяжести жизни, ставшей одинокой и пустой после утраты близких.

И часто приезжали гонцы и вестники, чтобы сообщить, что напрасно молят люди об исцелении: умер уже больной.

Но многим даровывали чудотворцы исцеление, и тогда, обрадованные, шли получившие дар этот по домам, чтобы обнять исцеленных.

Когда Юрали и спутники его вошли за монастырскую ограду, увидели они монаха, стоящего на крыльце кельи своей, и толпу, с мольбой распростершуюся перед ним. Монах же стоял неподвижно, и видимо сомневалось сердце его.

Юрали прислушался к мольбам.

«Если мы вернемся в дома наши, — говорила женщина, стоящая около Юрали, — то вновь увидим умерших детей. Сердца наши измучены».

А в другом месте старик протягивал монаху руки со словами: «Ты, исцеляющий больных и дающий жизнь мертвым, отчего не хочешь ты исцелить и воскресить души наши? Мы больны смертью чужой, мы мертвы чужим умиранием».

И со всех сторон тянулись люди к монаху и просили его о чуде. Все кричали: «Мы устали от тяжести пути нашего земного! Если ты воистину чудотворец, сними эту тяжесть с плеч наших, сделай нас свободными».

Но молчал монах.

Наконец, после долгих стенаний и просьб, он сказал им: «Во власти моей дать вам то, о чем просите, снять тяжесть с плеч ваших. Но не знаю, по какой причине сомневаюсь я. Лучше просите меня об исцелении других ваших недугов; лучше о чуде, ежедневно совершаемом, просите».

Но толпа отвечала: «Пусть мы будем голодны и бездомны; пусть тяжелые недуги мучат нас; дай нам только свободу от тяжести извечной. Входя в мир, от юности еще поднимаем мы тяжелую ношу, и до смерти давит она наши спины. Дай нам радость и свободу».

Тогда решил монах исполнить просьбу их. Уже простер он руки над толпой, уже готов был произнести слова простые и чудотворные, — но подошел к нему Юрали и остановил его.

50

Потом обернулся Юрали к толпе и начал говорить ей. «Прежде всего узнайте, люди, что тяжесть ваша чудом не уничтожится; а упадет бременем на плечи чудотворца».

Тогда возопила толпа: «Он силен; он может поднять то, что нам не по силам».

А Юрали продолжал: «Все пути земные смерть пресекает. Узнайте, что за воротами смерти встретит вас привратник и поведет к суду мудрому и нелицеприятному. И подымет судья весы справедливости, и упадут на одну чашу весов прегрешения ваши, а на другую — ваша добродетель. Пусть каждый вспомнит жизнь свою и ответит, какая чаша перетянет».

И молча стояла толпа.

«На лицах ваших вижу ответ, — продолжал Юрали. — Но слушайте, в последний час, когда ни одного оправданного не будет, встанет перед судьей некто и попросит он судью, чтобы тот разрешил бросить на чашу добродетели тяжесть земного пути.

И говорю я вам: высоко взвѣется чаша греха и низко опустится чаша добродетели, отягченная ношей тяжелой каждого дня. И грех ваш, тяжесть вашего греха будет перед лицом судьи великим подвигом.

Теперь, когда вы знаете о суде последнем, если хотите, — просите о чуде, и будет оно дано вам; грешите безбольно и пользуйтесь без сомнений плодами грехов своих; но знайте, что настанет час последний и тогда не будет ни чуда, ни милосердия; а только одна суровая справедливость.

Говорю я вам: любите тяжесть своего пути, любите ношу невыносимую грехов ваших.

Пусть будет радость ваша горькой; пусть мука ваша будет неисчислимой. Как великий дар примите муку эту и радость горькую».

Так кончил Юрали. И сурово глядела на него толпа, ибо был он вестником судьбы их неумолимой. Но склонились перед ним все, и все приняли трудный путь подвига для радости горькой.

И в спокойствии ненарушимом стали люди расходиться, каждый ведая, что сможет без страха заглянуть в лицо судьбы своей.

Многие же не ушли из двора монастырского, желая следовать за Юрали всю свою жизнь, дабы, внимая его словам, легче могли отречься души их от счастья и греха во имя радости минутной и горькой.

51

А когда спустилась ночь и остался на дворе только Юрали со спутниками своими, приступил к нему один из учеников его и спросил: «Учитель, кто ты? Как власть имущий говоришь ты — и от власти отказываешься; слова твои подобны словам чудотворца, но от чуда отрекаешься ты. Кто ты, учитель?»

Е. КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА

СКИФСКИЕ ЧЕРЕПКИ



ЦЕХЪ
ПОУТОВЪ

Книга стихов «Скифские черепки».
Обложка Сергея Городецкого.
Санкт-Петербург. 1912

Е. КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА



РУФЬ



И С Х О А Ж
Б В С Т Н И К И
К О Й Н А
О Б Р Е Ч Е Н Н О С Т Ъ
П Р О З Р Ъ Н Ї Е
И С К У П И Т Е Л Ъ
С П У Т Н И К И
П Р Е О Б Р А Ж Е Н Н А А
З Е М Л А
П О С Л Ъ А Н Т Е
Д Н И

1915.

Книга стихов «Руфь». Обложка
Елизаветы Кузьминой-Караваевой.
Петроград. 1915



Вечернее время

НОВОЕ ВРЕМЯ

52

НОВОЕ ВРЕМЯ

ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

САВВА

ПЕТРОВЪ

ПОРЯДОК

У редакций газет «Вечернее время» и «Новое время» на Невском проспекте в первые дни войны с Германией. Петроград. Август 1914 года



В. Серов.
Портрет Тамары Карсавиной.
Фрагмент. 1909



ПОДВАЛЪБРОДЯЧЕЙ
СОБАКИ
МИХАЙЛОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 5.

М. Добужинский. Эмблема известного
петербургского кафе. 1912



П. Митурич. Портрет Осипа Мандельштама. 1915



Вера Комиссаржевская
в пьесе М. Горького
«Дети солнца»
в Новом драматическом театре.
Санкт-Петербург,
Офицерская ул., д. 39.
После 1905 года



Манифестация раненых к Государственной думе. Петроград. 1916





Елизавета Кузьмина-Караваева. Силуэтный рисунок. Фрагмент. 1917.

Мне хотелось бы, чтобы мир был, Юрале
и Руоки отдалась Кемь и подала
многом африканской культуре, но и русские
Е. КУЗЬМИНА-КАРАБАЕВА. Реплика, — запись
Университетской библиотеки.

Иль

37.65.6.56a

ЮРАЛИИ.

Тогда сел Юрали на ступенях лестницы монастырской, и окружили его тесным кольцом ученики его. И так сказал он о себе:

«Я — только один из вас, ибо каждый из вас и чудотворец и властелин; я — только один из вас, ибо все вы, подобно мне, бессильны и нищи. И мое имя — Юрали — тайно, и ваше имя перед лицом судьбы».

Тогда вновь спросил его ученик: «Но как же это может быть? Тебя мы называем мудрым и учителем; ты же говоришь, что равен нам, неведающим ученикам своим».

И ответил ему Юрали: «Воистину равен я вам; но разнствует дорога наша. Судьба заставила меня заглянуть в глаза свои, и понял я мой путь; судьба властно вела меня, и забыл я, что значит желанье и воля, ибо в руки ее предалась душа моя».

Если же хотите еще точнее знать, кто я, — то имя мое — обреченный. Не бойтесь этого слова и не жалеите, ибо достоин жалости только желающий, ибо страшно только то, что можно отвратить. Моя же душа не имеет желаний, и с дороги своей не властен свернуть я. И радуйтесь обо мне, ибо к великой радости пришел я; радуйтесь обо мне, ибо путник вечный — имя мое. Сердца моего не победит жизнь и смерть не победит; тела моего не скует усталость и не измучит жажда; труден и прост путь обреченного. Если же не поняли вы сказанного, то еще скажу вам: о великом покое слова мои».

Тогда начали ученики обсуждать слова его и просить, чтобы ясному пути научил он их.

И сказал Юрали: «Не о власти пекитесь и не о покорности. Но если будет сердце ваше свободно от желаний и мудро, то идите к людям желающим и не ведающим ясности и покоя. А если скажет вам человек, впервые встретившийся: покорись, — то с радостью отдайте ему волю вашу, оставаясь навеки свободными. Ибо и воля ясная так же лишает свободы, как и покорность, если держаться за нее и любить ее. Если же встретите вы человека, ищущего учителя и владыку, то скажите ему: „Я учитель твой, я владыка, судьбою тебе дарованный“, ибо знаете путь вы и тайну; беря же в руки свои волю чужую, чужую тяжесть берете; но не сломит тяжесть безмерная плеч того, кто познал. Итак, будьте свободными в судьбе своей, и даруйте накопленные богатства, и принимайте дары великие. Не только тот скуп, кто бережет достояние свое, но и тот, кто от дара отказывается».

Тогда отошли от него ученики и стали обсуждать непонятные слова его.

Не знали они, отчего и им тайное имя — Юрали; и не ведали, бессмертен ли учитель их или равен им и в смертном часе своем.

Но не могли они разрешить этого сами и вновь подошли к Юрали: «О вечном пути говоришь ты, учитель; поведай нам: придет ли смерть к тебе?»

И так ответил Юрали: «Смертный, я обречен на бессмертие; но дабы исполнился во мне круг жизни человеческой, смерть избираю я. Она же не будет властна надо мной».

Но не поняли ученики слов его.

Он же продолжал: «Знайте, что близится мой смертный час. Но не умру я, а только уйду от вас; и вновь приду, когда настанет время. Смерть я избрал, не имея желаний жизни и смерти в душе».

После этих слов перестали задавать ученики ему вопросы и только ведали, что великое делается.

Тогда встал Юрали, чтобы покинуть монастырь, и двинулись за ним все, полные страха и покорности перед лицом неведомой судьбы.

И было уже утро.

53

Люди же, накануне слышавшие слова Юралины, разнесли славу о нем по всем селениям своим. И вот навстречу ему шла большая толпа желающих услышать его.

Кроме того, был в эти дни в монастыре праздник, и со всех сторон стекались к нему паломники-чужестранцы.

И окружили люди Юрали, и просили научить их, поведать им свою тайну.

«Скоро придет мой час, и тогда расстанусь с вами, — сказал им Юрали. — Пока же о знании своем тайном хочу сказать вам. Но о многом умолчу, ибо будет открыто дальнейшее каждому в душе его. Теперь же о начале пути буду говорить я».

Тогда опустили люди на землю, и сел посреди их Юрали, чтобы в длинной беседе поведать им о себе и о вере своей.

54

«Раньше всего почувствуйте душу свою одинокой; но поймите, что одиночество не тоскует и не ждет. Одиночество — последний покой. В час, когда появится у вас при-

вязанность земная, знайте, что умерло ваше одиночество. Одинок тот, кто не имеет желаний.

Итак, будьте свободны от желаний; знайте, что путей судьбы нельзя изменить, а только отсрочить можно. И вас, нежелающих, поведет судьба.

Чутко слушайте голоса своей судьбы единственной. Каждый из вас — и великий воин, и мудрец, и пророк, если он внимлет голосу судьбы своей. Знайте, что каждого ждет обильная жатва и серп отточенный; и знайте, что только прямая дорога судьбы ведет к этой жатве. Но не отчаивайтесь, если желанье полонит ваше сердце и вы выберете окольный путь: не осыпятся колосья на ниве вашей и не сожнет их другой жнец, ибо вам эта жатва уготована, для вас созрели колосья.

Не бойтесь греха, но творите его, не имея грешных желаний в сердце. И помните, что каждый шаг ваш имеет возмездие. Знайте, что за победой идет тягота власти и за счастьем земным — смерть.

Любите тяжесть каждого пути единственного, ибо тяжесть радует. И под ношей непомерной, по крутым тропам дойдете вы до солнца, до последних высот.

Не любите ни близких своих, ни себя любовью земной, но чтите с благоговением как свой путь, так и путь самого отверженного и последнего из живущих.

Не ищите счастья, ибо нельзя найти несуществующего, но ищите радости.

Знайте, что радость бывает всегда минутной, мучительной и горькой, ибо следует за нею расплата и отвержение.

И, вкушая радость горькую, ведайте, что великий покой царит извечно на земле и на небе, в жизни и в смерти.

О покое и радости пекитесь.

Не думайте о смерти, ибо тот, кто поверит в нее, — умрет; тот же, кто в вечную жизнь уверует, будет бессмертен. Ваши же души еще слишком юны, чтобы и смерть и бессмертие вынести.

Знайте, что каждая душа обречена, и ищите тайного знака своего обречения.

Не жалейте ни себя, ни других, ибо все одинаково радуются радостью горькой.

Вот я скоро уйду от вас, ибо круг мой исполнился, ибо звонко прозвучали слова мои. Но ведайте, что в час, назначенный судьбою, снова вернусь я к вам, и ждите.

И никто не знает места, где снова прозвучат слова мои; и никто не узнает меня, ибо другое сердце будет биться жизнью моею.

Тот, кто поймет и примет слова мои, поймет и дальнейшее, о чем вам еще рано говорить. И возрадуется дух его, ибо о свободе, покое и радости слова мои.

Больше, чем в слова мои, верьте в себя».

Так кончил Юрали. И медленно стали расходиться люди, неся в сердцах семя великой и горькой радости.

55

И когда остался он с учениками своими, стал он им говорить, что заканчивается путь, предначертанный судьбою, что уведет в неизведанное иная дорога его.

Но несколько дней еще переходили они из селения в селение, из города в город. И везде говорил о знании своем тайном Юрали. И слушали люди, и радовались словам его, хотя многое оставалось им непонятным и неизвестным.

И однажды дал Юрали ученикам своим свиток, исписанный его рукою, говоря: «Когда приблизитесь к тайне, то ясными станут вам все слова мои. Для тех же, кто завершит путь мой, оставляю я ключ от ворот тайны. И сможет перешагнуть порог ее только тот, кто умертвит сердце свое для судьбы, вам еще неизвестной. Имя же ей — милость и торжественность. Другие же имена ее узнаете из свитка, который даю вам».

56

И пришел однажды Юрали с учениками своими к подножью высокой горы. И там начал он в последний раз говорить им.

«Вот уйду я от вас и знаю, что не оставляю печали в ваших сердцах. По земле рассеетесь вы; ко всем алчущим в дверь простучитесь; и радость великую им даруете. Вам оставляю я бремя радости моей горькой».

Но ведаю я, что и вы еще не знаете, куда ведет дорога тех, кто отрекся от счастья во имя радости. Не знаете вы до конца, что значит быть обреченным.

В час же, когда поймете вы тяжесть пути своего, новым светом засияет над вами солнце.

И в мир несете вы только часть тайны, ибо вся тайна надолго вместе со мною исчезнет.

И будете вы одиноки на путях ваших; но, дабы не было лжи между вами, еще один завет оставляю я вам.

Мною земля вам дарована: реки и моря ее, равнины и горы, звезды над нею и солнце, звери, и птицы, и рыбы, люди и помыслы их, травы и камни.

И будете вы говорить обо мне, и слова ваши будут громче голоса трубного, ибо и глухие услышат их.

Но бойтесь прибавить к тому, что узнали от меня, хоть единое слово, ибо оно будет ложью. Бойтесь создавать монастыри и верованья, ибо забудете вы тогда, что я — только один из вас и нельзя поклоняться имени моему. Если же любовь ваша ко мне требует знамений, то да будет единым знаменьем путь, по которому идете; ибо указать его приходил я.

Когда же исполнятся слова мои и нечего будет вам сказать, вернусь я и скажу о дальнейшем.

Итак, к людям идите и помните, что тайное имя ваше и всех, кто услышит вас, — Юрали».

57

И после этих слов сказал Юрали ученикам своим, чтобы не следовали они за ним; и пошел он в гору.

Они же долго следили, как идет он. Часто пропадал Юрали за уступами скал и вновь появлялся. Наконец мелькнул он перед ними в последний раз на вершине и исчез навеки.

И молча стояли они, желая еще раз увидеть его.

Когда же настала ночь, поняли они, что это был последний час учителя среди людей.

Утром же двинулись ученики по следам учителя, дабы узнать, как окончил он круг своей земной жизни.

Долго шли они, много гор миновали, ведомые следами ног его. Так пришли они к высокому песчаному плоскогорью, окруженному со всех сторон пропастью.

И четки были следы учителя на желтом песке. И была в час тот великая тишина, так что не пересыпался песок и не сглаживал следов Юралиных.

Так шли они долго и стали замечать, что следы, дотоле четкие, становятся все менее и менее заметными, будто с каждым шагом легче ступал Юрали.

С трудом уже стали они различать дорогу его.

И наконец исчезли следы совсем.

Тогда поняли ученики, что не умер, а только исчез Юрали, и исполнились слова его: смертный, обрел он бессмертие.

И не было в сердцах их печали об утрате, ибо великая торжественность спустилась к ним, и знали они, что только на время разлучился Юрали с землей.

РАВНИНА РУССКАЯ

(Хроника наших дней)

I

Петербург готовился к своей осенней ночи. Еще последним солнечным золотом сияли листья березы, еще клен багровел зорями утренними и осина пылала закатом, а дни становились короче. Холодные ветры с залива несли желтые клубы тумана, Нева начинала сесть и косматиться. А огни на улицах отражались уже столбиками в лужах на мостовых.

Кто не испытал тайной силы призрачного города? Разве не кажется всякому, кто раз попал в него, что из него возврата нет? Разве не хочет он каждому подменить Россию? Россия, мол, это Петербург, — а за ним болото финское, через которое дорог нет, в котором виднеются только чахлые осины да оливковые кочки.

Так островом и высятся призрачный город. И не знаешь, — может быть, его вовсе нет, а может быть, он — это все, вся Россия болотистая и пустынная.

Катя Темносердова жила в пятом этаже. Два окна ее комнаты выходили на залив. В вечернем закате среди тумана вырисовывались доки, черные краны подымались в небо, призрачной сеткой сквозили какие-то воздушные мосты, по вечерам мерцающие фонарями. Улица была внизу широкая и тихая; она упиралась в маленький канал. А по другую сторону тянулись заборы.

И в полдень, после позднего осеннего утра, в сером тумане неба неожиданно обозначался низко над доками мохнатый, но не светящий шар солнца. Так, — чтобы люди не забыли о солнце в долгие осенние дни.

Катя смотрела на красный шар, и ей казалось, что солнце, наверное, таким кажется рыбам, живущим в глубокой воде. И тогда она очень не любила Петербурга.

Каждый день она бывала на курсах. В коридорах пахло пылью. Неярко горел электрический свет, и торопливо сновали курсистки. В больших аудиториях было тесно и душно. Тоже пахло пылью. Катя любила вечерние занятия в семинариях — маленьких комнатах будто нежилой квартиры. Работала она много. Дома, забравшись с ногами в кресло, читала толстые немецкие книги и заполняла целые тетради конспектами.

Но эти годы, кроме знания предметов, читаемых на курсах, дали ей и другое знание, название которому она не могла подыскать. Впервые поняла она необъятную величину мира, необъятную величину равнины русской. И испугалась.

В осеннем тумане, давящем желтой рукой голову, и в белые ночи, когда все невозможное делается возможным и когда сказки, притворившись приличными людьми, гуляют по набережной и с Троицкого моста смотрят на невские волны, — услышала Катя надрывный голос, зовущий из просторов финских болот. С каждым годом голос этот звал ее все громче и громче.

Ей казалось часто, — в окраинных переулках, где дома из сосновых досок и березы за заборами, мелькает облик старой женщины, голосащей все время. Она видела, как ветер треплет седые космы. Но догнать ее нельзя. Кате чаще всего казалось, что женщина идет рядом с нею, шаркает босыми ногами по тротуару. А повернешь лицо — и нет никого.

Это совпало с тем, как Катя, пережив очередное увлечение науками, как ранее пластическими танцами, театром, религиозно-философским обществом, драмами и событиями личной жизни, — впервые оглянулась вокруг.

Она неожиданно поняла, что война гремит, и это значит — гибель. Она почуяла Россию не по Соловьеву, не по славянофилам, не по газетам или лекциям, а попросту — от края и до края распростертую на черной земле, неподвижную, одинокую, беспризорную под стужей и ветром. Раскинулась и лежит. И докричаться до нее нельзя, потому что все равно не услышит.

С тех пор Катя и старуху стала встречать в переулках.

Она приехала с юга; оторвалась от степей и воздуха ковылевого. И жителям петербургского тумана показалось, что среди них та, что дает. И потянулись к ней берущие.

Любили? Нет. Только слушали ее смех и радовались, что люди еще так смеяться умеют. А она волновалась чужими делами, хлопотала о чужих жизнях, большими глазами ловила новый мир, где каждое слово болит и где труден путь.

И только однажды в двузорную ночь весеннюю, высунувшись в окно и следя, как облако загорается солнечной кровью, поняла она, что все это ни к чему, что только чужажденные растения прилипали к ней при ее стремлении раствориться в жизни чужой.

Третья зима в Петербурге... Русская армия уже отступала... Люди чуткие слышали запах гари грядущих пожаров.

Кате казалось, что она поняла основную неправду своих первых петербургских зим: она была слишком жадна к жизни и слишком верила в свои силы. А для того, чтобы воистину хоть крохи человек мог дать человеку, надо чтобы дающий вошел в сердце жизни берущего,

чтобы чужая жизнь закружилась вокруг него, как вокруг оси своей. Это может сделать только любовь. Но в Катинной душе не было любви; может, был даже страх и ужас перед этим путем человеческим.

А грядущий огонь требовал уже, и внятен был его голос: надо выйти из жизни своей, из жизни отдельных людей; ни крошки не надо давать отдельному человеку; не надо вступать в сердце человеческое на место, обозначенное знаком любви.

В мире среди множества надо встать и в давании своем распылиться...

В первую зиму впервые встретила она друга. Его звали Андрей Викторович Голосков. Он был приват-доцент, читал лекции по истории средних веков. Но кроме своих средних веков он знал множество вещей: математику, умел составлять гороскопы, умел гравировать по дереву, играл на скрипке и бегал на лыжах.

Кате нравилось с ним бывать, потому что каждую ее случайную мысль он умел развить так, что она становилась значительной, интересной, а часто даже подкрепленной длинными, тяжеловесными цитатами на древнеславянском, латинском, греческом и немецком языках. И как-то подчеркнуто он воспринимал каждую Катину мысль, как нечто чрезвычайно важное, почти как откровение. Это было очень приятно и заставляло напряженно работать.

А кроме того, Катя чувствовала, что по-человечески он относится к ней, с какой-то нежной заботливостью.

Иногда только Катю смущало, что своих мыслей, острых и новых, у него как будто и нету, что все его слова являются дополнением или развитием ее слов, а часто пересказом авторитетных мнений. И тогда он казался ей могучим и чувствительным резонатором. Но во всяком случае с ним будились мысли и усыплялась тоска.

И теперь, приехав после лета в свою зеленую комнату, она в первый же день позвонила по телефону Андрею Викторовичу.

Его появления были почти через день.

Катя только что вернулась с курсов. Она простудилась немного, у нее болела голова и знобило. Укутавшись в теплый платок, она сидела в кресле и смотрела, как горит печка.

В передней звякнул звонок. Катя подумала, что это, наверное, Андрей Викторович, но не пошевелинулась. Вскоре он, слабо постучавшись, вошел.

Казалось, как бы Катя себя ни чувствовала, о чем бы ни думала, — он с первого взгляда поймет, о чем говорить надо или как помолчать. Так и сейчас: он, поздоровав-

шись, сел на корточки около топящейся печки и молча начал размешивать пылающие угли кочергой. Они сразу затрещали, и сноп красных звезд метнулся ввысь.

Катя, не отрываясь от огня, почему-то шепотом, сказала:

— Знаете, Андрей Викторович, я сейчас шла с курсов; и вдруг мне показалось, что я за первым углом какого-то пророка встречу. И будет он совсем не современный, — не в пиджаке, одним словом.

Голосков спокойно и размеренно, низким голосом и тоже шепотом ответил:

— Екатерина Павловна, да это же ясно: у пророка Иоиля еще сказано: «И будет после того: изведу от духа моего на всякую плоть; и будут пророчествовать сыны ваши, и старцы будут видеть видения; и на рабов, и на рабынь изведу от духа моего». Конечно, насчет вида современного или несовременного можно спорить. Но думается, что у вас это ощущение несовременности происходит оттого, что пророк Иоиль в древние времена открыл нам это.

Все было ясно.

Катя опять таким же шепотом, помолчав, продолжала:

— А разве Россия готова воспринять это? Ведь мы же все нищие.

Тут Голосков встал и, прислонившись к углу уже нагретой печки, начал рассказывать:

— Когда я плывал с китоловным судном в Ледовитом океане, мне случилось посетить маленький скалистый остров. На нем кроме птиц никого не было. А на берегу лежал огромный камень, на котором расписывались по древнейшему обычаю все моряки, потерпевшие здесь крушение. Языком пятнадцатого века какой-то скандинавский моряк между прочим изобразил: (он сказал длинную фразу по-норвежски), что в переводе значит: «Потеряв свои корабли, проклиная судьбу». Дальше подпись. А рядом с этой надписью виднелась другая, русская, поскольку мне удалось установить, времени Иоанна Грозного: «Здесь горевал Гришка Дудин». Тогда же я понял, что в этой записи точно отразилась психология всего русского народа. А из этой психологии с несомненностью вытекает особая восприимчивость к высшим откровениям, особая талантливость, — если так можно выразиться, — к пророчеству и ясновидению. Потому что только при крайнем смирении, при крайнем отсутствии духовного скряжничества и духовной алчности, человек может воспринять эти дары.

Помолчали опять.

Не следя за последовательностью своих мыслей, Катя сказала:

— Сегодня видела я на курсах товарища Шило. Знаете, такой, что по Марксу живет. Он ужасно меня презирал, а мне было это очень приятно... В конце концов за ними, может быть, будущее. И тогда пусть презирает... Это уж будет значить время прекрасной ясности.

— Вот тут эта ваша усталость сказалась. Какая там прекрасная ясность? Просто далеко не прекрасные шоры.

Так они беседовали, перескакивая с предмета на предмет; Андрей Викторович, все знающий и умеющий объяснить, и Катя, очень уставшая, чувствующая, что только и отдыхаешь во время этих бесед, которые — как собственные думы, только более насыщены.

В печке догорели угли. Катя зажгла лампу. Около полночи Голосков ушел, а Катя стала продумывать все, о чем они говорили.

II

В конце декабря, на последних днях Святков, Катя неожиданно получила телеграмму от своего второго брата Петра. С начала войны он отказался от посещения лекций в университете и пошел на фронт добровольцем. Теперь он приезжал с фронта в командировку на две недели.

Сговорившись с квартирной хозяйкой о том, что та уступит Кате на эти две недели свой кабинет, она принялась ждать Петра. Она не знала точно дня его приезда: поезда со фронта приходили как-то неопределенно, выехать его встречать на вокзал нельзя было.

С позиции своего полка Петр долго добирался до железной дороги. Бесконечная метельная снежная равнина как бы отделяла царство войны от остальной страны Российской. Там, сзади, боевые будни, свои полковые солдаты, общая биография отступлений и атак, походов, бесконечных стоянок на одном месте. Тонкая цепочка фронта, изгибаясь своими бесчисленными звеньями, жила своей особой жизнью, такой непонятной за пределами снежных просторов Польши и Галиции. Великим начальником, не знающим послушания, была смерть: она поравняла всех перед собой, она научила всех своему языку.

И поэтому на фронте все было таким понятным, не тревожащим глубин душевных. И во всеобщей обнадуженности этой давно уже по-новому звучало для Петра слово: Россия. Из него как-то постепенно выветрились все признаки великого государства, исчезли политические понятия и определения. Она воплотилась в какое-то живое существо, плохо поддающееся восприятию, но почти всегда близкое, — вот тут, рядом находящееся. Вот убило солдата, с которым Петр час тому назад разговаривал, — эта

смерть, такая естественная и ожидаемая, ложится на сердце тяжестью. И такой же тяжестью, как смерть или ранение близкого, ложится на сердце неудача России, поражение, отступление... Будто живое существо, до конца близкое, с детства любимое, несет на своих плечах горечь поражений и неудач; будто совершенно отчетливо страдает это живое существо, и Петр не может не страдать его страданиями.

И когда изредка он начинал углубляться в эти мысли, то казалась ему самым тяжелым из всего, что лежит на плечах этой новой, воплощенной России, — тяжесть долгих, нелепо изжитых веков, тяжесть темной истории. И явственно чувствовал он, какой древней мукой веет от старой родины.

Но только такой может быть она понятна и мила каждому. Потому что пышные одежды не для нее и в них она кажется чужой. Вот так, в снежной метели голосящая, предупреждающая каждого солдата, что с утра будет бой, — а из боя кто живым выйдет? — плачущая о русской крови пролитой и не знающая путей своих, — так она каждому близка и желанна.

И казалось Петру иногда, что мысли эти все — только от дикой тоски фронтовых безработных зимних месяцев, когда все сказки солдатские переслушаны, когда каждый человек опротивел каждому человеку до одури.

А начнется весна, начнется работа, — и от мыслей этих ничего не останется.

На пятые сутки путешествия с фронта показались высокие фабричные трубы; поезд пролетел мимо красных казачьих казарм и ворвался под стеклянный купол вокзала.

И скоро Катя из окна своей комнаты увидела, как показались из-за угла санки Петра, и, выйдя на площадку лестницы, стала его ждать.

Вот он, слегка запыхавшись, подымается. Катя сбежала вниз и обняла его. Он смущенно как-то поцеловал ее в лоб. Остановились на минуту, улыбаясь друг другу.

В комнате Катя, все еще улыбаясь, спросила его:

— Ну, что? По обыкновению в первую голову ванну надо?

Петр утвердительно кивнул головой.

Катя пошла распорядиться. Вернулась с чашками, с чайником, с хлебом, маслом и с любимой Петинной ливерной колбасой.

Он принялся пить чай, оглядывал комнату, прочитывал заглавия книг, лежащих на столе.

Катя подумала: «Еще по-настоящему не встретились. Еще он не совсем приехал». И смотрела на него.

Волосы низко острижены, немного сутулиться начал, а все тот же. Она опять улыбнулась. Когда он жевал, на висках напрягались и шевелились мышцы. Так и раньше бывало.

— Ты знаешь, — говорил он потом со странной какой-то торопливостью, как будто стараясь успеть сказать все, ничего не забыть — вот книги у тебя, и мысли всякие, и прочее, уж не знаю там что; все это понятно и нужно даже не миллиону, а десяткам тысяч, сотням, — а нам, ста восьмидесяти миллионам, все это ни к чему.

— Кому вам? — удивилась Катя.

— Ах, виноват, оговорился: им всем, вот тем, что составляют русский народ, — крестьянам, конечно, главным образом; ну, и армии. Хотя армия — это те же крестьяне. А впрочем, не им, а действительно нам. Пробыв это время вместе — понимаешь, не какое-нибудь, а это время, — конечно, от многого отстанешь и многое новое узнаешь. Уж таких, как я, теперь, пожалуй, от ста восьмидесяти миллионов не отцепишь.

Катя слушала очень внимательно, и ей показалось, что за словами Петра она чувствует какое-то иное значение.

— А если мы хотим стать нужными этим миллионам твоим?

— Напрасно. Все равно безнадежно. Они совсем из другого теста. Если они тебя с первых слов не возненавидят, то просто станут считать дурой. Там, матушка моя, все чрезвычайно ясно и просто. А к чему эта простота и ясность приведут, — не знаю и представить себе не могу.

— Петя, ты ждешь революции?

— Ну, голубушка, это детская забава, твоя революция. Будет нечто похлеще. Ты только представь себе хотя бы демобилизацию армии, миллионы людей, стремящихся попасть в наикратчайший срок домой. Это все сметет.

Он кинул окурок прямо на пол.

Катя заметила, что он делает это уже второй или третий раз.

— Зачем ты окурки бросаешь?

— Разве? Прости. Привычка такая. У нас за это даже штраф полагался, но не помогало.

Горничная вошла и сказала, что ванна готова. Петр направился к двери; но, приоткрыв ее, начал все тем же быстрым шепотом, смотря прямо перед собой:

— Ну, а если война кончится, ведь к старой жизни нельзя вернуться. Заставь ты их пахать, — ни за что. — И, еще постоаяв, добавил: — Ну, я пойду.

Кате стало немного жутко; будто в комнате ее оказался кусок чужой, веской жизни.

После ванны и выбрившись, Петр звонил по телефону: разговаривал со знакомыми, узнавал, когда его могут принять по командировке. Все спешил, будто торопился.

Вечером, по старой своей привычке, Катя уселась в кресло, а Петр, обняв ее, сел на ручку рядом. Он говорил, говорил без конца, — будто год целый не мог говорить и изголодался. В рассказах его чередовались отдельные случаи его жизни, пересказы солдатских сказок, рассуждения, необычные, лишенные логики, но от этого не менее убедительные.

— Знаешь, самое тяжелое без соли быть. Однажды у нас целую неделю не было соли. Как-то большого кабака зарезали, а есть не могли, потому что без соли ужасно противно.

И Кате казалось, что и этот рассказ очень важен, что тут она ничего не понимает.

Разошлись они на рассвете, причем минут через десять Петр вернулся в комнату и сказал, что не может уснуть на тахте: слишком мягко и душно. Присев в ногах ее кровати, он начал ее расспрашивать о своих стариках. Она отвечала уже сквозь сон.

Так потянулись дни... Из случайных слов Петра, из манеры его держаться Кате прозревался какой-то иной мир. А Петр наслаждался отдыхом, бывал у знакомых, собирал белье для своих солдат, каждый вечер прочитывал газеты, аккуратно, даже все объявления.

Андрей Викторович приходил раза два, но разговор втроем как-то не клеился. Катя ходила с Петром к различным знакомым. Там он становился тусклее, молчал, но обязательно досиживал вечер до конца и, видимо, получал наслаждение от общения с людьми.

— Удивительно, какими красивыми все женщины стали, — сказал он ей раз и засмеялся, — это, наверное, после моего вшивого фронта.

Потом как-то говорит:

— Ты знаешь, большинство солдат в оборотней верит. Один даже, Сыромятников, уверяет, что его оборотень из Псковской губернии в Новгородскую носил. А вообще самые смешные люди — это псковичи, — «пскапские».

Он рассказал несколько окопных анекдотов про «пскопских».

Катя все его случайные рассказы запоминала. Объединить их она еще не могла, но чувствовала, что у Петра они все объединены каким-то общим, особым смыслом, что он тяжело и мучительно создает себе какой-то новый мир.

— Самое правильное — это после войны засесть на каком-нибудь маленьком хуторе и хозяйничать. Чтобы осенью ни прохода, ни проезда туда не было; чтобы летом мухи жужжали, а собаки головами мотали: мухи им в кровь уши разъедят.

— Не высидишь: скучно будет.

— Это после фронта скучно-то? Нет, милая моя, после фронта только так и можно, а то совсем пропадешь и озверешь.

И Катя не понимала, где у него кончается серьезное, где он подсмеивается сам над собой.

А иногда они принимались возиться, как в детстве: Катя громко хохотала, а он пыхтел и улыбался. Он был ужасно сильный.

Но многие вечера она проводила одна: он уходил к родным своих однополчан рассказать им об их близких и передать письма.

Однажды, оставшись одна и устав от всех новых мыслей, Катя решила прилечь. Не зажигая электричества, завернувшись в платок, легла она на свою кровать и скоро задремала.

Стук в дверь разбудил ее. Она зажгла свет, пригладила голову и повернула ключ.

На пороге стоял человек с очень худым, суровым лицом; щеки его были плохо бриты. На одежде лежала печать чего-то не петербургского.

Катя удивленно на него посмотрела.

Он молча вошел в комнату, притворил плотно дверь за собой и тогда спросил, протягивая ей руку:

— Ты не узнаешь? Не мудрено: давно не видались.

Голос Кате показался знакомым, очень знакомым. Через минуту она кинулась пришедшему на шею: перед ней стоял ее старший брат Александр.

Он поцеловал ее в лоб и, слегка отстраняя ее руки, сказал:

— Да, да, не ждала, небось. Вот приехал.

Потом помолчал и добавил:

— А хозяйка надежная? Ведь я, знаешь, нелегально.

Катя его успокоила, рассказала, что Петр сейчас тоже здесь, в командировке.

Александр обрадовался очень:

— Его-то мне и надо. Это очень хорошо, что он здесь... Это упростит все дело.

Начали вызывать Петра по телефону. Александр был все время деловит, говорил мало, будто озабочен был он чем-то.

Скоро Петр вернулся. Братья встретились сердечно, не без доли любопытства друг к другу.

Когда уселись втроем в Катиной комнате, Александр начал спокойным, деловитым тоном, ударяя ребром руки по столу:

— Видите, мои друзья, я должен вам объяснить, каким образом я оказался здесь. Но так как я думаю, что большинство моих мыслей вам не интересно, то я постараюсь ограничиться самым главным. Русский социализм, как, впрочем, и социалистическое движение во всем мире, сейчас, благодаря войне, переживает тяжелый кризис. Социалисты разделились на два лагеря: одни считают, что война есть безусловное зло, что победа любой из воюющих сторон приведет к крайней реакции, к усилению империалистических и милитаристических тенденций, а поэтому считают, что дело социалистов сейчас заключается в том, чтобы сорвать войну; они являются сторонниками поражения, как ступени к мировой революции. Другие социалисты считают, что мы обязаны защищать нашу родину и не давать ее в рабство германскому милитаризму, так как Германия издавна была цитаделью монархизма, а на стороне союзников сражаются великие демократии. Я примкнул ко второй группе. На этом основании я решил бежать с поселения и попасть на фронт. Конечно, легально этого сделать нельзя, потому что если узнают, что я бежал, то мне, как беглецу, грозит каторга, и уже не в качестве политического, а в качестве уголовного. Поэтому я особенно был рад, узнав, что ты, Петя, здесь. Если твоим убеждениям не противно это, то, может быть, ты мне поможешь попасть на фронт, минуя центральные официальные учреждения.

Катя и Петр широко открытыми глазами смотрели на Александра. Видимо, они не сразу поняли, в чем дело, и молчали.

Потом Петр стремительно кинулся к нему, сжал его в объятиях и, смеясь, закричал:

— Вот это здорово! Вот это дело! Ну и молодец, ну и чудак! Ах ты чудак такой, право?! — Потом обернулся к Кате, которая стояла, широко улыбаясь: — Нет, ты слышала, чего он только не наговорил: кризис, социализм, реакция, империализм и прочее... О, у нас для всего этого теперь другие слова... А выдумал ты здорово. И устроить удастся. Рядовым в наш полк, в мою роту, хочешь? хочешь?.. Чудак ты, право.

У них начался разговор, который могут вести только люди, понявшие друг друга до конца и поверившие друг в друга. Катя только молчала и улыбалась. Она была в эту минуту очень счастлива. А братья, перебивая друг друга и вместе с тем друг друга внимательно слушая, рассказы-

вали о большом и о малом, что ковало за эти годы их жизнь.

Оба они видели черную ночь, которая нависла над бесконечной равниной русской, оба они чувствовали, как за-терян в ночи этой человек, как бездомно сейчас человеку. Они оба слушали боль, разлитую в мире, и оба хотели бороться.

Катя прошептала:

— Новый рыцарский орден должен быть создан.

Но Петр на нее только рукой махнул:

— Это всё слова и слова. А мы и без рыцарских лат, а в серой шинели кое-что сделаем.

И захохотал весело, по-мальчишески, ударяя себя по коленям.

Решили, что Петр поедет на фронт и подготовит там почву. А Александр будет ждать его зова у Кати. Потом решили послать телеграмму старикам, чтобы они выехали в Петербург. О приезде Александра телеграфировать нельзя было, так что звали только по случаю командировки Петра.

От разговоров теоретических перешли к обсуждению различных мелочей сборов Александра. Петр давал ему практические советы и очень серьезно отнесся к этому делу.

Потянулись напряженные дни взаимных объяснений между двумя братьями. Катя стояла все время немного в стороне, но всем существом своим старалась понять, что происходит перед ее глазами.

Как-то вечером, выйдя провожать Голоскова, она сказала ему:

— Друг мой, мне такой сон приснился. Страшный пожар, все вокруг в огне. Я смотрю на огонь и вдруг слышу, что в горящем здании во втором этаже кричит ребенок. Никто на него не обращает внимания. Я хочу его спасти, кидаюсь к пожарной лестнице, чтобы пробраться наверх, и по дороге вижу ведро с водой. Чтобы легче было спасти горящего, я хватаю ведро и окатываю себя с ног до головы. Все удивленно смотрят на меня, а мне вдруг делается страшно, и я не решаюсь войти в горящее здание. Так даром себя водой окатила.

И она недоуменно посмотрела на него.

А он, как всегда спокойно и рассудительно, начал ее успокаивать:

— Такие сны вам снятся оттого, что вы окружены людьми, уже призванными к работе. От этого вас томит непричастность общему делу. Но не идти же вам сейчас сестрой милосердия, в самом деле, и не начинать же говорить: «у нас на фронте»? Время придет, когда ваши

духовные силы будут необходимы, а пока вы в периоде накопления их. Слушайте, понимайте, но до времени таитесь.

Катя немного успокоилась.

Александр пошел однажды к своему старому партийному товарищу, доктору Рубакину, с которым вместе судился и который только благодаря случайности избежал казни.

Его удивило, что Рубакин изменился. Живет широко. От партийной работы отстал, хотя иногда дает свою квартиру для партийных собраний, видимо в душе тяготясь этим. Рубакин, насмешливо улыбаясь, рассказал ему партийные сплетни, критически отнесся к надеждам на скорую революцию, которые еще живут у некоторых товарищей.

— Вообще, — заметил он, — вся серьезная публика давно от этого всего отошла. На партийной работе теперь подвизается молодежь. Старики разве изредка дают директивы.

К решению Александра идти на фронт он отнесся с усмешкой:

— Что ж? Попробуй. Пожалуй, это действительно лучше, чем сидеть в Сибири.

В воскресенье была получена телеграмма, что старики будут вечерним скорым поездом. Поехали на вокзал их встречать только Катя и Петр. Александр остался дома: они решили, что неожиданная встреча с ним может слишком сильно подействовать на мать.

Стоя на платформе, Петр издали увидел фигуру отца на площадке вагона. Он кинулся к нему. Ольга Константиновна, спустившись вниз, обняла его голову руками и плакала мелкими слезинками.

Павел Александрович шутливо отстранил ее:

— Дай же и мне с нашим воином поздороваться.

Катя была рада, что мать приехала.

Когда первые минуты свидания прошли, Катя взяла под руку отца, отвела его в сторону и сказала:

— Папа, у нас сейчас и другая вам радость есть, неожиданная. Угадай, кого ты у меня встретишь.

— Не знаю, голубушка. Кого же?

— Кого ты хотел бы больше всего на свете встретить?

Павел Александрович поблел и сказал:

— Катя, я боюсь догадаться.

Катя прижила его руку к себе:

— Папа, в моей комнате Александр.

Павел Александрович слегка вскрикнул.

Но Катя не дала ему повернуться к матери:

— Осторожно, осторожно, надо маму предупредить.

Ольга Константиновна заметила что-то и стала расспрашивать. Стараясь говорить как можно спокойнее, с бесконечными отступлениями и наводящими фразами, Павел Александрович объяснил ей, в чем дело.

Опираясь на руку Петра, плача и смеясь, дрожа мелкой дрожью и семеня на месте отказывающимися ей служить ногами, она только шептала:

— Скорее, скорее.

Извозчика она умоляла торопиться. На лестнице Катиного дома чуть не задохлась. И, войдя в комнату, упала на руки Александра, молча смотря ему в глаза.

Павел Александрович и Катя вошли в комнату позднее, когда мать сидела уже в кресле, держа за руки обоих сыновей.

Павел Александрович чувствовал, что и ему силы изменяют в эту минуту, но бодрился и все время твердил:

— Это хорошо; это очень хорошо. Вот так, так.

Когда Александр по секрету от матери сказал ему, что он бежал и зачем это нужно было, тот помолчал, а потом с любящей улыбкой произнес:

— Ах ты мой трудный! Ну, да ничего.

Катя чувствовала, что вокруг нее напряженная атмосфера любви и страдания. Перед тем, как уснуть, она забралась к матери под одеяло и начала гладить ее седые волосы. Ольга Константиновна сразу сдалась на эту ласку и перестала держать себя в руках, чем при сыновьях она занималась с утра до вечера, не желая смущать их своими заботами.

С отцом Катя видалась мало с глазу на глаз: он спал с братьями в одной комнате; но ей показалось, что за три месяца, что они не видались, он постарел очень.

III

Ольга Константиновна никак не знала, кому из сыновей она в данную минуту больше нужна, кто из них более несчастен. Но за бесконечной жалостью к обоим — таким молодым, не жившим еще и принужденным мучиться без конца — у нее сквозило чувство материнской гордости.

Нежно гладила она начинающие сесть виски Саши и любовно смотрела на маленькие морщинки около его глаз. Потом переводила взгляд на Петра, шутливо старалась расправить начинающую сутулиться спину, удивлялась, что, несмотря на зиму, у него лицо загорелое, а лоб разделен загаром на две части: наверху белый, как шапка была надета, а снизу коричневый.

— От снега на солнце самый сильный загар, — объяснял он.

У братьев подъем не уменьшался. Они проводили вместе все свободное время. Их настроения так совпадали, что они понимали друг друга без слов. Да в словах своих они были различны, так как последнее время провели в различной среде. Эта общность мысли при различном способе выражения ее зачастую останавливала внимание обоих. В жизни их было что-то стремительное и предрешенное.

Катя чувствовала себя немного в стороне. Только один Павел Александрович отнесся к ней внимательно. Остальные были слишком поглощены собой. Но Катю это радовало.

Павел Александрович тоже внимательно отнесся и к Голоскову, о многом его расспрашивал. Катя даже сказала:

— Ты его экзаменуешь как будто.

Андрей Викторович был, как всегда, серьезен, говорил умно и обстоятельно.

После его ухода Павел Александрович однажды сказал:

— Мне он очень понравился. Кроме того, я заметил, что на тебя он очень хорошо влияет: умиротворяет как-то. — Потом, помолчав: — Я был бы рад, если бы он стал твоим мужем: с ним тебе было бы просто и спокойно.

Катя искренне удивилась этим словам: возможность такого конца их дружбы ни разу не приходила ей в голову.

Но Павел Александрович настаивал на том, что это совсем уж не так невероятно:

— Он тебя любит. Разве ты этого не чувствуешь?

— Я об этом не думала.

— Напрасно. Мне кажется, что и ты его можешь любить.

Катя ответила не сразу.

— Папа, я очень устала, и мне любовь совсем сейчас не нужна. Мне хочется чего-то другого... И ты, пожалуй, прав, что Андрей Викторович мне это другое, нужное дает. Мы с ним большие друзья. Только о любви у нас не было сказано никогда ни слова.

Этот разговор заставил ее задуматься. Она решила отойти немного от Андрея Викторовича, чтобы не заставлять его думать, что кроме дружбы к нему она еще чувствует нечто другое. Он это охлаждение заметил, но промолчал, приписывая его той напряженной атмосфере, которая царил в Катиной семье.

Наконец приблизилось время отъезда Петра.

Провожали его все. Когда поезд тронулся, он еще раз крикнул Александру:

— Значит будь готов. Наверное, недели через две вызову тебя.

Ольга Константиновна крестила исчезающую фигуру его и потом долго смотрела на то, как покачивается последний вагон поезда.

Ночью она всхлипывала и шептала что-то. Катя не тревожила ее.

А на следующее утро Ольга Константиновна начала заботиться новой заботой: приготовлением Александра к отъезду на фронт.

Дни шли быстро. Наконец пришло письмо от Петра. Он писал, что ему пришлось рассказать командиру полка всю историю Александра, что тот встретил его решение сочувственно и согласен принять его. Хорошо бы только на всякий случай получить удостоверение из какого-нибудь госпиталя, что Александр был в нем на излечении. Это можно сделать через доктора Рубакина.

Павел Александрович все время удивлялся своему старшему сыну. Наконец спросил его:

— Вот, Саша, ты собрался на фронт, и для тебя это еще рискованнее, чем для других, потому что должен ты все это исподтишка делать. Неужели же в тебе нет никаких сомнений?

Александр ответил просто и не задумываясь:

— Мне уже, папа, поздно сомневаться. Все равно вся моя жизнь на это отдана. Приходится только думать, как целесообразнее ее использовать.

И Павел Александрович сразу понял, что, кроме этого единственного порыва, который завел Александра на каторгу, а теперь гонит на фронт, в его душе действительно ничего не осталось.

— Ну, а личная жизнь?

Александр улыбнулся:

— Я прошел такую школу, что о личной жизни думаю теперь как об юношеских сказках. В первые годы каторги мне действительно хотелось, до тоски хотелось близкого человека, женской ласки. Но это было так неисполнимо, что я раз навсегда запретил себе об этом и думать. Теперь у меня отношение к женщинам или как к товарищам, равным мне во всем, или никакого нет, — просто их не замечаю. Да и не имею я права связывать себя с другой жизнью. Ведь я ничего отдельному человеку дать не могу, потому что все мои силы на другое дело мобилизованы давным-давно.

— Что же, и Петр, по-твоему, такой же безлюбый какой-то? — спросил Павел Александрович.

— Нет, Петру тяжелее, чем мне. Ему очень хочется сознавать, что для кого-то он самое главное в жизни, что кто-то его всегда ждет, о нем всегда думает.

Павлу Александровичу показалось, что Саша, пожалуй, слишком уж хорошо разобрался в настроениях Петра, и у него мелькнула мысль, что и ему эти настроения гораздо ближе, чем он сам думает. Ему стало безотчетливо жаль сына. И впервые, несмотря на то чувство застенчивости, которое всплывало в нем каждый раз, когда он встречался с прямолинейностью и замкнутостью Александра, он начал говорить ему о тех своих сокровенных мыслях, которые его все время мучали.

— Вот, Саша, тебе все понятно. А мне понятно, только пока я о вас не думаю. Как представляю себе Петю в окопах, такого еще маленького, беспризорного, — мне все начинает казаться бредом, страшный сном. Вы — это лучшие. Зачем вам гибнуть? А веди погибнете... А если лучшие будут гибнуть, то что же останется? Один, другой, третий, — а там Россия осиротеет... И иногда кажется мне, что Россия погибнет. Понимаешь, не государство Российское, — а Россия, живое существо...

Длинным взглядом посмотрел на него Александр и, отвернувшись, тихо сказал, — так тихо, что Павел Александрович с трудом разобрал его слова:

— Вот, ты самое важное затронул, о чем я никогда не говорил и даже думать боялся. А теперь скажу. Я хочу, чтобы ты знал все, как бы дальше моя дорога ни пошла. Я приблизительно так же ее чувствую, как ты. Немного иначе. Но это не важно. А важно то, что я знаю, — наше время на исходе. Война — это начало. Будет нечто страшнее и сильнее революций. Даже непонятно, как люди, дорожащие современным положением, допустили до войны... Надо быть готовым. Понимаешь, я чувствую, что призван, и уклониться нельзя, да и не хочу. Это великое счастье, хотя в личном плане это может стать гибелью. Но и гибели не боюсь. Да и разве от неизбежного можно уйти. Ты понимаешь?

— Понимаю, родной. — И добавил: — Но страшно мне.

— Всем страшно... Но, может быть, очень скоро всем станет нестерпимо радостно... Так ты, значит, живую Россию слышал? Мне она часто также мерещилась в сибирской пустыне. Господи, и что делать с нею? И где силы найти? — Оборвал сразу: — Довольно. Пустяки это. Надо ехать к Рубакину — за удостоверением.

И опять стал деловитым и сухим.

Через час после его ухода звонил телефон. Павел Александрович подошел. Говорил доктор Рубакин. Голос его был взволнован. Павел Александрович долго не мог вслушаться, потому что рядом с телефоном у Рубакина кто-то шумел.

А тот твердил:

— Вы слушаете?.. Не слышно?.. Александра... Слышите?.. Александра сейчас арестовали. Слышите?.. Надо принять меры. Понимаете?

Да, Павел Александрович понял. Он рухнул на стул перед аппаратом. В глазах поплыли круги. Сердце тяжелым камнем кинулось к горлу. Комната закачалась и исчезла на мгновение. Потом, прорезая сознание, все покрывая, промелькнула мысль: «Саша совсем погиб... Катторга... Конец».

С трудом поднялся он со стула, пошел к Кате и, обняв ее, прошептал:

— Саша арестован. По какому праву?.. Моего сына? Ведь он на фронт хотел, воевать.

И начал глухо рыдать, закрыв лицо руками.

Катя тоже не сразу сообразила, в чем дело. Спокойная и напряженная жизнь последних недель заставила ее забыть о том, что Александру грозит опасность. Он сам слишком много был поглощен своими заботами о фронте, а о другом не думал...

Надо было действовать. По телефону Катя узнала у Рубакина подробности ареста брата. Очевидно, он был несколько дней тому назад узнан и на него донесли. Не могла добиться только, куда его повезли.

Павел Александрович понемногу пришел в себя. Первой его мыслью было то, что Ольга Константиновна может вернуться домой каждую минуту. И как ей сообщить страшную вестъ?

Потом он начал вспоминать все свои связи в Петербурге, которые могли бы ему помочь.

— Я им скажу, я им скажу, — твердил он, — ведь для войны все. Ведь Саша хотел воевать. Это с их точки зрения должно быть полезно. Ведь нельзя же так.

Ольга Константиновна обеспамятовала, узнав об аресте. Она села у стола, бессмысленно смотрела на Катю и хохотала. А голова ее тряслась, и жилы на лбу налились. С трудом Катя уложила ее в постель. К ней нужно было звать доктора.

Таким образом, и Катя была сейчас прикована к комнате, так как мать нельзя было оставить. Она вызвала Андрея Викторовича. Он приехал сейчас же, выслушал все внимательно, сказал, что двоюродный брат его приятеля — товарищ прокурора и может сразу все узнать, и поехал хлопотать.

Растерянный Павел Александрович сразу как-то поверил во всемогущество этого товарища прокурора и очень все время просил Андрея Викторовича помочь. Он был выбит так из колеи, что неожиданно успокоился, почувст-

вовав, что Голосков не волнуясь и просто взялся за это дело.

Катя все время была около матери, а Павел Александрович ходил взад и вперед по комнате и рассуждал сам с собой.

Только на следующее утро Андрей Викторович сообщил, что Александр в Крестах, что он хлопочет сейчас о свидании с ним и до вечера не сможет приехать.

— Мой знакомый прокурор отнесся очень сочувственно и говорит, что при связях, может быть, кое-что и удастся сделать.

Павел Александрович опять начал перебирать с Катей всех своих знакомых и обсуждать степень их полезности для Сашиного дела. Его товарищем по университету был бывший министр, теперь член Государственного совета; но с университетской скамьи они не встречались. Кроме того, он знал одного директора департамента Министерства финансов. Этого, пожалуй, мало.

Катина однокурсница была дочерью какого-то важного чиновника из военного министерства, — тоже, пожалуй, недостаточно.

Вечером приехал Голосков. Павел Александрович встретил его с радостью.

— Все время хлопотал. Пока удалось выяснить, что личность Александра Павловича установлена, что обвиняется он в бегстве с поселения и, как бежавший, должен быть помещен в каторжную тюрьму для повторения срока своего наказания, что все льготы, применяемые к политическим, отпадают при этом. Но мой знакомый, узнав мотивы побега, думает, что возможно смягчение его участи, а может быть, и полное освобождение, если за него будет хлопотать кто-нибудь из власть имущих. Я успел съездить к знакомому члену Думы и взять у него для вас письмо к Протопопову. Кроме того, возможно получение еще кое-каких рекомендаций. Надо пустить в ход все. Теперь ради войны они идут на многое.

Павел Александрович рассказал ему о всех своих петербургских связях.

— Да, этого маловато. Значит, начнем с Протопопова, а там посмотрим.

На следующее утро, волнуясь и чувствуя себя немного расстроенным, Павел Александрович отправился к Протопопову. Андрей Викторович довез его до министерского подъезда, вместе с ним поднялся в приемную и стал ждать.

Протопопов принял его не сразу: была очередь.

Когда его вызвали, он прошептал: «А вот сейчас совсем веры в успех нету» — и пошел.

Минут через двадцать дверь растворилась и Андрей Викторович увидел бледного и тяжело дышащего Павла Александровича. Он кинулся к нему:

— Ну как?

— Неудача, — прошептал тот.

Спустились по лестнице. Уже на извозчике Павел Александрович взволнованно рассказал, как все было.

Протопопов выслушал его внимательно и сначала будто очень сочувственно отнесся ко всему. А потом вдруг неожиданно сказал: «Только вы меня напрасно просите: я из принципиальных соображений не могу ничего сделать. Во-первых, для армии вредно пребывание в ее среде революционеров; во-вторых, дело правительства одних лиц призывать на фронт, других не призывать, — на основании этого я вообще против всякого добровольчества, тем более против такого экстравагантного. Значит, остается помимо этого только факт бегства. А вы знаете, как он карается по закону. Тут я ничего поделать не могу».

Павлу Александровичу было ясно, что Протопопову до войны нет дела, а быть может, ко взглядам Александра на войну Протопопов отнесся просто отрицательно.

Андрей Викторович пробовал его успокаивать и выдумывал новые ходы. Но Павел Александрович вдруг сразу решил, что дело безнадежно. И вместе с тем преисполнился великой гордости за своего Александра. Ему вдруг показалось, что так он еще гораздо больше пользы своему делу принесет, потому что, мол, теперь всякому ясно, кто прав, а кто виноват. А потом он сразу застыдился этих своих мыслей и ему мучительно жалко стало Сашу. Он представил себе его одиночество, его отчаяние сейчас там, в тюрьме, и заплакал.

Андрей Викторович искоса посмотрел на него и уже больше ни о чем не говорил до самого дома.

Прошла еще неделя в страшной суете. Катя ходила к отцу своей однокурсницы и с какими-то письмами, которые добывал Андрей Викторович, но все было безнадежно. Везде встречали холодно, причинам бегства Александра многие не верили.

Катя сказала одному генералу, что она может это доказать, так как командир того полка, куда он собирался поступить, знал все дело. Генерал поднял обе руки, как бы отстраняясь от Кати:

— Ради Бога, не делайте этого: я совершенно не хочу знать, что какой-то полковой командир скомпрометировал себя участием в крамольном деле. Ведь вы понимаете, что дело это с определенным крамольным душком.

Катя молча ушла от него.

Наконец получили от Александра записку.

Он писал так: «Меня мучает, что я опять причинил вам страдание. Лучше всего, если бы вы могли забыть, что я приехал сюда. Ведь я был на каторге, и теперешнее сидение для меня только продолжение знакомой жизни. Так что для меня в этом ничего особенного, непривычно тяжелого нет. Лучше всего, если бы ты, папа, сейчас же увез маму домой. Там она немного забудется и начнет вспоминать о моей судьбе как о чем-то, к чему она привыкла за целые десять лет».

Этот совет показался Кате правильным. Она тоже начала уговаривать стариков вернуться домой. Но Павел Александрович долго не соглашался, считая, что в Петербурге ему легче помочь Александру.

Наконец, когда все пороги влиятельных людей были обиты и везде Павла Александровича встречало только равнодушие и даже недоброжелательство, он как-то сразу решил ехать.

Ольга Константиновна начала вспоминать о младшем сыне Сереже, который так долго один, и затосковала о своем доме.

Провожали их Катя и Голосков. На вокзале молчали: не о чем было говорить после всего пережитого.

А в поезде ночью, вытянувшись на койке и прикрывшись шубой, Павел Александрович вспоминал свой разговор с Александром; до болезненности стало ясно, что помочь уже никому и ничем нельзя, потому что сама судьба начертала перед душами человеческими пути к гибели.

«А Саша все же верил, что радость будет». И он заплакал тихими и горькими слезами, которые схватили его за горло и заставили дрожать все его большое, стариковское тело.

И плача так уже без мыслей всяких, он повторял себе только: «Тяжело, тяжело», как бы в такт стучащим колесам: «Тяжело, тяжело...»

Потом ему опять вспомнилось Сашино лицо, когда он говорил о радости.

Так до рассвета не спал он.

IV

Проводив своих стариков и вернувшись домой, Катя почувствовала, как она смертельно устала за все это время. Ни о чем не думая, легла она на кровать, положив руки под спину. Глаза были открыты, но она ничего не видала.

В таком состоянии страшной душевной утомленности прошел весь день. К вечеру ей вспомнилось все. Но вспомнилось не памятью ума, а острой и больной памятью чувства.

Ей мерещились белые стены Сашиной камеры, где всегда горит электричество, ни минуты не бывает темно. Ей чудились его ровные шаги, — или это маятник в столовой стучит? Вот так, как маятник, прошагает всю жизнь в маленькой каменной коробке.

Потом почудилось, что Петру сейчас холодно, ноги промокли, уши болят от мороза. «Он уже все знает про Сашу, — подумала она, — как он теперь воевать будет?»

Дальше вспомнился печальный, затаенный взгляд отца и нервные слезы матери.

Потом опять все слилось в одну боль — свою ли? Их ли — близких, любимых? Одним с ними человеком чувствовала она себя.

Когда вечер надвинулся, она вышла побродить. Это было испытанное средство, дающее мыслям ясность, а душе спокойную напряженность. Смотря перед собой и ничего не видя, дошла она до Николаевского моста и повернула по набережной. Снежный простор Невы клубился ветром. Далекие огни другого берега мерцали неясно. Она шла быстро, засунув руки в карманы. Впереди обозначилась дуга Троицкого моста. Ей захотелось пить, — в горле пересохло. Она повернула назад и той же дорогой пошла домой.

Ходьба не принесла успокоения. Все было неоправданно у нее в душе. От ветра стучало в висках.

Войдя в комнату, она увидела, что ее ждет Андрей Викторович. Ни о чем не думая, чувствуя только боль совершившегося, она обняла его сзади и начала тихо плакать.

Он вздрогнул от неожиданности, отстранил ее руки, усадил ее в кресло и сам сел у ее ног. Он гладил ей руки и молчал. Ей казалось, что сейчас более чем когда-либо он понимает ее и чувствует каждое движение ее сердца.

Катя не удивилась, когда, встав, он поцеловал ее в лоб. Она даже ответила ему поцелуем. Потом опять наступила минута молчания.

Когда же она, отрешившись на мгновение от своего душевного мира, взглянула на него, ее поразила какая-то новая черта в его лице. Но она не остановилась на этом впечатлении дольше.

А он уже начал взволнованно шагать по комнате, будто этим хотел себя успокоить и скрыть от Кати свое волнение.

Катя его подозвала:

— Вы мой друг?

— Да.

— Что случилось?

Он молчал.

Она взяла его за руку:

— Андрей Викторович, вы знаете, как мне трудно. Я рада, когда вы со мной.

И вот близко пригнувшись к ней и смотря ей в глаза, он начал шептать:

— Родная моя, любимая моя, я вас такую — усталую, измученную, потерянную — еще больше люблю. Как маленькую девочку заблудившуюся люблю. Не думайте ни о чем. Дайте мне радость всю вашу тяжесть на свои плечи взять; дайте мне радость вашей болью болеть, лишь бы вам теплее было, лишь бы вам было хорошо.

Она не удивилась, опустила ему голову на грудь и тихо ощущала его прикосновения, его поцелуи на своих волосах.

А потом, порывисто отстранив его, громко сказала, будто сознание сразу вернулось к ней:

— Я сейчас совсем измучена. Лучше уйдите. Не надо всего этого.

Но, сжав ее руки, он продолжал:

— Ведь я люблю вас. Вы это давно знаете. Люблю большой единственной любовью. И для меня вы вся — одно. Со всей вашей усталостью, со всеми вашими муками, вы — это Катя моя, Катя, Катя.

И опять ей стало тихо и хорошо. Уже не сопротивляясь, позволила она усадить себя в кресло и слушала его слова. И казалось ей, что он поднял ее высоко сильными руками и бережно несет; что теперь ей не надо ни о чем думать и мучиться: все он сделает, — друг, брат. Да, друг, брат, — других слов в Катиной душе не было.

И видя, как беспомощно и доверчиво идет она к нему навстречу, он чувствовал совсем другое, и другие слова были в его душе. Пожалуй, несмотря на сильное напряжение этой минуты, он прекрасно сознавал эти слова. Лгал ли он? Может быть, и нет. Он действительно сейчас принимал в свое сердце и муку Катину, и усталость, — но только оттого, что за их покровом, неотделимую от них, он видел Катю. Он видел свою Катю, которую любил во всех ее проявлениях, которой хотел дать всего себя, но взамен получить ее, всю ее.

И в душе его, кроме чувства дружбы, сильно росло чувство какой-то неудержимой жадности ко всему, что касалось Кати, — к ее усталости этой, к ее слезам, каждой слезинке, к тону ее голоса, такому упавшему, к протянутым вдоль колен рукам, ко всей этой комнате зеленой.

Все, в чем была часть Кати, должно было быть его. И она должна быть его, окутанная его волей и его мыслями от всего страшного мира, надвинувшегося на нее; отгороженная его объятиями от прикосновения других

людей. Он знал, что никакими усилиями не сдержать ему этой жадности, и думал, что не сможет Катя противостоять ей.

Сегодня она устала. Это ничего: было много дней в прошлом и много дней будет в будущем, в них это сегодня потонет. И в них, в Катиной всей жизни должен быть он, только он.

И не в силах противиться нахлынувшему чувству, он крепко сжал Катину руку, приблизил к ней побледневшее лицо и зашептал:

— Я люблю вас. Понимаете? Я хочу, чтобы вы это по-настоящему услышали и поняли. Люблю вас. Люблю всю до конца.

Но Катя не сразу услышала и поняла.

— Да, да, друг мой... — И слова замерли у нее на губах.

Андрей Викторович понял всем существом своим, что совершается что-то непоправимое. Страшным усилием воли он остановил себя. Потом тихо прошептал:

— Не надо так мучиться. Впереди еще долгая жизнь. Надо быть к ней готовой. — И замолчал.

Что это? Значит, Кате показалось только? Что показалось? За ласковым и понимающим лицом друга вдруг мелькнуло перед ней другое лицо, хищное и требующее. За чувством заботливой любви сверкнуло другое чувство, все сокрушающее и ломающее. Да, показалось.

Она слишком была подавлена усталостью, чтобы дольше разбираться в этом. Тихо опустила голову и рассеянно слушала, как журчит уже спокойный голос Андрея Викторовича.

Он скоро ушел.

На следующий день пошла Катя после долгого перерыва на курсы. Но с середины лекции ушла, — не могла сосредоточиться и слова профессора долетали до нее, как неясное гудение. Опять бродила. Без конца бродила.

Так прошло несколько дней. Было начало февраля.

Отрешаясь от своей боли, Катя чувствовала, что в мире приближается великая гроза. Издали доносились к ней звуки грома: это колесница истории, калеча на пути своем людей и опустошая поля, мчалась, влекомая взбесившимися конями. Она была близко. В сердцах вспыхивал трепет. А кони, раздув ноздри и испуская пламя, мчались уже рядом.

Кого они раздавят? Не всех ли? Миллионы и миллионы были уже обречены погибнуть под их тяжелым копытом.

А старуха что голосит? Не ей ли в сердце наступила стопа огненного коня? Не от боли ли голосит она?

Андрей Викторович пришел на следующий день хмурым и молчаливым. Быстро ушел. Потом опять пришел через несколько дней. Удивил Катю неожиданной исхудалостью какой-то.

Но она его не успела ни о чем спросить, потому что властно и не позволяя возражать себе, он начал говорить сам. Он смотрел ей в глаза, и под его взором она опустила свой взгляд.

Что он говорил? О, Господи, и говорить не надо: она инстинктом все поняла, поняла по этому взгляду, поняла по прикосновению руки, поняла, увидав, как вздрагивают его губы и как ложится около них какая-то складка, жадная такая складка. Но, опустив глаза, не перебивала его, не в силах была перебить его.

Он говорил, как он ее любит, как привык всю свою жизнь на ее жизнь равнять. И вот теперь ему ясно, что она должна стать его женой, что пусть сейчас устала она, — это пройдет, он сумеет оберечь ее, он сумеет дать ей новые силы. А главное, он знает окончательно, что она должна быть его.

И в ушах ее звенели слова: «Моя, моя», и опять через несколько слов: «моя».

Он требовал, он предъявлял счет долгой дружбы, он учитывал каждое понимание свое ее душевных движений. И выходило так, что теперь он имеет право: Катя была только должницей. Надо расплачиваться. Надо давать. Что давать? Она сейчас нищая.

В ответ на это звенели слова: «моя, моя».

Себя дать?

Катя громким криком прервала его:

— Не надо, не надо!

Он сразу замолчал и осунулся. А она была уже на другом конце комнаты и шепотом повторяла:

— Не надо.

Потом оба опомнились. После долгого молчания Голосков сказал:

— Забудьте об этом.

И, тоже помолчав, Катя ответила:

— Не знаю. Постараюсь.

Потом он быстро ушел.

И сразу Кате стало ясно, что забыть нельзя. С дрожью вспоминала она выражение лица Андрея Викторовича. В ее ушах звенело слово: «моя». Что случилось? Неужели их дружба, такая большая и прочная, должна была сразу оборваться и умереть? Да, так должно было быть. Катя чувствовала в душе огромное пустое место, которое раньше заполнялось отношением к Андрею Викторовичу.

Потом, немного придя в себя, она старалась разобраться в том, что произошло. Собственно, может быть, он и был прав, и дружба их должна была привести к любви, именно к такой любви, о которой он говорил ей, которая охватила его всего и которая должна была поглотить и Катю... Нет, это не то, это противоположно дружбе. Раньше он давал, и она, наверное, давала, и ни один из них не требовал от другого. А теперь он только требовал. И жадным стал каким-то.

Так ничего не решив и не поняв, Катя провела ночь. На следующий день Андрей Викторович зашел к ней. Вид у него был смущенный какой-то.

После долгого разговора о всяких пустяках он спросил Катю:

— Вы сможете забыть вчерашнее?

И честно посмотрев ему прямо в глаза, она ответила:

— Нет, на это у меня нет силы.

— Что же будет дальше?

Катя не выдержала его взгляда и, вздохнув, ответила:

— Мне кажется... Я думаю... это конец всему нашему прошлому.

— Та-ак, — протянул Андрей Викторович; он убеждать ее ни в чем не стал и сразу же покорился ее решению. — Ваши, наверное, уже дома, — добавил он, чтобы что-нибудь сказать, так как нестерпимее всего было молчание.

— Да, уже два дня.

И опять молчание.

— А от Петра Павловича письма не было?

— Нет.

— Ну, я пойду.

Он встал. Не глядя на нее, протянул руку.

Так навсегда уходил из ее жизни этот человек, такой близкий и понимающий. Ей было жалко прошлого, и вместе с тем она чувствовала, что никакими силами этого прошлого вернуть нельзя.

Когда он ушел, Катя подумала, что ей, собственно, больше в Петербурге делать нечего: на курсах она сейчас не могла бы работать; Александру все равно не нужна.

И вдруг ей так мучительно захотелось домой, так остро затосковала она об отце, о родных просторах, о тихой и простой жизни, которая, как легкий сон, окутала собой родную глушь, — что она решила ехать, ехать завтра же, как можно скорее.

Лихорадочно уложила она свои вещи; в последнюю минуту сообщила об отъезде своем Голоскову по телефону.

Через два дня поезд мчал ее на юг. Эта страница жизни была перевернута.

Впереди...

Впереди навстречу ей мчалась тяжелая колесница и в беге своем калечила людей и топтала поля. И голосила в полях изможденная старуха.

V

Опытный моряк по небольшому облачку, появившемуся на горизонте, говорит: «Быть буре» — и крепит якорь на своем судне и плотнее привязывает паруса.

На всем пространстве равнины русской, в душных теплушках и в удобных квартирах, в суровом северном городе и в бескрайних южных степях, люди говорили: «Быть буре». Но не крепили якорей, не спускали парусов. И многоликий народ, разбросанный по городам и деревням, не хотел останавливать порывов ветра, не хотел бороться с грозой. Душное время последних годов слишком сдавило сердце, ядовитые испарения крови слишком затуманили разум.

Даже тот, кто видел грядущую гибель, твердил: «Я погибну, а со мной и они. Гибну с радостью».

И гремела колесница истории, несомая бешеными конями, и люди чуяли гибель и шли к ней спокойно.

Голос вещей старухи пророчил гибель и рыдал над сыновьями своими. Кровь убитых потом проступила по русской земле.

Февраль 1917 года.

Рухнул трон. Многовековая сказка развеялась легким призраком. И народ русский, не останавливаясь, прошел мимо обломков крушения.

Содрогалась земля. Острой молнией прорезала буря мрак долгой ночи и гулким громом оповестила всех: «Пора».

И заалелась Россия единым пожаром. На фронте пламенем металась кровь в небеса, в городах пламенели красные знамена, в степях бескрайних зарделись сердца пламенем и вспыхивала древняя воля, воля к земле, кровью завоеванной и потом удобренной.

Как в дни светлой заутрени стоит народ, ожидая чуда, так в те незабвенные дни весь народ замер перед воочию совершаемым чудом и верил, что все сроки исполнились, что чаяния долгих столетий воплотятся сегодня.

Так было.

Пусть по-разному бились сердца миллионов, пусть разными словами говорили люди, пусть разного ждали, — все видели, как ярко запламенела Россия, все горели этим яростным пламенем.

Так было.

Еще вчера полковник Луговской, сидя в дымной халупе, насмешливо говорил Петру, взглядывая на него поверх очков:

— Что ж, уважаемый, нашей солдатне ответственное министерство нужно? Евро-опа...

А Петр молчал и чувствовал, что ворвется и в душу полковника Луговского длинный язык грядущего пламени.

Еще вчера царь метался в поезде по русской равнине, и нигде не принимала его родная земля, — отверженным метался он.

Еще вчера молча стояли друг против друга две силы, готовые кинуться друг на друга; и петербуржец с трепетом ждал кровавых боев.

Еще вчера Александр не верил, что двери тюрьмы раскрылись недолго, и обдумывал план своего бегства, чтобы не поймали, когда спохватятся.

И неслась пламенная колесница истории, не в силах остановить своего бега. И рушился под копытами древний мир, распадаясь пылью. А ветер вихрем взметал эту пыль.

Так развеялось вчера и наступило завтра.

Как никчемны были газеты. Надо только выйти на Невский и пройти его от Адмиралтейства до Александра Третьего, и все будет ясно без газет.

Трамваев нет. Везде красные флаги. Огромная толпа не движется, а разбросанная кучками по всему Невскому, стоит и обсуждает события. Много солдат. Много рабочих. Изредка попадаетея мужик из дальней деревни. Какие-то девушки, студенты, штатские.

На углу Морской агроном — видно, приезжий — толкует бородатым солдатам, что землю разделить не так-то легко.

— Вот возьмем, к примеру, Вологодскую губернию. Там, пожалуй, и двадцать десятин так не прокормят, как в Таврической три десятины.

Солдаты слушают внимательно, но, видно, не это им интересно, а что-то большее, — может быть, каждому свое. Сколько, мол, в моей собственной Рязанской губернии на душу земли придется. А до Вологодской мне, пожалуй, и дела мало.

Пролетел тяжелый грузовик. На нем вооруженные люди: рабочие, гимназисты. На крыльях грузовика лежат два солдата с винтовками. Развевается красный флаг.

Барышня, смотря ему вслед, говорит своему спутнику студенту:

— Когда будут ставить памятник революции, то, по моему, лучше всего изобразить такой грузовик, на котором мчится революционный народ, вооруженный винтовками.

Студент ничего не отвечает и прислушивается к словам оратора, стоящего посередине толпы, которая запрудила весь Полицейский мост, но слышно плохо.

Дальше спорят два солдата. Народ окружил их. Один говорит:

— Нет, так, товарищ, не резон. Что такое революция? А то, что ты вчера рабом был, а я господином. А сегодня проснулись равными: ни господ, ни рабов.

А другой возражает:

— Ты, товарищ, дурак. Ну, а в прошлом как поравняешь? По-моему так выходит: ты вчера господином, а я рабом; а сегодня обратно: ты — раб, а я — господин.

В разговор вмешивается рабочий и примыкает к мнению первого солдата:

— Вот я в тюрьме сколько лет отбарабанил, а такой озлобленности во мне нет. Потому что я сознательно отношусь. Если мы опять с господами и рабами будем, то свободы и не увидим. Да и ни к чему это. Классовое сознание говорит: равенство и дорогу трудящемуся. Пусть и вчерашний барин трудится, — это конечно.

Восторженная девица, смотря с любопытством вокруг себя, приперла к дверям магазина молодого солдата:

— Ну, товарищ, а как на фронте встретили революцию? Расскажите. Ведь вы только сегодня приехали.

Солдат смущается и говорит тихо:

— Радовались очень. Сразу все сало поели.

Девица недоумевает.

А около Публичной библиотеки целая толпа. Чернобородый крестьянин в состоянии полного восторга толкует:

— Братики, товарищи, ведь это теперь, значит, вся жизнь другая будет. Оно конечно, земля ничья, земля Божья. Так оно и по Писанию, значит, выходит. Братики, товарищи, значит, дождались мы светлого денечка.

Его слушают сочувственно.

Дальше идет батальон гвардейского полка. Идет вразбивку, нестройно.

На тротуаре встала старуха и твердит:

— Изверги, что сделали. Царя скинули.

Солдаты не обращают внимания. А она все свое.

Тогда один из солдат ее спрашивает:

— Да много тебе пользы от царя было?

— И не надобно! — с сердцем отвечает старуха.

Солдаты смеются и идут дальше.

На углу Литейной стоит товарищ Шило и говорит о том, что политическая революция только начало, что надо пролетариату готовиться к социальной революции. Народ слушает сочувственно: слова все умные, — пусть и непонятно немного.

А вот летит автомобиль. Кто-то узнал сидящего в нем. Шепот, громкие крики: «Ура!» Сидящий кланяется. Автомобиль летит дальше и сворачивает мимо Екатерининского сквера и Александринки к Министерству внутренних дел: там происходят заседания Временного правительства.

Да, так было.

В середине апреля приехала первая партия эмигрантов.

В редакциях, в партийных квартирах с утра начинаются заседания. Сегодня городская конференция, завтра губернская, заседания Центрального комитета, курсы агитаторов и пропагандистов, редакционная коллегия, солдатская секция, — и так без конца.

Кто сумеет создать крепкую плотину и заставить течь бурную реку по предуказанному руслу?

Александр занят вопросом о созыве крестьянского съезда. Кроме того, ему приходится много работать в Исполнительном комитете Совета, — ему поручена редакционная часть в крестьянской секции. Надо давать массу инструкций, надо беседовать с ходоками из деревень, снабжать их литературой. А зачастую надо неожиданно срываться и мчаться на грузовом автомобиле, чтобы выступить на митинге где-нибудь на Выборгской стороне: там направление рабочей мысли уклонилось в сторону крайнего максимализма. Ночью придется еще написать большую статью и составить две резолюции. И так каждый день. Он часто забывает обедать. Он очень похудел. Но усталости нет. Невероятный подъем дает ему силы и обостряет восприимчивость.

И лишь бы поспеть, лишь бы утнаться за бегом истории, которая искалечила прошлое вмиг, а теперь заставляет строить на обломках тоже вмиг, в такт огненным копытам взбесившихся коней.

На плечи русского народа легла великая тяжесть: история велела ему сразу выполнить две непосильные задачи — вести войну, сомкнутым строем отстаивая родину и революцию, и создать новую жизнь, перестроить все здание государства Российского заново.

Армия русского самодержца стала революционной армией: трехцветный флаг сменен красным знаменем. И болезненно совершали этот переход на фронте.

Петр был с солдатами в хороших отношениях. Теперь ему часто удавалось отстоять нелюбимых офицеров от вспышек солдатской мести. Но и он, несмотря на это, чувствовал, что, по существу, солдаты его только терпят, потому что он по своему положению должен как бы вести их, а не может их вести туда, куда летят все их помыслы и мечты: к земле, которая вот-вот начнет делиться, к родной деревне, которая без них там что-то решает. И поэ-

тому они только терпели Петра, только снисходили к нему, как к человеку. Он это чувствовал остро. Хотя часто солдаты приходили к нему вместе читать газеты, спрашивали у него объяснения событий, осведомлялись, отчего нельзя сейчас же кончить войну, потому что война, мол, уже теперь не такое важное дело, — это, пожалуй, могли бы понять и немцы и союзники и отпустить Россию, — пусть, мол, своими делами занимается.

Наконец, Петра даже выбрали в полковой комитет, и там удавалось ему без особых трений ладить с самыми озлобленными демагогами и добиваться решений, не вредящих, по его мнению, общему делу войны.

Два русских центра, взаимно исключаящие друг друга и вместе с тем неразрывно связанные, — революционная столица и армия — огнем своего пожара затопляли постепенно всю русскую землю. Скоро вся Россия приобщилась этому огненному крещению. И море пламени охватило каждую деревню, каждого человека.

Воистину каждый человек в эти первые дни революции мог совершить любой подвиг. И не скоро еще первый вал опал и затих, не скоро еще люди начали заниматься своими обычными делами, а главное, почувствовали, как сквозь радостные возгласы праздника начинает проступать смертельная усталость от войны, желание скорее закрепить за собой то, что дала революция и что кажется таким непрочным еще, — помещичьи поля не дали еще плодов своих крестьянину, и он не уверен, впрямь ли дадут они ему эти плоды; мир обещанный еще не осуществлен; и немецкие штыки в окопах напротив как-то малоубедительны для того, чтобы в этот мир поверить. Наконец, народ еще несорганизован, — нет хозяина у русской земли. А каждый человек норовит все по-своему, а волость по-своему, а полковой комитет опять по-своему. Да еще, может быть, их решение будет перерешено губернским комитетом; или земельным каким-то новым. Да неизвестно, что скажет совет. И казалось, что хотя все сейчас как будто бы и прочно, а вдруг измена совет где-нибудь гнездо, так что сразу не заметишь; вдруг генералы не захотят кончать войны во имя революции и придется идти даром умирать. Умирать на фронте определенно стало восприниматься как умирать даром.

Видно, люди не в силах были поспеть за бегом колесницы. Видно, река рвала плотины и грозила затопить своими волнами все.

Но это еще мало чувствовалось: конференции заседали, советы выносили резолюции, Временное правительство издавало законы, генералы говорили о необходимости наступления.

Все верили, что трудная работа по силам человеку.

И только в полях, орошенных росой, седая старуха не переставала голосить жалобно. И людям становилось тревожно, и события запутывались клубком, и солдаты пробирались с фронта в свои деревни, — потому что не было сил выносить ее вопля, потому что пророчил он черные дни и последнюю гибель.

Так взлетала колесница истории на гребень неприступных гор, чтобы оттуда рухнуть в пропасть.

VI

Ольга Константиновна каждый вечер, ложась спать, высчитывала, каких лет Александр выйдет из каторги, и тяжело вздыхала. Иногда она об этих своих расчетах рассказывала Кате.

Однажды во время такого разговора к ним пришел батюшка, отец Николай.

— Вот, — сказал он, — сам не могу понять, в чем дело, может, у вас что новое узнаю, — ведь вы можете от сыновей знать. Получил от дочери из Москвы телеграмму. Прочтите.

Катя взяла у него лист и прочла громко:

— «Поздравляю великой радостью освобождения России».

А батюшка продолжал:

— Вот и поймите, а газет третий день нет.

В тот же вечер уже весь город говорил о том, что в Петербурге и Москве произошла революция, что царь отрекся от престола, что образовано Временное правительство.

Павел Александрович отнесся к этим слухам недоверчиво. Даже сказал Сереже, гимназисту восьмого класса, который собирался на манифестацию по поводу событий:

— Погоди радоваться. Может, все еще и не так.

Но вот пришли газеты. Революция действительно совершилась. Наконец, принесли телеграмму от Александра. Он свободен, он уже по горло занят, он счастлив и шлет привет своим милым старикам, которые теперь могут быть наконец совершенно за него спокойны.

Ольга Константиновна сразу помолодела как-то и расцвела. Павел Александрович, видимо, тоже до глубины души обрадовался освобождению сына. Но все же продолжал таиться.

А вечером он записал в свою толстую черную тетрадку: «Рад за Александра: наконец-то открылся простор для его кипучих сил. Но не думаю, что у него теперь впереди только радость, на пути будет много терний».

Дальше он не стал писать. Подпер голову руками и задумался. «Эх, дело трудное...»

Кроме него, пожалуй, никто в городе трудности этой не сознавал. Основное чувство, охватившее всех, было чувство возможности своими собственными руками строить новую жизнь. Все бросили опостылевшие ежедневные свои занятия, все с головой ушли в новое дело, которое требовало к себе людей, кипело еще и пенилось бурно, не зная своего настоящего русла, не найдя еще путей железной дисциплины, благодаря которой оно могло бы приковать к себе человеческую силу и использовать ее. Люди хватались за любое дело, бросали его, чтобы заняться другим делом. Митинги шли непрерывно. В зале Думы были, так сказать, официальные митинги, на площадке около электрической станции было образовано нечто вроде политического клуба, где с утра до поздней ночи толпился народ и говорились речи. Наконец, базар стал тоже немолчающим митингом.

Опечатывали полицию. Комиссия по изучению полицейских секретных документов состояла из присяжного поверенного Карповича — меньшевика, техника Милованова — эсера и отчего-то попавшего к ним в секретари студента Игоря.

Катя держалась немного в стороне: она еще не совсем отрешилась от личных своих переживаний. Кроме того, ей все время казалось, что за внешней праздничностью все проникнуты какими-то будничными настроениями. И основного, что, по ее мнению, должно было определять великую революцию, — всеобщей жажды подвига — она не видала кругом. Благодаря авторитету имени Александра многие из молодых относились и к ней, его сестре, с повышенным вниманием и часто спрашивали у нее совета.

Молодая и горячая учительница Дракова чаще других забегала к ней.

Катя убеждала ее, что совершенно сама далека от общественной и тем более партийной жизни. Но Дракова, упрямо встряхивая головой, доказывала ей, что гражданским долгом является для Кати помочь им, начинающим, разобраться в обстановке.

Однажды она пришла чуть не со слезами на глазах.

— Нет, вы только подумайте, до какой степени наш народ темен. Я сейчас с митинга. Доказывала им, что в их интересах голосовать в гражданский комитет за социалистов. А они кричат: «Шляпка, долой!» Я разозлилась, особенно на одного детину, мясника, и говорю: «Шляпка вещь грошова. Теперь буржуев по новым башмакам узнают. А мои — вот». И показала им, что мои башмаки из себя представляют, — сами видите.

И она показала Кате на свои дырявые туфли.

Катя спросила, смеясь:

— Ну, а на них такой способ пропаганды подействовал?

— То-то и обидно, что подействовал. Потребовали к осмотру сапоги мясника. А они новешеньки. Ну, хохот еще сильнее. А мне после этого начали аплодировать чуть не после каждой фразы... Понимаете, ведь вот к чему придется прибегать. Никакой сознательности.

Она вздохнула и деловито предложила Кате принять участие в составлении избирательного списка. Катя отказалась.

Дракова не на шутку рассердилась. А потом быстро как-то согласилась.

— Ну, Бог с вами. А на заседание, на первое, гражданского комитета, приходите непременно. — И ушла.

Столетняя пыль маленького города, мирно окутывавшая всю жизнь, теперь вихрями была развеяна.

Так же, как и в центре, заседания сменялись заседаниями, резолюции выносились ежедневно и по всякому поводу, союзы росли как грибы.

Всем казалось, что надо торопиться, что дела, которыми люди занимались всю жизнь, — совсем не главное, а главное — это принять участие в напряженной суете, в митингах и заседаниях.

По поводу вопроса о необходимости повысить ежемесячный членский взнос в профессиональном союзе упоминались имена Маркса и Каутского, говорилось о великой бескровной революции и о земле и воле. Гражданский комитет часами обсуждал вопрос о необходимости ремонта библиотеки, потому что десять, по крайней мере, ораторов высказывались на эту тему принципиально, по существу и по личному вопросу.

Но, несмотря на это, за потоками слов и в бесконечно растрчиваемом времени чувствовалось биение жизни, чувствовалось, что просто люди еще не приспособились и ищут других форм, другого общественного опыта.

В первые месяцы в городе не существовало партийных групп.

Но когда почувствовалось, что в одиночку трудно работать, кинулись в партии.

Меньшевиком в городе было мало. Это была чисто интеллигентская группа, члены которой были везде желанными работниками, но по-настоящему на массы они влиять не могли.

Зато группа социалистов-революционеров росла ежедневно. Сюда шли решительно все, желающие так или иначе приобщиться к революции.

Шли также люди, с революцией никак не связанные: просто авантюристы и дельцы, часто и не лишенные известного демагогического таланта. Для них партия давала то удостоверение в политической благонадежности, которое помогало им легко заниматься собственными делами и жить веселой жизнью.

И только сейчас, когда авторитет Временного правительства был еще велик, местная группа социалистов-революционеров имела вид единства, но в момент перемены политической обстановки разброд был неизбежен.

Старые партийные работники, техник Милованов и учитель Васильев, это чувствовали очень остро.

Особенно резко выступили противоречия, когда в город приехал некий товарищ Герман, детина с косящими глазами и с огромными руками, которыми он любил внушительно потрясать, вопия при этом: «Товарищи, на этих вот руках были цепи. Я прошел школу каторги, и теперь говорю: проклятие кровопийцам!» По вечерам почти ежедневно он напивался и буянил.

А слухи ходили, что он за какое-то уголовное убийство был приговорен в свое время к каторге, что к политическим делам раньше касательства не имел и что ночью с ним лучше не встречаться; тем не менее за ним шли массы.

Скоро у Германа появился помощник — студент Кусони. Этот был уже местным человеком; но раньше никто не знал, что он имеет касательство к партии. На этом основании к нему сначала отнеслись все очень сдержанно. Да и помимо всего было в нем что-то, что внушало сдержанность и заставляло людей, соприкасающихся с ним, не говорить ничего лишнего.

Такое положение он занимал до появления товарища Германа. С первых дней его приезда Кусони, видимо, учел, какое он сумеет получить влияние, и поэтому сразу же начал подчеркивать ему свою самую бескорыстную преданность.

Очень скоро они стали друзьями. Там, где у Германа не хватало ума и тонкости, а одними потрясениями рук ничего нельзя было поделать, выступал Кусони. Они дополняли друг друга, и поэтому оба очень скоро поняли, что совершенно необходимы друг другу.

И вот вскоре они уже попали в комитет вместе с Васильевым и Миловановым. Те оба чувствовали, что влияние окончательно переходит в их руки, и однажды Павел Александрович Темносердов увидел у себя и Милованова и Васильева.

Они просили его непременно написать Александру. Может быть, он сможет хоть на неделю вырваться и взглянуть к ним в город.

— От этих милостивых государей проходу нет, — говорили они. А там в центре все никак не хотят понять, что без нас, без глухой провинции, останутся висеть в воздухе. Вы так и напишите товарищу Александру. Пусть он об этом серьезно подумает. Лозунгом сегодняшнего дня должно быть стремление кинуть все силы в провинцию и обеспечить себе ее поддержку во всяком случае.

Павел Александрович писал. Но от Александра приходил один и тот же ответ: он обещал непременно приехать, но сейчас, в данную минуту, нет ни малейшей возможности вырваться.

Наконец он сообщил, что после предполагающегося в Москве Государственного совещания он сразу же выедет домой.

Павел Александрович сам пошел сказать об этом Милованову, так хотелось ему с лишним человеком поделиться своей радостью.

VII

В середине августа в Москве было назначено Государственное совещание.

На него многие возлагали большие надежды.

Но с первого же дня стало ясно, что единого языка у русских людей нет. Государственное совещание разделилось резко на две части: правая часть настаивала на крупных мерах по отношению всех, не желающих выполнять требований, которые предъявляются необходимостью вести войну, а левая утверждала, что о старой дисциплине сейчас говорить не приходится, что везде и повсюду должно сказаться влияние новой жизни, созданной революцией.

Первым мерещилась за спиной социалистов ухмылявшаяся физиономия Ленина, и поэтому они им не верили; социалисты же в свою очередь прозревали за спиной своих противников белого генерала, которому будет поручено «прекратить все это безобразие», — и они в свою очередь не верили им.

Александр был членом совещания. Сумбурная обстановка его, напряженное ожидание каких-то выступлений, о которых в эти дни говорила вся Москва, — причем правые говорили о выступлении большевиков, а левые о захвате власти Корниловым, — все произвело на него удручающее впечатление.

Уже несколько месяцев он отказывался от всякой чисто политической работы и с головой погрузился в дело

организации крестьянства. Он много разъезжал, имел дело с партийными губернскими комитетами, присутствовал на заседаниях земельных комитетов, собирал в селах крестьян и толковал с ними подолгу, — это давало все большую ясность и полную уверенность в том, что он правильно поступает, правильно оценивает положение и понимает стремление крестьян.

Но каждый раз, когда ему приходилось бывать в Петербурге или даже в Москве, эта ясность утрачивалась, создавалось впечатление, что все висит на волоске, что люди совершенно потеряли способность понимать друг друга, что дни новой власти уже сочтены. И тогда он опять бросался в деревню и уходил с головой в свою чисто практическую работу.

Чувство всеобщей неразберихи какой-то и всеобщего ожидания катастрофы охватило его с особой силой в зале Большого театра. Все члены совещания приезжали с готовыми мнениями, общего языка, конечно, никто не смог бы найти, и значение совещания сводилось, таким образом, лишь к тому, чтобы еще лишний раз показать, как разошлись пути революции и какая бездна лежит перед страной.

И Александр ясно чувствовал, что в убеждениях своих большинство до конца искренне и до конца правдиво. А это еще сильнее подчеркивало неизбежность скорой катастрофы, так как никто не хотел идти на уступки, никто не искал общего языка. Таким образом, одна точка зрения исключала другую, а средней не было.

В ночь после первого заседания Александр долго думал над этим. Легкие объяснения различием классовых точек зрения, казалось ему, мало помогают делу. Может быть, отчасти это и так, но по существу дело гораздо глубже, — пожалуй, в самой сложности задач, которые должен разрешить народ русский.

Знакомый его старый земец, примыкающий к правому крылу совещания, встретившись с ним, сказал озлобленно:

— Беда в том, что на совещании есть партии, земские и городские самоуправления, советы, фронтовые организации, представители кооперативов, — одним словом, каждой твари по паре, — а России-то и нет.

Это было, конечно, неверно. Александр верил подлинной любви к России, которой горело большинство членов совещания. Не все ли равно по существу, в каком порядке говорят они: спасение родины и революции или революции и родины? Только крайние фланги совещания разделили между собой этот лозунг пополам: большевики говорили только о революции, а правые только о родине,

подразумевая под родиной прошлую Россию и не принимая новую. Но это было меньшинство. У остальных родина и революция сочетались в нечто, за что надо было бороться, что требовало жертв и мысль о чем заставляла тревожно задумываться, — становилось ясно, что грядущие испытания будут невыносимы.

Россия несомненно присутствовала здесь. У Александра даже мелькнула мысль: не она ли своим безумием затуманила головы холодным политикам, не она ли своей усталостью всем связала руки, не она ли, утерев язык человеческий, онемев в долгом рабстве и в огне небывалой войны, лишила всех способности понимать друг друга, сделала всех глухими и безумными.

— Да, это она. Нужно чудо, чтобы спасти ее, она все потеряла, она стремится к гибели. Тут словами, самыми искренними, помочь нельзя; тут бессильны законы, ломающие все старое и создающие новую жизнь; а еще бессильнее тут виселица и плетка. Только чудо может ее спасти.

Но сразу он устыдился всей этой своей неразберихи и принял себя сдерживать:

— Это все от переутомления, это все еще сибирское одиночество сказывается. Надо быть трезвым.

Он решил для себя, что надо искать других путей, что все, что говорится на Государственном совещании, ни в какой мере не сможет вывести Россию из того тупика, в который она попала. Но есть ли этот другой выход?

С трех сторон были пропасти: впереди — победное шествие императора Вильгельма на несопротивляющуюся Россию; направо — возврат к старому, генерал на белом коне, душащий жизнь во имя победы; налево — восстание большевиков, анархия, море ненужной крови, гибель и России, и революции.

Александр досидел последние дни совещания.

Выхода не было.

Это наглядно подтверждалось каждым сказанным словом. Власть металась и чувствовала себя бессильной. Враждующие стороны ненавидели друг друга и ярко обнаруживали друг у друга ошибки в мыслях. И никто не сказал, что, кроме этих ошибок, ничего и нет, ничего и не может быть, потому что какое бы лекарство ни давать умирающему, ни одно не поможет и каждый врач будет прав, упрекая другого в том, что его лекарство не дало здоровья больному.

От смерти лекарств нет.

Так ли это? Александр никому не говорил своих мыслей. Он решил опять уехать из центра, окупаться в под-

линную жизнь русскую и проверить свои выводы. Его вагон по какому-то случаю оказался полупустым.

Спутником у него оказался человек в защитном платье, с длинною курчавой русой бородой. В лице его была смесь прямо иконописного благообразия с каким-то холодным лукавством.

Спутник, войдя, молча сел и углубился в чтение бумаг, аккуратно разложенных по папкам. Просмотренные папки он откладывал в сторону.

Александр случайно взглянул на одну из них и с удивлением прочел на ней: «О Вельзевуле».

Это показалось ему так неожиданно, что он с любопытством перевел глаза на человека, разбирающего в вагоне дела о Вельзевуле.

Тот сразу заметил его удивление и, улыбаясь, сказал:

— Не беспокойтесь. Это вовсе не папка с делами о Вельзевуле; тут только дела Военного министерства, куда я вчера ездил с докладом. А надпись старая: я давно такую работу писал, когда еще в Духовной академии был.

И, несмотря на эти спокойные слова и чуть ироническую улыбку, Александру показалось на мгновение, что с ним рядом сидит сумасшедший, таким пронзительным холодом веяло от серьезных, странно светлых голубых глаз. Понемногу они разговорились.

Когда наступила ночь и весь вагон, слабо покачиваясь на колесах, был наполнен только дыханием спящих людей, этот странный человек стал откровеннее.

— Да, да, времена тяжелые... Пожалуй, никого винить нельзя... Вы знаете, чтобы спасти сейчас Россию от гибели, конечно, человеческих сил слишком мало... Бог? Нет, Бог нас карает, и от него милости просить нельзя. Возможно только одно. Возможно, что найдется один человек, — понимаете, всего только один за всю необъятную Россию — и что этот человек обратится к нему. — Он указал глазами на заголовок своей папки.

Александр был ошеломлен. Опять он решил, что перед ним сумасшедший.

А тот продолжал, видимо подсмеиваясь даже над его удивлением:

— Боже мой, до чего современные люди далеки от тех точных знаний, которыми в совершенстве владели наши предки. Вот вам кажется, что я безумный, а между тем ведь с точностью установлено, что в истории бывали многочисленные договоры людей с дьяволом, что дьявол за человеческую душу готов дать любую плату и что пути к нему не так трудно найти.

Александр уже плохо слушал. А спутник его подробно объяснял, каким путем человек может найти дьявола, как

надо с ним стовариваться, как после подписания договора должна сохнуть правая рука у подписавшего.

Только под утро Александр поднялся на верхнюю полку и уснул.

Под влиянием странного разговора ему приснился сон. Ему казалось, что он блуждает в каком-то молочно-белом тумане. Облака окружили его со всех сторон. А впереди виднеется огромный шар. Он приглядывается и видит, что это земля, — вся земля, в виде исполинского глобуса. Четко легли в море лапы Скандинавского полуострова, вырисовывается сапог Италии, Черное и Азовское море неудачной просфорой вдвинулись в сушу.

И видит Александр, что из России торчит веревка.

Как он только это заметил, то сразу почувствовал, что его вчерашний собеседник оказался за его спиной, и блестит нестерпимо глазами, и шепчет: «Дерни, дерни за веревку».

И сразу стало ему ясно, что дернуть за веревку — это значит отдать свою душу дьяволу и этой ценой спасти Россию. Он еще колеблется. Но спутник со страшной силой толкает его.

Наконец, они начинают быстро мчаться навстречу земному шару. Александр хватает за веревку, дергает ее и просыпается.

Уже солнце высоко. Вчерашнего собеседника нет.

VIII

Стояла поздняя осень. Временное правительство пало. Оттремели московские пушки.

А на юге еще не признавали новой власти, еще верили, что все это ненадолго. Большевиков в городе не было. Один только сиделец казначейства заявил, что он большевик, но его заявление приняли со смехом, припомнили ему его недавнюю полицейскую службу и на том успокоились.

Но вот отзвуком донеслось, что и Учредительное собрание разогнано...

Александр ломал себе голову, какими бы путями добраться до Москвы. Железные дороги стояли. Минутами на него нападало отчаяние. Город казался ему тюрьмой, еще более ненавистной, чем каторга. Там сидел он, по крайней мере, в глухое время, а сейчас, когда нужна каждая лишняя голова, он вынужден томиться здесь.

— Ну, Саша, а что сейчас делать? — как-то сказала ему Катя. — Вот завтра, послезавтра? Ведь нельзя же сидеть так и смотреть, как стены падают и кругом остаются обломки?

Он ответил:

— Я думаю на днях двинуться. Хоть пешком, да дойду. А Катя, замирая и волнуясь, сказала:

— Саша, если ты найдешь какое-нибудь дело, которого я была бы достойна, такое, — гибельное, — позови!

— Хорошо, — просто ответил он.

Но так скоро уехать Александру не удалось. Болезнь Ольги Константиновны неожиданно ухудшилась. Доктор сказал, что сердце ее настолько ослаблено различными волнениями, что он не ручается за исход. На глазах близких она с каждым днем приближалась к смерти.

Но сама она не сознавала, что смерть может прийти к ней так скоро. Ей хотелось перед концом еще раз увидеть Петра.

— Это было бы счастьем умереть среди вас всех. Я так измучилась о Пете...

Ее не стало за два дня до Рождества. Хоронили ее тихо. Мало народа следовало за гробом.

Павел Александрович не плакал; только говорил о том, что с нею ушла старая жизнь, а новой жизни ему, старому, не дожидаться.

Всего больше был поражен ее смертью младший, Сережа. Может быть, оттого, что все чувства у него проявлялись очень бурно и он не умел сдерживаться. А может быть, он понял каким-то чувством, что без матери останется слишком предоставленным себе и не сумеет с собой справиться. Время было такое, что только закаленные жизнью люди чувствовали власть над собой; другие же или терялись — и жизнь шла мимо них, или же разнуздывали себя до конца и плыли на гребне жизни, не зная, куда их вынесет волна. Сереже было тяжело еще и оттого, что в доме он был немного чужим, и только Ольга Константиновна отводила ему в своей душе место, равное месту других детей. Его друг Ткаченко не мог ему ничего дать, и только, пожалуй, Юленька, его двоюродная сестра, понимала, какую тяжелую утрату нес он со смертью матери.

В конце Рождества движение неожиданно восстановилось. Сразу в город пришло несколько поездов, набитых солдатами, возвращавшимися с фронта.

Александр на следующий день решил ехать. Отец не останавливал его. Катя даже торопила.

На прощанье она сказала ему:

— Помни, — позови!..

Он кивнул головой и исчез среди толпы, набившейся на площадке вагона.

А пришедшие с фронта солдаты разбрелись по деревням. Человек около пятидесяти осталось в городе. Первые дни они проводили в своих семьях, потом бурно и пьяно

встречали Новый год, паля все время из ружей и крича какие-то песни.

А потом созвали митинг, на котором объявили, что каждое утро можно записываться в милиции в партию большевиков-коммунистов, — там будет дежурить секретарь их комитета.

Горожане притихли. Базар опустел. По улицам ходили патрули и производили обыски.

Жизнерадостная молодежь бегала на митинги, и Юленька могла рассказывать о них без конца, особенно о выступлениях солдата Ивана Кособрюха. По ее мнению, он несомненно обладал талантом и ораторским темпераментом. На протяжении своей речи он часто падал на колени, вопил, иногда рыдал, проклинал, переходил на шепот и потом опять гремел.

Митинг — собрание всех граждан — решил упразднить Городскую думу. Товарищ Кособрюх по этому поводу высказался так:

— Кто выбирал ее, эту знаменитую Думу? Одни женщины да беспощадные старцы, а мы были на фронте, нас никто не спросил.

Дума немедленно была упразднена. Вместо нее был призван править городом революционный комитет.

Юленька уговорила и Сережу ходить на митинги.

В первый же раз, когда при нем говорил товарищ Кособрюх, Сережа не выдержал и устроил ему громкую овацию.

После речи своей Кособрюх подошел к ним и спросил:

— Вот я знаю, что вы нам не сочувствуете, а аплодируете. К чему бы это?

Сережа ответил:

— Товарищ, нам действительно не нравится то, что вы говорите. Мы аплодируем за то, как все это сказано.

Кособрюх ответа не понял, решил, что Сережа над ним глумится, и важно заметил:

— Конечно, может, мы и дураки. А вот на днях приедут к нам товарищи. Уж те, — будьте покойны, — умные. Посмотрим, как вы тогда зааплодируете.

Они вообще ждали чего-то.

Наконец, приехал этот умный большевик, товарищ Яур, латыш. Он сразу оказался председателем совета. В качестве такового открыл очередной митинг и выступил с обширным заявлением.

Он давнишний коммунист. Это дает ему право отнестись критически к работе более молодых товарищей. Советская власть сейчас победила своих врагов и займется новым строительством. Он предупреждает всех, что вся-

кая помеха, чинимая кем бы то ни было, будет сурово караться.

— Пока новые законы не написаны, я прошу помнить, что закон наш на конце штыка. — Так кончил он под аплодисменты большинства митинга.

Когда народ выходил из зала Думы, Юленька увидела товарища Яура в коридоре. С сильным нерусским акцентом он разговаривал с двумя солдатами и улыбался. Она подошла к нему поближе и потянула за собой Сережу.

Они услышали, что один солдат, указывая на рваные башмаки латыша, говорит ему любовно и подобострастно: — Дорогой товарищ, просто смотреть нельзя, что у вас башмаки драные. Дозвольте я у одного гада реквизирую для вас.

Яур засмеялся и сказал, что не надо.

Потом посмотрел на Юленьку и Сережу и громко заметил:

— А эти цыплята что по митингам шатаются? Будто не из наших?

Юленька обиделась и сразу же заметила, что у Яура руки краснее даже, чем у Ткаченко, и так же торчат из рукавов. А Сережа отвернулся и подумал, что Яур года на три старше его, не больше.

У выхода их встретил Кособрюх и спросил восторженно, как им понравилась речь нового товарища. Сережа ответил, что сам Кособрюх лучше говорит, а кроме того, какое касательство этот латыш имеет к городу? И, разозлясь, добавил:

— Ну, терпим дураков, да по крайней мере своих. А теперь еще чужого терпеть прикажете?

Кособрюх удивился его дерзости и заметил тихо:

— Берегись, милый человек. По дружбе говорю, берегись. А то плохо будет...

Товарищ Яур метался по городу в своей белой папахе, подчинял и распекал непокорных, отнимал единолично винтовки у пьяных солдат, судил, законодательствовал, заполнял сам маленький листок местных «Известий», говорил длинные речи все с тем же диким акцентом и обедал в ресторане ежедневно одними блинчиками с вареньем.

У Сережи росла к нему ненависть. Юленька тоже не забывала обиды. Особенно им, молодым, казалось нестерпимым, что этот мальчишка Яур командует всем городом и никто ни в чем не смеет противоречить ему.

Под их влиянием собралась молодежь — гимназисты и гимназистки, все участники любительских спектаклей. Они решили показать себя. Сережа уверял, что Яур трус и вызова не примет. Долго обсуждался план действий.

Наконец было принято решение.

После репетиции Юленька первая затянула «Боже, царя храни». Остальные подхватили. Громкий бас Ткаченко далеко разносился по улице.

Пели не больше двух минут. А вокруг уже раздавались тревожные свистки милиции. Скоро проскакал верхом патруль. Солдаты спрашивали прохожих, кто пел. Преступники были все скоро поименно обнаружены. Только одна гимназистка как-то скрылась от патруля и запыхавшись прибежала домой.

Через час началось экстренное заседание военно-революционного комитета, а весь город говорил, что обнаружена мощная монархическая организация, которая хотела свергнуть советскую власть.

Когда Павел Александрович узнал, что Сережа арестован, он сначала не очень испугался и решил, что все это недоразумение. Но вскоре к нему в кабинет вбежала Клавдия Алексеевна, Юленькина мать; лицо ее было покрыто красными пятнами, и все старания Кати ее успокоить ни к чему не привели. Она истерически выкрикивала что-то о расстреле, умоляла спасти ее Юленьку, кричала, что надо как можно скорее начинать хлопоты, иначе будет поздно. Потом неожиданно сорвалась и со словами: «Я к этому чудовищу Яуру» — выбежала из комнаты.

Катя решила тоже отправиться прямо к Яуру и выяснить, в чем обвиняют Сережу и что ему грозит.

Она пошла в дом, занимаемый революционным комитетом. В большой комнате стоял гул от множества голосов, говорящих о чем-то одновременно. Бродили солдаты с винтовками. Было пыльно и грязно.

Кате сказали, что у товарища Яура посетительница и ей придется подождать.

Через минуту дверь из кабинета широко открылась и оттуда вылетела красная, растрепанная и обливающаяся слезами Клавдия Алексеевна. За ней показался Яур в своей неизменной папаше. В комнате все сразу замолчали. А он кричал:

— С контрреволюционерами у нас один разговор: к стенке. Пощады быть не может. Нам нет дела до того, кто попался в преступлении. Ваша дочь не будет помилована. Я не обращаю внимания на ваши слезы.

Клавдия Алексеевна не заметила Кати и выбежала из комнаты.

А солдат уже докладывал Яуру, что еще одна просительница хочет его видеть. Он велел ввести ее.

Не садясь на предложенный ей стул, Катя громко и решительно сказала:

— Собственно, я уже узнала все, что мне нужно, и дальнейший разговор ничего нового не даст.

Но Яур опять попросил ее сесть и изложить суть ее дела. Ей показалось, что решительный тон на него действует успокаивающе.

— Дело мое заключается в том, что сегодня арестовали моего брата, Сергея Темносердова. Я хотела бы знать, за что он арестован и что ему грозит.

Яур заявил, что арестован он за участие в контрреволюционном заговоре.

Увидав, что Катя молчит, он начал опять кричать:

— Контрреволюции мы не терпим. Кто не признает советскую власть, тот наш враг. Наш закон мы заставим выполнять штыками.

Катя его решительно перебила:

— Простите, товарищ, я ужасно не люблю слушать повторений. Я только что имела счастье выслушать все эти истины, когда вы провожали мою предшественницу. Мне хотелось бы только знать, насколько эти обвинения доказаны и что Сергею грозит.

— Как? А пение гимна вы ни за что не считаете?

Яур говорил уже спокойнее. Катя почувствовала, что взяла правильный тон.

— Ну, если дело касается только этой мальчишеской выходки, то я, конечно, могу быть спокойна за участь брата. Мне кажется, что сильная власть, уважающая себя, не будет унижаться до того, чтобы карать слишком глупых мальчишек и девчонок. Но мне хотелось бы знать, когда же их освободят.

Товарищ Яур громко рассмеялся:

— Вы, право, молодец. Так дела можно делать. Но поймите же, товарищ, что ваши эти глупые мальчишки и девчонки ставят меня в отчаянное положение. Ведь я не могу им потворствовать: если я освобожу их сегодня, то завтра же каждый солдат будет на меня пальцем показывать. И могу уверить вас, что вашим мирным гражданам от моего провала не будет лучше. Вы встаньте на мое место и придумайте, что можно сделать. Я выполню.

Катя на минуту задумалась, потом, прямо смотря в глаза Яуру, сказала:

— Вы правы. Вы не можете по своему почину их освободить. Но вот как можно: кто-нибудь из членов военно-революционного комитета поручится за них и тогда их можно будет выпустить.

— Кто же, например?

Катя нерешительно сказала:

— Я мало кого из них знаю. Но вот, например, товарищ Кусони. Он долго был с моим братом Александром в одной организации и всегда подчеркивал свое хорошее

отношение к нему. Может быть, он согласился бы быть поручителем.

Но Яур только ухмыльнулся в ответ:

— Ну, это безнадежно. На заседании совета он требовал самых суровых мер против них. Вы вообще этому мерзавцу не доверяйте. Раньше он предал вашего брата, а в будущем так же легко предаст меня.

Катя с течением разговора все больше и больше удивлялась откровенной непринужденности этого маленького диктатора.

Яур продолжал:

— Вот что. Вы все же хорошо выдумали, и поручителя я попытаюсь достать. Что вы думаете о Кособрюхе? Он мне очень предан.

Катя сказала, что не знает его.

Яур нажал кнопку звонка. У дверей через минуту выросла фигура солдата. Яур велел позвать Кособрюха, но вдруг решил, что Кате лучше при их разговоре не присутствовать, и отпустил ее.

Вечером раздались у подъезда Темносердова тревожные звонки. Катя выбежала в переднюю и отперла дверь. На пороге стояла Клавдия Алексеевна и, видимо, плохо соображая, твердила, увлекая Катю за собой на улицу:

— Скорее, скорее к Яуру. Их решили сегодня на расвете расстрелять.

Катя заявила решительно, что с ней вдвоем она никуда не пойдет, потому что ее волнение только испортит все дело. Потом торопливо оделась и опять пошла в революционный комитет.

Там было почти пусто. Несколько солдат спало на столе. Яура не было. Кате сказали, что он живет в гостинице «Флоренция», маленьких номерах на базарной площади.

Когда она подошла к номерам, они были уже заперты. На три повторных звонка отворил двери какой-то заспанный малый и проводил Катю до комнаты Яура. На ее стук дверь почти моментально распахнулась.

Яур удивился ей. Он был сейчас какой-то другой, чем на людях.

— Вот не ждал вас, — сказал он просто.

Катя заметила, что он без башмаков и неловко старается скрыть от нее свои ноги в упавших грязных и дырявых носках. Вообще, от всей комнаты повеяло на Катю страшной бесприютностью. На смятой кровати валялась книжка. На столе стоял недопитый стакан чаю, и рядом с ним лежала платяная щетка. Свет от лампы ударял в глухую стену соседнего дома. Окно было не завешено.

Яур, видимо, догадался, зачем она пришла, и начал:

— Все хорошо. Товарищ Кособрюх согласился. Он даже уверял меня, что и на самом деле Сергей Темносердов, ваш брат, и эта девица, мать которой так много плачет, всегда очень аплодировали на его выступлениях, и ему кажется, что из них когда-нибудь выработаются настоящие коммунисты. Правда ли это?

— Нет, не правда.

Катя объяснила, почему Сережа и Юленька аплодировали Кособрюху.

Яур слабо улыбнулся:

— Да, он очень смешной бывает, но он лучше других, он искренний.

Катя хотела идти. Но Яур удержал ее.

— Если вам не очень здесь со мной скучно, то побудьте еще немного.

На ее удивленный взгляд он пояснил:

— Так устаешь от этой суеты. И так в этой суете одиноко. Вы знаете, мой отец был старым революционером и погиб. Мой брат был расстрелян, — вы слышали что-нибудь о лесных братьях? — он был одним из них. Они не дожили до нашей победы, а я вот дожил и не радуюсь. Каждая победа портит идею. Вы с этим согласны?

Катя удивлялась все больше и больше. Но тут она разозлилась и ответила резко:

— Вольно же вам победу такими методами осуществлять.

Но он опять мягко перебил ее:

— Забудьте, что я большевик. Мы сейчас просто, как люди, будем разговаривать, если вы того захотите. Мне кажется, что я был бы счастлив в момент победы умереть. Только бы не видеть этих рож, только бы не чувствовать, что вся сила в руках темных, своекорыстных, диких...

Он сильно закашлялся, и у Кати мелькнула мысль, что он болен.

Далее он продолжал почти истерически:

— Презираю. Презираю всех, всех. Презираю буржуазию за то, что она меня боится и позволяет кричать на себя; презираю солдат за то, что они меня слушаются и позволяют — даже пьяные — вырывать у себя винтовки, вместо того чтобы винтовками этими прямо в грудь, прямо в грудь...

И опять закашлялся...

— Но если они заметят, что я слаб, если они почувствуют во мне равного себе человека... О, тогда будьте покойны, каждый подойдет, чтобы плюнуть в лицо, каждый надругается.

Кате становилось как-то душно.

Словно почувствовав, что она его жалеет, он рассердился и заспешил:

— Вы думаете, что мне ваше сочувствие нужно; вы думаете, что я позволю себя жалеть. Не смейте жалеть. Просто среди всей этой гнили мне показалось утром, что вы настоящий человек. А знаете, как должны настоящие люди встречаться? Я зову вас на борьбу. Вы нам чужой человек. Вы нас всех ненавидите. И я говорю вам: давайте бороться, бороться насмерть. Единственное, что я вам обещаю, это то, что, презирая всех, я буду уважать вас, но, несмотря на это, я буду беспощаден.

— Ну, — возразила Катя, — ведь с вами-то бороться не очень интересно. Если вы где-нибудь почувствуете, что я вас побеждаю, вы велите вашим солдатам арестовать меня и конец.

Но Яур начал возражать ей, мечась по комнате:

— Нет. Если вы вынудите меня арестовать вас, это будет значить, что вы меня победили. Но вам не удастся этого, вы не добьетесь ареста.

Кате мелькнуло в нем что-то ребяческое. И уже совсем весело улыбаясь, она сказала:

— Согласна, согласна, товарищ грозный мальчишка. Хотя, по правде, у меня к вам сейчас совсем никакой ненависти нет!

Она встала. Он проводил ее до дверей.

Через несколько дней Сережа, Юленька, Ткаченко и вся их компания преступников по поручительству товарища Кособрюха были выпущены на свободу.

IX

Петр за последнее время как-то сжался и потускнел. Сначала его выбрали командиром полка. Потом через два дня сменили. Потом опять выбрали и грозили, что в случае неповиновения воле выборщиков и отказа от должности будут его судить. Но, несмотря на это, он отказался, успев за время своего пребывания в должности написать только одну бумагу по начальству, в ответ на то, что необходимо принять все меры для защиты полкового имущества от разграбления.

Он ответил рапортом: «Мною приняты все имеющиеся в моем распоряжении меры, вплоть до уговора».

После его отказа не только не последовало суда, а, напротив, солдаты выбрали его в полковой комитет. Он решил не отказываться больше.

Работать пришлось, главным образом, с неким Лошкаревым, солдатом из фабричных, человеком бывалым и ловким. Этот Лошкарев в дни первых братаний стащил у австрийцев пулемет и, несмотря на то, что рисковал быть

узнанным, отправился к ним в окопы на следующий день после этого, взяв с собой несколько кусков глины, тщательно обмазанных со всех сторон мылом. У австрийцев он выменял на этот свой товар две рубахи и серебряные часы. Правда, впоследствии часы оказались не серебряными, а никелевыми. Но несмотря на это, всем солдатам понравился такой способ мены, и накануне очередного братания вся рота занялась фабрикацией мыла из глины.

Все это Петру было бесконечно противно, но он продолжал тянуть лямку. Часто возникал вопрос: чем может это кончиться?..

К началу весны от полка кроме офицерского состава осталось только человек пятьдесят солдат. Все они разместились в небольшом католическом монастыре на границе Галиции и ждали, чтобы прошла весенняя оттепель, которая мешала передвижению.

Петр скучал, слушая часами рассказы Лошкарева о своих подвигах, где ложь смешивалась с правдой самым причудливым образом, и никак не знал, как быть дальше.

Самым опасным сейчас было оторваться от своей части. Здесь, в силу какого-то своеобразного патриотизма, свои солдаты чужим людям офицеров на суд не отдадут. С ними же самими можно кое-как ладить, но стоит только оторваться от своих, как становишься сразу гонимым золотопогонником, — и тогда никто защитит не сможет.

Офицеры решили совместно обсудить, что им делать, когда последние солдаты разбегутся. Было два мнения: большинство, ввиду полной невозможности пробираться домой одиночным порядком, решило идти к австрийцам, — даром что война как будто и кончена, — в плен, авось примут. Меньшинство, состоявшее из Петра и поручика Чижикова, заявило, что нужно дотянуть каким-нибудь образом полковое имущество до Киева. Спорили долго и ни к какому решению не пришли. К мнению Петра присоединился еще один поручик. Тогда решили друг другу не мешать и действовать каждому сообразно своему желанию.

Петру при помощи Лошкарева удалось уговорить солдат не рассыпаться еще хоть неделю. Тот же Лошкарев ездил куда-то хлопотать о теплушке, и несколько дней спустя они уже перетаскивали на исхудавших клячах казенное имущество из монастыря на станцию и грузили его.

Тронулись не скоро: сперва не могли найти начальника станции, потом машинист забыл набрать воды... Ехали долго, с частыми остановками. На одной узловой станции пришлось выдержать форменную атаку. К ним в теплушку ломались, требовали, чтобы они бросили имущество и

впустили людей. Петр хотел выйти к толпе, но Лошкарев не пустил и сам отбил эту атаку. Дальше ехали без приключений до самого Киева.

В Киеве опять суета, ежеминутные требования документов. Петр был рад, что в последнюю минуту догадался сам написать себе удостоверение от имени своего полкового комитета. Для патрулей печать в порядке — большего не требовалось.

Несколько дней прошло в поисках такого учреждения, которое согласилось бы принять полковое имущество.

Но вот можно было ехать и дальше. У Петра оставалось только два попутчика из своих солдат, да и те к вечеру высадились.

Дальше предстоял страшный путь одиночным порядком. Лошкарев советовал на прощанье отдать кому-нибудь австрийскую винтовку, которую Петр хотел привезти домой, но он не обратил внимания на этот совет.

На какой-то большой станции стояли два часа. Шла тщательная проверка бумаг. Когда очередь дошла до Петра, он, успокоенный прежними удачами, протянул без всякого волнения свое удостоверение.

Солдат прочел его внимательно и даже посмотрел зачем-то на свет, потом передал двум другим. Те вполголоса начали читать опять все сначала, поправляя друг друга. Потом переглянулись и зашептались.

Петр протянул руку за удостоверением. Но один из солдат велел ему слезать и идти за ними. Он взял свой мешок и винтовку и пошел вдоль платформы. Толпа, стремящаяся попасть в поезд, на него не обращала внимания.

Солдаты привели его в бывший буфет первого класса. Тут было пусто. Шкафы буфета были забраны досками. Столы стояли в углу один на другом. Скоро пришел часовой с винтовкой с примкнутым штыком. Петр заметил, что он пьян. Потом один из караульных принес два стакана и бутылку водки.

Поезд ушел. Толпа на платформе начала таять. В дверь заглянул было заспанный телеграфист и скрылся.

Солдат ловко раскупорил бутылку и, наливая сначала Петру, а потом себе, предложил ему выпить. Петр отказался.

— Пей, товарищ, я то я с трезвым человеком говорить не умею.

Петр решил, что лучше не спорить, и глотнул. Это была даже не водка, а какая-то странная смесь, которая жгла горло и била в голову. Он отставил стакан. Солдат не заметил этого жеста и стал пить медленно, наслаждаясь каждым глотком.

Потом повернул мутный взгляд на Петра:

— Ты, значит, товарищ, офицер будешь?

— Да.

— Та-ак.

Опять молчание; только булькает пьяная жидкость из бутылки.

— Как же это ты, из народных кровопийцев, значит, а винтовку за собой тянешь? Это ты что ж, против нашего брата?

Петр, чтобы отвязаться, сказал, что отцу в подарок.

Солдат хитро ухмыльнулся:

— Это ты, товарищ дорогой, врешь. Я все-е знаю. Знаешь, что Корнилов объявился?

— Нет, не знаю.

— Врешь, дорогой... Врешь...

Опять молчание. Солдат будто задремал. Потом неожиданно вскочил. Схватил свою винтовку наперевес и кинулся на Петра.

Тот схватился руками за штык:

— Ты что, с ума сошел?

— С ума я не сошел. А ты хоть и милый человек, а заколоть тебя надо. Так...

И неожиданно для себя шлепнулся на стул. Он был совершенно пьян.

Потом налил себе и выпил.

— Пей и ты, товарищ дорогой, так оно лучше.

Петру становилось совсем не по себе.

В комнате не было света. В окно только сиял белый фонарь.

А солдат, немного очнувшись, продолжал:

— Да, милый человек, вам один конец: в штыки и баста.

Он, видимо, опять хотел схватить свою винтовку, но раздумал.

— Вот ты командовал, — ты мог меня штыком. А теперь я командую, — я штыком. Понял? Нет, ты скажи, ты понял?

Так медленно шли часы ночи. Раза три солдат хватался за свою винтовку. Наконец он заснул. Петр начал соображать, как ему поступить. Обратил внимание, что дверь полуоткрыта.

Бежать? Но куда в этом незнакомом месте? Все равно поймают.

Он сел опять и стал рассматривать спящее лицо своего тюремщика. Рыжие усы обвисли. На покрасневшем лбу виднелись капельки пота.

До рассвета было далеко. Через полчаса начал медленно высыпать на платформу народ. Петр подошел к окну

и увидел, что контрольный патруль тоже прохаживается по платформе. Подошел поезд, и начался обычный бой между пассажирами, рвавшимися попасть внутрь. Петр видел, как в передний вагон вошел патруль.

В одну минуту у него созрело решение. Он схватил свой мешок и винтовку и стал напряженно ждать у окна. Солдат громко храпел и ворчал что-то во сне. Патруль перешел в следующий вагон.

Петр кинулся на платформу, сбил с ног какого-то старика и затерялся в толпе, осаждавшей поезд. С силой протискиваясь вперед, он добрался до вагона, ухватился за поручни... Одна, две ступеньки... И как раз в ту же минуту поезд медленно двинулся.

Петр вздохнул с облегчением.

Два дня он ехал спокойно. Впереди предстояла только рискованная остановка в Ростове. Говорили, что дальше проезд свободный, но что за Ростовом делается что-то непонятное.

Приехали на закате. Петр страшно устал. Неожиданно он сообразил, что в Ростове живет отец его однополчанина, и стал припоминать адрес.

На улицах мигали редкие фонари. Прохожих почти не было. Изредка встречались конные патрули. Петр волочил свою винтовку и мешок.

Свернув в боковую улицу, Петр заметил, что какая-то дама, осторожно держась в тени, пробирается около стен.

«Эта, наверное, из нашего брата», — подумал он о подошел к ней.

Она вздрогнула всем телом.

— Ради Бога, не волнуйтесь, — сказал он тихо, — я хочу вас спросить, как мне найти одного знакомого.

Дама, пристально взглядевшись в него, еще сильнее испугалась и зашептала.

— Я вижу, что вы офицер. Как вы решились выйти?

Петр ничего не понимал.

— Я только что с поезда, — ответил он.

Тогда дама схватила его за руку и стала быстро шептать, оглядываясь по сторонам:

— Ну, так знайте, что третьего дня добровольцы ушли в поход. Сейчас здесь власть красных. Офицеров ищут везде. Смерть неминуема, если вас узнают... — И она быстро отошла прочь.

Петр в недоумении остановился. Потом медленно, все так же сгибаясь под тяжестью мешка и винтовки, направился через весь город к вокзалу. Страшно хотелось есть...

Встречные патрули его больше не останавливали. У него мелькнула мысль, что этим он обязан своей вин-

товке: она придает ему легальный вид человека, которому нечего бояться и таиться. До вокзала он добрался благополучно. Сел в поезд, сравнительно не очень наполненный.

Когда отъехали, на первой станции патруль, проверяющий документы, очень долго задержался в соседнем купе. Потом с громкой руготней стал требовать из него какого-то человека.

И вдруг Петр услышал злой, металлический голос:

— Да, я не скрываю, что я офицер. Но вывести себя отсюда я не позволю. Вы видите, у меня две ручные гранаты. Если вы сейчас не уйдете из вагона, то и вы, и я через минуту взлетим на воздух!..

Патруль помялся секунду и прошел дальше.

Х

После своего освобождения Сережа резко изменил прежнее отношение к Яуру. Сначала он зашел к нему на квартиру вместе с Ткаченко, чтобы от имени всей компании поблагодарить его.

Яур встретил его просто и просил чуть ли не с первых слов изобразить, как произносит речь товарищ Кособрюх. Сережа таких просьб не заставлял повторять дважды.

Он неожиданно упал на колени среди комнаты, выкатил глаза и, разрывая рубашку у себя на груди, начал вопить:

— Товарищи, кошмарная рука товарища Яура сжала в железных тисках всех граждан: нас — фронтовиков, женщин и беспомощных старцев.

Это было так похоже, что Яур расхохотался.

— У вас талант. Я был бы счастлив, если бы у меня был такой талант. Это ведь самое большое счастье.

Сережа был польщен. Ничто не доставляло ему такого удовольствия, как признание в нем артистических способностей. За это он готов был простить Яуру все.

С этого дня дружба их стала расти. Однажды Яур сказал, что больше всего на свете любит музыку. Сережа объявил, что Юленька прекрасно играет, и потащил его в дом ее отца, а своего дяди, Михаила Александровича, в «ковчег», как все называли эту всегда полную народа гостеприимную обитель. Сначала Яур долго не хотел идти, говоря, что если солдаты узнают, что он посещает дома буржуазии, то решат, что он ей продан, и устроят скандал. А по существу он попросту стеснялся. Ему казалось диким в качестве частного человека прийти в благоустроенный дом, разговаривать с дамами, слушать музыку.

Но Сережа ничего и слышать не хотел. Почти силком дотащил он Яура до «ковчег», впихнул в переднюю и стал сзывать народ.

Юленька первая выбежала им навстречу и остановилась в удивлении.

Но Сережа не смутился.

— Юля, это мой друг. Я тебе говорил уже. Он прекрасный ценитель искусства. Ты должна играть ему.

В гостиной она усадила его около рояля и сразу начала играть, к явному удовольствию понемногу успокоившегося гостя.

Яур стал изредка бывать в «ковчеге», всегда молчаливый и угрюмый. Зато они часто гуляли втроем, и тогда он один говорил, а Сережа и Юленька больше слушали его.

В окрестностях города между тем было неблагополучно. Ограбили двух мужиков, продавших на базаре дрова и возвращавшихся домой; ограбили купца; ночью ворвались в церковь соседней деревни и вынесли из нее всю ценную утварь.

Становилось небезопасно и в самом городе: следовательно еле укрылся у знакомых от гнавшихся за ним ночью грабителей; с одной дамы сняли серьги и кольцо. Яур говорил, что он надеется в ближайшем будущем прекратить это.

В «ковчеге» стали замечать, что Юленька при каждом удобном и неудобном случае говорит об Яуре. Мать, оставшись как-то наедине с нею, спросила:

— Девочка, я не ошибаюсь, что ты этим Яуром очень увлекаешься?

Юленька ответила, не смущаясь:

— Да, мама, он мне очень нравится...

Однажды они шли втроем, по обыкновению, — Юленька, Сережа и Яур — и случайно встретились с Катей. Яур страшно смутился, особенно заметив Катину улыбку. Потом рассердился на себя и сказал ей:

— Улыбаться еще рано: если меня не убьют, то борьба наша будет неизбежна... А если убьют, то мне хотелось бы, чтобы вы при моей смерти присутствовали и видали, как мы умеем умирать.

Катя опять улыбнулась:

— Господь с вами. Живите еще десятки лет. Ведь это для младшего возраста — эти разговоры о смерти. Вот посмотрите, как Юленька пришла в восторг и испугалась. А я, право, к таким разговорам мало чувствительна... — И пошла своей дорогой.

А Яур сказал ей вдогонку с досадой:

— Ведь вот какая: хочет, чтобы за ней всегда оставалось последнее слово. Так нет же: убьют, убьют, — это наверно!

Сережа начал расспрашивать, кто может его убить, и заметил, что для всех, принципиально не приемлющих советскую власть, он лично приемлемее всякого другого большевика.

Но Яур отрицательно покачал головой:

— Нет, этих контрреволюционных слизней я не боюсь. Они сами для этого слишком трусливы. Меня убьют свои. Дело об участии солдат в шайке на днях должно выясниться. Они знают об этом, и мне несдобровать.

Сережа обдумывал молча все сказанное, а Юленьке стало и жалко Яура, и вместе с тем она почувствовала себя гордой, что немного замешана в таком романтическом деле.

После одной из таких прогулок с Сережей и Юленькой Яур шел домой. До него донеслись с другого конца улицы громкие крики. Было поздно. Крутом ни души. Он кинулся бегом на крики, которые не смолкали. Но он опоздал: перед ним за минуту грабители выбежали из дома податного инспектора Никитина, захватив с собой столовое серебро и значительную сумму денег.

Податной инспектор лежал со связанным ртом у себя в кабинете, а кричали его жена и горничная с балкона. На расспросы Яура они рассказали, что грабители были в масках, трое солдат, а остальные в штатском.

Когда он уходил, то на дворе заметил какой-то блестящий предмет, который оказался портсигаром. Он внимательно его осмотрел и сунул в карман. Потом медленно направился на окраину города к дому мещанина Леденцова.

Там был еще свет. Он постучался в окно и ждал довольно долго. Наконец старший из братьев, подозрительно вглядываясь в темноту, открыл двери. Яур назвал себя, сказал, что страшно голоден и зашел на огонек поесть. Леденцов впустил его в комнату.

Остальные два брата сидели за столом и ждали объяснения стуку в окошко. Яур поздоровался с ними и начал какой-то общий разговор. Принесли творогу, хлеба и вина. Просидел он у них с полчаса. И уже уходя непридуманно спросил:

— Вот, товарищи, чуть было не забыл: у вашего двора портсигар нашел. Не ваш ли?

Он протянул портсигар.

Второй Леденцов сказал:

— Вот добро, а я его целый вечер ищу. — И протянул руку.

Улика была налицо. Станным взглядом поглядел Яур на него. Сначала хотел промолчать, но вдруг злоба охватила его с силой.

Не сдерживая себя, он начал:

— Товарищ, нашел я его довольно далеко отсюда...

Но резко оборвал себя.

А Леденцовы переглянулись: они, видимо, поняли, в чем дело.

Яур ушел от них. Весь следующий день он совещался с бывшим следователем. К ночи решение было готово. В час патруль должен был арестовать Леденцовых и их сообщников.

Перед вечером Катя сидела в своей комнате и читала. Вдруг ее заставил вздрогнуть неожиданный стук в окно. Она взгляделась в темноту внимательно и заметила белую папаху Яура. Она отворила окошко.

— В чем дело?

— Я думаю, что меня сегодня убьют, — сказал он спокойно, — вы тогда поспешите посмотреть, как я буду умирать.

Он отошел прочь, а Катя только пожала плечами и закрыла окно.

Сережа решил встретить Яура у военно-революционного комитета и оттуда пойти слушать Юленькину музыку. Он ждал недолго. Вышли быстро и отправились вверх по улице.

На третьем квартале издали увидели сидящих на скамейке людей. Сережа заметил, что Яур вздрогнул, но не обратил на это никакого внимания.

Сидящие были совершенно неподвижны. Когда они приблизились к ним, один из них вскочил, другой сидя бросил под ноги Яуру какой-то сверток.

Сережа заметил только, как выхватил Яур револьвер; потом упал, оглушенный страшным взрывом. Раздалась частая стрельба. Сережа потерял сознание.

Народ со всех сторон сбегался на стрельбу. Мчался патруль.

Вскоре раненых Яура и Сережу солдаты внесли в революционный комитет.

Кто-то дал знать Павлу Александровичу. Катя прибежала в комитет и, еле пробившись через толпу, увидела на полу лежащих Яура и Сережу. Над ними уже суетился доктор.

Яур сразу заметил ее и почти крикнул:

— Смотрите, как я умираю. — Потом добавил: — Возьмите мой револьвер на память.

Катя почти не слышала его: она наклонилась над Сережей.

Доктор шепотом сказал ей:

— Этот будет спасен. А тот безнадежен. И организм никуда, — дохлятина.

Катя пыталась уговорить солдат отнести Сережу домой. Но никто не соглашался: они хотели присутствовать при смерти товарища Яура.

Тот начал уже терять сознание, требовал пить и говорил еще что-то быстро, быстро на языке, которого никто из окружающих не понимал.

Солдаты сгрудились толпой. Доктор истерически заявлял, что при таких условиях не может работать.

В толпе были и три брата Леденцовы.

Пришло еще несколько солдат, совершенно пьяных, со штыками. Они начали кричать, что сейчас же убьют преступников, лишивших их товарища Яура, и направили штыки на доктора, что он виновник-то и есть.

Катя с силой схватилась за чей-то штык и, не помня себя, громко потребовала прекратить безобразие и уйти. К удивлению доктора, толпа отодвинулась на несколько шагов.

Сережа застонал. Катя наклонилась к нему. Он был без памяти.

Пока она усиливалась подложить ему под голову шинель, Яур все продолжал что-то невнятное говорить. Но дыхание его становилось все тяжелее.

— Кончается, — прошептал кто-то около Кати.

Она приподнялась и взглянула на него. Лицо стало зеленым каким-то. Глаза были полузакрыты. Из рта сочилась тоненькой струйкой кровь.

Через секунду он вздрогнул и вытянулся.

Доктор опять подошел к Сереже.

Солдаты замолчали; только по-бабьему, уткнувшись в подоконник, громко причитал и выл Кособрюх.

Вскоре перенесли Сережу домой. У него было прострелено правое легкое. Кроме того, отравление взрывом сказывалось непрекращающейся тошнотой.

На следующее утро зал военно-революционного комитета был разубран красными знаменами.

Яур лежал на столе, желтый, маленький, как будто недоумевающий.

Толпа прибывала все время. Солдаты молчали. У стенки стоял, весь сжавшись, Кособрюх. Члены исполнительного комитета суетились и расставляли новые знамена.

Среди всеобщей тишины через толпу приблизилась к мертвому Юленька. Глаза ее были заплаканы. Она сразу бросилась на колени и, крестясь, начала бить земные поклоны. Слезы бежали по ее щекам.

Два солдата, взглянув на нее, тоже перекрестились.

Началась расправа.

Солдатская масса от неожиданной смерти товарища Яура, с одной стороны, озлобилась, с другой — страшно перепугалась. Везде мерещились заговоры, везде чудились мощные организации, которые могут в один прекрасный день смести советскую власть и расправиться со своими противниками. Надо было спешить: по малейшему подозрению стали хватать всякого, чтобы в корне подрезать возможность заговоров и восстаний.

Это настроение всеми мерами поддерживалось братьями Леденцовыми; они хотели замести следы и заставить обвинить невинных в убийстве, чтобы тем потушить чувство подозрительности и прекратить дальнейшие розыски.

Бурный митинг провозгласил, что убийство товарища Яура дело рук местной интеллигенции. Один из Леденцовых был главным обвинителем.

В ту же ночь было арестовано трое: агроном Пискарев, учитель Тимофеев и присяжный поверенный Карпович. Карповичу удалось бежать из-под ареста и скрыться, а тех двоих митинг судил.

Пискарев сразу понял, какая опасность грозит ему, и говорил истерически, умоляя о пощаде, а Тимофеев, видимо, совершенно не усваивал обстановку и начал тянуть бесконечную принципиальную речь, где упоминались и завоевания революции, и роль интеллигенции в освободительном движении, и сидение его, Тимофеева, в тюрьме при старом режиме.

Его начали прерывать криками «довольно».

Леденцов настаивал на их осуждении. Улик не было. Единственным доказательством их виновности Леденцов выставлял то, что убийц было двое и их сейчас перед толпой тоже двое.

Но он так настойчиво твердил об опасности, которой подвергается советская власть в городе, так наглядно рисовал участь всех советских деятелей в случае торжества какой-либо другой силы, что у толпы совершенно определилась психологическая потребность во что бы то ни стало сейчас же, не откладывая этого дела ни на минуту, найти виновных и расправиться с ними. Только это могло уничтожить чувство затаенного ужаса, которым были охвачены все большевики.

На глазах подсудимых поднятием руки митинг голосовал вопрос об их виновности. Небольшим большинством признали, что учитель Тимофеев и агроном Пискарев в целях свержения советской власти убили товарища Яура.

Следующим стоял вопрос о наказании виновных. Так же поднятием рук было решено их сейчас же расстрелять.

Во время этих голосований Пискарев низко опустил голову, а Тимофеев с удивлением оглядывал поднятые руки.

Когда вопрос был решен, Пискарев глухо зарыдал.

Тимофеев же, видимо, не верил, что все это происходит в действительности. Он потирал себе руки и твердил:

— Товарищи, да ведь это какое-то страшное недоразумение. Товарищи, да что же это такое?

Их тесным кольцом окружила охранная рота.

Митинг медленно расплзался. Мещане, проходя мимо арестованных, старались на них не смотреть. Было очень тихо.

Тимофеев курил не переставая и продолжал убеждать в своей невинности солдат охранной роты. Те тоже отмалчивались и старались не глядеть на него.

Потом их повели за город. Все словно вымерло. На улицах не было ни души.

Гроб Яура стоял в пустой комнате: солдаты ушли на расстрел, а граждане забились по своим домам.

Через час все было кончено. Окровавленных два тела валялись в карьере каменоломни. Над Тимофеевым склонилась его жена и смотрела на него невидящими, сухими и безумными глазами...

В эти тревожные дни Катя как-то увидела, что мимо ее окна проехал извозчик с каким-то солдатом. В фигуре солдата ей показалось что-то знакомое. Она пристально взглянула и с удивлением заметила, что солдат уже расплачивается с извозчиком около подъезда их дома. Она пошла посмотреть, кто это.

Не успела она отворить двери, как вскрикнула с радостным испугом: перед ней стоял ее брат Петр.

На ее возглас вышел из комнаты Павел Александрович и, смотря на Петра, строго начал было:

— В чем дело? Или обыск?..

Но тот уже тискал его в объятиях, смеялся и твердил:

— Вот до чего я дожил! Отец родной не узнает...

Начались расспросы. Петр рассказал, как он добрался домой с развалившегося фронта. Даже Сережа немного оживился. К вечеру, когда уставший Павел Александрович ушел спать, Сережа неожиданно начал откровенничать; он много говорил об отношениях Юленьки и Яура, а потом добавил:

— Вот я и сейчас не могу быть с ней, а вместе с тем я знаю, как ей тяжело и одиноко! Ах, ведь удивительно глупо делить людей по партиям: они ведь все на самом деле одинаковы.

Петр слушал все внимательно и серьезно.

— Значит, Юленька уже взрослая сейчас. Вот не думалто, — удивился он.

Катя советовала Петру держаться как можно больше в тени, потому что хотя большевики благодаря ранению Сережи их не трогают, но все может измениться с прибытием к ним в дом офицера. Тогда им несдобровать, а в первую очередь, конечно, самому Петру.

На следующий день Петр с Катей пошли в «ковчег». Он был там сумрачен, о своем не рассказывал.

Когда вышла к ужину Юленька, Петр подошел к ней первый и ласково сказал:

— Вот вы, Юлия Борисовна, уже взрослым человеком стали, — это хорошо.

И так посмотрел на нее, что она не удивилась необычному величанию по отчеству, а поняла, что этими простыми словами хотел он сказать нечто большее.

Она посмотрела на него с благодарностью, но ничего не ответила.

За ужином хозяин дома начал:

— Ну, а о наших новостях слышал? Братца твоего как подстрелили? А все оттого, что с этим авантюристом связался.

Петр посмотрел на Юленьку: она покраснела до корня волос, но не проронила ни слова. Ему стало нестерпимо жалко ее. И быстро, торопясь будто, он начал возражать:

— У меня, дядя, со слов Кати и Сережи составилось совершенно другое впечатление о деле. Ведь этот Яур был, несомненно, не типичным большевиком, а большим романтиком. Еще слава Богу, что между ними такие встречаются.

Юленька посмотрела на него с благодарностью, а он подумал, что все же недостаточно ясно подчеркнул свою мысль.

Михаил Александрович вскипел:

— Фразер, мальчишка, кружил тут голову всякой дуре, на эту смерть как на рожон лез!..

— Будет, дядя, на смерть люди от радости не идут.

— Да ты что, на фронте большевиком стал? — вдруг решил Михаил Александрович.

Тут и Петр разозлился. Покраснев, он начал:

— Человеку, пережившему развал армии и все унижения, которые я перенес как офицер, нельзя стать большевиком. Я им враг был и буду. Но я не озверел до такой степени, чтобы и во врагах не видеть человека. Каждый раз, когда я замечаю в них что-нибудь в подлинном смысле человеческого, я радуюсь. И думаю, что Юлия Борисовна на лучше разглядела человека, чем вы...

Катя начала заминать разговор: она видела, что Петр вне себя. Конец ужина прошел в полном молчании.

На следующий день Юленька пришла навестить Сережу. И долго рассказывала Петру все ту же историю двухмесячного владычества в городе Юра.

Он слушал каждое ее слово так внимательно, что она про себя подумала: «Ведь вот он уже не мальчик, а слушает серьезно. Значит, действительно меня за равного себе взрослого человека считает».

А Петру казалось, что в Юленьке он видит то понимание, ту чуткость, которой нет у других: в такое сумасшедшее время люди замечают только внешние события, чувствительность их притуплена и душевный мир даже самых близких людей становится им неинтересен и недоступен.

Внутренний мир самого Петра был в таком состоянии, что всякое внимание к нему заставляло его дорожить им. Он страшно устал от фронта, устал не только физически. Долгие годы борьбы и лишений были неоправданны, казались какими-то глупыми донкихотскими похождениями, никому не нужными. Основное, чем он болел все это время, была боль о России. Теперь же ясно, что, даже жертвуя жизнью, миллионами жизней, ее спасти нельзя. И вся работа прошлая стала ему казаться сплошной нелепостью.

С Юленькой было ему тепло и тихо. Можно было молча смотреть на нее и радоваться тому, что вот сейчас, когда в городе пьяные солдаты занимаются расстрелами, когда вся жизнь опоганена и ничего не осталось, рядом с ним сидит человек, воспринимающий жизнь чисто и ясно, не запачканный этой грязью, не исковерканный бессмыслицей своего прошлого и безнадежностью будущего.

Так начала расти между ними большая и тесная дружба, с примесью со стороны Петра безграничной нежности.

Между тем в городе заговорили о близости мобилизации.

Петр заявил дома, что регистрироваться не пойдет. Решено было, что ему необходимо скрыться. Знакомый хуторянин, живший в глуши, согласился временно переждать Петра.

В день мобилизации Петр ушел. Явившимся за ним солдатам сказали, что он на несколько дней поехал на охоту.

Юленька через два дня пришла к Кате и Сереже, уселась тихо на диване и, обхватив колени руками, сказала:

— Вы себе представляете, как ему там, наверное, скучно? Я думаю, что Сережа настолько поправился, что мог бы его навестить, а мы все по письму с ним пошлем.

Но Катя строго заявила, что Сережа никуда не пойдет: во-первых, он для этого недостаточно здоров, а во-вторых, это может навести большевиков на след.

В воскресенье приехал на базар хуторянин; сам не зашел, а через верного человека передал, что все благополучно, только у Петра Павловича лихорадка сильная.

Юленька, узнав об этом и услышав, как Павел Александрович с Катей обсуждают вопрос, каким путем доставить Петру хины и красного вина, предложила свои услуги. Но Павел Александрович сказал ей строго, чтобы она не думала делать такой глупости и идти одна в глухое место, куда она вдобавок и дороги не знает.

Возвращаясь домой, она решила, что все равно пойдет.

Наутро, купив вина и хины и не сказав никому ни слова, — только Сережу просила всех успокоить, если она задержится, — Юленька двинулась в путь.

На хуторе с лаем накиннулись на нее собаки. Немолодая женщина вышла на крыльцо и стала их отгонять.

— Вам что, барышня?

Юленька храбро ответила:

— От Павла Александровича лекарства его сыну принесла.

Женщина взглянула на нее подозрительно, потом сказала:

— Не пойму я, о чем вы говорите. Вот мужа сейчас пришлю. — И ушла.

Юленька ждала, окруженная собаками, которые на нее недружелюбно поглядывали и ворчали.

Опять отворилась дверь. Вышел бородатый мужчина и, увидав ее, сказал:

— Пожалуйста, пожалуйста. Они рады будут.

Он, видимо, знал ее.

Через минуту она входила в маленькую каморку, отведенную Петру. На ее шаги он не обернулся, а продолжал лежать на кровати лицом к стене. Она его окликнула. Он удивленно вскочил.

— Вы как сюда? С кем? Одна? Да как вы решились в такую даль?

А Петр и бранил ее за отчаянность, и вместе с тем никак не знал, чем бы сильнее подчеркнуть свою радость и свою благодарность.

Юленька начала возню с маленькой хозяйской девочкой. Петр смотрел на нее, улыбался и думал, что лучшей жизни, чем сейчас вот, он себе не представляет.

Потом как-то уж слишком быстро настал вечер. Надо было решить, каким способом Юленька отправится домой. Петр хотел, чтобы хозяин довез ее до города. Это можно было еще сделать до полной темноты.

Но Юленька заявила, что она на это ни за что не согласится, так как около города ее может встретить разъезд и решить, что за такой поздней прогулкой скрывается что-то подозрительное. Она заявила, что остается ночевать здесь, а утром пешком пойдет домой; дома не будут беспокоиться, потому что Сережа предупредит всех.

Так и решили. Она заняла хозяйскую широкую постель, а хозяева легли на печке.

Утром чуть свет она двинулась домой. Петр провожал ее недолго и на прощанье поцеловал ей руку. Она очень смутилась. Ей показалось, что в их отношениях не все так просто, как она думала. И уже отойдя от хутора, она решила, что, наверное, от этого ей так сейчас весело и тепло на душе. «А он хороший!» — почти громко подумала она.

Петр пошел назад. Ему впервые за долгое время было радостно. А издали доносилась веселая песня, которую напевала Юленька. Потом в кустах в последний раз мелькнуло ее синее платье и песня замерла.

ХII

В городе свирепствовал террор и мобилизации шли одна за другой. Никогда не державшие винтовки мещане спешно отправлялись на фронт. Первая партия вернулась скоро: из восьмидесяти человек было более тридцати раненых!.. Началась паника. Боялись измены и видели предательство везде. Был потоплен бывший городской голова. Гимназистка шестого класса, сестра офицера, который якобы воевал на стороне белых, была арестована и «при попытке бежать» расстреляна. Жители в смертельном ужасе притаились...

А через несколько дней большевики бежали и в город уже вступал первый разъезд добровольцев. Человек двадцать казаков ехали по улице и громко пели. Их встретили с радостью: даже сочувствовавшие большевикам жители окраин за последнее время красного террора отошли от советской власти и были довольны ее падением. На улицах показался народ. К утру в город входил полк — оборванные люди в пестрой, разнокалиберной одежде, в большинстве случаев все самая зеленая молодежь. На коне верхом проехал генерал, окруженный штабом.

Перед управой несколько человек солдат и офицеров строили виселицы.

Под сильным конвоем вели в милицию — теперь уже городскую стражу — первых арестованных: отца Леденцовых и двух солдат-красноармейцев, отставших от своих частей.

Через несколько часов привели Кусони. Он громко плакал и кричал на допросе, что он «верноподданный Его Величества».

Потом привели комиссара продовольствия, солдата Лысенко, и помощника комиссара по лесоохранению, штабс-капитана в отставке Демидова.

К вечеру арестное помещение было полно. Тут неожиданно столкнулись недавние враги — еле избежавший смерти при большевиках Карпович и наиболее жестокий из всех членов революционного комитета Кусони.

Почетные граждане города добивались у генерала снятия виселиц. Генерал был пьян и долго не соглашался. Наконец, после того, как его адъютант заметил, что, пожалуй, и без виселиц можно расправиться с большевиками, дал свое согласие на их уничтожение.

Ночью при свете лампы в помещении городской стражи был суд. Демидова, Лысенку и Кусони быстро приговорили к расстрелу. Демидов только побледнел сразу, — он понял, что ему пощады не может быть, так как он бывший офицер.

А Кусони кинулся в ноги к генералу и стал умолять его о пощаде. Генерал сапогом отпихнул его.

Еще судили. Судили и расправлялись.

Под утро четырнадцать человек было приговорено к расстрелу. Их заставили взять с собой лопаты и вывели за город.

Когда их вели на казнь, старому мещанину, у которого два сына ушло к красным, жена сунула в руку записку. При бледном свете сумерек он прочел каракули: «Не смотри такими страшными глазами на смерть».

В город глухо донеслись выстрелы.

Вскоре у места казни собралась толпа родных, близких и просто любопытных. Громко плакала какая-то девушка. Жена мещанина первая приблизилась к лежащим телам. Рука ее мужа была прижита к груди, около раны. Она нашла в ней свою записку, залитую кровью, бережно сложила и спрятала на грудь. Подъезжал разъезд и потребовал разойтись.

Вскоре чуть было не арестовали Сережу на том основании, что он был ранен вместе с большевиком Яуром. Вернувшийся с хутора Петр ходил объясняться.

На Сережу все это произвело гнетущее впечатление. Он, видимо, совсем гнулся под тяжестью жизни. Катя с тревогой замечала, как Сережа зачастую сморит при-

стально перед собой, ничего не видя и не соображая. В нем шел какой-то мучительный процесс.

Через неделю была объявлена мобилизация «белыми». Петр должен был идти в первую очередь.

Накануне своего отъезда он говорил Юленьке:

— В это дело я не верю и, пожалуй, добровольно не пошел бы. Но и не идти сейчас не могу: тут долг своеобразный — погибать вместе. Вы, Юлия Борисовна, вспомните меня часто и знайте, что я буду много думать о вас. Вы не знаете, как мне дорого то время, что мы были вместе.

Юленька смотрела на него тоскливо и гладила ему руку.

А по ночам вдоль берега скользили одинокие лодки. Скрывавшиеся в горах и камышах большевики пытались проскользнуть и соединиться со своими. Многим это удалось. Но однажды береговой разъезд заметил такую лодку и обстрелял ее.

Тогда была устроена засада: верстах в десяти от города катер поймал три лодки. Все путники вместе с лодочниками были расстреляны на месте.

Об этом в городе знали; а камышовые жители все еще продолжали думать, что таким способом можно пробраться через фронт, и искали лодок.

XIII

Через день после отъезда Петра горничная принесла Сереже какую-то записку. Он развернул ее и долго не мог понять, кто пишет.

Там стояло: «Ваш поручитель больше не может ждать смерти в трущобе. Если вы помните и можете, он будет ждать вас с лодкой завтра в полночь под обрывом у бойни. Надо свистнуть три раза. Вверяюсь вам. Другого спасения нет».

Сережа перечел записку.

— Да ведь это Кособрюх просит помощи! — решил он. Вскоре пришел к нему Ткаченко и протянул молча записку такого же содержания.

— Что же делать? — спросил Сережа.

Ткаченко мрачно ответил:

— Безнадежно. Спасти его все равно нельзя. Лодки ловит засада. А у бойни и к горам дальше завтра будет облава. Его все равно расстреляют.

Сережа долго думал.

— Значит что же по-твоему? Так и бросить его?

— Все равно спасти нельзя, — мрачно ответил Ткаченко.

— А ты помнишь, ведь благодаря ему мы остались живы?

— Ну, а что же делать?..

Ночью Сережа не спал: ему представлялось, как Кособрюх будет арестован, как его избыют, как поведут на расстрел. Он умел мыслить образами, и вся картина перед глазами проходила с такой ясностью, что ему становилось жутко.

«Самое страшное не смерть, а ожидание смерти, — рассуждал Сережа. — От смерти мы его спасти не можем. А так, чтобы ему легче было умирать, чтобы без унижения, чтобы неожиданно...»

И в голове его мелькнул дикий план, которого он сам ужаснулся и решил больше об этом не думать.

Но мысли его все время возвращались к Кособрюху: «Ведь пишет, что другого спасения нет. Значит, на нас только надеется... Нет, лучше буду считать, чтобы не думать... Раз, два, три, четыре, пять... Сидеть будет под скалами и ждать свистка... и бояться, что никто не придет за ним. А если приехать, то сядет в лодку и сразу совсем успокоится... А если в это время пуля неожиданно, совсем неожиданно... Это легче, чем на расстреле. Это даже совсем легко, — в минуту надежды...»

И к утру Сережа сам уже не понимал, бредит ли он или разумно рассуждает. Но, несмотря на это, решение было готово. Он пошел к Ткаченке и передал ему свой план. Тот сначала ужаснулся и отказался. Но Сережа заявил, что в таком случае он сам все сделает.

Тогда Ткаченке показалось, что все равно ничего страшного этого не будет, — слишком нелепо, чтобы могло быть, — а Сережа просто больной или с ума сошел. Ему стало жаль Сережу. И кроме того, какая-то доля Сережиного безумия заражала его, подчиняла себе. На них обоих нашла такая минута, когда вдруг перед ногами зазияет бездна и человек ей не удивляется и не пугается, а идет к ней, будто так и надо. И он согласился действовать с Сережей заодно.

Когда стемнело, они вышли к рыбацкому поселку. Там никого не было. Лодки на берегу оказались замкнуты цепями. Они выбрали столбик полегче и начали его расшатывать. Вскоре он поддался. Они положили цепь со столбиком в лодку и осторожно спихнули ее в воду.

Вокруг было совершенно тихо. Только где-то на краю города лаяли собаки.

Сели. Ткаченко у весел, Сережа на руле. Плыли медленно. Вода слабо плескала. Было сыро, и на берегу причудливо клубился туман.

Часа через полтора дно лодки слабо зашуршало по прибрежным камням.

Сережа тихо свистнул три раза. Раздался ответный свист.

Вскоре по обрыву посыпались камни, и голос Кособрюха спросил взволнованно:

— Это вы, дорогие товарищи?

Они ответили спокойно.

Кособрюх оттолкнул лодку от берега и на ходу впрыгнул.

— Спасибо вам. Никогда не забуду, что вы для меня сделали! Теперь, значит, спасен.

Они ему сказали, что надо молчать. Ткаченко усиленно греб в открытое море. Отплыв версты на две, круто повернули и поплыли параллельно берегу.

И вдруг Сереже стало ясно, что он не сможет сделать задуманного, не решится. Рука сильно сжала револьвер в кармане. Ему стало тоскливо до тошноты.

Ткаченко тяжело дышал и греб.

Низко над водой пронеслась птица с жалобными криками.

Сережа очнулся, встал, сделал шаг к Кособрюху, который сидел перед ним спиной к нему, и в упор, не глядя, выстрелил, потом опять выстрелил. Зажмурился и упал на свое место.

И слышал он, как Кособрюх тяжело вздохнул, будто ухнул.

А Ткаченко испуганно и пронзительно завизжал, потом сразу смолк и уже шепотом начал твердить:

— Он убит, совсем убит.

Весла больше не плескались по воде. Сережа открыл глаза. Ткаченко склонился над распростертым телом Кособрюха и что-то возился с веревками.

Сережа прошептал:

— Ты сам, я больше ничего не могу, — и начал тихо плакать, вздрагивая всем телом.

Но вскоре Ткаченко потребовал его помощи. Еле перебивая себя, Сережа поднялся с места. К ногам Кособрюха Ткаченко плотно привязал два больших камня. Надо было сбросить тело в море. С трудом подняли они его. Лодка закачалась сильно, и Сережа чуть было не упал. Наконец тело было скинуто в воду. Лодка продолжала качаться. По воде шли большие круги.

Сережа молча сел на свое место. Ткаченко не греб. Было страшно тихо.

Первый опомнился Ткаченко. Уже светало. Он заметил на дне лодки большое кровавое пятно и стал мыть его, стирая кровь своим носовым платком. Сережа не обращал на него никакого внимания.

На рассвете они поставили лодку на старое место. Ткаченко засунул кое-как столб в яму, из которой они его выгнали. Дойдя до первого переуллка, они распрощались: так было заранее условлено, да кроме того, им было сейчас нестерпимо смотреть друг на друга. Сережа, засовывая руку в карман, вздрогнул, коснувшись револьвера.

На следующее утро Катя была поражена его видом. Он взял ее за руку и ввел к себе в комнату. Она все смотрела на него испуганно. Сережа заставил ее сесть.

Сам стал смотреть в окно и начал говорить:

— Вот написано: душу свою за други своя, — и блажен. А я сейчас себя чувствую негодяем... Все равно, ты не перебивай меня, потому что объяснить я ничего не могу... Все тайна... Но хочу сказать тебе, что больше жить не под силу...

Он глухо заплакал. Катя взяла его за плечи:

— Милый мой мальчик, что случилось с тобой?

— Оставь меня, — взвизгнул Сережа. — Не трогай, запачкаешься, — я гадина, гадина... — И разрыдался не удержимо.

Катя долго успокаивала его. Наконец она решила, что он болен, и потребовала, чтобы он лег в постель. Сережа как-то вдруг утих и подчинился ей. Потом она заметила, что дыхание его становится ровнее, — он заснул. Катя было хотела послать за доктором, но потом решила, что он выспится и все пройдет. Она вышла из комнаты и притворила за собой дверь. Павла Александровича не было дома. Везде было тихо.

К обеду Сережа вышел совсем спокойный. Только изредка у него подергивало нижнюю губу.

Павел Александрович заметил:

— Что ты сегодня зеленый такой?

Сережа ничего не ответил.

День тянулся для него бесконечно долго. Рано разошлись спать.

Запершись у себя в комнате, Сережа шагал взад и вперед и думал... Вдруг ему показалось, что ничего и не было, что приснился сон такой страшный. А потом отчетливо прозвучали в ушах два глухих выстрела и крик визгливый Ткаченки. Опять вспомнилось все. И было ему ясно, что теперь вся жизнь с этим убийством связана.

«Хорошо или плохо сделал? Хорошо или плохо? — твердил он про себя. — Ведь ему все равно от расстрела некуда было уйти, а так умер легко, неожиданно. Значит, я ему облегчил смерть, значит, сделал хорошо... Мерзавец я, — человека убил, человека, который мне жизнь спас» — так чередовались мысли.

А за ними, все покрывая, всплыло сознание, что с этой смертью на душе все равно жить нельзя.

«Если это преступление, то я должен сам себя за него покарать. А если подвиг, то не по моим силам, — не вынесу».

Уже утро брезжило слабо в окно и какая-то птица тихонько начала ворковать под крышей, когда Сережа задул свечку, лег на свою постель, вытянувшись, взял дуло револьвера в рот и нажал курок.

Выстрел раздался глухо и никого не разбудил. Сережино тело вздрогнуло и вытянулось, а рука с револьвером упала с постели.

Через два дня его хоронили.

В то же самое время в землю зарывали в соседнем прибрежном селе тело утопленника, никем не опознанного, с двумя ранами в спину и с веревкой от привязанных камней на ногах.

XIV

Центром событий становилось Приволжье. В Муроме, во Владимире, в Пензе — везде побывал Александр, везде принимал участие в лихорадочной работе: ждали чехословаков, готовились к предварительному выступлению, которое должно было облегчить им продвижение вперед.

Осенью ему предложили выехать в Саратов, а потом и дальше, в Самару, через фронт. Александр с радостью согласился. Поручение было ответственным. Надо было спешить...

За Аткарском, на маленьком полустанке, он вышел из поезда.

Ранняя багряная осень тронула уже своими красками перелески на холмах. Черные борозды земли уходили за пригорки. Густая щетина собранных полей чередовалась с ними желтыми пятнами.

Как тиха земля вдали от жилья человеческого. Как неподвижно лежит она под синим покровом неба, древняя и неизменяющаяся.

И странным казался Александру этот вечный и древний образ земли рядом с суетой человечества, с безумными бурями последних дней, с надвигающейся, может быть совсем уже близко, гибелью...

Дойдя до первой деревни пешком, он начал искать себе подводчика. Это было делом трудным, так как крестьяне не хотели отъезжать далеко от своих деревень: вдруг фронт пододвинется и они окажутся отрезанными.

Обойдя десяток, если не больше, изб, Александр наконец сговорился с одним мужичком, Алексеем, человеком средних лет, с узкой черной бородачкой и лукавыми глаз-

ками. И сначала даже удивился Александр, что Алексей этот так скоро согласился везти его. Ночевать пришлось у него. Даже в бедной деревне выделялась беднотой и бесхозяйственностью его изба. И лошаденка, впряженная им в подводу, поражала необычайной худобой. Но Алексей, видимо, мало унывал, жил бобылем, и как-то ему было будто терять нечего.

Выехали на рассвете, когда туман еще только начал свиваться по морщинам холмов. Алексей оказался человеком молчаливым: не только сам в разговор не пытался вступить, но и на вопросы Александра отвечал неохотно. Верст через восемь проехали деревню. Вниз через мост задребезжала подвода. Опять тишина, только жаворонок в небе рассыпается бисером песни.

И начало казаться Александру, что они забирают слишком на север, не к Волге, а наперерез железной дороги, что ведет на Сызрань. Он сказал об этом Алексею. Но тот принялся доказывать, что только таким путем и можно перебраться через фронт: тут сейчас красные стоят на месте и не придется с ними вперегонки скакать.

Остановились на хуторе каком-то поить лошадей. Александр разговорился со стариком хозяином. Опять выходило, что едут они неправильно, слишком на север забирают. Но Алексей стоял на своем.

Под вечер добрались до деревни Дворянской Терешки. Красных еще не было видно. Один только случайный разъезд попался им навстречу. Деревня имела какой-то мертвый вид. Большинство изб стояло с закрытыми ставнями. Во многие двери стучался Александр. Нигде не отворяли. Одна баба высунулась в окошко и на просьбу Александра впустить его в избу и дать поесть ответила лениво и неохотно, что не до того, — все в доме валяются больные. Из дальнейших расспросов выяснилось, что чуть ли не вся деревня болеет испанкой. Много народу умирает ежедневно.

И войска от этого в деревне не стоят, пояснила баба, смертной заразы боятся.

— А где же фронт? — спросил ее Александр.

— Да вот, батюшка, до Мазыкиных хуторов версты четыре переедешь, там и фронт начнется. А ежели еще верст восемь проскачешь, то и фронт, наверное, кончится, — по другую сторону будешь. Только сын мне говорил, что фронт недолго около нас держаться будет: готовятся красные вперед идти.

Александр решил торопиться. Алексей тоже, видимо, не боялся предстоящей переправы. И не мог понять Александр, что заставляет этого придурковатого мужика рис-

ковать, отчего он так охотно взялся за такое малоприбыльное и ответственное дело.

С час провозились около деревни и выехали дальше. Начало смеркаться. К Мазыкиным хуторам подъехали в полную темноту. Остановились в леску, и Алексей пошел на разведку. Ходил он недолго. Скоро в темноте зашуршали под его ногами листья и раздался шепот:

— На хутора заезжать нельзя, — всех задерживают. А сказал мужик один, что логом можно проскочить через самый через фронт, а там по полю напрямик до Овражьей Терешки. А в ней либо никого нет, либо белые.

Александр заторопил его. Усталая лошадь ленивой рысцой спустилась в овраг. Крутом было тихо. Проехали версты две благополучно.

Но вот на месте, где скаты оврага сужались и начинался небольшой перелесок, раздался окрик:

— Кто идет?

Александр еще не сообразил, что отвечать, как тихий его возница ударил кнутом по лошади, и телега понеслась вскачь сначала по крутому лесному спуску, потом через трясущийся мостик на ровную полевую дорогу.

Сзади началась трескотня винтовок; вскоре завизжали в темноте невидимые пули. Обстреливалась телега со всего пригорка.

Алексей молча гнал лошадь и тяжело дышал. Одно время Александру почудилось, что за ними скачет несколько всадников, но скоро он убедился, что погони нет.

Стрельба продолжалась. Наконец где-то далеко ухнула пушка. Видимо, даже артиллерийским обстрелом было решено остановить беглецов.

Но пули звучали все реже и реже: направление, куда проехала подвода, было стрелявшими утеряно.

— Вывезла кобылка, надо думать! — весело сказал Алексей.

Спасение казалось почти чудесным.

В полночь въехали в Овражью Терешку. Алексей долго колесил по пустынным улицам, отхлестываясь от собак. Наконец около одной избы остановился, соскочил с подводы и по-хозяйски застучал кнутовищем в окно:

— Встречай, Матрена, добрался-таки.

«Что же это за Матрена такая?» — подумал Александр, и у него мелькнуло подозрение, что не ей ли он обязан неукоснительным стремлением Алексея ехать не к Волге, а наперерез дороги.

Вот засветился огонь в избе; заспанная баба, кутаясь в платок, отворила ворота. Алексей провел под уздцы лошадь во двор. Вошли в избу.

Александр узнал, что белые сегодня днем отступили из Терешки на запад, к Волге.

— Значит, на рассвете надо выезжать, — сказал он своему вознице.

Но тут выяснилось, что подозрения его были правильны. Алексей решительно отказался ехать дальше. Вышло, что целью его путешествия была кума Матрена, которая его давно ждала.

Еще солнце не встало, когда Александр пошел искать себе нового возчика. Но это было невысказано сделать: большинство подвод были мобилизованы белыми, а крестьяне, оставшиеся дома, ни за какие деньги не хотели в минуту наступления и возможных боев оставить свой дом на произвол судьбы.

Пришлось ждать. Александр был так зол на своего возчика, что решил перебраться из избы Матрены в какое-нибудь другое место.

Новая хозяйка оказалась словоохотливой и любознательной старушонкой.

С первого слова она начала расспрашивать о красноармейцах:

— Что, очень звери, сказывают?

Зять ее успокаивал и доказывал, что они рабочий народ, что против буржуев только. Вообще, на общем фоне полной деревенской отрешенности от всех революционных событий, этот зять оказался человеком, более других осведомленным о нравах большевиков. Он хитро подмигнул Александру и заявил:

— Кому звери, а нам ничего. Мы понимаем, что к чему. Сразу укажу, что у Ильи Никифорова две лошади припрятаны, — вот и свои люди без забот выйду.

Александр молчал, не желая давать повода хитроумному мужику воспользоваться и им для того, чтобы в свои люди к большевикам выходить; а старушонка, видимо, была подавлена житейской мудростью своего зятя.

К вечеру в село вошли красные.

В окно скоро раздался нетерпеливый стук прикладом, и на пороге появилось человек пять солдат.

— Старуха, давай яиц.

Бабка завозилась и засуетилась и стала клясться и божиться, что ни одного яичка у нее нет, — все негодяи белые побрали. Но солдаты в конце концов пригрозили ей штыком. Тогда она через мгновение принесла пяток яиц и положила одному солдату в фуражку.

Он вытащил из кармана керенку-сорокарублевку и небрежно бросил на стол.

Старуха опять стала причитать:

— Батюшка, да яйца только десять рублей десяток стоят, а сдачи-то у меня и нет.

Но солдат милостиво махнул рукой:

— Не нужна мне твоя сдача-то.

И ушел.

Старуха повертела в руках керенку, бережно спрятала ее за образа и, посмотрев на Александра, самодовольно сказала:

— Ишь, говорили — звери. А они тоже, значит, лю-юди.

И так она протянула «лю-юди», что Александр понял — сорока рублями совсем куплена ее нищая старческая душа.

А в комнату входит другой отряд солдат и опять требовал яиц. Бабка не заставила просить себя дважды и принесла полный картуз. Солдаты молча стали уходить. Она кинулась к ним:

— Родименькие, а деньги-то?

Но задний солдат направил на нее штык:

— Что-о? А этого хочешь?

И недоумевающая бабка уже окончательно не могла понять, что же большевики — люди или звери.

Прошло два дня. Дальнейшее сидение Александра становилось все рискованнее. Надо было во что бы то ни стало двигаться дальше.

С трудом он наконец нашел мужика, который после долгих опросов согласился его везти. И, к удивлению, добавил хитро и лукаво:

— Вашему брату у Романа Васильевича в помочи отка-за нет. Так и знай, милый человек!

Александр решил лучше не спрашивать, кому в помощи Роман Васильевич не отказывает. Поутру он пошел к нему, чтобы двигаться дальше. На площади его остано-вил солдат окриком «хальт!». Александр с удивлением увидал, что перед ним стоит немецкая батарея. Кое-как объяснив, что он местный учитель, Александр попытался расспросить, каким образом немецкая часть оказалась на Волге. Но солдат сурово и недоверчиво оборвал его с пер-вых слов.

Наконец выехали. Роман Васильевич ругал Алексея, ко-торый завез Александра совсем не по пути. Он заявил, что переправляться лучше всего около Волги, и решил ехать сначала на Хвалы́нск. Александр согласился с его доводами. Пришлось ехать вдоль большевистского фронта.

Рыжебородый, немного тучный, веселый и по-своему мудрый, Роман Васильевич был старообрядцем. Всю доро-гу он занимал Александра разговорами, в которых текста-ми из Священного писания доказывал греховность куре-

ния табаку или удивительно последовательно, на основании все тех же текстов, развивал законченную теорию анархизма.

Около большого села Сосновки Роман Васильевич указал на лес за холмами:

— Эва, видишь лес? Туда наши два пулемета стащили, что с фронта доставлено было. Как в село с реквизицией хлеба отряд придет, так пулеметы в лесу и застрекотят. А отряд наутек. До сих пор ничего не взяли, а про пулеметы все начальство знает, да руки короткие.

— Отчего же леса не обложат красноармейцы?

— Вот я и говорю, что руки короткие. Кто такие красноармейцы самые? Есть, конечно, и киргизы, и пришлые, а по мобилизации все наши же. Бывали даже такие случаи, — вот с Кузнецовыми, например: сыну вышли года, когда белые мобилизацию производили, вот его и забрали. А отцу года подошли, когда красные мобилизовали; а они, не сговариваясь, решили хоть воевать вместе: сын от белых удрал, а отец от красных. Теперь сын большевиками в армию забран, а отец, если благополучно добежит, наверное в белой армии сына ищет. Вот и полагайся на них.

В Сосновке оставались недолго. Александр все время торопил Романа Васильевича.

— Что, милый, к своим захотелось? — поддразнил его тот и подмигнул хитро.

— К кому к своим? — спросил Александр.

— Да ну тебя, не финти. Малый я, что ли? Вижу, какая ты птица. А умный, сказать нечего: и о том, и о сем говоришь, а о главном, что тебе знать нужно, — так себе, между прочим, будто и не интересуешься. Только ты на будущее запомни, что так оно все яснее делается. А ты прямо жарь: боюсь, дяденька, что большевики меня ухлопать могут, потому что я для них буржуй. Всякий и поймет, что маленький человек, если так первому встречному обо всем открываешься. Ну и не подозрительно, потому что кто их не боится. А ты крутишь, крутишь, — просто любопытство возьмет: что он, мол, за птица такая?

За время дороги Александр уже не в первый раз удивлялся сметке и хитрости Романа Васильевича. Только ему казалось, что этот тип русского мужика как-то исключителен, необычен. Ведь по существу в нем не было простоты. Была особая сложность, лишь наружу проступающая простыми чертами.

А главное — он чувствовал, что Роман Васильевич очень хорошо себя знает и высоко ценит. Он благожелательно отнесся к Александру, потому что сразу смекнул, что «за народ, мол, старается, значит не ирод какой-нибудь, не выжига». Но, по существу, он и Александра, и

большевиков, и белых, и Москву с ее рабочими и интеллигенцией — презирает, потому что они все для него щуплые какие-то.

Александр пришел к такому выводу: у этого человека, сросшегося с землей и широкого и простого, как земля, свое, земляное самосознание проявляется, как чувство какой-то избранности, аристократизма крестьянского: мы люди во весь рост, а вы все — и баре, и рабочие, красные, белые — никакие, — вы все в полчеловека. А потому наша первая задача отгородиться от вас. Когда вы сильны — не мешать и не помогать, — авось вы сами друг другу помешаете (этому-то, пожалуй, и помочь можно), когда вы слабы — не очень с вами связываться, а больше от вас свое мужицкое оберегать, чтобы вместе с вами и оно сильному в зубы не попало.

— Люблю я вашего брата возить, — задумчиво сказал Роман Васильевич.

— Сочувствуешь?

— Главным образом для интереса.

— Какого интереса?

— Не могу я понять, за что вы работаете. Ведь не для Бога, потому что в Боге мало понимаете. Один мне сказал, что для народа. А я ему: народа, мол, на белом свете много; всех не спасешь все равно.

— Как же по-твоему выходит?

— А по-моему — свою линию гни. Если ты из крестьянства, к примеру, то и гни свою линию, и не только крестьянскую, а свою, сосновскую, сказать прямо, потому что каждый другой крестьянин свою линию гнуть будет. Ему, выходит, и помощников не надо.

Александр рассердился:

— Ну, а когда большевики придут, они, пожалуй, с твоей сосновской линией разбираться не станут. А почему? Потому что сосновская линия слабая, слабее их линии. Значит, чтобы их линию одолеть, надо много линий объединить, всех, кто с большевиками не согласен.

— Нет, Александр Павлович, это опять война, значит.

— Ну и война. Так что же делать?

— Наша линия, брат, такова, что нам все равно, кто у нас коней берет, — красные или белые, и все равно, в какую армию наш народ мобилизуют. Одни мобилизуют — плохо, другие мобилизуют — тоже плохо.

— Что же, какими силами вы от врагов избавляться будете?

— Своими, испытанными. У нас такая жестяная дощечка есть: с одной стороны «Волостное правление» написано, а с другой — «Волостной совет». Так вот таким манером мы все наши вывески переделаем, а сами будем жить

по-старому. Никто и не придерется, да и не получит многого от нас никто.

— Дураки вы: за «Волостной совет» вас генералы выпорют, а за «Волостное правление» большевики повесят.

— Так мы не без ума: знаем, когда каким боком поворачиваться...

Дорога, тянувшаяся все время холмами и перелесками, вдруг на опушке соснового бора круто кинулась вниз. За первым же поворотом вдали засверкала Волга и на берегу ее — раскинувшийся Хвальнск. Роман Васильевич, не смотря на крутизну, не очень сдерживал лошадей, так как путь стал песчаным и лучше всякого тормоза сдерживал быстроту езды. Песок шуршал под колесами и падал дугой.

— Скоро приедем. Вперед, голубчики!..

Через полчаса въехали в город. Первым делом надо узнать, какая здесь власть.

Подъехали к «Волжским номерам».

Снеся свою небольшую поклажу в маленькую каморку, Александр сразу пошел на базар: там все можно узнать, даже никого не спрашивая.

Лари стояли закрытыми. Торговок не было видно. В одном только месте мальчик продавал воблу. А за большим лабазом на земле сидели две старухи: одна продавала семечки в решете, а у другой в корзине, прикрытые тряпками, лежали баранки.

Александр подошел к старухам:

— Здравствуйте, бабки!

— Здравствуй, сынок... А ты чей же будешь? Что-то не видали тебя ранее.

Он объяснил, что только что приехал.

— Так... Не от них ли прибыл? Не от белых ли?

— Нет. А разве их ждут сейчас?

— Да ты что? С луны свалился? Не знаешь разве, что красная армия отступила?

Александр вернулся в свои номера и лег спать рано, чтобы на рассвете ехать дальше.

Утром он проснулся от громких голосов в коридоре. Около его двери толпились солдаты. Его сразу заметили, и белобрысый солдат очень маленького роста в помятой фуражке спросил:

— Это вы откуда же к нам появились?

Александр спокойно рассказал свою вымышленную историю, к которой он привык за длинную дорогу.

— Ну а вы кто же?

— Мы? А мы пулеметная команда первого советского Пензенского полка. Вот прогулялись за два десятка верст и опять в свою казарму пожаловали.

Город вновь был занят красными. Переправа не удалась. Александру было досадно, что он вчера же вечером не двинулся дальше: сейчас большевики никого не выпускали из города и поэтому Роман Васильевич отказался пока выезжать. Надо было ждать.

Пулеметчики отнеслись доверчиво к Александру. Им, видимо, было приятно общество нового человека, которому можно было без конца рассказывать о своих похождениях.

— Что же, воевать-то не надоело? — спросил он их между прочим.

— Да нам другой дороги и нету, — ответил словоохотливый парень с раскосыми глазами, у которого на околышко фуражки была повязана лиловая бархатная лента, а вместо кокарды приколоты маленькая брошка с бирюзой и жемчужинами, — вот уже сколько лет воюем. Посади нас теперь в крестьянскую избу да заставь землю пахать, — так или руки на себя наложишь, или для удовольствия по ночам грабить пойдешь.

— Вы что же, все партийные коммунисты?

— Всякие есть. Я коммунист, потому что сознательный и в красной армии добровольно состою.

— Ну, а живется трудно?

Другой солдат вмешался в разговор:

— Чего трудно? Обут, одет, сыт, — чего нужно? И деньги есть, — жалованье платят.

Первый перебил его:

— Ну, деньги нам для шику больше нужны.

— Как для шику?

— А так, чтобы народ понимал, что такое красноармеец. Деньги — это вроде самого главного агитатора большевистского.

И стали рассказывать случаи, как деньги за агитатора работали. Все хохотали.

Александру странным казалось, что вот эти сидящие перед ним парни и есть настоящие враги, эшелоны с которыми он помогал сбрасывать под откосы, которые были реальной силой в руках большевистского центра. Вот тот маленький, белобрысый, что первый его окликнул, — что-то болезненное и озлобленное есть в нем; а вот румяный и здоровый, с черными усиками, — этот просто, без злобы живет; дальше — совсем деревенский увалень; киргиз в черной папахе и с грустным лицом. И еще, и еще... По отдельности — люди, а вместе — пулеметная команда, боевая единица врагов.

Прошло в разговорах два дня. Роман Васильевич все еще не решался нарушить запрета и тайком выехать из города.

Тогда пришла в голову Александру смелая мысль: он сказал своим новым друзьям-пулеметчикам, что ему до разреза надо спешить, и попросил их помочь ему выбраться из города.

— Очень просто, — сказал черный с усами, — пусть дед ваш запрягает, вы садитесь, и айда. А мы вокруг верхами, — человек пять. Никто не остановит, потому что нас здесь все знают: из первого Пензенского полка.

Так и решили. Роман Васильевич улыбался себе в бороду, сядя на подводку. По пустынным мощеным улицам загремела телега, окруженная эскортом солдат. Они пели громкую песню. В окно выглядывали удивленные обыватели. Так доехали до соснового бора — вершины подъема. Там распрощались. Красноармейцы с шумом и гиканьем кинулись вниз, а телега медленно начала месить густой и сыпучий песок.

— Вот мы опять в нашем царстве-государстве, — сказал Роман Васильевич.

— В каком это?

— А где ни совета, ни волости, а нейтральная полоса. Тут мы, мужики, хозяева.

Начал попархивать легкий снежок. Воздух был крепкий и свежий.

Помолчав, Александр сказал:

— А я бы, Роман Васильевич, под все ваше царство, под линию бы вашу, палку бы подсунул, да понатужился, да от земли бы вас на сажень и поднял: смотрите, мол, не в землю свою измозоленную, а и вдаль взгляните, авось что и увидите, хозяева земли русской...

Роман Васильевич ответил не сразу.

— А я бы тебя, мил человек, удостоил: награду тебе бы выдал. Вот тебе плуг, — крестьянствуй, обрасти мало телом... Уж очень мне понравилось, как ты болванов этих нас вывозить заставил... Ах, болваны! — Он засмеялся. — Право слово, Александр Павлович, из тебя еще человек выйдет.

Александр тоже развеселился.

Так, уже без особых осложнений, доехали до Сызрани. Но там Александр узнал, что Самара пала. Белые поспешно отступали к Уфе.

Смысл его путешествия терялся. Он опоздал.

Разгром белых на Волге всколыхнул сразу все его мысли о том, какими средствами надо вести борьбу. Запрета больше не было. Стало ясным, что вновь вооруженная борьба оказалась несостоятельной. Александр считал, что теперь у него руки развязаны и он может приняться за то, что считает сейчас единственно нужным.

Но, чтобы окончательно проверить правильность своих выводов, он решил все же сейчас не возвращаться в Москву, а попытаться добраться до своего родного города, пересечь добровольческий фронт, который, по слухам, опять существует, посмотреть, что делается там и на что там рассчитывают...

Так он и сделал.

XV

Катя чувствовала себя как бы выброшенной из жизни. Стремительные события, многочисленные встречи, бурные переживания — все вдруг затихло и замерло. Во внешнем мире кипела гроза, а Катя наблюдала ее, как посторонний зритель, мучилась и страдала много мучениями и страданиями других. Сама же была не нужна жизни или, вернее, будто готовилась к чему-то, накапливала наблюдения, берегла силы, училась на страшных уроках жизни.

И знала Катя, что сейчас нельзя думать о том, чтобы сохранить свои белые одежды, — через кровь и через грязь, во имя жертвы, во имя мира, надо перешагнуть тому, кто решился. Надо взять на свои плечи грехи и тяжести многих. Надо принять на себя ответственность за буйство пьяного солдата, за темную волю народную, за смерти несправедливые, за грядущий голод, за слезы детей, за дикий вопль всей равнины русской, которая лежит под небом распростертая, нищая, раскинула бессильные руки свои, плачет слепыми глазами, шепчет имена убитых, имена обреченных смерти своих детей.

Когда Катя думала так, ей казалось, что у нее много силы, что любую тяжесть она сможет поднять. А самая тяжелая, непосильная тяжесть — это тяжесть ожидания. До времени, до знака какого-то, должна была она таиться и ждать, тихо зарывать в землю гробы своих близких, молча слушать, как содрогается родная земля, насыщенная кровью, чуют, как под окнами в темную ночь вопит безумная старуха, мечущая по ветру седые косы, не ждущая уже помощи, не зовущая спасителей.

И когда приехал Александр, почудилось Кате, что вот должно теперь начаться, что его приезд — знак.

Он мало говорил. Ему было тяжело. С ужасом выслушал он весть о Сережиной смерти. За этой смертью он сразу почувствовал тайну, которой никто не знал.

Но Катя первая и настойчиво стала напоминать ему об его обещании позвать. Она говорила, что время пришло, что только личным подвигом, личной жертвой можно очистить руки. Другими словами, на другом языке, Александр твердил себе это давно. И то, что их, по-разному

сказанные, мысли так совпадали, что Катя в глуши, а он в Москве одинаково чувствовали, — заставило его еще сильнее поверить в неизбежность этого пути, над которым они задумались.

Об этом они говорили теперь с Катей просто, как о решенном. Самое трудное было — это оставить Павла Александровича около двух могил. Но Павел Александрович, и всегда чуткий к душевному миру своих детей, теперь, после смерти Сережи, научился читать в мыслях Кати и Александра как в открытой книге.

Он первый заговорил с ними:

— Я уже стар, я уже почти не живу, потому что у меня слишком много в прошлом. И я знаю, что наше время требует жертв. Я каждую минуту думаю о России. Она стала для меня живым существом; я чувствую, как она мечется сейчас. Если вам нужно уйти от меня, — идите. Я понимаю, что ваша жизнь будет в ваших сердцах неоправданна, если вы не попытаетесь совершить чуда. Думаю, что теперь каждый живой человек должен пытаться совершить чудо... И думаю, что каждый живой человек во время этой попытки погибнет... Но что же, если иначе нельзя? Ведь иногда только гибель бывает праведной... Решайте, не думая обо мне. Мне все равно очень трудно жить стало. Вы меня ничем не можете облегчить.

Они слушали его молча. Не могли ему возражать; они понимали, что он был прав. И глубокая благодарность была у них к отцу.

А в городе стало тихо. Расстрелы прекратились, фронт отодвинулся далеко вперед. Бродили по улицам раненые офицеры. Жизнь шла так, будто никому не был нужен этот отрезанный от мира глухой угол. Черные тучи низко пролетали над землей, невылазная грязь покрыла дороги.

От тоски ли, от безделья ли, от черной ли безнадежности, много пили. Пили даже женщины. Мещане пили в своих домишках на окраине, пили самогон, вонючий и ядовитый; нарядные дамы, офицеры, банковские служащие — интеллигенция — пили коньяк и хорошее красное вино, — пили в «ковчеге», в доме коменданта, в ресторанах. И в пьянстве этом чудилось такое бескрылое неумение жить, такое страшное бессилье, такая тоска, что казалось самым легким после попойки, где будто и много смеха было, — уйти грязной дорогой вон из города и всю жизнь месить эту грязь, лишь бы подальше уйти, лишь бы не чувствовать рядом с собою тоскующих и ничего не ждущих людей...

В конце года Катя и Александр решили ехать в Москву. Павел Александрович ни на день не хотел их задерживать. Путь предстоял очень трудный и долгий. Добро-

вольческая армия наступала стремительно, и Александр знал, как это осложняет переправу через фронт. Надо было ехать в Ростов и там, смотря по обстоятельствам, наметить дальнейшее направление переправы.

Выехали на рассвете. У подъезда Павел Александрович долго стоял, глядя им вслед. Он не знал, на какое дело поехали его дети, но чудилось ему, что больше он их не увидит. Здесь, в этой части России, оставался один Петр, — да и тот неизвестно, выберется ли когда-нибудь благополучно из вечных боев, из мороза и ветра, из опасности заразиться тифом и погибнуть.

В старом доме Темносердовых было тихо и жутко. Особенно по вечерам, когда лампа горела только в одном кабинете, а в остальных комнатах витали призраки ушедших, — ушедших навек и ушедших по пути, с которого, пожалуй, как и из могилы, нет возврата.

XVI

А Петр воевал.

Опять знакомая обстановка «своего полка», с которым крепнет связь все прочнее и прочнее после каждого боя. За пределами полка — сумятица и неразбериха. Там можно спорить и не соглашаться, там можно иметь свои мнения и искать своих особых путей.

А здесь все сливается воедино. Пусть полковник Сергеенко — зверь, озверевший после расстрела жены и сына, — он умеет командовать, с ним пришлось четыре раза смотреть смерти в глаза, и после этого не важно, что он зверь, потому что Петр знает, что он умеет смотреть смерти в глаза. Пусть штабс-капитан Якубовский любит приврать, — разве не с ним пришлось отбиваться от окруживших красных и разве их жизни не действовали одной волей, когда они пробивались?

И солдаты, бывшие недели четыре тому назад красными, потом взятые в плен и теперь ставшие отличными стойкими добровольческими солдатами, — разве и они не связаны с Петром какой-то особой связью, которой в мирной жизни названия нет? Связь совместной опасности, совместных удач и поражений и совместной смерти впереди.

Солдаты эти обладали особой философией, которую очень охотно поясняли Петру:

— Были мы в царской армии, — ну что ж? — властям надо подчиняться, — мы хорошо воевали. Потом нас большевики мобилизовали, — опять власть, — мы и у них воевали хорошо. А взяли нас в плен и стали мы добровольцами, — опять, сами видите, деремса, слава

Богу, потому что одно надо помнить: против власти не пойдешь.

А один, постарше, добавил:

— Так и в Писании сказано.

И за этими словами чувствовал Петр другое, то, что и у него было: страх оторваться от массы, ощущение известной прочности и обеспеченности своего существования только в массе, и полной растерянности, когда из обычной жизни боев, переходов, приказов приходится перейти на довольствие решениями собственного ума, тут сейчас же подкрадываются сомнения, каждый шаг кажется неоправданным, весь мир — нелепым и сумбурным...

Офицеры распались на несколько групп.

Главная масса, подобно солдатам, пошла в армию по мобилизации; связана она была с нею кровно, но не принципами какими-нибудь, а общностью боев, переходов, невозможностью жить в одиночку.

Второй группой были всё редуемые добровольцы первого состава. Они вкладывали в идею добровольчества всю свою жизнь и шли в бои, как на подвиг. Самым странным среди них было то, что, при общности отношения своего к армии, они чрезвычайно отличались в политических своих взглядах: среди них были и монархисты, оскорбленные самим фактом революции и относящиеся одинаково отрицательно как к Советам, так и к Учредительному собранию; были республиканцы и демократы, наиболее ненавидящие большевиков за разгон Учредительного собрания и за борьбу против демократических лозунгов; были, наконец, люди, сосредоточившие весь свой политический идеал в одном образе Корнилова и плохо разбирающиеся в политических программах.

Но по какому-то молчаливому соглашению о партиях и политике спорить не было принято.

Наконец, довольно многочисленную группу составляли офицеры, стремящиеся в тыловые контрразведки, поставившие своей задачей месть, ожесточенные и не гнушающиеся самых страшных преступлений и расправ.

Различие в психологическом складе людей приводило иногда к острым столкновениям.

В первые дни службы Петра ему пришлось присутствовать при таком столкновении. Он был по делу в штабе дивизии. К молодому еще генералу, одному из плеяды славных первых добровольцев, явился с докладом офицер, кавалерист, в красных рейтузах, чрезвычайно нарядный.

— Я пришел доложить вашему превосходительству, что мой эскадрон не смог выбить красных, как мне было поручено. Три раза мы ходили в атаку. И каждый раз атака была отбита.

Генерал взглянул на него недоверчиво:

— Потери велики?

— Ранены две лошади.

Генерал отвернулся от докладчика и обратился к своему соседу вполголоса, но все же достаточно громко:

— Отчего это, скажите, как человек наденет красные галифе — так сволочь?..

Обладатель красных галифе быстро исчез.

У добровольцев было действительно много накипи, и ей в душе Петра не было оправдания. Он чувствовал, что это именно потянет в первую очередь дело добровольчества к гибели.

Но и эти мысли он гнал от себя: спасение, личное спасение, сохранение хотя бы относительного душевного равновесия могло быть только в том, чтобы спокойно производить ежедневную будничную работу, наступать, отступать, идти в атаку, устраиваться на ночевку, — лишь бы со своей частью, лишь бы так, как все свои, потому что дальше начинался хаос, в котором было невысказано разобратся.

Он писал Юленьке: «Настроение у нашего полка такое, что если бы нам сказали: разделитесь пополам и обстреляйте друг друга, мы бы беспрекословно это исполнили. По приказу ближайшего начальства мы с одинаковым успехом могли бы взять штурмом большевистский броневик и поезд нашего главнокомандующего. Лишь бы приказ был... Вам это непонятно, конечно. А на самом деле только дисциплина и спасает каждого из нас в отдельности от лишних дум, которые могут привести к безвыходной тоске, потому что и положение наше безвыходное, по существу. Сейчас я на отдыхе в селе Ремонтном. Отдых дается на три дня всем, чтобы все могли по очереди выспаться, — ведь больше двух месяцев спать приходилось около трех часов в сутки. На позициях время проводим так: утром мы занимаем станцию Ясную, к вечеру большевики привозят подкрепления и выбивают нас. Утром зачастую является к нам генерал, который, видимо, придает большое значение нашему участку. Он просит еще немного «постараться». Мы «стараемся» и восстанавливаем положение. И так почти каждый день. Остряки говорят, что в штабе решено нам особый орден из угля выдать за геройское толчение в угольном районе. Вы себе представляете восторг жителей станции Ясной от такого времяпрепровождения? Я просто иногда физически чувствую, как они нас ненавидят. Конечно в такой же мере они ненавидят и большевиков».

А бои действительно были жестокие. И какие-то совсем другие, чем в великую войну. Враги были в непо-

средственной близости. На огромном пространстве дрались отдельные раскинутые отряды.

Страшнее всего казались бронированные автомобили. Перед таким автомобилем однажды бежал весь полк Петра. Сам он задержался почему-то и оказался далеко сзади полка. Перед ним маячила только тоненькая фигурка одного штабс-капитана, только что перенесшего тиф и поэтому еле передвигавшего ноги. Дорога шла в гору. Нагнав штабс-капитана, Петр подхватил его под руку и потянул быстро за собой. Но вскоре выяснилось, что броневик свернул в сторону. Удалось уйти...

Так воевал Петр.

Сумбурное впечатление от фронта гражданской войны заставило его всего сократиться, уйти в себя. Он старался не чувствовать себя человеком, а только частью великой машины, которая действует предуказанными путями, идет к намеченной цели, руководствуется другими законами, чем душа человеческая.

XVII

В Москве Катя и Александр поселились отдельно. Он снял маленькую комнату около Остоженки и почти целыми днями сидел дома. Катя жила на Спиридоновке. Дом был старый, деревянный; ее окна выходили в сад. Целый месяц они встречались мало.

Катя, с точки зрения Александра, немного по-дилетантски принялась за дело. Она заявила ему, что не будет посвящать его в свои планы, и только если первоначальные ее шаги будут иметь успех, она попросит его совета и помощи. Она восстановила связи со старыми московскими знакомыми, видала много людей, но все еще не приступала к выполнению своего плана, который оказался на месте гораздо труднее осуществимым, чем ей думалось.

Среди старых своих знакомых Катя чаще всего бывала у Галкиных. Сам Галкин служил в бывшем Скобелевском комитете и имел почему-то касательство к кинематографам. Через него проходили принимаемые советским правительством к постановке сценарии.

Жили Галкины около Арбата, в огромном доме, выходящем в тихий и глухой переулок. А над ними, полуэтажом выше, жила молодая дама, Дора Ильинишна, решившая при посредстве Галкина заработать себе на пропитание писанием кинематографических сценариев.

Как-то мельком Галкин сказал, что дама эта дальняя родственница влиятельного народного комиссара Гродского. Тогда Катя сразу же решила, что с ней надо познакомиться поближе.

Это оказалось не очень трудно. Дора Ильинишна, не будучи коммунисткой, все же чрезвычайно гордилась своим знаменитым родственником. Хотя эта гордость была достаточно своеобразная: она не без почтения заявляла, что Гродский женат на дочери генерала и что у его сыновей дядька настоящий матрос, — «совсем как у наследника».

Потом Дора Ильинишна закатывала скорбно глаза и говорила:

— Нет, вы не можете себе представить, как он и его семья томится кремлевской обстановкой. Подумайте, ведь даже вся посуда с царскими двуглавыми орлами, и у служителей на пуговицах тоже орлы.

Катя сочувствовала. Она быстро поняла, что, несмотря на родственные отношения, Дора Ильинишна в особой близости к семье Гродского не находится и, пожалуй, была бы рада чем-нибудь привлечь его к себе и восстановить старые связи. Катя, видимо, показалась Доре Ильинишне человеком достаточно интересным для Гродского: она могла много рассказать о жизни провинции под добровольцами, о местных коммунистах, о настроении крестьянства, — о таких вещах, от которых люди, стоящие у власти, всегда фатально далеки, хотя стремятся делать вид, что все это им хорошо известно и ясно. Словом, Дора Ильинишна хотела Кате похвастаться Гродским, а Гродскому — Катей. Может быть, в этом была и доля, по существу, невинной корысти. Во всяком случае, Кате удалось ее убедить в том, что она издавна относилась к товарищу С. Я. Гродскому с чувством безграничного восхищения и считает его самым большим человеком, выдвинутым русской революцией.

Месяц спустя Дора Ильинишна сказала ей:

— Я хочу вам доставить большое удовольствие: вы сможете познакомиться у меня с человеком, который вас давно интересуется.

Катя восторгалась.

— Да, да, у меня завтра в одиннадцать часов вечера будет Семен Яковлевич. Он только что обещал мне это по телефону. Он бывает редко, это правда. Но раз обещал, — значит, не обманет... Милости просим.

Катя пошла к брату.

— Саша! Завтра в одиннадцать часов вечера я буду сидеть в одной комнате с Гродским.

Он недоверчиво посмотрел на нее, потом спросил:

— Расскажи подробно, где и как.

Катя сначала рассказала ему про Дору Ильинишну. Он начал расспрашивать про дом, где она живет. Катя про

себя улыбнулась: мысль Александра шла тем же путем, как и ее мысль.

— Дом большой. Семь этажей. Стоит на углу двух глухих переулков. Ты знаешь. На этой лестнице кроме многих частных квартир помещается еще одна театральная школа; целый день шатается народ. Потом тоже очень посещаемый зубоучебный кабинет. Так что новым лицам на лестнице никто, конечно, не удивляется. Квартира Галкиных на шестом этаже и выходит на улицу. Квартира Доры Ильинишны не над ними, а вбок, во двор. Пролет на лестнице большой, и лифт останавливается только у квартир, выходящих на улицу. Таким образом, ему придется выйти из лифта против галкинской квартиры и еще полэтажа подыматься пешком.

Александр спросил, можно ли думать, что он скоро еще раз будет у Доры Ильинишны.

Катя ответила, что она недели через три собирается уехать из Москвы и говорила, что перед ее отъездом Гродский непременно будет у нее.

— Только не знаю, позовет ли она меня и во второй раз.

— Это не важно, — сказал Александр. — Ты только должна теперь все хорошенько заметить.

Видимо, он обдумывал план действий.

На следующий день часам к восьми Катя явилась к Галкиным. Их она застала в передней, одетых, чтобы куда-то идти. Катя просила их не оставаться дома ради нее, а сама сказала, что посидит у них, почитает, потому что очень устала и сразу идти домой не хочется. Они ушли.

Она села на диване в кабинете Галкина и, не зажигая электричества, стала думать о предстоящем свидании. Ей было как-то жутко. Кроме того, минутами ей казалось, что самым правильным было бы сейчас все и выполнить. Ведь точно не известно, будет ли в дальнейшем такой случай.

Само дело ее не останавливало больше и не нуждалось ни в каком оправдании.

Стоило только прислушаться к надвинувшимся сумеркам ночи, чтобы услышать в них отчетливо жалобный вой. Земля ли стонет, старуха ли безумная голосит, — все равно, — голос требует жертв и зовет. И возврата услышавшим — нет.

В квартире было тихо. Только часы в столовой сухо и четко считали улетающие мгновения.

Около одиннадцати Катя открыла окно и села на подоконник.

Внизу переулок слабо мигал фонарями. Прохожих не было. Стояла мертвая тишина.

Но вот из-за поворота сначала показались две полосы электрического света, потом мягко и бесшумно вынырнул из темноты черный автомобиль и, медленно подрагивая на шинах, остановился у подъезда.

Катя свесилась из окна.

Дверца автомобиля открылась; кто-то вышел на тротуар и исчез в подъезде. Дверца с шумом захлопнулась, и автомобиль подался немного назад.

Катя пробежала быстро в переднюю и, приоткрыв немного парадную дверь, притаилась. На лестнице гудел лифт, подымался.

Катя притаилась совсем, и сердце ее стучало громко и взволнованно.

Около дверей лифт остановился. Кто-то вышел из него, позвонив сначала. Лифт начал проваливаться. Человек поднялся по лестнице и остановился у дверей Доры Ильинишны.

Катя заперла дверь, прошла в столовую, минуту постояла сосредоточенно, будто что-то решая, потом накинула на плечи пальто и взяла в руку шляпу.

Пора было идти. Она еще раз у самых дверей остановилась. Потом быстро поднялась по лестнице и позвонила.

Дора Ильинишна открыла дверь сама. У нее был вид восторженно-взволнованный. Шепотом она сказала Кате:

— Я его уже предупредила, что вы придете. Сказала, что вы коммунистка и можете много рассказать про добровольцев. Ведь ничего, ничего, что я так сказала?

Катя молча шла за нею.

В маленькой комнате сидел Гродский. Катя заметила, что он будто избегает смотреть в глаза. Поздоровавшись с ней и делая вид, что больше не замечает ее, он начал говорить с Дорой Ильинишной об общих родных. Но каждый раз, когда Катя отводила от него взгляд, она чувствовала на себе его пронзительные глаза, выпытывающие, зачем она здесь.

— Дора Ильинишна, я вам в подарок хлеба привез, в передней оставил.

Та пошла взять подарок. В комнате наступило неловкое молчание.

На груди Гродского была прикреплена большая красная звезда.

Катя, не отдавая себе отчета в том, что она делает, — лишь бы прервать молчание, — показала на нее пальцем и сказала:

— Вы с ней не расстаетесь?

— Ах, просто забыл снять. — И он быстро спрятал звезду в карман.

Опять молчание.

Потом он начал:

— Вы, говорят, недавно с юга? Интересно, какое на вас впечатление производит добровольческий фронт.

Катя ответила, что не верит в его прочность.

Но Гродский быстро ее перебил:

— Ну, я знаю, у вас, как у правоверной, следующее слово будет о зверствах добровольцев. Но это пустяки. Поверьте, — все звери. И наша солдатня в той же степени.

Ей почудилось в нем что-то обнаженное, циничное и вместе с тем запуганное, как у затравленной лисы.

Но тут вошла Дора Ильинишна. Она стала сетовать, что к нему в Кремль не пробраться. Начали улавливаться, когда она будет у его жены.

Надо было ей в определенный час с красным тюльпаном в руках подойти к солдатам, которые стоят — Гродский неуверенно сказал:

— Знаете, около такой белой сквозной башни.

Дора Ильинишна спросила:

— Около башни Кутафьи?

— Как? Как? Кутафьи?..

Он продолжал спрашивать Катю о событиях юга. Потом неожиданно встал и откланялся.

После его ухода Дора Ильинишна кинулась к Кате:

— Ну, как вам Семен Яковлевич показался? Правда замечательный человек? Ведь он просто гений, просто гений.

Но Катя, поспешно соглашаясь, стала прощаться.

Она пошла к Александру и рассказала ему все подробности своего свидания с Гродским.

— Значит, без всякой охраны? — спросил он и задумался.

Дело представлялось легким. Надо было только точно знать, когда он опять будет у Доры Ильинишны. Однако ожидание показалось Кате нестерпимо тоскливым. Без дела бродила она по Москве, встречалась со знакомыми, говорила ненужные слова.

В эту пору только с одним человеком чувствовала она себя легко: это была одна странная женщина, Вера Ивановна Маркелова, с которой она познакомилась у тех же Галкиных. Вере Ивановне было за сорок. Всю свою жизнь она провела в глуши с больной матерью. Два года тому назад мать умерла. Вера Ивановна переехала в Москву, поселилась в большой комнате, в которую надо было проходить через церковный дворик, окружила себя какой-то странной атмосферой колдовства и прорицания и стала жить призрачной ночной жизнью.

Она плохо видела и была глуха. Может быть, от этого весь мир воспринимался ею как-то своеобразно. В день первого знакомства Катя просидела у нее в низком кресле всю ночь. Без конца пила черный крепчайший кофе, и Вера Ивановна без конца курила.

Жизнь она знала, но видела ее под своим собственным, единственным в своем роде углом зрения. Она ничему не удивлялась и никогда не огорчалась. Всю неразбериху наших дней она принимала как что-то должное и даже любовалась ею. А если около нее кто-нибудь чувствовал себя несчастным, она будто радовалась этому и с упоением доказывала, что так и надо, что это лучший путь.

На столе ее лежала толстая рукопись ее собственных стихов — «кирпич», как она сама ее называла. И большинство этих стихов было посвящено великому поэту и мудрецу, нашему современнику. Причем, читая их, нельзя было понять, глумится ли она и над ним и над собой или обращается к нему со словами, достойными войти в песнопение какому-нибудь божеству.

Она была откровенна и непонятна, проста и лукава, сложна и упрощенна в одно и то же время. А жизнь в ее толковании была искажена в такую страшную гримасу, от которой хотелось взвыть, но и гримасу эту она преподносила как произведение высокого художественного достоинства.

Так, питаясь черным кофе и дымя папиросами, жила она в сумбурной Москве, не старая и не молодая, с птичьей походкой, с худющими руками, с раскосыми подслеповатыми глазами и с копной пышных седеющих волос.

Кате было у нее легко, потому что все речи шли не теми путями, где нужно было таиться и скрываться. Наоборот, общение с Верой Ивановной подымало со дна Катиной души забытые мысли и заставляло вновь и вновь переоценивать свой путь. И чем больше Катя углублялась в себя, тем привычнее ей становилась ночная комната Веры Ивановны, тем яснее было, что путь ею выбран правильный.

Она чувствовала убийство не только как подвиг, но и как грех. И это было нужно, потому что подвигом одним нельзя было насытить душу. Нужно было почувствовать себя на дне пропасти, нужно было дойти до того, чтобы потерять себя в страхе и отчаянии, — и только тогда поступок мог получить должную силу, мог оправдать себя и стать толчком для миллионов других людей. И Катя в безнадежности окружающего чувствовала, что летит ее душа камнем на дно пропасти, и чувствовала, что так надо.

Тогда ей было непонятно иное отношение к делу, которое сквозило у Александра: в глубине души он еще ос-

тавался старым партийным работником, для которого террор — только подвиг, всячески оправданный, всячески неизбежный, а террорист никак, ни одной частью своей души не убийца, а только герой и жертва.

Катя с ним не говорила об этих своих мыслях. Вдвоем они в сотый раз принимались обсуждать подробности дела. И в этой деловой близости их было нечто, что отгораживало их от всего мира.

А когда Катя уходила, Александр ложился на кровать и курил, курил без конца, внимательно глядя, как поднимаются кольца дыма к потолку. Он вновь обдумывал все. В нем не было сомнений. Так надо. Но только минутами казалось тяжело так, в одиночку делать это дело: он привык за долгие годы партийной работы ощущать за спиной своей сочувствующие взгляды товарищей, он хотел бы заранее знать, что каждый его шаг не только оправдан, но и заставляет их гордиться им. Впрочем, до конца он этого и не сознавал, пожалуй.

Наконец Катя пришла к нему с новостями: в четверг на следующей неделе в десять часов вечера Гродский должен на минуту заехать к Доре Ильинишне, чтобы передать ей какую-то посылку для своих родных, которых та увидит в пути.

Надо было готовиться. План был составлен давно. Катя должна была зайти в четверг к Александру днем, а до этого больше не встречаться. На том и расстались.

Александра потянуло повидаться с кем-нибудь из «своих».

По прежней памяти он решил для этого зайти в маленькую библиотеку на Смоленском. Поднявшись по грязной лестнице, он вошел в комнату, сплошь заставленную книгами. Библиотекарша тихо кивнула ему головой и указала на маленькую дверь в соседнюю комнату: она его давно знала. Какой-то толстый студент рассматривал заглавия книг на полках. Другой студент читал каталог и записывал себе что-то в тетрадку. У стола стояли две барышни; библиотекарша выдавала им книги.

Александр прошел в другую комнату. Так и есть: здесь все те же. Расспросы, новости... У них все по-старому. Александр решил было уже уходить, когда в соседней комнате послышался какой-то необычайным шум. Все насторожились.

Через минуту дверь распахнулась, и на пороге появилось несколько солдат с винтовками.

Один товарищ схватил какую-то тетрадку и кинулся к окну, другой встал за дверь. Но через минуту их окружили. У Александра взяли револьвер, который он машинально вытащил из кармана. Они были арестованы.

— Это надолго, — задумчиво сказал тот, который хотел через окно спастись бегством.

Другой мрачно ответил:

— Если не навсегда.

Их троих, библиотечаршу, двух студентов и двух барышень, находившихся случайно в библиотеке, повезли на грузовом автомобиле. Барышни волновались почти до слез. Библиотечарша была спокойна.

А Александра душила злоба: надо же было именно в этот день выйти из дому, надо же было так глупо попасться. И вспоминалась ему Катя. «Теперь дело провалилось, — это ясно».

Ему и Катю было жаль: ведь для нее это будет страшным ударом.

«Да, это, пожалуй, действительно надолго», — подумал он. Потом закурил папиросу и стал равнодушно рассматривать лица конвойных солдат.

XVIII

К Рождеству девятнадцатого года Петр получил возможность поехать на неделю домой. Павел Александрович написал ему, что местные дамы нашли много белья, которое хотят передать в его полк. Кроме того, у него были кое-какие дела в Екатеринодаре.

Отец встретил его очень спокойно; но от этого покоя Петру стало жутко. Отец страшно постарел за последнее время; глаза у него все время задерживались слезами. И показалось Петру, что Павел Александрович только наполовину в этой жизни.

Дом был мертвым. Комнаты Кати, Сережи и Александра даже днем стояли с закрытыми ставнями и с запертыми дверями. Павел Александрович жил только в одной комнате. Видно было, что он не живет, а доживает.

— Сын, сын, — говорил он, — ведь наверное ты один остался из всех. Да и то на тебя посмотреть: ноги еле двигаются. Господи, сколько жертв! И неужели все даром? Неужели надежды нет?

Петр пошел в «ковчег». Юленька не знала об его приезде. Он вошел в гостиную, откуда неслись звуки рояля, и молча остановился за ее спиной.

Она быстро повернулась на табуретке. Увидав его, сначала слабо вскрикнула, потом сорвалась с места и обхватила его шею руками. Она и плакала и смеялась.

Петру было нестерпимо радостно, будто волна какого-то безмерного, нечеловеческого счастья подхватила его и несет. Он чувствовал всей душой своей, что любит Юленьку, любит ее милые руки, и такие забавные косы, и всю ее, такую чистую и ясную. И казалось ему, что

единственное место на земле, где можно жить и дышать, — это здесь, в гостиной «ковчеха», где только что звучала Юленькина музыка, где на рояле разбросаны ее ноты, где она сама тесно сплела свои руки вокруг его шеи.

Но она уже смутилась первого порыва и стояла перед ним красная и улыбающаяся.

Петр взял ее руку и, нежно целуя, начал говорить что-то совсем даже не то, что хотел сказать, и, сам не зная почему, говорил обращаясь к ней на «ты»:

— Ты рада, что я приехал? Я тоже страшно рад. Как около тебя хорошо, моя родная. Как везде тоскливо, где тебя нет. Господи, какое счастье знать, что ты совсем близко тут.

И ему действительно казалось сейчас, что тяжесть войны не от войны, а оттого, что там нету Юленьки.

Они сели на диван. Петр продолжал говорить ей свое, чередуя рассказы о фронте с уверениями, что единственное место на земле, где можно чувствовать себя счастливым, это диван в гостиной «ковчеха».

И будто о чем-то, что уже много раз было сказано между ними, он говорил:

— Ведь когда-нибудь война кончится. Если я уцелею, то подумай, какое счастье будет никогда не расставаться, быть всегда вместе, вместе строить жизнь.

Начались для Петра совершенно особые дни. Не верилось ему, что какое-то время предшествовало этим дням и что скоро они должны кончиться. Юленька была спокойнее. Она вдруг как-то сразу стала для всех взрослой. И на самом деле она чувствовала, что во всем ее существовании произошла огромная перемена.

Целыми днями или Петр сидел в «ковчехе», или Юленька забиралась с утра в дом к Павлу Александровичу.

Он тоже как будто переменялся, смотрел на Петра любовно и все твердил:

— Вот уж не думал, что радость будет, а она тут как тут...

Юленька старательно проветривала старый дом, открывала во всех комнатах окна, отпирала двери, убедила Павла Александровича, что надо стены побелить. И хотя, в сущности, это было совсем не нужно, но как-то с общим тоном напряженных дней хорошо сочетались и толстая поденщица Ариша, которая перевернула весь дом кверху ногами, и нестерпимые сквозняки, и запах сырой извести.

Когда время приблизилось к отъезду Петра, Юленька осторожно, исподволь стала его уговаривать не ехать.



М. Ларионов. Сергей Дягилев и Леонид Мясин. 1915



Н. Гончарова. Эскиз декораций к опере Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок». Антреприза Сергея Дягилева. 1914



Демонстрация в Петрограде. 1917





Все смотрю на эти перекрестки, –
Что ни перекресток, – Божий крест.



Ветер кружится морской и хлесткий
Средь заплыванных, проклятых мест.



Припасть к окну в чужую маету
И полюбить ее, пронзиться ею.



Иную жизнь почувствовать своею,
Ее восторг и боль и суету.



После боев у Никитских ворот. Москва. 1917



ДЕЧЕРНИЦЫ
ВСЕГДА С НАМИ



Рабочий патруль в Петрограде. 1917



Зимний дворец после разгрома. Петроград. 1917

— Ведь посмотри, весь город наполнен офицерами, и вовсе среди них не много раненых, — просто все понимают, что не стоит больше ехать. А дальше пусть будет что будет.

Но он шутливо зажимал себе уши и говорил:

— Отойди, искуситель. Ну, вдруг я прислушаюсь и останусь, — как я после этого на себя смотреть буду?

И дни шли с такой неумолимой быстротой, что казалось, будто старенькое потрепанное время пустилось вскачь и катит перед собой солнце, как футбольный мячик. Только что встало солнце — и опять закатилось, будто в дне было не больше часа какого-нибудь...

Так пришло время прощаться. Юленька, серьезная и осунувшаяся, говорила Петру:

— Ты только помни: что бы ни случилось, мы в конце концов должны быть вместе. Иначе я не могу. Без тебя я не могу.

Он целовал ее руки и отвечал:

— Ты-то не забудь. А у меня на всю жизнь только один путь есть — к тебе...

После его отъезда Юленька долго оставалась у Павла Александровича. А уходя, все с тем же серьезным и осунувшимся видом сказала ему:

— Дядечка, мне теперь все время будет хотеться к вам. Можно? А то у нас так шумно. Мне дома не по себе...

Он согласился с радостью. Этот приезд Петра заставил его привыкнуть к ней и полюбить ее.

ХІХ

В Екатеринодар съехались все связанные с добровольчеством, и сразу же по приезде Петру удалось попасть на заседание Верховного круга, где в этот день выступал со своим заявлением главнокомандующий.

Странное впечатление произвело каждое его слово на Петра. Манера говорить, пафос речи, пожалуй, отдавали чем-то библейским. Слышалась большая искренность и прямота, чувствовалось умение любить и ненавидеть. Он и сейчас под властью этих двух чувство говорит каждое слово: близких своей идее и себе — любит, противников ненавидит, готов анафематствовать. Слова его просты и сильны. В них много подлинной боли, много надломленной, но все-таки веры, упрямства, решения идти до конца. Это не только солдат. Но в конечном итоге, главным образом, все же солдат.

И только нелепым чем-то показались во всей этой тяжелой фигуре — такой простой и цельной — торчащие кверху, с тонкими кончиками, нафабранные усы, будто чужие, — в такой степени они не отвечали его облику.

Вот он обвиняет. Но не слишком ли в его словах много виновных? Вот он требует жертв. Но не будут ли сейчас эти жертвы уже напрасны? Он, пожалуй, в своих словах прав до конца, потому что сам еще верит...

Но если оглянуться кругом: вот недавний губернатор, уже приобретший вид беженца, облокотился о спину казака-черноморца и слушает; вот два офицера-контрразведчика, молодые, но все видавшие люди, шепчутся тихо; вот казаки, гурьбой наклонившиеся над перилами, — что объединяет всех этих людей? Вот бритый и картавый профессор — глава добровольческой пропаганды, — он ли находит слова, одинаково веские для каждого, он ли сможет заставить всех согласно чувствовать общую борьбу? Россия?..

Да, в словах главнокомандующего есть Россия, как бы к ним ни отнестись. И в лицах фронтовиков есть Россия. И пожалуй, вообще на заседании пестрого Верховного круга она есть. Но она представлена здесь именно в подлинном своем виде: путей не знающая, кровью замученная, раскинутая в бескрайних пространствах, не верующая сама в свое спасение.

Пусть европейские дипломаты слушают здесь со все понимающим видом, пусть камнями ветхозаветного пророка летят слова главнокомандующего, — разве и в этой зале под лепным потолком не гудит и не вихрится другой голос, все покрывающий? Разве среди людей не мелькают нечеловечьи черты? Разве воздух не душен от крови?

Старуха, безумная старуха, как бессильны дети твои, большие и маленькие, главнокомандующие, казаки, офицеры, законодатели, агитаторы, жертвы, палачи, генералы и большевики, члены Учредительного собрания и депутаты казачьего круга, — все, все, все, — как бессильны они помочь тебе.

И душно тебе в Московском Кремле и в Екатеринодарском зале, в теплушках с тифозными и на кладбищах заброшенных, в селах, в станицах, в городах...

Разве вот когда запоет удалая метелица, когда снежные вихри со всеми четырьмя мирскими ветрами закружатся в пляске, когда даже волки уйдут в глубь леса от непогоды, а небо черное тяжелым камнем надвинется на землю, — тогда и тебе хорошо выйти на заметенный перекресток и вместе с трубными возгласами ветра, вместе с тонкими голосами метелей, вместе с грудным стоном раздавленной земли затянуть свою песню, так, чтобы от нее все растаяло, рассеялось, развеялось, разнеслось и сгнуло.

Ты сгнула. И мы гибнем. Все гибнем...

С головной болью и с ознобом ушел Петр с заседания. Вечером опять надо ехать «домой», на позиции.

А на следующее утро Петр бредил уже на всю теплушку. Около него возился свой, полковой солдат, случайно оказавшийся тут же.

Солдат решил на свой страх устроить Петра в санитарном поезде или госпитале.

— А то отступать начнем — пропадет человек.

Сначала из теплушки он перенес Петра в зал третьего класса на первой же узловой станции. Там положил его на полу, рядом с такими же бредящими... Пока он метался по госпиталям и по санитарным поездам, Петр лежал, не соображая, где он находится, и громко и радостно говорил, говорил и днем и ночью. Только на третьи сутки солдат определил его в госпиталь, — тоже лежать на полу в коридоре.

Доктор ему сказал на прощанье:

— Полковому командиру доложи, что сыпной тиф.

А Петр мучительно старался припомнить какие-то стихи, которые он должен был непременно знать. В голове они слагались и опять распадались на совершенно неуловимые слова. Наконец вспомнил он и громко, на весь свой коридор, начал декламировать:

— Люблю отчизну я, но странною любовью...

Дальше опять не мог вспомнить. Наверное, будет «кровью». Вот даже в стихах кровь... Нет, там это иначе как-то выходит, не кровь отчизны... Кровь отчизны здесь, на оставленных полях...

К нему подошла сестра милосердия, высокая, из-под косынки на лоб свисали желтые буколки. Это он ясно увидал. Значит, он не в бреду. Он хорошо сознает, что он болен... Мать укроет сейчас ему ноги теплым своим платком, — так она всегда делает, когда он болен, — и сразу перестанут ноги ныть. А потом приложит свою прохладную руку к его лбу, чтоб не горел он так, чтоб не ныла голова нестерпимо. А завтра будет яркий солнечный свет ударять в окно, и лягут квадратики от оконных рам на полу, и медленно будут двигаться: сначала один только уголок доберется до ковра, потом целый кусок ковра станет ярким-ярким, а через ковер первый квадратик доберется до книжного шкафа и тихо поползет наверх, где на полке его игрушки.

И забыл Петр, что много лет отделило его от маминого платка, от маминой прохладной руки. Снова казался он себе маленьким мальчиком. Маленький мальчик беспомощней большого человека, но зато есть у него много утешителей, которые потом перестают утешать. А главная радость, главное утешение — это весь мир земной вокруг, солнце, такое белое, оживляющее в комнате тысячи пы-

линок, и скатерти на столах, такие белые, праздничные... А теперь этой белизны нет... Когда теперь?..

И опять минута сознания. Койка с больным рядом, больные на полу... Стонут, мечутся...

Офицеры жарко натопили печь могильными крестами... И вдруг неожиданно пришел к ним в хату главнокомандующий в длинной серой блузе, а может быть, и не он, а кто-то другой, только Петр его хорошо знает, — и велел всем отвечать ему стихи. Кто знает, того он ставил по одну сторону, кто не знал, оказывался на другой стороне. И было очень страшно Петру, что он забудет, все забудет, даже начало... Вот и его очередь... «Люблю отчизну я, но странною любовью...» Дальше он опять не может вспомнить. Дальше есть: «Но я люблю, за что, не знаю сам...» Но он дальше не спрашивает, кивает головой, ставит в сторону знающих... А печь горит все ярче и ярче, становится так нестерпимо жарко, что Петр начинает требовать, чтобы открыли окошко. Никто не слушает его. Он кричит, кричит, кричит...

Опять над ним сестра милосердия с желтыми буклями...

Командир полка, узнав о болезни Петра, телеграфировал Павлу Александровичу. Тот сейчас же решил разыскать сына. Юленька умоляла его, чтобы он взял ее с собою. Но ни он, ни Клавдия Алексеевна не считали возможным для нее ехать.

Было решено, что Павел Александрович постарается доставить Петра каким-нибудь способом домой. Никто из них последнее время не ездил по железным дорогам, и поэтому такое решение казалось им возможным.

Павел Александрович долго узнавал, в каком госпитале лежит Петр. Узнав, никак не мог за ним угнаться. В Тихорецкой ему сказали, что госпиталь эвакуировался в Екатеринодар; в Екатеринодаре выяснилось, что он накануне переведен в Новороссийск.

В бесконечных теплушках, образовавших на запасных путях целый город, он часами бродил и расспрашивал всех встречных, как найти госпиталь Петра. Только к вечеру случайно попал на госпитального санитаря, который проводил его.

Павел Александрович застал сына в беспмятстве. Ему не было лучше. Сестра многозначительно качала головой. А Петр, не узнавая отца, весело и громко разговаривал среди таких же безумных и бредящих.

И, сжавшись комочком около сына, Павел Александрович целыми ночами слушал его бред. Было в нем что-то знакомое, что, может быть, и здоровый человек готов бы повторить, да стесняется, — вспоминает, что недавно

было все ясно и нормально, и не верит до конца, что теперь все переменялось и ничего ясного нет.

Раз он неожиданно узнал отца и начал говорить с ним с рассудительностью нормального. Так, по крайней мере, показалось Павлу Александровичу.

— Ты, пожалуйста, не верь, — говорил он, — если тебя станут убеждать, что у меня тиф. Здесь все на этом тифе помешались. А у нас в полку выяснено, что если у человека много своих насекомых, то уж чужие к нему не пойдут. Значит, полная гарантия от заразы. А у меня их достаточно, поверь. Так что сыпным тифом я заразиться никак не могу... Но я действительно болен, потому что моя кровь никак не может пробиться в подземную кровавую реку, где кровь всех наших бурлит и пенится...

Иногда на него находили минуты какого-то дикого отчаяния. Тогда в беспамятстве метался он на своих подстилках, рвал на груди рубаху, кричал громко и пронзительно.

И в нагроможденных образах бреда его чудился Павлу Александровичу последний смысл всего происходящего вокруг.

Ему виделась закрома пустые, в которых только мыши шуршат... Пустыня, горькая пустыня, без воды, с тяжелым небом, с сухой землей. Разъятое тело, разлагающийся прах России, матери, великой страны... И, мертвая, призраком встанет она на глухой тропе, чтоб никого не пустить к своей могиле, будет вьюгою выть, и ветром гудеть, и снегом вихриться. А летом будет сушить грудь каждого, кто подойдет, великим зноем; обвеет жарким воздухом губы каждого, так что они в кровь потрескаются; колючками изранит ноги наглеца, захотевшего преступить границу ее, границу смерти без воскресения...

Бред ли это был тоже или мысли здорового человека? Павел Александрович не знал сам уже, где кончается подлинная жизнь и где начинается жизнь его призраков.

И только когда выходил он из теплушки в город, то отрешался немного от этих своих мыслей.

Люди уже начали брать с бою пароходы. Вся масса народа, связанная с добровольческой армией, была прижата теперь к узкой полоске земли и с тоской смотрела на глубокую Новороссийскую бухту.

Качались у пристани корабли. По ночам английские прожекторы вспахивали белой полосой прибрежные горы. Итальянские пароходы ломались от пассажиров: везде — на палубе вповалку, в трюме, где раньше люди никогда не находили себе места, — везде сидели, лежали, притыкались к канатам и к каким-то ящикам люди. Все покидали Россию. Все спасались от гибели.

И никто не знал: надолго ли это; что ждет их на далеких чужих берегах.

Кто из живых мог бы сейчас вдунуть душу в мертвое дело? Кто мог бы вернуть веру в сердца, заставить людей идти на смерть? Зачем ты обманываешь всех, родина? Зачем ты не явишься людям такой, как ты есть?

Единая единством всеобщего тления и распада, неделимая в своей неделимой тоске, великая... Даже смерть твоя не величественна, даже безумие твое не безумие героя...

Россия... Мука какая...

И нет тебя. И везде ты, воплящая, потерянная. В сердце каждом ты. В каждой капле крови — ты. Отрава наша. Тоска наша. Любовь наша.

Россия... Мука какая...

На дне лежим... На дне лежим. Мертвые без воскресения...

Теплушки с больными выгружались. На носилках переносили людей на пароход. Ехать с рассветом.

Куда? На Принцевы острова, на Кипр, — не все ли равно!

Павел Александрович ехал с Петром. И когда он бросил в почтовый ящик письмо к Юленьке с описанием всего того, что помешало ему привезти Петра домой, — он почувствовал, что в душе его что-то оборвалось.

А на следующее утро, переночевав уже на пароходе, он на рассвете смотрел, как медленно скользит прочь от него мол, как люди на берегу становятся все меньше и меньше.

Вот миновали волнорез. Вот маяк на каменной косе проплыл совсем близко, — мимо, к берегу. Новороссийские горы сдавливают еще с двух сторон глубокую бухту, а город уже далеко виднеется красными крышами, высоким зданием элеватора, рядом серых цистерн около вокзала.

Впереди открытое море.

И у Павла Александровича, наряду с тоской по безвозвратно покидаемой родине, вдруг из самой глубины души всплыло чувство какой-то животной радости: хоть одного из четырех вырвал из всероссийского пожара, хоть один, может быть,целеет.

И тогда он его больше не отдаст. Будут они вместе, долго вместе. Пусть будут лишения, пусть будет тяжелый труд, — зато хоть один не сгорел в пожаре, хоть один остался ему, старику.

Вот только как он без Юленьки? Ну, да ей-то оставаться не так опасно. А остальное — вопрос времени: свидятся когда-нибудь. Еще оба молоды, — жизнь перед ними длинная.

И неожиданно он поймал себя на том, что в этих его мыслях нет основного, что мучило его последние годы: нет мысли о России.

Он прислушался. Море только тихо плещет, да вскрикивают осторожно летящие за пароходом чайки.

«Неужели, — подумал он, — весь мир все это время нашего вопля не слышал? Неужели никто в мире по-настоящему России не видел и не чувствовал?»

И стало ему ясно, что люди, не знавшие огня русского горения, вообще ничего не знают и что каждый русский теперь — кто бы он ни был — мудрее самого мудрого европейца.

Надо было спускаться в трюм, к Петру.

Далеко легкой дымкой исчезали синие новороссийские горы — Россия...

Петр действительно поправлялся: у него уже наступали минуты, когда он мог говорить с отцом.

XX

В назначенный час Катя стучалась в комнату Александра. Из соседних дверей выглянула хозяйка и сказала, что вот уже несколько дней как он исчез. Комната стояла незапертой. Катя вошла в нее и подумала, что, может быть, Александр по каким-нибудь соображениям решил до назначенного часа не быть дома.

Она даже улыбнулась про себя: «Удивительно забавны эти старые конспираторы».

Она попробовала читать. Но мысли о сегодняшнем вечере не давали ей сосредоточиться. Начинало смеркаться. Катя все еще не предполагала, что с Александром случилась какая-нибудь катастрофа.

Часы в соседней комнате пробили семь. Оставалось три часа. Со стороны Александра все же непростительное легкомыслие так запаздывать. Хотя, по существу, дело совершенно налажено: надо быть только без четверти десять около галкинского дома. Катя взволнованно ходила по комнате: время шло так медленно. Вот на небе начали высыпать бледные звезды.

Вдруг в душе Кати шевельнулось сомнение: а может быть, с Александром что-нибудь случилось? Как узнать? Вспомнился номер телефона одного из ближайших товарищей Александра. Она спустилась вниз по лестнице, — телефон был в подъезде. Долго старалась соединиться. Долго какой-то чужой голос допрашивал ее, кто она такая.

Наконец, уверившись в том, что она действительно сестра Александра, голос сказал удивленно:

— Странно, что вы ничего не знаете. Вот уже четыре дня, как он вместе с другими арестован на явке в библи-

отеке. Содержатся они в Бутырской тюрьме. Свиданий не дают. Надежд на скорое освобождение нет никаких.

Катя повесила трубку. Сначала ей отчетливо вспомнилось, как тоже по телефону в Петербурге было получено известие об аресте Александра. Потом остро и больно мелькнула мысль, что все ее дело сорвалось. Одной нечего и думать браться за него. Наверное, уже скоро девять часов, — через час надо быть готовой. А она совершенно вне себя, совершенно не владеет своей волей. Значит, все пропало.

Она опять поднялась в комнату Александра, легла на его постель и начала плакать. В этих слезах ее было и отчаяние безграничное, и злость. Потом представилось ей, что должен был чувствовать Александр в минуту ареста: ведь он тоже, как она, весь отдался делу; и сразу почувствовал, наверное, что все кончено.

Звезды ярко горели в уже темном окне. Наверное, и десять прошло.

Катя повернула голову к стене: и звезд спокойных не хотела она видеть. Что-то кончилось безвозвратно. Как им везет, врагам. Ведь может быть, если бы она вчера узнала об аресте Александра, то к сегодняшнему вечеру и собралась бы с силами.

Но вдруг стало ясно, что если бы после ареста удалось убийство, то Александр, его товарищи и многие, многие другие, часто совершенно случайные люди, ее выстрелом были бы обречены на смерть. Круговая порука смерти стала ей очевидной. И страх впервые пробрался к ней в душу: ведь как ни отмахиваться от себя этих мыслей, все же ясно, что в конечном, последнем счете она была бы убийцей; во всяком случае, вся ответственность за их смерть она должна была бы взять на себя. Это слишком, пожалуй, для одного человека. И ей как-то жалко себя стало.

Мысли шли странными путями, и время незаметно бежало. Очнулась Катя от оцепенения только утром. Надо было решать, что же делать дальше.

Домой ей не хотелось идти: там все полно ожидания события. Придется опять думать о том же, опять тоска безумная охватит душу.

Она пошла к Вере Ивановне. Застала ее за варкой кофея на спиртовке.

— Хорошо, друг, что пришли. Вас уже неделю не видно... Да что с вами?

Она с ужасом глядела на Катину осунувшееся лицо.

Катя села в кресло и тихо прошептала:

— Брат арестован. Вообще все, чем я жила последнее время, окончательно провалилось... Мне сейчас прямо нестерпимо трудно.

Умные, подслеповатые глазки взглянули на нее с каким-то странным выражением.

— Ну, выкладывайте все, чтобы я знала, с какого конца к вам приступить. Раз все провалилось, значит, и не надо вам больше вашей глупой конспирацией заниматься.

Катя действительно могла сказать теперь ей обо всем.

— Вера Ивановна, вчера вечером должен был быть убит Гродский. И я должна была принимать в этом деле ближайшее участие.

Вера Ивановна всплеснула руками:

— Так и думала я, родная, что вы что-нибудь в этом роде затеяли... Ну, значит, теперь неудача и отчаяние. А отчаиваться, конечно, нечего. Просто вы еще никак не можете понять, что в последнем счете совершенно безразлично, убит он или жив. Не менее безразлично, чем то, имею ли я возможность раскуривать еще свои папиросы, или вы стоите на панихиде по мне.

Катя ответила зло и упрямо:

— Вера Ивановна, вы хороший и интересный человек; но, право же, у вас вместо человеческой души — дым табачный. Вы не чувствуете, что так продолжаться не может, вы не ненавидите.

— Ненавидеть? Кого? За что? За то, что жизнь дорога? До-ро-го-визна... И слово-то какое поганое... За то, что власть советская? Еще там за что-нибудь подобное? Дорогая моя, все это пустяки.

Катя опять злилась.

— Да разве вы не чувствуете, что вся земля стонет? Разве вы ни разу не представляли себе, что испытывает человек, которого ведут на расстрел? Вот вы представьте себе — вас сейчас поведут умирать. И старайтесь представить себе каждую мысль свою, каждый шаг... Неужели же вы России не чувствуете и не понимаете, что она жертв требует?.. Кровь невинных отмстить хочет, спасителя ищет.

Катя почти плакала.

А Вера Ивановна как-то по-кошачьему изогнулась вся, искривилась, растянула в страшную улыбку рот свой, закрутила костлявыми руками и начала тихо, шепотом:

— Не спасете, не спасете, голубчики, — руки не выросли. Поплачьте, поплачьте, попробуйте. Эка невидаль, Гродского убить — Россию спасти. Уж очень и просто, пожалуй. Нет, не так это просто. Пусть она повоет да поголосит, пусть пожариками посветит, пусть кровью попотеет, пусть в прах рассыпется... Смотрите, смотрите, слушайте голос будущего, — разве вы не видите, какой свет над будущим разлит? Разве вы не слышите трубу славы?.. Кровью и потом, смертью и тлением, нищенством, паде-

нием, воплем — к свету, к славе, к преображению плоти земной... Смотрите, смотрите, — да ведь не слепая же вы... Народ богоносец — это чепуха. Народ — богочеловек... Но чтоб в человеческом до дна дойти, до дна... Вот мы все в кровавом подвале чрезвычайки, вот мы все не верим уже в преображение, — так надо. А потом будет, будет... Слышите — трубы славы... О, Господи!..

Она без сил опустилась в кресло.

Потом помолчала долго и сухо сказала:

— Однако пейте кофе, а то остынет.

Катя покорно выпила чашку.

— Ну, а теперь ложитесь на мою кровать. Я вас платком своим укурую. Платок у меня волшебный, — под ним спокойно будет.

И она, уже совсем другая, суежилась около Кати, обхватывала ее, как малого ребенка. Катя поддавалась ей, — так хотелось сейчас ни о чем не думать.

Начались призрачные дни Катины, дни во власти Веры Ивановны. Пока Катя лежала под волшебным платком, та уже успела все ее вещи с квартиры к себе перевезти и заявила, что никуда Катю от себя не отпустит.

Прошло недели две. Вера Ивановна решила, что дальнейшее безделье ее пациентке вредно, и предложила помочь ей устроиться на службу в библиотеку, где она сама работает. Оказывается, она даже кое с кем успела об этом переговорить. Катя опять покорно согласилась.

В высоких полупустых комнатах, где так успокоительно пахло книгами, где редкие посетители разговаривали шепотом, Катя с утра и до вечера чувствовала себя отгороженной от внешнего мира. Она в свободное время читала, читала без разбора, лишь бы этого мира не чувствовать. Это было время в монастыре, на покое.

Вера Ивановна сама хлопотала о свидании с Александром, но это не удавалось.

Опять у Кати рождалось чувство, что все временно, что надо ждать настоящего часа. Слова безумные Веры Ивановны приходили ей часто в голову, но в них ввела она свой порядок и дала им свой смысл.

Об Александре думала долго и мучительно, — она не знала, как он переживает последнее разочарование.

А Александр, сидя в общей камере с людьми, которых почти всех давно знал или по работе, или по каторге, долго не мог побороть чувства злобы на себя за последнюю неудачу. Дни шли по-тюремному медленно и однообразно. Сначала ему хотелось быть одному, но постепенно знакомые споры, общие интересы втягивали его в жизнь камеры. Как всегда, основной темой разговоров был вопрос о том, как пойдут русские пути дальше.

Много спорили. Некоторые ждали освобождения скоро, чуть ли не через месяц; другие ни во что не верили больше, третьи думали, что большевиков свергнет контрреволюция, идущая с юга.

Александру же казалось, что вопрос тут, во-первых, не во времени. А во-вторых... Перемены, пережитые русским народом, так непостижимо велики, что привычными старыми словами ничего больше объяснить нельзя. Тут современники еще, пожалуй, бессильнее, чем какие-нибудь люди средних веков, которые захотели бы характеризовать грядущее возрождение. И пусть во всем мире перемена эта еще не ощущается, — на самом деле в недрах России растится нечто еще невидимое, о чем мир и догадываться не может, растится в муках и лишениях... Скоро должна захлопнуться книга истории Европы. Скоро откроется новая книга, книга истории народа русского, еще не рожденного, — но час родов его уже близок.

Вот о чем думал и говорил Александр. Над ним подсмеивались. Тогда он перестал говорить. А жить ему в тюрьме стало по-старому, — привычно. Кате он пробовал писать, письма, наверное, не доходили.

После эвакуации добровольцев из Новороссийска Катя получила письмо от Юленьки. Та ей сообщала, что Петра, больного сыпным тифом, Павел Александрович увез за границу. Катя обрадовалась, что он спасен.

Но ее удивил весь тон Юленькиного письма: оно было проникнуто такой скорбью и такой нежностью, что Катя почувствовала всю силу любви этой девочки к ее брату. Ей захотелось повидаться с ней.

Весной она поехала домой на юг, остановилась в пустом и мертвом доме своей семьи. По странной случайности, он еще не был реквизирован ни под какое советское учреждение.

На время ее пребывания Юленька тоже перебралась к ней из «ковчега». И начались у них тихие разговоры о прошлом. Спокойно называла себя Юленька невестой Петра. И действительно, она была вся проникнута чем-то, что в представлении Кати связывалось с понятием невесты: было в ней что-то очень собранное, сосредоточенное; большая любовь сквозила в каждом слове. Казалось, что ожидание, которое ей выпало на долю, было не пассивным состоянием, а деланием каким-то, — она непрерывно ждала, готовилась непрерывно к встрече и верила в эту далекую встречу. Кате было ясно, что, несмотря на молодость свою, Юленька не изменит этому чувству ожидания и будет им все свои дни наполнять.

А Кате не сиделось дома. Какая-то странная тоска тянула ее, будто в конце дороги, где небо слилось с землею,

увидит она что-то новое и радостное. После месяца разговоров с Юленькой она решила опять ехать в Москву.

Но накануне отъезда получила письмо от Веры Ивановны. Та предлагала бросить пока все планы и идти бродить странницами, богомолками.

Катя сразу согласилась. Это казалось ей продолжением того душевного скитания, которому обрекла ее судьба.

На маленькой станции где-то в Воронежской губернии они встретились. Сразу вышли на дорогу. Сзади терялся в лощинке станционный поселок. Хлеба начали колоситься. Жаворонки пели над головой в синих волнах воздуха.

Вера Ивановна имела настоящий вид странницы. Катя казалась немного чужой на этой дороге.

— Вот, голубушка, это самое хорошее. — Вера Ивановна показала рукой на поля и пригорки, покрытые редким леском.

Ночевали в какой-то маленькой деревне. Хозяин избы долго жаловался, что вот без света живут, — ни спичек нет, ни керосина. В темноте легли на полу в углу. Вера Ивановна что-то говорила шепотом.

Катя плохо слушала, потому что виделся ей в пути образ любимый и мучительный старухи безумной, слышались ее вопли. И вся дорога странная казалась ей погоней. По следам в пыли дорожной гналась она за матерью своею, которая родила ее такой на себя похожей, такой же безумной и путей не знающей, такой же не ищущей спасения.

В полях бескрайних была Катя частью России, плотью от плоти матери своей; и хотелось ей больше и больше растаять, рассыпаться пылью, чтобы с матерью соединиться до конца, чтобы ее голосом безумным тревожить людей по деревням, чтобы ее костлявыми пальцами стучать в окна: «Спите? Что спите? Вставайте! Пора!»

Но было не пора еще. Надо было ждать...

I

В середине лета, в самую жару, когда золотится пшеница, солнце может перестать освещать спутницу свою — тяжелую хлебами землю, и все равно в темном небе будет она сиять золотой полосой пшеничных своих полей.

Наш край... Как его назвать, наш край? Сказать ли, что это часть великого государства Российского? Но в Российском государстве есть и сибирские тундры, и бесплодные пески Закаспия, и леса, и унылые северные болота... Наш край на них не похож. Наш край — пшеничное царство...

Миллионы десятин золота, не деленные на узкие полосы, как делят землю на севере, а сплошные, — от края неба и до края. Хоть целый день иди, — все та же золотая пшеница будет окружать тебя. И так будет, пока тебе не покажется, что ты даже не идешь вовсе, а давно уже растаял и растворился в золоте солнечного неба, в золоте солнечной пшеницы.

Потом заметишь вдали белую колокольню с ярким крестом, услышишь залихватый собачий лай, потянет жженым навозом.

Это жильё человеческое, — кубанская станица.

Пшеничные люди земли не жалеют. Станица вытянулась далеко. Дворы у хат огромны. В пыли у заборов возятся ребята, копаются свиньи и куры, собака греется на солнце и изредка поводит лениво ухом, — мух отгоняет. Трава выросла по улице, тонкой полосой вьется между нею проезжая дорога.

Пыль черноземных дорог. Мягкая, — нога в ней тонет, — пушистая, горячая...

Выйдешь в степь. По краям стоит пшеница засыпленная. Колосья лениво клонятся к земле. Набежит легкий ветер, — и волной золота зарябится пшеничное поле.

А в небе высоко парит коршун да сыпятся искры раскаленного солнца.

В конце июня, когда скосят пшеницу, поля потемнеют немного, но до самых осенних дождей будут все же отливать золотом и сверкать на солнце.

Начнут расти в степи соломенные города. Молотилка призывно засвистит, и клубы дыма потянутся из ее тонкой трубы в воздух. Народ зашевелится около нее. Золотая соломенная пыль густым облаком подымется от земли. Повезут в станицу тяжелые мешки с зерном. А вокруг молотилки все гуще и гуще будут лепиться тоненькие переулочки между соломенными скирдами. Скирды вырастут выше и больше, чем хаты на станице.

По степи начнут бродить огромные отары овец, то расползающихся серыми комками, то сбивающихся в одну кучу; а старый пастух, весь высушенный солнцем, с крюковатым, длинным посохом, будет лениво глядеть вслед случайной подводе, исчезающей в облаках пыли. И если отрешиться на мгновение от того, что сзади осталась станица, в которой все же получают газеты и знают точно, в каком веке живут, — то такой седой древностью повеет от старого пастуха с его овечьим стадом, от синего, глубокого неба, от потемнелого золота скошенных полей, что просто неудивительно было бы увидеть вдали смуглую Руфь, собирающую колосья на полях Вооза.

Так неизменен лик земли, плодородной, насыщенной солнцем, тяжелой.

Крепкая земля в нашем крае. Крепкий, могучий народ. Пшеничные люди.

Если бы выбирать столицу пшеничному царству, то по всему надо было бы выбрать станицу Хлебную. От нее во все стороны одинаково далеко до голода, до холода, до болота и леса. Весь ее юрт, — триста тысяч с лишним десятин, — отливает летом пшеничным золотом.

И хлебов печеных, таких, как в станице Хлебной, нигде нет. Высокие, румяные, корочка хрустит, легкие, в меру вскисшие.

И не то чтобы у баб станичных какая особая наука была насчет печения хлебов, а просто такие сами они удавались, — мука такая, значит, выходила из благодатной пшеницы станичной.

Всякому человеку понятно, что там, где хлеба хороши, вся жизнь должна быть сытой, довольной и веселой; труд в степи благодатный, — всякий хлебороб уверен, что и в этот, и в следующий год не изменит ему черноземная степь, — наградит за работу сторицею. А от этого и тоска не растет, и жизнь идет счастливо, спокойно.

Станица вытянулась верст на десять в длину, а поперек было только по два двора с каждой стороны улицы.

Белая церковь, еще новая, с зелеными куполами, стояла на небольшом пригорке посередине площади. Вокруг площади были все каменные дома: станичное правление с красной черепитчатой крышей и с заплеванным подъездом, высокая, с большими окнами, школа, выходящая в чистенький палисадник, дом батюшки, отца Лаврентия Малахова, с цветными стеклами на полузакрытом балконе, с густыми зарослями дикого винограда вдоль стен.

На площади вообще жили больше люди именитые. А чем дальше к окраинам, тем беднее становились хаты, и дворы при них не так уж велики. Сады, пожалуй, везде одинаково зеленели вишняком своим густым.

И жизнь людская шла во всех хатах приблизительно по одному образцу. Работа у всех одинаковая, — пожалуй, весь юрт можно назвать хлебной фабрикой, а казаки на этой фабрике все одинаковые мастера.

Разница только, что на фабриках настоящих труд противный и подневольный, а труд степной — самый радостный и благодатный. Кроме того, хлеборобное дело летом, в самую жаркую пору, человеку и поспать почти не дает, — времени нету, ни часу в уборке пшеницы пропустить нельзя. Поздно ложиться приходится и вставать, когда раннее летнее солнце еще встать не успело. Зато зимою дела почти никакого у станичников нету: озимые уже забархатились, черный пар влагой небесной насыщается, амбары стоят полные, — работы никакой и нету.

Слава Богу, что вечера зимою рано наступают, — спать можно ложиться с петухами.

А днем, если по хозяйству ничего не надо справиться, то единственное дело в лавочке ли у площади, или так по хатам собраться и рассуждать. И были в станице великие мастера рассказы рассказывать. Соберется народ вокруг них, а они издалека заводят, часто уж и раньше всеми слышанное, — да это не беда, — когда хорошо говорят, и несколько раз одно и то же послушать можно.

Казаки вообще народ такой, что каждого будут слушать внимательно. И спорить они не очень охотники. Если даже враль какой рассказывать небылицы начнет, — и его не перебьют, только замолчат после рассказа все да какой-нибудь старик заметит спокойно:

— Могёт быть.

И сам враль не поймет, кто же в конце концов одурачил кого, он ли своими выдумками, или слушатели его, которые и спорить с ним даже не захотели, а только и буркнули: «Могёт быть», — отвяжись, мол.

Друг друга народ знал и понимал очень хорошо, кто чем живет и о чем про себя думает. А свежему человеку трудно было во всем сокровенном станичном думанье разобратся, потому что свежий человек, как ни старайся начистую разговор вывести, как на споры своих собеседников ни натаскивай, — тоже почти всегда услышит:

— Могёт быть.

А дальше, значит, — проваливай, мы своим живы, а о твоём тебя не спрашиваем.

А так вот, не споря, отшить полегонечку, — это даже, пожалуй, вежливость станичная была.

Ну, а между своими и споров мало, потому что одна приблизительно у всех жизнь складывалась и одни мысли у всех в голове роились: весною на небо посматривают:

— Дал бы Бог дождя.

В сенокос смотрят:

— Не надвигаются ли, не дай Господи, тучи.

Сын подрастет, — к службе готовить надо, а потом женить, а там у него ребят крестить. А там волов новых покупать или пшеницу в город на продажу везти.

Одним словом, жизнь известная, — другою в станице и жить нельзя.

И все очень хорошо понимали, что все главным образом пшеницей определяется, — так с этим понятием и сообразовывали всю жизнь.

II

Один был только человек в станице, который неизвестно откуда других понятий набрался, всем наперекор, все был недоволен, все тосковал и искал себе лучшего удела.

И не чужой человек, а свой, казак, — Семен Петрович Барынькин.

Еще как вернулся со службы, начали у него всякие чудачества проявляться. Начать с того, что объявил он матери свою волю, захотел стать мясником.

Для нашего народа это занятие не считается особенно почетным. А Семен Петрович был человеком богатым, — мог бы и без такого ремесла хорошо жить. Но у него раз сказал, — значит, сделал: открылась в станице мясная Барынькина.

Мальчишку он себе лет пятнадцати в подмогу нанял. Вот этот-то мальчишка своими рассказами и обратил внимание станичников, что Семен Петрович — человек необычайный.

Рассказывал он, что когда зарежет мясник быка или овцу, освежает ее и потом начнет потрошить, — так потрошит не просто, а как-то по-особенному, — каждую кишку рассматривает, опять в утробу прилаживает, будто все хочет дознаться, на что она скотине нужна была. Так же и желудок, и печенку, и почки, — все проверяет, прилаживает. Легкие однажды пробовал воздухом надувать. А с сердцем бычьим целый вечер возился, резал его на части.

И мальчишка рассказывал про такие занятия мясника не раз и не два, а уверял, что редко какая скотина через его руки без этих опытов проходит.

Все эти рассказы сильно разожгли любопытство станичников. Но никто не мог понять, к чему это Семен Барынькин так чудачит. У него же спросить не решались, — за насмешку примет и еще обругает.

Потом стали ползти слухи, что Семен Петрович у одного старика на хуторе научился целебные травы распозна-

вать, и какая против чего помогает. И будто даже с наговорами всякими он этими травами врачует.

Сначала не верили. Потом мало-помалу начал к нему народ собираться со всякой хворобой. До фельдшера все равно пятьдесят верст, — не удосужишься в рабочее время.

Но все же шли к нему с опаской, потому что с детства знали его и не могли понять, откуда он премудрости набрался.

Он народа от себя не гнал, но и окончательно в своих знаниях не признавался. Все в шутку будто старался обратить. У тебя, мол, и болезни никакой нет, — одни мысли такие глупые. Вот тебе, наверное, такая пустякови-на поможет. Даст сушеной молодой крапивы, как чай пить, вместо слабительного, — человек действительно и поправится.

Сам, значит, в своих силах не был уверен, потому и не объявлялся народу, а исподволь на народе пробовал себя.

Уверовали в него сильно, когда дьячок на масляной чуть было ног не протянул, да Барынькин помог: сразу определил, что он себе глотку блином горячим спек, — дал какой-то настойки, прочел вроде молитвы, велел живот постным маслом растирать, — дьячок в два дня и поправился.

А потом получил Семен Петрович и научное признание: на огородах нашли мертвое тело; началось о нем следствие. Из города врач приехал на вскрытие.

Семен Петрович просил разрешения на вскрытии присутствовать; и смело начал с врачом разговор о всяких врачебных вопросах, показал полное знание строения человеческого тела и даже обратил внимание врача на какие-то неполадки у мертвеца в сердце.

Врач с удивлением спросил его, где он всей этой премудрости набрался. На что Семен Петрович ответил, что недаром он и мясником стал, — это самое премудрое дело для того, кто хочет врачевать.

Врач очень удивился этому ответу и с улыбкой спросил его:

— Значит, ты теперь и лекарь готовый?

Но Семен Петрович скромно ответил:

— Тело можно сказать, что изучил, но душу человеческую только что изучать приступаю.

Опять тогда никто не понял ответа его и не сообразил, как же он теперь души человеческие потрошить начнет.

А народ стал валить к нему валом, так что он и мясную свою забросил. Одному палец молотилкой помяло, у другого в груди печет, у детей понос кровавый, — он на все средства знает.

Были у него лекарства и совсем особенные, — от чухотки, например. Это средство он только и давал тем, кому дни будто и сочтены совсем были, да и то по предварительному соглашению, потому что дело было серьезное: Семен Петрович предупреждал, что без его лекарства человеку жить не больше месяца осталось, а с лекарством — или сейчас же умрет, — не выдержит душа яда, — или если преодолет, то месяца через три совсем здоров будет. И находились смельчаки, что соглашались на это лекарство. Выздоровливали действительно. Деготь, что ли, это какой-то особенный был.

Так стал он необходимым человеком в каждой семье. И трудные роды, такие, что около родильницы весь народ с зажженными свечами уже стоит, а она помирать совсем приготовилась, — и детские болезни, и старческое хирение, — все проходило через него, всему он был свидетелем и помощником.

А в страданиях и болезнях душа человеческая открывается так, что читай в ней, как в открытой книге. В страданиях учился Семен Петрович познавать душу человеческую. И пожалуй, если бы врач, который ему вопрос задавал, теперь приехал в Хлебную, Семен Петрович мог бы ему смело сказать, что и вторую часть науки своей он уже постиг.

Но постигнув ее и почувствовав себя мудрым — мудрее, чем все станичные старики, — Семен Петрович возгордился и затосковал. Нелюдимым он стал, опротивело ему все. Работать работу такую, как все, — хлеборобную — будто и не так интересно ему; дальше изучать свое дело тоже трудно, потому что и книги-то все по врачебному искусству, — он пробовал их покупать, — написаны так, как будто бы этим искусством простой человек и поинтересоваться никогда не захочет, — язык прямо суконный, как раз такой, что только мозги забьет и последние понятия вышибет.

К сорока годам достиг он большого влияния в округе, а тоска не унималась, — прямо до сухого звона в голове доходила.

Так навидался он всего, так научился распознавать людей, что с ними ему скучно стало. Человек начнет какую-нибудь хитрую речь, да обиняками, — а он уж знает, чем эта речь должна кончиться, и только от скуки не перебивает собеседника, дает ему до конца договориться.

В это время Семен Петрович решил жениться. Невесты у него подходящей в станице не было. Да он, пожалуй, и сам не знал, какая для него невеста подходящая, — только бы что-нибудь живое было в доме и вместе с тем не очень шумливое.

Услыхал от кума он, что в соседней станице живет вдова молодая, бездетная и хорошая хозяйка. Подумал и решил, что это самое подходящее.

Вскоре стала Дуня его женой. Венчались они не сразу, — Семен Петрович заявил, что прежде посмотреть надо, не очень ли она шумная, а потом уж на всю жизнь связываться.

Вскоре после свадьбы родился у Дуни сын, назвали его Климом, а отец с первого же дня начал его Климом Семеновичем величать.

III

Когда Климу было уже лет восемь, Семен Петрович выстроил себе новую хату, как раз за батюшкиным двором. Врачевать он стал меньше, все больше теперь в чужих делах разбирался, и если надо, порядки наводил. Тоска его утихла.

Сын радовал, — лицом походил на него, — такой же разумный будет. Только весь он как-то шире костью удался, да и озорной очень, безудержный. Ну, да это еще не беда, — лишь бы сразу догадался, на что свою безудержность в жизни кинуть.

Клим через батюшкин двор и в школу ходил, никогда не забывал цепного пса подразнить и за косу дернуть одну из батюшкиных дочерей. Тем, пока что, знакомство между ними и кончалось.

Зато старшие, — отец Лаврентий и Семен Петрович — жили не только как добрые соседи, но и как большие друзья. Отец Лаврентий любил пофилософствовать и в самый корень вещей углубиться. А для таких разговоров Семен Петрович был собеседником незаменимым: он ведь и к самому простому делу подходил издалека, отыскивал, откуда начало ему и какого оно корня.

Особенно часты их беседы бывали в зимние сумерки, когда отец Лаврентий, уже отдохнув после обеда и дожидаясь вечернего чаепития, бывал в отменно философском настроении духа. Усадит он соседа у себя в кабинете, сам опустится на стул против письменного стола и начнет сначала вопросы задавать.

— Так как же, Семен Петрович, значит по-твоему, что человек, что скот — все единственно?

Семен Петрович знает заранее, что каждый разговор у них приблизительно так начинается, и степенно разъясняет батюшке, что, может, разница какая и есть, но вот сколько народу прошло через его руки, а в строении тела человеческого он никак не смог найти ничего такого, что могло бы почитаться вместилищем души:

— Все так же, как и у скотины.

На это батюшка засмеется добродушно и начинает убеждать Семена Петровича, что душе никакого органа особого не надо.

— Читал небось, что дух дышит где хочет?

Так полегоньку и поспорят до того времени, когда окна станут уже совсем сизыми и черты лиц собеседников расплывутся в сумраке.

Тогда послышится из столовой стукотня посуды, Семен Петрович возьмется за шапку, а батюшка пойдет чай пить.

Батюшкин дом выделяется из всех станичных домов. Клим однажды по поручению отца был в комнатах и все разглядел. В зале полы воощенные, очень чистые, и по ним полотняные половички от двери и до двери постланы. Перед окнами на высоких подставках фикусы стоят, а на подоконниках герань в горшках. У стенки пианино, на нем фотографические карточки аккуратно расставлены. Стол посередине комнаты застлан вязаной скатертью с хитрыми узорами.

И в других комнатах тоже чисто, все блестит, везде салфеточки вышитые.

Летом Клим из своего сада через забор часто видал, как вся семья батюшкина на балконе чай пьет. На столе скатерть белая, вазочка с вареньем или с медом, хлеб сдобный и огромный, начищенный самовар.

От всей жизни, словом, веет уютом и домовитостью.

Про отца Лаврентия надо вообще много рассказывать, чтобы сразу его жизнь понятной стала. В Хлебной был он первым человеком и уважением всеобщим пользовался, и несмотря даже на малый грешок, который за ним водился. Такой был человек разумный, дельный, станичные дела хорошо понимал, с учителями в ладу жил, не кляузничал.

Только беда его была в том, что овдовел он рано. Оставила ему покойница жена двух дочерей погодков — Олю и Наташу. С год он сам с ними возился, — старая стряпуха помогала. Но потом, видно, одиноко жить не по силам ему стало: появилась в его доме некая домоправительница, Марья Андрониковна, женщина хозяйственная, разбитная и лицом довольно приятная, только суховата немного.

Стали девочки выбегать на улицу всегда причесанные, в чистых платьях. Варенья и соленья заполнили батюшкину кладовую, как и при покойной матушке не заполняли. А всякая натуральная плата за требы сильно повысилась, потому что Марья Андрониковна на малость какую и смотреть бы не стала.

И батюшка был очень доволен своей жизнью, хотя по станице сплетничали о нем и даже архиерею доносили. Но архиерей принял во внимание, что двум малолетним девочкам нужно женское попечение, и тем дело и окончилось.

Оля была годом моложе Клим, но по виду можно было думать, что между ними разница в годах гораздо больше. Клим был широкоплечий, сильный, большой, с грубым голосом и быстрыми движениями. А у Оли были такие тонкие руки, что просто палочками казались. Глаза большие и будто потушенные, грустные. Наташа была хоть и моложе, да живее как-то, здоровее.

Клим относился к девочкам с презрением, любил их дразнить, в игры с ними не вступал. Просто даже стыдно было подумать, чтобы с ними всерьез, как с равными в игру войти.

А девочки не обращали на него никакого внимания, — много их, удалцов, из школы мимо них бегало.

Только раз, когда Клим на площади поссорился с другим мальчиком и, к удовольствию школьников, начал его жестоко избивать, в окошке батюшкиного дома появилась голова Оли, и она спокойным голосом сказала ему:

— Брось, Клим. Смотреть противно.

И он бросил. Сам не знал, отчего бросил, — послушался глупую девчонку. Да и голос этот ее спокойный надолго запомнил.

Потом он на себя страшно зол был.

А на следующее утро, идя в школу и встретив во дворе Олю, он подошел к ней сам первый и задорно сказал:

— Ты что, дура, меня не боишься?

Оля ничего ему не ответила и молча ушла в дом.

Это совсем озадачило Клим, и он решил добиться от девочка признания своего превосходства. Тут впервые проявилась вся его неистовость.

Сначала он просто хотел из-за угла напасть на нее и вздуть хорошенько, чтобы долго помнила. Потом решил, что не такая уж она дура, — и без трепки понимает, насколько он сильнее ее.

Тогда захотелось ему проявить себя перед Олей каким-нибудь невероятным геройством. Он долго думал, что бы ему устроить такое, чего еще никто не устраивал.

Наконец пришла ему мысль: надо выкрасть из конюшни станичного правления племенного жеребца, прокатиться на нем перед батюшкиными окнами. Жеребец был строгий, только лучшие наездники решались на него садиться, — это вся станица знала.

Клим стал все свободное время проводить около станичного правления, поджидая случая, чтобы вывести же-

ребца незаметно. Наконец такая минута подошла. Тихо, никем не замеченный, прокрался он в конюшню, отвязал жеребца, тут же, в конюшне, вскочил ему на спину и вылетел стрелой через пустой двор на площадь.

Жеребец сразу почуял, что седок на нем неопытный, и, раздувая ноздри, помчался вдоль улицы. Пыль поднялась столбом.

Клим вцепился обеими руками в гриву коню и чувствовал какой-то совершенно дикий восторг от бешеной скачки.

Собаки неслись за ним с громким лаем.

Через несколько мгновений станица была позади. Пшеничные степи раскинулись перед Климом. Ветер свистел в ушах, и четко раздавался топот копыт по дороге.

В правлении быстро заметили неладное. Но пока снаряжали погоню за беглецом, прошло некоторое время. И казаки, выехав за станицу, увидели, как далеко перед ними в степи несется жеребец, уже скинувший всадника и наслаждающийся полной свободой.

Его поймали с трудом. А Клима принесли к отцу без памяти, с окровавленным лицом и исцарапанными руками.

Когда он немного поправился, Семен Петрович сильно избил его. Но так колдун и не мог добиться, зачем его сын пустился на эту затею.

А Клим в это время, принимая отцовские побои и чувствуя еще невыносимую боль от падения, думал мучительно, узнали ли о его подвиге в доме Малаховых.

Оля, встретившись с ним через некоторое время, ничего не сказала, а Наташа прошептала заодно:

— Скакун...

«Значит, знает, — подумал он, — теперь уж, пожалуй, и задаваться не будет».

Наступило между ними полное перемирие, но все же более близкого знакомства не начиналось.

Прошло так лето. Семен Петрович начал пахать озимые. Клим ему помогал, пока в школу ходить не надо было. В станице бывал мало, — все с отцом в степи.

Только кончили пахать, — батюшка заболел; послали за знахарем.

Семен Петрович его внимательно осмотрел, потрогал ему живот, кое-где сильно помял. Потом принес из дому всяких снадобий и долго учил Марью Андрониковну, что после чего давать и какие припарки класть.

На следующий день отцу Лаврентию стало хуже. Семен Петрович начал злиться, дал новых лекарств и велел написать батюшкиной сестре, которая жила где-то

далеко, чтобы она приезжала, потому что в доме лишние руки могут понадобиться.

И на следующий день батюшке не полегчало. Так длилось с неделю.

Наконец, Клим заметил, что отец его пришел от Малаховых прямо как туча черный. Только пообедать успели, как он велел Климу бежать к Марье Андрониковне, узнать, не случилось ли чего.

Клим скоро вернулся, — Марья Андрониковна сказала, что все по-старому.

Перед вечером Семен Петрович опять послал Клима к Марье Андрониковне за новостями, — видно, очень тревожился, ждал чего-то плохого.

Клим только вошел в столовую батюшкиного дома, как увидал, что происходит что-то неладное. Марья Андрониковна, красная и запыхавшаяся, тащила сундуки на балкон, носила огромные пуховые подушки. В следующей комнате, где лежал отец Лаврентий, Клим заметил, что весь письменный стол перерыт, ящики выдвинуты, бумаги валяются на полу.

Он взглянул на больного, — глаза закрыты, тонкие восковые руки недвижно лежат на одеяле, и только ноги, покрытые еще теплым платком, слабо вздрагивают.

Климу стало жутко. Он стрелой кинулся из комнаты. Отцу сказал, еле переводя дух:

— Он кончается, она грабит, а девочек нету.

Семен Петрович еще сильнее нахмурился, быстро взял шапку и палку и вышел на двор. Клим решил идти за ним. С отцом ему было совсем спокойно: он знал, что все будет как надо.

Теперь он особенно отчего-то обратил внимание, как в столовой кружатся мухи над вазочкой с медом и как сдернута скатерть с одного края стола.

Семен Петрович несколько раз сильно стукнул палкой, но все же им навстречу никто не вышел. Только через несколько минут распахнулась дверь и на пороге появилась Марья Андрониковна с новым тюком всякого добра.

Семен Петрович остановил ее:

— Ну-ка, покажи, красавица, много ли успела натащить.

И двинулся на балкон.

Там стоял большой сундук, наполовину пустой. В него, видимо, складывались приносимые вещи.

Солнце в это время сбоку ударило в цветные стекла балкона. Семен Петрович вышел на крыльцо, пристально всмотрелся в пылающий закат и обернулся к Марье Андрониковне, стуча палкой по каменному полу балкона.

— Смотри, — видишь солнце, еще полвершка до земли осталось. Пока будет хоть кусок солнца на небе, — грабь, — ты свое заслужила. А как солнце скроется, — чтоб ноги твоей больше здесь не было, — остальное детское.

Марья Андрониковна без колебания и сразу уверовала в право колдуна разрешать и запрещать ей. Она кинулась быстро из комнаты, чтоб до заката успеть вытащить хоть что-нибудь.

Семен Петрович пошел к отцу Лаврентию.

Теперь Клиим увидал тут и девочек: они стояли в ногах кровати, прижавшись друг к другу.

Климу стало до боли жаль их, и казалось ему, что он чувствует сейчас, как свою, каждую их мысль. Он знал, что им страшно. И страшно оттого, что вот между ними в этой комнате лежит человек, так недавно такой родной, такой близкий, а теперь уже отгороженный от них каким-то непроницаемым кругом, который очертила вокруг него приближающаяся смерть. И оттого, что она была так близко, они уже не могли различать, где жизнь властвует и все по-настоящему, а где воцарилось мертвое, чужое, необычайное.

Климу хотелось плакать, смотря на них. Он прижался к печке и старался быть совсем незаметным.

Семен Петрович посмотрел внимательно на больного и тихим, но спокойным голосом сказал девочкам:

— А вам здесь сейчас делать нечего. Клиим, уведи их пока в сад.

Потом помолчал и добавил совсем ласково:

— Вы, красавицы, не бойтесь. Вот я вам моего Клиима и на ночь в сторожа оставлю. Страшного ничего нет.

Дети с Клиимом молча вышли.

В саду сели на скамейку в самой дали и тоже продолжали молчать.

У Клиима что-то щипало в глазах. Он тихо дотронулся до Олиной руки и сказал ей:

— Если бы я знал, что такое будет, никогда бы тебя не обидел.

Она ответила тоже тихо:

— Я знаю. — И даже попыталась улыбнуться.

Потом опять наступило молчание.

Через час, когда подвода уже отвезла вещи, предназначенные Марье Андрониковне, и в доме засветились огни, Клиим услышал, что отец зовет их с балкона. Они подошли быстро и волнуясь.

— Дети, батюшка приказал долго жить.

Наташа слабо вскрикнула, Оля низко опустила голову.

Прошли в комнату, где лежал покойник. Девочки плакали. Клим кусал себе губы и удивлялся, что у отца Лаврентия стало совсем незнакомое лицо, — еще более сухое, чем час тому назад, но какое-то очень важное.

Потом наступила ночь. Семен Петрович ушел домой. Клим свернулся калачиком на тюфяке в комнате Марьи Андрониковны. А девочки легли вместе на ее широкую кровать. Им обоим отчего-то казалось, что так, не в своей комнате, не на обычном месте, будет легче. Вообще сейчас должно быть все на так, как всегда, — даже на своих постелях спать нельзя.

Лампада горела перед образами, то потухая, то вспыхивая ярко. Пахло какими-то травами, и было очень душно. В углу жалобно жужжала муха, попавшая к пауку. А через затворенную дверь доносился голос дьячка, читающий псалтырь над покойником. Слов нельзя было разобрать, — слышалось только непрерывное гудение. Этот голос долго мешал Климу вслушаться в то, о чем шепчутся, изредка всхлипывая, девочки. Наконец он уснул.

Утром осторожно, чтобы не скрипеть, отворил он двери и вышел из комнаты, когда девочки еще спали. После полумрака его ослепило яркое солнце, и особенно бросилось в глаза, как блестит пол в гостиной, как вытянулись цветы по окнам. Ничего не изменилось, — все было так же аккуратно и чисто, как всегда, — будто в доме и не царил теперь смерть.

К девочкам днем приехала тетка. Тянулись панихиды. Потом отца Лаврентия хоронили. Клим шел за гробом насупившись.

Потом через два дня Семен Петрович сказал дома жене:

— Тетка-то завтра батюшкиных девочек к себе отвозит. Клим эта новость поразила невероятно.

Вечером он пробрался к батюшкиному забору и стал ждать.

Вскоре он увидал, как в саду мелькнуло Олино платье. Он ее окликнул.

Она подошла и первая начала говорить:

— Это хорошо, Клим, что ты здесь. Мне тебя очень нужно.

Он покорно наклонил голову.

— Знаешь, Клим, о чем я хотела сказать тебе...

И замолчала, будто стыдно стало...

А потом зашептала, еще тише:

— Знаешь, Клим, когда ты вырастешь большой, завоюй мне, пожалуйста, Индейское царство.

И Клим серьезно ответил:

— Завоюю...

Потом подумал и уже не так решительно добавил:

— А какое оно?

— Не знаю, — сказала Оля, — только это очень далеко и на всех крышах там колокольчики.

Тогда Клим повторил опять:

— Завоюю...

А на следующее утро они уехали.

IV

Настало для Клима тоскливое время, — все будто в станице чего-то не хватает. Озорничать он сильнее стал, задирали школьников, с матерью начал воевать. И только ему по душе было, что все свободное время шататься по степи: сядет, бывало, на какой-нибудь курган и смотрит, как ястреб в небе кружит. Так часами и просидит на одном месте.

Мать на него часто жаловалась, а Семен Петрович по-прежнему сыном доволен был. Видел он, что в Климе есть дух, который его и на большие дела натолкнуть может. Конечно, понимал, что при его необузданности на пути и пропасть легко.

Время тянулось все же скоро для Клима. Осенью опять в школу начал ходить. По вечерам стал много читать, книжки из школы брал. Мысль у него часто являлась: вот он человек станичный, — станичная и наука у него, — трудно дальше куда-нибудь сунуться. А Оля теперь в городе. Там все это легко. Придет, пожалуй, через несколько лет такой умной, что с ним и говорить не станет.

Весной он однажды спросил отца:

— Ну, батюшка, а как кончу школу, что ты со мной делать будешь?

Семен Петрович вопросу не удивился и сразу ответил:

— Учись хорошенько, — я тебя потом в город отдам, в фельдшерскую школу.

Клима ответ обрадовал.

— Фельдшер — это уж не просто станичник. Даже поди умным надо быть, чтобы фельдшерское дело хорошо понимать.

На Страстную и на Пасху пахали. От весеннего ли воздуха, от тонкого ли духа согревающейся земли, или от ветра, слабо шевелящего зелены, Климу стало тоскливо. Раньше он тоски такой не знал, — будто веревкой к самому сердцу привязалась, тянет за собой, неизвестно куда тянет, — лишь бы дальше за нею, непонятной, идти, не сворачивать.

Детство уходило. Детские годы — годы, когда на свете праздники бывают. Заранее знаешь, что вот Пасха или

Троица близится, что для большого дня и солнце будет светить по-особенному, — белым светом таким, и люди особенными будут, — будто украшением торжественным празднику. Чувствуешь, что вот совершается он, праздник этот, заранее ожидаемый.

А уйдет детство, — наступает обманное время. Торжество исчезает из дней жизни, праздники становятся праздниками только по имени. И великую волю должен иметь человек, чтоб в жизни своей яркую Пасху и Троицу зеленую создать. И от трудности этой юность человеческая всегда тоской, как огонь пеплом, подернута, — от детского опыта не оторвалась и не достигла еще праздника зрелого достижения.

Стал Клим уже и не по-мальчишески о своей жизни задумываться. Отцовская черта сказала: захотелось ему поискать себе лучшего удела. Всю жизнь-то на краденом жеребце не проскачешь, а надо бы что-нибудь в этом роде, чтобы народ вокруг кричал и удивлялся, а сердце в груди сладко замирало и несло на краю гибели. Иначе не мог Клим думать о жизни своей, иначе она ему, пожалуй, и не дорога была.

Летом Клим сворачивал с дороги в степь, где колосья выше его ростом были, ложился между ними так, что его и найти нельзя, и смотрел, не мигая, в глубокую синеву небесную, пока небо не казалось ему темным и тяжелым, будто готовым упасть на него, а звяканье кузнечиков не сливалось с медленными ударами сердца в один общий гул. Тогда он засыпал под солнцем.

К вечеру возвращался домой, ел лениво, молчал или перебранивался с матерью.

Однажды в августе неожиданно приехали в Хлебную девочки с теткой. Она должна была кончать дело по батюшкиному наследству: дом хотела сдать новому священнику.

Олю Клим видел мало. Однажды, оставшись с нею наедине, он спросил ее серьезно:

— Тебе нравятся фельдшера?

Она не сразу сообразила, чего он от нее хочет, но потом все же решила, что фельдшера ей нисколько не нравятся.

Для Климa вопрос о фельдшерской школе был, таким образом, решен отрицательно. И снова не знал он, как же ему со своей жизнью порешить.

А решать надо было, — кончилась станичная учеба.

Долго резонились с Семеном Петровичем. Наконец сговорились на сельскохозяйственном училище. Да и то Клим согласился, чтобы больше не спорить, — душа у него и к сельскохозяйственному мало лежала.

Но город поразил его первоначально. И без всякой школы в то время в городе многому научиться можно было.

Потрясилось государство Российское. Нежданно и способами неведомыми били японцы многомиллионный русский народ на полях Манчжурии и на волнах желтого океана своего.

Мукден ли и Цусима были причиной пылающей лихорадки, которою мучилось государство Российское, они ли занесли народное тело ядовитой занозой, — или, обратно, прорвалась боль и мука народная кровавым нарывом там, за Уральским хребтом, за далеким Байкалом, в гаоляновых степях чужой страны? Не все ли равно?

Поверженным в горячке было Российское государство, и народ его, всегда спокойный и притерпевшийся, как спокойна бывает кровь в жилах у здорового и ленивого человека, народ его забурился и задвигался, шумным потоком понесся по родным пшеничным полям, поднялся валом грозным, чтоб опрокинуться пеной, чтобы смести и уничтожить все бывшее.

Так чувствовали все. Так чувствовал и Клим.

Нужды нет, что попал он в город чучелой станичной, ничего не знал и в мудрейших науках никак не был натаскан. Нужды нет, что поначалу весь огонь его никому не был нужен.

Шептаться он по кружкам всяческим никак не умел, рефератов о Марксе с Энгельсом не только не мог написать, а даже и чужих понимать не осиливал. Зато естеством своим, всею безудержностью природной, был он часть общего кипенья. Весь в это ушел.

Он бывал везде, — в кружке украинцев, где по-русски говорить было не принято и где пели трогательные песни, и в кружке молодого помощника присяжного поверенного, который заставлял гимназистов читать рефераты по политической экономии, и в каком-то аграрном кружке, и на каких-то партийных собраниях.

Сначала ему быстро все это и наскучило: что в школе уроки, что в кружках рефераты — разница малая.

Но тут как раз война прикончилась, — из подпольных мышинных щелей, из опротивевших кабинетов поток вырвался на улицу, — началась революция. Уже никто не спрашивал:

— Что ты знаешь? —

А только:

— Что ты можешь?

Клим же мог все: литературу распространял, листки расклеивал, из-под стражи политического освободил с самой беспримерной отчаянностью. На митингах даже

выступать начал, — правда, уж под самый конец, под нагачный свист, когда не умные слова требовались, а азарт безудержный, — так председатель ему и слово давал:

— Товарищ Барынькин, вам принадлежит последнее слово.

После уж начиналась потасовка самая настоящая.

Так длилось, пока в город не были вызваны войска. Начались обыски и аресты. Клима исключили из училища.

Надо было ехать домой.

Мелькнула у него мысль уйти в подполье, так продолжать работу. Он пошел к одному товарищу, человеку бывалому, за советом.

Тот выслушал его доводы серьезно и сказал:

— Я вас, Клим, очень хорошо понимаю и советую вам все это бросить. На революционной работе скоро истреплетесь и станете простой клячей. Волна пошла сейчас на убыль. Пока что учитесь, готовьтесь, — из вас может выйти и большой человек и большой революционер.

Клим пробовал спорить, но товарищ сказал ему уже строго, что он употребит все свое влияние на партию для того, чтобы она отказалась от услуг Клима.

Клим ушел от него злой. Долго бродил по улицам и размышлял, как ему быть. В одном он был согласен со своим собеседником: революционная волна заметно шла на убыль. Значит, опять вся работа уйдет в подполье, опять начнутся кружки с рефератами, пустые слова, — это скучно и ни к чему. Он решил ехать домой.

Дома отец встретил сурово, хоть и ничего не сказал.

Но после всего, что было, он просто не знал, куда ему девать себя. Читать и подучиваться не хотелось. Хоть и понимал, что просто он неграмотный человек и так ему дороги дальше нет.

Да какая теперь дорога, когда революция кончилась и ничего больше нет такого, что бы манило его. За этот год, буйный и бешеный, он от всякой учебы бесповоротно отошел.

Начал Клим озорничать вовсю. Даже напиваться стал. И более взрослые парни не могли с ним в озорстве потягаться. Девчата на улице стали его избегать. А ему будто и нравилось, что на него с опаской посматривают, — он еще сильнее старался показать себя.

Семен Петрович начал хмуриться, — впервые ему показалось, что из сына его толку не будет, не найдет он себя.

Так шло время...

Однажды в весенний вечер увидал Клим, что к дому Малаховых кто-то подъехал. На минуту мелькнуло у него в мыслях, что, может быть, это Оля, но он сразу отогнал

от себя такое невероятное предположение. Спокойно вернулся домой, а вечером с компанией парней пошел по улице. Всех встречных задирает. Песни орал. Хотя пьян не был, но со стороны всем мог пьяным показаться.

И опять, возвращаясь домой, подумал, что вдруг правда девочки Малаховы приехали.

А на следующее утро он действительно в батюшкином саду увидал Олю. Она тихо шла с семинаристом, сыном нового священника, и о чем-то разговаривала. Клим она не заметила.

Он зато разглядел каждую черту ее лица. Высокая стала, но худая, как и раньше; смуглая, глаза большие, не блестят совсем, будто смотрят куда-то далеко.

У Клим стало радостно на сердце, но в следующую же минуту он возненавидел семинариста и решил его избить при первом случае.

Потом он залез на сеновал и лежал там долго. Ему казалось, что исполнилось теперь то, чего он раньше ждал: Оля стала совсем городской барышней, — с ним говорить не захочет. Таким городским девицам только и понятны, что пустые слова, как, наверное, этот семинарист несчастный ей говорил в саду. А Клим любит дела, пустые же слова ненавидит.

Через два дня на площади произошла драка: Клим избил батюшкиного сына, — кинулся на него даже без предварительной ссоры. Все, кто был рядом, говорили, что он был совсем как бешеный, даже глаза кровью налились. Потом и его изрядно помяли.

Ночью он лежал опять на сеновале и чувствовал такую злобу и тоску, что даже проклятой луне погрозил в окошко.

Он решил по возможности с Олей не встречаться.

«Уж теперь поди целая Ольга Лаврентьевна», — подумал он со злостью.

А наутро, только с сеновала успел слезть — злой, трепанный, с сеном в волосах, — как у себя же на дворе Олю встретил. Он сначала чуть не убежал, — так ему вдруг все противно стало.

А она спокойно подошла к нему, протянула руку и сказала, обращаясь на «вы»:

— Про вас, Клим, чего тут только не рассказывают. Правда ли это?

— Чего рассказывают? — огрызнулся он. — А мне-то какое дело? Живу, как хочу.

Теперь, наверное, она обернется и уйдет, как тогда в детстве, когда он ее обругал.

Но она не ушла, а, дотронувшись до плеча Клим, так же спокойно сказала:

— Пойдем поговорим, как в старину. — И повела его в свой сад.

И Клим пошел покорно, не умел не пойти.

Сели на ту самую скамейку, где сидели, когда отец Лаврентий умирал. Оля смотрела внимательно и без злобы.

— Чего вам неладно так? Чего вы хотите?

Клим продолжал злиться. И начал он ей отвечать сначала, главным образом, для того, чтобы показать, каким он теперь совсем другим человеком стал, — настолько другим, что, пожалуй, не о чем им и говорить. Он будто хвастался своим озорством, выискивал каждую мелочь, которая могла бы покоробить Олю.

Но потом он увлекся сам своим рассказом и уже попросту стал говорить, как в сельскохозяйственном училище революция занимается, как весело было в минуты, когда самый большой риск настает, как он хотел этому делу весь отдаться, как ему в станице тоскливо, как не знает он, на что ему свою жизнь деть.

И Оля слушала так, что Клим был уверен, — она все понимает, она даже за битого семинариста не сердится, — да и куда семинаристу до нее?

Кончил он рассказ свой, а потом взял ее за руку — совсем осмелел — и промолвил:

— Понимаете, Ольга Лаврентьевна, простору мне нет, душно мне. И неужели же сейчас на земле никому подвиги не нужны? Просто счастием было бы, если бы кто-нибудь сказал: Клим, соверши невыполнимый подвиг.

Тут и Оля ответила впервые на все его слова:

— Значит, корабль ваш уже совсем оснащен, а реки-то поблизости и нету.

Она любила так, красивыми словами, говорить.

Это понравилось тоже и Климу.

— Да, реки нету. На всякую реку согласен бы был, хоть кровавую, лишь бы плыть.

Оля остановила его:

— Это все уж лишнее. Вам, наверное, подождать придется... Очень мне хочется сказать вам что-нибудь такое, чтобы вам легче стало. Да не знаю... Разве вот что, — если, впрочем, это для вас значение имеет, — я по-прежнему в вас верю, и не прощу вам, слышите, не прощу, если вы зря свою жизнь потратите.

И видел Клим, что она и вправду не простит, — такое лицо у нее вдруг сердитое стало. Он молчал.

А Оля только прошептала:

— Ну, прощайте. — И быстро пошла к своему дому.

Клим еще остался сидеть на скамейке в батюшкином саду. Задала ему Ольга Лаврентьевна загадку. С какого конца решать начинать, — не придумаешь.

Потом встречались они еще, но мельком. А в середине лета обе сестры уехали к подруге гостить.

На прощание Оля просила Клима писать ей, но он сразу решил, что писать не будет, потому что слишком много ошибок делает, — еще засмеет его она.

V

Стали Оля с Наташей в городе жить. Быстро почувствовали себя совсем другими людьми. Слишком много пришлось насмотреться, слишком сильно пришлось хлебнуть и радости, и печали.

Радость первая и самая большая — они взрослые, гимназия позади, впереди широкая, необъятная жизнь.

Радость вторая — из скучного уездного города переехали они в Петербург, людей узнали таких, о которых раньше только в книгах читали, жизнью живут такой, какая раньше им и не снилась.

Печаль самая большая, — что и старуха тетка умерла теперь, одни они остались на всем Божьем свете.

Печаль другая, — что много мыслей, и сил, и времени отдавать надо на то, чтоб себе ежедневное пропитание зарабатывать.

Так, просто сказать об этих радостях и печалях — будто и нет ничего особенного, а переживать их трудно, ох как трудно; по-новому надо на весь мир взглянуть, чтобы в себе силы найти все как следует рассудить и на свое место приспособить.

Наташа как-то ловчее оказалась: кончила зубоврачебные курсы, к какому-то дантисту в помощники поступила. Днем чужие зубы ковыряет, рубли собирает, а вечером в театр пойдет, в концерт или просто в гости, поговорить с людьми о разных вещах.

А Ольга человек путанный. Все ей мало. Все чего-то огромного хочет. Вот обидел ее Господь, что крыльев не дал, — она бы уж полетать сумела. А так, на простые земные дела у не никакой охоты нет. В театральной школе была. Понятно каждому, что от театральной школы толка большого быть не может, а она все ж поступила туда, полгода зря потратила, потом только за ум взялась и бросила.

Поступила просто в какую-то контору на машинке стучать, — лишь бы о зароботке не было неотступной мысли, лишь бы хоть как-нибудь проканителить время до того, до главного, что в ее жизни непременно быть должно.

Наташа просто говорит: замуж выйду за кого-нибудь. Все, мол, замуж выходят.

А Оля так не скажет, потому что любовь у нее не простое дело житейское, а такое, что только избранным душам дается и что всю жизнь воспламенить должно.

Когда война началась, Наташа со своей зубодерной наукой и на фронте понадобилась. А Оля войне не нужна, да и война Оле тоже ни к чему.

В то время началось в ее жизни то, чего она ждала, — пламень этот, который должен был все спалить.

Надо заметить, что уж в эту пору она о станице Хлебной и не вспоминала.

А началось вот что — любовь. И как началось, — сказать нельзя, потому что теперь Оле кажется, что так эта любовь всю жизнь с нею и была.

Господи, целую вечность — год тому назад познакомилась она с ним, с Акинфиевым, с Сергеем Сергеичем. Теперь вспоминает, что с первого слова поняла, куда это знакомство приведет. А тогда даже Наташа ничего в ней особенного не замечала.

Акинфиев был присяжным поверенным, старше Оли лет на двенадцать; даже волосы на висках начали у него раньше сроку серебриться. Говорить он умел очень хорошо и даже возвышенно, и казалось Оле, что он умел каждую ее мысль возвысить. И была перед ним Оля маленькая и глупая, вся в один комочек собранная, — вот кинется этот комочек к ногам Сергея Сергеича, — делай, мол, со мной, что знаешь, я сама себе не нужна, а если тебе понадоблюсь, так радости большей не надо.

Сергей Сергеич смотрел на нее благожелательно и принимал всякое ее такое кидание ему под ноги как нечто естественное и непротивное ему.

Когда же один раз они вдвоем весною гуляли по островам, он даже сам очень возвышенно и тонко сказал ей, что любит ее, что готов ей посвятить всю свою жизнь, если бы еще больше — больше всего на свете — не любил бы свободы своей.

— Вот, — говорит, — как этот ветер, что с моря дует, свобода моя. И променять ее ни на что не могу и не хочу.

А потом опять о том, как он ее любит.

Оля сказала ему, что понимает его очень, что никогда не посмеет после этого о его свободе подумать с жадностью, что подчиняется его воле, потому что для нее самая большая радость знать, что он ее любит, так как у нее в душе кроме любви к нему ничего другого и не осталось, — вся в эту любовь претворилась.

И за руку шли они домой. А у Оли был такой сияющий вид и такой вместе с тем скорбью мерцали ее глаза, что ни один прохожий наверное не мог бы сказать,

что это, — невеста ли радостная встретилась ему на пути или вдова неутешная.

Сергей же Сергеич продолжал ей много говорить о своей любви и свободе, сам не понимая, что этой свободой делает он ее рабою, а любовью лишает любви.

И после этого разговора начала Оля гореть, — того, наверное, и хотела, когда о пламени мечтала.

Сидит в своей конторе с желтыми стенами, стучает на машинке, и сама не понимает, что стучает, — буквы сами ложатся на бумагу. Ей же легко на душе и пусто. Правда, только крыльев не хватает, чтобы свой огонь яростный до самого неба донести.

А старый конторщик посматривает на нее, поглаживает бороду, улыбается тихо. И грустно ему почему-то на нее смотреть, — даже сердцу больно. Или свою молодость далекую вспоминает, или видит, как сжигается Олина душа в пламени любовном.

Так жила Оля — без ответной любви и без свободы.

А Сергей Сергеич жил и с любовью и со свободой. Ему душу пламя не сжигало. Свобода его слагалась из многих составных частей: из длинных речей, произносимых им в суде в качестве защитника, из таких же длинных речей, произносимых в заседаниях комитета партии народной свободы, из частых посещений букинистов на Литейной, где он покупал редкие книги, из вечной радости, что у него в кабинете так чисто, и так тепло, и так располагает к работе, и, наконец, из права прийти вечером в комнату к Ольге Лаврентьевне, целовать ее руки и смотреть в ее большие, немигающие и неблещущие глаза.

Сергей Сергеич дорожил своей свободой, потому что считал себя человеком общественным, призванным служить отечеству. И на самом деле, он хорошо мог рассказывать, что отечеству нужно будет послезавтра и какими средствами этого нужного добиться. Вот насчет завтрашнего дня у него не все так благополучно было: никак не мог он найти того мостика, который соединят существующее с должным. И происходило это, наверное, оттого, что мостик такой дается только волевым людям, а у Сергея Сергеича в душе воли-то настоящей и не было, хотя о воле он много любил говорить и считал себя носителем ее.

Может быть, и Олину любовь отверг он, главным образом, потому, что хотелось ему лишний раз в своей воле убедиться: хочу — люблю, хочу — и запрещаю себе любить.

Тут-то ему удалось волю свою проявить, потому что от непривычного отказываться ему легко было, а к привы-

чкам своим был он сильно привязан. От них, пожалуй, — от своего спокойного кабинета, от речей своих длинных и от пыльных магазинов литейных букинистов — отказаться бы не сумел. Жестокая вещь — воля железная, все на своем пути дробит и ломает.

А пожалуй, еще жесточе эдакое вот стремление к воле, без стержня внутреннего: все вокруг покалечит, — не доломает, не уничтожит, вечно теплит надежду, что все еще может на хорошее повернуться, вечно теребит, покою до самой смерти не дает.

Так и у Сергея Сергеича выходило.

Сильный человек, волевой сразу бы сказал Оле: «Не быть мне связанным с вами на всю жизнь, — просто потому, что я вас мало люблю. А чтобы не мучиться вам, надо нам с вами навсегда расстаться».

Оля бы страдала долго и сильно, но уж знала, что этого слова изменить нельзя.

Сергей Сергеич и от любви ее отказался, и не отошел от нее. Так и осталась она рабою его, калеккой.

Но она-то, конечно, этого не замечала, — где заметить, когда вся душа пламенем переливается?

Она вообще ничего не замечала, — ни того, что война уже третий год продолжается и по улицам то и дело полки на фронт идут, ни того, что еще что-то новое надвигается на Россию, шепчутся люди, довольных нет, все ненавистью живут, все ждут скорого разрешения.

Осенью поздней получила она неожиданно короткое письмо от Клима. Первое письмо. Писал он так, будто только вчера расстался с Олей и живет она их последним разговором и до сих пор.

«Дорогая Ольга Лаврентьевна! Вот воюю, воюю, — и конца этому не видно. Но по справедливости надо сказать, что тут хоть и тоскливо, да не так, как в Хлебной было: река намечается. Только думаю, что будет река моя на иначе как кровавая. Зря жизни своей не загублю. Обо мне еще в каком большом деле услышите. Тем и рад буду. А какое дело, — сказать еще не могу, потому что время еще неопределенно. Вас каждую минуту помнящий Клим Барынькин».

И за чтением этого письма застал ее Сергей Сергеич. Она ему рассказала все о Климе. И впервые начала вспоминать о детстве своем, о золотых просторах пшеничных, о житье легком и сытом, привольном и солнечном, как оно помнилось ей в станице Хлебной — по праву столице пшеничного царства.

И странно, — Оля никак не могла вспомнить, какая там осень бывает и какая зима, — все мысли были только о золотой летней пшеничной поре.

Сергей Сергеич не очень внимательно слушал ее, а над письмом Клима посмеялся чуть-чуть: тут, мол, вот какие люди путей ищут, да толку нет во всероссийском безвременье, — а вдруг путь этот мерещится — кому же? — казаку простому, Климу Барынькину... Барынькину...

— Вот начнутся после войны волнения, — сказал он, — начнет нас ваш Клим нагайкой полосовать, — в герои выйдет.

Оля промолчала. Ей чудилось, что в комнате ее серой, с промозглым небом за окнами, с тяжелыми шторами, вдруг пронеслось легкое дуновение ветра, вдруг запахло благодатной пшеницей золотой, вдруг солнце метнуло искры свои.

Но она отогнала воспоминания эти от себя: надо было приниматься за подвиг свой — нести ношу свою непосильную, любовь безрадостную и безответную.

VI

Клим пошел на службу задолго до войны.

Сначала показалась она ему еще несноснее, чем жизнь в Хлебной. Одолевало то, что все по порядку налаженному жизнь строить надо, да еще то, что он в самых младших был, — все кругом начальство, хоть дурак, да начальство, — знай тянись перед всяким.

Служил он в Тифлисе.

Только это и хорошо было, что город новый, а жизнь вокруг не казачья, неизведанная.

В редкое свободное время шатался он по проулочкам старого Тифлиса, смотрел, как вокруг него толпа снует, — русская не русская, грузинская не грузинская, — и не поймешь какая. Армяне, татары, курды, персы, грузины, — сбор всей Азии, черноволосый сбор.

Одни в халатах ковры пестрые продают, другие в своих духанах терпким кахетинским торгуют. Персы щурят длинные свои глаза, сидят на солнцепеке в круглых бараньих шапках перед фруктовыми лавочками.

А соберется вся эта азиатчина вместе, — и толпа небольшая, — нашумят же, как целый полк солдат не нашумел бы.

Стали Клима в караул отряжать, Метехский замок сторожить.

Ночью луна в небе высоко. Кура, узкая и мелкая, будто не воду, а серые помои катит, громко гремит камнями и клокочется. А за спиной толстые стены метехские, — в узких окошечках свет еле желтеется.

— Слуш-ай... — раздается в ночи; да арба за Курой скрипит, да летучие мыши бесшумно летают...

Клим любил эти ночи, — чего только он не передумал в них, — станицу родную, правда, редко вспоминал, — больше в дали сердце его просилось, — до самой грани земной, где начинается никем не ведомое Индейское царство, звенят колокольчики на высоких крышах, жизнь совсем другая, легкая, прозрачная, лишенная того груза, каким наша жизнь пропитана.

Конечно, так думал он только тогда, когда все передумано взаправдашнее, когда долгий путь весь в мыслях измерен не сказочной меркой, а самой простой человеческой, — вот что завтра делать, а что послезавтра, а что после службы.

Все будет ясно. Есть такие пространства в пути, что, пожалуй, и тяжеленьки для него, простого станичника, будут, — ну, да лишь бы время скорее бежало, лишь бы не мешкать в пути.

С товарищами своими по службе Клим ладил очень. Его любили за удалство и побаивались, пожалуй, за то, что перечить себе он не позволял. Вроде старшего он у них был: от него все затеи, зато ему и нагоняй от начальства.

Но особенно ему в службе противно было то, что вот военный он, на действительной, — а все это не на самом деле, игрушки детские, канитель одна, потому что в военном человеке толк только когда война есть, а иначе он как соление впрок, — без толку своей очереди ждет.

Войне обрадовался поначалу. Даже не подумал, что она ему невесть на какой срок службу затянет. В станицу возвращаться ему особой охоты не было, а уж раз приспособился к ученьям всяким, к караулам и к строю, то обидно было бы бросать это дело, не показав себе и людям, впрок ли ему это учение пошло.

Сначала их погнали на турецкий фронт. Опять первое время казалось глупым, что главный враг и не турок вовсе, а непроходимые армянские горы.

Но это было недолго, — скоро и турок встретили... И пошло...

Конечно, воевать страшно, но от этого, наверное, и весело. Почти то же, что на краденном жеребце скакать, — свою жизнь под пули носить. Сердце летит куда-то вниз и замирает сладко, а потом будто берег почувствуется, — выносит нелегкая, спасение близко; тогда уж совсем себя не помнишь, не видишь лиц противников, сгрудившихся тесно, не слышишь ничего, пока откуда-то не налетит волною «ура», не захватит всего, не понесет с собою дальше, дальше...

Так во время конных атак бывало, во время дела.

Хорошо тоже было во время глубоких разведок, когда ползешь между камней в темноте и все время думаешь,

что рядом за утесом враги притаились. Как игра азартная, — кто кого? Вывезет ли кривая?

Но нестерпимо тоскливо бывало во время медлительных наступлений или отходов, во время стоянок и отдыха. Тут были уж такие беспросветные будни, что таких в самую даже осеннюю погоду и в станице не бывало.

Под Саракамышем Клима сильно ранило. Его часть была на фланге. В самом бою участвовала мало. И ранило Клима случайно как-то. Вообще же в полку мало было потерь.

Рана была в живот, — жар поднялся. До железной дороги еще четверо суток на волах везли, по руслу какого-то пересохшего ручья, — с камня на камень, голова как арбуз по арбе перекачивается.

Доктора не думали, что он выживет, а он сам ничего думать не мог, потому что без памяти недель шесть провалялся в Тифлисе.

Но железный человек был Клим, выздоровел, — медленно только дело на поправку шло.

Получил он на полгода отпуск и опять в станице оказался. С Георгием приехал, героем.

И Георгий, и ранение, и похудевшее лицо, и более степенное поведение — все сильно изменило отношение станичников к нему. Уж даже Климом Семенычем и вправду стал.

Отец же начал разговоры с ним, как с равным. Как-то женить его предлагал. Но Клим наотрез отказался: где тут жениться, — во-первых, война неизвестно когда кончится, а во-вторых, он еще относительно себя ничего не решил.

Семен Петрович вспомнил, видно, что и сам женился поздно, человеком уж окончательно сложившимся, и не настаивал.

Были у них и другие разговоры, — уж совсем, можно сказать, дружеские. Разъяснял Клим отцу, что война теперь всем людям дороги перепутает, и если постараться не робеть и свою линию все время помнить, то можно очень далеко пойти.

— Пойми, батюшка, каждому умирать — хоть там и за родину, а не хочется все же. Потому и можно выйти в самые отчаянные герои, против всех отличиться. И не так это уж мне опасным кажется, — потому что вот ранили меня все равно что в тылу, а многие по несколько суток из боя не выходили, — целы остались. Тут значит все случай, — беречься не приходится.

Семен Петрович не отговаривал сына выходить в первые герои, — и бесполезно было бы, и самому ему нравилась мысль, что вот найдет наконец Клим себе широ-

кую дорогу, — действительно, ведь от такой небывалой войны всего ждать можно.

После отпуска пришлось Климу уже на австрийский фронт ехать, на немецкую науку военную смотреть. Как раз вовремя поспел, когда весь его полк перебрасывали.

В Севастополе был царский смотр. Государь обходил казаков, разговаривал с ними. Клима спросил, какой станции и женат ли, — и при этом очень застенчиво улыбнулся. Клим долго потом вспоминал его голос.

Вот человеку от рождения дорога дана. Знай расширяй ее только. А пожалуй, ему-то она и ни к чему, — голос такой у него и улыбка застенчивая.

Война на австрийском фронте оказалась совсем другой, — много подлее, но, пожалуй, и легче.

Было и тут все ничего, пока наступали, брали карпатские высоты, да и потом, когда началось отступление, — пришлось казакам тыл прикрывать, показывать себя всячески.

Но нестерпимо скучно стало, когда все остановилось и начало ждать неизвестно чего.

Кроме того, у Клима и личные его дела очень плохо обернулись. Вернулся он в полк и стал воевать сразу со всей отчаянностью и удачью, на какую только может быть способен такой безудержный человек. К концу первых боев он уже считался воякой и исполнителем приказов, какого другого и не сыщешь. Командир смотрел на него как на правую свою руку.

Дело так пошло, что стал Клим думать уже о производстве.

Однако других и хуже его произвели, а ему вместо того Георгия третьей степени дали.

В следующий срок опять не захотел командир лишаться Клима и вместо производства получил он Георгия второй степени.

Наконец, так вышло, что все самые последние вояки начали его обскакивать.

Клим злился на это, и мстительное чувство росло у него ко всем новым благородиям, которые теперь могли его заставить тянуться перед собой, а по делам были совсем ниже его.

Вот в это время на Клима опять все это прошлое нахлынуло, — стал он думать, что годы идут быстро, а толку все никакого не видно. Почувствовал он себя опять кораблем оснащенным, а реки нету.

Оля вспомнилась, к ней душа запросилась. Верит ли теперь в судьбу его или просто забыла? Ведь за такие страшные годы кто новым человеком не станет? — и она могла измениться.

Но чем чаще вспоминал он это все, тем сильнее росла в нем уверенность, что все неизменно и в Оле, и в судьбе его, — будто война не через его душу прокатилась, а только рядом прошла. И весь путь начинать надо с той точки, где он до войны остановился.

Тогда-то он и написал Оле письмо, над которым Сергей Сергеич подсмеивался.

А тут вскоре, в минуты, когда он ждал и сомневался, река бурная где-то прорвала плотину свою, разгромила всю жизнь устоявшуюся, перевернула все вверх ногами, забурлила, заревела и — нежданная, негаданная — сама пенной волной своей Клима обдала, подхватила его, закружила в мутных своих просторах, понесла быстро и уверенно, так, что казалось ему — для него она и создана, для него она и хлопочет, для него в обломках весь старый мир по течению разметан...

Началась революция...

Клим сразу вошел в революционную работу, — сначала был избран членом полкового комитета, а вскоре стал его председателем.

Обида на обогнавших его прапорщиков укрепляла мысль, что теперь, мол, надо сосчитаться за старое, теперь все выскочки и прихвостни царского времени должны поплатиться за все. И так повел он себя, что вскоре все они поодиночке покинули полк, — поняли, что слишком им рискованно с Климом, облеченным доверием казаков, в одном месте служить.

Но наряду со злорадством и с желанием расплатиться за все старое в душе Клима была в это время уверенность, что войну надо во что бы то ни стало продолжать, потому что без нее и воды-то в реке взбунтовавшейся не окажется.

Говорил он об этом много и очень горячо; с генералами умел даже хорошо объясняться.

Удивлялся все, что генералы эти — люди большие и ученые, вышедшие давно на широкую дорогу, — в конце концов такие же люди, как и все. Мало у них хотения настоящего.

А вот он... Он ли не умеет хотеть? А пока все толку мало. Начальство новое, революционное, относилось к нему хорошо: товарищ Барынькин, за руку здоровается, — а ведь и для них он такой же, пожалуй, рядовой, как и для генералов, — только рядовой от революции. Это решил Клим преодолеть, потому что и воли, и ума у него достаточно было.

Преодолеть — это значит найти свой путь, не говорить то, что теперь все говорят, — отечество в опасности, кинжал в спину революции и прочее, — а надо сказать что-

то такое, что мало еще кто слышал, что слушатели целиком на его счет отнесут и тогда уж обязательно за ним пойдут, какой он такой, Клим Семенович Барынькин.

И надо сказать такое, чтобы каждому понятно и желательно было, очень простонародное, очень доступное всякому солдату-серяку. Потому что теперь именно в серяке все дело, а генералы всякие — военные и революционные — одинаково без сил, если серяку по сердцу не придутся.

Эти мысли недолго были так неопределенны в голове Клина. Революция ширилась. Война казалась ему уж и не нужной. Стали доноситься до фронта голоса большевиков.

Клим несколько времени прислушивался к ним внимательно и следил, какое они впечатление на других производят. Наконец, объявил себя большевиком, стал доказывать, что война для простого человека ни к чему и если уж воевать, то против врагов внутренних, которые хотят революцию в пользу буржуям повернуть. И кончил он тем, что провозгласил мир хижинам, войну дворцам.

Солдаты и казаки, слушавшие его, подхватили эти слова громким «ура», и он единогласно прошел в корпусный комитет, — это уж значило быть большим человеком.

Вскоре и в Петрограде стала упоминаться фамилия Барынькина, — речами своими добился он того, что целый участок фронта был в его руках.

У него же было ощущение, что он не сам даже все это совершает, что какая-то посторонняя воля овладела им и так надо, — иначе нельзя.

Заразой настоящей становился он. Заражал солдат каждым своим словом и сам заражался от них их злобой и усталостью, а от этого становился сильнее, всенароднее.

Тут только для полной справедливости надо рассказать со всеми подробностями, как впервые на этом его пути кровь появилась, а появившись, все дальнейшее определила. Надо рассказать это, чтобы лишних мыслей ни у кого не оставалось, чтобы были люди поначалу только в своей вине виноваты, — и ее хватит, без всякой чрезмерности.

Поражая тех, кого он мыслил врагами народными, ежедневными своими речами, Клим постепенно стал чувствовать сам к каждому из них острую ненависть. Тем более что в первых рядах этих врагов оставались всё те же произведенные за время войны офицеры, которые все ему предателями казались.

А главное — он внушал эту ненависть еще сильнее и острее тем, кто его слушал.

Вскоре все солдаты знали, что врагами народными надо считать всех, кто не хочет согласиться с двумя главными солдатскими требованиями: мир во что бы то ни стало и

земля народу сейчас же. Всякие резоны почитались барскими выдумками, призывы к терпению — преступлением, проповедь наступления — прямым предательством народного дела.

Страсти быстро росли. Сначала они находили себе выход в многочасовых спорах и пререканиях, но потом этого стало мало.

Молодой и горячий поручик, выступивший на митинге с речью о том, что армия обязана защищать революцию штыками от императора Вильгельма, пал первой жертвой самосуда.

Никто не мог бы сказать даже, как это случилось, потому что к поручику относились солдаты неплохо. И Клим чувствовал, что, может быть, его ответные слова поручику были для того смертным приговором, но сам себе в этом чувстве не сознавался, потому что ведь его, поручика, он убивать не хотел, а говорил только вообще о том, что такие поручиковы мысли преступны.

Да и никто в отдельности из толпы себя убийцей не чувствовал.

Но, несмотря на это, всем стало ясно, что убивать легко не только когда пули летят в невидимого врага или когда в пылу атаки не помнишь себя, но и тут, среди своих, русских, когда вот был только что поручик среди них, — потом все сгрудилось, охнуло что-то, тяжело задышали солдаты, — и нет поручика, только куски растерзанного мяса, на одном куске погон болтается. Совсем нет поручика, — будто и не было.

И стала толпа как пьяная.

В это время на несчастье проезжал в автомобиле начальник штаба дивизии.

Остановили автомобиль, речей потребовали.

Увидал начальник штаба кровавое мясо перед своими ногами, — не так, наверное от испуга, что-то сказал... Пьяная кровью была толпа, сумасшедшая... И убили начальника штаба, — штыком в грудь один солдат хватил.

Это уж было как-то нагляднее, явственнее, — не то что исчез, — а вот он, убийца, стоит.

Замолчала толпа. Потом медленно стала расползаться.

Клим прямо в степь пошел, один. В висках у него стучало, и был он тоже нетрезвый сейчас. Сам даже понимал, что пьян он этой пролитой кровью. И казалось ему, что пьян он теперь как бы на всю жизнь.

К началу большевистского переворота сила Клина была хорошо учтена в Петрограде. О нем поминал даже в какой-то своей речи и Ленин. Перед ним открывался широкий простор взбаламученного моря. Надо было только крепить паруса и точно знать, куда плыть.

Быть может, во всем огромном Петербурге только Оля не понимала, какое великое чудо совершается. Поглощенная сама собой, она не видела, как запенилась жизнь, как рвется и стремится все к неизведанному. И даже Невский, летний Невский девятьсот семнадцатого года, не поражае ее необычайностью своей.

Но она знала, что совершается революция, она знала это, потому что Сергей Сергеич стал приходить к ней реже, и всегда как-то по-особенному взволнованным.

Сначала он радовался очень всему совершающемуся: мостик между настоящим и будущим был перекинут самой жизнью. Теперь только берись за дело и осуществляй все, о чем столько лет говорил.

Да он за дело действительно взялся: стал председателем какой-то подсекции, которая новые законы обсуждала, писал для своей подсекции доклады, оспаривал мнения председателей других подсекций. И свои эти дела считал он ужасно важными для отечества, — даже удивлялся, что кто-то торопит их, — жизнь теперь могла бы и подождать, пока новое здание законов выведут, по самым ученым образцам, лучше, чем в Германии, какого и в мире нет.

И, уверовав в великую пользу своей работы, он как бы даже и забыл себя, — особенно ту сторону своего существа, которую был повернут к Оле. Ведь перед событиями даже любовь — мещанство. Да вдобавок Оля была так далека от всего, так не может заразиться всеобщим напряжением и восторгом.

Это его ужасно злило и раздражало в ней.

Особенно когда революция начала забирать все выше и выше, и вдруг со всех сторон послышалось ему, что теперь он со своей работой, пожалуй, и не очень-то уж нужен, — годилась бы его работа, если бы русская история постепенный путь избрала, а так все это уж ни к чему.

Тогда он и раздражению своему на Олю полную свободу дал.

Сначала сухо и строго пытался ей доказать, что не время теперь для совместного вечернего сидения. Но она на все эти слова открывала на него еще шире огромные свои глаза и смотрела на него тоскливо.

Наконец, когда все во внешнем мире ему уж окончательно не понравилось и когда он почувствовал, что не знает теперь, как дальше ему быть, обрушился он на Олю: она оказалась во всем виноватой. Она цепями висела у него на руках, — а он человек общественный, он должен быть свободен, у него руки должны быть развязаны.

Опять только смотрела она на него жалобно.

Тогда как-то по телефону пригласил он ее к себе и просил помочь в старых бумагах разобраться.

Она пришла покорно.

В кабинете у него топился камин, но старых бумаг не было видно. Только небольшую пачку Олиных писем передал он ей, которые она ему давно писала, когда он в Финляндию отдыхать уезжал.

— Вот, Ольга Лаврентьевна, что ненужное, сжечь надо.

И присев около пылающего камина, опустив голову низко, сжигала она ненужное, — письмо за письмом, — все свои письма сожгла.

Слезы подступали ей к глазам и мука была нестерпимая чувствовать, что он на нее смотрит, как она свои письма сжигает.

Зачем он так поступил, он и сам хорошенько не знал. Наверное, чтобы пробить ее броню бесчувственную, чтобы заставить ее понять по-настоящему, как она ему мешает, как уже испортила много в его жизни.

И он добился своего.

Сожгла Оля письма и сказала, помолчав:

— Я, Сергей Сергеич, в Хлебную думаю ехать, — надо посмотреть, как наш дом там. Да и в конторе моей сейчас работы почти нет, — наверное, скоро закроется.

Он молчал. Ему это было весело слушать, — хоть что-нибудь по его выходит.

Тогда Оля встала, спокойно попрощалась и на пороге только еще добавила:

— Вы помните, Сергей Сергеич, если здесь все плохо будет, в Хлебной всегда вам переждать можно. И если устанете, — тоже приезжайте туда.

И ушла.

Наташе на фронт телеграфировала, звала ее тоже в Хлебную.

В станции дом Малаховых стоял пустой. Новый батюшка давно себе другое жилище отстроил.

Оле пришлось сначала переночевать на общественной квартире. С утра только пригласила соседа одного дощатые ставни отбивать, порядок у себя наводить. Пришлось протопить комнаты, потому что было сыро, пахло плесенью и нежилым помещением. На окнах висела густым слоем паутина, и свет еле пробивался серыми лучами сквозь пыль. Мыши шуршали по углам. На полу валялись клочки бумаги и сор, — видно, последние жильцы не вымели, когда уезжали.

Оля бродила по комнатам, которые показались ей теперь гораздо меньше, чем раньше были, и вспоминала,

как они жили в Хлебной. Отца вспоминала, его смерть, отъезд Марьи Андрониковны.

Даже наверное и не знала она, в ее ли жизни все это было, или только чей-то подробный рассказ она припоминает.

В окна был виден сад, разросшийся, густой. Деревья кое-где уже сильно пожелтели. Дорожек не видно, — травой затянулись. Вообще и в саду чувствовалось что-то мертвое, к чему рука человеческая уж давно не прикасалась.

В первую ночь спать было жутковато. Мыши сильно мешали, и, несмотря на топку, было очень сыро.

Эти дни Оля не думала ни о чем. Сразу слишком ясно стало, что соприкоснулись две жизни ее — детство и юность — и друг друга исключили, сделали друг друга чужим каким-то, только хорошо запомнившимся рассказом.

Дня через четыре пошла Оля к ближайшему своему соседу, Семену Петровичу Барынькину.

Жена его, Дуня, за это время умерла уже. Сам он постарел очень, брови на глаза нависли, борода стала почти белая. И впрямь на колдуна похож.

Поговорили о станичных новостях. О Климе Оля спросила.

Старик нахмурился:

— Люди говорят, что Клим совсем окаянным стал, — лучше его и не поминать.

Большого Оля от него не добилась.

В тишине и пустоте своего дома перебирала она все, что было с нею за последние годы, и чувствовала себя тоже тихой и опустошенной, как старый дом.

Любовь... Любовь выжгла все в ее душе дотла и сама в этом горении погибла.

Теперь она спокойно вспоминала Сергея Сергеича, без волнения, без тоски, без злобы. Даже могла понять, что многое в нем было не такое, как надо, как ей виделось. И жестокость его к ней определила она правильно: от слабости, — все же бедный он, слабый. Где уж тут любить, когда силы у него на самое главное в его жизни не хватает.

Пожалела его, но пожалела с некоторой долей безразличия.

Сама-то она сильная, что ли? Да, сильная, потому что всю себя отдавать умеет. Не силою сильная, а напряжением своим, которое все ее существо воедино объединяет. И в любви своей была она сильной. Подумать теперь, — столько лет мучения вынести...

Что же дальше?

Пустая душа ничего не хочет. А если хочет, то такого невыполнимого, — сама даже не знает, чего.

Вот осень уже теперь, а душе хочется лета, хочется золотого сияния пшеницы, хочется пронзиться солнечным светом. Как пахнет пыль летом на дорогах, нежная, пушистая; как трещат кузнечики непрерывно; как небо могуче и глубоко. И орел широкими кругами летает над добычей. А в степи призывно стрекочут перепела, — будто незвонкие струны перебирают.

Этого всего хочется душе, — слиться с миром, забыть свою одинокую пустоту.

А тут в окна ветер воет. Дождь барабанит. И кажется, что ничего на свете не существует, кроме яркого круга на столе, освещенного лампой, кроме жалобно поющего самовара, кроме углов, тонущих во мраке.

Да вот еще на полке два толстых переплетенных тома «Нивы» за давно минувшие годы.

О, Господи, долго ли так? Или просто это томление невыносимое называется жизнью и нет другой жизни на путях человеческих?

Легче и веселее стало, когда приехала Наташа. Она сразу перезнакомилась со всеми новыми станичными жителями, встала на сторону одних, перессорилась с другими, узнала, кто чего хочет и на что надеется, и закрутила колесо обычной станичной жизни, где время летит, летит, хотя дни отдельные и долгими кажутся.

Когда сестры оставались одни, Наташа все хотела затеять с Олей разговор об ее отношениях к Сергею Сергеичу. Но та все отмалчивалась, — не хотелось ей терять старое, слушать Наташины наставления о том, что все это ужасно глупо, совсем не так, как у людей полагается.

А потом и сама Наташа бросила об этом говорить, — показалось ей, что тут все кончено, что ничего от старого в Олиной душе не осталось.

С Наташей опять все сильнее и сильнее внешний мир проникал в сознание Оли. Слышала она, как люди волнуются, толкуют о новой большевистской власти, ждут, чем это на их жизни скажется.

Станица большевиков не хотела, но пока что притаилась, голоса своего не подымала, — авось и так беду отведет, удастся в глуши своей отмолчаться и отсидеться. Тревожнее и темнее плыли слухи, — станичники становились все молчаливее и затаеннее.

Перед Рождеством случилось в батюшкином доме такое, чего никто ждать не мог. Подъехала таратайка захудалая к подъезду, с нее спрыгнул закутанный человек, вошел на балкон, застучался громко и решительно, в окно и в двери.

«Просто по-хозяйски», — подумала Наташа.

Сергей Сергеич Акинфиев пожаловал.

Оля встретила его ласково, но совсем спокойно.

«Как мертвая», — подумала опять Наташа.

А Сергей Сергеич с первых же слов злясь и брызгаясь слюною, начал рассказывать, как дело с большевиками вышло, как он раньше говорил, что так нельзя, как никто его слушать не хотел, и кончил наконец тем, что вообще русский народ — удивительный подлец.

И с тех пор ежедневно повелись у них такие разговоры.

Наташа с ним спорила. Оля молчала, жалела и его, и русский народ весь и чувствовала, что все — Сергей Сергеич, война, большевики, казаки, все, все — не то.

А что то, — не знала.

Сергей Сергеич на ее отношение поначалу обиделся, — уж очень привык, что у нее в жизни кроме него ничего и нету, а тут вдруг и его в Олиной жизни не осталось.

А потом ему даже как-то легче стало, — можно было проще все говорить и на высокое себя не натаскивать.

И он говорил, говорил без конца, брызгаясь слюною и злясь каждому новому известию. Жизнь их втроем приняла какое-то совсем обычное течение. Сергей Сергеич вроде родственника брюзгливого очень хорошо прижился в малаховском доме.

Все ему было холодно, все он ноги как-то по-стариковски в теплый платок заворачивал, дымил своей папиросой и читал нотации и Наташе, и Оле, и всему русскому народу, который его не понял и вот теперь в какую пропасть летит.

Потом станица была долго отрезана от внешнего мира.

Ни газеты не приходили, ни приезжал никто.

Потом неожиданно как-то объявилось, что в станице уже советская власть, потому что везде власть советская.

Казаки замолчали совсем.

Но уж чувствовалось, что молчанкой не отыграешься от грядущих испытаний.

Самое же странное было для станичников услышать среди многих других имен большевистских имя Клима Семеновича Барынькина, военачальника очень прославленного и отчаянного.

Но и об этом они долгое время слышали только глухо. И Семен Петрович ничего им более ясного сообщить не мог, потому что от Клима не имел никаких вестей.

Подошло дело к весне. Начало уже таять. Зелень в степи забархатилась. Жаворонки зазвенели в бледном небе.

Потом стал от земли теплый пар подыматься и дрожали зыбко в этом земном дыхании дальние деревья.

Весна яркая начиналась.

Буйная, славная, смертельная весна 1918 года.

VIII

В тихий вечер услышали станичники отдаленный гул пушечной стрельбы. Но, несмотря на все предшествующие слухи, долго не могли понять, что эта стрельба обозначает.

На следующее утро в станицу на рысях ворвались отступающие большевики. Так быстро промчались части по улице, что опять-таки неясно было, что происходит. Одни говорили, что немцы близко, другие — что какая-то украинская армия завоевывает Кубань.

Наконец через некоторое время вошли в станицу добровольцы.

Был собран сход на площади перед правлением, так что из открытого окна Сергей Сергеич мог слышать каждое слово, которое говорил казакам маленький, сухой генерал — главнокомандующий Корнилов.

Сергей Сергеич очень волновался и старался узнать у штабных офицеров, на что, собственно, добровольцы надеются.

Те улыбались загадочно и говорили, что генерал Корнилов верит в русский народ и в скорое отрезвление его после большевистского утара.

Сергей Сергеич пожимал на это плечами и, оставаясь уж вечером без посторонних, только с Олей и Наташей, принимался доказывать, что для генерала генерального штаба странно, по меньшей мере, заменять стратегию верой в русский народ, а тактику — словами о грядущем отрезвлении.

Несмотря на всю суету, поднявшуюся в станице с приходом добровольцев, казаки были им рады, — может быть, только не очень уж уверовали сразу в их непобедимость: кучка их, вот все здесь могли разместиться, даже с обозом своим.

А в красных газетах писали, что против них и непобедимая 39-я дивизия, и какие-то части, прибывшие из Трапезунда в Новороссийск. Кроме того, по станицам большевики мобилизовали казаков.

И казалось, что кольцо красных войск должно окружить рано или поздно непроницаемой стеной кучку добровольцев. Только еще удивляться приходилось, как это они до сих пор по степи крутятся и не попались в железные когти врагов.

А от этого, несмотря на призывы Корнилова, на длинные и проникновенные речи Алексева, казаки чесали в затылках и молчали.

Идти за ними? Конечно, — отчего не пойти?

Но сегодня они уйдут, а завтра большевики в станицу ворвутся, — что тогда с семьей и с хозяйством будет? Тут станица не так велика, чтоб большевики не могли дознаться в два счета, где кадетская семья и кадетское добро прячется, — а тогда уж расправа будет коротка.

Другое дело — добровольцы. На Кубани они народ без роду и племени. Свою голову унес — и слава Богу, о других головах им сейчас думать не приходится, — от семей своих давно оторвались. Им, конечно, — обрешим себя на смертельную борьбу, — никак и нигде нельзя отмолчаться и отсидеться.

Ну, а станичникам, пожалуй, до времени это самое подходящее, не подставлять станицу на поток и разграбление красным, помолчать немного, посидеть тихо.

Оно бы, может, и еще какое другое решение казаки надумали, да тут как раз надо было начинать пахать, — все равно в такое горячее время ничего не выдумаешь. Яровые не ждут.

Так и укатились опять добровольцы в весеннюю степь, со всеми своими бесконечными обозами, с Алексеевым на линейке, старым, сморщенным, с Корниловым, над которым развевалось русское трехцветное знамя.

Попала станица опять в руки красным.

Заявили они, что казаки кадетов покрывают, что ничего другого они от казаков не ждали, — известные контрреволюционеры и нагаечники. И объявили войну самому казачьему духу.

А война эта была такова, что пошли красноармейцы по хатам; где увидят казака — старика ли, молодого, все равно, — всадят ему штык в живот или по голове шашкой хватят — и дальше идут. И так в один вечер было убито народу много, девяносто восемь человек.

Ночью кутили и бушевали, а утром их как водой смыло.

Так заметно росло с каждым новым приходом в людей что-то звериное, — да просто сказать — зверями самыми лютыми постепенно все люди делались.

Двадцать девять раз переходила станица из рук в руки. Чего только народ не насмотрелся.

Видал, как пленные в одном белье, белые от страха, подгоняемые верховыми, рысью бежали по улице сами себе могилы копать. Видал, как пировали среди крови комиссары, как те же комиссары на виселице у самой церковной ограды болтались.

И пройдя через ужас весь, вкусив горькую долю до конца, решили казаки, что надо им гарнизоваться.

Примкнули в конце концов к добровольцам: во-первых, у них без того много казаков, — даже казачье правительство, и атаман, и Рада по степи вместе с ними скитаются; потом, они казаков только за казачество не судят, — большевики же против самого казачьего духа воюют.

Может быть, и говорить не стоит о том, как в это время жили Оля с Наташей и Сергей Сергеич при них. Чего говорить, когда каждому ясно, что жизни такой не дай Бог никому.

Но все же надо отметить, что по-разному на них кровь и страх сказались.

Всего больше перетрусил Сергей Сергеич, — ведь он считал себя общественным человеком, таким, какого большевикам одна польза была бы убить, потому что повернутся немного времена — и он против них может выступить откровенно и тем их делу очень повредить. Теперь, мол, против них не сопляки какие собрались, а народ боевой, такой, что Сергея Сергеича слушать станет.

Но сначала этот страх был у него в пределах человеческих и он мог много рассуждать по-умному, как и раньше. А со временем, когда положение никак не прояснялось, опасность же увеличивалась и, главное, уж очень близко было от окон дома до площади, до виселиц, до винтовок, даже слышны были из двора правления крики тех, кого вновь вошедшая власть порет, — случился с ним страх, уже переходящий всяческие человеческие границы. По ночам ему спать в темноте было страшно, а днем не хотел в комнате один оставаться. Вдруг как бы малым ребенком стал, даже плакать стал зачастую.

Смотрела на него Оля и удивлялась, — что от человека осталось.

А иногда после слез и страхов своих неожиданно в иступление впадал, до полного даже бешенства доходил. Кто бы в станице ни правил, ему тогда нипочем.

Кричит:

— Я им покажу, я им расскажу, мерзавцы..

Еле его успокоить можно было. Чуть что — за свой револьвер хватался.

Наташа просто боялась, что подойдет в таком состоянии к окну и начнет палить в кого ни попало.

А успокоится, — и задрожит мелкой дрожью, ноги в пуховой платок кутает, уткнувшись в Олины колени.

Странно, что и Наташа сильнее Оли поддалась. Уж очень она раньше в жизни уверена была и отлично знала, что почему происходит. А тут такое время, что понять этих причин и последствий, пожалуй, и нельзя. И она в

душе своей никак не могла концов с концами свести. Было ей поэтому ужасно томительно и тоскливо.

Оле же отчего-то казалось, что все происходящее она давно в одном мучительном сне видала. И может быть, поэтому ей все сейчас немного сном казалось. Да кроме того, она и ничего в жизни объяснить не могла, так что необъяснимость ее не смущала.

А самое главное — казалось ей с очевидностью, что есть в этой крови, во всем этом ужасе предельном что-то должное, что-то заслуженное всеми, — и ею, и Сергеем Сергеичем, и казаками, и красноармейцами, что из-под крови и грязи, сквозь дым и чад вдруг выступит в людях настоящее, горящее и рвущееся вверх, чего, может быть, человечество уж сотни лет не видало.

Опять искала она пламени и не боялась скверного, потому что верила, что пламя все очистит.

Это, наверное, так было с нею, потому что, повторяю, она как во сне была, а значит, может быть, до самого конца чувств своих человеческих не осязала простого житейского ужаса всего происходящего.

Наконец настало будто бы успокоение: больше двух с половиной месяцев большевики станицы не занимали.

Даже Сергей Сергеич не таким плаксивым стал, понемногу рассуждать начал, причину искать.

И довольно быстро причину всех бед нашел.

— Все так происходит, потому что добровольцы по-настоящему государственности не понимают и немного от большевиков даже их пониманием заразились.

А на эту беду он и лекарство сразу нашел. Решил сам в Екатеринодар ехать и все сказать, чтобы на этот счет больше никаких недоразумений не было.

— Просто самому Деникину сказать. Он человек неглупый, поймет.

Так он и поехал, хотя Наташа особенно сильно старалась отговорить его от этого. Ей казалось, что если не так уж удачно кончится его путешествие, как он рассчитывает, то потом его настроение так упадет, что просто спасения от переменных слез и бешенства не будет.

Перед отъездом он даже совсем загордился, — на Олю с презрением взглядывал. Ничего, мол, глупая, не понимает и к святому делу общественного строительства никак не годна.

После его отъезда тишина в Хлебной продолжалась довольно долго.

Уже осенью стали опять говорить, что красная конница прорвала фронт и может неожиданно в станице очутиться. Но опять этому не верили, потому что добровольцы засели прочно и наобилизовали огромную армию.

Наконец, пришли даже такие вести, что прорвавшейся конницей командует не кто другой, как товарищ Барынькин, что добровольцы ничего с ним поделать не могут, что силы у него несметные, а лошади как на подбор.

Тут уж станица заволновалась немного, — коли Клим командует, то, стало быть, конница Хлебной никак не минует.

Таскали Семена Петровича в правление, как отца большевистского главковерха. Да на его счастье времена немного спокойнее стали, а то ему несдобровать бы. Он успел доказать, что о сыне ничего уже несколько лет не знает.

Его и отпустили с миром.

IX

Клим же действительно стал командиром одной из самых непобедимых частей красной конницы. Случилось это как-то само собою, постепенно.

Сначала он был охвачен своим успехом и чувствовал себя близким к вершине всегдашних своих мечтаний.

Но время шло. Он привык к новому положению своему, и опять прокралась в его душу тоска. Может быть, первейшим врагом его была именно она, а не жизнь прежняя, несвободная, не буржуи-кадеты, с которыми он воевал, не все враги рабоче-крестьянского правительства.

В боях, забывая все, он и ее забывал. Тогда сердце в груди билось как молот, и вихрем мчался конь, и радовали дикие возгласы и гиканье.

А потом опять становилось непосильно тоскливо. Чем дальше, тем больше.

Надо бы с этим врагом справиться, покорить его, уничтожить.

Как и чем уничтожить его?

А вокруг удалая жизнь, развеселая, пьяная кровью, утратившая память о берегах своих, несется и хлещется пеной. В него, в этот кровавый и пенный поток, с головой ушел Клим, чтоб захлебнуться, чтоб меру забыть, чтоб дни одним хороводом свистели вокруг него.

И стало так, — куда налетит конница Барынькина, там все покалечено. Спадет пьяная волна, — одни обломки торчат.

А добровольцы всё становились сильнее, все глубже и глубже вклинивались в самую толщу советской республики. Самым центром своим, всеми силами ломались к Москве.

В Екатеринодаре и Ростове о звоне московских колоколов проповедовали, на священную войну народ созывали.

Положение красных становилось день ото дня труднее. Теснили их по всему фронту. Далеко в тылу лежащие города быстро эвакуировались, потому что не верили в свою безопасность.

Вот тогда-то и пришла Климу мысль, прославившая его по всей советской России.

Он пригласил к себе начальника штаба. Этот уж все должен разработать по требованиям военной науки, на то его и держат. Да и недаром же, в конце концов, полковник еще при старом режиме четыре года в Академии генерального штаба сидел.

Клим начал с ним издали.

— Что, товарищ, похоже, что скоро наше время придет на виселице у добровольцев поболтаться?

Товарищ полковник кисло улыбнулся и поправил пенсне.

— Ну, а что ж на этот счет ваша военная наука говорит?

Полковник только развел руками, а потом добавил неохотно:

— Военная наука говорит, что против силы нужна сила, против знающих специалистов нужны знающие специалисты. А у нас ни того ни другого.

Клим тогда поудобнее уселся в кресло и начал спокойно выкладывать свой план.

Он предлагал, продолжая бои на главном северном направлении, двинуть отборные части красной конницы на восток, через Царицын, к ставропольскому слабому фронту противника и, таким образом, оказаться у него в тылу.

Полковник становился внимательнее с каждым словом Клина. Уже не впервые ему приходилось удивляться прирожденному военному дару своего начальника.

— Видите, товарищ Барынькин, с точки зрения современной науки, этот план, конечно, не годен. Но дело в том, что наука считается с техническими условиями, которые сейчас совершенно изменили военное дело. В гражданской войне этот план, пожалуй, применим. Его надо только разработать подробнее.

И некоторое время в штабах лучшие специалисты давали окончательную отделку плану Клина.

Наконец, в начале осени Клим был назначен командиром особой конной части, которую спешно сняли с фронта.

На главном направлении бои продолжались все так же неуспешно для красных. Они еле сдерживали наступающего противника.

Клим же в это время был со своей конницей в Царицыне и заканчивал последние приготовления к быстрому наступлению.

Он работал со всею безудержностью своей, потому что знал, что в случае успеха последствия этого дела были неисчислимы.

Но все шло так гладко, а разведка давала такие утешительные сведения о слабости белых в этом направлении, что Клим скоро перестал сомневаться в удаче.

Сразу же дело показалось ему совершенно легким, а поэтому и малоинтересным.

После этого началась тоска.

Разношерстный народ собрался в коннице Барынькина. Объединялись все ненасытимой жаждой наживы, склонностью к разгулу, легкостью убийства.

Но даже и в этом общем люди разнились.

Одним нравилось перепугать своим приходом село, переловить всех кур, попавшихся по дороге, до смерти застрашать девчат, поджечь крайнюю хату, — и дальше.

Другие грабили, как жатву снимали, — переходили из дома в дом, не пропускали ни одного бабьего сундука. И только уж излишки от этих грабежей поступали на пропитие и изничтожение.

Были и менее жадные к бабьим сундукам, но строгие в поддержании советского духа у населения. Эти занимались расстрелами и поркой, искали везде контрреволюцию, заливали весь путь конницы кровью.

Начальник штаба — все тот же полковник Карпов — был несколько другого нрава, чем конники. Безудержности в нем нельзя было заметить. Больше он любил наблюдать и заранее определять, на что теперь спрос будет, — так и свои познания все к спросу приспособлял.

Но войдя однажды в соприкосновение с жизнью конницы, почувствовав, что все живут в ней как хотят, он решил и своих желаний не прятать, а по возможности жить так, как это для него весело и приятно. Самогону он не пил, а хороших вин всяких почти не попадалось. Расстрелов и бесчинств не любил.

Но зато от самого Царицына вез он с собою очень нарядную и очень накрашенную женщину, которая ютилась то на повозке штаба, то в санитарном отряде, то гарцевала верхом, что ей, впрочем, было очень неудобно, так как платье ее к верховой езде приспособлено не было и ногам делалось холодно.

Эта женщина на стоянках пила не меньше красноармейцев, в походе ругалась не хуже их, имела характер буйный и смешливый и была совершенна безразлична ко всему, что вокруг нее творится, за исключением реквизированных вещей, к которым она проявляла особый интерес. Но мелочей — тряпья всякого — она не брала. Только ценное и не очень громоздкое попадало к ней.

Выгрузившись из вагонов и очутившись в Ставропольской губернии, конница еще долго не встречала противника.

Клим ехал впереди.

Здесь степь была такая, как родная кубанская. В утреннем холодном свете темным золотом блестели скошенные поля. Над головой пролетали косяки журавлей и размеренно кричали, будто звали за собой всех лететь в даль бледного осеннего неба. Дороги, примятые первыми осенними дождями, еще не раскисли. От редких хуторов тянуло запахом горелого навоза и звонко несся собачий лай. По пути попадались отары овец, кочующие в беспредельных просторах.

Климу хотелось, чтобы время шло быстрее, чтобы скорее все совершилось.

Наконец добрались до линии противника. Он ничем не подкрепил ее, потому что об исчезновении Барынькина с главного фронта белые не знали. Завязалась перестрелка.

Случайной пулей был убит командир четвертого полка, матрос Агапин. Почти без потерь удалось коннице прорваться на вражескую территорию.

Перед Климом, открывалась теперь дорога к сердцу добровольцев — к Екатеринодару. Белые могли, конечно, спохватиться и выставить еще какой-нибудь заслон против него, но он был уверен, что они долго будут считать его успех успехом частичным, не предположат тут главного удара красных, а потому и заслон выставят пустяшный, чтобы не оголять главного фронта на севере, где бои идут с большим напряжением.

Но все же надо спешить, чтобы использовать всю выгоду от неожиданности прорыва. В быстроте лежит залог успеха.

Вошли в большое село, только что оставленное белыми. Первый разъезд, видно, изрядно похозийничал здесь.

На площади две виселицы. На одной висел старик какой-то, и ветер слабо трепал его седую бороду. На другой виселице, вытянув толстую шею, болталось тело огромного и тучного человека.

Женщины голосили кругом.

Оттого, что толпа закрывала ноги повешенных, казалось, что они стоят на стульях, а не висят мертвые. Ветер слабо шевелил их тела, и от этого еще сильнее казалось, что посреди толпы возвышаются два живых человека.

В правлении было все по-обычному: вносили реквизированное оружие, разгружали подводы со всяким добром — сахаром, салом, бочонками вина, четвертями самогону. Да и одежды всякой набрали порядочно.

Климу все это было привычно и оттого просто нестерпимо противно.

Вообще, как всегда после боевого напряжения, тоска начала одолевать его.

Он вошел в комнату туча тучей.

Под вечер согнали девок со всего села в правление — песни петь. Они жались друг к другу и со страхом смотрели на веселых солдат, крутившихся вокруг них.

Старик какой-то пришел, со слезами умоляя внучку его отпустить:

— А что я потом ее отцу скажу?

Сразу решили, что отец в белых. Солдаты начали над стариком глумиться. Девушка заплакала. За ней заголосили другие.

Клим вышел из соседней комнаты. Не спрашивая, в чем дело, ударил со всего размаха кулаком в лицо первого солдата, который ему под руки подвернулся, буркнул потом, даже не взглянув на старика:

— Выпороть.

Того схватили под руки и утащили. Он весь побелел даже и закрыл глаза.

Девушки стояли как вкопанные. Слезы даже от страха высохли.

Клим прошел в соседнюю комнату.

Там стоял гроб Агапина. Горело три свечи. Почетный караул вытянулся по бокам. Тело убитого было покрыто красным сукном со стола правления.

Климу было жалко Агапина. С его смертью он лишился одного из лучших своих конников. Главное, что не только сам был он храбрым, но и приказывать умел. Заменить его будет трудно.

Он подошел к гробу, провел рукой по холодному лбу мертвеца. Потом пристально всмотрелся в посеревшие крупные черты. Смерть всех меняет. Знакомое лицо стало каким-то чужим, будто в последнюю минуту узнал Агапин что-то небывалое и так с этим небывалым ушел из жизни.

Свечи потрескивали и освещали неровным светом сумеречную комнату.

Клим повернулся и уж на пороге крикнул:

— Пусть над товарищем Агапиным дьячок читает. Все должно быть как следует. Последний почет надо ему оказать.

Красноармеец быстро выбежал искать дьячка.

Через полчаса началась попойка. Царицынская нарядная дама предложила влить стариковой внучке немного вина в горло, чтобы она стала веселее.

Несколько человек с хохотом принялись исполнять это.

Потом заставили ее плясать. И перед ней, изгибаясь и выворачиваясь дико, сыпя все время руготней самой непристойной, носился по комнате солдат с прилипшими ко лбу волосами, с улыбающимся ртом, — и улыбался он, как скалился, — открывал гнилые зубы.

Клим смотрел по сторонам рассеянно, — только морщился иногда. Самогон на него не действовал. У девчонки был испуганный вид. Все они, положим, были не веселы.

А особенно уж надоело на каждой остановке смотреть на этого пляшущего дурака.

В комнате становилось нестерпимо жарко. На дворе начал тихо дождик барабанить.

Выйти разве? Но он не вышел, — там, наверное, тоже пьяные морды, да еще дед где-нибудь после порки стонет.

Пляска была неожиданно прервана, — несколько человек втащили пианино, только что реквизированное у ба-тюшки.

Царицынская дама обрадовалась очень, уселась за пианино и стала барабанить различные польки.

Самогон сильно разобрал плясавшую девушку. Лицо у нее стало красным, глаза заволоклись туманной пленкой. Она шаталась и старалась спрятаться за своими подругами. Танцор шел за нею. Слышались визг и руготня. Солдаты хохотали громко.

Потом, как это часто бывает, наступило короткое молчание. Клим явственно услышал из соседней комнаты голос дьячка, читающего псалтырь. Этот голос напомнил ему что-то. Так же вот в другой комнате читали псалтырь, так же по-церковному — особенно — голос то повышался, то понижался, певуче растягивая слова.

Где это было? Он не вспомнил.

Опять начался визг и смех. Царицынская красавица сидела уже на пианино, высоко подобрав юбки, и старалась каблуками своих туфель сыграть польку. У нее ничего не выходило. Тогда она с громким хохотом затопала ногами по клавишам. Начальник штаба протягивал ей стакан с вином.

К горлу Клима подступил ком какой-то. Вот, знал он, сейчас этот ком подымет, сдавит его, — станет нестерпимо.

А потом вдруг легкость найдет, все поплывет перед глазами, тело само начнет двигаться, а сознание будет только рядом, за огромным и грузным телом спешить, будет замечать все, но само ничего не сможет исправить, изменить. Звериная сила одолеет. Зверь-хозяин начнет пировать.

Даже в комнате будто светлее стало, — не так чадили керосиновые лампы. И холодный пот на лбу выступил.

Потом началось... Началось то, что тоску побеждает.

С криками и руготней вскочил он с места, толкнул по дороге ногою пьяного какого-то, успевшего уже заснуть на полу.

Ворвался в круг девчат.

Его крики подхватили другие.

Девчата завыли сначала, шарахнулись в сторону.

Потом все смешалось. Лампа потухла. Клим уже ничего не помнил. Кровь глухо шумела в ушах. Волна красная несла его.

Мелькнул в глазах корабль оснащенный, весь в пламени. В глазах вообще все время пламя, — пламенные круги.

Плоть человеческая, человеческая буйная кровь... Непонятною тайной прикреплена она к вольному духу Господнему, потом своим и грязью вольный дух облепила.

Что изменилось в душах девчат после Климова неистовства? Ничего не изменилось. Только вольность их на всю жизнь оказалась связанной, только плоть их гирей им на плечи легла, — с гирей этой, с грузом непомерным, никуда уж от себя не уйдешь.

На рассвете проснулся Клим на своей постели. Так в сапогах и спал. Голову ломило, и во рту от самогону было противно. В соседней комнате все так же бубнил дьячок над Агапиным. Но сейчас это Климу ничего не напомнило.

На дворе слышался шум какой-то. Делили добычу.

Клим поднялся и вышел на крыльцо.

Начальник штаба с серьезным лицом пришила брошку к воротнику своей царицынской дамы. А она улыбнулась Климу ласково и значительно.

Вообще он последнее время замечает, что она его всегда такой значительной улыбкой встречает. Вот дура. А впрочем, не все ли равно?

Знал Клим только одну тайну, из-за которой все эти улыбки и вся эта значительность были ему противны. Что человек ни делай, ни стремись порвать круг, ему назначенный, — безумство, преступления, подвиги, — все равно от себя человеку никуда не уйти, — и не только от себя, а из душевной клетки своей, в которую никому другому подступа нет. Одиноким бирюком живет душа человеческая. А от этого все — любовь, пьянство, бои — не лекарство. Так черта с два ему тогда эта любовь, только муть одна.

Клим велел подать умыться.

Дул ветер. Опять срывался дождь. Небо было серо, и облака низко неслись над землею. Вдоль по улице раздавалась пьяная песня.

Клим велел собираться. Через час нестройная толпа всадников выезжала в степь. Скрипели скачущие рысью тачанки с пулеметами.

Тяжелый конь Клима ступал тихо по лужам. В ушах жалобно выл ветер.

Опять тоска. В этой голой степи под дождем всегда тоска.

Конница почти без отдыха неслась вперед.

Кубанская граница...

Помнит, помнит Клим, что тут он вырос, что тут он начал жизнь свою, — тоску свою, что тут он с Ольгой Лаврентьевной встречался.

И тоска утихла. Предстояло слишком большое дело, — впереди дорога на Екатеринодар была свободна. Клим мечтал уже, как он голыми руками возьмет в плен весь штаб Деникина с ним самим во главе.

Это было настолько важно, так изменяло всю обстановку, такой простор открывало Климу в дальнейшем, что не до тоски ему было.

Как зоркая птица, вглядывался он в родные дали, будто гончая, следил за добычей. И смотря на него, красноармейцы знали: дальнейшее будет важнее всего пройденного пути. Они верили, что товарищ Барынькин даст им победу, лишь бы слепо идти за ним, лишь бы в бою не потерять, где маячит его белая папаха над широкими плечами.

К Климу подъехал начальник штаба.

— Пока, товарищ, все идет блестяще. Если так будет и дальше, то мы можем рассчитывать дня через четыре быть в Екатеринодаре.

Клим ответил:

— Раньше бы надо, раньше. А то черти спохватятся. Ведь они по железным дорогам могут подкрепление своей ставке дать.

Начальник штаба только свистнул:

— Не догадаются. Все будут считать это дело частичным своим поражением.

Во встречных станицах не задерживались. Только уставших лошадей бросали, новых брали. Неслись по степи быстро. Врага не было видно.

Скоро, — а надо бы еще скорее.

Завтра на рассвете войдут в Хлебную.

Хлебная... У Клима что-то дрогнуло в душе. А вдруг там сейчас Оля. Нет, что ей там делать в такое сумасшедшее время?

А если там, — что она ему скажет? Как посмотрит на него? С ненавистью? С печалью?

Скорее бы только, скорее... Хлебная тоже не задержит. Надо дальше, дальше... В сердце удар, к Екатеринодару.

Все показалось вдруг таким осуществимым и сильный враг таким слабым, что Клим громко расхохотался.

Он решил в Хлебной не задерживаться. Но разведка донесла, что там обнаружен довольно сильный заслон белых. Это злило его.

Он громко выругался, — затяжка движения могла стать длительной.

Неожиданно после первой перестрелки белые отступили за станицу.

Он решил переждать до вечера. К вечеру стянуть все силы в Хлебную и попытаться опрокинуть противника атакой в лоб.

Может быть, и какое другое решение было бы более правильным, но Климу почему-то вдруг захотелось остановиться хоть на день в Хлебной, посмотреть, — может быть, действительно чудо совершится, — встретит он Олю там.

Сам он себе в таких мыслях не признался бы сейчас. Только въехав уже в Хлебную, он понял, что в решении его мысль об Оле была самой главной.

Вот и станичная площадь. Грязь такая же, как и раньше была. Около правления никого нет.

Клим пришпорил коня и хотел было проехать напрямик, но потом повернул направо и поехал мимо зданий.

Те же знакомые цветные стела на батюшкином балконе.

Он вглядывается внимательно в окна.

Показалось ли ему? За темным стеклом очертания знакомого лица с большими глазами.

Он ударил сильно лошадь и промчался к правлению. Сердце билось глухо и отрывисто. «Сама судьба», — подумал он.

И защемило что-то в груди радостно и тревожно, будто гибель была близко.

Через час началось в правлении обычное. Вели арестованных, несли отобранное оружие и добро. Но ввиду близости противника и серьезности положения Клим приказал всем быть в полной боевой готовности и по первому знаку выступить. На этом основании пьянства повального не было, — пили только в одиночку, кто где раздобудет самогону.

Клим сам допрашивал станичников о силах белых и при каждом ответе становился все мрачнее и мрачнее. Было ясно, что заслон, выставленный против конницы, мало в чем уступает ей. Значит, можно было думать, что бои затянутся и потери будут велики.

У него мелькнула даже мысль просто уйти вечером назад, проскакать за ночь большое расстояние, спутать противника и обрушиться в новом месте на его фронт.

Но потом ему захотелось переждать еще с окончательным решением.

Надо было раньше во что бы то ни стало узнать, не ошибся ли, когда по площади проезжал.

Спросить кого-нибудь из станичников не хотел, и долго стоял в недоумении.

Потом надел шапку и вышел на улицу.

Х

Улицы были пустынные. Холодный закат обнял полнеба и пролился кровью между раздвинувшихся туч.

Опять защемила тоска.

Вот в такой закат, плещущий на землю холодом и отчаянием, особенно близко чувствуется смерть. И вместе с тем она, смерть, искажающая людские лица, кажется сейчас такой торжественной и спокойной. Она — это выход из долгого заключения жизни; она порвет узы, отгораживающие человека от всего мира; она соединит все воедино.

Клим шел мимо знакомых хат. Все казалось мертвым, уснувшим. Приходилось лепиться около плетней, потому что дальше начиналась непроходимая грязь.

Вот большой камень на углу. Вот покосившаяся соседская хата. Потом плетень. И отступая от улицы, в глубине огромного двора родной дом.

Клим нагнулся и прошел в калитку. Старая подслеповатая собака тихо вякнула, но осталась лежать на месте.

Все стало каким-то заброшенным и неудобным за эти годы.

Закат бил теперь красной волной в низкие окна.

Не стучась, Клим вошел в хату. Семен Петрович заметил его еще на дворе и встретил на пороге.

Молча остановились друг против друга, и пристально разглядывал отец сына.

Наконец тихо сказал:

— Ну что ж, коли пришел, гостем будешь... Заходи.

Вошли в комнату. Сели. Начало уже темнеть, а лампы Семен Петрович все еще не зажигал.

Климу показалось, что в хате сыро и воздух промозглый какой-то.

Опять помолчали.

И Семен Петрович, продолжая опасливо вглядываться в сына, начал первый:

— Наслышаны о тебе. Прославлен ты там у своих. Ну, что ж? Кому какая судьба...

Клим перебил его и поморщился:

— А у тебя, батюшка, тоскливо как-то.

— Не всем на роду написано веселиться да безобразничать.

Клим промолчал.

Отец продолжал уже вопросом:

— Правда о тебе говорят, что на безобразия другого мастера такого и не найдешь?

И стало Климу вдруг скучно, скучно, опять припомнился закат холодный. Он махнул рукой:

— Тоска... Ты-то, я знаю, это понимаешь... Тоска все. — Потом неожиданно добавил: — А кто теперь в малаховском доме живет?

Семену Петровичу все стало ясно. Даже жалость зашевелилась к этому огромному и страшному человеку, который все же для него родным был, надеждой долгой и последней.

— Ольга Лаврентьевна тут... Обе они тут... Повидай их. Изменилась она очень.

— Счастлива?

— Кто ее поймет? Непokoйная она. Наверное, не до счастья ей.

Разговор пошел легче. Клим даже начал немного о своих дальнейших планах рассказывать. Он отчасти хотел теперь похвастаться перед отцом, но старый колдун чувствовал, что хвастаться, может быть, и есть чем, да не это в Климовой жизни главное, а главное — несытость прежняя, гибельность какая-то. И все сильнее становилось ему жаль Клима.

Наконец он сам прервал разговор:

— Ну, а дальше, из Хлебной, скоро?

— На рассвете.

— Так спеши, а то поздно будет, — Ольгу Лаврентьевну напугаешь. Да она теперь, пожалуй, тебя все равно и при дневном солнце испугается. Навидались мы всего.

Клим нахмурился от этих слов и поднялся.

Отец вышел на крыльцо.

— Ну, желаю тебе всякого... Однако вряд ли все для тебя добром повернется. Все равно себя не преодолеешь. Знай лишь, чего хочешь, и о постороннем не думай.

Попрощались спокойно. Заря уж совсем погасла.

Через сад прошел Клим к забору и простоял долго неподвижно, вглядываясь в одно освещенное окно малаховского дома. Свет по временам затенялся, будто по комнате взад и вперед ходил человек.

Наконец он перепрыгнул через забор и тихо подошел к самому дому. Теперь он ясно увидал, что по комнате

ходит Оля. Лицо у нее очень сосредоточенное. Глаза открыты широко. Руки за спину заложила.

Он осторожно стукнул в стекло.

Она вздрогнула и быстро открыла окно.

— Кто там?

— Я, Клим Барынькин. Не прогоните?

Оля заторопилась как-то:

— Входите, входите, я ждала вас.

Через минуту он уже был в ее комнате. Жарко топилась печка... Дрова потрескивали. Оля смотрела на него так тревожно и вопросительно, что ему даже жутковато стало.

Наконец, она усадила его в кресло, а сама опять принялась ходить по комнате.

— Мне, Клим Семенович, вам рассказывать нечего, — вся тут. А вас слушать готова. Все говорите.

Опять, как в детстве, это звучало почти приказанием. Но Клим знал, что и пришел-то он сюда, чтобы все рассказать, все положить перед ней, — пусть судит судом своим, единственным судом, решению которого он безропотно покорится.

Он закрыл глаза рукою и начал медленно говорить.

Оля молчала.

— Когда я шел сюда, я еще не знал, какой я человек. Теперь знаю... Вы, Ольга Лаврентьевна, слышали про товарища Барынькина, знаете, что люди его зверем почитают. Люди не врут. Я по-звериному живу. Грабить — грабил. Насиловать — насиловал. Убивать — убивал.

Клим остановился. Потом продолжал уже криком:

— Одну мерку греха знаю, — грех то, о чем мне вам трудно сказать. Делаю так, потому что хочу. И не надо мне господина надо мною, который мог бы указывать. И вам рассказываю все это — не каюсь, не каюсь отнюдь. А просто чтоб вы знали, чтоб вам на минуту в одной комнате со мною страшно стало. Да и так небось уже испугались, когда услышали, что конница Барынькина в станицу ворвалась, — хоть старый знакомый, а долго ли до греха?

Лицо Клима покраснело, и теперь он смотрел на Олю вызывающе и насмешливо.

Оля продолжала ходить по комнате. Потом спросила его, глядя куда-то вдаль:

— Много вы мне наговорили, чтобы я узнать могла, каким вы теперь человеком стали, а о главном молчите. Что ж, и вы довольны?

И сразу Клим догадался, что она о главном его уже знает, поняла.

Опять он опустил голову.

— Понимаете, Ольга Лаврентьевна, если бы бой или разгул никогда не прекращался, я бы, пожалуй, счастлив был, себя бы не помнил. А так — промежутки есть... Вот закат сегодня... Вы не обратили внимания? Закат сегодня такую тоску нагнал.

— Чего же вы стараетесь?

Клим шепотом ответил:

— А вдруг... Понимаете, верю еще, что вдруг случится такое... что такого достигну... Радость будет...

Оля была по-прежнему спокойна, только увидал Клим в глубине ее глаз искорки какие-то: слезы, может быть, наливались и зрели в ее глазах, на блестящих таких, будто не видящих вблизи ничего.

Она провела рукой по лбу.

— Ну, а теперь скажите: ведь коммунист вы? Правда?

Клим даже улыбнулся:

— Это вы насчет Ленин-Троцкого и рабоче-крестьянской? Вам откроюсь. Мне на них совсем наплевать. Дела мало. И о коммунизме не думаю никогда. А все не в этом совсем заключается. Нам с ними очень по пути. Но, может быть, и ненадолго. Ну скажите, кто, кроме них, дал бы мне волю развернуться? Кто, кроме них, стал бы меня за полновесного человека почитать? Все другие меня бы в услужении держали, боялись бы, что своим безудержьем прорвусь и беды натворю. А они дали мне направление — войну эту гражданскую, конницу мою, — жарь, действуй.

Оля кивнула молча головой. Она поняла, видимо, что Клим говорит правду. Теперь она слушала совсем спокойно и что-то соображала.

Потом сказала вопросительно:

— Дорогу дали, а может, и не ваша дорога-то. Ведь если бы настоящая дорога была, то вряд ли с тоской пришлось бы возиться. Может быть, настоящего и не будет. Ну, а если будет, то как бы вам не каяться. Зверь-то сквозь все ваши поры пророс. Пожалуй, уж больше вам с ним и не совладать... Да... Вы еще о страхе говорили. Я ни минуту вас не боялась, Клим, и не боюсь, и думаю, что вам самому страшнее должно быть, чем мне.

Оба замолчали надолго.

Потом Клим встал, побелел весь даже, взял Олины холодные руки в свои и тихо, тихо, почти шепотом, стал ей говорить, не отводя своих глаз от ее лица:

— Оленька, милая, родная, я мой единственный путь знаю, с самого детства знал. Только все его заслоняла жизнь... На этом пути тоска уйдет, зверя смирю... Оля, помнишь Индейское царство? О нем я все время думаю.

Хочешь, завоюю тебе это Индейское царство. Только смири меня волею своею, не отпусти человека от себя.

Он даже задохся будто.

А потом веселым голосом начал ей рассказывать, как он после победы здесь первым человеком в красной армии будет, как начнут его Ленин с Троцким бояться и не будут знать, куда его силу от себя отвратить. Да он сам им подскажет, — он от знающих людей все на этот счет выпытал. Индейское царство коннице Барынькина завоевать очень просто, — там и так народ недоволен, освободителей ждет, из-под английского ига чтобы вызволили. Вот он освободителем и явится, — по всем пустынным пескам, где даже Скобелев не ходил, от моря и до моря пронесется Клим Барынькин со своими конниками. А Москва, — даром что поначалу думала от него таким путем надолго отвязаться, — Москва тогда волей-неволей с ним посчитаться должна будет. И посмотрим еще, кто кого одолеет, — он ли, герой всенародный, или комиссары московские. Да, впрочем, тут-то и смотреть нечего, — с ним будет сила и слава.

— И поклонится мне вся Россия, — так кончил он. — А я ей скажу: вот мои законы, которым следовать надо.

Оля дрожала.

— Это безумие, Клим, это безумие... Индейское царство... Россия поклонится... Так нельзя говорить.

Она начала плакать.

Клим не понимал, в чем дело, и даже растерялся.

А Оля причитала:

— Несчастные мы, несчастные... Как же быть-то теперь?

Потом вдруг замолчала.

Небывалое совершалось в Олиной душе. Будто горячей волной затопилась ее душа. Налилась любовью напряженной ко всему живому, испоганенному, гибнущему. К Климу этому дикому, к себе, такой всегда беспомощной, — ко всем людям, страдающим по просторам русской земли. И даже не любовь это была, а острое чувство, что все это живет, живет по-настоящему, чувствует все, — как кожу ветер обдул, как Климова шашка на плечо опустил, как закат холодом своим напугал, как тоска сердце охватила.

Все живое, и она, Оля, тоже живая, и ей, как и всему, больно. И нет разницы между ею живой и другими живыми, — и все неотделимо.

Она подошла к Климу, положила ему руки на голову и сказала:

— Завоюй мне, Клим, Индейское царство.

Потом поцеловала его в лоб и показала рукой на дверь.

Как в детстве, он деловито ответил:

— Завоюю.

И вышел из комнаты.

В саду он сел на глухую скамейку. Было как-то тихо на душе у него. Будто только в самом начале пути был он.

А с площади неслась пьяная песня и визг какой-то. Потом опять все затихло.

В небе, среди мути облаков, неожиданно показалась луна и быстро поплыли ей навстречу разорванные низкие тучи. Клим смотрел вверх. Ему мерещились города с огромными башнями, драконы и старики с горбатыми носами в причудливых очертаниях облаков. А потом он явственно увидал, как к луне приближается огромный оснащенный корабль, — паруса раздуты, стройный корпус плывет, не вздрагивая.

Потом он начал думать об Индейском царстве, о звонких колокольчиках на крыше.

И незаметно заснул.

Проснулся от тревожных возгласов и цоканья копыт, доносящихся с площади. Минуту прислушался и сообразил, что происходит что-то неладное. Быстро поднявшись, он вышел на площадь и пошел к правлению.

XI

В правлении Клим застал настоящую панику. Во дворе толпились верховые. Люди искали своих лошадей и металась по площади.

Оказывается, только что примчался разъезд и донес, что белые перешли в наступление. Пехотные цепи приблизились уже к Хлебной.

Клим не успел даже распорядиться, как топот его конников раздался вдоль по улице. Началось настоящее бегство. Он слишком долго просидел на скамейке в Олином саду. Его искали, и, не найдя сразу, потеряли сердце, — растерялись.

Уже верхом он пробовал остановить людей, стремящихся проскочить как можно скорее через ворота на площадь. Около церкви затарахтели тачанки с пулеметами. Вокруг Клима оставался только десяток-другой людей. О том, чтобы отстаивать станицу, нечего было и думать. Клим выехал на площадь и увидал, что она уж совсем опустела. Тогда он тоже направился к выезду, хмурый и недовольный собой. В степи он думал нагнать своих и попытаться восстановить положение.

Через короткое время на площади показались верховые казаки. Первый разъезд быстро промчался назад. Вскоре по улице вытянулся конный полк белых. Народ начал высматривать из хат. Правление опять загудело и зашумело.

В нем остановился штаб отряда. Станица была отбита от красных.

Суд и расправу добровольцы не начинали, — враг был еще слишком близок и положение казалось очень неустойчивым.

На границу станицы выступила пехота и залегла в своих старых окопах. Конные разъезды то и дело скакали взад и вперед. Тяжело пофыркивая, прополз по станичной грязи броневик.

Оля спала и не знала еще о происшедшей перемене. Ее разбудила Наташа, взволнованная и бледная.

— Как бы в самой станице боя не было. Красные ушли. Добровольцы уже здесь. Все ужасно напоминает обстановку боя, — люди без памяти мечутся по улице.

Оля плохо слушала. В уме ее был вчерашний разговор с Климом. Сейчас ей было как-то особенно тоскливо.

К чему еще ее вчерашние слова приведут? Зачем было вмешиваться? Ведь пути их так разошлись, — все равно по-своему, наверное, он понял ее, — не по-настоящему.

Наташа говорила еще что-то, — долго и нудно. Наконец ушла.

У Оли слабо кружилась голова и вставать не хотелось.

Потом опять пронеслись чередой все слова, сказанные вчера. И росла уверенность, что все же иначе ей нельзя было говорить, чем она вчера говорила. Потом даже радостное спокойствие появилось, — все будет хорошо. Клим понял, не мог не понять. Может быть даже, она своими словами на настоящий его путь направила. Клим большой человек, даже сам не знает, какой он большой. Просто тесно ему в жизни. А если сумеет из этой тесноты выбраться, то дороге его и конца не видно.

Потом вспомнила она все рассказы о зверствах конницы Барынькина и его собственные признания.

Глаза закрыла, жутко стало.

Но просто сил нет поверить, — пусть и сам признавался. Вот тут, на этом кресле, сидел перед ней, такой ей понятный был, — и не может, просто не может быть, что это он о себе рассказывал.

Впрочем, если это даже и так, она ли судьей ему будет? Она знает, какая тоска у него.

И стало Клима жалко, как ребенка большого и беспомощного.

Потом впервые во всю жизнь проснулась жалость и к себе. Господи, Боже, как нелепо жизнь сложилась. И ей уж выхода нет, — сама обрекла себя на полное бессмыслие какое-то.

Только вот разве один выход есть... Один... Индейское царство...

Она даже сама не знала, что называет этим своим детским Индейским царством. Только это тоже было нелегкое, мучительное, — но зато какое-то быстрое, стремительное, пламенное...

Подвиг в этом был и высота недоступная.

Подвиг — и зверства Клима. Высота — и она сама, такая приниженная... Но это ничего, так надо. Пусть у него грех, кровь, — он очистится. И она из приниженности своей восстанет. А остальные препятствия все будут сразу сломлены.

Только к обеду встала Оля. Голова продолжала кружиться, и какое-то странное ощущение легкости было во всем теле.

Наташа все время вглядывалась в окна и продолжала волноваться. Они не успели сесть за стол, как услышали, что около подъезда остановилась подвода. Наташа быстро побежала к окну. Ей померещилось что-то страшное.

Она увидела, как с подводы спустился человек и стал поднимать по ступенькам подъезда.

— Сергей Сергеич! — крикнула она и пошла отпирать ему двери.

Действительно, это был он, но в виде каком-то неузнаваемом. Весь как-то сжался в комок, дрожал мелкой дрожью, плакал по-детски. Еле успокоили его, усадили за горячий суп.

После некоторого времени он отошел немного и начал говорить, как всегда безудержно.

Он, оказывается, не знал ничего о прорыве конницы Барынькина, и спокойно возвращался из Екатеринодара. Даже на станции не поверил, что около Хлебной идут бои. А потом попал в такую кашу, — раз даже под настоящий артиллерийский обстрел. Отступал вместе с добровольцами. Сегодня с утра все у них переживал. Наконец можно было двигаться домой. Замерз, измучился, — помилуйте, три дня от станции ехал. А главное, наверное, глупость сделал, что не повернул назад, — будто бы здесь непрочно, — а ему теперь уж окончательно нельзя красным попадаться, все знают, что он с Деникиным разговор имел, — гибель его в случае возврата красных predetermined.

И говоря все это, он продолжал ежиться и вздрагивать.

Оля попробовала перевести разговор на его екатеринодарские дела. Но оказалось, что и об этом неподходяще говорить.

Он окончательно в отчаянии.

Деникин ничего не хочет понимать. Он окружен генералами, которые думают, что они ужасно как умны, а на самом деле в государственном праве просто ничего не по-

нимают. Их он слушает, а до простых смертных, как Сергей Сергеич, ему просто дела нет. Вообще, если все будет и дальше так продолжаться, то он предсказывает, что дело обречено на гибель.

Наконец, просто приходится признаться, что Россия несчастная страна, что она идет к гибели, что в России принято не ценить тех, кто понимает обстановку. Так было и так будет.

После обеда его уложили спать, напоив липовым цветом и закутав в различные платки и одеяла.

Наташа испуганно твердила Оле, что Сергей Сергеич внушает ей самые серьезные опасения.

— По-моему, он просто ненормальный стал. Помяни мое слово, втянет он нас в беду.

Оля слушала плохо и безразлично.

Тогда Наташа стала опять глядеть в окно и тревожилась при появлении верховых со стороны красных, — ей казалось, что это начало отступления добровольцев и сейчас перед их окнами начнется бой, а пушки весь дом разнесут.

Оля же ушла в свою комнату и по-вчерашнему стала ходить взад и вперед, заложив руки за спину. Вот и Сергей Сергеич опять здесь. Как все складывается так, что надо окончательно себя проверить.

Что было в жизни? Была любовь, большая любовь, — и ничего не осталось.

Может быть, Сергей Сергеич и прав, что она слишком для себя и собой жила.

Вот с Климом говорила, учила Клима, — ведь он враг, он их, большевистский.

Надо во всем разобраться.

И вспомнила она время любви своей. Вот тогда, кто бы ни старался ее из круга любовного вывести, все равно нельзя было, — такая ей уж судьба была. Так, наверное, и у всех — просто судьба, а греха или подвига нету нигде никакого.

Но ей, — ей дана великая власть над судьбой одного человека — над судьбой Клима. Без нее он зверем будет, начальником звериной конницы своей. С нею он пойдет на другое, на настоящее. В нем так много таится, так широка может быть дорога его.

Как он говорил: «Вот мои законы, которым следовать надо».

А главное, ему уж очень тоскливо, уж очень она нужна ему. Быть может, это и есть все дело ее человеческое.

Вечером опять собрались вместе за чаем. Сергей Сергеич выспался и набрался немного сил. Теперь он говорил уже не так плаксиво. Громил всех — и Деникина, и боль-

шевиков. Говорил, что за эти три дня войны навиделся всего, — сам военным стал.

Если Деникин со своими генералами не может защитить мирных граждан, то мирные граждане должны показать, что сами за себя постоять умеют.

Он теперь без револьвера никуда. Он свою жизнь не продаст дешево. Теперь ясно уже, что все идет по-звериному и каждый должен сам себя защищать.

И вспомнились Оле Наташины утешные страхи по поводу Сергея Сергеича. Ей показалось, что в Сергей Сергеиче действительно безумие проступает, что не сам он это говорит, а страх его, победивший в нем до конца человека. И не волен он уже больше в своих поступках.

Но это на минуту только такое проступило в нем. Потом он стал опять более спокойно говорить о том, как все надо бы сделать, и где ошибки командования, и как их еще исправить можно, если не опоздать.

Главная ошибка — что дали людям озвереть. Теперь от этого звериного начала надо каждого русского, как опасного больного, лечить. Поэтому законы должны быть мудрыми и мягкими, сочетанием разумной свободы с принудительной властью диктаторской. Когда народ поймет, что законы мудры, — преступников карают, заблудившихся милуют, а невинным гражданам обеспечивают мирную жизнь, — тогда, конечно, большевики сами собой исчезнут, потому что никто за ними не пойдет.

Сестры слушали его молча, не перебивая. Наташа чувствовала, что это не то, что не об этом жизнь велит сейчас думать; а Оля продолжала подсчет своих сил, и казалось ей, что приближается какой-то необъятно великий час в ее жизни, к которому надо быть совершенно готовой.

Разошлись рано. Наташа носила в комнату Сергею Сергеичу воду. Он показал ей, что на столике около кровати револьвер заряженный лежит.

— Это теперь единственный друг, которому верить можно.

Наташа от него прошла к Оле.

— Слушай, я серьезно говорю, что на Сергея Сергеича надо обратить внимание. Около него всю ночь револьвер лежать будет. Он совсем сумасшедшим от страха стал.

Еще на рассвете проснулись от близкой команды. Оля же слушала глухие выстрелы, ни о чем не думая.

На площади стояли оседланные кони в поводу у казаков. Потом проехала медленно мимо окон батарея. Чувствовалось, что напряжение у добровольцев растет.

Оля села на подоконник своей комнаты, выходящей в сад. И опять старалась сосредоточиться, до самого дна

своего дойти, все определить и быть готовой. Не хотелось больше слушать Наташиных страхов и печалей Сергея Сергеича.

И вместо того, чтобы идти пить чай, она вышла в сад, прошла через калитку во двор Семена Петровича и постучалась в дверь.

Она давно не была у него в хате, но он ей не удивился.

Так в прихожей остались стоять, — Семен Петрович забыл, что надо гостью в комнату пригласить. А она уперлась рукой в косяк двери и смотрела на него своими будто невидящими, тоскливыми глазами.

— Вот, Семен Петрович, скажите мне, может так быть? Один человек большой, но пути своего не знает, а другой — маленький, — и большому дорогу показывает, — на великое, может быть, дорогу.

Семен Петрович понял сразу, что говорит Оля о Климе и себе. Понял и обрадовался.

Но велика была в нем привычка раньше всего понаблюдать, что в человеческой душе, на самой глубине делается. А тут он уж слишком явно увидал, что в Олиной душе огромное происходит, — вся она стояла перед ним особенная, напряженная, как стрела, которую сейчас пустят из лука лететь.

Он ответил иносказательно:

— Сильный да слепой посадил себе на плечи хромого да зрячего. Отчего же?.. Так, видите ли, даже в сказке говорится.

Оля помолчала. Она плохо понимала его слова. О чем-то другом опять задумалась.

— Семен Петрович, Клим большой человек. Мне его ужасно жалко.

Она опустила голову.

А старому колдуну, видевшему так много на своем веку, хранившему у себя в душе все станичные тайны и изучившему душу человеческую, вдруг впервые как-то жутковато стало. Уж очень в Оле что-то было стремительное и хрупкое вместе с тем, что-то такое гибельное, само себя сжигающее.

Он обнял ее за плечи.

— Ольга Лаврентьевна, Климу конец скорый, это я вижу, — догорает его свеча... Ну, если чудо какое, может и спасен будет. Только думаю, что и вы с ним сгорите в одночасье. А затем — воля ваша... Ведь и вам, вижу, только и радости, что гореть.

Это Оля слышала и поняла, даже по-особенному ясно поняла, как редко человеком слова другого человека воспринимаются.

— А если я за него против судьбы войну начну? Вы не думайте, что я слаба. Это вы правы, что только гореть умею. А огонь всегда сила, — что бы ни горело.

Семен Петрович пожал плечами:

— Воля ваша, вы хозяйка себе.

Оля пошла домой, — даже попрощаться забыла.

Семен Петрович смотрел ей вслед, пока она не исчезла за забором.

Дома Оля застала еще большую тревогу: мимо по площади пронеслась часть казаков. Пулеметы трещали у самой окраины станицы. Было ясно, что красные наступают и скоро ворвутся.

Наташа стояла бледная около окна. А Сергей Сергеич сидел в кресле и плакал. Наташа показала на него глазами.

Оля заметила, что около него на стуле лежит револьвер и он время от времени каким-то осторожным движением поглаживает его. Но вид у него был совсем не воинственный, а скорее вид загнанного зверя, — злой и растерянный.

Наташа охнула, — на площадь вылетела казачья сотня и понеслась к противоположному краю станицы. Отступление шло быстро. Вот быстрым шагом мелькнула перед окном пехота. У всех лица тревожные и усталые. Люди что-то кричали. Ружейная стрельба была слышна совсем близко, чуть ли не в самой станице. Минут через двадцать вся площадь наполнилась верховыми. Слышались отрывистые приказания. Потом, быстро строясь в колонну, отступали казаки из Хлебной. Перестрелка стала совсем редкой. Наконец проскакала последняя сотня, прикрывавшая отступление. На площади было совсем пусто. Звуки сразу смолкли.

Наташа прислонилась к стене и глухо рыдала. Оля все таким же безразличным взглядом смотрела на площадь. А Сергей Сергеич побелел весь, дрожал тихо и сжимал рукой свой револьвер. Во всем его лице отпечаталось такое отчаяние и действительно безумие какое-то, — будто не от него была та решимость, которою горели глаза.

Наконец на площадь вынеслись карьером пять всадников. Оля сразу узнала Клима, скачущего впереди. Наташа глухо сказала:

— Большевики.

Сергей Сергеич поднялся со своего кресла и встал за Олиной спиной.

Всадники на минуту остановились. За ними показалось еще несколько человек.

Клим что-то говорил ближайшим и показывал рукой по направлению ушедших казаков.

Потом они опять тронулись, но уже не так быстро, и не наперерез площади, а мимо училища и малаховского дома. Через мгновение они поравнялись с окном. Оля успела заметить, что у Клина лицо возбужденное, — таким она его не видала еще.

Она не почувствовала, как мимо ее щеки протянулась рука Сергея Сергеича с револьвером. Раздался выстрел. Со звоном упало разбитое стекло.

Сергей Сергеич ахнул и без сил опустился в свое кресло.

По площади несся конь Клина.

Сам Клим лежал на земле с широко раскинутыми руками. Он был убит.

Наташа громко кричала. Оля кинулась на улицу к Климу.

Но в дверях ее оглушило что-то. Она только успела разглядеть несколько человек с безумными лицами.

Через мгновение Олино тело, окровавленное и истерзанное, валялось на крыльце. А из комнаты разнесся безумный крик Наташи.

Конники отомстили за смерть своего вождя, — все трое обитателей малаховского дома были зарублены.

К полдню Хлебная была опять в руках белых.

ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ

В прежние времена были остры и болезненны споры между отцами и детьми. Естественно ждать, что при нашем быстром темпе жизни спор этот должен дойти до полного отрицания друг друга.

И на самом деле это отсутствие понимания уже начинает проявляться. В XIX книжке «Современных записок» Антон Крайний поместил «Литературную запись. О молодых и средних» — статью, в которой ребром поставил вопрос: «Каково поступательное движение и развитие нашей литературы за последние годы революции, если оно есть?» Последние слова, напечатанные курсивом, дают заранее повод предполагать, что автор статьи отрицает существование этого поступательного движения. Так оно и оказывается при дальнейшем чтении: автор «не утверждает, не думает, но боится, что развития русской литературы нет».

«Таланты стали употребляться на схватывание и передачу видимого, на извлечение из видимого черт наиболее кошмарных».

«Юные... видели жизнь, как она есть в России... сравнивать не с чем... Видели безобразие. Но не знают, что это безобразие, потому что не видели красивого. Чувства красоты они не могли утратить — они его не имели...»

А Шлецер, рецензируя в XX книжке «Современных записок» 3-й том «Окна», говорит о том, что с положениями Антона Крайнего невольно приходится соглашаться, что, может быть, этому омертвлению русской литературы есть объяснение в чисто социальных условиях, но это самого факта не меняет.

Одним словом, группа писателей, принадлежащих к последнему дореволюционному периоду русской литературы, дает совершенно определенный отзыв о следующем писательском поколении и с большой болью и искренностью говорит о гибели старых традиций, о перерыве в поступательном движении литературы.

О новой литературе я говорить не буду, потому что просто недостаточно знаю ее. Думаю, что вообще за пределами России ее трудно знать настолько, чтобы не рисковать ошибиться в ее оценке. Но о старой литературе скажу, потому что считаю совершенно ясным, что ее традиций продолжать нельзя.

Нельзя не потому, что новое поколение должно отрицательно относиться к старым авторитетам, не потому, что в последний предреволюционный период у нас не было больших и талантливых писателей, а нельзя потому,

что — как верно замечает А. Крайний — «русская литература никогда не шла вне жизни».

Жизнь же предреволюционного периода ничем и ни в какой степени не дает тех восприятий, какие дает период революции и какие, вне сомнения, будет давать следующий период.

Революции бывали в истории не раз; и часто вскармливались они идейно предшествующей литературой, связывались ею с прошлым, отбрасывали свой ответ на грядущий литературный период, — таким образом, оставалась целой и нерушимой связь всех литературных периодов. Так было во Франции в эпоху Великой революции, вскармленной энциклопедистами и вскормившей Байрона и романтиков. Так оно, естественно, должно быть в исторические периоды, не отмеченные знаком перехода из одной эры жизни человечества в совершенно другую эру.

Но в периоды, обозначающие великие грани, таких постепенных переходов ждать не приходится. После Аттилы трава не росла, и нельзя было продолжать традицию римской культуры. Надо было начинать все заново, строить свою новую культуру. И только через большой промежуток времени, когда эта новая культура окрепла, она смогла воспользоваться достижениями предшествующей эры, принять их вдумчиво и объективно.

В области культуры, так же как и во всех областях жизни человеческой, грань между двумя эрами истории лежит именно между годами, предшествующими войне и революции, и годами последующими.

Очень вероятно, что период борьбы двух этих эр еще не закончен. И совершенно достоверно, что в русской истории культуры большевизм должен был сыграть роль Аттилы, под копытами коня которого трава не растет. Теперь, после того как это шествие Аттилы духовно изжито, несомненно должно обозначиться стремление у писателей «схватить и передать видимое», настолько оно ново, настолько оно не устоялось еще. В этом есть, может быть, известное сходство с каким-нибудь киевским древним летописцем, который одинаково бережно стремится занести на страницы своей летописи и то, что князь воевал с кочевниками, и то, что в Днепре нашли уродца о двух головах.

Но, повторяю, подробно останавливаться на литературе новой не считаю для себя возможным.

Теперь о литературе старой. А сначала о последних годах прошлой эры в истории человечества.

После революции 1905 года отход от общественной работы у молодежи обозначился очень определенно. Революционный подъем в русской интеллигенции переживал наиболее сильный кризис. Пожалуй, такой полной апатии к общественной работе не наблюдалось в течение всего прошлого века.

Но это не значило, что молодежь была довольна существующим положением вещей. Весь тот период был в жизни молодежи отмечен мучительным исканием новых путей, потому что «так дальше жить нельзя».

Трудно определить, что должно было измениться, только несомненным было одно, что данные условия жизни настолько тусклы, настолько мешают свободному выбору жизненного пути, настолько опостытели всем, что «так дальше жить нельзя». Это был основной лозунг у молодежи довоенного периода. Как бы ни строились планы на будущее, — во всех них неизменной была предпосылка: сначала все «это» должно измениться, а потом будет то-то и то-то.

«Период реакции», — скажут одни. «Послереволюционная неврастения», — скажут другие. Думаю, что ни то ни другое, а скорее — острое ощущение, что «время наше на исходе», что мы стоим у самой грани, что скоро начинается неведомое.

Конечно, не только молодежь чувствовала приближающуюся гибель старого мира. Этим чувством были до конца проникнуты все, — многие бессознательно.

Теперь, оглядываясь назад, с точностью и ясностью видишь, что все делалось тогда именно под этим знаком гибельности. Под этим знаком вошел в царский дворец Распутин, под этим знаком быстро разлагалась устойчивая обычно психология простого обывателя, и он терял представление о должном, о понятном и приемлемом ходе жизни. Под этим знаком в некоторых кругах русской интеллигенции остро выросло чувство какой-то мистической веры в путь войны и очищения через этот путь.

Но отношение к этой гибельности было различное.

Молодежь еще слишком мало срослась со старой культурой, слишком уродливо восприняла последний лик этой старой культуры, чтобы о чем-то жалеть.

Старшее поколение, несомненно, жалело, потому что видело более объективно и другие лики культуры, не затемняло их чрезмерным преувеличением современности и поэтому так или иначе стремилось что-то удержать, что-то спасти.

Молодежь чувствовала себя грядущими гуннами, а старшее поколение, при всех своих индивидуальных раз-

личиях, противопоставляло себя гуннам, даже относясь к ним неодинаково.

Вспомните только ожидание грядущих гуннов у Брюсова, приветствующего их, и стремление Вячеслава Иванова «унести от них свой светильник в катакомбы, в пещеры». Оба знали, что гунны близятся, оба знали, что они сметут все прошлое на своем пути, и, относясь к ним по-разному, одинаково противопоставляли себя им. Вячеслав Иванов становился на защиту старой культуры, стремился уберечь ее от полного уничтожения, а Брюсов предавал ее, и вместе с нею и себя, потому что чувствовал все же, что он-то лично с нею связан, а не с гуннами, которые, уничтожая старую культуру, и его вместе с нею уничтожат.

Они были оба в одинаковой степени последними представителями старой эры, они крепко срослись с ней, они дали завершение ей. Без их работы, без их достижений старый мир не сказал бы своего последнего слова. И они болезненно чувствовали, что к старой эре, то есть и к ним, приближается смерть.

Сравнить их можно с последними римлянами, видящими уже гибель своего римского мира.

Как же они относились к грядущему?

Само собой разумеется, что я говорю не о политическом их отношении к событиям. В области политики все еще было подвластно каким-то якобы очень хорошо изученным законам. Тут продолжала царить простая человеческая логика и вера в постепенный ход событий, — даже и революционный способ разрешения политических противоречий не мешал логическому подходу к вопросу и не уничтожал возможности обсуждать программы и давать им трезвую оценку.

Но в другой области, в области интуитивного восприятия грядущей катастрофы, логический путь мысли оказывался совершенно бессильным. Вся напряженная волна мистики, характеризующая мысль символистов, определенно указывает, что они усиленно искали выхода из того тупика, в который их загнала современность.

Связанные кровными узами с прошлым, они в мистической глубине своей не могли не быть консерваторами, уносящими свои светильники в катакомбы.

А наряду с таким пассивным консерватизмом, с стремлением спрятать, уберечь, несомненно развивалось и другое течение — побороть грядущую стихию, найти новое слово, тесно связанное со старыми словами, и новому этому понятному слову подчинить грядущее, заставить это грядущее принять старое наследство, связаться со старой культурой.

Обращусь к воспоминаниям личным.

Новичком, поистине варваром, пришлось мне бывать на «башне», у Вячеслава Иванова. Там собирались люди, в полной мере владеющие ключами от сокровищницы современной культуры.

Ночное бдение до зари, какая-то непередаваемая пряность и утонченность всех речей.

Сам Вячеслав Иванов, прозорливый и умный, одновременно с этим поражал каким-то напряженным любопытством к каждому отдельному человеку, — каждого внимательно рассмотрит, точно и почти всегда правильно определит, отысповедует приемами тонкими и лукавыми, — потом только отойдет уже с большим безразличием.

И у меня было первое впечатление от этого нового мира такое, будто бы то, о чем мы таились даже перед самыми близкими, что нам казалось самым нашим глубинным достижением, — здесь обнажено, смакуется, является темой остроумного и утонченного словесного турнира между Вячеславом Ивановым и Недоброво или Бердяевым, в дальнейшем Эрном и т. д.

Сначала мне казалось, что происходит это оттого, что наше сокровенное — еще не подлинное достижение, что люди, достигшие больших высот, смотрят на наши холмики с долей презрения, что их достижение просто нам еще недоступно.

Потом наступила реакция: стало ясным, что сокровенного нет, что за покровом слов и цитат все стало обыденным, вера в новое и чудотворное слово утрачена бесповоротно.

Теперь вижу, что в обоих определениях была доля истины. Любопытство и даже известная жалость к каждому новому человеку определялась надеждой, что вдруг случайно в этом человеке откроется то, что так необходимо, — какая-то мысленная ступень, связывающая знакомое и понятное прошлое, уж слишком изученное и от этого ставшее таким обыденным, с грядущим хаосом и мраком.

Сокровенного действительно не было, потому что перед лицом этого грядущего хаоса ничто не давало покоя и уверенности; но жажда этого сокровенного была искренняя, мучительная и очень сильная.

В этот период мне пришлось много заниматься философией. Очень по-студенчески одолевал я премудрость отдельных философов, вместе с Кантом торжествовал победу над философской мыслью, не постигшей еще тайн критицизма, от Канта шел дальше к неокантианцам. И каждый вновь постигнутый элемент знания именно по-студенчески воспринимался, как нечто очень прочное, близкое по своей достоверности к математике.

А на «башне» или на заседаниях религиозно-философского общества чувствовалось, что Кант, даже Платон,

более того — все мыслители всех времен и народов в известном отношении младенцы какие-то, ушедшие в свой переулочек, не умеющие широко и всесторонне взглянуть на весь мир и отдающие свои силы на изучение одного ничтожного уголка этого мира.

Тут же, у наших современных мыслителей, не только кантовский или платоновский переулочек, а весь город с птичьего полета виден. И достижения прежних веков, во всем их творческом разнообразии, суммируются в одно целое, в единое здание, совершенное и законченное.

О ком говорили?

О Григории Богослове, о Штейнере, о страдающем боге Дионисе, о Христе, о Марксе, о Ницше, о Достоевском, о древней мудрости Востока, о Гёте, — и обо всем с одинаковым знанием, с одинаковой возможностью обозреть все с птичьего полета, взять отовсюду самое ценное.

И не только самое ценное, — довести все до парадокса, обострить и уничтожить, соединить Христа с Дионисом, Канта с Круппом и т. д.

Как пример приведу толкование «Бесов» Достоевского Вячеславом Ивановым. Ведь без углубления особенного «Бесы» настолько глубоки, настолько мистичны, что об их каком-то двойном, даже тройном смысле спорить не приходится. Вячеслав Иванов разбирал символическое значение отдельных действующих лиц «Бесов». Ставрогин — «князь мира сего» — такое определение его с ясностью вытекает из слов Хромоножки — сталкивается на пути своем с землей. Земная поверхность, доступная человеку, не углубленная мистическим значением понятия земли, выявлена в образе Лизаветы Николаевны, — недаром она в зеленом, символизирующем землю, платье описана в сцене в Скворешниках; там земля изображена в круге вечности, — комната, в которой происходит разговор между Лизой и Ставрогиным, — комната круглая, круг — символ вечности. Хромоножка — это недра земли, недоступные человеку, князю мира сего, от этого она изображена безумной, фиктивной женой Ставрогина, от этого она в высшей мудрости своей одна проникла в сущность его — сущность князя мира сего.

Говорю я это по памяти; многие подробности уже ускользнули; может быть, и это передаю не совсем точно, но общий смысл толкования Вячеслава Иванова был именно таков. Характеризовать его можно так: уже мудрости Достоевского было мало, — он не разрешал смятения, которое все росло перед лицом грядущего, — хотелось эту мудрость углубить до беспредельного, найти на дне ее ключ к грядущей загадке.

К такому же явлению принадлежит трилогия Мережковского, в которой Юлиан Отступник, Леонардо да Винчи и Петр Великий слиты в какое-то среднее существо, напоминающее всего больше самого Мережковского, как мы его знаем по его творчеству. Факты жизни его героев доведены до парадокса, обострены в своих противоречивостях, — ясно указано, что простым логическим путем из этих противоречий выхода нет, — только путем изошренного слова и перевернутого наизнанку понятия можно найти выход из противоречия.

До некоторой степени с этим можно сблизить переход от марксизма к церковности у Бердяева; когда логика стала изменять, надо было найти понятие определенное и находящееся вне простых логических построений и им оперировать там, где иначе ничего не выходит.

Кстати, о церковности этой. На «башне» о ней очень много говорили, говорили о ней и в религиозно-философском обществе.

Основным утверждением было то, что вот верим, верим, верим. Тут, мол, уж все остальное ни к чему, раз попросту, по-настоящему верим и чувствуем свою общность со всем остальным Христовым телом — церковью, — тут уж выход из всего. Но все казалось, что упоминание Софии — Премудрости Божьей, ссылки на Соловьева, вера в Богочеловечество — это все одно, а церковность гораздо более понятна и доступна любой старой салопнице, бьющей по воскресеньям поклоны в церкви. Утеряно было главное для этого пути: «если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Детскости не было, не могло быть, — была старческая все постигшая, охладевшая ко всему мудрость.

И церковность стала одной из культурных ценностей, тщательно изученной, положенной в общую сокровищницу культурных ценностей.

Таким образом, было все, кроме веры, веры во что бы то ни было; была только сильная воля к вере.

Отчего же все складывалось так?

Уж кому бы, кажется, легче дойти до последней степени мудрости, где открывается самая ясная, самая чистая простота, — простота, дающая веру, простота целостного единобожия, как не тем, кто вкусил от всех истин, кто приобщился всем учениям, был в храмах всех богов.

На самом же деле ни веры, ни подлинного творчества не было.

Более того, не могло быть.

Всякое творчество питается жизнью и, в свою очередь, пробивает русло для будущей жизни. И несомненно, что если бы мы жили в другое время, жизнь давала бы другое

питание, — Вячеслав Иванов был бы не только мудрым, но и пламенным, Бердяев мог бы стать Лютером, Карташев — Аввакумом и т. д.

Но и в последние годы эры чем они могли быть, кроме эклектиков?

Жизнь мелела. Впереди стена. Для творческого порыва, для веры, проистекающей из творчества, — никакого питания. А из прошлого давит тяжелый груз многовековых достижений, чужих творческих подъемов, чужой животворящей веры.

Умирать же не хочется. Не хочется безропотно отдавать себя гибели, исчезать с исчезающей эрой.

И вот это бывшее творчество, бывшая вера, такая понятная, изученная, доступная, комбинируется, сочетается в причудливых узорах, кромсается на осколки, спаивается воедино, — авось где-нибудь, случайно, вспыхнет новая искра, загорится новый свет, который преобразит мир, даст ему новый смысл, свяжет воедино уходящее и грядущее.

Но старые творения оставались по-прежнему неподвижными, но старая вера не могла родить новых заповедей, — и люди кончали тем, что возвращались к какому-нибудь острому парадоксу, утверждали его, вопили: «Веруем, веруем», не веря, только мучительно желая верить.

Мне случалось и тогда встретить точное и сознательное отношение к приближающейся гибели. При первой моей встрече с Блоком (в 1908 году) он говорил о том, что принадлежит к умирающему, он советовал всем, кто еще кровно не связан с этими умирающими, бежать от них, искать новых путей. Для меня сейчас вне сомнения, что он-то лично меньше чем кто-либо принадлежал к тому миру, умирание которого видел; силою своего пророческого дара он перенес свое творчество из современности в годы грядущие.

Но о Блоке особо.

Замечу только, что вряд ли можно было кому-нибудь не чувствовать себя связанными кровно с умирающим временем, вряд ли кто-либо сумел в полной мере осуществить бегство.

* * *

Последние римляне, впитавшие в себя мудрость долгих веков, бессознательно все же чувствовали, как кровь холодеет в жилах.

Потом началась война. С наибольшей остротой поставила она вопрос о гибели всего того, что было до нее. Какими бы мудрыми философствованиями ни прикрывались люди тогда, как бы ни говорили о Царьграде и

св. Софии, или даже о том, что только вот теперь, мол, при царе его помазанность проявляется, — за всеми словами и самоутешениями чувствовалось, что уже больше отойти от основного вопроса, отсрочить его разрешение нельзя.

В этот период мне случалось бывать у Вячеслава Иванова в Москве. Сознаюсь, что во время ночных бесед с ним всегда чувствовалось, что он подавляет своей мудростью, своим всезнанием, своим умением утончить каждую мысль и найти ее корни. Каждый раз верилось, что и здесь течет вода живая; и только в сумеречном утре, уже на улице, опять и опять чувствовалось: «Были, — уже отошли...»

А война все настойчивее говорила о том, что скоро ничего не будет, что все мы обнищаем до конца, что останется только голый человек на голой земле, — образ, созданный провидчески именно в последнее время эры.

Об этом внутреннем грядущем обнищании говорили как-то с Вячеславом Ивановым. И о Царьграде рядом.

Говорилось о том, что до владения Царьградом Русь должна раньше очиститься от своих многовековых грехов, что крест на св. Софии не может быть результатом только победоносной войны, которая совершенных грехов не покроет, не искупит.

Для того, чтобы владеть св. Софией, необходимо раньше обнищать до конца, сознательно из глубины своего нищенства отказаться от Царьграда, отказаться от всякого нового венца — и только тогда принять его, по Евангелию: «се, раба Господня; да будет по слову твоему», то есть полное отсутствие хотения или отказа, а только — «да будет по слову твоему», — из глубины сознания своего бессилия и своего нищенства.

Говорю об этом разговоре как об очень характерном для того времени. И самым характерным считаю, что вел его именно Вячеслав Иванов.

Может быть, все сказанное им было и верно, может быть, это и прозорливое указание на наше русского грядущее. Но ему ли обнищать, когда он сам заключил в себя неисчерпаемую сокровищницу культуры, когда все нищенство наше, уже наступившее, он иначе и не сможет рассматривать как сквозь призму богатства своего, определять, классифицировать; до известной степени и будущую историю писать на основании прошлых традиций.

Будущая же история начинается со слов: в начале было... А до этого начала ничего не было... пустота. Копыто коня Аттилы.

Говорю я больше о Вячеславе Иванове по двум причинам: во-первых, считаю его индивидуально наиболее круп-

ным представителем последних римлян, значение которого, может быть, главным образом личное даже значение, а не только значение его книг, — еще недостаточно оценено.

Во-вторых, с именем Вячеслава Иванова у меня ни в какой степени не связано ни малейшего отрицания. Я его принимаю целиком, очень ценю, люблю даже, — и на этом основании, говоря именно о нем, совершенно отвожу от себя всякий упрек в стремлении кого-либо унижить и развенчать, в желании внести элемент злобы и пристрастия в свои слова.

Говорю я только о неизбежном умирании традиций старой эры. Тут отдельные люди, конечно, не в силах были что-либо изменить.

И еще одна оговорка: утверждая, что новая история начнется со слов: «в начале было», я, конечно, не стремлюсь доказать, что и фактически земля вся вымрет, а потом вновь заселится новыми людьми, которые начнут строить себе шалаши в лесах, охотиться на диких зверей и т. д.

Я только думаю, что тот культурный слой русского народа, который был фактически творцом русской литературы и иных видов русской культуры, должен будет уступить место совершенно иным пластам русского же народа, психология которых совершенно иная, чем психология уходящих. На этом основании и учитывая к тому же, что и жизненный опыт у тех, кто теперь будет призван выражать мысль русского народа, совершенно другой и питается совершенно другими источниками, — можно утверждать, что новое строительство начнется со слов: «в начале было» — и только оформившись и окрепнув, выявив нам еще неведомое лицо свое, сможет в полной мере воспользоваться достижениями прежней эры.

* * *

Вернусь к утверждению А. Крайнего, что чувство красоты неведомо молодым и что поэтому литература сейчас не имеет никакого поступательного движения. Он объясняет это отсутствие чувства красоты тем, что нет возможности учиться на красоте, — молодые только по инстинкту, по наследству могут ее ощущать.

Не так это все, конечно.

Разве сейчас закаты не такие, как десять лет тому назад? А в Петербурге не такие же белые ночи? И не такой разве снег зимой, и не такая трава весной?

Не в этом дело.

Дело в том, что культурная сокровищница, открытая для всех, кто жил в старой эре, сейчас для новых заперта

или, в лучшем случае, оказалась в музее. И культурные достижения, бывшие для прежних своими, вошедшие в плоть и кровь, стали музейными номерами, на которые можно смотреть, а почувствовать их своими нельзя, — они под стеклом.

Поэтому для старых все новое кажется лишенным красоты, не связанным с прошлой красотой, а для новых надо создавать новое, на новой зеленой земле, без традиций, без авторитетов.

Римлянам не понять варваров, а варварам не понять римлян.

Кроме того, видимо, эстетическая оценка у разных людей, переживших русскую революцию, стала чрезвычайно разнообразной.

Я лично, например, не знаю более кошмарного литературного произведения, всецело построенного на «схватывании в передаче видимого», чем дневник Зинаиды Гиппиус, помещенный в «Русской мысли». А Гиппиус целиком принадлежит к поколению старому, владевшему еще ключами от культурных богатств.

И именно самым отрицательным в этом дневнике является то, что весь он построен только на основе «схватывания и передачи», что нет в нем никакого внутреннего стержня, дающего известную оценку схваченному и переданному, группирующему факты по их внутренней значимости. Стержнем таким нельзя ни в коей мере признать ту чисто обывательскую злобу, которая все окрашивает в один общий цвет. Обыватель недоволен, что жизнь стала неудобной, — и хлеба мало, и купить все дорого, и людей расстреливают.

И на основании этого своего недовольства он поведал миру все, что было им схвачено: в общей мешанине сплетни кухарки и разговор по телефону с Блоком, все свои большие и малые горести, все свои брюзжания, все недоумение и неумение разобраться в общей картине происходящего.

И рядом с дневником кажутся до известной степени более содержащими элемент красоты даже ультрареалистические произведения молодых, где с большим усилием авторы стремятся выгрести из хаоса событий к берегу, найти какую-то свою основную линию, преодолеть внутренне кровь и ужас, найти в грязи подлинную и полную душу человеческую.

Интересно отметить, что еще задолго до катастрофы, когда внешние знаки о ней не говорили, в среде последних римлян начали появляться варвары.

Конечно, всегда, во все времена литература впитывала в себя элементы, не принадлежащие по своему складу к

правлящему литературному пласту. Таким впитыванием был приход «разночинцев», например.

Но раньше происходила довольно быстро ассимиляция, замечалась средняя линия между линией бывшей и той, которую несли новые люди; эти новые люди воспринимались именно как новые, — теперь же они воспринимались как чужие, как варвары, знающие совершенно другой круг истин, поклоняющиеся совершенно другим богам, говорящие на другом языке.

И литературный мир, утонченно-культурный, бесконечно изысканный, встречал их всегда с повышенным любопытством и вниманием.

Да оно и понятно: ища во всем мире воды живой, пригибаясь под гнетом такой тяжелой культуры, какой была культура прошлой эры, хотели попытаться в варварах, в людях нетронутых, легких, найти пути к обновлению. И чем их духовный облик был более чужд, чем больше разнились их боги от обычных богов, тем сильнее возбуждали они веру, что тут-то вот и лежит новое слово, которое стоит только понять, только вставить в логическую цепь старых слов, чтобы желанный мост в будущее оказался найденным.

И так велика была эта страсть — найти звено между уходящим и грядущим, что переоценивали варваров выше всякой меры; создавали большие литературные имена, где ничего, по существу, не было, кроме одного отрицательного признака — отсутствия сходства с большинством.

Таков был приход на «башню» Городецкого, отчасти Хлебникова. Позднее так же приняли Клюева и Есенина.

Их сразу определили: не наши, новые, кровь молодая. Радовались их культурной нетронутости, ждали от них настоящего, звонкого слова.

Этим объясняется нежность Вячеслава Иванова к Городецкому, этим объясняется чрезмерно высокая оценка стихов Клюева.

Но эти первые варвары обманули ожидания. Или их мало было и не осилили они стен старой крепости, или неподлинными они варварами были, — только произошло нечто, совершенно противоположное тому, чего ждали от них.

Вместо того чтобы накинуться с враждою на древний мир и заставить его вступить в борьбу, — а в этой борьбе, может быть, и обновиться, окрепнуть, по-новому осознать себя, — варвары в первую очередь стали отречься от своего варварства — главного своего достоинства.

В то время как подлинным римским гражданам опостылело уже это высокое звание, варвары стали добиваться признания и за ними римского гражданства. Ну, а в

качестве таковых они, конечно, никому не были нужны, потому что выходили все время римлянами второго сорта и без них римлян было достаточно — настоящих, прирожденных.

А в жилах римлян ни капельки свежей крови от этих опытов с варварами не прибавилось.

Так кончилась и эта попытка ничем.

А жизнь мелела, мелела. Процесс перед революцией начал развиваться с головокружительной быстротой. Становилось все более душно. Слова звучали пустыми звуками. Вера умирала во всех окончательно. Ничего не было оправдано. Война давила сознание. И вместе с тем так мало чувствовалось всеми, что на войне люди умирают.

Как накипь, всплыла на поверхность жизни целая плеяда талантливых юношей, собиравшихся в «Бродячей Собаке», позднее в «Привале Комедиантов», одетых всегда чрезвычайно изысканно, читающих очень хорошо написанные, но такие пустозвонные стихи, всех их не перечислишь, — Георгий Иванов, Ивнев, — и не вспомнишь, их было десяток, самое меньшее. Да и Игорь Северянин к ним принадлежал.

Уже и говорить им не о чем.

Отлетала уже душа от старой эры. Был гроб поваленный.

* * *

Был еще другой путь в последние годы эры. Путь, не обозначенный таким напряженным исканием, как путь мудрых. Путь более примиренный, более склонявшийся перед лицом грядущего уничтожения. Это путь крайнего эстетизма.

Да и не эстетизм это на самом деле, а просто взгляд такой на мир, когда знаешь, что смотришь в последний раз, когда любовно и точно стараешься запечатлеть каждую подробность уходящего.

Эстетизм этот наш был любовью ко всему: к каждой вещи, к каждому звуку, к каждой мысли, к каждому движению души человеческой. Осторожно, чтобы не вспугнуть, чтобы не сместить случайных черт, все рассматривалось, все описывалось.

Ведь в последний раз, — завтра так не будет. Завтра все сместится в хаос и мрак.

И любя все, хотели эстеты наши изобразить это все так, чтобы и в будущем, когда ничего не будет, каждая вещь продолжала бы жить, каждую вещь можно было бы почувствовать, потрогать.

В форме совершенной стремились они изобразить умирающий мир, стремились создать своим творчеством «зеркало вещей», двойник мира.

Поэты делали это с напряженной любовью. Критики, учувшие дух этого настроения, но менее, может быть, любовные, доводили такое отношение к миру до крайних пределов.

Мне помнится собрание в редакции «Аполлона». Разбирали стихи Ахматовой. Она сама, быть может, больше всех удивлялась тем открытиям, которые делали в ее строках критики. Она впервые узнавала, что здесь-то следует традициям Пушкина, и, кстати, именно таким традициям, которым до сих пор ни один поэт не следовал, что такое-то и такое-то сочетание звуков применено ею, чтобы передать такое-то и такое-то чувство, а данный ритм сознательно избран для передачи определенного настроения.

Непосредственное восприятие было заменено научностью. Может быть, это во многих отношениях и законно, и правильно, но все же создавалось впечатление, что не современник подходит к современному поэту, а ученые-археологи измеряют, классифицируют, упаковывают в ящики и отсылают в музеи произведения древнего искусства.

Это опять-таки уносили свои светильники в катакомбы. Распределяли их там по полочкам, чтобы сырость не испортила, чтобы ветер не развеял, чтобы не рассыпались прахом до того далекого времени, когда придет новый ценитель и сможет по осколкам нашего искусства воссоздать нашу жизнь.

Из общей линии эстетизма выделился акмеизм.

Акме — вершина, острие. Все поэты, примыкавшие к этому течению, могут быть разделены сообразно с этим двойным значением слова «акме».

Одни из них, подобно Гумилеву или Мандельштаму, приняли слово «акме» как слово, обозначающее вершину, — вершину творчества, стремление к творческому совершенству, к включению в свой сотворенный мир всего мира, видимого с творческой вершины. Для них акмеизм был крайним утверждением эстетизма.

Другие поэты — главным образом Анна Ахматова и потом все ее бесчисленные подражатели — приняли ближе второе значение «акме» — острие.

Оставаясь такими же эстетам, любовно культивируя отображение всего мира — хлыстик, перчатки, каждая мелочь, каждая случайная вещь внимательно ими описывалась, бережно консервировалась, — они все же считали психологически неизбежным для себя среди этого мира милых вещей, на самом острие своего произведения,

в минуту его творческого разрешения отобразить то жало, которое все время чувствовали в своей душе, которое повышало любовное отношение к миру.

Точно в светлой и уютной комнате, в которой человек прочно и хорошо обжился, в окне случайно мелькнул ужас и страх, и на минуту всю комнату полонила жуть темной ночи, в которой совершается неведомое.

И это всегдашнее напоминание о жути, всегдашняя оглядка на окно, которое соединяет комнату с внешним миром, придает особую значимость стихам Ахматовой, увеличивает тайну и смысл тех простых и комнатных вещей и чувств, с которыми она имеет дело.

Смело можно сказать, что это еще новое отражение общего, — чувство идущей гибели, стремление или спрятаться от нее, или противопоставить ей свой мир, часто с полным пониманием, что противопоставить-то нечего.

А впрочем, может быть, и верно, что описанные Ахматовой перчатки действительно останутся, будут долго, долго жить, когда всей жизни, во время которой они существовали, уже не будет.

Самым, пожалуй, ярким и завершенным представителем группы эстетов был Гумилев.

Когда читаешь его стихи, насыщенные любовью ко всему, о чем он пишет, насыщенные и любовью к тому, как он пишет, не кажется ли, что любовь эта корнем своим имеет желание запечатлеть все, все вобрать в свою память.

И с другой стороны, каждая вещь, каждое чувство, о котором он говорит, заострено, застыло, стало чувством, бывшим давно, когда-то, — теперь его можно изучать, смотреть на него, удивляться красоте его, совершенству формы лучших стихов античного мира. И там и тут знаешь, что это ты читаешь последнее слово; если воспримешь все до конца, то больше в этой области не удивишься ничему, пройдешь мимо всего спокойно.

И вспоминается, как Гумилев убеждал молодого художника рисовать ковры, на которых были бы бабочки, птицы, цветы и пальмы, еще обезьяны, жирафы, — все имеющее цвет, форму, неизменное, вещи.

Вопрос не в творчестве новых вещей, а в комбинации уже сотворенного.

Будто ясным ему было, что все элементы, которые можно комбинировать, уже созданы и не стоит тратить сил на поиски новых, — это неосуществимо — найти новое. Хорошо то, что уже устоялось, что будет красочной деталью целого.

Синдик цеха поэтов и его создатель, создатель акмеизма...

Ремесло свое, ремесло поэта, не понимал ли он как долг некий, — в совершенном творении отобразить мир, чтобы мир этот, хотя бы только в совершенных стихах, продолжал жить, — другой жизни ему не было суждено.

И из такого понимания значения роли поэта вытекает то, что единственным достойным делом на земле он считал быть поэтом. Остальное все принадлежит к умирающей современности; остальное все временно, и сроки ему поставлены краткие, — поэт же один творит для грядущего, поэту одному дано избавить современный мир от смерти и вынести осколки его в будущую жизнь.

Но Гумилев был сам, как индивидуальность, слишком живым человеком, слишком борцом, чтобы безропотно принять смерть и работать только для какого-то неведомого будущего ценителя.

Он все время пытался найти пути, пытался влить кровь в дряхлеющую культуру последних дней.

И искал он этих путей везде. Отсюда и «муза дальних странствий», — отсюда и путешествие его по Африке, отсюда мечта о Синдбаде-мореходе, о конквистадорах, наконец, отсюда и ясное, героическое отношение его к войне, гордость Георгиями своими солдатскими и, может быть, отсюда и смерть его от чекистских пуль.

Чего он искал?

Еще задолго до войны сам он это формулировал так: «Я буду очень благодарен тому, кто меня напугает».

Что это? Молодая бравада? Стремление пококетничать своим бесстрашием? Желание быть зачисленным в число славных авантюристов, любимых им героев?

Нет, так кажется только с первого взгляда: ему хвататься нечем, потому что и действительно трудно чего-нибудь испугаться среди мертвых вещей, неспособных воскреснуть и создать что-нибудь новое. Закон их мертвого существования изучен, пропорции измерены, свойства определены. Пусть часто они прекрасны. Но живому хочется живого, — хочется не смерти, пусть даже прекрасной, а бурь, риска, пытанья.

И в этом отношении он гораздо больше видел, чем видели мудрые. Для него иллюзий не было. Слов старых он не сочетал, чтоб добиться чего-то нового, не искал животворящей веры, — слишком ясным для него было, что в этом, данном мире все равно такие попытки обречены на неудачу.

В иных мирах искал он дорог, но и они приводили роковым образом назад, к стене.

В комнате его пахло странно, — он говорил, что носорожьим жиром, которым натерты абиссинские карти-

ны, — на диванах лежали леопардовые шкуры, на стенах висели доспехи и браслеты из Африки.

Это всё трофеи из борьбы с главным врагом, которого он определял так: «Седая, незолотая старина...» Старина ли? Не современность ли?

И странно то, что Гумилев, так трезво определивший бесцельность искания путей к обновлению в пределах нашей культуры, мог наивно мечтать, что какая-то маленькая и бессильная духовно Абиссиния или мертвая африканская пустыня со своими львами и одинокими оазисами может что-то изменить, может оказаться полустанком на пути в новый мир.

Всего вероятнее, что по-настоящему у него этой веры не было, — было просто стремление уйти, не присутствовать при разложении жизни.

Я никогда не встретил дамы
Той, чье сердце непреклонно.

Кому же в мире быть верным после этого? Камни рассыпались в песок, жизнь разлагалась на составные свои части.

Потом появился Гумилев в защитной рубашке, с какой-то цветной кистью, принадлежностью того полка, в котором он служил, с несколькими Георгиевскими крестами...

А на самом деле незолотая старина уходящего мира не изменилась, не нашла новых путей, не сумела напугать неожиданностью Гумилева; человеческая кровь, говорил он в стихах своих, «не святей изумрудного сока трав».

Через кровь, значит, тоже ничего не узнавалось, была она тоже только одним из явлений, изученным, мертвым фактом в мертвой жизни.

Наконец, последний этап в жизни Гумилева. Чекистская пуля.

Страшно себе представить человека, идущего на смерть. Кажется, что наряду с волной душевной смятенности должна где-то в глубинах его обозначиться очевидная, ясная и простая истина, примиряющая все.

И несмотря на то, что не знаю я последних часов жизни Гумилева, думается мне, что и в этот последний свой путь на земле шел он с таким же чувством полной неудовлетворенности, полной невозможности найти подлинный выход, оживить старый мир, сочетать его с грядущим.

Так и ушел он одною из последних глав книги о том, что было: как росла трава, как мечтали люди о колокольчиках в желтом Китае, о высокой пальме в оазисе, о мудром Гуссейне — обо всем, что обещало вывести на дорогу и привело опять все к той же стене.

Пока мне пришлось касаться тех представителей литературного мира, которые еще были тесно связаны со стариной, с прежней культурой. Они чувствовали смерть этой прежней культуры, многие даже понимали, что лежит перед ними не живое существо, а покойник, но все ассоциации были у них не со смертью, а с тем временем, когда этот покойник был живым и животворящим.

Смерть делала только их восприятие мира более острым. И верилось им, что еще не все кончено, разложение не коснулось любимого лица, старый мир может воскреснуть, может совершиться чудо.

За ними же шли те, кто видел только разложение. Прахом, гнилью, смрадом распадался старый мир, разлагался на простые элементы, терял связь между ними. И в этот недолгий период его разложения пришли новые люди, которые и отобразили его разъятым на части, лишенным гармонии, испепеленным и развеянным. Последними певцами старого мира были футуристы. Злой иронией над ними звучит их наименование, — будущего они не знали и не чуяли даже. Пусть они действительно элементарны, как должен быть элементарным всякий художник первого периода эры. Но это еще не делает их действительно принадлежащими к первому периоду новой эры, — ведь в последние годы старого мира, в минуты его умирания, и он становится элементарным, распадается на части свои, теряет единство сложного существа.

И именно эта элементарность разложений свойственна и понятна футуристам, о ней говорит Маяковский, ею полно все творчество тех квазиновых и квазимолодых, которые так много кричали в первый период большевистской революции о том, что они именно и есть подлинная новая культура, что они именно и выражают собой народные чаяния в искусстве. Характерно, что большевизм, тоже претендующий на новое слово и на основоположение новой эры, так охотно признал их подлинными выразителями новой культуры, так охотно дал им патент на пролетарское творчество.

Эта характерная особенность объясняется, несомненно, тем, что самозваному выразителю чаяний народных масс — большевизму уж совсем не с руки было обличить в самозванстве кого бы то ни было — по пути оказалось всем видам самозванства в России. И кроме того что по пути, наметилось в них основное сходство — стремление выдавать себя не за могильщиков, каковы они на самом деле, а за истинных основоположников новой жизни, за первых строителей мира, за великих пионеров.

Думаю, что во всех областях теперь это самозванство уже разоблачено. Да и трудно было его скрывать.

Слишком ясно, что в мире новом трава должна расти особенно буйно, — тут же она совсем перестала расти: из футуризма нет выхода вдаль.

Описав все части разложившегося тела, сладострастно просмаковав все тление, которое его окружало, он новых тем для себя не выдумал и не мог выдумать.

Теперь с этим покончено, как бы последние эпигоны футуризма ни стремились заявлять о том, что они еще живы, и к каким бы вычурам они ни прибегали.

И не только покончено. Можно смело утверждать, что последняя страница истории прошлой эры будет посвящена не футуризму, а тем литературным течениям, которые ему предшествовали. Да оно и понятно. Течения предшествовавшие давали подлинный духовный облик своей эры, завершали свою культуру, выявляли ее особенности, — футуризм же, конечно, не имел дела с культурой прошлой эры, а только с теми чисто материальными ее составными частями, которые, выпав из цельного организма, перестали носить на себе его характерные черты.

Этим будет определена быстрая и никому не заметная смерть футуризма; этим определится и то, что он не оставит по себе наследников, да и наследовать-то нечему.

* * *

В революционный период казалось, что русская культура — так, как она проявляется в лице своих наиболее ярких и талантливых представителей, — бесконечно выше культуры Европы.

Да оно и естественно: во-первых, Россия первая подошла к рубежу, первая должна была напрячь все свои силы, чтобы противопоставить их грядущему напору, связать как-то прошлое с будущим. В этом процессе сказалась вся сила борьбы за существование старой культуры, все стремление уберечь себя от смерти.

Во-вторых, особенно высокая духовная напряженность русской культуры последнего периода объясняется свойством, которое отчасти и ускорило процесс умирания старого мира. Верхи русской интеллигенции, представители наиболее высоких достижений русского духа, могли выполнить эти достижения, потому что почти совершенно оторвались от народной массы. Ни в одной стране не было такой разницы между культурным уровнем масс населения и культурным уровнем интеллигентской верхушки. Не ведя за собой массы, не считаясь с тем, что медлен и слаб ход культурного развития страны, наши русские «мудрые» могли проходить свой путь с исключительной

быстротой, расплачиваясь за эту быстроту тем, что с каждым шагом становились все дальше и дальше от народа, пока, наконец, не стали народу совершенно чужими, говорящими на другом языке.

Но если в результате этого процесса отрывания от народного тела сейчас невольно напрашивается оценка последних годов эры как времени, лишенного творчества, как времени, пресыщенного чужими предыдущими творческими достижениями, способного только к талантливому пересказу, перепеву, углублению, лишенного живой и животворящей искры, — то это, конечно, несколько не умаляет исторического значения этой эпохи. И не только исторического значения, но и индивидуального таланта всех деятелей той эпохи, индивидуальной воли каждого из них выбиться из заколдованного круга, найти творческий путь.

Станным было бы кого-либо обвинять, стремиться доказывать, что слава отдельных писателей прошлого не заслужена, преувеличена. Прошлое действительно вправе гордиться своими литературными именами. Слава их заслужена, значение их огромно. Без их работы не была бы закончена история прошлой эры.

Больше того, думаю, что мертвенность и творческая пустота времени делали все их напряжения и искания более трудными и мучительными, чем будут искания новых людей, исток которых — грядущая полноводная жизнь, дающая сама своим полноводием творческий запас человеческому духу.

Но вместе с тем все же несомненно, что последняя страница перевернута, книга захлопнулась. Опыт того времени изжит до конца. Идут варвары творить новую, для прежних — варварскую культуру, культуру следующей эры в истории человечества.

Исторический процесс привел мир к рубежу двух эр в жизни человечества. Рубеж этот обозначен великой всемирной войной и российской революцией, масштабом своим покрывающей понятие революции. Последний период старой эры был весь проникнут чувством скорого умирания.

Это чувство умирания отобразилось в полной мере в русской литературе, ждущей грядущих гуннов, но связанной идеологически и кровно не с гуннами грядущими, а со старой гибнущей культурой.

Гибнущая культура не могла дать новой творческой волны, и поэтому вся работа последнего поколения русских писателей обречена была быть лишенной подлинного творчества и подлинной веры.

Чисто инстинктивное стремление пережить, сохранить, спрятать свои светильники от грядущей гибели породило, с одной стороны, стремление к формальному совершенству своих произведений, таким образом консервирующих жизнь, а с другой стороны, напряженные поиски путей к выходу.

Эти поиски, неизбежно лишенные творчества, окрашены печатью крайнего эклектизма, стремлением из бывших творческих достижений вызвать новую творческую искру.

Последний период прежней культуры несомненно был обозначен исключительным обострением и уточнением культурных достижений всех предшествующих веков.

Следующий этап в искусстве должен был отобразить умирание, полный распад культуры. Таким отобразителем умирания явился футуризм, лживо приписывающий себе новаторство в искусстве.

Этим завершен окончательно весь цикл.

С этим процессом умирания культуры параллельно развивался процесс общественно-политического умирания старого мира. Распад Великой Русской Империи шел у всех на глазах.

Было бы чрезвычайно ошибочно считать в какой бы то ни было степени большевизм основоположником новой эры.

Большевизм — та катастрофа, которая разрушила окончательно здание старой культуры. Удельный вес его достижений совершенно ничтожен, если он есть. В политическо-общественной области его роль параллельна роли футуризма в искусстве: он — завершение процесса разложения. Он Аттила, под копытами коня которого трава не растет.

После большевизма, конечно, не останется каких-нибудь культурных наследств, — только голая степь, на которой надо заново начинать пахать, вернее, учиться пахать.

И если новый человек столкнется со старыми умными рецептами прошлой эры, с тем, что питало отцов, с тем, что комбинировалось и острилось уходящими, возьмет тот плуг, которым они пахали, то вряд ли он сможет этим плугом работать, вряд ли сможет применить старые рецепты к жизни, — другая она будет.

Но прежде чем говорить о той жизни, которая будет питать новое искусство, замечу, что с этой точки зрения и молитва М. Волошина «за тех и за других», за людей, стоящих по разные стороны фронта, принимает совсем другой характер, чем это кажется А. Крайнему. Старый мир, в лице своих представителей — белых генералов,

идеологов единой и неделимой России, московских колоколов, в такой же мере стар, как и мир красного большевизма. Только белые еще верят в организованность своего мира, большевизм же учуял его смерть, — думает, что этим стал вне его смерти, а фактически является только моментом крайнего распада старого мира. По обе стороны фронта стояли люди обреченные, одинаково близкие смерти. И все их усилия были одинаково бесплодны, индивидуальные смерти отдельных борцов одинаково неоправданны. Одним словом, все были представителями умирания, и в этом отношении значение их невольно вызывает чувство горечи и боли, способной вылиться в искреннюю молитву «за тех и за других» — одинаково обреченных.

Думаю, что идейно погребальный период большевизма окончательно преодолен всеми.

Но, несмотря на это, большевистский опыт еще существует в быте, пройти мимо него нельзя, нельзя почувствовать себя еще освобожденным от большевистского кладбища.

Антон Крайний упрекает молодых в любви изображать «сверхкошмар». И несмотря на эту любовь, сверхкошмара гораздо больше не у тех, кто создает новую беллетристику, а в книгах, оперирующих с сухими фактами и документами, в «Чека», у Мельгунова, у всех, кто исследует русскую жизнь, стремясь описать ее на основании цифр и абсолютно ничего к ним лишнего не прибавить.

Другими словами, большевистский период создал сверхкошмарный быт, от которого уйти нельзя. На этом основании вся перегруженность страниц новых писателей кровью, мукой, расстрелами является простым следствием того быта, в котором они живут. Оправдать его нельзя, конечно, но преодолеть, приняв как данное, введя в свой, органически с собой связанный мир, — и нужно, и неизбежно. Нужно потому, что только преодолевая через утверждение его существования, можно найти утерянный облик человека, можно опять утвердить в звере человека. Нужно потому, что победа факта голого и жестокого над его объяснением, над его преодолением будет полная. Нужно, наконец, потому, что из этого кладбища, сразу за пределами стен его, начнется новая жизнь. Да и кроме того, ведь многие, живущие сейчас, даже дети — творцы будущей жизни, имеют настоящую жизнь как свой опыт и, исходя из этого опыта, начнут строить будущее.

Вот на этих-то основаниях можно утверждать, что сверхкошмар, проникший в новую литературу, не только вполне законен, не только связывает жизнь с искусством, но и имеет свое великое оправдание, как практическое

преодоление сверхкошмара в жизни. Не мудрено, конечно, и то, что первые ообразители этого быта ограничиваются его описанием, — данные слишком новы, чтобы их сразу теоретизировать.

Во всяком случае, всякое отречение от изображения теперешнего быта в литературе создало бы произведение мертвое, не эстетическое, а эстетствующее.

Часто это законное желание ообразить новый быт достигает размеров гипертрофических. Но ведь такова всегда обратная сторона всякой новой медали, и неожиданно в этом ничего нет.

Ясно все же, что, за исключением этой чрезмерности, современные писатели говорят именно о том, о чем повседневно вынужден думать современный читатель.

Мне вспоминается, как в последний раз мне пришлось видеть Художественный театр. Было это в годы гражданской войны. Ставили «Дядю Ваню». Конечно, Чехов не стал хуже и «Дядя Ваня» по-прежнему прекрасен, и по-прежнему прекрасно играли художники, но у многих зрителей, с которыми мне пришлось говорить потом, осталось чувство какого-то недоумения, — будто не того «Дядю Ваню» мы все раньше смотрели, что-то не то, что-то или мы утратили, или, наоборот, Чехов не знал. Вероятно, и то и другое.

Конечно, мы многое утратили, но многое нами приобретено, — и несомненно, приобретена сила преодолеть ужас нового быта.

На этом основании то, что происходит сейчас с новой литературой, не должно никого пугать: она идет по тому руслу, которое указано ей жизнью.

Старые рецепты неприменимы.

Надо сначала наглядеться вволю, послушаться. И послушаться всего: и птичьего свиста, и ружейной трескотни, наглядеться и на солнечный закат, и на кровь и мерзость человеческую, — понять, вместить в себя, не испугаться, сочетать, — на, а там, пожалуй, и другие рецепты появятся.

А из-за стены большевистского кладбища, на истоптанной Аггиллой земле уже начинают обозначаться те, кто должен прийти на смену старым.

Кто же не обречен? Где должна родиться новая жизнь? Думаю, что ответить на это не так трудно.

Старый пласт выразителей русской культуры умер, погребен большевизмом, — единственное дело, на которое он был способен, будучи сам, по существу, мертвым.

Новые общественные элементы, разбуженные войной, которую несли на своих плечах, наученные жестоким и горьким опытом русского большевизма, который тоже

на их плечах держался, — в конце концов, ни в войне, ни в большевизме сознательного участия не принимали; да и в гражданской войне были стороной претерпевающей, поэтому учащейся, но не активной и желающей этой гражданской войны.

Период смерти старого мира ускорил темп роста народного сознания, освободил народ от спячки многих предшествующих веков, указал ему на его значение в историческом процессе.

И новое слово должно родиться в толщах народных. Новое слово должно быть понятным народу в его целом. На этом основании для нас, захвативших еще жизнь старой, оторванной от народа эры, многое покажется чрезмерно примитивным. Отображение нового быта испугает нас своей грубостью, — но нет сомнения, что в этом отчасти будет виновата наша причастность к утонченному умиранию старого, наше воспитание на старых его образцах. А вода живая именно там, в новом, внутренне преодолевающем себя быте, в новом человеке, освобожденном к жизни в последние минуты мировой катастрофы.

ДРУГ МОЕГО ДЕТСТВА

События и люди, вошедшие в историю, становятся в глазах даже тех, кто одновременно с ними жил, какими-то закостеневшими фигурами, осуществляется какой-то неписанный канон, по которому каждое историческое лицо может быть изображено только соответственно этим закостенелым представлениям о нем. Добродетели являются всегда добродетелью беспримесной, злодейство тоже окрашено в один общий черный цвет, и в результате описываемые лица приобретают значение скорее символов, чем живых людей.

Мои воспоминания относятся к человеку, может быть в наибольшей степени ставшему символом. Я хочу рассказать о моих детских отношениях с К. П. Победоносцевым. Эти отношения протекали в период, когда мне было пять — тринадцать лет, и этим самым определяется то, что воспринимала я Победоносцева не как государственного деятеля, не как идеолога реакции царствования Александра III, а исключительно как человека, как старика, повышенно нежно относящегося к детям.

Сейчас только что изданы письма Победоносцева, дополняющие общий его канонический портрет: столп реакции, вдохновитель всей внутренней и церковной политики Александра III, властный, холодный гаситель, знающий, чего он хочет. Историческое его значение определено вполне. Думается, что в этот момент мои воспоминания будут иметь интерес, так как обрисуют его облик с совершенно другой точки зрения, воплотят его немного в образ человеческий, лишенный всей определенности иконописного канона, грешащего всегда против жизненной правды.

Каждую зиму мы всем семейством ездили в Петербург на один-два месяца гостить к бабушке, тетке моей матери, Елизавете Александровне Яфимович.

После вольной и просторной жизни дома, в маленьком городке, на берегу Черного моря, бабушкина квартира казалась мне чем-то совсем другим, сказочным миром. Петербурга мы не видали в эти приезды: каждый раз еще в дороге — насморк и мать не решалась нас выпускать гулять по Петербургу вплоть до самого отъезда. От поезда отъезжали в бабушкиной карете, потом если и бывали у других родных, то тоже ездили в карете с выездным Иваном на козлах.

Таким образом, единственные мои ранние воспоминания о Петербурге — это лифт на квартире у тетки, огромные две китайские вазы в окнах Аничковой аптеки на углу Невского и Фонтанки, два золотых быка на вывеске мясной против окон бабушкиной квартиры и покойники. О них бабушка заранее вычитывала в «Новом Времени»

и оповещала нас. С утра мы ждали их у окон кабинета. В особенной чести были те, которых хоронили с музыкой. Они распределялись по очереди — бабушкин, мой и брата, и опять бабушкин, уже кому как повезет на покойника с музыкой.

Бабушкина квартира была огромная, в четырнадцать комнат, на Литейном проспекте, номер 57. На полу были натянуты ковры, не снимавшиеся восемнадцать лет. В гостиной мебель была резная, работы Лизерэ. На стенах висели портреты: в. к. Елены Павловны — ее изображали и три бюста; в. к. Екатерины Михайловны; потом огромный портрет [Л. А.] Нарышкина работы Анжелики Кауфман, — он сидит перед бюстом Екатерины [II] и на бумаге перед ним написано: «лучше оправдать 10 виновных, чем осудить одного невинного»; потом бабушкиного мужа — огромный портрет масляными красками; потом самой бабушки и ее сестры — обе молодые, с кудрями на ушах и с открытыми плечами — фрейлины Елены Павловны.

В каждой комнате стояло несколько часов. Во время боя вся квартира наполнялась своеобразной музыкой: низкий и медленный гул столетних часов переливался и обгонялся серебристым звоном севрских, потом начинали бить часы с башенным боем, потом вообще нельзя уже было разобрать, сколько и какие часы бьют.

Бабушка жила одна, окруженная, как ей казалось, минимумом необходимой прислуги. Лакей Иван и горничная Полина были существами обыкновенными, а буфетчик Антон Карлович, бритый, внушал нам с братом большое почтение, приходил доложить, что обед подан; он останавливался всегда на одном и том же квадрате ковра и громко говорил на неведомом языке: «Diner ist serviert, gnedige Frau, excellence».

Сама бабушка была человеком, надолго пережившим свое время. Она часто говорила: «Люблю я вас всех, друзья мои, и все же вы мне чужие. Близкие все давно в могилах». Родилась она в 1818 году в московской родовой и богатой семье Дмитриевых-Мамоновых. Воспитывала ее ее бабушка Прасковья Семеновна Яфимович, урожденная Нарышкина, женщина большого ума. О ней она всегда рассказывала без конца. Восемнадцати лет она стала фрейлиной в. к. Елены Павловны. Во всех воспоминаниях ее мало упоминалось о той роли, которую Елена Павловна играла в царствование Александра II в качестве единственной за все время либеральной, культурной великой княгини. Больше рассказывала она о самом быте Михайловского дворца, о том, как повар-француз кормил великих княжон и фрейлин лягушками под видом молодых

цыплят, о том, как Михаил Павлович назвал ее «Маманочка», о том, как Николай I велел всем фрейлинам большого двора учиться у нее делать реверансы, приседая очень низко и не сгибая головы. К памяти Елены Павловны она относилась с обожанием. С таким же обожанием говорила она о своем муже Владимире Матвеевиче Яфимовиче. И все современное она мерила по ним. Любопытна была ее теория аристократизма. Я потом, смеясь, говорила, что от бабушки первой узнала основные принципы равенства и демократизма. Она утверждала, что настоящий аристократ должен быть равен в отношениях со всеми. Только *parvenu** будет делать разницу в своих отношениях между знатными и незнатными, а простой народ и аристократы всегда относятся ко всем равно. И действительно, у нее в гостиной можно было увидеть принцессу Елену, внучку Елены Павловны и бабушкину крестницу, дочь ее швеи или нашего детского приятеля-репетитора, косматого студента Борчхадзе, рядом с членом Государственного совета бароном [М. А.] Таубе, и нельзя было заметить и тени разницы в обращении хозяйки со своими гостями.

Гости у нее бывали часто. Нас с братом вызывали тогда из детской. Я всегда должна была с чувством декламировать Жуковского. Стихов я не помню, только последние строчки остались у меня в памяти: «О, родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя».

Среди частых посетителей бабушки из ближайших друзей был и Константин Петрович Победоносцев. Жил он как раз напротив, окно в окно. По вечерам можно было наблюдать, как двигаются какие-то фигуры у него в кабинете.

Дружба их была длительная. Как Победоносцев впервые появился при дворе Елены Павловны в качестве молодого и многообещающего человека, так в бабушкином представлении он и до старости был молодым человеком. Я не помню, что их вообще связывало, бабушка ни к какой политике интереса не чувствовала. Думаю, что просто были они оба старой гвардией, которой становилось все меньше и меньше.

Советов Победоносцева бабушка очень слушалась. Однажды она захотела поступить в монастырь. Победоносцев, посвященный в этот ее план, восстал: «Помилуйте, Елизавета Александровна, чем вы не по-монашески живете? Вы себе и не представляете, какой ужас наши монастыри! Ханжество, мелочность, сплетни, ссоры! Вам там не место!»

* Выскочка (франц.).

Мне хочется рассказать сейчас о моих отношениях с Константином Петровичем, — о том, что совершенно не вяжется с обычным представлением о нем. Победоносцев страстно любил детей. Поскольку я могла судить, он любил вообще всяческих детей — знатных и незнатных, любых национальностей, мальчиков и девочек, — вне всякого отношения к их родителям. А дети, всегда чувствительные к настоящей любви, платили ему настоящим обожанием. В детстве своем я не помню человека другого, который так внимательно и искренно умел бы заинтересоваться моими детскими интересами. Другие из любезности к родителям или оттого, что в данное мгновение я говорила что-нибудь забавное, слушали меня и улыбались. А Победоносцев всерьез заинтересовался тем, что меня интересовало, — и казался поэтому единственно равным из всех взрослых людей. Любила я его очень и считала своим самым настоящим другом.

Дружба эта протекала так. Мне, наверное, было лет пять, когда он впервые увидел меня у бабушки. Я присела, появившись в гостиной, прочла с чувством какие-то стихи и села около бабушки на диване, чтобы по заведенному порядку молчать и слушать, что говорят взрослые. Но молчать не пришлось, потому что Победоносцев начал меня расспрашивать. Сначала я стеснялась немного, но очень скоро почувствовала, что он всерьез интересуется моим миром, и разговор стал совсем непринужденным. Уехав, он прислал мне куклу, книжки английские с картинками и приглашение бабушке приехать со мной поскорее. Мы поехали. Бабушка вообще пешком по улицам не ходила. Делала у себя в комнате ежедневно пять верст. К Победоносцеву, живущему напротив, ездили так: садились в карету, доезжали до Владимирского собора, там поворачивали и подъезжали к победоносцевскому подъезду.

Огромный старообразный швейцар Корней открывал дверцу. Этот Корней внушал мне гораздо больше уважения, чем сам Победоносцев. Синодальный дом, где он жил, был огромный. Бесчисленное количество зал совершенно сбивало меня с толку. Я помню маленькую комнату, всю заставленную иконами и сияющую лампадами. Жена Победоносцева, Екатерина Александровна, по сравнению с ним еще очень молодая женщина, принадлежала к миру взрослых, а потому меня мало интересовала. Гораздо позже я заметила, что она очень величественна и красива, — я заинтересовалась ею, уже узнав, что будто бы с нее Толстой писал свою Анну Каренину. Волосы у нее были великолепные, заложенные низко тяжелыми жгутами, а на плечах она носила бархатную, такую особенную красную тальму, или уже не так все это называ-

ется... Была у них приемная дочь, Марфинька, моложе меня года на три. Ей завивали длинные букли, лицо у нее было тонкое и капризное. И несмотря на то, что в победоносцевском доме был ребенок, никто не думал, что меня привозят в гости к Марфиньке, — я ездила к моему другу Константину Петровичу. Бабушка бывало сидит с Екатериной Александровной, чай пьет, а мы с Константином Петровичем. Если есть другие дети, а они почти всегда бывали, — помню двух девочек в красных платьях, которые рассказывали, что они родились в Константинополе, — тогда Марфинька с ними, а я непременно с Константином Петровичем.

Помню, как он повел меня однажды в свой деловой кабинет. Там было много народу. Огромная и толстая монашенка, архиерей, важные чиновники и генералы. Не помню, какие вопросы они мне задавали и что я отвечала, но все время у меня было сознание, что вот я с моим другом, и все это понимают, и это вполне естественно, что старый Победоносец мой друг.

Рядом с кабинетом была еще какая-то особенная комната. В ней все стены были завешаны детскими портретами, а в углу стоял волшебный шкаф. Оттуда извлекались куклы, книги с великолепными картинками, различные игрушки. Помню, однажды я была у Константина Петровича на Пасху. Он извлек из шкафа яйцо лукутинской работы и похристосовался со мною. Внутри яйца было написано: «Его высокопревосходительству Константину Петровичу Победоносцеву от петербургских старообрядцев». Это яйцо я потом очень долго хранила.

Однажды, помню, как приехал Константин Петрович к бабушке в обычном своем засаленном сюртуке, галстук бантиком криво повязан. «Я был сейчас, любезнейшая Елизавета Александровна, во дворце у Марии Федоровны», — и длинный разговор о том, какие люди раньше были — Елена Павловна — и какие теперь пошли... Я была страшно удивлена. Цари были для меня чем-то совершенно сказочным. Я была уверена, например, что царская карета обязательно должна по коврам ездить, и, по аналогии со спускаемыми с берега в море лодками, которые я часто видала, я думала, что ковры перед царской каретой так же заносятся, как козлы, по которым подвигается лодка. И тут вдруг засаленный сюртук и кривой галстук Константина Петровича...

Когда я приезжала в Петербург, бабушка в тот же день писала Победоносцеву: «Любезнейший Константин Петрович. Приехала Лизанька», а на следующее утро он появлялся с книгами и игрушками, улыбался ласково, расспрашивал о моем, рассказывал о себе.

Научившись писать, я стала аккуратно поздравлять его на Пасху и на Рождество. Потом переписка становится более частой. К сожалению, у меня сейчас не сохранились его письма. Но вот каково приблизительно их содержание. На половинке почтового листа, сложенного вдвое, каждая последующая строчка начинается дальше от края бумаги, чем предыдущая. Обращение всегда: «Милая Лизанька!» Первые письма, когда мне было лет шесть — девять, заключали только сообщение, что бабушка здорова, скучает обо мне, подарила Марфиньке огромную куклу и т. д. Потом письма становились серьезнее и нравоучительнее. Помню одну фразу точно: «Слышал я, что ты хорошо учишься, но, друг мой, не это главное, а главное — сохранить душу высокую и чистую, способную понять все прекрасное».

Я помню, что в минуты всяческих детских неприятностей и огорчений я садилась писать Константину Петровичу, что мои письма к нему были самым искренним изложением моей детской философии.

Мать мою Победоносцев встречал у бабушки раз пять-шесть. Отца ни разу не видел, — думаю, что отец не чувствовал к нему никакой симпатии.

И вот, несмотря на то, что семья моя была ему совершенно чужой, он быстро и аккуратно отвечал на мои письма, действительно ощущая меня не как бутуза и клопа, а как человека, с которым у него есть определенные отношения. Помню, как наши знакомые удивлялись всегда: зачем нужна Победоносцеву эта переписка с маленькой девочкой? У меня на это был точный ответ: потому что мы друзья.

Так шло дело до 1904 года. Мне исполнилось тогда двадцать лет. Кончалась японская война. Начиналась революция. У нас в глуши и война, и революция чувствовались, конечно, меньше, чем в центре. Но война дала и мне, и брату ощущение какого-то большого унижения. Я помню, как отец вошел в библиотеку и читал матери газету с описанием подробностей цусимского боя. И вот революция. Она воспринималась мною как нечто, направленное против Победоносцева... И потому из всей нашей семьи поначалу я наиболее нетерпимо отнеслась к ней.

Помню, как к отцу пришел по делу один грузин и отец оставил его пить чай. Я слышала от кого-то, что он революционер и что если это обнаружится, ему грозит каторга. Издали я решила, что так и надо. Но когда я увидела, что вот сидит молодой еще человек у нас за столом, кашляет отчаянно, смотрит очень печально, я вспомнила все слухи о нем, и мне стало его очень жалко. Но тотчас же я решила, что это слабость. Ушла в гостиную, достала по-

портрет Победоносцева с надписью «Милой Лизаньке», а на портрете непокорный галстук с одной стороны выбился из-под воротника, — села в уголок и стала смотреть на него, чтобы не ослабеть, не сдаться, не пожалеть, чтобы остаться верной моему другу...

Потом мы переехали в Никитский сад под Ялту — отец мой был назначен туда директором училища виноградарства и виноделия.

Начались события 1905 года. Ученики ходили в Ялту на митинги. Однажды папе по телефону сообщили, что их на обратном пути собираются избить черная сотня — погромщики из Воронцовской слободки. Отец выехал в коляске им навстречу выручать. Отец мой был громадный человек, на голову выше всякого и более восьми пудов веса. Я думала, что он едет выручать, рассчитывая на свою физическую силу, действительно невероятную. Но расчет его был более правильным. Когда хулиганы увидели всем известную коляску директора Никитского училища, а вокруг нее чинно идущих учеников, то, конечно, решили, что драка не пройдет безнаказанно, и ученики вернулись домой благополучно.

В моей же душе началась большая борьба. С одной стороны, отец, защищающий всю эту революционно настроенную и казавшуюся мне симпатичною молодежь, с другой стороны, в заповедном столе Победоносцев — погромщиков из Воронцовской слободки. Было над чем призадуматься.

Отец предложил ученикам организовать совет старост, разрешил митинги. Я слушала приезжающих из Ялты ораторов, подвергалась ежедневному распропагандированию учеников и чувствовала, что все трещит, все, кроме моей личной дружбы с Константином Петровичем.

Долой царя? Я на это легко соглашалась. Республика? Власть народа? — тоже, все выходило гладко и ловко. Российская социал-демократическая партия? Партия социалистов-революционеров? В этом я, конечно, разбиралась с трудом. Она у меня немножко олицетворялась учеником Зосимовым и хрым ялтинским оратором, а другая учеником [Петровым] и рассказами его о всяческих подвигах и жертвах. В общем, вся эта суетливо-восторженная и героическая революция была очень приемлема, так же, как и социализм, не вызывая никаких возражений, в борьба, риск, опасность, конспирация, подвиг, геройство — просто даже привлекали. На пути всему этому стояло только одно, но огромное препятствие — Константин Петрович. Увлечение революцией казалось мне каким-то личным предательством Победоносцева, хотя, между прочим, ни о какой политике мы с ним никогда не говорили, конечно.

И казалось невероятным, что, зная его столько лет, будучи с ним в самой настоящей дружбе, проглядела, не заметила того, что известно всему русскому народу. За то, что русский народ ошибался и я была права, говорила мне дружба с Константином Петровичем, возможность наблюдать непосредственно. А против этого было то, что не может же весь русский народ ошибаться, а я одна только и знаю правду, и это сомнение было неразрешимо теоретически. Помню сатирические журналы того времени. На красном фоне революционного пожара зеленые уши нетопыря. Это меня просто уже оскорбляло. Я любила старческое лицо Победоносцева с умными и ласковыми глазами в очках, со складками сухой и морщинистой кожи под подбородком. И нетопырь с зелеными ушами — это была в моих представлениях явная клевета. Но это все в области теории и внутренних переживаний, о которых я рассказывала только отцу.

А на практике все было гораздо проще. Помню, отец уезжал в Симферополь. Мы его провожали на пристани. Там же случайно был знаменитый ялтинский исправник Гвоздевич. Видимо, желая поглумиться над отцом, который уже прослыл чуть ли не революционером, Гвоздевич дождался, когда пароход начал отчаливать, и тогда крикнул отцу, что вот забыл, мол, раньше сказать, а сейчас в Никитском училище должен быть обыск и наверное некоторые аресты. Отец беспомощно разводил руками на отчаливающем пароходе. Он знал, что у учеников не все в этом отношении благополучно и что он, как юрист, как директор, должен бы быть во время обыска в Никите. Я помню, что, увидав его беспомощный жест, я сразу решила принять в этом деле участие. С пристани пошла в гостиницу, принадлежащую отцу моей одноклассницы, с которой мы дружили, и по телефону вызвала кого-то из учеников и сообщила все слышанное.

Обыск, конечно, все же состоялся. Но от момента моего разговора по телефону до того времени, как Гвоздевич успел прибыть в Никиту, в училище топились все печи, и предосудительного ничего не было найдено.

Таким образом, я уже практически изменила моему другу. Я была не с ним.

К весне 1906 года началась реакция. По доносу эконома, служившего в тайной полиции, и священника, в компании с другими учителями, которым режим моего отца казался неприемлемым.

Я решила выяснить все свои сомнения у самого Победоносцева. Помню, с каким волнением я шла к нему.

Тот же ласковый взгляд, тот же засаленный сюртук, тот же интерес к моим интересам. Мне казалось одно

мгновение, что вопрос решен, и решен в пользу Константина Петровича.

— Константин Петрович, мне надо поговорить с вами серьезно, наедине.

Он не удивился, повел меня в свой кабинет, запер дверь.

— В чем дело?

Как объяснить, в чем дело? Надо одним словом все сказать и в одном слове получить ответ на все. Я сидела против него в глубоком кресле. Он пристально и ласково смотрел на меня в свои большие очки.

— Константин Петрович, что есть истина?

Вопрос был пилатовский. Но он действительно все сказал. Победоносцев понял, сколько вопросов покрыто им, понял все, что делается у меня в душе. Он усмехнулся и ответил ровным голосом:

— Милый мой друг Лизанька! Истина в любви, конечно. Но многие думают, что истина в любви к дальнему. Любовь к дальнему — не любовь. Если бы каждый любил своего ближнего, настоящего ближнего, находящегося действительно около него, то любовь к дальнему не была бы нужна. Так и в делах: дальние и большие дела — не дела вовсе. И настоящие дела — ближние, малые, незаметные. Подвиг всегда незаметен. Подвиг не в позе, а в самопожертвовании, в скромности...

Я решила, что Победоносцев экзамена не выдержал. Были правы те, кто смотрел на него издали. Он, видимо, тоже почувствовал, что в наших отношениях что-то порвалось.

Это была наша последняя встреча.

Вскоре мы уехали из Петербурга на юг, в свой маленький город. Умер мой отец.

Потом умерла бабушка.

Не помню сейчас, когда умер Победоносцев. Во время его смерти я была опять в Петербурге, но на похороны не пошла.

КАК Я БЫЛА ГОРОДСКИМ ГОЛОВОЙ

I

В таком маленьком городе, как Анапа, революция должна была почувствоваться не только как непомерный сдвиг в общерусской жизни, но и как полная перетасовка всех местных отношений. «Деятели», перед этим наперегонки стремившиеся добиться благоволения старого правительства и при помощи властей изничтожить друг друга, стали в революционном порядке искать новых возможностей и связей и ими пользоваться во взаимной борьбе.

Пока верхи старались, так сказать, оседлать события и заставить революцию послужить им на пользу, низы жили совершенно особой жизнью. Я говорю не только о массе мещан, но и об интеллигенции — учителях, докторам, чиновниках, раньше в большинстве случаев стоящих далеко от политики. Настало время, когда все почувствовали не только обязанность, но и потребность совершенно забыть о привычном укладе жизни, о своих ежедневных обязанностях и делах, и принять участие в общем деле революции. Пожалуй, именно в этом резком изменении быта сказалась у нас революция. Все двигали ее чрезвычайно сумбурно и непоследовательно, говоря целыми днями на митингах, в родившихся профессиональных союзах, в бесчисленных заседаниях и у себя дома. Митинги шли в курзале, — как бы официальные, — и около электрической станции, — менее людные и носящие более случайный характер.

На фоне этой новой, путаной и сумбурной жизни старая Городская дума теряла всякий авторитет. Сильная группа гласных, поддерживавших голову Будзинского, человека очень скомпрометированного, конечно, не могла взять движение в свои руки. Будзинский принужден был подать в отставку. Дума доживала последние дни. А ей на смену спешно выбирался Гражданский комитет.

Положения о выборах Гражданского комитета были нам присланы из центра. Голосование должно было быть всеобщим, прямым, равным и тайным. Не привыкшие еще к организации граждане валом валили голосовать. Но так как предварительного стовора о кандидатах почти не было, то каждый голосовал за нескольких ему лично хорошо известных соседей и приятелей. В результате на сорок мест членов комитета было более тысячи кандидатов, причем большинство их получало десять — двадцать голосов. А победителями на этих выборах вышли лица, заранее сталкивавшиеся и успевшие отпечатать листки с наименованием кандидатов. Сделала это группа противников

бывшего городского головы. Получился такой результат: граждане, получающие список, вычеркивали из него только тех, кто был для них заведомо неприемлем, и вписывали особо желательных на их место. Но так как каждый вычеркивал и вписывал разных лиц, а безразличные кандидаты не вычеркивались, то в общем почти весь список прошел.

Гражданский комитет был выбран ранней весной 1917 года. В то же время начали организовываться партийные группы. Не помню сейчас, имели ли свою организацию немногочисленные наши кадеты, кажется, что нет, а большинство их вошло в аполитичный, но достаточно по отношению к революции оппозиционный союз домовладельцев. Народных социалистов было в группе пять-шесть человек. Несмотря на это, группа имела значительный вес, так как ее членом был член первой [Государственной] думы выборжец Морев, человек очень талантливый и опытный в общественной работе, но, к сожалению, благодаря своей болезни, абсолютно неуживчивый и желчный. Он чужих мнений переносить не мог и выражал свое неприязненное отношение ко всем инакомыслящим настолько резко, что создавал себе везде личных врагов.

Меньшевики насчитывали несколько больше членов — человек до пятнадцати. Но их слабость заключалась в том, что эти пятнадцать человек делились на плехановцев, интернационалистов и т. д. Кроме того, лидера у них не было, а все принадлежали к средним интеллигентским кругам, представителей народных масс у них тоже не было. О некоторых из них — о ветеринарном враче Надеждине и его жене, о землемере Шпаке, Мережке и др. — можно было бы рассказать много интересного.

Наконец, самой многочисленной группой была группа партии социалистов-революционеров. И в то время как другие партии страдали от безлюдья, эсеры, насчитывавшие до пятисот членов, этим именно и ослаблялись.

В партию эсер[ов] повалили все. Шла в нее та масса, о которой я уже упоминала, раньше стоявшая далеко от политики, а тут вдруг почувствовавшая известную психологическую необходимость принять участие в общем деле и стремящаяся найти пути к этому делу через партию; шли лица, желающие забронировать свою мещанскую сущность ярлыком партийной принадлежности, шли из-за моды, шли, наконец, потому что это было самое левое, самое революционное [течение], проникнутое ненавистью к старому строю и, значит, способное ломать. И ломать — это было то, что постепенно заполнило все мысли.

Конечно, ни о какой партийной идеологии не приходилось говорить. В минуту уж слишком явных уклонений от

общей линии поведения партии приходилось ссылаться на постановления ЦК и на партийную дисциплину. Незначительная часть членов группы — старых работников — чувствовала себя в меньшинстве. На них надо остановиться. Учитель Соколов и его жена, очень принципиальные и честные люди, через которых события перехлестнули сразу, инженер или техник, не помню, Милорадов, более или менее способный руководить партийной массой, штурман Соловьев, раньше увлекавшийся террором, исключительно преданный партии человек, единственный, быть может, настоящий эсер из всей группы, слесарь Мальков, эсер скорее по воспоминаниям, обуржуазившийся и обросший огромной семьей, — это все группа будущих эсер[ов], примыкающих к партии.

И будущие левые эсеры — Инджебели, студент, ловкий и беспринципный человек, демагог, провокатор и предатель, и Арнольд, председатель группы, бывший максималист, каторжанин, благодаря своему прошлому абсолютно и непререкаемо авторитетный среди массы, захваченной революцией, мстительный, неорганизованный, бесчестный и демагог.

И после бурных партийных собраний мне иногда становилось страшно. Ведь это было лето 1917 года. Партия эсер[ов] была фактически самой мощной в России. И авторитетность партийного центра, а отчасти и Временного правительства, покоилась на таких вот, как наша, мелких группах, разбросанных по всей России. Из центра не видно, может быть, а на местах совершенно ясно, что все идет хорошо, пока нет ничего более сильного, чем Временное правительство, но в момент любой, самой незначительной, неустойки все здание может рухнуть, потому что фактически на поддержку местных людей рассчитывать не приходится. И крушение будет тем сильнее, чем сильнее сейчас переоценка своих сил.

Летом 1917 года я уже знала, что наша группа может рассчитывать только на единицы. При мало-мальски сильном толчке большинство — мещанское — просто отойдет, а другая половина уклонится в любой вид максимализма, — о большевиках мы тогда мало думали, но теперь-то ясно, что именно большевистские элементы составляли значительную часть нашей группы.

И любопытно расценивалось это все интеллигентами из обывателей — меня, например, не спрашивали, отчего я состою в партии эсер[ов], а только недоумевали: «Как вы можете состоять в одной группе с Арнольдом?» И на самом деле, это было очень трудно и несносно.

В августе [1917 года] была избрана новая Дума. Выборы шли уже по твердым спискам. Большинство получили

эсеры. Но так как у нас не было кандидата, который в смысле опытности мог бы конкурировать с Моревым, то он и был избран городским головой.

А раньше новой Думы был организован Совет солдатских и рабочих депутатов.

Солдат у нас, правда, не было тогда, кроме сотни пограничной стражи, да и рабочих не было, потому что подавляющее количество наших ремесленников были собственниками своих предприятий и наемных служащих не имели.

Но все же Совет организовался. Каждая партийная группа дала в него по три представителя, профессиональные союзы дали представителей пропорционально своей численности. Председателем Совета был избран некий Мережко, человек, истинную сущность которого я не берусь и сейчас установить. Называл он себя с[оциал]-д[емократом]. В выступлениях своих проявлял тот же уклон к анархическому максимализму, по профессии был частным поверенным и владел многими домами на Охте в Петербурге. Как он у нас появился, я не знаю, только помню, что он нам доверия не внушал с самого начала. Это чувство еще усилилось после одного случая. Дело в том, что наша буржуазия, раздраженная тем, что первыми лицами в городе стали люди типа Арнольда, Мережки и т. д., начала против них поход, и надо сказать, довольно удачный. Виноградарь Ключ предъявил Мореву письмо Мережки, из которого с очевидностью явствовало, что до революции он занимался освобождением молодых людей от мобилизации, взимая за это немалую мзду. Морев официально снесся с Советом на этот предмет, и Совет был фактически поставлен в необходимость вынести суждение о деятельности своего председателя.

Опять голоса разделились. В меньшинстве остались старые партийные работники, без различия их партийной принадлежности, и главным образом люди интеллигентные. Громадное большинство Совета, люди в политике новые, а часто и вообще малограмотные, под предводительством Арнольда постановило не судить Мережку и вообще оставить это дело без последствия.

Мы настаивали только на разборе дела, не предрешая нашего к нему отношения. Этого требовало элементарное желание охранить Совет от всяческих нареканий. Опять подымалось чувство какой-то безнадежности. Очевидно, народная масса, составлявшая большинство Совета, совершенно по-иному, чем мы, воспринимала даже такие бесспорные вещи, как необходимость общественному деятелю себя реабилитировать в случае брошенных ему обвинений. И вывод, который тогда и не делался, пожалуй

потому, что слишком сильна была вера в правду революции, — но вывод ведь напрашивался сам собой, — массе с нами не по пути. Придут люди, которые сумеют развязать ей руки, и тогда она польется по совершенно другому руслу. В этом была неизбежность большевизма. И в нашем городке, как в капле воды, отражалось все, что делалось в России.

К осени, таким образом, в Анапе были три законные власти, — Городская дума, Гражданский комитет и Совет. Очень трудно было разграничить компетенцию этих властей, и на этой почве происходили всяческие трения.

В конце августа [1917 года] я уехала по делам в Москву и Петроград. Там были иные настроения. Основное было то, что и раньше казалось мне неизбежным, — полная оторванность от нашей низовой психологии. И оторванность эта не сознавалась, думали, что на низы именно и опираются. Должна сказать, что настолько это заблуждение было сильно, что, пожив некоторое время в центре, я тоже решила, что мои впечатления или ошибочны, или являются результатом стечения каких-либо особенно неблагоприятных обстоятельств в Анапе и это не правило, а исключение.

Теперь, оглядываясь назад и часто слыша упреки по адресу правящей тогда революционной демократии, я всегда считаю, что главным пунктом ее защиты от обвинения в том, что довели дело до большевистского восстания, надо было бы выдвинуть общую настроенность русского народа, которую изменить нельзя было. И этот пункт слишком мало использован, потому что, может быть, и до сих пор лидеры и вожди не учитывают в полной мере, над какой пропастью они стояли и каким подвигом было это стояние, — пусть подвигом и не осозанным до конца.

II

Всю осень я провела в разъездах. Другие дела отвлекали меня от жизни города, и только на Рождество, отрезанная от центров России, я вынуждена была осесть и заняться городскими делами. За это время многое изменилось. Расслоились настроения. Многие, первое время революции захваченные общим течением, совершенно отошли от политики. Общая подавленность чувствовалась во всех. Оторванность от центров сказывалась в полной невозможности понять и оценить события.

Должна только подчеркнуть, что к концу декабря 1917 года у нас на весь город был только один большевик — Кострыкин, сиделец казначейства, бывший городской. К нему относились как к чему-то чрезвычайно комическому и нелепому и, несмотря на общую преднастроен-

ность к развалу, все же не могли понять, каким путем этот развал осуществить.

Жизнь замерла. Ждали событий. На Рождество пришел первый эшелон солдат с кавказского фронта. Так как Анапа лежит далеко от железной дороги, то и солдаты у нас появились только свои — с детства мне известные Васьки и Мишки. Но теперь они были неузнаваемы. Все они были большевиками, все как бы гордились тем, что привезли в город нечто совершенно неведомое и истинное.

Апатия, охватившая местных жителей, давала возможность этим солдатам голыми руками взять власть. Они великолепно понимали, что брать власть у них некому. И на этом основании ограничивались устройством бесконечных митингов.

Надо сказать, что при ближайшем рассмотрении все эти пророки новой веры, за малым исключением, оказывались людьми очень искренними и совершенно невероятно темными, с таким винегретом в мозгах, что просто бывало не знаешь, с какого конца начинать с ними спор. И весь винегрет подкреплялся таким авторитетным тоном, такой уверенностью, что именно так думают Ленин и Троцкий, что просто диву приходилось даваться.

Убедившись, что при полной возможности взять власть в свои руки у них не хватает вождей, солдаты послали за варягами в Новороссийск. В конце января оттуда прибыл некий товарищ Протапов, латыш, еще молодой человек, бывший в ссылке, имеющий известный опыт и талантливый диктатор. Этот неведомый нам человек был призван владеть городом.

Первый же митинг, руководимый им, постановил организовать военно-революционный комитет, будущую полноправную власть города. С удивлением узнали мы, что кроме нескольких большевиков-солдат в комитет вошел и наш партийный товарищ Инджебели.

Соловьев, Милорадов и я в экстренном порядке создали группу для обсуждения поведения Инджебели.

Группа собралась, — увы, теперь состав постоянных собраний не превышал человек двадцать.

Я была главным обвинителем Инджебели. Я цитировала постановление ЦК о том, что члены партии, входящие в состав руководящих большевистских организаций, тем самым исключаются из партии, я предлагала мирно разойтись, с тем чтобы Инджебели заявил себя левым эсером, — и пусть даже за ним пойдет большинство, лишь бы хоть незначительное число осталось в группе. От прямых ответов он уклонялся, но заявлял, что считает необходимым присутствие в комитете своих людей, что за Учредительное собрание будет сейчас манифестировать

только буржуазия и т. д. Группа молчала. Только Соловьев, Милорадов и Соколов поддерживали меня. Да еще один член группы поразил точным определением разницы партий: «Эсеры говорят, — пусть вчерашний господин и вчерашний раб будут сегодня равными, а большевики говорят, — пусть вчерашний раб будет сегодня господином, а господин рабом».

Во всяком случае, собрание наше не дало никаких результатов.

На следующий день я встретила на улице Протапова. Он меня остановил и сказал: «Вы имейте в виду, что о вашем вчерашнем выступлении против военно-революционного комитета я уже осведомлен и очень вам советую бросить это, — для вас же лучше». На мой недоуменный вопрос, о чем идет речь, он ухмыльнулся и заявил: «Вчера в час ночи Инджебели примчался ко мне и рассказал обо всем, что у вас происходило, прося принять меры против вас. Будьте довольны, что он попал ко мне, — я доносчиков не люблю».

Картина была, конечно, совершенно ясной. Наша группа не могла дальше существовать, раз она не могла выбросить из своей среды предателя.

А большевики, организовав военно-революционный комитет и охранную роту, начали постепенно забирать всю власть в свои руки. Дума еще держалась. Но под ударом был городской голова Морев, благодаря тому что личное отношение к нему у всех было отвратительное.

Надо было как-то иначе защищать Думу и противопоставить большевистской политике не брюзжание и желчь Морева, а политику защиты тех ценностей, которыми владел город.

Мне предложили выставить свою кандидатуру на пост товарища городского головы. Я согласилась, тем более что в моем ведении должны были быть отделы народного здравия и образования.

После моего избрания — приблизительно в конце февраля — Морев подал в отставку. Должна сказать, что если бы я эту отставку, да еще так сразу после моего избрания, предвидела, я бы, всего вероятнее, отказалась от выставления своей кандидатуры. С уходом Морева я становилась сразу заместителем городского головы. Вся административная работа, все городские финансы ложились на меня. Но это в тот период не должно было пугать, потому что вся практическая часть работы управы постепенно сводилась на нет. Страшнее и ответственнее было то, что я фактически олицетворяла в себе ненавистную большевикам демократическую власть, что я была поставлена одна лицом к лицу с ними. Мои товарищи по управе не

были сильной поддержкой. Милорадов начинал леветь и приближался к позиции Инджебели, оставаясь, по существу, просто порядочнее его, а Зубенко был струсивший обыватель. Дума тоже не давала мне прочного большинства, так как партийная наша фракция явно раскалывалась, а беспартийные, которых было порядочно, относились к моему избранию так, что гласный Стаднюк был прав, когда заявил: «Що ми наробили... Голову скинули, а бабу посадили, та ще й молоду бабу». Сознаюсь, что я сама была с ним в большой степени согласна. Действительно «наробили».

Приходилось на свой страх и риск вырабатывать линию поведения. Главными моими задачами были: защищать от полного уничтожения культурные ценности города, способствовать возможно нормальной жизни граждан и при необходимости отстаивать их от расстрелов, «морских ванн» и пр. Это были достаточно боевые задачи, создававшие иногда совершенно невозможные положения. А за всем этим шла ежедневная жизнь с ее ежедневными заботами, количество которых, правда, постепенно уменьшалось, так как большевики все прочнее захватывали власть и к нам обращалось все меньше народу.

А Городская дума медленно умирала.

В этот период был создан новый, уже большевистский Совет с председателем Протаповым.

В ведение в[оенно]-р[еволюционного] комитета отошли только всякие военные дела. Гражданский фронт уже обнаружился, и военная работа у большевиков кипела.

Надо только сказать, что наш большевистский Совет имел некоторые особенные черты. Все партийные группы, в том числе и большевики, были в нем представлены на равных началах. Большинство голосов большевикам давали представители солдат и профессиональных союзов. Причем многие из них не были ни большевиками, ни даже большевистски настроенными людьми, а просто будто решили, что время требует от них голосования за большевистские резолюции.

Партийные же люди под влиянием оторванности от центра заняли такую позицию: входить на равных началах во все большевистские учреждения невоенного характера и тем самым получать там большинство — так называемое «взрывание изнутри».

III

Недели через две после моего избрания положение Думы стало настолько двусмысленным, что надо было решаться на какие-либо экстренные меры. Надо было выбирать — или испытать чашу унижения до конца и влачить

свое существование до тех пор, пока его будут терпеть большевики, или вступить с ними в решительную борьбу, не останавливаясь перед возможными жертвами и будучи не уверенными в конечном поражении, или, наконец, сделать красивый жест и сложить с себя полномочия.

У Думы хватило мужества отказаться от первого решения. Для второго не было достаточно сил, и по существу, гласные не представляли из себя однородную массу, без чего вопрос о борьбе сам по себе отпадал. Остановились на третьем решении. Дума вынесла постановление, что, ввиду создавшегося положения, ввиду засилья большевиков, она считает ниже своего достоинства продолжение своего существования и на этом основании все гласные слагают с себя полномочия, передав их управе. Основной задачей, завещаемой Думой управе, является защита материальных и культурных ценностей, находящихся во владении города, и налаживаний мало-мальски возможных нормальных условий жизни граждан.

Причин такому решению было много: и стремление оградить Думу, как учреждение демократическое, от насилия советской власти, и желание выйти из двусмысленного положения при помощи красивого жеста, и полное отсутствие веры в свои силы, и, наконец, личный страх многих граждан оказаться чрезмерно одиозными перед большевиками.

Как бы то ни было, решение было принято единогласно. Управа не протестовала. Отчасти разношерстный состав гласных не давал нам необходимой поддержки, а отчасти, пожалуй, и на самом деле было легче исполнять думскую программу в небольшом управском составе. Мы были гибче и подвижнее. Мы могли решать каждое конкретное дело, не прибегая к шумным и вызывающим резолюциям.

Обычная управская работа постепенно совершенно исчезала. Всегда полные коридоры Думы пустели. Жизнь пробивала себе иное русло. Наши ежедневные управские заседания носили довольно нелепый характер. Сотни дел прошли в них. И вынося резолюции по этим делам, мы великолепно понимали, что, по существу, все этими резолюциями и ограничится. Потому что исполнительный аппарат ускользал из наших рук.

Сначала это положение заставило меня задуматься о целесообразности моего пребывания на посту городского головы. Я было хотела уйти. Но потом количество дел иного порядка, необходимость противопоставить советской власти хоть что-нибудь, и определенная потребность у граждан иметь в лице управы хоть какую-нибудь защиту, заставила меня остаться.

Прежде чем говорить о конкретной работе, которую приходилось вести, я хотела бы указать на одно чрезвычайно любопытное явление, отмеченное тогда многими.

Мое положение было достаточно прочным, и я могла многого добиваться, главным образом потому, что я женщина. Объяснить это можно различно. На мой взгляд, объясняется это тем, что большевистски настроенная масса в самом факте существования городской головы — женщины видела такую явную революционность, такое сильное отречение от привычек старого режима, что как бы до известной степени самим фактом этим покрывались, с большевистской точки зрения, контрреволюционные мои выступления. Я была, так сказать, порождением революции, — и потому со мной надо было считаться.

С другой стороны, мне прощалось многое, что большевики не простили бы ни одному мужчине. Между нами шла известная конкуренция. Если я открыто заявляла, что считаю известное постановление Совета глупым, и доказывала, что я права, им было обидно, что женщина оказалась дальновиднее их, и в этой плоскости шла вся борьба.

И наконец, третьим элементом в их отношении ко мне была просто уверенность, что я достаточно смела. Не берусь утверждать, что на самом деле это так, но фактически это могло так казаться благодаря тому, что только таким образом можно было работать. Если я в результате какого-нибудь спора с Советом чувствовала, что дело идет к моему аресту, я заявляла: «Я добьюсь, что вы меня арестуете». На что горячий и романтический Протапов кричал: «Никогда. Это означало бы, что мы вас боимся».

Чтобы дать представление о моей работе того времени, я ограничусь перечислением дел, в которых приходилось принимать участие. Многие из них полны подлинного трагизма, но большинство давало материал для анекдотов. Ни о каком плане в работе, разумеется, не могло быть и речи. Приходилось отвечать только на потребность каждого дня.

Самым анекдотическим случаем была история с союзом жен запасных. Он насчитывал до трех тысяч человек. Женщины в огромном большинстве были настроены большевистски. Они вообще имели бы большое значение в жизни города, если бы поддавались хоть в какой-нибудь степени организации.

Помню их первое, еще до большевиков, собрание, на которое первоначально не допускались ни мужчины, ни женщины — жены запасных. Но после двух часов бесплодного крика по поводу выборов президиума пришлось это строгое правило отменить. В качестве варягов были

приглашены я — председательствовать и учитель И. К. — секретарствовать. Помню, что обращались ко мне «мадам председательша» и результаты собрания были все же сумбурные. Эти самые жены запасных получали в начале каждого месяца известное пособие в управе. Сумма пособия по сравнению с растущей дороговизной была ничтожна и колебалась в зависимости от количества членов семьи. Получали по 22 р. 50 к., по 57 р. 25 к. и т. д. А в казначействе, захваченном уже большевиками, мелких денег почти не было, и на все мои требования они выдавали тысячерублевые билеты.

Однажды дело с разменой этих билетов приняло такой оборот, что я не на шутку испугалась разгрома всего управского здания. Женщины требовали мелочи и грозили расправой.

Мне пришла в голову мысль использовать их настроение, чтобы получить мелочь из казначейства. Я вышла к ним и предложила им строиться по десяти в ряд, чтобы идти в в[оенно]-р[еволюционный] комитет с требованием мелочи. Моя грандиозная армия только что начала выстраиваться, когда за мной прибежал служащий звать к телефону. В[оенно]-р[еволюционный] комитет, оказывается, узнал уже о «мобилизации» женщин и просит в срочном порядке распустить их, а кассира прислать в казначейство за мелочью. Таким образом, я победила и, кроме того, убедилась, что есть способы довольно верные, чтобы проводить свою линию.

Перед своим роспуском Дума рассматривала проект раздачи большого количества земли на окраинах по дешевой цене для постройки на них домов. Анапа, благодаря своей курортной известности, росла быстро. Планы мещан скупались дачниками, а местные жители оказывались бездомными. С возвращением с фронта большого количества солдат вопрос о квартирах встал очень остро, и Дума решила с торгов распродать часть городской земли.

Но митинг, организованный Советом, к сожалению, нас предупредил. Он вынес резолюцию о необходимости немедленно приступить к землемерным работам и к немедленной раздаче участков в 150 квадратных сажений всем, кто не имеет еще в городе плана. В первую очередь бумажки с номерами участков должны тянуть фронтовики, потом все бездомные. Плата за участок — 25 рублей, столько, сколько стоит землемерная работа. Дума должна [была] санкционировать это решение, потому что если что и изменится в будущем, — участок должен быть законно приобретенным. Продавать его нельзя, незастро-

енные в течение десяти лет участки отходят опять к городу. Кажется, это и все правила.

Дума восстала. Во-первых, она считала, что 150 квадратных саженей слишком мало для одного плана и что таким образом мы застроим площадь, почти равную всему городу, совершенно малоценными постройками. Анапе же принадлежит известная будущность как курорту, и потому о ее благоустройстве надлежит особенно заботиться. Дума предлагала делать в отведенных местах широкие улицы, большие площади для садов, более обширные планы для школ, сами участки увеличить, сразу же приступить к мощению улиц и к проведению электричества, что займет безработных, вернувшихся с фронта, а для проведения этих работ взимать за каждый участок не по 25 рублей, а по разверстке — что будет стоить проведение всех этих начинаний. Гласный С. размечтался даже о городе-саде. Но митинг заявил, что широкие улицы, площади и большие планы слишком удалят крайние участки от города, всяческие удобства являются буржуазным предрассудком и что гражданам совершенно достаточно 150 саженей. Если Дума не согласна с этим постановлением, — пусть пеняет на себя. Дума подчинилась. Этот инцидент был, пожалуй, решающим в вопросе ее самоликвидации. Уж очень все нелепо получалось.

Надо сказать, что анекдоты выходили не всегда по инициативе большевиков. В Анапе, как в тихом городе, далеко от всяческих центров, скопилось очень много беженцев с севера. Сначала они получали откуда-то деньги, потом стали проедать свои вещи, наконец вещей не осталось. Приходилось приниматься за работу. Интеллигентного труда не было. В управе лежали десятки прошений на должность учителя. Приходили ко мне ежедневно целыми толпами в поисках заработка. Наконец, организовали «Союз трудовой интеллигенции». Представители союза пришли ко мне. Они просили участок городской огородной земли на песках, — я обещала. Они просили также всяческих сельскохозяйственных орудий и лошадей, — я и на это согласилась. Просили еще картошки и других семенных материалов, — и на это согласилась. Тогда обратились с самой неожиданной просьбой, — им нужны деньги, чтобы оплачивать поденных рабочих, так как большинство их работать не может. Эту просьбу я, конечно, удовлетворить не могла. Дело рассыпалось. И только потом союз выделил артель чернорабочих, поденно ходивших перекапывать виноградники. Я видала их на работе. Впереди всегда шел нотариус из Николаева, потом наши местные привычные девчата, и далеко сзади артель. Помню, что я обратила внимание на то, что во время

работ[ы] у девочек из-за виноградных кустов совершенно не видно лопат, а у интеллигентов все время ручки лопат над кустами. Оказывается, девочки суют в землю лопату наклонно, мелко копают, и каждый раз переворачивают значительное пространство земли, подвигаясь вперед более чем на четверть аршина. Интеллигенты же суют лопату перпендикулярно к поверхности, входит она у них глубоко, но поэтому они [с] каждым ударом подвигаются не более чем на один-два вершка.

Эта приезжая масса страдала невероятным паникерством. Помню, устраивали мы в пользу нашей партийной группы лекцию профессора Сеницына. В день лекции прибежал сначала ко мне, а потом и к Сеницыну один присяжный поверенный беженец с предупреждением, что ему достоверно известно, что лекция будет сорвана, а устроители и лектор арестованы.

Я сначала не поверила ему. Но потом с теми же вестями примчались две дамы. Наученная уже опытом, что с большевиками надо действовать напрямик, и кроме того сильно разозленная, я пошла в в[оенно]-р[еволюционный] комитет. Там было только несколько солдат, его членов. Не давая возражать себе, я накинулась на одного из них. Я возмущалась тем, что при полном отсутствии у нас культурных развлечений такое полезное начинание, как популярная лекция, встречает к себе дикое отношение большевиков.

В ответ на мою длинную речь смущенный солдат заявил, что они действительно виноваты — до сих пор не взяли билета, — но они думали, что это можно сделать при входе, а пойти собираются все. На этот раз я была посрамлена.

Вообще все мои столкновения с интеллигентным беженством создали уверенность, что среди них крепких людей искать не приходится.

В стремлении оградить нормальную жизнь граждан я наткнулась на то, что в поисках всяческой контрреволюции большевики очень часто тревожили учителей, арестовывали их на несколько дней и тем самым останавливали занятия в школах. В подвале одного училища нашли патроны, в библиотечном шкафу другого училища — глупейшую прокламацию. Надо было как-нибудь прекратить эти поиски и дать возможность детям учиться. Я созвала учительский союз, выяснила ему обстановку и мои задачи и предложила им комбинацию, по которой они воздержатся от лишнего фрондерства, а я перед лицом большевиков беру всю ответственность за их благонадежность на себя. Собственно, по существу я не рисковала, потому что основным настроением нашего учительства в данный мо-

мент была обывательская трусость. А с другой стороны, мой жест произвел на большевиков определенное впечатление. Фраза и жест вообще были у них наивысшими добродетелями.

Но все же некоторые осложнения мне пришлось ликвидировать довольно трудно. Помню одно из них. Ко мне в кабинет пришла учительница с просьбой помочь ей. Муж ее, тоже учитель, встретил на улице двух незнакомых матросов. Разговорились. Они назвали себя делегатами черноморского украинского флота. Тогда у нас была сильно распространена легенда о грядущем украинском десанте. Учитель, как на беду, оказался ярым украинцем. Распоясавшись, наговорил им с три короба о наших надеждах на освобождение при помощи украинского флота. Выслушав все его речи, матросы заявили, что пойдут доносить на него в в[оенно]-р[еволюционный] комитет.

С этим делом пришлось повозиться основательно, доказывая комитету, что, во-первых, никакого украинского флота не существует, а во-вторых, сами эти делегаты лица достаточно недостоверные.

В этот приблизительно срок начал у нас действовать военно-революционный трибунал. Как я уже говорила, идея взрывания власти изнутри была у нас широко развита. На этом основании трибунал сорганизовался из представителей всех партий, по два человека от каждой. Такой состав обескровил его с самого начала, и действительно, ни одного судебного процесса он не довел до конца, так как суд не мог сговориться. Только по одному делу вынесли общественное порицание и арест на один день. Причем ночью в каталажку (тюрьмы у нас не было) члены трибунала принесли арестованному собственные простыни и подушку.

В этот же период случилось событие, которое потом чуть не кончилось для меня катастрофически.

Митинг постановил реквизировать санатории бывшего городского головы доктора Будзинского. Началось там нечто невообразимое. Тогда более благоразумные из граждан предложили передать заведование санаториями управе, имеющей для этого дела готовый аппарат. Я колебалась. В реквизиции я, конечно, ни за что не стала бы принимать участия, ни лично, ни от имени управы, которая на это не имела права. Но нас поставили перед совершившимся фактом. С одной стороны, принять имущество в свое ведение напоминало сохранение заведомо краденой вещи, а с другой, — общее положение об охране культурных ценностей, находящихся в городе, диктовало необходимость взять и это дело в свои руки, чтобы не дать возможности разграбить ценное медицинское имуще-

ство санатории. И хотя за отказ от этого дела говорило, кроме всего, и то, что при ликвидации большевиков доктор Будзинский не постесняется обвинить меня в чем угодно, я согласилась от имени управы временно вступить в заведование санаторией. Мы назначили туда врача и сестер милосердия, по описи приняли все имущество и установили минимальный порядок в пользовании им. Несколько меня подбодрила обращенная ко мне просьба аптекаря Н. принять также в ведение города и аптеку, потому что в противном случае она может быть разгромлена по постановлению какого-нибудь митинга. До сих пор не знаю, как бы я поступила теперь в подобном случае. Думаю, что правильно понятое гражданское мужество и точное следование своей программе защиты культурных ценностей подсказали бы мне опять то же решение.

Еще один характерный случай. В городе на электрической станции кончилась нефть. Я решила поехать в Новороссийск и попытаться раздобыть там нефти. Одновременно со мной выехал солдат Литовкин, председатель продовольственной управы, занимавшей какое-то среднее место между нами и Советом.

В Новороссийске местные власти согласились нам отпустить нефть только в обмен на пшеницу, но условия обмена были совершенно безбожные. Я запротестовала. Литовкин сначала тоже не соглашался, потом вдруг хитро мне подмигнул и стал уступчивее. Я продолжала протестовать. Тогда он вытащил свои советские полномочия, заявил, что я являюсь представителем старого режима, и предложил писать договор. Сначала он по поводу каждого слова начинал спорить, потом стал поглядывать на часы, потом попросил распорядиться заранее выдать ордера на нефть, так как нам надо спешить на поезд, а десятский ждет.

Ордера были выданы. Десятский отправился получать нефть. Условия были подписаны.

Тогда Литовкин сорвался, заторопил меня и заявил, что нам надо бежать на поезд — иначе мы опоздаем.

На улице я начала ругать его за уступчивость. Он заявил с хохотом: «Ведь условия-то не подписаны, нефть-то мы даром получили».

Трудным моментом в работе были взаимоотношения с отдельными служащими, которые в случае каких-либо недоразумений шли в в[оенно]-р[еволюционный] комитет и оттуда возвращались ко мне с приказаниями.

Существовал закон, по которому все мобилизованные и замененные другими служащими по возвращении имели право получать свои старые места. В таком положении был городской садовник Иван, человек скромный

и знающий. Но за время его отсутствия его место было занято пьяницей и хулиганом, — имени не помню. Все мои попытки водворить Ивана на старую службу разбились о нежелание его заместителя уйти. Когда я решила прибегнуть к более серьезным мерам, этот человек обратился за защитой в комитет, и тот ультимативно потребовал от меня не увольнять его. А в частной беседе один из членов комитета говорил, что садовник занимался определенным доношением на меня и что вопрос об оставлении садовника стал для комитета вопросом принципиальным. Пришлось долго бороться, прежде чем развязать себе руки.

Этот же закон дал в результате одно из самых трагических событий этого периода. У управы был свой юрисконсульт, помощник присяжного поверенного Домонтович. Он был мобилизован и поступил в Московское юнкерское училище. Во время большевистского восстания бежал и оказался в Анапе.

Бывший городской голова назначил его начальником милиции. Когда с приходом большевиков положение Домонтовича пошатнулось, городской голова Морев просил его все же оставаться на своем посту и обещал ему полную поддержку и защиту. Авторитет Морева был настолько велик, что Домонтович не только уверовал в свою прочность, но и стал держать себя достаточно агрессивно.

Я видела, что вопрос в конце концов идет о жизни Домонтовича и у нас нет никаких сил, чтобы защитить его. Надо было не обострять этого дела. Управа решила его уволить. Он подчинился, но, во-первых, обиделся, во-вторых, попросил содержания за три месяца вперед. Служил же он месяца два.

С трудом удалось уговорить его в интересах личной его безопасности быть умереннее.

Но через несколько дней он опять явился в управу с требованием назначить его опять юрисконсультом, ссылаясь на тот же закон, что и садовник Иван. Юрисконсульт получал у нас вознаграждение из процентов от выигранных дел. В это время все судебные дела стояли. Материальной заинтересованности Домонтович в этом месте не имел. Но, видно, кто-то настраивал его на фрондерски боевой лад. Он с принципиальной точки зрения подходил к вопросу о своем назначении. Надо сказать, что был он далек от политики, веселый, выпивающий, прожигающий жизнь. Жажды геройства мы в нем раньше не замечали.

Я с ним имела долгий разговор наедине. Вместо назначения юрисконсультом предлагала немедленно скрыться, указывая на безопасное место у виноградарей, предлагала денег и подводу. Для него момент был в достаточной сте-

пени критическим, и я была в полной мере о том осведомлена, да и от него ничего не скрыла. Но он с непоколебимым упорством настаивал на своем.

Может быть, все и обошлось бы благополучно, если бы в это время не прибыла в Анапу делегация черноморского флота во главе с пьяным матросом Пирожковым.

Начались повальные обыски. Случайно я узнала о существовании проскрипционного списка, привезенного матросами. В нем предназначались к потоплению все наши бывшие городские головы, среди них и Будзинский, и Морев, потом Домонтович, и потом и другие лица.

Не только граждане, но и Совет были окончательно терроризированы.

Матросы потребовали с Совета контрибуцию в 20 тысяч рублей. Совет не хотел давать, но и отказывать не решался. Председатель Совета решил созвать митинг и тем самым перенести ответственность на безличную массу граждан.

Я пошла на этот митинг. До начала, похаживая между нашими стариками-мещанами, я установила, что давать ни у кого желания нет, но что никто об этом не заявит.

Когда пришли наконец матросы и президиум Совета, председатель доложил о требовании «красы и гордости революции». В зале царило молчание.

Я попросила себе слово. Когда я проходила к трибуне мимо председателя, он остановил меня и шепотом сказал: «Вы полегче. Это вам не мы, — не постесняются».

Но я твердо была уверена, что, при той опереточной активности, которой тогда были охвачены все большевики, есть способ наверняка с ними разговаривать.

Я подошла к кафедре и ударила кулаком по столу: «Я хозяин города, и ни копейки вы не получите».

В зале стало еще тише. Председатель Протапов опустил голову. А один из матросов заявил: «Ишь, баба».

Я опять стукнула кулаком: «Я вам не баба, а городской голова».

Тот же матрос уже несколько иным тоном заявил: «Ишь, амазонка».

Я чувствовала, что победа на моей стороне.

Тогда я предложила поставить мое предложение на голосование. Митинг почти единогласно согласился со мной. В контрибуции было отказано. Любопытно, что матросы хохотали.

Я считала, что успех мой кратковременный, и даже подумывала, не уехать ли мне на несколько дней на виноградники.

Но перед вечером пришли ко мне двое гласных. Они только что узнали о проскрипционном списке и решили

просить меня, ввиду утренней удачи, попытаться еще раз воздействовать на матросов.

Я чувствовала почти полную невозможность что-либо сделать, но была принуждена согласиться.

Вечером, после заседания Совета, я попросила товарища С. помочь мне, так как не хотела оставаться одна с матросами, и мы повели с ними беседу. Я не помню сейчас, что я говорила. Знаю, что среди шуток моих собеседников фигурировала часто «одна, но хорошая морская ванна». Знаю, что у меня были попытки тоже шутить. Я говорила, что когда придет Корнилов (а о нем у нас стали все чаще и чаще поговаривать), то не кто другой, как я буду их всех от виселиц отстаивать. Были и моменты серьезного разговора. Работала не голова, а перенапряженные нервы. Кончилось все же тем, что они дали мне формальное обещание никого из обозначенных в списке не трогать. Я вернулась домой совершенно разбитая.

А утром узнала, что матросы еще не уехали, но успели арестовать нескольких лиц, и среди них Домонтовича.

Двое из арестованных, видимо, просто в последнюю минуту откупились, Домонтович и учитель Рудский остались на катере.

Потом катер отчалил. Между Анапой и Новороссийском Домонтович и Рудский были потоплены. Тел их не удалось разыскать.

Это трагическое событие заставило меня сильно задуматься. Я решила бросить свою неблагодарную работу.

Кроме того, внешние события окончательно определяли наше положение.

IV

Весь наш юг начинал сильно волноваться развивающимся фронтом гражданской войны. В начале только глухо упоминалось имя Корнилова. Потом о нем забыли и стали говорить о борьбе с кубанским краевым правительством.

К началу марта [1918 года] разговор принял более конкретный характер. Правительство и Рада оставили Екатеринодар. Началась гражданская война.

Большевики шли на эту войну с легким сердцем, — подавляющее количество войск обеспечивало им, казалось, легкую победу.

Даже дошедшие до нас сведения о[б] объединении кубанцев с Корниловым не меняли картину. У них было, по большевистским данным, три тысячи бойцов при трех полевых орудиях, а у большевиков до семидесяти тысяч бойцов и более тридцати орудий.

Кроме того, и в смысле расположения сил преимущества были на стороне большевиков. Они все время пополнялись приходящими из Трапезунда в Новороссийск частями, с северо-востока пополнения шли к ним из Закавказья по железным дорогам, с севера центральная власть якобы тоже посылала подкрепления.

Несмотря на недоверие к большевистским источникам, у нас всех все же было чувство, что дело Корнилова обречено. Оставалось совершенно загадочным, на что рассчитывают вожди его. Единственным объяснением казалось, что людям все равно нечего терять и идут они в порыве мужества отчаяния.

Чуть ли не ежедневно приходили сведения, что Корнилов уже убит. Говорили о том, что кадры его, — помимо незначительного количества офицеров, — исключительно текинцы и горцы. Вылущить хоть крупицу истины из всего вздора, который приходилось слышать, было очень трудно. Единственное, что не подлежало сомнению, — это самый факт существования фронта гражданской войны.

У нас была произведена мобилизация. Шли довольно безразлично. Образовалась шестая рота, заслужившая потом довольно громкую известность. Кажется, под станицей Полтавской она была введена в бой. Не знаю, отчего, но вышла она из боя победительницей и скоро вернулась домой. Солдаты были нагружены награбленным добром. Тащили коров, навьюченных подушками и самоварами. Первая удача очень способствовала упрочению духа у наших мещан. Второй отряд был организован из добровольцев. Бабы гнали своих мужей воевать.

Двинулось на фронт к станице Афипской человек сто пятьдесят. Дня через четыре вернулись. Было около восьмидесяти человек раненых. Добычи не везли. Раненых разместили в санатории.

Утверждаю, что среди них был самый незначительный процент большевистски настроенных людей. Общая масса поддавалась какому-то гипнозу, что вот настало время, когда все можно, когда грабить и убивать позволительно, когда все вообще расхлесталось. И шли на грабеж и убийство с какой-то непонятной наивностью и невинностью. В сущности, моральным оправданием до известной степени им было то, что большевики вели их, как стадо баранов на убой. В ротах было очень мало солдат — основного большевистского кадра. Они предпочитали оставаться в Анапе, оберегать город от местных контрреволюционеров.

А наши мобилизованные мещане рассказывали такие чудеса, что у меня впервые мелькнула мысль о том, что дело Корнилова далеко не безнадежно.

Один контуженный рассказывал, как его огромный снаряд прямо в спину ударил, — до сих пор болит отчаянно.

Другой повествовал, как где-то в камышах они окружили Корнилова — со всех сторон. С вечера навели в середину кольца всю артиллерию и начали палить, палили до утра в полной уверенности, что все, находящиеся в кольце, уже убиты. Утром кинулись в атаку, а в кольце никого не оказалось, — Корнилов успел незаметно прорваться.

Была я в эти дни однажды в городской школе. На перемене прислушалась к разговору детей. Один повествовал: «У кадетів діти білі, білі. Наші їх як капусту порубали».

Видимо, неудача второго отряда заставила главарей задуматься. Решили мобилизовать офицеров. Ко мне в управу пришел брат офицер и встретился с председателем Совета Протаповым, который ему с усмешкой заявил, что вот, мол, решено заставить офицеров советскую власть защищать.

Мой брат спокойно заявил, что он не пойдет.

Протапов закипятился и стал грозить расстрелом.

Брат сказал: «Уж это ваше дело. Меня не касается».

Видимо, Протапов поверил в его твердость и вместе с тем не хотел быть принужденным расстреливать. Когда во время регистрации он по алфавитному порядку дошел до фамилии моего брата, то остановился и сказал: «Нет. Впрочем, достаточно. Остальные свободны».

Все происходящее тупило нервы, приводило в какое-то странное состояние. Терпеть становилось невыносимо. Теперь, пожалуй, ясно, что вся моя программа охраны культурных и материальных ценностей города была не под силу одному человеку. Но тогда при всякой моей попытке бросить дело являлись различные люди — учителя, врачи, беженцы-интеллигенты — и просили меня остаться до конца. Собственно, они переоценивали мое значение и мои силы, но, видно, была потребность иметь между собой и властью хоть какой-нибудь буфер, рассчитывать хоть на какую-нибудь защиту.

Наконец этому был положен предел. В середине апреля [1918 года] Совет постановил упразднить управу, а членов ее сделать комиссарами, — таким образом, я должна была стать комиссаром по народному здравью и народному образованию.

Узнав о своем высоком назначении, я отправилась в Совет Народных Комиссаров и на заседании заявила, что мои политические убеждения не позволяют мне быть большевистским комиссаром и что на этом основании я прошу считать меня выбывшей.

К моему удивлению, не кто другой, как мой бывший партийный товарищ Инджебели заявил, что мой способ действия называется саботажем, и на этом основании он предлагает совету отставки мне не давать и силком заставить работать.

Я повторила, что работать не буду.

Выходя из заседания (оно происходило в думском помещении), я встретила сына бывшего городского головы Будзинского. Он просил меня ввиду тяжелого материального положения их семьи помочь его отцу в следующем деле. Доктор Будзинский в свое время купил дачный участок у города, но сделка до сих пор не была оформлена. В данный момент он имеет возможность неофициально продать этот участок — 400 квадратных саженей за 15 тысяч, для чего необходимо у нотариуса оформить сделку с городом. А для этого необходима подпись городского головы. И доктор Будзинский прислал своего сына просить меня об этой подписи.

Я спросила его, знает ли он, что управа упразднена и чем я рискую, давая подпись по должности, которая фактически не существует. Он ответил, что знает это и что вообще просит дать подпись задним числом.

В конце концов, это входило в мою программу. Я согласилась.

Чтобы отойти от дел, я уехала на несколько дней в Сад. Вернувшись дня через три, чтобы взять в моем управском столе кое-какие бумаги, в Управе на лестнице я встретила Протапова.

Он заявил мне, что за время моего отсутствия пришло на мое имя письмо из Новороссийска. Он его распечатал и узнал, что это приглашение на эсеровскую губернскую конференцию. На этом основании им уже выдано распоряжение меня из города не выпускать. Глумение началось самое явное.

Вместе с Протаповым я вошла в бывший кабинет городского головы. Там оказался какой-то мне незнакомый человек. Протапов познакомил нас, назвав его новороссийским комиссаром труда Худаниным, а меня комиссаром просвещения. Таким образом, в глазах Худанина я смело могла сойти за большевичку.

Протапов вышел.

Я спросила Худанина, когда он едет обратно в Новороссийск. Оказалось, что через полчаса и на своем комиссарском автомобиле. Я попросила его взять меня с собой. Он согласился.

Провожать знатного гостя вышло все начальство, то есть все те, кому было дано распоряжение меня не вы-

пускать. Протапов, видимо, не подозревал о моем намерении и спокойно разговаривал с Худаниным.

В последний момент, когда Худанин уже сидел в машине, я вскочила на подножку и на глазах у всех моих сторожей уехала. Впечатление у них было сильное, но, видимо, не хотели подымать истории перед знатным гостем.

На следующий день в Новороссийске, разыскав нужных мне людей и попав на конференцию, я рассказала всю историю своего путешествия. Видимо, в Новороссийске дело было серьезнее и большевистская власть не носила того опереточного характера, как у нас.

На конференции я была избрана делегатом на 8-й совет партии.

Но до поездки в Москву я решила еще заехать домой.

V

От железнодорожной станции до Анапы — тридцать верст — пришлось ехать со случайным попутчиком, начальником местного гарнизона Волкорезом.

Это, между прочим, одна из любопытнейших фигур большевизма в провинции.

Человек малограмотный, но с железной волей и энергией, он принял большевизм как некое откровение. После двухчасового совместного путешествия я уже имела возможность точно знать, что он принадлежит к тем искренним, судьба которых — сначала разочароваться, а потом погибнуть.

И несмотря на всю враждебность мою не только к большевизму, но и к большевикам, при встрече с такими людьми я чувствовала только жалость.

Приехали в Анапу вечером. Добираться на виноградники было поздно, и я решила переночевать в санатории у моей приятельницы, сестры Т. У нее в комнате мы засились долго.

Часов в одиннадцать ночи в городе раздался взрыв, а потом частая трескотня револьверов. Кто-то вошел и заявил, что это начался обстрел знаменитым украинским флотом.

Вскоре сестру вызвали к телефону. Оттуда она пришла бледная и подавленная. Просили, оказывается, прислать санитаря с носилками. Протапов ранен, а с ним и два брата, гимназисты Разумихины.

Я вышла позднее других. Улица была безлюдна. В одном только месте встретила двух солдат. Не узнала их, но инстинктивно вынула свой револьвер. Один из солдат сделал то же самое, и мы встретились так в упор, а потом еще долго шли пятясь, с наведенными револьверами.



Александр Блок. 1914



Александр Блок на демонстрации в дни февральской революции. Петроград. Март 1917 года

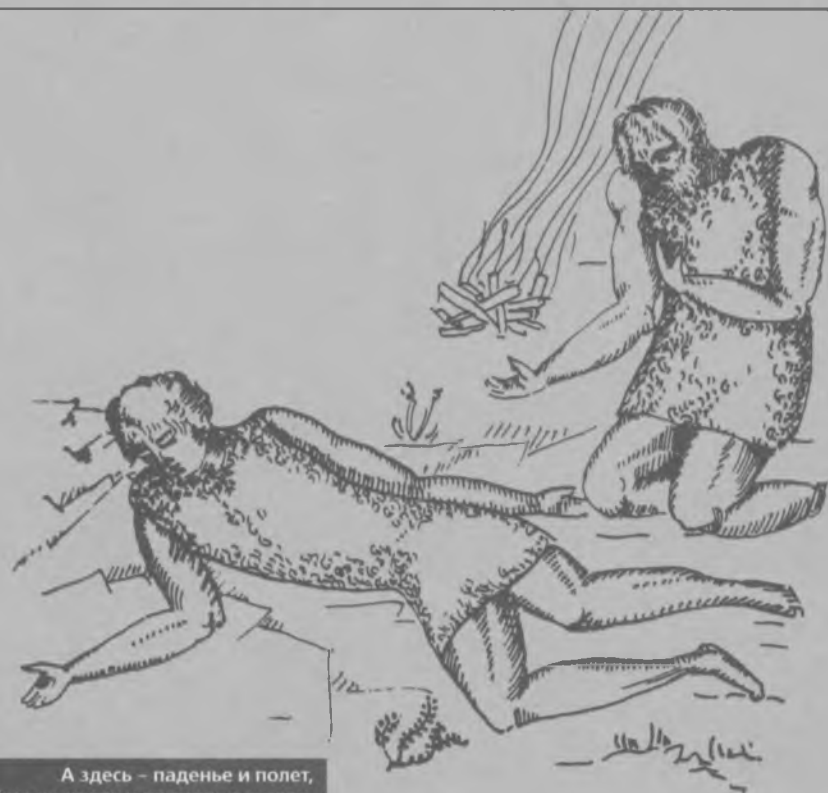


В Петрограде. Май 1917 года





Там было молоко и мед,
И соки винные в точилах.



А здесь – паденье и полет,
Снег на полях и пламень в жилах.



Вдруг свет упал, и видны все ступени
От комнаты, где стол, плита, кровать,



Где только что развернута тетрадь, —
Куда-то вдаль, где облачные тени,
И вдаль еще, где блещет благодать.



На Литейном проспекте. Петроград. Начало 1916 года.





Ю. Анненков. Александр Блок на смертном одре.
Петроград. 8 августа 1921 года



М. Добужинский. Двор Дома искусств.
Петроград. 1920

В доме, где лежали раненые, была страшная суеда. У раненых были совершенно зеленые лица, — очевидно, таков был состав взрывчатого вещества в брошенной бомбе. С трудом удалось перенести их в санаторию.

Был вызван врач для извлечения пуль. В то время как он производил операцию, ворвалась шайка солдат со штыками наперевес. Все мы были в таком нервном состоянии, что я с доктором начала за штыки их выпихивать.

Протапов умер через полчаса, не приходя в сознание. Один гимназист умер на рассвете. Другого надеялись спасти.

Это была самая дикая и страшная ночь за все время. В санаторию врывались ежеминутно пьяные солдаты, кто-то истерически плакал, доктор и медицинский персонал метались в панике.

К утру начали готовиться к торжественному перенесению тел в залу. Меня отозвал один солдат Степанов, очень близкий к Протапову, и сообщил совершенно невероятную вещь.

Оказывается, за мое отсутствие Протапов арестовал троих солдат, причастных к грабежам, имевшим место за последнее время. А так как центром грабительской организации был в[оенно]-р[еволюционный] комитет и члены его испугались, как бы и до них очередь не дошла, то они и решили убить Протапова. Во время боя он, оказывается, выпустил все заряды из своего парабеллума, но только ранил одного человека.

Теперь идет вопрос о виновниках убийства. Есть две версии, поддерживаемые военно-рев[олюционным] комитетом, то есть фактическими убийцами. По одной — в убийстве виноваты ранее арестованные три человека, что хотя фактически и немыслимо, зато дает возможность главарям сразу избавиться от опасных свидетелей.

Другая версия — увы, поддерживаемая главным образом Инджебели, — обвиняла в убийстве контрреволюционеров, — то ли в лице буржуазии, то ли в лице разогнанной управы, то ли в лице меньшевиков и эсеров.

Но так как фактически все три названные группы были достаточно пассивны, то они были персонифицированы мною. Инджебели выдвигал версию, что я являюсь если не исполнителем, то организатором убийства.

Нужды нет, что я приехала из Новороссийска за полчаса до убийства, нужды нет, что у меня с Протаповым были хорошие личные отношения.

После этих предупреждений Степанов скрылся. Я прошла в зал, где стояли два гроба с целой стеной красных знамен над ними.

В ту минуту я не знала, на что решиться.

Вечером на заседании Совета обсуждалась кандидатура Инджебели на пост председателя. Он разворачивался всюду.

Профессор Синицын, как человек, бывший со мной в приятельских отношениях, был арестован первым. Сидел он в одной камере с мнимыми убийцами, и допрашивали его, наведя на него пулемет.

Был создан митинг, вынесший авторитетное суждение по вопросу, кого считать убийцами. Он приговорил арестованных грабителей к расстрелу. Тела их валялись долго на площади перед управой. Но эта смерть прошла незаметно: в те дни никого ничем нельзя было удивить.

Мне же [в городе] делать было больше нечего. Полулегально я выехала в конце апреля.

VI

Полгода, проведенных мною в Москве, и та работа, в которой пришлось принимать участие, не входят в план этих воспоминаний.

Для того лишь, чтобы было понятно дальнейшее, я должна сказать, что, возвращаясь из Москвы домой в октябре 1918 года, мне казалось, что ни у кого не может быть сомнения в активной антибольшевистской работе той организации, членом которой я состояла. Я ни минуты не предполагала, что за добровольческим фронтом мне грозит какая-нибудь опасность, и, устав за полгода шатания по всей России, полгода риска и конспирации, сильно подумывала об отдыхе в своей тихой Анапе.

Но все то, что определяло мою антибольшевистскую работу в Советской России, по эту сторону фронта оказалось почти большевизмом и, во всяком случае с точки зрения добровольцев, чем-то преступным и подозрительным.

VII

В Екатеринодаре люди, знающие обстановку, советовали мне запросить сначала своих, а потом уже ехать.

Большевики были изгнаны из Анапы пятнадцатого августа. Генерал Покровский, взяв Анапу, поставил сразу перед управой виселицу. Началась расправа с большевиками и вообще со всеми, на кого у кого-либо была охота доносить. Среди других доносительством занимался бывший городской голова доктор Будзинский. Из этого я могла, конечно, заранее сделать соответственный вывод для себя лично.

Казнили Инджебели. После вынесения приговора он, говорят, валялся в ногах у пьяного генерала Борисевича и

кричал: «Ваше превосходительство, я верный слуга его величества». Генерал отпихнул его сапогом.

Казнен был Мережко, за то, что был председателем Совета еще при Временном правительстве. Перед смертью он получил записку от жены: «Не смотри такими страшными глазами на смерть». Когда потом через несколько месяцев тела их откопали, в руке у Мережко нашли эту записку, залитую кровью. Жена его взяла ее и носила потом на груди.

Казнили начальника отряда прапорщика Ержа и помощника его Воронкова. Ерж не был большевиком и во время отступления решил перейти к добровольцам: в коляске он подъехал прямо к помещению городской стражи и был сразу арестован. Судили его и Воронкова вместе с эсером слесарем Мальковым. Говорить не дали и вынесли смертный приговор. Мальков только успел спросить, а как же его судьба. Тогда только пьяные судьи-офицеры заметили, что перед ними не один, а три преступника, и отпустили Малькова на свободу.

Казнили винодела Ж. Его вина заключилась в том, что он поступил на службу в реквизируемый большевиками подвал акционерного общества «Латипак».

Казнили солдата Михаила Ш., тоже за службу в этом подвале. Дополнительно его обвиняли в краже двухсот тысяч у «Латипака». Допытываясь, куда он девал эти деньги, избили его так, что он сошел с ума и сам разбил себе голову об угол печки. Везли его на казнь разбитого, лежащего плашмя на подводе, сумасшедшего и громко орущего песни.

Казнили матроса Редько. Он перед смертью говорил, что сам бросал офицеров в топки.

Арестное помещение при городской страже [было] полно.

Все эти новости произвели на меня удручающее впечатление.

Но с одной стороны, полугодовая работа против большевиков как будто обеспечивала меня от чрезмерных кар, а с другой, — податься было некуда, я просто устала.

Со станции позвонила домой. Брат долго не мог поверить, что это я с ним говорю. А потом только спросил: «Зачем ты приехала?»

Моя семья жила еще в саду, в шести верстах от Анапы. Общее настроение домашних было таково, что я решила не томить их ожиданием и на следующий день отправилась в город и прописалась в адресном столе, что по нашим нравам далеко не обязательно. Во всяком случае, я подчеркнула, что не скрываюсь, после этого зашла еще к сестре Т., которая служила в гарнизонном госпитале.

У нее познакомилась с начальником гарнизона полковником Ткачевым. После этого вернулась домой.

Вечером во дворе раздался какой-то шум. Брат вышел из комнаты и через минуту вызвал меня.

Оказывается, приехал взвод конных казаков, чтобы меня арестовать.

Было уже темно, и брат предложил мне использовать его офицерское право и отослать казаков с тем, что на следующее утро он сам доставит меня в каталажку.

Я чувствовала, в каком он неприятном положении, и решила ехать сейчас же.

Запрягли подводу. Вокруг скакали казаки с винтовками. Брат вызвался меня проводить. Мы с ним мало говорили. Перед городом он сказал мне только: «Если это кончится плохо, я с почтением своего Георгия и погоны отдам Де-никину».

Приехали ночью. В каталажке освещения не полагалось. Поместили меня в большой камере для вытрезвления пьяных. На нарах не было даже соломы, окно было разбито, и из него немилосердно дуло. Утром к этим подробностям прибавилась печка, угол у которой был весь в крови: тут, оказывается, бился сумасшедший Ш.

Во время умывания — мылись во дворе — познакомилась со всеми обитателями «дворца комиссаров». Священник С., некстати служивший панихиды и бывший уже без меня комиссаром по бракоразводным делам; комиссар финансов Егоров, чахоточный молодой человек, служивший писарем у податного инспектора; и старик какой-то, обвиненный в том, что для сигнализации большевикам спалил свой собственный хутор, а хутор стоял цел и невредим и не горел даже; а главное, все убийцы Протапова, все большевики уголовные, — они не расстреляны и не очень волнуются за свою судьбу.

На свидание ко мне пускали мать, брата и тетку, которая в это время вообще очень энергично защищала перед всяческими властями осужденных.

Однажды во время свидания мы услышали дикие крики из соседней камеры: пороли одного только что арестованного. Когда я узнала, кто он, то решила, что вообще его часы сочтены, так как для нас не было тайной, что он один из главных организаторов грабежей и убийц Протапова. Но оказалось, что порют его только за то, что он в пьяном виде на базаре обнял начальника контрразведки князя Трубецкого. Потом его скоро выпустили.

Мое дело было в ведении двух учреждений: военной контрразведки и следственной комиссии.

Начальник контрразведки с глазу на глаз в моей камере советовал мне уговорить мою мать продать ему по дешевой цене вино.

Председатель следственной комиссии был более умелым взяточником.

Брату моему он предложил внести десять тысяч как залог за меня. Но предлагал он это с глазу на глаз, а брат имел наивность принести деньги при свидетелях. Он заявил тогда, что ничего подобного он брату не предлагал. На допросах я выяснила, что главным свидетелем обвинения по моему делу является доктор Будзинский со своими служащими, с одной стороны, и члены правления общества «Латипак» — с другой, обвиняют, помимо факта моего невольного комиссарства, в том, что я была инициатором реквизиции санатории и подвалов «Латипак». Дело, по существу, дутое, но явно стремление Будзинского до суда продержать меня в каталажке.

Моя тетка сговаривалась с защитниками и ездила для этого в Екатеринодар.

Однажды она сообщила мне, что одна дама, очень близкий для Будзинского человек, просила ее пригласить защищать меня находящегося в Анапе московского присяжного поверенного Вознесенского. Он был гласным Московской думы от п[артии] с[оциалистов]-р[еволюционеров], при большевиках у нас держал себя двусмысленно и был близок с Будзинским.

От этого предложения я решила уклониться.

Мое дело не попало в ближайшую сессию чрезвычайного полевого суда. Суд приехал к нам из Темрюка. Накануне начала заседаний председатель суда пришел в каталажку. После нескольких вопросов, обращенных ко мне, он предложил мне озаботиться внесением трех тысяч залогом и обещал выпустить на свободу.

Брат отнес ему эти деньги, и вечером я была свободна, дав предварительно расписку о невыезде. Было поздно, и я не могла взять с собой матраса и других вещей, которыми обросла за полуторамесячное сидение. Вечером отмылась от грязи и вшей и на следующее утро должна была идти заканчивать каталажные дела.

Брат с утра уехал в сад. А я зашла в управу, где должен был происходить суд. Там застала подсудимого Саковича, спокойного, в сюртуке. Он был уверен в своем оправдании. Потом я прошла к знакомым.

Через час было там получено сведение, что Сакович приговорен к смертной казни. Мы все этому не поверили.

Я отправилась на извозчике в каталажку за матрасом. В кордегардию посторонних не пускали, но меня пустили, так как там лежали мои вещи. В углу я увидела Саковича.

Он был бледен, галстук съехал набок. Вокруг стояли казаки с винтовками. Я подошла к нему. Он начал быстро говорить: через двадцать четыре часа его расстреляют, — надо сказать жене, что он хочет есть и курить, главное курить... Я дала ему свои папиросы и побежала к его жене.

Там я застала полную растерянность. Жена была вне себя, одиннадцатилетняя дочь рыдала. Какие-то дамы не знали, что делать.

Я передала его просьбу и предложила немедленно отправить телеграмму Мореву, который был в Екатеринода-ре в качестве члена Рады. Сакович, как и Морев, были н[ародные] с[оциалисты].

Жена просила меня диктовать ей, так как она ничего не соображала.

Я продиктовала: «Муж приговорен к смертной казни»... В соседней комнате раздался страшный крик. Оказывается, она скрыла от дочери приговор и сказала, что отец приговорен к четырем годам тюрьмы.

Вернувшись домой, я распечатала записку, полученную моим братом от нашего большого друга. Брата звали в у-праву.

Мы с матерью решили пойти туда, так как брат был все еще на винограднике.

В управе была толпа, но тишина царила подавляющая. Когда я вошла в коридор, передо мной люди расступались и смотрели мне вслед как на обреченную.

Я разыскала нашего друга. Он отвел меня в сторону и стал говорить: «Зачем вы пришли сюда? Разве вы не понимаете, чем вы рискуете? Вы должны этой же ночью скрыться. Я вам помогу. Не будьте ребенком».

Я ничего не понимала.

Он стал уговаривать мою мать, чтобы она повлияла на меня.

Я просила рассказать, что ему известно. Оказывается, его заверили, что из контрразведки выданы три ордера на арест и заранее известно, что арестованные будут при попытке к бегству убиты. Один ордер на мое имя.

В тот сумасшедший день все это казалось очень вероятным.

Я только догадалась спросить его, кто ему это сказал. Оказывается, присяжный поверенный Вознесенский, Будзинский будто тоже знает и предупреждал.

Это меня успокоило, но все же вопрос не был разрешен.

Из суда я отправилась прямо к коменданту города, начальнику гарнизона полковнику Ткачеву.

Он меня принял. Я ему предложила арестовать меня немедленно, так как я не хочу теряться по дороге.

Он с удивлением смотрел на меня. Ему о моем аресте ничего не известно. Я же настаивала.

Тогда он вызвал князя Трубецкого, а меня отправил к сестре Т., живущей в том же помещении.

Через двадцать минут он пришел к нам и сообщил сведения из контрразведки: Трубецкой получил донос, что я собираюсь бежать, и принял уже меры, чтобы поймать меня на дороге.

«При этом, конечно, возможны всякие случаи», — добавил полковник Ткачев.

Таким образом, я чуть было не стала жертвой самой отчаянной провокации.

На следующий день суд уехал.

Я начала готовиться к своему процессу, списалась с защитником. Он в первую голову перенес мое дело в Екатеринодарский краевой суд. Там было больше законности и гарантий.

Часто являлись ко мне незнакомые люди, предлагали свои услуги в качестве свидетелей. Какие-то две неизвестные дамы случайно слышали мой спор с Инджебели по вопросу о борьбе с большевиками. Один офицер присутствовал при моем разговоре с аптекарем, один молодой человек, недавно пробравшийся из Москвы, случайно знал, чем я там занималась, и т. д.

Будзинский, в свою очередь, не останавливался на полпути. Он являлся к моим свидетелям, доказывал им, что я виновата, часто грозил. Таким путем ему удалось нескольких запугать.

Во всех этих приготовлениях очень трогательную роль играл бывший сослуживец моего отца, председатель какого-то окружного суда, живший в качестве беженца. Он чуть ли не ежедневно являлся к нам и устраивал репетицию суда. Он изображал всех: и председателя, и прокурора, и защитника — и всеми силами старался меня сбить, а я должна была защищаться. Он так и входил в комнату с возгласом: «Подсудимая, ваше имя, возраст...» и т. д.

Все это было и трогательно, и забавно.

VIII

Наконец настал день суда — 2 марта 1919 года. Пришлось предварительно основательно поспорить с защитниками: они, во-первых, настаивали, чтобы я не выступала иначе как по их просьбе. И кроме того, требовали, чтобы я не базировала своей защиты на принадлежности к п[артии] с[оциалисто]в-р[еволюционеро]в, так как этот факт сам по себе с точки зрения суда достаточно пре-

досудительный. В конце концов я настояла на своем. А они, да и другие адвокаты, предупреждали меня, что я должна быть готова минимум к четырехлетнему пребыванию в тюрьме. Судилась я по приказу номер 10, наказание по моей статье колебалось от смертной казни до трех рублей штрафа.

Перейду к самому процессу. Главным свидетелем обвинения был доктор Будзинский. Не стоит вспоминать всего, что он говорил. Самым характерным в его выступлении было предъявленное им письмо, полученное им в свое время от одного из служащих санаторий. Тот, мол, зашел на огонек на заседание Думы, происходившее под председательством городского головы такого-то (то есть под моим председательством). Она предложила реквизировать санатории, — под ее давлением Дума приняла это предложение.

Суд, видимо, счел это письмо веским показателем против меня, и защитники тоже зашептались. Они мне предложили самой выяснить, в чем тут дело.

Не входя в оценку обвинения по существу, я просила только судей обратить внимание на то, что такое письмо могло быть инспирировано человеком, хорошо знакомым с законом о старом самоуправлении и совершенно не знающим закона о демократических думах. Раньше городской голова был и председателем Думы, — именно такую практику знал Будзинский в период своего главинства. По новому же закону власть исполнительная не смешивается с властью законодательной, и на этом основании председательствовать на заседаниях Думы может любой гласный, — только не член управы и не городской голова. На этом основании совершенно бесспорно, что я председательствовать на заседаниях Думы не могла. Утверждение же обратного — не случайное недоразумение, а практика, слишком хорошо известная человеку, которому это письмо понадобилось. Этим разоблачением была сильно подорвана достоверность показаний Будзинского.

Показания свидетелей защиты были очень характерны, так как ярко рисовали ту панику, в которой находились при большевиках обыватели. Из-за этого общий тон показаний делал мою работу гораздо более героической и рискованной, чем она была на самом деле. Совершенно исчезал момент спорта и азарта, которым определялись все соприкосновения с тогдашними большевиками. Часто в известных мне фактах я все же не узнавала себя, до такой степени моя роль в них принимала гипертрофические размеры. Во всяком случае, приходилось скорее сдерживать свидетелей, чем развивать их показания.

Прокурор произнес довольно сдержанную речь, а о речах защиты не будем много говорить, потому что один из них дошел до того, что начал проводить параллель между ролью Канта в Кенигсберге под Наполеоном и моей ролью в Анапе под большевиками.

В последнем слове я просила суд обратить внимание на то, что, будучи членом партии с[оциалистов]-р[еволюционеров], я считаю для себя обязательными все партийные постановления. Среди них есть постановление об исключении из партии всех, принимающих активное участие в большевистском государственном строительстве.

Но для суда была, конечно, невероятной работа с[оциалистов]-р[еволюционеров] против коммунистов. Во всяком случае, точного приказа о привлечении к суду за принадлежность к партии с[оциалистов]-р[еволюционеров] у них тоже не было.

В результате суд признал меня виновной, но ввиду наличия смягчающих обстоятельств приговорил меня к двум неделям ареста при гауптвахте.

Потом я попала под амнистию.

Делом моим заинтересовались не только екатеринодарские газеты, но и в советской прессе оно имело отклик. В «Известиях» был отчет о моем процессе. Там моя антибольшевистская работа приняла размеры совершенно гипертрофические.

Тем, собственно, и кончился эпизод моего головинства.

Оглядываясь назад, я все же уверена, что была права, стремясь что-то противопоставить большевистскому натиску. Думаю, что по точному смыслу должности городского головы я должна была что-то сделать, — таков был мой гражданский долг. Думаю, что так я поступила бы, если бы и не было даже некоторых благоприятных обстоятельств в нашей обстановке.

Кроме того, в масштабе государства или большого города различная партийная принадлежность влечет за собой безусловную вражду и полное непонимание друг друга по человечеству. В масштабе же нашей маленькой Анапы ничто не может окончательно заслонить человека.

И стоя только на почве защиты человека, я могла рассчитывать найти нечто человеческое и у своих врагов.

А в революции — тем более в гражданской войне — самое страшное, что за лесом лозунгов и этикеток мы все разучаемся видеть деревья — отдельных людей.

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

(К пятнадцатилетию со дня смерти)

Тридцать лет тому назад, летом 1906 года, в моей жизни произошло событие, после которого я стала взрослым человеком. За плечами было только четырнадцать лет, но жизнь того времени быстро выросла нас. Мы пережили японскую войну и революцию, мы были поставлены перед необходимостью спешно разобраться в наших детских представлениях о мире и дать себе ответ, где мы и с кем мы. Впервые в сознание входило понятие о новом герое, имя которому — Народ. Единственно, что смущало и мучило, это необходимость дать ответ на самый важный вопрос: верю ли я в Бога? Есть ли Бог?

И вот, ответ пришел. Пришел с такой трагической неопровержимостью. Я даже и сейчас помню пейзаж этого ответа. Рассвет жаркого летнего дня. Ровное румяное небо. Черные узоры овальных листьев акации. Громкое чириканье воробьев. В комнате плач. Умер мой отец. И мысль простая в голове: «Эта смерть никому не нужна. Она несправедливость. Значит, нет справедливости. А если нет справедливости, то нет и справедливого Бога. Если же нет справедливого Бога, то значит и вообще Бога нет».

Никаких сомнений, никаких доводов против такого вывода. Бедный мир, в котором нет Бога, в котором царствует смерть, бедные люди, бедная я, вдруг ставшая взрослой, потому что узнала тайну взрослых, что Бога нет и что в мире есть горе, зло и несправедливость.

Так кончилось детство.

Осенью я впервые уехала надолго от Черного моря, от юга, солнца, ветра, свободы. Первая зима в Петербурге. Небольшая квартира в Басковом переулке. Гимназия. Утром начинаем учиться при электрическом свете, и на последних уроках тоже лампы горят. На улицах рыжий туман. Падает рыжий снег. Никогда, никогда нет солнца. Родные служат панихиды, ходят в трауре. В панихидах примиренность, а я мириться не хочу, да и не с кем мириться, потому что Его нет. Если можно было еще сомневаться и колебаться дома, то тут-то, в этом рыжем тумане, в этой осени проклятой, никаких сомнений нет. Крышка неба совсем надвинулась на этот город-гроб, а за ней — пустота.

Я ненавидела Петербург. Мне было трудно заставить себя учиться. Вместо гимназии я отправлялась бродить далеко через Петровский парк, на свалку, мимо голубиного стрельбища. Самая острая тоска за всю жизнь была имен-

но тогда. И душе хотелось подвига, гибели за всю неправду мира, чтобы не было этого рыжего тумана и бессмыслицы.

В классе моем увлекались Андреевым, Комиссаржевской, Метерлинком. Я мечтала встретить настоящих революционеров, которые готовы каждый день пожертвовать своей жизнью за народ. Мне случалось встречаться с какими-то маленькими партийными студентами, но они не жертвовали жизнью, а рассуждали о прибавочной стоимости, о капитале, об аграрном вопросе. Это сильно разочаровывало. Я не могла понять, отчего политическая экономия вещь более увлекательная, чем счета с базара, которые приносит моей матери кухарка Аннушка.

Белые ночи оказались еще более жестокими, чем черные дни. Я бродила часами, учиться было почти невозможно, писала стихи, места себе не находила. Смысла не было не только в моей жизни, во всем мире безнадежно утрачивался смысл. Осенью опять рыжий туман.

Родные решили выбить меня из колеи патетической тоски и веры в бессмыслицу.

Была у меня двоюродная сестра, много старше меня. Девушка положительная, веселая, умная. Она кончала медицинский институт, имела социал-демократические симпатии и совершенно не сочувствовала моим бредням. Я была для нее «декадентка». По доброте душевной она решила заняться мной. И заняться не в своем, а в моем собственном духе.

Однажды она повезла меня на литературный вечер какого-то захудалого реального училища, куда-то в Измайловские роты.

В каждой столице есть своя провинция, так вот и тут была своя измайловскоротная, реального училища провинция. В рекреационном зале много молодого народу. Читают стихи поэты-декаденты. Их довольно много. Один высокий, без подбородка, с огромным носом и с прямыми прядями длинных волос, в длинном сюртуке, читает весело и шепеляво, говорят — Городецкий. Другой — Дмитрий Цензор, лицо не запомнилось. Еще какие-то, не помню. И еще один. Очень прямой, немного надменный, голос медленный, усталый, металлический. Темно-медные волосы, лицо не современное, а будто со средневекового надгробного памятника, из камня высеченное, красивое и неподвижное. Читает стихи, очевидно новые, — «По вечерам, над ресторанами», «Незнакомка». И еще читает...

В моей душе — огромное внимание. Человек с таким далеким, безразличным, красивым лицом, это совсем не то, что другие. Передо мной что-то небывалое, головой выше всего, что я знаю, что-то отмеченное. В стихах

много тоски, безнадежности, много голосов страшного Петербурга, рыжий туман, городское удушье. Они не вне меня, они поют во мне, они как бы мои стихи. Я уже знаю, что он владеет тайной, около которой я брожу, с которой почти уже сталкивалась столько раз во время своих скитаний по островам.

Спрашиваю двоюродную сестру: «Посмотри в программе: кто это?»

Отвечает: «Александр Блок».

В классе мне достали книжечку. На первой странице картинка — молодой поэт вырывается на какие-то просторы. Стихи непонятные, но пронзительные, — от них никуда мне не уйти. «Убей меня, как я убил когда-то близких мне. Я все забыл, что я любил, я сердце вьюгам подарил...» Я не понимаю, но понимаю, что он знает мою тайну. Читаю все, что есть у этого молодого поэта. Дома окончательно выяснено: я — декадентка. Я действительно в небывалом мире. Сама пишу, пишу о тоске, о Петербурге, о подвиге, о народе, о гибели, еще о тоске и о восторге.

Наконец все прочитано, многое запомнилось наизусть, навсегда. Знаю, что он мог бы мне сказать почти заклинание, чтобы справиться с моей тоской. Надо с ним поговорить. Узнаю адрес: Галерная, 41, [кв. 4]. Иду. Дома не застала. Иду второй раз. Нету.

На третий день, заложив руки в карманы, распустив уши своей финской шапки, иду по Невскому. Не застаю, — дождусь. Опять дома нет. Ну, что ж, решено, буду ждать. Некоторые подробности квартиры удивляют. В маленькой комнате почему-то огромный портрет Менделеева. Что он, химик, что ли? В кабинете вещей немного, но всё большие вещи. Порядок образцовый. На письменном столе почти ничего не стоит.

Жду долго. Наконец звонок. Разговор в передней. Входит Блок. Он в черной широкой блузе с отложным воротником, совсем такой, как на известном портрете. Очень тихий, очень застенчивый.

Я не знаю, с чего начать. Он ждет, не спрашивает, зачем я пришла. Мне мучительно стыдно, кажется всего стыднее, что в конце концов я еще девчонка и он может принять меня не всерьез. Мне скоро будет пятнадцать лет, а он уже взрослый, — ему, наверное лет двадцать пять.

Наконец собираюсь с духом, говорю все сразу. Петербурга не люблю, рыжий туман ненавижу, не могу справиться с этой осенью, знаю, что в мире тоска, брожу по островам часами, и почти наверное знаю, что Бога нет. Все одним махом выкладываю. Он спрашивает, отчего

я именно к нему пришла. Говорю о его стихах, о том, как они просто в мою кровь вошли, о том, что мне кажется, что он у ключа тайны, прошу помочь.

Он внимателен, почтителен и серьезен, он все понимает, совсем не поучает и, кажется, не замечает, что я не взрослая.

Мы долго говорим. За окном уже темно. Вырисовываются окна других квартир. Он не зажигает света. Мне хорошо, я дома, хотя многого не могу понять. Я чувствую, что около меня большой человек, что он мучается больше, чем я, что ему еще тоскливее, что бессмыслица не убита, не уничтожена. Меня поражает его особая внимательность, какая-то нежная бережность. Мне большого человека ужасно жалко. Я начинаю его осторожно утешать, утешая и себя.

Странное чувство. Уходя с Галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюбленность. На сердце скорее материнская встревоженность и забота. А наряду с этим сердцу легко и радостно. Хорошо, когда в мире есть такая большая тоска, большая жизнь, большое внимание, большая, обнаженная, зрячая душа.

Через неделю получаю письмо, конверт необычайный, ярко-синий. Почерк твердый, не очень крупный, но широкий, щедрый, широко расставлены строчки. В письме есть стихи: «Когда вы стоите передо мной... Все же я смею думать, что вам только пятнадцать лет». Письмо говорит о том, что они — умирающие, что ему кажется, я еще не с ними, что я могу еще найти какой-то выход, в природе, в соприкосновении с народом. «Если не поздно, то бегите от нас, умирающих». Письмо из Ревеля, — уехал гостить к матери.

Не знаю отчего, я негоуюю. Бежать — хорошо же. Рву письмо, и синий конверт рву. Кончено. Убежала. Так и знайте, Александр Александрович, человек, все понимающий, понимающий, что значит бродить без цели по окраинам Петербурга и что значит видеть мир, в котором нет Бога.

Вы умираете, а я буду, буду бороться со смертью, со злом, и за вас буду бороться, потому что у меня к вам жалость, потому что вы вошли в сердце и не выйдете из него никогда.

* * *

Петербург меня победил, конечно. Тоска не так сильна. Годы прошли.

В 1910 году я вышла замуж. Мой муж из петербургской семьи, друг поэтов, декадент по самому своему существу, но социал-демократ, большевик. Семья профес-

сорская, в ней культ памяти Соловьева, милые житейские анекдоты о нем.

Ритм нашей жизни нелеп. Встаем около трех дня, ложимся на рассвете. Каждый вечер с мужем бываем в петербургском мире. Или у Вячеслава Иванова на «башне», куда нельзя приехать раньше двенадцати часов ночи, или в «цехе поэтов», или у Городецких и т. д.

Непередаваем этот воздух 1910 года. Думаю, не ошибусь, если скажу, что культурная, литературная, мыслящая Россия было совершенно готова к войне и революции. В этот период смешалось все. Апатия, уныние, упадочничество — и чаяние новых катастроф и сдвигов. Мы жили среди огромной страны словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоту, — в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура — цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую литературу своею, знали философию и богословие, поэзию и историю всего мира, в этом смысле были гражданами вселенной, хранителями великого культурного музея человечества. Это был Рим времен упадка. Мы не жили, мы созерцали все самое утонченное, что было в жизни, мы не боялись никаких слов, мы были в области духа циничны и нецеломудренны, в жизни вялы и бездейственны. В известном смысле мы были, конечно, революция до революции, — так глубоко, беспощадно и губительно перекапывалась почва старой традиции, такие смелые мосты бросались в будущее. И вместе с тем эта глубина и смелость сочетались с неизбывным тлением, с духом умирания, призрачности, эфемерности. Мы были последним актом трагедии — разрыва народа и интеллигенции. За нами простиралась всероссийская снежная пустыня, скованная страна, не знающая ни наших восторгов, ни наших мук, не заражающая нас своими восторгами и муками.

Помню одно из первых наших посещений «башни» Вячеслава Иванова. Вся Россия спит. Полночь. В столовой много народа. Наверное нет ни одного обывателя, человека вообще, так себе человека. Мы не успели еще со всеми поздороваться, а уже Мережковский кричит моему мужу:

— С кем вы — с Христом или с антихристом?

Спор продолжается. Я узнаю, что Христос и революция неразрывно связаны, что революция — это раскрытие третьего Завета. Слышу бесконечный поток последних, серьезнейших слов. Передо мной как бы духовная обнаженность, все наружу, все почти бесстыдно. Потом Кузмин поет под собственный аккомпанемент духовные стихи. Потом разговор о греческих трагедиях, об «орхе-

стре», о Дионисе, о православной Церкви. На рассвете подымаемся на крышу, это тоже в порядке времяпрепровождения на «башне». Внизу Таврический сад и купол Государственной думы. Сонный, серый город.

Утром приносят новый самовар, едят яичницу. Пора домой. По сонным улицам мелкой рысцей бежит извозчичья лошадь. На душе мутно. Какое-то пьянство без вина, пища, которая не насыщает. Опять тоска.

И странно, — вот все были за революцию, говорили самые ответственные слова. А мне еще больше, чем перед тем, обидно за нее. Ведь никто, никто за нее не умрет. Мало того, если узнают о том, что за нее умирают, как-то и это все расценят, одобряют или не одобряют, поймут в высшем смысле, прокричат всю ночь — до утренней яичницы — и совсем не поймут, что умирать за революцию это значит чувствовать настоящую веревку на шее, вот таким же серым и сонным утром навсегда уйти, физически, реально принять смерть. И жалко революционеров, потому что они умирают, а мы может только умно и возвышенно говорить о их смерти.

И еще мне жалко, — не Бога, нет, Его нету. Мне жалко Христа. Он тоже умирал, у Него был кровавый пот, Его заушали, а мы можем об этом громко говорить, нет у нас ни одного запретного слова. И если понятна Его смерть за разбойников, блудниц и мытарей, то непонятна — за нас, походя касающихся Его язв и не опаляющихся Его кровью.

Постепенно происходит деление. Христос, еще не признанный, становится своим. Черта деления все углубляется. Петербург, «башня» Вячеслава, культура даже, туман, город, реакция — одно. А другое — огромный, мудрый, молчаливый и целомудренный народ, умирающая революция, почему-то Блок, и еще, — еще Христос. Христос — это наше... Чье наше? Разве я там, где Он? Разве я не среди безответственных слов, которые начинают восприниматься как кощунство, как оскорбление, как смертельный яд? Надо бежать, освобождаться. Но это не так-то легко. Жизнь идет точною колеєю, по «башенным» сборищам, а потом по «цехам», по «Бродячим Собакам».

«Цех поэтов» только что создался. В нем было пошкольному серьезно, чуточку скучновато и манерно. Стихи были разные. Начинали входить в славу Гумилев и Ахматова. Он рыскал вне русской равнины, в чужих экзотических странах, она не выходила за порог душной, заставленной безделушками комнаты. Ни с ним, ни с ней не по пути.

А гроза приближалась. Россия — немая и мертвая. Петербург, оторванный от нее, — как бы оторванный от бе-

рега, безумным кораблем мчался в туманы и в гибель. Он умирал от отсутствия подлинности, от отсутствия возможности просто говорить, просто жить. Никакой вообще революции и никаких революционеров в природе не оказалось. Была только черная петербургская ночь. Удушье. Тоска не в ожидании рассвета, а тоска от убеждения, что никакого рассвета никогда больше не будет.

Таков фон, на котором происходят редкие встречи с Блоком. Вся их серия, — второй период нашего знакомства.

* * *

Первая встреча — в декабре 1910 года, на собрании, посвященном десятилетию со дня смерти Владимира Соловьева. Происходило оно в Тенишевском училище. Выступали Вячеслав Иванов, Мережковский, какие-то артистки, еще кто-то и Блок. На эстраде он был высокомерен, говорил о непонимании толпы, подчеркивал свое избранничество и одиночество. Сюртук застегнут, голова высоко поднята, лицо красиво, трагично и неподвижно.

В перерыве муж ушел курить. Скоро вернулся, чтобы звать меня знакомиться с Блоками, которых он хорошо знал. Я решительно отказалась. Он был удивлен, начал настаивать. Но я еще раз заявила, что знакомиться не хочу, — и он ушел. Я забилась в глубину своего ряда и успокоилась.

Вскоре муж вернулся, но не один, а с высокой, полной и, как мне сразу показалось, насмешливой дамой, — и с Блоком. Я не могла прятаться больше, — надо было знакомиться. Дама улыбалась. Блок протягивал руку.

Я сразу поняла, что он меня узнал. Действительно, он говорит:

— Мы с вами встречались.

Опять знакомая, понимающая улыбка. Он спрашивает, продолжаю ли я бродить, как справилась с Петербургом. Отвечаю невпопад. Любовь Дмитриевна приглашает нас обедать. Уславливаемся о дне. Слава Богу, разговор кончается. Возобновляется заседание.

Потом мы у их обедали. По его дневнику видно, что он ждал этого обеда с чувством тяжести. Я тоже. На мое счастье, там был еще кроме нас очень разговорчивый Аничков с женой. Говорили об Анатоле Франсе. После обеда он показывал мне снимки Нормандии и Бретани, где он был летом, говорил о Наугейме, связанном с особыми мистическими переживаниями, спрашивал о моем прежнем. Еще говорили о родных пейзажах, вне которых нельзя понять до конца человека. Я говорила, что мое — это зимнее бурное, почти черное море, песчаные перека-

ты высоких пустынных дюн, серебряно-сизый камыш и крики бакланов. Он рассказывал, что по семейным данным фамилия Блок немецкого происхождения, но попав в Голландию, он понял, что это ошибка, что его предки именно оттуда, — до того ему там все показалось родным и кровным. Потом говорили о детстве и о детской склонности к страшному и исключительному. Он рассказывал, как обдумывал в детстве пьесу. Герой должен был покончить с собой. И он никак не мог остановиться на способе самоубийства. Наконец решил: герой садится на лампу и сгорает. Я в ответ рассказывала о чудовище, существовавшем в моем детстве. Звали его Гумистерлап. Он по ночам вкатывался в мою комнату, круглый и мохнатый, и исчезал за занавеской окна.

Встретились мы как знакомые, как приличные люди, в приличном обществе. Не то что первый раз, когда я с улицы, из петербургского тумана, ворвалась к нему. Блок мог прийти к нам в гости, у нас была масса общих друзей, у которых мы тоже могли встретиться. Не хватало только какого-то одного и единственно нужного места. Я не могла непосредственно к нему обратиться, через и мимо всего, что у нас оказалось общим.

Так кончился 1910 год. Так прошли 11-й и 12-й. За это время мы встречались довольно часто, но всегда на людях.

На «башне» Блок бывал редко. Он там, как и везде впрочем, много молчал. Помню, как первый раз читала стихи Анна Ахматова. Вячеслав Иванов предложил устроить суд над ее стихами. Он хотел, чтобы Блок был прокурором, а он, Иванов, адвокатом. Блок отказался. Тогда он предложил Блоку защищать ее, он же будет обвинять. Блок опять отказался. Тогда уж об одном, кратко выраженном, мнении стал он просить Блока.

Блок покраснел — он удивительно умел краснеть от смущения, — серьезно посмотрел вокруг и сказал:

— Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом.

Все промолчали. Потом начал читать очередной поэт.

Помню Блока у нас, на квартире моей матери, на Малой Московской. Народу много. Мать показывает Любовь Дмитриевне старинные кружева, которых у нее была целая коллекция. Идет общий гул. За ужином речи. Я доказываю Блоку, что все хорошо, что все идет так, как надо. И чувствую, что от логики моих слов с каждой минутой растет и ширится какая-то только что еле зримая трещинка в моей собственной жизни. Помню еще, как мы в компании Пяста, Нарбута и Моравской в ресторане «Вена» выбирали короля поэтов. Об этом есть в воспоминаниях Пяста.

Этот период, не дав ничего существенного в наших отношениях, житейски сблизил нас, — скорее просто познакомил. То встреча у Аничковых, где подавали какой-то особенный салат из грецких орехов и омаров и где тогда же подавали приехавшего из Москвы Андрея Белого, только что женившегося. Его жена показывала, как она умеет делать мост, а Анна Ахматова в ответ на это как-то по-змеиному выворачивала руки.

И наконец, еще одна встреча. Тоже на людях. В случайную минуту, неожиданно для себя, говорю ему то, чего еще и себе не смела сказать:

— Александр Александрович, я решила уезжать отсюда: к земле хочу. Тут умирать надо, а я еще бороться буду.

Он серьезно, заговорщицки отвечает:

— Да, да, пора. Потом уж не сможете. Надо спешить.

Вскоре он заперся у себя. Это с ним часто бывало. Снимал телефонную трубку, писем не читал, никого к себе не принимал. Бродил только по окраинам. Некоторые говорили — пьет. Но мне казалось, что не пьет, а просто молчит, тоскует и ждет неизбежного. Было мучительно знать, что вот сейчас он у себя взаперти — и ничем помочь нельзя.

Я действительно решила бежать окончательно весной вместе с обычным отъездом из Петербурга. Не очень демонстративно, без громких слов и истерик, никого не обижая.

Куда бежать? Не в народ. Народ — было очень туманно. А к земле.

Сначала просто нормальное лето на юге. Но осенью вместе со всеми не возвращаюсь в Петербург. Осенью на Черном море огромные, свободные бури. На лиманах можно охотиться на уток. Компания у меня — штукатур Леонтий, слесарь Шлигельмильх, банщик Винтура. Скитаемся в высоких сапогах по плавням. Вечером по морскому берегу домой. В ушах вой ветра, свободно, легко. Петербург провалился. Долой культуру, долой рыжий туман, «башню», философию. Есть там только один заложник. Человек, символ страшного мира, точка приложения всей муки его, единственная правда о нем, а может быть, и единственное, мукой купленное, оправдание его — Александр Блок.

* * *

Осенью 13-го года по всяким семейным соображениям надо ехать на север, но в Петербург не хочу. Если уж это неизбежно, буду жить зимой в Москве, а ранней весной назад, к земле. Кстати, в Москве я никого почти не знаю, кроме кое-каких старых знакомых моей матери.

Первое время Москва действительно не отличается от южной жизни. В квартире, около Собачьей площадки, я одна. В моей жизни затишье, пересадка. Поезда надо ждать неопределенно долго. Жду.

Месяца через полтора после приезда случайно встречаю на улице первую петербургскую знакомую, Софью Исааковну Толстую. Она с мужем тоже переехала в Москву, живут близко от меня, на Зубовском бульваре. Зовет к себе. В первый же вечер все петербургское, отвергнутое, сразу нахлынуло. Правда, в каком-то ином, московском виде. Я сначала стойко держусь за свой принципиальный провинциализм, потом медленно начинаю сдавать. Вот и первая общая поездка к Вячеславу Иванову. Еду в боевом настроении. В конце концов все скажу, объявлю, что я враг, и все тут.

У него на Смоленском все тише и мельче, чем было на «башне», он сам изменился. Лунное не так заметно, а немецкий профессор стал виднее. Не так сияющ ореол волос, а медвежьих глазки будто острее. Народу, как всегда, много. Толкуют о Григории Нисском, о Пикассо, еще о чем-то. Я чувствую потребность борьбы.

Иванов любопытен почти по-женски. Он заинтересован, отчего я пропадала, отчего и сейчас я настороже. Ведет к себе в кабинет. Бой начинается. Я не скрываю, наоборот, сама первая начинаю. О пустословии, о предании самого главного, о пустой жизни. О том, что я с землей, с простыми русскими людьми, с русским народом, что я отвергаю их культуру, что они оторваны, что народу нет дела до их изысканных и неживых душ, даже о том, что они ответят за гибель Блока.

Вячеслав Иванов очень внимателен. Он все понимает, он со всем соглашается. Более того, я чувствую в его тоне попытку отпустить, благословить на этот путь. Но ни отпуска не прошу, ни благословения не хочу. Разговор обрывается.

Вскоре опять, 26 ноября [1913 года], мы вместе с Толстыми у В. Иванова на Смоленском.

Народу мало, против обыкновения. Какой-то мне неведомый поэт, по имени Валерьян Валерьянович (потом узнала, — Бородаевский), с длинной, узкой черной бородой, только что приехал из Германии и рассказывает о тоже мне неведомом Рудольфе Штейнере.

Хозяин слушает его с таким же благожелательным любопытством, как слушает вообще все. Для него рассказ в основных чертах не нов, поэтому он спрашивает больше о подробностях, о том, как там Белый, Волошин и т. д. Оттого, что о главном мало речи, я не могу окончательно уловить, в чем дело.

Но у меня неосознанный, острый протест. Я возражаю, спорю, не зная даже, против чего именно я спорю. Но странно, сейчас я понимаю, что тогда основная интуиция была верна. Я спорила против обожествления и абсолютизации человеческой природной силы. В нелепом, приблизительном споре я вдруг чувствую, что все это не случайно, что борьба у меня идет каким-то образом за Блока, что тут для него нечто более страшное, чем все туманы и метели его страшного пути, потому что враг из безличного становится личным.

Поздно вечером уходим с Толстым. Продолжаем говорить на улице. Сначала это спор. Потом просто моя декларация о Блоке. Мы уже не домой идем, а скитаемся по снежным сугробам на незнакомых, пустых улицах. Я говорю громко, в снег, в ночь, вещи для меня пронзительные и решающие.

У России, у нашего народа родился такой ребенок. Самый на нее похожий сын, такой же мучительный, как она. Ну, мать безумна, — мы все ее безумьем больны. Но сына этого она нам на руки кинула, и мы должны его спасти, мы за его отвечаем. Как его в обиду не дать, — не знаю, да и знать не хочу, потому что не своей же силой можно защитить человека. Важно только, что я вольно и свободно свою душу даю на его защиту.

Первого декабря, через четыре дня после этой ночи, я неожиданно получила письмо в ярко-синем конверте. Как всегда в письмах Блока, ни объяснений, почему он пишет, ни обращений «глубокоуважаемая» или «дорогая». Просто имя и отчество, и потом как бы отрывок из продолжающегося разговора. «...Думайте сейчас обо мне, как и я о вас думаю... Силы уходят на то, чтобы преодолеть самую трудную часть жизни — середину ее... Я перед вами не лгу... Я благодарен вам...»

Может быть, сейчас мне трудно объяснить, отчего это короткое и не очень отчетливое письмо потрясло меня. Главным образом, пожалуй, потому, что оно было ответом на мои ночные восторженные мысли, на мою молитву о нем.

Я ему не ответила. Да и что писать, когда он и так должен знать и чувствовать мой ответ? Вся дальнейшая зима прошла в мыслях о его пути, в предвидении чего-то губельного и страшного, к чему он шел. Да и не только он, — все уже смешивалось в общем вихре. Казалось, что стоит голосу какому-нибудь крикнуть, — и России настанет конец.

Опять юг.

Весной 14-го года во время бури на Азовском море погрузились на дно две песчаные косы с рыбацкими поселками. В это время у нас на Черноморском побережье земля стонала. Мне рассказывали охотники, как они от этих стонов бежали с лиманов и до поздней ночи проводжали друг друга, боясь остаться наедине со страждущей землею. А летом было затмение солнца. От него осталось только пепельно-серебристое кольцо. Запылали небывалые зори, — не только на востоке и на западе, — весь горизонт загорелся зарею. Выступили на пепельно-сером небе бледные звезды. Скот во дворе затревожился, — коровы мычали, собаки лаяли, стал кричать петух, куры забрались на насесты спать.

Потом наступили события, о которых все знают, — мобилизация, война.

Душа приняла войну. Это был не вопрос о победе над немцами, немцы были почти ни при чем. Речь шла о народе, который вдруг стал единой живой личностью, с этой войны в каком-то смысле начинал свою историю. Мы слишком долго готовились к отплытию, слишком истомились ожиданием, чтобы не радоваться наступившим срокам.

Брат ночью пришел ко мне в комнату, чтобы сообщить о своем решении, — идет добровольцем. Двоюродные сестры спешили в Петербург поступать на курсы сестер милосердия. Первое время я не знала, что делать с собой, сестрой милосердия не хотела быть, — казалось, надо что-то другое найти и осуществить. Основное — как можно дольше не возвращаться в город, как можно дольше пробыть одной, чтобы все обдумать, чтобы по-настоящему все понять.

Так проходит мучительная осень. Трудно сказать, что дала она мне, — но после нее все стало тверже и яснее. И особенно твердо сознание, что наступили последние сроки. Война — это преддверие конца. Прислушаться, присмотреться, уже вестники гибели и преображения среди нас.

Брат мой воевал добровольцем где-то на Бзуре. Мать не хотела оставаться одна в Петербурге, — мне пришлось ехать к ней.

Поезд несся по финским болотам среди чахлой осины и облетевших берез. Небо темно. Впереди черная завеса копоти и дыма. Пригород. Казачьи казармы. И Николаевский вокзал.

Еду и думаю. К Блоку пока ни звонить не буду, не напишу и уж конечно не пойду. И вообще сейчас надо по

своим путем в одиночку идти. Программа зимы — учиться, жить в норе, со старыми знакомыми по возможности не встречаться.

Приехали к завтраку. Родственные разговоры, расспросы. День тихий и серый. Некоторая неразбериха после дороги. А в три часа дня я уже звоню у блоковских дверей. Горничная спрашивает мое имя, уходит, возвращается, говорит, что дома нет, а будет в шесть часов.

Я думаю, что он дома. Значит, надо еще как-то подготовиться. С Офицерской иду в Исаакиевский собор, — это близко. Забиваюсь в самый темный угол. Передо мной проходят все мысли последнего времени, проверяю решения. Россия, ее Блок, последние сроки — и надо всем Христос, единый, искупающий все.

В шесть часов опять звоню у его дверей. Да, дома, ждет. Комнаты его на верхнем этаже. Окна выходят на запад. Шторы не задернуты. На умирающем багровом небе видны дуги белесых и зеленоватых фонарей. Там уже порт, доки, корабли, Балтийское море. Комната тихая, темно-зеленая. Низкий зеленый абажур над письменным столом. Вещей мало. Два больших зеленых дивана. Большой письменный стол. Шкаф с книгами.

Он не изменился. В комнате, в нем, в угольном небе за окнами — тишина и молчание. Он говорит, что и в три часа был дома, но хотел, чтобы мы оба как-то подготовились к встрече, и поэтому дал еще три часа сроку. Говорим мы медленно и скупно. Минутами о самом главном, минутами о внешних вещах.

Он рассказывает, что теперь в литературном мире в моде общественность, добродетель и патриотизм. Что Мережковские или еще кто-то устраивают патриотические чтения стихов в закрытых винных магазинах Шитта, по углам больших улиц, для солдат и народа. Что его зовут читать, потому что это гражданский долг. Он недоумевает, у него чуть насмешливая и печальная улыбка.

— Одни кровь льют, другие стихи читают. Наверное, не пойду, — все это никому не нужно.

— И Брюсов сейчас говорит о добродетели.

— А вот Маковский оказался каким честным человеком. Они в «Аполлоне» издадут к новому пятнадцатому году сборник патриотических стихов. Теперь и Сологуб воспевает барабаны. Северянин вопит: «Я ваш душка, ваш единственный, поведу вас на Берлин». Меня просили послать. Послал. Кончаются так: «Будьте довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы. Ах, если б знали, люди, вы холод и мрак грядущих дней». И представьте, какая честность, — вернули с извинениями, печатать не могут.

Потом мы опять молчим.

— Хорошо, когда окна на запад. Весь закат принимаешь в них. Смотрите на огни.

Потом я рассказываю, что предшествовало его прошлогоднему письму. Он удивлен.

— Ах, этот Штейнер. С этим давно кончено. На этом многое оборвалось. У меня его портрет остался, Андрей Белый прислал.

Он подымается, открывает шкаф, из папки вынимает большой портрет. Острые глаза, тонкий извилистый рот. Есть что-то общее с Вячеславом Ивановым, но все резче, чернее, более сухое и волевое, менее лиричное. Блок улыбается.

— Хотите, разорвем?

Хочу. Он аккуратно складывает портрет вдвое, проводит по сгибу ногтем. Рвет. Опять складывает. Рвет. Портрет обращен в грудку бумажек размером в почтовую марку. Всю грудку сыпет в печь.

Моя очередь говорить. Сначала рассказываю о черноморских бурях, о диких утках и бакланах. Потом о том, что надо сейчас всей России искать своего Христа и в Нем себя найти. Потом о нем, о его пути, о боли за него.

Мы сидим в самых дальних углах комнаты. Он у стола, я на диване у двери. В сумраке по близорукости я его почти не вижу. Только тихий и усталый голос иногда прерывает меня, — значит, он тут. Да еще весь воздух комнаты полон какого-то напряженного внимания, — слушает, значит.

Поздно, надо уходить. Часов пять утра. Блок серьезен и прост.

— Завтра вы опять приходите. И так каждый день, пока мы до чего-то не договоримся, пока не решим.

На улице дождь. Пустота. Быстро иду по сонному городу. Надо его весь пересечь. Господи, как огромен и страшен Твой мир и какую муку даешь Ты Твоим людям. На следующий день опять иду к Блоку.

У него опять такая же тишина. И так начинается изо дня в день. Сейчас мне уже трудно различить, в какой раз что было сказано. Да и по существу это был единый разговор, единая встреча, прерванная случайными внешними часами пребывания дома для сна, пищи, отдыха.

Иногда разговор принимал простой, житейский характер. Он мне рассказывал о различных людях, об отношении к ним, о чужих стихах.

— Я вообще не очень люблю чужие стихи.

Однажды говорил о трагичности всяких людских отношений. Они трагичны, потому что менее долговечны, чем человеческая жизнь. И человек знает, что, добиваясь их развития, добывается их смерти. И все же ускоряет и ус-

коряет их ход. И легко заменить должный строй души, подменить его, легко дать дорогу страстям. Страсть — это казнь, в ней погибает все подлинное. Страсть и измена — близнецы, их нельзя разорвать. И кончает неожиданно:

— Теперь давайте топить печь.

Топка печи у Блока — священнодействие. Он приносит ровные березовые поленья. Огонь вспыхивает. Мы садимся против печи и смотрим молча. Сначала длинные, веселые языки пламени маслянисто и ласково лижут сухую белесую кору березы и потухающими лентами исчезают вверху. Потом дрова пылают. Мы смотрим и смотрим, молчим и молчим. Вот с легким серебряным звоном распадаются багровые угольки. Вот сноп искр с дымом вместе уносится ввысь. И медленно слагаются и вновь распадаются огненные письмена, и опять бегут алые и черные знаки.

В мире тихо. Россия спит. За окнами зеленые дуги огней далекого порта. На улицах молчаливая ночь. Изредка внизу на набережной Пряжки одинокие шаги прохожего. Угли догорают. И начинается наш самый ответственный разговор.

— Кто вы, Александр Александрович? Если вы позовете, за вами пойдут многие. Но было бы страшной ошибкой думать, что вы вождь. Ничего, ничего у вас нет такого, что бывает у вождя. Почему же пойдут? Вот и я пойду, куда угодно, до самого конца. Потому что сейчас в вас как-то мы все, и вы символ всей нашей жизни, даже всей России символ. Перед гибелью, перед смертью Россия сосредоточила на вас все свои самые страшные лучи, — и вы за нее, во имя ее, как бы образом ее стогае. Что мы можем? Что могу я, любя вас? Потушить — не можем, а если и могли бы, права не имеем: таково ваше высокое избрание — гореть. Ничем, ничем помочь вам нельзя.

Он слушает молча. Потом говорит:

— Я все это принимаю, потому что знаю давно. Только дайте срок. Так оно все само собою и случится.

А у меня на душе все смешивается и спутывается. Я знаю, что все на волоске над какой-то пропастью. Наконец все становится ясным. В передней, перед моим уходом говорим о последних каких-то подробностях. Он положил мне руки на плечи. Он принимает мое соучастие. Он предостерегает нас обоих, чтобы это всегда было именно так. Долго еще говорим. А за спокойными, уверенными словами мне чудится вдруг что-то нежданное, новое и по-новому страшное. Я напрягаю слух: откуда опасность? Как отражать ее?

На следующий день меня задержали дома. Прихожу позднее обыкновенного. Александр Александрович, оказывается, ушел. Вернется поздно. Мне оставил письмо.

«Простите меня. Мне сейчас весело и туманно. Ушел бродить. На время надо все кончить. А. Б.»

Дверь закрывается. Я спускаюсь этажом ниже. Останавливаюсь на площадке. Как же я уйду? Как я могу уйти? Подымаюсь назад. Стою долго у запертой двери. Потом решаюсь. Сажусь на верхней ступеньке. Я должна дожидаться, чтобы еще что-то раз навсегда закрепить.

Идут не минуты, — идут часы. Уже далеко за полночь. Скоро, наверное, утро. Наконец долгий протяжный звонок внизу. Зажигается в пролете свет. Слышу, — этаж за этажом кто-то подымается, тяжело дышит от быстрой ходьбы. Это Блок. Встаю навстречу.

— Я решила дожидаться вас, Александр Александрович.

Он не удивлен. Только говорит, что нехорошо вышло, потому что у соседей в квартире скарлатина. Как бы я домой не занесла.

Отворяет двери. Входим. Я начинаю сразу торопиться. Он слегка задерживает.

— Да, да, у меня просто никакого ответа нет сейчас. На душе пусто, туманно и весело, весело. Не знаю, может быть, оно и ненадолго. Но сейчас меня уносит куда-то. Я ни в чем не волен.

Я опять начинаю торопиться.

Александр Александрович неожиданно и застенчиво берет меня за руку.

— Знаете, у меня есть просьба к вам. Я хотел бы знать, что часто, часто, почти каждый день вы проходите внизу под моими окнами. Только знать, что кто-то меня караулит, ограждает. Пройдете, взглянете наверх. Это все.

Я соглашаюсь. Быстро прощаюсь. По существу, прощаюсь навсегда. Знаю, что в наших отношениях не играют роли пространство и время, но чувствую их очень мучительно.

Ухожу. Будто еще новая тяжесть на плечи упала.

А в это время мрачней и мрачней становилась петербургская ночь. Все уже, не только Блок, чуяли приближение конца. Одни думали, что конец будет, потому что на фронте не хватает снарядов, другие — потому что Россией распоряжается Распутин, третьи, как Блок, — может быть, и не имели никакого настоящего «потому что», а просто в ознаменование конца сами погибали медленно и неотвратно.

И наконец, летом 1916 года последнее письмо от Блока.

«Я теперь табельщик 13-ой дружины Земско-Городского союза. На войне оказалось только скучно. О Георгии и

Надежде, — скоро кончится их искание. Какой ад напряженья. А ваша любовь, которая уже не ищет мне новых царств. Александр Блок».

С этим письмом в руках я бродила по берегу моря как потерянная. Будто это было свидетельство не только о смертельной болезни, но о смерти. И я ничего не могу поделать.

А потом мысль: такова судьба, таков путь. Россия умирает, — как же смеем мы не гибнуть, не корчиться в судорогах вместе с ней? Скоро, скоро пробьет вещей час, и Россия, как огромный, оснащенный корабль, отчалит от земли, в ледовитую мертвую вечность.

Письма А. А. Блоку

Russland. Petersburg
Россия. Петербург
М. Монетная, 9, кв. 27.
Александрю Александровичу Блоку

Привет из Наугейма

Елиз. Кузьмина-Караваева

Мне хочется написать Вам, что в Наугейме сейчас на каштанах цветы, как свечи, зажглись, что около градинеру воздух морем пахнет, что тишина здесь ни о жизни, ни о смерти не знает: даже больные в курзалах забыли обо всем. Я сидела целый час на башне во Фридберге. Меня там запер садовник, чтобы я могла много рисовать. Мне кажется, что много в Ваших стихах я люблю еще больше, чем раньше любила; думала об этом и смотрела с Иоганнисберга на город: на старое кладбище и буро-красные крыши около него, на парк и серые крыши вилл. Знаете ли Вы здесь потерянную среди полей и яблонь Hollur's Karell'у? Я ее нашла и обрадовалась. Кажется, что тишина, как облако, неподвижна, и в мыслях моих неподвижными крыльями облако распласталось. И не верю, что этому конец будет. И усталость, которая была и которая есть, только радуется, как радуется туман иногда. Я думаю,

что полюбила здесь, может быть, путь, что Вы нашли и полюбили, но во всяком случае рада, что полюбила и что могу Вам это написать. Если смогу, то хотела бы Вас порадовать, написав о том, что Вы здесь знаете; как оно живет и старится. Если смогу ответить, то спросите. На озере лебеди плавают. А на маленьком острове на яйцах белая птица сидит и при мне лебедят выведет. Мое окно выходит на Иоганнисберг, и по ночам там белые фонари горят, а внизу каштаны свечами мерцают. Я не верю, что в Петербурге нет каштанов, и красных крыш, и душного, сырого воздуха, и серых дорожек, и белых с черными ветками яблонь. Тишина звенит; и покой как колокол вечерний. Во Фридберге — знаю — был кто-то печальный и тихий, и взбирался на башню, где всегда ветренно и где полосы озимей внизу дугами сплетаются.

Очень, очень хочу порадовать Вас, прислать Вам привет от того, что Вы любили. Не знаю, увижу ли это за тем, что уже увидела и полюбила. Если захотите спросить и поверите, что смогу дать ответ, напишите.

Мой адрес: Bad Nauheim. Britaniestrasse. Villa Fontana.

Привет.

Елиз. Кузьмина-Караваева

Я не знаю, как это случилось, что я пишу Вам. Все эти дни я думала о Вас и сегодня решила, что написать Вам *необходимо*. А отчего и для кого — не знаю. Мучает меня, что не найду я настоящих слов, но верю, что Вы *должны* понять.

Сначала вот что: когда я была у Вас еще девочкой, я поняла, что это навсегда, а потом жизнь пошла как спираль, и снова, и снова, — вниз, — но на том же самом месте бывала я. О себе не хочу писать, потому что *не для себя пишу*. Буду только собой объяснять. Кончался круг, и снова как-то странно возвращалась я к Вам. Ведь и в первый раз я не знала, зачем реально иду к Вам, и неслышимо как предлог, потому что боялась чего-то, что не может быть определено сознанием. Близким и недостижимым Вы мне тогда стали. Только теперь я имею силы верить, что это Вам нужно. Пусть не я, но это неизбежно. В каждый круг вступая, думала о Вас и чувствовала, что моя тяжесть Вам нужна, и это была самая большая радость. А тяжести я ищу.

С мужем я разошлась, и было еще много тяжести кроме этого. Иногда любовь к другим, большая, настоящая любовь, заграждала Вас, но все кончалось всегда, и всегда как-то не по-человечески, глупо кончалось, потому что — вот Вы есть. Когда я была в Наугейме — это был самый

большой перелом, самая большая борьба, и из нее я вышла с Вашим именем. Потом были годы совершенного одиночества. Дом в глуши, на берегу Черного моря. (Вот не хочется описывать всего, потому что знаю, что и так Вам все ясно будет.) И были Вы, Вы. Потом к земле как-то приблизилась, — и снова человека полюбила, и полюбила, полюбила по-настоящему, — а полюбила, потому что знала, что Вы есть. И теперь, месяц тому назад у меня дочь родилась, — я ее назвала Гайана — земная, и я радуюсь ей, потому что — никому не ведомо — это Вам нужно. Я с ней вдвоем сейчас в Москве, а потом буду с ее отцом жить, а что дальше будет, — не знаю, но чувствую — и не могу объяснить, что это путь какой-то, предназначенный мне, неизбежный; и для Вас все это нужно. Забыть о Вас я не могу, потому что слишком хорошо чувствую, что я только точка приложения силы, для Вас вошедшей в круг жизни. А я сама — ни при чем тут.

Теперь о другом: *не надо чуда*, потому что тогда конец миру придет. Христос искупил мир, дав нам всем крестную муку, которую только чудо уничтожит, и тогда мы будем мертвые. Исцелить людей нельзя. Недавно слыхала о Штейнере и испугалась, вспомнила Вас; потом стыдно своего страха стало, потому что верю, верю и верю, что это не нужно Вам. И верю, что Вы *должны* принять мое знание и тогда будет все иначе, потому что Вы больше человека и больше поэта; Вы несете не свою, — человеческую тяжесть; и потому что чувствую я, всегда и везде чувствую, что избранная, может быть, случайно — я, чтобы Вы узнали и поверили искуплению мукой и последней, тоже нечеловеческой любовью.

Боюсь я, что письмо до Вас не дойдет, потому что адреса Вашего я не знаю; — вот уже 2 года, как узнать его мне не от кого; но почему-то кажется мне, что я верный адрес пишу. Слишком было бы нелепо и глупо, если бы письмо пропало. Хотя, может быть, время еще не пришло: и не исполнилась мера радости и страданий. Ведь Вы все это знаете? Всякие пояснения были бы слабой верой.

Если же Вы *не хотите* понять этого, то у меня к Вам просьба: напишите мне только, что письмо дошло. Я буду знать, что не от случая все осталось без перемены, а оттого, что мало муки моей, которая была, что надо еще многие круги спирали пройти, может быть до старости, до смерти даже. Во всяком случае я почувствую, где бы я ни была, что Вам все это нужно стало. Хорошо, что — самый близкий, — Вы вечно далеко, — и так всегда.

Елиз. Кузьмина-Караваева

Если бы я, я человеческая, осмелилась, я бы издала 2-ую книжку, чтобы взять к ней эпиграфом: «Каждый душу разбил пополам и поставил двойные законы».

Е. К.-К.

Москва. Собачья площадка, Дурновский пер., д. 4, кв. 13.

Пошлю письмо и буду каждый час считать, ожидая Вашего ответа, что Вы его получили.

19.I 1914

Москва. Собачья площадка.
Дурновский пер., д. 4, кв. 13

Месяц тому назад я решила издать вторую книгу стихов; тогда мне уже приходила в голову мысль попросить Вас просмотреть книгу до того, как я отдам ее в печать. Но по очень запутанным соображениям я решила, что этого делать не надо: дело в том, что я не знаю, как отдам Вам ее на просмотр: с тем, чтобы потом напечатать ее, приняв во внимание Ваши указания, или чтобы только узнать Ваше мнение и уже не печатать книги. Все это у меня очень запутанно в письме выходит, но яснее я не умею сказать.

Теперь, я видалась на днях с Толстым, который знает, что в своих стихах я не умею разбираться, и он мне сказал, что видел Вас, что он Вам говорил о моей новой книге и Вы ничего не имеете против, если я Вам ее пошлю в рукописи.

В книгу эту, как я ее Вам посылаю, вошла четвертая часть написанного за это время.

Если Вы мне скажете, что ее издавать можно, то мне хотелось бы это сделать до конца марта, потому что потом мне придется уехать, и я думаю, что не вернусь в большой город несколько лет.

Есть два пути: один — он ясно выражен в отделе «Вестников», а другой — более долгий и трудный, но приводящий к целям первого — определяет тот порядок, в котором распределены отделы книги. Чтобы видеть, верить, ну, главным образом, мочь, надо отречься от непосредственного постижения, так кажется мне. Если человек может, но не делает, — он дважды может. И обратно. А потому я хочу на долгое время уйти от самой себя, от того пути, который мне близок. Надо еще научиться ненавидеть, надо мне научиться не только не бояться греха, но и преодолеть его, совершив. Не умею я все это точно сказать, но, может быть, по стихам моим это будет яснее.

Сегодня же посылаю Вам мою книгу и буду ждать Вашего ответа; если же Вас это почему-либо затруднит или просто по прочтении не захочется высказываться, то пришлите рукопись обратно без всяких пояснений.

Я много думаю о Вас.

Елиз. Кузьмина-Караваева

15.II 1914

Уже давно хотела написать Вам, чтобы поблагодарить за просмотр стихов; но все это время моя дочь была при смерти больна.

Прежде чем писать о чем-либо другом, хочу сказать Вам, что мои письма к Вам, вот уже третье, — каждый раз неожиданны для меня; каждый раз я думаю, что пишу Вам последнее письмо или, вернее, последнее сейчас, потому что совершенно ясно знаю, что когда-нибудь, через долгий промежуток, будут новые письма к Вам.

Я читала Ваши заметки на полях рукописи, и за ясными и определенными словами, почти всегда техническими, я узнавала то, что заставило меня написать Вам тогда, осенью, что заставит еще много раз, почти всегда, думать о Вас.

Я знаю, что в моей жизни пути только намечаются, но даже и поэтому так ясно, что все двойственно. Вы писали мне: жар души и холод ума; есть в человеке еще и жар ума; не знаю, как это иначе выразить; но потому, что он есть, я узнала, что не только свободно создаю свою жизнь, но и свободно вылепливаю душу свою, ту, которая будет в минуту смерти. И для ее жизни надо, чтобы было много *бездельности*, грехов, падений.

И еще вот о чем хотела написать Вам: самое радостное состояние — *одиночество*; но одиночество, когда нет никаких привязанностей, когда сознаешь его только в минуты спокойного рассуждения; и есть другое одиночество, неправильно так названное: с первой привязанностью к кому-нибудь мир как-то пустеет и одиночество становится мучительным. Хорошо сознавать человека, любить, чувствовать его, не боясь потери, — чтобы потеря была невозможной. И поэтому, когда я мучаюсь тем, что кто-нибудь забыл или забыт мною, или когда радуюсь чувству, которое неизбежно завтра исчезнет, — мне хорошо думать, что нет в жизни ничего, что бы могло удалить или изменить для меня Вас. Вы знаете, я бы не могла и Гайану свою любить, если бы не знала, что Вы вечны для меня. И так же твердо знаю я, что это Вам необходимо: не сейчас и не мое отношение; не мое, если понимать это как

мое отношение к друзьям, к отцу моего ребенка и к остальным людям.

У меня сейчас опять — всю эту зиму — перепутье. Поэтому мне необходимо, исключительно для себя, издать книгу, попытаюсь переработать ее соответственно Вашим указаниям и издам.

Вот и теперь я опять уверена, что это последнее на долгое время письмо к Вам. *И ответа опять ждать не буду.* Весной уеду, буду жить чужой жизнью, говорить о революции, о терроре, об охоте, о воспитании детей, о моей любви к тому человеку, куда я уеду, — и думать о Вас. *И так будет долго, долго.*

Елиз. Кузьмина-Караваева

Я сегодня я самого утра засуетилась; может быть, поэтому мне кажется, что произошло что-то скверное. Дело было так: мои родные, от которых я звоню Вам, знают, что есть такой номер телефона; шутки ради они хотели узнать, чей он. Все это, может быть, слишком просто и глупо, чтобы огорчаться; но мне хочется объяснить Вам сейчас же.

А огорчилась я потому, что у меня слишком бережливое отношение к нашему; много нежности и поэтому застенчивости (даже не перед Вами, а перед собою скорее).

Мне и хорошо — очень хорошо, — и тяжело. Как смешно быть одновременно уверенной и сомневаться в пустяках.

Я очень хочу Вас видеть, но это не значит, что это нужно, потому что теперь так выходит, что я буду хотеть Вас видеть и сегодня, и завтра, и уезжая от Вас, и не видя Вас несколько лет. Но это тоже хорошо, потому что является доказательством уверенности, что все идет, как необходимо, и все верно, — никакой лжи нет. *Вы с этим моим желанием не считайтесь никак.*

В субботу позвоню.

Ваша Елиз. Кузьмина-Караваева

Милый Александр Александрович, ведь ничего скверного не произошло? Мне, наверное, так кажется по моей глупости?

21.XII 1914

Дорогой Александр Александрович, мне надо Вам написать, потому что я опять чувствую право на это, и не только право, но и необходимость. Весь этот месяц шла борь-

ба. Вожжи, о которых я Вам говорила в последний раз по телефону, были опущены совсем. А у меня это всегда совпадает с чувством гибели — определенной, моей гибели, — потому что вне того пути, о котором Вы уже знаете, я начинаю как-то рассыпаться, теряюсь в днях, в событиях. Если Вы верите, что Вы тесно связаны в моих мыслях с тем путем, который все другое уничтожает, то Вы поймете, что все это было из-за Вас: я была сама виновата, конечно; я дала слишком много свободы тому человеческому, чего так страшилась. Мне так хотелось изменить все и отречься, чтобы иметь возможность просто сказать: ничего не осталось, потому что есть у меня одна радость — знать, что я Вас люблю, что я видела Вас и, может быть, еще увижу, что я могу думать о Вас. Только этого я и хотела.

Я не боюсь сейчас и не отрекаюсь от этого. Но я знаю, что это *только* не мешает, и *даже* не мешает, потому что главное неизмеримо больше: оно все должно покрыть. Это очень тяжело, почти нестерпимо тяжело, но совершенно неизбежно. И я могу поэтому спокойно говорить, что мне хорошо, зная, что Вы этому должны поверить. Пусть очень холодно и мертво подчас вокруг, — но это только путь. Видя срок и веря в цель пути, разве можно страшиться этой тяжести? Тут только один вопрос: надо стараться быть все время совершенно собранной. И все сказанное многим (что Вам так чуждо показалось) — это только тяжелая работа, и потому что в мыслях своих я никак не могу сочетать Вас и их, а знаю, что это необходимо: не для Вас и не для меня, а для того, чтобы Ваше имя не загородило цель.

Когда я припоминала вечером слова, которые Вы мне говорили по телефону, я сообразила, что Вы мне сейчас не верите или не хотите верить. Сначала мне было от этого тяжело и я решила, что сама виновата, дав волю своему человеческому; а потом я сообразила, что это нелепость какая-то, что Вы не можете не верить мне: ведь все это так реально, как то, что я живу сейчас, и так связано тесно с Вами, что если бы *Вы* не верили, то просто пришлось бы как-то внутренне исчезнуть.

Время идет очень быстро, и многое узнается теперь как-то сразу. Узнала и я многое: главное в области практического поведения. А так как мне совершенно ясно, что все это тесно связано с Вами, то у меня есть к Вам дело, но о нем сейчас писать не буду, потому что для этого надо, чтобы Вы *перестали хотеть* мне не верить.

Елиз. Кузьмина-Караваева

Сегодня прочла о мобилизации и решила, что Вам придется идти. Ведь в конце концов это хорошо, и я рада за Вас. Рада, потому что сейчас сильно чувствую, какую мощь дают корни в жизнь. У меня эти корни совсем иначе создались, но создались прочно. В них самое удивительное всегда то, что появляются они со стороны, — будто кто-то на рельсы поставил и приходится только катиться. И только потом начинаешь понимать, что разливается моя сила везде и я получаю силу отовсюду.

Когда я думаю о Вас, всегда чувствую, что придет время, когда мне надо будет очень точно сказать, чего я хочу. Еще весной Вам казалось, что у меня есть только какая-то неопределенная вера. Я все время проверяла себя, свои знания и отношение к Вам, и не додумалась, а формулировала только. И хотела бы, чтобы это было Вам понятно. Если я люблю Ваши стихи, если я люблю Вас, если мне хочется Вас часто видеть — то ведь это все не главное, не то, что заставляет меня верить в нашу связанность. И Вы знаете тоже, что это не связывает «навсегда». Есть другое, что почти не поддается определению, потому что обычно заменяется определенными чувствами. Веря в мою торжественность, веря в мой покой, я связываю Вас с собою. Ничего не разрушая и не меняя обычной жизни, существует посвященность, которую в Вас я почувствовала в первый раз. Я хочу, чтобы это было понятно Вам. Если я скажу о братовании или об ордене, то это будет только приближением, и не точным даже. Вот церковность — тоже не точно, потому что в церковности Вы, я — пассивны; это слишком все обнимающее понятие. Я Вам лучше так расскажу: есть в Малой Азии белый дом на холмах. Он раскинут, и живущие в нем редко встречаются в коридорах и во дворе. И там живет женщина, уже немолодая, и старый монах. Часто эта женщина уезжает и возвращается назад не одна: она привозит с собой указанных ей, чтобы они могли почувствовать тишину, видеть пустынников. В белом доме они получают всю силу всех; и потом возвращаются к старой жизни, чтобы приобщить к своей силе и других людей. И все это больше любви, больше семьи, потому что связывает и не забывается никогда. Я знаю, что Вы будете в доме; я верю, что Вы этого захотите.

Милый Александр Александрович, вся моя нежность к Вам, все то большое и торжественное чувство, — все указание на какое-то родство, единства источника, дома белого. И теперь, когда Вам придется идти на войну, я как-то торжествую за Вас, и думаю все время очень напряженно и очень любовно; и хочу, чтобы Вы знали об этом:

может быть, моя мысль о Вас будет Вам там нужна, — именно в будни войны.

Я бы хотела знать, где Вы будете, потому что легче и напряженнее думается, если знать, куда мысль свою направлять. Напишите мне сюда: Анапа. Ящик 17. Мне.

Мне кажется, что Вам сейчас опять безотрадно и пусто, но этого я в Вас не боюсь и принимаю так же любовно, как все. Итак, если Вам будет нужно, вспомните, что я всегда с Вами и что мне ясно и покойно думать о Вас.

Господь Вас храни.

Елиз. Кузьмина-Караваева

Мне бы хотелось сейчас Вас поцеловать очень спокойно и нежно.

20.VII 1916. Дженет

Мой дорогой, любимый мой, после Вашего письма я не знаю, живу ли я отдельной жизнью, или все, что «я», — это в Вас уходит. Все силы, которые есть в моем духе: воля, чувство, разум, все желания, все мысли — все преобразено воедино и все к Вам направлено. Мне кажется, что я могла бы воскресить Вас, если бы Вы умерли, всю свою жизнь в Вас перелить легко. Любовь Лизы не ищет царств? Любовь Лизы их создает, и создаст реальные царства, даже если вся земля разделена на куски и нет на ней места новому царству. Я не знаю, кто Вы мне: сын ли мой, или жених, или все, что я вижу, и слышу, и ощущаю. Вы — это то, что исчерпывает меня, будто земля новая, невидимая, исчерпывающая нашу землю.

О Георгии и Надежде Вы пишете. Если бы Бог помог Вам родиться скорее и облегчил бы Вас. И я не знаю, кем надо мне стать сейчас и как смириться, чтобы это было принято (не Вами даже). И хочу, чтобы Вы знали: землю буду рыть за Вас, молиться буду о Вас, все, что необходимо для равновесия, — сделаю. И Вы должны, должны это принять, и помнить, что это есть, потому что, повторяю, это исчерпывает меня, это моя радость, это мне предназначено, велено.

И Вы не заблудитесь, потому что я все время слежу за Вашей дорогой, потому что по руслу моему дойду до Вашего русла. Только когда Вы говорите о скором конце искания, я вижу, какая мне дана сила (может быть, не власть). Хотя вернее, что такая преобразившая все в одно, голая душа многое может. И если Вы только испугаетесь, если Вам станет нестерпимо, — напишите мне: все, что дано мне, Вам отдам.

Мне хочется благословить Вас, на руках унести, потому что я не знаю, какие пути даны моей любви, в какие формы облечь ее.

Я буду Вам писать часто: может быть, хоть изредка, Вам это будет нужно.

Вот пишу, и кажется, что слова звучат только около. А если бы я сейчас увидела Вас, то разревелась бы и стала бы Вам головку гладить, и Вы бы все поняли по-настоящему, и могли бы взять мое с радостью и без гордости, как предназначенное Вам.

Поймите, что я давно жду Вас, что я всегда готова, всегда, всегда, и минуты нет такой, чтобы я о Вас не думала.

Господь Вас храни, родной мой. Примите меня к себе, потому что это будет только исполнение того, что мы оба давно знали.

Елиз. Кузьмина-Караваева

Я чуть было не решила сейчас уехать из Дженета разыскивать Вас. И не решилась только потому, что не знаю, — надо ли Вам. Когда будет нужно, — напишите.

26.VII 1916

Вы уже, наверное, получили мой ответ на Ваше письмо. И пишу я Вам опять, потому что мне кажется, что теперь надо Вам писать так часто, как только возможно. Все эти дни мне как-то смутно; и я не боюсь за Вас, а все же тоскливо, когда о Вас начинаю думать; может быть, просто чувствую, что Вам тяжело и нудно. И буду Вам писать о всех тех мыслях, которые у меня связаны с Вами.

Начинается скоро самая рабочая моя пора — виноделие; а потом будет, как всегда, тишина; все разъедутся, и я одна буду скитаться по Дженету. И самое странное то, что эти осенние дни ежегодно совершенно одинаковы, — как бы ни прошло время, их разделяющее. Тогда проверяется все; и очень трудно не забыть, что это не круги, а медленно восходящая спираль, что душа не возвращается к старому месту, а только поднимается над ним.

Если же помнить это, то вообще утверждается все пройденное и самое восхождение. А потом становится ясно, что только в рамке дней отдельных движение кажется медленным. И «скучно» только в днях, а за ними большой простор, и влекут нас быстро.

И насчет нашего пути знаю я, что мы теперь гораздо ближе стали, вот за самое последнее время ближе и друг к другу, и к концу. Мне никогда ни к кому не стать так близко, как к Вам. Будто мы все время в одной комнате живем, — так мне кажется; и еще ближе — будто меня

по отдельности нет. И нелепо выходит, что Вы этого не знаете.

После Вашего письма писала я стихи. Если Вы можете их читать как часть письма, то прочтите; если же нет, — то просто пропустите. Они тогда выразили точно то, что я хотела Вам сказать:

Увидишь ты не на войне,
Не в бранном, пламенном восторге,
Как мчится в латах, на коне
Великомученик Георгий.
Ты будешь видеть смерти лик,
Сомкнешь пред долгой ночью вежды;
И только в полночь громкий крик
Тебя разбудит; зов надежды.
И белый всадник даст копье,
Покажет, как идти к дракону;
И лишь желание твое
Начнет заутра оборону.
Пусть длится напряженья ад, —
Рассвет томительный и скудный, —
Нет славного пути назад
Тому, кто зван для битвы чудной.
И знай, мой царственный, не я
Тебе кую венец и латы:
Ты в древних книгах бытия
Отмечен, вольный и крылатый.
Смотреть в туманы — мой удел;
Вверяться тайнам бездорожья,
И под напором вражьих стрел
Твердить простое слово Божье,
И всадника ввести к тебе,
И повторить надежды зовы,
Чтоб был ты к утренней борьбе
И в полночь, — мудрый и готовый.

Все это ясно, и все это Вы теперь, наверное, уже знаете. А вот «дни» Ваши, тот предел, который надо одолеть, Ваша скука, оторванность, нерожденность, — это так мучительно издали чувствовать и знать, что это только Ваше, что Вам надлежит одиноко преодолеть это, потому что иначе это не будет преодоленным.

Только одного хочу: Вы должны вспомнить, когда это будет нужно, обо мне; прямо займы взять мою душу. Ведь я же все время, все время около Вас. Не знаю, как сказать это ясно; когда я носила мою дочь, я ее меньше чувствовала, чем Вас в моем духе. И опять не точно, потому что тут одно другим покрывается.

Елиз. Кузьмина-Караваева

Я, наверное, останусь всю зиму в Анапе; только в октябре поеду одна в Кисловодск подправить сердце. И уже заранее знаю, как вся зима пройдет. В Петербург мне ехать теперь не надо. Буду скитаться и думать, думать. Все постараюсь распутать и выяснить. Только боюсь я, что изменить уже ничего нельзя, и не в своей я власти. Настало время мне совсем открыто взглянуть на то, что будет, и не только знать, но и делать.

А Вы так далеко: как-то особенно это чувствуется, когда неизвестно, где именно Вы сейчас. Будто на другую планету пишу письма. Но все равно; ничего этим не меняется. Ведь сейчас будни. И так трудно говорить о том, что праздник будет, особенно говорить Вам: Вы ведь сами знаете о празднике, и у Вас будни.

Я сучусь, сучусь, устаю — будто так должна проходить каждая жизнь. Но это все нарочно. И виноделие мое сейчас, где я занята с 6-ти утра до 1 ч. ночи, — все нарочно. И все это более призрачно, чем самый забытый сон. Вот и людей много, и командую что-то нелепое; а знаю твердо, что на всей земле только Вы и дочь по-настоящему, и когда теряю нити настоящего, внутреннего знания, то становится непонятно, что будет дальше, как сможет все быть на фоне вот этой жизни. Только и в такие минуты помню, что все это неизменно и что нет ничего такого в призрачном, что не было бы с Вами связано. Будто каждый шаг для Вас делается.

Хотела бы я много говорить сейчас о Вас, смотреть на Вас. Мой милый, мой любимый, как Вам сейчас? И скоро ли кончится этот дурной сон? Ведь все время чувствую я, что Вам какие-то бездны мерещатся. И если бы это были не Вы, я бы боялась и думала, что скоро конец. Когда я была этой зимой у Вас, мне одну минуту было очень жутко, потому что Вы будто призраками окружены. И по-человечески, может быть даже по-женски, я думала в ту минуту, что от Вас мне отойти нельзя, что призраки от моей любви к Вам все уйдут. Но знаю я, что это не так: Вы сами должны их разогнать, потому что иначе они уйдут, но вернуться и не будут обессилены. Значит, мне надо опять ждать. И как мучительно ждать, когда хочется помочь, и кажется, что помочь можно. А когда настанет время, Вы мне скажете.

Елиз. Кузьмина-Караваева

Начинается моя любимая осенняя тишь, и все, бывшее в году, подсчитывается. И кажется мне, что я узнала, отчего возможно сочетание ясности и трудности, уверенности и тоски: в начале дней каждому дана непогрешимость, ибо где нет моей воли, где я знаю: так надо, и выполняю чужую волю; это благодать, осеняющая человека, без его ведома. Но потом, для того, чтобы эта непогрешимость воплотилась, чтобы она стала действенной в этой вот жизни, надо воле стремиться к личности святой (я, может быть, не те слова употребляю). Тут только слабо помнится, что «так надо», а в жизни действует только человек, принявший благодать, и каждый час не знает, так ли надо. И от этого тоска и трудность; и чем больше первоначальная благодать и непогрешимость, тем труднее, потому что тем больше пропасть между нею и личной святостью. Особенно трудно сознание, что каждый только в возможности вестник Божий, а для того, чтобы воплотить эту возможность, надо пройти через самый скудный и упорный труд. И кажется мне, что если это достигнуто, то наступает сочетание, дающее полную уверенность в вере и полную волю, тогда закон, данный Богом, сливается с законом человеческой жизни.

Когда я думала, что мне дано и от меня, кроме данного, ничего не потребуется, было очень легко и ясно. А теперь к этой ясности примешивается действительная человеческая жизнь, требующая моего личного решения каждую минуту.

Пишу это Вам потому, что знаю, что у Вас большая земная воля и власть, и знаю, что она не воплощена личной Вашей волей. И потому, что знаю, как Вам томительно и трудно, и верю, что это только начало второго периода.

На зиму окончательно остаюсь в Анапе. Только в октябре поеду в Кисловодск сердце поправить немного, здесь мне будет особенно хорошо думать о Вас.

А Вы как, родной мой? Не могу себе представить Вашей жизни, и это меня отчего-то мучает.

Елиз. Кузьмина-Караваева

14.X 1916. Анапа

Все эти дни — такая тоска. И о Вас даже мало думаю, потому что не во время тоски мне о Вас думать. Вы для меня всегдашняя радость. Пусто на душе сейчас, и вокруг, мне кажется, куда ни посмотришь, — никого нет, никого. Шататься по Анапе уже ноги устали. Была сегодня на

кладбище, где отец мой похоронен: и там не так, как всегда, не покой, а тоска целительная; она покою не знает. Если сейчас совершается большое, то так далеко; только отзвуки доходят. И от этого еще тоскливее.

Вот не хотела я Вам никогда о грустном своем говорить, хотела подходить к Вам только когда праздник у меня, внутренне принаряженная. А теперь пишу о тоске. Может быть, и не сказала бы, а написать хочется. Так же, как только кажется мне, что если бы Вы были сейчас здесь, я бы усадила Вас на свой диван, села бы рядом и стала бы реветь попросту и Ваши руки гладить. А окажись Вы сейчас здесь, — наверное, я начала бы убеждать Вас, что все очень хорошо, и только издали смотрела бы на Вас.

Все — ничто. И жизнь впустую идет; и эти жизненные ценности — побрякушки какие-то. Знаю, знаю и помню все время, что они только прикрывают настоящее. Но если у меня есть земные глаза, то они хотят видеть то, что им доступно, и уши мои земные должны земное слушать. Так что зная о том, другом, хочу его знаки здесь на всем видеть.

Солнца много сейчас у нас. Но ни к чему это. Вот и брожу, брожу, будто запрягли меня и погоняют.

Милый Вы мой, такой желанный мой, ведь Вы даже, может быть, не станете читать всего этого. А я так хочу Вас, так изголодалась о Вас. Вот видеть, какой Вы, хочу; и голос Ваш слышать хочу, и смотреть, как Вы нелепо как-то улыбаетесь. Поняли? Даже я, пожалуй, рада, что Вы мне не говорите, чтобы я не писала: все кажется, что, значит, Вам хоть немного нужны мои письма. Все как-то перегорает, все само в себе меняется. И у меня к Вам многое изменилось: нет больше по отношению к Вам экзальтации какой-то, как раньше, а ровно все и крепко, и ненарушимо, — и проще, может быть, даже стало. Любимый, любимый Вы мой; крепче всякой случайности, и радости, и тоски крепче. И Вы — самая моя большая радость, и тоскую я о Вас, и хочу Вас, все дни хочу.

Где Вы теперь? Какой Вы теперь?

Ваша Елиз. К.-К.

22.XI 1916

Только что вернулась из Новороссийска и Ростова, куда ездила по делам и брата проводить. Мучает меня, что мои письма не доходят к Вам; хочу это даже послать по петербургскому адресу. Мудрено мне как-то. Вот наряду с тишиной идут какие-то нелепые дела: закладываю име-

ние, покупаю мельницу, и кручусь, кручусь без конца. Всего нелепее, что вся эта чепуха называется словом «жить». А на самом деле жизнь идет в совсем другой плоскости, и не знает, и не нуждается во всей суете. В ней все тихо и торжественно. Как с каждым днем перестаешь жалеть. Уже ничего, ничего не жаль; даже не жаль того, что не исполнилось, обмануло. Важен только попутный ветер; а его много.

Мне приходит мысль, что Вы еще в городе. Так ли это? Господи, в конце концов все равно ведь. И для Вас более безразлично, чем для других, потому что Вам все предопределено.

Не могу Вам сейчас писать (хотя хочу очень), потому что ничего не выговаривается.

Е. К.-К.

4.V 1917

Дорогой Александр Александрович, теперь я скоро уезжаю, и мне хотелось бы Вам перед отъездом сказать вот что: я знаю, что Вам скверно сейчас; но если бы Вам даже казалось, что это гибель, а передо мной был бы открыт любой другой самый широкий путь — всякий, всякий, — я бы все же с радостью свернула с него, если бы Вы этого захотели. Зачем — не знаю. Может быть, просто всю жизнь около Вас просидеть.

Мне грустно, что я Вас не видала сейчас: ведь опять уеду, и не знаю, когда вернусь.

Вы ведь верите мне? Мне так хотелось побыть с Вами.

Если можете, то протелефонируйте мне 40-52 или напишите: Ковенский, 16, кв. 33.

Елиз. Кузьмина-Караваева.

Письма разным лицам

Б. А. Садовскому

3.XII [1913 г.]

Многоуважаемый Борис Александрович, хочу напомнить о Вашем обещании познакомить меня с издателями «Альционы». Просматривая свои тетради, я пришла к заключению, что книжка вместит по крайней мере 70 стихов. Одно меня мучает: я совершенно не умею критически относиться к своим вещам; это очень затруднит выбор.

Скоро (?) наверно увидимся в (нрзб)
Жму руку.

Елиз. Кузьмина-Караваева

С. П. Боброву

27.II 1914

Многоуважаемый Сергей Павлович.

Посылаю Вам и те стихи, о которых говорила; но Вы дали мне возможность свободно выбрать, что посылать, — и я этим воспользовалась.

Надеюсь, что переписала их достаточно четко.

Привет

Елиз. Кузьмина-Караваева

И. С. Книжнику-Ветрову

1.IV 1915

Я так затормошилась перед отъездом, что не дала Вам никаких вестей о себе, Иван Сергеевич. Хотела написать Вам давно, но и здесь было много суеты.

Как мой Юрали принят у Вас?

Думала начать большую новую вещь; мне казалось, что она в большой степени поправит юралины недостатки. А получается скверно: вроде какого-то романа для юношества. Думаю, что это происходит потому, что каждый пишущий должен проникаться не только теоретическими идеями своего труда, но и подчинять им жизнь.

Как это ни (нрзб), но Юрали был тесно связан с моею жизнью; а то, что теперь пишу, — так трудно выполнимо.

Можно даже сказать парадокс: гораздо легче создать что-нибудь и проникнуться этим, чем подчинить себя чужому, даже такому, что теоретически принято.

Вот продолжаю я заниматься своими академическими занятиями (?) и так ясно чувствую, что это самое главное из того, что надо делать, а кроме того — побочное. Это то же, что выбирать обстановку, не начав строить фундамента дома. А если прикинуть как нужно, то камня на камне не останется не только от всего уклада жизни, но и от воспоминаний всех даже.

Я здесь дома, и любила я всегда жизнь здесь за тишину. Но никогда здесь не было такой настороженной тишины, как теперь. А чем тише, тем острее ждешь необходимого.

Пишите мне, Иван Сергеевич, если найдете время и охоту.

Мой адрес: Анапа, Кубанской области. Ящик 17, мне.

Привет.

Елиз. Кузьмина-Караваева

С. Н. Булгакову

16.VII [19]38 г.

Дорогой отец Сергей!

Мне хочется написать Вам о том, как дальше развивались наши дела с отцом Киприаном и как все разрешилось. Вчера вечером Владыка окончательно подтвердил, что он остается у нас. Но решение это достигнуто после целого ряда колебаний и настоящих мук. Эти дни были буквально совершенно изнурительны. В четверг утром он пришел ко мне сказать, что окончательно решил уходить. Причины всё те же: абсолютная неприемлемость для него Православного дела, — при одном упоминании о нем он вздрагивает, как от прикосновения к электрическому току, — полный личный разрыв с нами, нежелание заниматься ничем, кроме книжек, и еще, и еще без конца. Он, мол, знает, что это его пастырский грех, говорит с проекцией на страшный суд, на котором ответит за такое малодушное решение, он, уходя от нас, должен понимать, что это его смерть как священника, но тем не менее сил нет оставаться, терпенья нет и т. д. Он знает, что у нас нет ему места, и в Подворье нет места, и на всем Божьем свете нет места. Все это, и еще многое другое, было сказано так, что я уже не могла сомневаться, что просто передо мной человек в припадке острой неврастении. Мне было очень мучительно от какой-то беспомощной жалости. Не буду Вам передавать того, что я говорила. Руководствовалась я главным образом этим чувством жалости. Но все же все время настаивала, что ни в чем не хочу его убеждать, ни на чем не хочу настаивать, что при-

нимаю любое его решение, поскольку оно свободно. Единственно, что для меня неприемлемо, — это если Владыка прикажет ему оставаться у нас. На это он заявил, что Святитель должен крикнуть на нас и приказать, — тогда все будет просто. Как бы то ни было, мы решили опять-таки ни на чем не останавливаться, а ждать разговоров с Владыкой. В тот же вечер я отправилась на Дарю, два часа рассказывала Владыке все подробности этих дней, старалась быть как можно более объективной и ни на чем не настаивала. Вчера утром отец Киприан пришел ко мне спрашивать о разговоре с Владыкой. За это время у него был отец Михаил и просто нашумел за истерику. Отец Киприан уже как будто забыл о своем вчерашнем решении и был опять в полной неопределенности. Он начал мне ставить условия: никакой работы в Православном деле, отказ от преподавания в четверговой школе, право свободного выбора друзей и еще какая-то ерунда. Я даже не слушала особенно, а на все соглашалась. Сказала только, что мне и моим друзьям не хотелось бы по-прежнему быть отлученными от церкви и что я считаю необходимым, если он останется, то хоть изредка иметь с ним серьезный разговор. Я ему сказала, наконец, что для меня вопрос ясен: если из всякой моей невнятицы, из самого факта, что я пробилась к нему через бойкот, недоброжелательство и злобу, из всех моих подспудных мотивов, — до него ничего не дошло, — то он должен уходить. Если же дошло хоть что-нибудь, пусть в самом непонятном виде, как отзвук какой-то, — то он должен оставаться, потому что говорила я о самом главном, а остальное только как некоторый гардероб человеческой души, который и не так уж важен. Во всяком случае, решение должно быть свободным, и я заранее принимаю любое решение. Трудно в письме передать и эти наши разговоры, и вообще атмосферу вчерашнего дня. В какой-то промежуток ко мне забежал еще отец Михаил, — он умолял считаться с тем, что отец Киприан находится в состоянии острого неврастенического припадка и ни на какие его слова нельзя обращать внимания. Вечером он отправился к Владыке. Я ждала его возвращения до одиннадцати. Наконец он пришел, совершенно замученный, прямо упал в кресло и сказал трагическим голосом, что, очевидно, он остается у нас, но это ему нестерпимо тяжело. Я пыталась его утешить в этой горе. Теперь мы оба мечтаем два месяца отдыхать друг от друга.

Легко мне или тяжело, — я сама не знаю. Знаю, что я с невероятным упорством и напряжением шла эти 20 дней и против собственной воли, и против воли отца Киприана. И совершенно убеждена, что так было нужно. Во

всяком случае, сейчас как-то дьявол посрамлен. Надолго ли? Думаю, что отец Михаил прав, — и помимо всего прочего мы имеем дело с разлитым морем неврастений.

Конечно, я понимаю, что, идя на все эти разговоры, я раз и навсегда отказалась от возможности сожалеть и раскаиваться в том, что получилось. Я и не сожалею. Но задумываться приходится: как налаживать эту нашу будущую совместную жизнь, учитывая и неврастению, и какую-то одержимость, и неприязнь ко мне, и трудности работы, и неизбежное непонимание всего происшедшего со стороны моих друзей и сотрудников? Думаю, что в личных наших отношениях по его возвращении буду устанавливать некий душевно-лазаретный режим. В смысле работы трогать не буду. А там что Бог даст.

Вот и вся наша повесть. Хочу надеяться, что дальше будет и легче, и лучше. Написала Вам, и немного от души отлегло.

Ваша монахиня Мария

17.IX 1939 г.

Дорогой отец Сергей,

с большим сомнением берусь я писать Вам это письмо: с одной стороны, знаю, что все Ваши близкие не хотят Вас волновать, с другой стороны, ставлю себя на Ваше место и знаю, что не простила бы никому, если бы от меня скрыли какую-нибудь беду, происходящую с моим другом. Кроме того, имею формальное поручение, которое должна Вам передать. Знаете ли Вы, что Василий Васильевич Зеньковский арестован? Он сидит сейчас в тюрьме Санте, числится за военной властью, и до сих пор никому не удалось добиться свидания с ним, — даже отцу Михаилу, который вообще допускается к русским арестованным. Наверное, все это недоразумение, которое выяснится, когда власти разберутся в его деле. Сейчас оно еще не дошло до прокурора, — так много арестованных, что поэтому происходят всякие путаницы и задержки. Во всяком случае, нам удалось установить, где он, и отец Михаил передал ему 200 франков. Кроме того, я просила адвоката, бывшего депутата и Министра Лафона взяться за его дело. Тот написал Вас. Вас. письмо. Сегодня я получила от В. В. письмо, в котором он пишет, что ответил Лафону, просит денег, просит, чтобы мы ему исколотали разрешение на посещение священника со Святыми Дарами, и пишет несколько слов о себе. Он, видимо, очень подавлен. Письмо его производит очень тяжелое впечатление. Он просит, чтобы я написала Вам, так как он «испы-

тывает крайнюю потребность в Ваших молитвах». При чтении письма я даже расплакалась, — до того он там одинок и подавлен. Считаю, что я не имею права не передать Вам его просьбы. В ответ на его письмо я немедленно написала Лафону, чтобы он хлопотал о переводе его в тюремную больницу и о разрешении отцу Михаилу причастить его. Пьянов послал ему деньги. Вообще, мы будем делать все, что в наших силах, во-первых, чтоб облегчить его пребывание в тюрьме, во-вторых, чтобы добиться скорейшей его реабилитации и выхода на свободу.

Больше сейчас ни о чем писать не хочется.

Я буду рада, если мы сможем ему помочь.

Ваша монахиня Мария

Письма матери, С. Б. Пиленко

[27.II 1943 г.]

Дорогая моя мамочка. Мы вместе вчетвером. Я часто вижу Юру. Он хорошо себя держит, как и мы. Мне было бы хорошо, если бы я не беспокоилась за тебя. Скажи Даниилу, что он может работать свободно, для нас самое необходимое — продукты питания, но вообще мы не голодаем. Вы можете поочередно посылать нам посылки. Пришлите макароны, картофель, фасоль, здесь есть возможность стряпать. Я бы хотела иметь тетрадь и ручку и что-нибудь для вышивки, а также белых ниток. Я думаю, что вам без нас труднее, чем нам самим. Писать можно раз в месяц. Можно присылать посылки, оплачиваемые Красным Крестом. Меня поместили в большой зал с 34 женщинами. Все хорошо организовано. Мы гуляем 2 часа в день. Это неплохо. Я надеюсь, что мы просидим недолго. Ты должна быть спокойной и не бояться за нас. Отец Дмитрий бодр и занимается. Юра увлечен новыми знакомствами, для него это познавательно. Я рада, что мы вместе. Скажи С. В., что я уверена в том, что она прекрасно справляется без меня, и я ее благодарю за всю работу. Я все время думаю, что для тебя и Даниила это испытание труднее, чем для нас. Пусть он ничего не меняет в своей обычной жизни, не имеет смысла: хлопотать должны друзья. Посылки я прошу не только для себя, а так, чтобы я могла кое-что выделить для союзников, которые все со мной делятся. Единственное, что меня огорчает, — это мысли о твоём горе. Здесь мы отдыхаем, и у нас много свободного времени. Мы не несчастны.

Я целую всех.

ММ

Дорогая мамочка.

Юра и его друзья нас покинули, но я, вероятно, скоро их увижу. Не беспокойся насчет посылок. Игорь и Софья имеют опыт, как их посылать туда. Я хотела бы как можно скорее воссоединиться с ними. Настроение мое и здоровье очень хорошие. Здесь немного шумно. Я за тебя беспокоюсь. Как дом? Я не получила еще ни одного письма, только две посылки. Напиши Даниилу, что я много думаю о нем. Я думаю, что С. В. сейчас трудно. Я нахожусь с вами больше, чем здесь. Я даю уроки русского языка. Здесь хорошо.

ММ

[XII 1943 г.]

Дорогая моя мама, уже третий раз пишу тебе, но, к сожалению, от тебя нет ответа — ни письма, ни посылки. Я ничего не знаю о Юре — это рок. О себе я могу только сказать, что сейчас уже можно надеяться, что здоровье мое до конца заключения останется хорошим. Я чувствую себя сильной и крепкой, огромное желание всех вас увидеть и знать, что вы живы и счастливы. Я так много думаю обо всех друзьях, о работе, о будущем, больше всего всегда о Юре. Что делает Тамара Кл. и как ее муж? Я не хочу задавать много вопросов. Вы должны знать, что все меня интересует. Письмо или посылку я жду каждый день. Не беспокойтесь обо мне, все хорошо. Я стала совсем старой.

ММ

[4.IV 1944 г.]

Дорогая моя мама. Получила от тебя 3 посылки, деньги и письмо. Не посылай мне сигарет и ничего, что нужно варить. Масло, яйца и печенье прибыли совершенно свежими. Я так рада была получить от вас всех вести. Если б я могла только знать адрес Юры. Не посылай мне больше денег, у меня вполне достаточно. Я здорова и жду с нетерпением, когда увижу всех моих любимых. Скажи моим друзьям из церкви и другим, чтобы они мне что-нибудь прислали к Пасхе. Это будет для меня большой радостью. Что будет с православным Западом? Я благодарю тебя. Я много думаю о том, как все будет дальше, где каждый будет оставаться, что будет с Юрой.

Пиши мне.

ММ

Приложение

Письма Юрия Скобцова отцу (Д. Е. Скобцову) и бабушке (С. Б. Пиленко)

1.IV 1943

Любимые мои.

Наше состояние зависит от вашего. Напишите маме, что у меня все хорошо и что думаю я лишь о вас. Нежно-принежно целую бабушку, папу, Жану, О. М. Я тронут вашими заботами обо мне, но не лишайте себя. Храни вас Господь. Будьте счастливы. Пошлите мне ваши фотографии в посылке. Тебе, Жан, поручаю бабушку. Я ведь тебе доверяю и горжусь тобой.

Мои любимые и самые дорогие.

Как мне отрадно было получить от вас письмо. Стало быть, вы «тихо и мирно» живете — это для меня самая большая радость. Все время только о вас и думаю, вы же моя радость и мой смысл жизни. Вы уже наверное знаете, что я виделся с мусенькой в ночь ее отъезда в Германию, она была в замечательном состоянии духа и сказала мне, что видела папу, у которого был слишком горестный вид, и что очень его нежно и крепко любит, что мы должны верить в ее выносливость и вообще не волноваться за нее, каждый день мы ее поминаем на проскомидии (и вас тоже), о басеньке она сказала, что мы не ценили, как мы любим друг друга, и главное ее беспокойство — это о ней, ничего, не надо огорчаться, что оказалось мало друзей, — зато мы теперь будем знать, кто наш настоящий друг. Передайте мою любовь и благодарность кумусеньке, я был абсолютно уверен в ней. Живем мы сейчас хорошо, в отдельной комнате, и каждое утро служим попеременно, как в монастыре; благодаря ежедневным литургиям, здешняя жизнь совершенно преобразилась, и я, честно говоря, ни на что не могу пожаловаться, живем мы вчетвером по-братски и любовно, с Димой я на ты, и он меня готовит к священству. Надо уметь и стараться познавать волю Божью, ведь это меня всю жизнь влекло и, в конце концов, только это и интересовало, но затиралось парижской жизнью и иллюзиями на «что-то лучшее», как будто м[ожет] б[ыть] что-то лучшее, но меня лишь немного мучают практические соображения: вопрос женитьбы, но, по-моему, и это может легко разрешиться, в особенности если Господу будет угодно сделать из меня Его служителя; ты мне когда-то говорил, папа, что это «последнее дело».

Но мне кажется, что ты ошибался. Нас очень взволновали церковные новости; папа, напиши Тамаре, чтобы она повидала компетентных лиц и подробно бы написала Диме (при первой же возможности) о церковном положении, волнующий вопрос след<ующий>, является ли церковное соединение только с Петелем или также и с берлинской юрисдикцией? Очень я часто думаю о Ниццком владыке Владимире, который служит для меня образом истинного священнослужителя. Если сможете, то напишите ему о моих желаниях и моих чувствах к нему.

<...> Я вам обещаю вынести с честью в сезон моногония и не падать духом, самое тяжелое уже позади. Это самое тяжелое было — отправка из Романвиля сюда (26—27 февраля). Теперь я на все готов и моя главная мысль — это чтобы вы были живы и здоровы, а если так, то ничего не страшно. Храни вас Господь, мои любимые и хорошие.

Юра

24.VIII [19]43

Дорогие, любимые мои!

Я был так рад получить ваше письмо и снова убедиться, что у вас все хорошо. Я уже думаю, что ничего у вас не узнаю, когда вернусь. Фотографии, которые вы мне прислали, конкретизируют мои мысли о вас. У меня впечатление, что вы подумали, что я собираюсь стать священником уже завтра. Нет! это не так, к чему спешить? Времени у меня много, так что не волнуйтесь. Я узнал, что маме можно написать 40 слов, но адрес назначения остался секретным. Я обращаюсь с прошением к коменданту лагеря, чтобы мне разрешили ей написать. Я постоянно о ней думаю. Я надеюсь, что нам скоро дадут право свидания. Ростан получил вашу посылку. Я так рад, дорогие мои, что с вами Жан, который вас не покинет, я отношусь к нему как к брату и горжусь, им. Поцелуйте от меня Веру и поблагодарите ее за все то, что она для нас делает. Как ее сын? Я хорошо себя чувствую и физически, и морально. Я даже потолстел, у меня теперь двойной подбородок, вы сами увидите, когда вам разрешат свидание.

Не забудьте мне прислать средство от выпадения волос, носки, штаны, трусы и еще пару соломенных сандалий, какие вы уже присылали.

Господь с вами, дорогие мои, любимые.

Ваш сын и внук, который думает только о вас

[Первая половина декабря 1943 г.]

Дорогие мои, Дима благословляет Вас, мои самые любимые! Я еду в Германию вместе с Димой, от. Андреем и Анатолием. Я абсолютно спокоен, даже немного горд разделить мамину участь. Обещаю Вам с достоинством все перенести. Все равно рано или поздно мы все будем вместе. Абсолютно честно говорю, я ничего больше не боюсь: главное мое беспокойство — это Вы, чтобы мне было совсем хорошо, я хочу уехать с сознанием, что Вы спокойны, что на Вас пребывает тот мир, которого никакие силы у нас отнять не смогут. Прошу всех, если кого чем-либо обидел, простить меня. Христос с Вами! Моя любимая молитва, которую я буду каждое утро и каждый вечер повторять вместе с Вами (8 ч. утра и 9 веч.): «Иже на всякое время и на всякий час...» С Рождеством Христовым! Целую и обнимаю, мои ненаглядные.

Ваш Юра

Стихотворения

В настоящем разделе с возможной полнотой представлены опубликованные на сегодня поэтические произведения м. Марии. Они дают ясное представление о творчестве поэтессы за тридцатилетний период: с 1911 по 1942 г. Однако в зарубежных архивах еще хранится и ждет своей публикации немалое количество стихотворений, оставшихся в рукописях. Современная исследовательница справедливо отмечает: «Начало XX века... подарило русской литературе три поэтических женских имени — Анна Ахматова, Марина Цветаева и Елизавета Кузьмина-Караваева. Только теперь, на исходе века, Ахматова и Цветаева заняли в современной культуре достойное место. Узнать и признать поэзию Кузьминой-Караваевой, матери Марии, нам еще только предстоит, она остается пока „белым пятном“ в серебряном веке и в наши дни»¹.

Первая книга — «Скифские черепки» (1912) — принесла Е. Ю. Кузьминой-Караваевой поэтическое имя. Однако, по существу, она осталась «вещью в себе»: скифскую тему поэтесса больше не продолжала и стихи из «Черепков» сама никогда не перепечатывала. Ныне, по истечении многих десятилетий, этот сборник можно оценить как своеобразную пробу пера. В то же время его стихи представляют немалый исторический интерес в контексте изучения поэзии русского «серебряного века» и деятельности «Цеха поэтов».

¹ *Кайгаш-Лакшина С. Н.* Религиозный поэт XX века — Елизавета Кузьмина-Караваева, мать Мария // *Сестры Аделаида и Евгения Герцык и их окружение. Материалы научно-тематической конференции.* Москва; Судак, 1997. С. 67.

Книгу «Дорога» Елизавета Юрьевна комплектовала стихотворениями, написанными в 1912—1913 гг. в Анапе и Бад-Наутейме, куда она ездила весной 1912 г., сразу после выхода в свет «Скифских черепков». Подобно «Черепкам», «Дорога» разбита автором на циклы. Рукопись книги поэтесса высылала из Москвы на просмотр Блоку, сопроводив письмом, где говорилось: «...мне необходимо, исключительно для себя, издать книгу...»¹ Блок сделал на рукописи множество самых разнообразных помет и замечаний², но от совета, опубликовать ли книгу, дипломатично уклонился. В том же письме Елизавета Юрьевна писала: «...попытаюсь переработать ее соответственно Вашим указаниям и издам»³. Об этом она вела переговоры с московским издательством «Альциона», о чем свидетельствует ее письмо поэту Б. А. Садовскому⁴.

Однако издание не осуществилось. «Дорога» осталась не доработанной автором. Лишь отдельные стихотворения из нее публиковались в умеренно-футуристическом журнальчике «Руконог». В течение многих лет об этой книге Е. Ю. Кузьминой-Караваевой ничего не было известно. Лишь в 1995 г. рукопись «Дороги» объявилась на зимнем книжном аукционе в Москве и была приобретена Российской национальной библиотекой (Петербург).

Вторым опубликованным сборником стихотворений Кузьминой-Караваевой стала «Руфь», вышедшая в 1916 г. Структурно (повторяются даже названия некоторых циклов) «Руфь» напоминает «Дорогу». В нее включены девять стихотворений из «Дороги» (при этом автор не всегда учитывала пометы Блока), стихи же об ожидании ребенка в новый сборник не перешли: в 1916 г. это уже было «не актуальным». Но зато появился новый цикл — «Война».

«Руфь» — книга более зрелая во всех отношениях, чем «Дорога», не говоря уже о «Скифских черепках». Но ситуация в российском обществе к этому времени столь резко изменилась, что книга прошла фактически незамеченной (известен лишь отзыв С. Городецкого в тифлисской газете)⁵.

По существу, этим и ограничивается дореволюционный этап поэтического творчества Кузьминой-Караваевой: в журналах были, правда, еще опубликованы отдельные стихотворения, а большая поэма о Мельмоте оказалась явно недоработанной и вряд ли в таком виде предназначалась для печати.

Поэтическое творчество м. Марии эмигрантского периода достаточно объемно и по-настоящему не исследовано. Отметим

¹ Кузьмина-Караваева Е. Ю. Наше время еще не разгадано... Томск, 1996. С. 140.

² Шустов А. Н. Неизданная книга Е. Ю. Кузьминой-Караваевой с редакторскими замечаниями Блока // Труды Гос. музея истории С.-Петербурга. Вып. 4. СПб., 1999. С. 130—138.

³ Кузьмина-Караваева Е. Ю. Наше время еще не разгадано... С. 140.

⁴ РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 81.

⁵ Кавказское слово. 1917. 21 июня.

интересную деталь: публикации в солидном парижском журнале «Современные записки» Елизавета Юрьевна, уже будучи Скобцовой, подписывала своим первым поэтическим именем — Кузьмина-Караваева. Поэтессы Е. Ю. Скобцовой номинально как бы не существовало, хотя ее стихотворения 1929—1931 гг. известны. Аналогично и в некоторых прижизненных сборниках — Кузьмина-Караваева, а не монахиня Мария. Тем самым она подчеркивала свою органичную и непрерывную связь с до-революционной русской поэтической традицией.

Единственный поэтический сборник — «Стихи» (под именем «Монахиня Мария») — был издан автором в Берлине в 1937 г. В него вошло сравнительно немного стихотворений. Он традиционно разбит на циклы, на этот раз на два: «О жизни» и «О смерти». Скорбное название второго обусловлено отъездом дочери м. Марии, Гаяны, в СССР и ее смертью в Москве.

Книга «Стихи» — вершина поэтической зрелости м. Марии. В ней собрано все лучшее, написанное ею к этому времени.

Книга вызвала много теплых отзывов современников. Высоко оценивается она и в наше время; писатель В. Г. Лидин так охарактеризовал ее: «...это уже не поэзия — это кровь, это сердце, это дух, и библиофилу остается только, найдя эту книгу, поставить ее в ряд тех книг, которые должно особенно беречь»¹.

Других попыток издания своих стихотворений м. Мария не предпринимала, хотя и жила стихами до конца дней своих.

Вскоре после окончания второй мировой войны в Париже вышли два посмертных сборника под именем «Мать Мария» (сама она так никогда не подписывалась): «Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк» (1947) и «Стихи» (1949).

Сборник 1947 г. был подготовлен мужем м. Марии, Д. Е. Скобцовым. Он весьма скромнен по объему, грешит ошибками (опечатками), но ценность его в том, что в него включены поэмы «Похвала труду» и «Духов день», а также впервые опубликованы мистерии «Анна» и «Солдаты».

Сборник 1949 г. вышел под редакцией Г. А. Раевского. Составлен он вполне профессионально. Весь корпус стихотворений разбит на тематические циклы в стиле автора. Вошедшие в него стихотворения 1930-х гг. — первопубликации. Вместе со сборником 1947 г. он уже мог дать ясное представление о м. Марии как о русском религиозном поэте.

В книгу 1949 г. включена также мистерия «Семь чаш». Как следует из предисловия составителя, пьеса «написана в последний год перед арестом м. Марии (в 1942 г.). Интермедия о безработных создавалась в результате ее личного опыта. <...> Интермедия „Израиль“ написана также под впечатлением личного опыта. С самого начала гонений на евреев м. Мария восприняла их с мучительной остротой и отдалась всецело делу помощи гонимым»².

Сборник 1949 г. был издан Обществом друзей м. Марии, и на обложке его значилось, что «средства, вырученные от про-

¹ Лидин В. Друзья мои — книги // Новый мир. 1981. № 3. С. 180.

² Мать Мария. Стихи. Париж, 1949. С. 76.

даже книги, поступают в фонд издания посмертных трудов матери Марии». Однако таковых не последовало, и оба сборника (1947 и 1949 гг.) ныне являются библиографической редкостью.

Шли годы, м. Марию как поэтессу не забывали: стихи ее, правда в небольших количествах, включались в различные зарубежные сборники и антологии. На родине первые подборки стихов поэтессы появились в конце 1970-х гг. (публикации *Е. Н. Микулиной*, *Е. М. Богата* и др.)¹. Как правило, это были перепечатки из ранее вышедших книг (1937 и 1949 гг.). Позже начали появляться и единичные первопубликации.

Подлинным «прорывом» в мир поэзии м. Марии стали подборки рижанина *Б. В. Плюханова*. В середине 1930-х гг. Борис Владимирович был активным членом латвийского РСХД. Тогда же он был командирован в Париж для стажировки и налаживания контактов с центром движения. В Париже он познакомился и, несмотря на разницу лет, подружился с м. Марией. Она доверила Плюханову переписать множество стихов из своей поэтической тетради. Позже Б. В. Плюханов собрал стихи, не включенные автором в сборник 1937 г., и опубликовал их большие подборки в рижском журнале «Даугава» (1987) и в Ученых записках Тартуского университета (1988). Но особенно впечатляющей оказалась его публикация в парижском «Вестнике РХД» (1991), в которую вошло 26 до той поры неизвестных стихотворений.

Не менее интересными являются и публикации многих стихов м. Марии в книге протоиерея *С. Гаккеля* (Великобритания) «Мать Мария». Книга эта неоднократно издавалась на русском языке в Париже и в Москве. С. Гаккель — хранитель части архива м. Марии. В своих примечаниях он уточнил, по авторским (или переписанным рукой С. Б. Пиленко) рукописям, редакции многих строк и датировку.

Стихотворные подборки последних лет в основном вторичны. Исключение — публикация *Т. В. Емельяновой* в журнале «Новый мир» (1998), которая впервые дала тексты пяти стихотворений из парижского архива.

Поэтическое творчество м. Марии комплексно не исследовалось и не имеет объективного литературоведческого анализа. В отдельных посвященных ей работах можно встретить диаметрально противоположные оценки — от откровенно нелепых, свидетельствующих о полном непонимании личности поэтессы («Религиозность в ее поэзии в своем роде внешний декор, за которым открывается общечеловеческая философская суть» — *А. Сабов*), до возвышенно-комплиментарных, но столь же безответственных («Поэзия матери Марии мистична в самом высоком смысле этого слова» — *М. Роцин*).

Наиболее глубокое проникновение в мир поэзии м. Марии отличает статьи эмигрантских критиков (некоторые из них

¹ *Шустов А. Н.* Библиографический указатель литературных, философских, публицистических и художественных произведений *Е. Ю. Кузьминой-Караваевой* (матери Марии). Томск, 1994.

знали автора лично): К. Мочульского¹, Ю. Терапиано², Т. Величковской и других.

Мочульский сказал как-то о м. Марии, что «она пишет стихи запоем <...> Никогда стихи не отделяет». Г. Раевский «поправил» его: «почти не отделяет». Им противостоят иные мнения. «В самое последнее время исследование ее литературного архива показало, что м. Мария нередко работала над отделкой стихов достаточно тщательно, — писал Е. М. Богат, — но разве дело в том, насколько искусно огранены те или иные строки?! Стихи м. Марии нечто большее, чем стихи в обычном понимании. Она писала их не для печати, а потому, что не могла не выявить душевную боль, духовный поиск, перенасыщенность впечатлениями, порой безысходно тяжкими»³.

Аналогичную оценку ранее дала и Т. Величковская: «Стихи матери Марии — *огненные*, но это не только пламя пожара, но и свет перед образом. Неугасимый светоч любви к Богу и людям». И далее, процитировав М. Цветаеву: «Что мы можем сказать о Боге? — Ничего. Что мы можем сказать Богу? — Все», заключила: «Мать Мария все и говорила»⁴.

Из советских исследователей, оставивших столь же проникновенные отзывы, можно назвать М. И. Алигер, Д. Е. Максимова, З. Г. Минц и других.



Стихотворения расположены в следующей последовательности: прижизненные книги и примыкающий к ним сборник «Стихи» (1949), а затем посмертные публикации из разных источников. Композиции прижизненных изданий сохранены без изменений, что дает представление об авторе как составителе. Такой подход объясняется к тому же невозможностью единого комплектования произведений в строго хронологическом порядке, ибо датировка стихов представляет значительную сложность (в подавляющем большинстве случаев авторские даты отсутствуют). Даты, заключенные в угловые скобки, приняты по данным английского архива (см.: *Гаккель С.* Мать Мария. Париж, 1992. В дальнейшем, в комментариях: *Гаккель* с указанием страницы).

Состав книг и подборок воспроизводятся без тех произведений, которые входили в предшествующие книги и, соответственно, представлены в настоящем томе в составе этих книг. Опубликованные Е. М. Богатом четыре стихотворения (см.: *День поэзии.* 1984. С. 125—126) в настоящий том не включены, поскольку принадлежность их м. Марии более чем сомнительна.

¹ Путь. (Париж). 1937. № 53. С. 86—87.

² Круг. (Берлин). 1937. № 2. С. 164—165. (Переизд. в кн.: *Дальние берега. Портреты писателей эмиграции. Мемуары.* М., 1994. С. 200—203).

³ *Богат Е.* Мать Мария (Е. Ю. Кузьмина-Караваева) // *День поэзии.* 1984. М., 1985. С. 24.

⁴ *Величковская Т.* О поэзии матери Марии // *Возрождение.* (Париж). 1969. № 205. С. 89.

Авторская нумерация стихотворений внутри циклов сохранена. При отсутствии авторской нумерации внутри циклов она дается составителем и ставится в квадратные скобки. Все тексты приводятся на основании источников их первых публикаций, что оговаривается в соответствующих примечаниях. Тексты из книги: Кузьмина-Караваева Е. Ю. Избранное. М., 1991 — в расчет не принимались как заведомо вторичные и несвободные от опечаток. Позднейшие переиздания указываются в отдельных случаях.

Все тексты стихотворений книги «Дорога» публикуются по изданию: «Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок», подготовленному нынешним собственником рукописи — Российской национальной библиотекой (Санкт-Петербург). Выражаем признательность рукописному отделу РНБ за разрешение опубликовать тексты стихотворений из этой книги.

Отдельные разночтения текстов не приводятся, но оговариваются в примечаниях. Орфография и пунктуация везде приближены к современным нормам. Исправление явных опечаток не оговаривается.

Насыщенность поэзии Кузьминой-Караваевой библейскими образами, в основном новозаветными (апокалипсическими в первую очередь) потребовала обширных примечаний. Однако они далеко не исчерпывают всего объема библейских включений и всей многоплановости их бытований в текстах Кузьминой-Караваевой. Это и единичные лексические заимствования, сюжеты священной истории, ее персонажи, основные идеи (*грех, воздаяние, Божий суд, воскресение, благодать, жизнь вечная, добро и зло*) и сама система метафор, опредмечивающая идеи. Из них не потребовали, на наш взгляд, пояснений библеизмы, прочно связанные в сознании читателя со Священным писанием (*рай, аг, жертва, грех, завет, заповедь, обет, закон, чудо, тайна, благодать, блаженство*), с евангельским повествованием о земной жизни Иисуса (*Голгофа, терновый венец, крест, крестные муки*). Не комментируются, как правило, именованья Господа, широко известные или принадлежность которых ясна из контекста (*Отец, Сын, Дух, Агнец, Судья, Искупитель, Пастырь, Саговник, Орамай, Восток, Солнце*); именованья Пресвятой Богородицы (*Вечная Дева и Мать, нетленнойшая Невеста, Покров вечный, Царица всех народов, Преображенная Жена*). По тем же основаниям не поясняются и прозвания сатаны (*враг, змей, дракон, тать, иносказательное: сеющий плевелы*).

Понятия, входящие в круг постоянных размышлений автора, пронизывающие все тексты и, соответственно, многократно повторяемые, комментируются избирательно, в тех случаях, когда этого требует контекст или когда их библейская основа не выступает отчетливо.

Таким сквозным для автора понятием является «срок» — синоним Судного дня, грядущего воздаяния и воскресения через смерть. Постоянны и сопутствующие ему определения — это или временные характеристики (*последние, близящиеся, вечные, свершающиеся*), или визуальные (*огневые, блистающие, сверкающие, слепительные, пламенеющие*). Исполнение «сроков» связано с изменением природы времени, отсюда часто варьируемое апокалипсическое указание: «времени больше не

будет» (*время застыло, исход времен, исчислен ход времен*). Ему рядоположен образ неба (пространственное воплощение времени), «свивающегося как свиток» («*небесная сдвинулась полость*»). Система этих образов включает представление о «преображении темной плоти» и начале «нетленной вечности» («*мир Твой восстанет нетленным*»). Преображенный мир, как и в Откровении, назван Новым, Небесным, священным Иерусалимом. Нередко в том же значении выступает и Земля Обетованная, как пространство нового, «преображенного Лада». В насыщенных реалиями Апокалипсиса произведениях (*Ангелы, снимающие печати с книги, архангел с мечом, труба, возвещающая Судный день, чаши гнева, белый конь, Агнец, Преображенная Жена*) главенствуют два образа — жатвы и огня. Жатва выступает то как суд и воздаяние, то как смерть и грядущее воскресение. Эта двуплановость реализуется в разветвленной системе метафор (*пахота, урожай, серп, Жнец, отделение соломы от зерна, уничтожение плевел; сев, умирание зерна, истлевание и возрождение его в колосе*). Огонь как очищающая сила, как одномоментное и неотвратимое воздаяние — ключевое для Кузьминой-Караваевой понятие (*очистительный пожар; Суд велит гореть в огне; как плевелы сгорая, ждем мы все огня костра; сокрушена гуша пожаром; мой конец огнепальный; взметнусь как искр золотая стая*).

Еще одна тема, к которой автор постоянно возвращается, — испытание веры: вновь и вновь возникает в стихах апостол Петр, отрекшийся от Учителя, Иов, разуверившийся в справедливости Господа.

Таким образом, размышление о судьбе (пути) человека, о конечных судьбах мира, о преображении всего сущего составляют основное содержание поэзии Кузьминой-Караваевой.

Скифские черепки. Первое отдельное изд.: СПб., «Цех поэтов», 1912 (на титуле: Е. Кузьмина-Караваева). Полностью книга была переиздана в составе сб.: *Кузьмина-Караваева Е. Ю.* Наше время еще не разгадано... Томск, «Водолей», 1996. Печатается по первому изданию.

КУРГАННАЯ ЦАРЕВНА

С. 28. «Смотрю, смотрю с одинокой башни...». Первая строфа перекликается с А. Блоком: «одна, с холодной башни / Все глядит она / На поля, леса, озера, пашни» («Королевна», 1908).

«Половина обгащенного кольца...»

понт — древнегреческое название Черного моря (Понт Эвксинский), на берегу которого в Анапе Кузьмина-Караваева жила с четырехлетнего возраста. Так называла она и цикл своих первых стихов, что отмечено в дневниковой записи А. Блока: «Елизавета Юрьевна читала свои стихи черноморское побережье, свой „Понт“» (17 нояб. 1911 г.).

фата-моргана — оптическое явление, сложный мираж, при котором видны мнимые, быстро изменяющиеся изображения объектов, лежащих за горизонтом; здесь в значении: призрачная, кажущаяся реальность.

багряница — ткань багряного цвета (порфира) и одеяния из нее, носимые владетельными особами, царями.

пиршественная влага — речь идет о языческом обряде поминовения усопших — тризне, сопровождавшейся пиршеством.

С. 29. «У всех есть родина любимая...»

...*Ищу Иерусалима я, / Земли мне богоданной...* — Здесь Иерусалим, как библейско-иудейский город, приравнен к понятию «богоданной», т. е. обетованной земли («краса всех земель», обещанная Богом Аврааму и его потомкам — см. Быт 12: 7); образ идеального жизнеустройства.

С. 29—30. «Он в рабство продал меня чужому тирану...»

...*Дерево скоро погрубит секира* — восходит к евангельскому выражению: «Уже и секира при корне дерев лежит» (Мф 3: 10; Лк 3: 9); образное указание на приближение Судного дня.

С. 30. «Я весь путь, весь путь держалась за стремя владыки...». Две первые строки — переключка со строками из стих. К. Гамсуна в переводе С. Городецкого (рус. изд. 1910 г.): Сейчас поеду я верхом. / И стремя поддержи, раба! Я сяду — / Ты побежишь со мною рядом.

НЕВЗИРАЮЩИЙ

С. 33. «Тот, кто в рану вложил мне кровавые пальцы...». Тема стихотворения навеяна романом Ч. Р. Метьюрина «Мельмот Скиталец» (в рус. пер. 1894 г.), героиня которого — островитянка Иммали — привержена душой таинственному скитальцу.

...*в рану вложил мне кровавые пальцы...* — Апостол Фома не поверил в воскресение Учителя, пока не получил осязаемые доказательства, вложив пальцы в раны Христа (см. Ин 20: 25, 27). Здесь библейский образ присутствует как фразеологический оборот в значении: «касаться самого больного, намеренно мучить».

С. 35. «Я склонила голову мою...»

нирвана — в буддизме мистическое состояние полного покоя и высшего блаженства.

НЕМЕРКНУЩИЕ КРЫЛЬЯ

С. 38—39. «Причастились благодати...»

«*Дня и часа бо не весте*» — контаминация церковнославянских евангельских цитат: «О дне же том и часе никто не вестъ», «не весте дне ни часа», «не весте бо, когда время будет» (Мф 24: 36, 25: 13; Мк 13: 32) — никто не знает ни дня, ни часа своей кончины.

серафим — один из девяти ангельских чинов, занимает первое место в первой триаде, т. е. является наиболее приближенным к Богу.

«Ты рассек мне грудь и вынул...»

...*Знаю, — царство ваше, дети...* — ср: «...Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне; ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф 19: 14; ср. 1 Кор 14: 20; 1 Пет 2: 2).

С. 39—40. Песнь Иммали. См. примеч. к с. 33 («Тот, кто в рану вложил мне кровавые пальцы...»).

С. 40. Когда времени больше не будет. Название стих. (ср. Отк 10: 6) и вся система образов соотносятся с апокалипсической картиной Последнего суда (ср. Отк 6: 14, 20: 11-13, 21: 3-4).

...небеса словно огненный свиток совьются... — ср.: «небо скрылось, свившись как свиток» (Отк 6: 14).

С. 41. Послание Д. Д. Б. Посвящено театральному художнику Д. Д. Бушену (1893—1993), двоюродному брату Д. В. Кузьмина-Караваева. Летом 1911 г. Е. Кузьмина-Караваева вместе с ними отдыхала в тверском имении своего свекра в Борискове, под Бежецком, где они занимались живописью.

Нальется сердце мукою... — отголосок монолога царя Бориса Годунова: «Душа горит, нальется сердце ядом» (А. С. Пушкин. «Борис Годунов»).

Дорога. Книга готовилась автором в печать, но не была издана. Нынешний владелец рукописи — Российская национальная библиотека (РО РНБ. Ф. 1000. Собр. отд. поступл. 1995.34. 62 л.). В рукописи книга имеет подзаголовок — «лирическая поэма». Из 56-ти стихотворений «Дороги» нами исключены стихи, вошедшие в прижизненные авторские издания: журналы и книгу «Руфь». Остальные 44 публикуются в *окончательной авторской редакции* по: «Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок», изд. РНБ, СПб., 2001.

С. 42—43. «Город больных сердец...»

алкать — испытывать голод, сильно желать чего-либо.

С. 43. Notre Dame. Notre Dame — название католической и лютеранской церкви в честь Мадонны (Богоматери). Стихотворение (как и следующее за ним с тем же названием) написано в курортном городке Бад-Наугейм, где Кузьмина-Караваева лечилась и отдыхала весной 1912 г. Там имелась церковь Dankeskirche и Hollur's Kapell (со статуей Мадонны). Подробнее об этом см.: *Емельянова Т.* Немецкий курорт Бад-Наугейм в восприятии А. А. Блока и Е. Ю. Кузьминой-Караваевой // Вестник РХД. 2000. № 181. С. 186—202.

благой — добрый, хороший, добродетельный; здесь в значении: *блаженный* — угодный Богу, истинно верующий (ср.: «блаженны все уповающие на Него (Господа)» — Ис 30: 18).

«Я не хотела перепутья...»

...гнезда есть у вольных птиц / И у зверей земных берлоги — восходит к словам Христа: «...лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф 8: 20; Лк 9: 58). Себя поэтесса уподобляет вечной страннице и бездомнице.

С. 44. «Мне нечего уже жалеть...»

...губ растет / Среди равнин... — отголосок начала известной песни «Среди долины ровных...» (бытует как народная, автор текста А. Ф. Мерзляков).

С. 45—46. «Теперь, когда я ближе к цели...»

Бог Сил — Саваоф: одно из библейских имен Бога; встречается в Ветхом Завете.

С. 46. «Дорога ослепит, изгорбит...»

...*гук, как в дни создания, рад.* — Каждый из шести дней творения мира освящен радостью Создателя. В тексте книги Бытия (т. н. Шестодневе) рефреном повторяется фраза: «И увидел Бог, что это хорошо» (см. Быт 1: 3, 8, 10, 18, 21, 31).

ВЕСТНИКИ

С. 47—48. «Кто знает, тот молчит...»

...*к вечности нетленной / ...вестник протрубил...* — восходит к новозаветному тексту: «говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор 15: 51-52; ср. 1 Фес 4: 16).

С. 48. «Свершены ль железные законы?..»

Садовник — в образной системе Библии и в народном мифопоэтическом мышлении сад — один из символов рая. Первый Садовник и Сторож этого сада — Бог.

НАЧАЛО

С. 50. «Много шумело и стихло неясных, обманчивых вёсен...»

...*не воскреснут, пока не истлеют, как мертвые, злаки* — восходит к евангельскому образу воскресения через смерть. Иисус произносит: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин 12: 24); ср.: «то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет» (1 Кор 15: 36).

С. 53. «Вы говорили мне о смерти; да, у вас...»

Вы говорили мне о смерти... — воспоминание автора о беседе с А. Блоком во время их первой встречи в феврале 1908 г.

С. 53—54. «Суровая тайна земли обетованной...»

верные — крещенные, безусловно и искренне верующие.

С. 54. «Мерная музыка тихо звучит в небесах...»

...*музыка тихо звучит в небесах...* — Пифагорейцы, принимавшие математические (числовые) закономерности за основу миропорядка, приписывали музыке особую, космологическую роль. Они считали, что планеты при своем движении издают звуки, и называли их музыкой небесных сфер, услышать которую может лишь тот, кто способен на самоуглубление и погружение в тайны своей души. Позже — поэтический троп.

С. 55. «Так завершаются пути, назначенные людям...»

сроки — Согласно христианскому учению все сроки человеческой жизни (в том числе будущей, загробной) и деятельности предопределены свыше: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян 1: 7).

С. 55. «Паломники к неведомой святыне...»

неведомая святыня — Апостол Павел, увидев в языческой Греции жертвенник с надписью: «Неведомому Богу», счел этих язычников «особенно набожными», чтущими еще неведомого им бога (см. Деян 17: 23).

Книга живых и мертвых — «Книга жизни» в Апокалипсисе — атрибут Последнего суда: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были

мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. <...> И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Отк 20: 12, 15).

...приближаемся к последним срокам... — О приближении сроков Последнего суда в Апокалипсисе сказано: «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною... Я есмь... Первый и Последний» (Отк 22: 12-13).

Медина — второй после Мекки священный город (в Саудовской Аравии) мусульман, в котором, по преданию, похоронен основатель ислама Мухаммед, место «большого паломничества» (хаджа).

С. 56. «Так. Всем сомненьям дан ответ...»

неугасимый, синий свет — Здесь означает присутствие Пресвятой Богородицы как вечной молитвенницы и заступницы, Ее Покров. Понятие «Покров» восходит к повествованию о явлении Богородицы, распростершей Свой синий омофор (головной покров) над Константинополем и спасшей его от врагов.

ЗЕМЛЯ

С. 57—58. «Сердце никогда мое не билось чаще...»

тебе, пришедший, чтобы выпить гушу — отголосок темы Мельмота (см. поэму «Мельмот Скиталец»), чертами которого Кузьмина-Караваева наделяла А. Блока.

С. 58. «Давно я увидела в небе закатном сияющий знак...»

...неслись облака в непонятной, торжественной требе... — Здесь «треба» означает священный обряд, а происходящее в природе уподоблено церковному таинству.

С. 58—59. «Торжественно и звонко, будто первый дождь весною...»

прозябающий — всходящий; от церк.-слав. глагола *прозябать* — всходить, произрастать.

С. 59—60. «Тянут невод розоватый...»

...Ждем мы все огня костра... — библеизм; Иоанн Креститель пророчил, что Христос «соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым» (Мф 3: 12, см. также 13: 30).

С. 60. «Земли родной оторванный осколок...»

синий полог — См. примеч. к с. 56. («Так. Всем сомненьям дан ответ...»).

родная — здесь в фольклорном значении: *мать*; имеется в виду мать-земля.

под сердцем зреет новой жизни семя — в этот период Е. Ю. Кузьмина-Караваева ждала ребенка.

С. 60—61. «Да, блаженна причастная чуду...»

блаженна причастная чуду — Кузьмина-Караваева говорит о своем будущем материнстве.

...блаженно то чрево... — Чрево — утроба, где вынашивается ребенок. В этих словах намек не только на собственную беременность, но и более широко воспринимаемая автором ее надмирная ответственность, подобная материнству Богоматери, как оно понималось поэтами-символистами. Фраза восходит к Библии: «Благословен плод чрева твоего» (Вт 28: 4; ср. Лк 1: 42).

С. 61—62. «Так. Так. Мои сплелись с землею корни...»

Кто дал мне жизнь, — ушел... — Отец поэтессы, Ю. Д. Пилленко, скончался 17 июля 1906 г.

...Вновь к тебе, родной, ушел. — Родной — дат. падеж от родная (мать-земля); опирается на текст книги Бытия: «...возвращись в землю, из которой ты взят» (Быт 3: 19).

С. 62. «Зерна желтые осеннего посева...»

...мое блаженно чрево. — См. примеч. к с. 60—61 («Да, блаженна причастная чуду...»).

...в смерти радость светлую познаем, смертью перейдем чрез грань небытия. — Сложный образ, связанный с земледельческим культом: будущий ребенок — зерно, злак, роды — жатва; ср.: «если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин 12: 24). Т. е. речь идет о (воз)рождении через смерть подобно воскресению Христа, победившего смерть.

С. 62. «Так. Жребий кинут. Связана навеки...»
последней жатвы мука — здесь: женские роды.

осенний — Дочь Кузьминой-Караваевой родилась 18 октября 1913 г. Она называла ее Гаяна=Земная.

С. 63. «Из житницы, с травой сорной...»

...с травой сорной была я выброшена вместе <...> Как плевелы сторая... — После завершения полевых работ плевелы отделяли от пшеницы и сжигали (см. Мф 3: 12; Мф 13: 25-30; это действие символизирует в Новом Завете Божий Суд и воздаяние); см. также примеч. к с. 59—60 («Тянут невод розоватый...»).

Руфь. Первое отдельное изд.: Пг., изд. М. В. Попова, 1916. Полностью книга была переиздана в составе сб.: *Кузьмина-Караваева Е. Ю.* Наше время еще не разгадано... Томск, «Водолей», 1996. Некоторые стихи, включенные поэтессой в «Руфь» из книги «Дорога», имеют незначительные разночтения. Печатается по первому изданию.

С. 64. [Предисловие]

если пшеничное зерно <...> принесет много плода — цитата из Евангелия (Ин 12: 24).

С. 65. Руфь

Руфь — героиня одноименной ветхозаветной книги. После смерти мужа жила со свекровью в нищете, собирая колосья, остающиеся после жнецов. Случай привел ее на поле «весьма знатного» человека — Вооза, верной женой которого она стала впоследствии.

Шла по жнивью... босая... — неточная цитата из стих.

А. Блока: «Идем по жнивью, не спеша...» (Осенний день, 1909).
тук — жир; здесь: тучный, полный зерен, колос.

ИСХОД

С. 66. «Жить днями, править ремесло...» Общей тональностью «последнего срока», «дороги к раю» и т. п., вплоть до текстуального совпадения: «Жить днями, править ремесло» = «Актеры, правьте ремесло» стих. перекликается с А. Блоком («Балаган», 1906).

...язык Святого Духа / Огнем прорежет вечный мрак. — Святой Дух — третье лицо Троицы, одна из ипостасей Бога. В 50-й день после воскресения Христова (день Пятидесятницы) Он открылся апостолам: «явились им разделяющиеся языки, как бы огненные <...> И исполнились все Духа Святого» (Деян 2: 3-4).

С. 67. «Отвратила снова неудачу...»

Как назначено, так и пойду. <...> Господи, веги! — восходит к эпизоду призвания первых апостолов: «И сказал им Иисус: идите за Мною...» (Мк 1: 17; ср. Мф 16: 24; Ин 8: 12).

С. 67. «Начало новых, белых лет...»

треба — богослужебный обряд, совершаемый по просьбе верующих; здесь, судя по контексту — отпевание, т. е. прощание с «иными страстями».

С. 68. «Какой бы ни было ценой...»

Приближусь к огневому чуду <...> Я жду таинственного зова... — Строки восходят к эпизоду призвания Моисея, когда ему явился «ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста» (Исх 3: 2) и повелел вывести израильский народ из Египта.

С. 69. «Надо мерно идти, не спешить...»

слепительный срок — срок Господнего суда; см. также примеч. к с. 55 («Так завершаются пути, назначенные людям...»).

С. 69. «И за стеной ребенка крик...»

...Даниил среди львиных рвов... — Пророк Даниил, оклеветанный персидскими жрецами, был брошен в ров к голодным львам, и львы не тронули его (см. Дан 6: 16-22).

С. 69—70. «День новый наступил суров...»

...ворота уж не тесны... — Тесные ворота и узкая дорога, согласно Евангелию, ведут к спасению, но немногие находят их. Большинство же идет широкими воротами и пространном путем, ведущими к гибели (см. Мф 7: 13-14; Лк 13: 24).

С. 70. «Только б смерть не изменила...»

Жених — Иисус Христос, так аллегорически Он назван в притче о десяти девах, встречающих жениха (см. Мф 25: 1-12).

С. 71—72. «И стало темно в высоте...»

Восток — место восхода Солнца, которое считается одним из образов Бога. На востоке воссияла звезда, возвестившая о рождении Христа (см. Мф 2: 2, 9); Востоком назван и сам Иисус Христос (см. Лк 1: 78).

С. 72. «Покорно Божий суд приму...»

...мой дух готов / К преображенью темной плоти — восходит к словам апостола Павла: «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1 Кор 15: 53); см. также примеч. к с. 47—48 («Кто знает, тот молчит...»).

С. 73. «Схоронила всю юность мою...»

...стоишь перед весами... — Весы — один из образов Последнего суда, ср.: «...ты взвешен на весах и найден очень легким...» (Дан 5: 27).

...гушу во мрак унесут, / Где рыданья, и скорби, и скрежет... — восходит к новозаветному устойчивому образу загробного мира, где «тьма внешняя, плач и скрежет зубов» (см. Мф 8: 12, 13: 42, 50, 22: 13, 24: 51, 25: 30; Лк 13: 28).

...не может с главы / Пасть без воли Твоей даже волос... — восходит к евангельскому тексту: «ни одна из них [птиц] не

упадет на землю без воли Отца нашего; у нас же и волосы на голове все сочтены» (Мф 10: 29-30; Лк 12: 6-7).

С. 73—74. «Кипит вражда, бряцают латы...»

...свилось небо в пыльный свиток... — см. примеч. к с. 40 («Когда времени больше не будет»).

...женщина на льве пятнистом... — видоизмененный образ «блудницы», «жены, сидящей на звере багряном» из Апокалипсиса (см. Отк 17: 3-5).

Могилы древние открыты... — апокалипсическая картина Последнего суда: «И увидел я мертвых... стоящих пред Богом... и судимы были мертвые... сообразно с делами своими. <...> Смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим» (Отк 20: 12-13).

...Агнец-Бог за мир заколот, / Грехи былые Им избыты. — Агнец (ягненок) — символическое именование Христа, принесшего себя в жертву во искупление грехов человеческих: («...искуплены вы... драгоценною кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца...» — 1 Пет 1: 18-19). Здесь образ включает в себя и Небесного Агнца, «закланного от создания мира» (Отк 13: 8), «кровию Своею» победившего «диавола и сатану» во вселенском масштабе (см. Отк 12: 10-11, 17: 14).

С. 74. «Тесный мир; вот гневный сев...»

гневный сев — сев сорняков, грехов, которые в гневе производит дьявол (см. Мф 13: 24-26).

Слово — одно из именовании Господа; второе лицо Троицы — Сын Божий (см. Ин 1: 1).

Ангел <...> крылами возмущает воду. — Согласно Евангелию, иерусалимскую купальню по временам «осенял» ангел и взмахами крыльев возмущал воду. Кто из больных первым после этого входил в бассейн, тот выздоравливал (см. Ин 5: 4).

Силоам — купальня на юго-востоке от Иерусалима.

ВЕСТНИКИ

С. 74—75. «В окне взметнулся белый стяг зимы...»

треба — см. примеч. к с. 58 («Давно я увидела в небе закатном сияющий знак...»); здесь само течение жизни уподоблено священнодействию (требе) и рассматривается как установленный свыше обряд.

С. 75. «Разве я знаю, что меня ждет?..»

...Увижу ведущие к небу ступени... — В основе образа эпизод книги Бытия — «видение Лестницы»: во сне патриарх Иаков увидел лестницу, идущую на небо, и Господа, давшего ему обетование. Здесь «ступени к небу» — путь в жизнь вечную.

С. 75—77. «Верю, верю в ваши темные вещанья...», «Вестников путь неведом...», «От пути долины, от пути средь пыли...». Включались автором в рукопись неизд. книги «Дорога».

С. 76—77. «Это там вопрошали бойцы...»

...Ангел поднял свой меч, / Чтобы волны рассечь... — восходит к эпизоду ветхозаветной книги «Исход»: чтобы израильяне, спасающиеся из Египта, перешли Чермное море, воды его раступились по воле Господа (см. Исх 14: 21-22).

С. 79. «Разве можно забыть? Разве можно не знать?..». Включалось автором в рукопись неизд. книги «Дорога».

С. 79. «Белый голубь рассекает дали...»

белый голубь — «телесный вид» Святого Духа, одной из ипостасей (сущностей) Святой Троицы.

Пламенеет огненный язык... — см. примеч. к с. 66 («Жить днями, править ремесло...»).

Утешитель — одно из именованй Святого Духа (см. Ин 14: 16-17, 26).

ВОЙНА

С. 80. «Нам, верным, суждена одна дорога...»

крещение огненное — восходит к словам Иоанна Крестителя: «Я крещу вас в воде в покаяние; но Идущий за мною сильнее меня... Он будет крестить вас Духом Святым и огнем...» (Мф 3: 11; Лк 3: 16).

крылатая жена — В Откровении Иоанна Богослова «Жена, облеченная в солнце» — одно из семи знаменй «конца времен». «Преследуемая драконом» Жена (олицетворение Церкви Христовой и воплощение Новой Евы, пресвятой Богородицы) должна скрываться до окончательной победы над драконом: «даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия» (Отк 12: 14).

С. 81. «Напрасно путник утра ждет...»

...Совется неба пыльный свиток... — см. примеч. к с. 40 («Когда времени больше не будет»).

С. 81. «Все горят в таинственном горниле...»

нетленнойшая Невеста — Приснодева Мария, Пресвятая Богородица.

Архангел с мечом — архангел (архистратиг) Михаил, предводитель небесного воинства.

С. 82. «Так затихнуть — только перед бурей...»

Перед гибелью застыло время... — восходит к тексту Апокалипсиса: «... времени уже не будет» (Отк 10: 6). Это одно из грозных явлений, предшествующих Последнему суду.

ОБРЕЧЕННОСТЬ

С. 84. «Что скрыто, все сердце узнало...». По мнению исследователя творчества Кузьминой-Караваевой, Г. Беневича, в 3-й строфе подразумевается А. Блок.

С. 84—85. «Смотрю на высокие стекла...». Посвящено А. Блоку. Первые строки навеяны словами поэта, который просил Кузьмину-Караваеву только проходить под его окнами: «Пройдете, взглянете наверх. Это все». В стихотворении описан вид из окна кабинета петербургской квартиры Блока на Офицерской улице, 57.

живущий к закату — Квартира Блока находилась на западной окраине города, с окнами в сторону Финского залива.

треба — здесь в значении: священнодействие, творческий труд.

С. 85. «За крепкой стеною, в блистающем мраке...». По мнению Г. Беневича, в стих. речь идет об А. Блоке.

С. 86. «Не знаю, кто будет крещен...»

зеленая мать — планета Земля. Ср. тот же образ в стих. «И около спокойной смерти стоя...» (*«житница небес — зеленая планета»*).

чело помазаньем крестным — При совершении таинства миропомазания верующим (посвященным) наносят елеем (оливковым маслом) или миром (ароматическим деревянным маслом) крест на лбу.

С. 86—87. «Да, каждый мудр, и чудотворец каждый...»

...изойдет водой скала... — Моисей, по слову Бога, добыл воду из скалы для погибающего от жажды народа (см. Исх 17: 6).

...Зову поднять тяжелый крест, / Забыть отца, и мать... — контаминация слов Христа: «...если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф 16: 24); «Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее», «кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф 10: 35, 37; Лк 14: 26).

...рыбак оставит сети... — Галилейские рыбаки, уверовавшие в Христа, оставили свое ремесло и стали Его учениками и апостолами (см. Мф 4: 18-22).

С. 87. «В небе, угольно-багровом...». Включалось автором в рукопись неизд. книги «Дорога».

будь могучим, будь бессильным — перифразированные строки из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: «Ты и могучая, / Ты и бессильная, / Матушка-Русь».

С. 87—88. «Я силу много раз еще утрачу...». Включалось автором в рукопись неизд. книги «Дорога».

...Я вновь умру, и я воскресну вновь... — Кузьмина-Караваева считала себя одним из многих плодов земли, уподобляла себя пшеничному зерну из евангельской притчи (см. Ин 12: 24); см. примеч. к с. 50 («Много шумело и стихло неясных, обманчивых вёсен...»).

...в свершенья круг вступая... — О «круговых» этапах своей жизни Кузьмина-Караваева рассказала Блоку в ноябрьском письме 1913 г.: «В каждый круг вступая, думала о Вас...»

С. 89. «Вела звериная тропа...». Включалось автором в рукопись неизд. книги «Дорога».

С. 90. «Когда мой взор рассвет заметил...»

И прокричал заутро петел, / И слезы полились из глаз. — Апостол Петр, согласно предсказанию Христа, трижды отрекся от Него до первого утреннего крика петуха: «И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: „прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня“. И, выйдя вон, плакал горько» (Мф 26: 74-75). *Петел* (церк.-слав.) — петух.

СПУТНИКИ

С. 91. «Как сладко мне стоять на страже...»

Медузы — правильнее: горгоны. В греческой мифологии общее название трех сестер (одна из них Медуза), змееволосых чудовищ, которые своим взглядом убивали всех, кто осмеливался взглянуть им в лицо. Смертной была только горгона Медуза.

С. 91—92. «Медленно пламень погас...»

Лаврентия поток — метеорный поток, наибольшая активность которого приходится на день св. Лаврентия 10 (23) августа.

схимница-мать — монахиня, принявшая схиму — высшую ступень пострига; игуменья, настоятельница монастыря.

ИСКУПИТЕЛЬ

С. 93. «Как тяжело на пути земном...»

...на пути к Дамаску / Услышал Савл Господний зов. — Ревностный иудей Савл жестоко преследовал христиан. Когда он направлялся в Дамаск (Сирия), чтобы схватить последователей Иисуса и доставить их в Иерусалим, ему явился Господь и покарал слепотой. Через три дня, волею Иисуса, Савл прозрел, исполнился Святого Духа и крестился. Он стал активным проповедником (апостолом) христианства под именем Павла (см. Деян 9: 1-19).

С. 93. «И жребий кинули, и ризы разделили...»

...жребий кинули, и ризы разделили <...> гали желчи... испить — описание крестных мучений Христа (см. Мф 27: 34-35; Ин 19: 23). *Риза* — здесь: одежда.

С. 93—94. «Какие суровые дни наступили...»

...час отречения все ближе... — соотносится с евангельским повествованием о неверности апостолов, оставивших Иисуса в руках Его врагов и бежавших (см. Мф 26: 56), и публичном отречении от Него апостола Петра (см. Мф 26: 69-75); см. также примеч. к с. 90 («Когда мой взор рассвет заметил...»).

Искупитель — Иисус Христос, искупивший добровольно принятой на Себя смертью человеческий род от греха и проклятья.

С. 94. «Ветер плачет в трубе...»

Сыновнее Тело и Кровь — Иисус Христос, Сын Божий, говорил ученикам: «Я хлеб живой, сшедший с небес... хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира»; «если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную... Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин 6: 51, 53-56). То же Христос сказал и на тайной вечере своим ученикам (см. Лк 22: 19-20). На этих словах основано таинство причащения (евхаристии).

тайновец Иоанн (Богослов) — любимый ученик Христа, присутствовавший при Его кончине на кресте; автор одного из Евангелий и книги Откровение (Апокалипсис).

С. 94—95. «Волосы спускаются на лоб...»

...Кровь с водой сочится из ребра. — Распятому на кресте Иисусу римский воин «копьем пронзил... ребра и тотчас истекла кровь и вода» (Ин 19: 34).

Смертью смерть поправ... — слова из пасхального тропаря: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...»

Древний враг бессилен и поруган... — дьявол, низверженный воскресением Христовым.

Побежденный, прячет жало аг — восходит к тексту Послания апостола Павла: «...сбудется слово написанное: поглощена

смерть победою. „Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?“» (1 Кор 15: 54-55, ср. Ос 13: 14).

На земле ль уже священный град? — новозаветный образ: «...не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр 13: 14), дополненный образом святого Иерусалима, «который нисходил с неба от Бога» (Отк 21: 10).

С. 95. «Избороздил все нивы плуг...»

Оратай <...> добрый, добрый Пастырь — Иисус Христос (Ин 10: 11, 14). *Оратай* — пахарь.

...бескровной Жертвы чаша. — В таинстве причащения — хлеб и вино, символизирующие Плоть (тело) и Кровь Христа. См. также примеч. к с. 94 («Ветер плачет в трубе...»).

С. 95—96. «Свершится священная встреча...»

праздник субботний — Одна из десяти заповедей ветхозаветного Закона предписывает «помнить день субботний» (Исх 20: 8) — это день отдыха, празднования и культовых собраний.

Плотник — Иисус Христос (см. Мк 6: 3). В более позднем стихотворении м. Мария писала: «Христос трудом / Навеки освятил рубанок...»

С. 96. «Огнем Твоим поражена...»

...И я в ловитве чудотворной — восходит к евангельскому рассказу о призвании первых апостолов: «...идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф 4: 19; ср. Лк 5: 10).

С. 96—97. «Под бременем Божьего ига...»

Под бременем Божьего ига — заимствовано из Евангелия (слова Христа): «иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф 11: 30).

С. 97. «Бодрствуйте, молитесь обо мне...»

Бодрствуйте, молитесь обо мне <...> Братья крепким сном забылись... — восходит к евангельскому рассказу о духовном борении Иисуса в Гефсиманском саду, где Он обращается к ученикам: «...душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» (Мф 26: 38, 41). Ученики же заснули, не смогли даже «один час бодрствовать» с Ним (см. 26: 40, 43).

благодать — благой дар Господа, ниспосланная свыше сила для преодоления человеком его греховности и достижения спасения. Она дается человеку исключительно по милости Божией, без учета его заслуг. Средством для достижения благодати является вера, через которую «получили мы доступ к той благодати, в которой стоим» (Рим 5: 2).

С. 97. «Господи, средь звезд, Тебе покорных...»

Вифлеем — город в Иудее, родина царя и пророка Давида, прародителя Христа. В этом же городе родился и сам Иисус Христос.

звезда алая — звезда, возвестившая рождение младенца Иисуса и указавшая волхвам путь в Вифлеем (см. Мф 2: 2).

С. 97—98. «На праздник всех народов и племен...»

...мой народ богоизбранный... — русский народ. Новым Израилем, богоизбранным народом, впервые назвал своих соотечественников князь А. Курбский в письме Иоанну Грозному (от 30 апреля 1564 г.). Это название получило распространение во времена Смуты начала XVII в. О мессианстве и богоизбранности русского народа писали многие авторы, также называя его Новым Израилем.

С. 98—99. «Премудрый Зодчий и Художник...»
...сеет зерна тать... — см. примеч. к с. 74 («Тесный мир; вот гневный сев...»); *тать* — разбойник, здесь: дьявол, сатана.
Преображенье темной плоти... — см. примеч. к с. 72 («Покорно Божий суд приму...»).

ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

С. 99. «Взлетая в небо, к звездным, млечным рекам...»

млечные реки — фольклорное название Млечного пути. Возможно, реминисценция из О. Манделштама: «...слабых звезда я осязаю млечность» («Нет, не луна, а светлый циферблат...», 1912).

С. 102. «Полей Твоих суровый хлебороб...»

...*И с неба серп для скорой жатвы брошен...* — Библейский образ жатвы означает как завершенность, полноту человеческих деяний, так и суд Божий над поступками и делами людей. В другом смысле «зрелость» колосьев для жатвы — это преизбыточность зла; когда оно достигает предела, «надо пустить в дело серпы, ибо жатва созрела» (Иоил 3:13 и след.). Последняя жатва приурочена ко Второму Пришествию — тогда плевелы окончательно будут отделены от доброго семени и сожжены (см. Отк 14: 14-16).

...*готовый для точила виноград.* — В Апокалипсисе, наряду с образом жатвы Господней, этот образ означает готовность, «зрелость» земного для Последнего суда: «...пусти острый серп твой и обрежь гроздь винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. ...И обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия» (Отк 14: 18-19).

С. 103. «Земле все прегрешенья отпустили...»

епитрахиль — одно из облачений священнослужителя, надеваемое на шею при богослужении.

С. 103—104. «На востоке — кресты и сиянье...»

На востоке — кресты и сиянье... — Восток — символ света, добра, истины, потому в православных храмах алтарь расположен в восточной стороне здания. См. примеч. к с. 71—72 («И стало темно в высоте...»). В стихотворении середины 1930-х гг. м. Мария писала: «В каждом деле будь мне жезл и вождь, / Солнце незакатное с Востока».

...*Жениху пяти праведных дев...* — Согласно евангельской притче, пять мудрых дев, ожидая жениха, взяли с собой не только светильники, но и, в отличие от немудрых, запас масла к ним. В результате они встретили жениха с горящими лампадами и вошли на «брачный пир» (см. Мф 25: 1-10).

...*недолго я верность хранила...* — Возможно, автор имеет в виду свой уход от мужа (Д. В. Кузьмина-Караваева) после трех лет совместной жизни.

С. 104. «От ангелов Ты умалил...»

От ангелов Ты умалил / Немногим нас... — восходит к тексту книги Псалтирь: «Не много Ты умалил его [человека] пред Ангелами: славою и честью увенчал его...» (Пс 8: 6).

...*Мы отделяем от пшеницы / Руки проклятой черный сев...* — т. е. посев дьявола (см. Мф 13: 25); опирается на при-

тчу о пшенице и плевелах: «...я скажу жнецам: соберите прежде плевелы... чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф 13: 30); см. также примеч. к с. 59—60 («Тянут невод розоватый...»), к с. 63 («Из житницы, с травой сорной...»).

субботний ягненок — здесь: праздничная субботняя пища; см. также примеч. к с. 95—96 («Свершится священная встреча...»).

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

С. 105—106. «Встает зубчатую стеной...». Включалось автором в рукопись неизд. книги «Дорога» в качестве «программного» (перед всеми циклами) стихотворения.

С. 107. «Вновь плен томительный; и вновь...». По мнению Г. Беневица, в 3-й и 4-й строфах говорится об А. Блоке.

С. 108. «Куда мне за вами лететь...»

Засохшую, черную ветвь / Огнем попалят. / И только принесшая плод / Останется здесь — восходит к евангельскому рассказу о проклятии Христом бесплодной смоковницы (см. Мф 21: 18-19).

С. 109. «В земную грудь войти корнями...». Включалось автором в рукопись неизд. книги «Дорога».

прозябнут зерна — прорастут, дадут всходы.

С. 109. «В небо, к стаям ястребиным...»

родная — здесь в фольклорном значении: *мать*.

С. 112. «От будничной житейской суеты...»

*...лапами взял камень лев, / Чтоб облегчить Петра...*¹⁹ — источник легенды не установлен.

Божий лов — см. примеч. к с. 96 («Огнем Твоим поражена...»).

С. 112—113. «Еще остановилась на пороге...»

рака — большой ларец (ковчег), в котором помещаются мощи святых.

С. 113. «Освяти нам темное житье...»

Божье Тело — истинная *Брашна*, *Кровь Твоя* — неложное *Питье* — см. примеч. к с. 94 («Ветер плачет в трубе...»); *брашно* — еда, пища, «хлеб насущный».

С. 113—114. «Наше время еще не разгадано...»

Наше время еще на разгадано... — навеяно строкой стихотворения А. Блока «Моя сказка никем не разгадана...» (1903).

рака — см. примеч. к с. 112—113 («Еще остановилась на пороге...»).

Церковь Вселенская — одно из именовании Богородицы, святой покровительницы России.

предстоятель — первосвященник, патриарх.

С. 114. «Все говорит мне: тяга лет...»

Питие и *Брашно* — см. примеч. к с. 94 («Ветер плачет в трубе...»).

...облачает тело в лен... — пеленает покойника.

...со святыми упокой... — начальные слова из панихиды; кондак, глас 8-й.

С. 115—117. Монах. В стихотворении нашло отражение паломничество Кузьминой-Караваевой осенью 1914 г. в обитель Темные Буки под Анапой. Согласно разысканиям анапского Археологического музея, поэтесса исповедовалась тогда у сокры-

вавшегося от мира в Горненской пустыньке старца (ныне — местночтимого святого) Феодосия. Ср. стих. «Еще остановилась на пороге...» (с. 112—113).

прах — здесь: земля.

...кровь — Питье, а тело — Брашна... — см. примеч. к с. 94 («Ветер плачет в трубе...»).

...Завтра возглас петуха... — см. примеч. к с. 90 («Когда мой взор рассвет заметил...»).

Небесных сил Архистратиг — первый (старший) из семи архангелов — Михаил, предводитель воинства Господнего. *Архистратиг* (греч.) — полководец, военачальник.

Стихи. Впервые: Берлин, «Петрополис», [1937] (на титуле: Монахиня Мария). Книга репринтно переиздана в Москве в 1993 г. (без указания места и года) по экземпляру, хранящемуся в Париже у Ю. И. Лещенко, крестного сына мужа м. Марии, Д. Е. Скобцова. На полях этого экземпляра имеются рисунки-иллюстрации, выполненные рукой поэтессы. В настоящем томе книга воспроизводится по первому изданию практически полностью, за исключением двух стихотворений, набранных дважды. Даты написания отдельных стихов, опущенные автором и приведенные в угловых скобках, восстановлены по книге С. Гаккеля (владельца рукописей).

О ЖИЗНИ

С. 118. «Мне кажется, что мир еще в лесах...»

1-я строфа — перекликается со строками из стих. Ю. Балтрушайтиса «Ave спух!» (1911):

Божий мир еще не создан,
Недостроен Божий храм, —
Только серый камень роздан,
Только мощь дана рукам.

...Ты подьемлешь бич... — один из символов гнева Господня у пророка Исаии: «И поднимет Господь Саваоф бич на него...» (Ис 10: 26).

С. 118. «Камни на камни, скала на скалу...»

1-я строфа — перекликается со строками из стих. Ю. Балтрушайтиса «Ave спух!» (1911):

Брось свой кров, очаг свой малый,
Сон в тоскующей груди,
И громады скал на скалы
В высь немую громозди...

Бывший в начале — Господь как Мироздатель («В начале сотворил Бог небо и землю.» — Быт 1: 1) и как предвечный Логос: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1: 1).

тварь — существо, сотворенное Богом: человек; см. примеч. к с. 136 («Когда-нибудь, я знаю, запою...»).

среди треугольника грозное Око — «всевидящее око, промысел Божий, всеведение, изображаемое оком в лучах треугольника» (В. И. Даль).

С. 118—119. «Господь всех воинств, Элогим...»

Элогим — одно из имен Бога у иудеев. Ягве (Суший) — имя, которое Сам Бог открыл Израилю (см. Исх 3: 14), в иудаизме, из благоговения к имени Божию, произносилось только первосвященниками один раз в году. Обычно заменяется словом Элогим (Бог).

Сын-Слово — Иисус Христос (см. Ин 1: 14).

Параklet (греч.) — Утешитель, одно из определений Святого Духа. Христос пообещал апостолам: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек» (Ин 14: 16).

Преображение темной плоти. — см. примеч. к с. 72 («Покорно Божий суд приму...»).

С. 119. «Там было молоко и мед...»

Там было молоко и мед... — В Ветхом Завете землей, где «течет молоко и мед», называют Землю Обетованную — Ханаан (см. Исх 3: 8).

точило — пресс для выдавливания виноградного сока на вино.

блаженный жребий — счастливый жребий; в установлениях Нового Завета блаженны алчущие, скорбящие, бедные, гонимые, «ибо их есть Царство Небесное» (см. Мф 5: 3-12).

Ханаан — земля, которую Бог заповедал израильтянам в «завет вечный»: «тебе дам Я землю Ханаанскую, в наследственный удел вам» (1 Пар 16: 17-18), т. е. земля обетованная (обещанная).

С. 122—123. «У каждого — имя и отчество...»

3-я строфа — описание страстей Христа перед распятием (см. Мф 27: 27-31).

чаша в саду Гефсимании — напоминание о последней молитве Иисуса: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия» (Мф 26: 39).

С. 123—124. «Под ноги им душу я кину...»

Архистратиг — архангел Михаил; см. примеч. к с. 115—117 («Монах»).

С. 124—125. «Людей колючие слова...»

Хранитель-Ангел — ангел, который пребывает с каждым человеком со дня его крещения и до кончины. Он охраняет душу от грехов, а тело от несчастий. Ср. обращение в молитве: «Ангел Христов, святой мой хранитель и покровитель души и тела моего!»

С. 125. «Подвел ко мне, сказал: усынови...»

...Кость от костей твоих и плоть от плоти — восходит к тексту книги Бытия: «...это кость от костей моих и плоть от плоти моей...» (Быт 2: 23).

2-я строфа восходит к тексту книги пророка Исаии: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни...» (Ис 53: 4 и след.).

С. 125. «Братья, братья, разбойники, пьяницы...»

...Пред священной Господнею Чашею — здесь: перед кончиной.

С. 126. «Что Ему я за братьев отвечаю...»

Что Ему я за братьев отвечаю... — подразумевается вопрос Бога Каину: «...где Авель, брат твой?» и ответ Каина: «разве я сторож брату моему?» (Быт 4: 9); речь идет о взятой на себя перед Богом ответственность за всех ближних.

...*Нищим духом блаженство несет* — восходит к тексту Нагорной проповеди Христа: «Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное» (Мф 5: 3).

С. 127. «Где, Каин, твой брат, где твой Авель?». Все стих. является парафразом библейской истории первого на земле братоубийства (см. Быт 4: 1-16). См. примеч. к с. 126 («Что Ему я за братьев отвечу...»).

Тайна — таинство — священнодействие, через которое тайным образом на человека действует спасительная Божья сила (благодать).

печать багровая — знак («знамение»), которым Бог пометил Каина как убийцу, обрекая его тем самым на изгнание и вечные скитания (увидев эту печать, никто из смертных не мог убить Каина) (см. Быт 4: 15).

С. 128. «Не иные грехи проклинать...»

тремякратный петел — см. примеч. к с. 90 («Когда мой взор рассвет заметил...»).

алектор (греч.) — петух.

С. 128. «Трудный путь мы избирали вольно...»

...*теснотой игольной...* — восходит к словам Иисуса: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Мк 10: 25).

...*в бореньи мы с Тобой, как Яков...* — Патриарх Иаков ночью боролся с Богом, не узнав Его. Этот «Некто», увидев, что не одолевает Иакова, повредил тому «состав бедра». Иаков же не отпустил Его, пока не получил благословения (см. Быт 32: 24-29).

С. 128—129. «Там, между Тигром и Ефратом...»

...*между Тигром и Е(в)фратом...* — В междуречье Тигра и Евфрата, по преданию, располагался рай, куда Господь поселил Адама и Еву.

Брат будет смертно биться с братом... — восходит к тексту Евангелия: «Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их...» (Мф 10: 21); в более широком смысле — братоубийство, которому положил начало Каин, первенец совершивших грехопадение Адама и Евы.

С. 129. «Не засыпает тяжелая кровь...»

...*Ты, одолевшая древнего змия...* — восходит к фрагменту текста книги Бытия (3: 15), получившему название «Первоевангелие». Отцы церкви видели в нем указание на Великую Жену, Приснодеву Марию, послужившую тайне воплощения Христа и тем самым повергшую древнего змея, т. е. дьявола.

С. 130. «Не то, что мир во зле лежит, — не так...»

...*мир во зле лежит...* — слова из 1-го послания апостола Иоанна Богослова: «весь мир лежит во зле» (1 Ин 5: 19).

С. 130. «С какой тоской иной печати рвет...»

якорь треххвостый — В христианстве якорь — символ надежды (см. Евр 6: 18-19).

крылья человековидной птицы — крылатый ангел.

С. 130—131. «Спокойно, будто опытный анатом...». Начало стихотворения — реминисценция стих. К. Бальмонта «Рибейра»: Жестокий и мрачный анатом, / Ты жаждал разъять основ.

С. 132—133. «Нечего больше тебе притворяться...»
И не обманешь слезинкой ребенка, / Не восстановишь на Бога меня — образ из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (ч. 2, кн. 5, гл. 4). Иван Карамазов «восстанавливает» на Бога своего брата Алексея, апеллируя к страданиям детей: «...от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка...»

...как отрок Давид. / Снимаю доспехи... — Перед сражением с великаном Голиафом Давид, уповая на Господа, снял с себя доспехи, подаренные ему царем Саулом (см. 1 Цар 17: 38-40), ибо «не мечом и копьем спасает Господь» (17: 47).

Взметнула пращою... — Давид победил Голиафа, убив его камнем из пращи (см. 1 Цар 17: 49).

С. 133—134. «Убери меня с Твоей земли...». В этом стихотворении, по данным публикатора (Б. В. Плюханова), 5-я строфа имела текстуральные отличия; за ней следовала еще одна — заключительная:

От любви и горя говорю, —
Или дай мне ангельские силы,
Или двери сердца затворю, —
Будет дух мой сам себе могилой.

Ты, Создатель, Миродержец мой,
Что создал и чем Ты правишь в мире?
Видишь сам Ты, — стружья, язвы, гной,
Грех, закутанный в Твоей порфире.

С. 134. «Никогда, ни на каком пути...»
алектор — см. примеч. к с. 128.

7-я (последняя) строфа — описание сражения Иакова с Богом (см. Быт 32: 24-25); см. примеч. к с. 128 («Трудный путь мы избирали вольно...»).

С. 134—135. «Ты остановил на берегу потока...». В стихотворении иносказательно описывается борьба с Богом, подобная борьбе Иакова (см. Быт 32: 24-32; см. также примеч. к с. 128).

Иордан — река в Палестине, делящая ее территорию на две половины.

С. 135—136. «Наконец-то. Дверь скорей на ключ...»
...повесть про немудрых дев... — Согласно евангельской притче, немудрые (неразумные) девы не сумели встретить жениха (см. Мф 25: 1-10; см. примеч. к с. 103—104 — «На востоке — кресты и сиянье...»).

С. 136. «Сопряжены во мне два духа...»
Пророчит он о граде, трусе... — град, землетрясение и другие проявления стихии олицетворяют гнев Господень в ветхозаветных книгах пророков, в Евангелиях, но особенно в Апокалипсисе; *трус (слав.)* — землетрясение.

С. 136. «Когда-нибудь, я знаю, запою...»
создан в день шестой — В шестой день творения Бог создал человека: мужчину и женщину (см. Быт 1: 27, 31).

...мост меж жизнью тварной и Господней — В отличие от всех сотворенных Богом (тварных) существ, человек, будучи

тоже «тварным», являет собой также образ и подобие Бога (см. Быт 1: 27: 28); *тварное* — вторично и преходяще, в отличие от *нетварного*, которое первично и вечно.

С. 136—137. «Ты не изменишь... Быть одной...» *аллилуйя* (евр.) — «хвалите Господа». Обычно троекратно произносимый рефрен в церковных богослужениях.

С. 138. «Не помню я часа Завета...»

Тора — пятикнижие Моисеево, первые пять книг Ветхого Завета, составляющие одно целое, которое по-еврейски называется *Тора*, т. е. Закон.

С. 139. «Испепеляющий огонь...»

...*Христос* <...> *освятил рубанок* — Указание на то, что Иисус некогда работал плотником, содержится в Евангелии от Марка (см. 6: 3).

С. 141. «Глуше, и туже, и крепче...»

Христова невеста — Святая Христианская Церковь.

О СМЕРТИ

С. 142. «Да, надо будет в гробовой колоде...»

Всего совлечься... — восходит к тексту послания апостола Павла: «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть... <...> ...совлечьшись ветхого человека с делами его и облечьшись в нового...» (Кол 3: 5, 9-10).

Последняя строфа восходит к образам Апокалипсиса — Судный день, труба ангела, возвещающая его, чаши гнева Господня (см. Отк 8, 9, 15, 16).

С. 143—144. «Взял за руку и прочь повел меня...»

Неведомый Вожатый — Ангел.

На месте этом каждый обувь снимет... — восходит к тексту ветхозаветной книги Исход: явившись Моисею горящим терновым кустом, «сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх 3: 5).

С. 144—145. «Не все ль равно? Сначала заболею...»

3-ю строфу ср. с молитвой св. Иоанна Дамаскина на сон грядущим: «Владыко Человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветиши днем? Се ми гроб предложит, се ми смерть предстоит».

серафим — один из высших ангельских чинов. См. примеч. к с. 38—39 («Причастились благодати...»).

триединый свет — свет Троицы.

С. 145—146. «Последнее солнце и день наш последний...»

свился, как свиток, небесный покров — см. примеч. к с. 40 («Когда времени больше не будет.»).

Ей, Боже, гряди — цитируется одна из последних строк пророчества Иоанна Богослова, ср.: «Ей, гряди, Господи Иисусе» (Отк 22: 20).

С. 146. «Уже и солнца шар не раскален...»

белый конь — образ из Апокалипсиса: «вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя „смерть“» (Отк 6: 8).

С. 146—147. «Распахивают полосу. Курится пар...» *домовина* — гроб.

С. 148. «Вот ты в размеренный планетный круг...»

...ты в размеренный планетный круг / Влетела... — М. Мария сравнила с кометой свою старшую дочь Гаяну. Сказать определенно, какую из короткопериодических комет автор могла иметь в виду, затруднительно. Ближайшая по времени отъезда дочери в СССР и создания стихотворения была комета 28 августа 1935 г.

Гаяна — дочь м. Марии; скончалась в Москве 30 августа 1936 г.

пир огня и света — возможно, переключёка с А. Блоком: «Он весь — дитя добра и света» («О, я хочу безумно жить...», 1915).

С. 148—149. «Не слепи меня, Боже, светом...»

осанна — возглас, буквально означающий: спаси, помоги! Этим словом народ приветствовал Христа во время Его въезда в Иерусалим (Мф 21: 9).

Гаяна — см. выше примеч. к с. 148.

С. 149. «Сила мне дается непосильная...»

многострадальный Иов — персонаж ветхозаветной Книги Иова. Бог попускает сатане испытать веру и праведность, которые для сатаны лишь внешние, обусловленные благополучной жизнью, качества. Иов лишен своего богатства, гибнут его дети, сам он поражен проказой. Иов перенес все страдания, смирился и раскаялся перед Богом, который вновь благословил его. Классический образ человека, испытываемого страданиями.

С. 149. «Я струпья черепком скребу...»

Я струпья черепком скребу. / На гноище сижу, как Иов. — Иов в своих страданиях сидел на пепле (в церк.-слав. тексте: гноище, т. е. перегной, навоз) с черепицей в руках и скоблил тело, покрытое струпьями. См. выше примеч. к стих. «Сила мне дается непосильная...».

...гошь в гробу... — Гаяна. М. Мария считает, что гибелью дочери Бог испытывает ее так же, как и Иова.

С. 150. «Не укрыться в мирозданье...»

Сорокадневный — Иисус Христос. В течение сорока дней, после воскресения и до вознесения, Он пребывал на земле.

С. 150—151. «Прославь бессмыслицу и тлен...»

...нарастает плоть среди жил, / И вдунут дух... — Согласно видению пророка Иезекииля, будущее воскресение из мертвых: «Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею...» (Иез 37: 5-6).

С. 151. «Не буду ничего беречь...»

обоюдоострый меч — здесь: Суд Господень; см. также примеч. к с. 270 («Духов день»).

С. 151—152. «О, горлица моя, лети, лети же...» В стихотворении речь идет об отъезде дочери м. Марии Гаяны в СССР и ее гибели там.

горлица — Когда вода после всемирного потопа стала убывать, Ной трижды выпускал голубя, «чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли» (Быт 8: 8-12).

Арапат — на «горах Арапатских» Ной остановил свой ковчег после окончания потопа (см. Быт 8: 4).

обетованье семицветных радуг — Библейское повествование о потопе заканчивается рассказом об обетовании Господом мира спасшемуся роду человеческому: «Я полагаю радугою Мою в облаке, чтоб она была знамением вечного завета между Мною и между землею» (Быт 9: 13).

С. 153. «Господь мой, я жизнь принимала...»

Стучу и стучу в Твои двери... — восходит к тексту Нагорной проповеди: «Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите и отворят вам» (Мф 7: 7, речь идет о молитве).

С. 153—154. «Нет, только грусть и тонкий запах тленья...»

Как факел, кинь средь ночи... — переключка со стих. К. Бальмонта «Дымы»: «Мы факелы, зажженные впотьмах».

С. 154. «Каждая мышца свинцом налита...»

...Рождается снова в пастушьей пещере — В Вифлееме по случаю переписи населения все постоянные дворы были переполнены; Мария и Иосиф, придя в Вифлеем, остановились в пещере, куда пастухи обычно загоняли домашний скот. Здесь и родился Иисус Христос.

Прижизненные публикации, не включенные автором в книги.

С. 155—156. «Хорошо, хорошо, отойду я теперь...», «Как исчислю, Владыка, Твою благодать!». Опубликовано в журнале «Гиперборей». СПб. 1912. № 2 (репринт Л., 1990). 227 включалось автором в рукопись неизд. книги «Дорога».

С. 155. «Хорошо, хорошо, отойду я теперь...». В стих. содержится намек на отношение автора к А. Блоку.

...владыка мой темный... — своеобразный ответ А. Блоку на его слова: «Я люблю вас тайно, темная подруга» («Часовая стрелка близится к полночи...»).

рыбари — галилейские рыбаки (Петр, Андрей, Иаков, Иоанн), которые уверовали в Христа и стали Его учениками-апостолами.

С. 156—157. «По вечерам горят огни на баке...», «Исчезла горизонта полоса...». Опубликовано в сборнике стихов и критики «Руконог» (М., 1914). Оба включались автором в рукопись неизд. книги «Дорога».

С. 156. «По вечерам горят огни на баке...»

бак — носовая часть верхней палубы судна.

С. 156—157. «Исчезла горизонта полоса...». Вошло во вторую песнь поэмы Кузьминой-Караваевой о Мельмоте.

С. 157. «Холодно ли? — Нету холода...» Опубликовано в журнале «Современные записки». Париж. 1929. № 39.

С. 157—159. «Средь этой мертвенной пустыни...», «Ты по-разному отринул всех...», «Вечно громоздить на встречу встречу...», «Вижу одежды сияющий край...». Опубликовано в журнале «Русские записки». Париж; Шанхай. 1938. № 3. Первое и второе позже вошли в книгу «Стихотворения, поэмы, мистерии...» (1947) с незначительными разночтениями.

С. 157—158. «Средь этой мертвенной пустыни...»

Зовет Господь... / Работников... — восходит к евангельскому тексту; Иисус, отправляя апостолов на проповедь, произнес: «...жатвы много, а делателей мало; итак молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф 9: 37-38).

С. 159. «Вижу одежды сияющий край...»

Синай — гора в Аравийской пустыне, где Бог даровал израильскому народу десять заповедей, которые Моисей записал на скрижалях (двух каменных досках).

Народ Твой поставил себе истукана... — Народ (израильский) сотворил себе золотого тельца и поклонился ему (см. Исх 32); то есть изменил истинному Богу, нарушив вторую заповедь: «Не делай себе кумира...» (Исх 20: 4).

Из книги «Стихотворения, поэмы, мистерии...». *Мать Мария*. Стихотворения, поэмы, мистерии, воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк // *La presse française et étrangère Oreste Zeluck editer / Изд. Д. Е. Скобцовым и С. Б. Пиленко*, под ред. Г. А. Раевского. Paris, 1947.

С. 160—161. «До свиданья, путники земные...», «У самых ног раздастся скрип и скрежет...», «Святости, труда или достоинства...». Лишь эти три стихотворения были опубликованы в книге «Стихотворения, поэмы, мистерии...» впервые.

С. 160. «У самых ног раздастся скрип и скрежет...»

3-я строка 2-й строфы в рукописи читается: «И самое смертельное средь мира — жить» (Гаккель. С. 194).

Из книги «Стихи». *Мать Мария*. Стихи / Изд. общества друзей матери Марии / Предисл. Г. А. Раевского. Париж, 1949. Книга была издана Обществом друзей м. Марии и посвящена памяти И. И. Фондаминского. Отдельные стихи из нее перепечатывались неоднократно. В целом виде книга воспроизводится впервые. В настоящей публикации исключен только небольшой раздел «Ранние стихи» (из «Руфи»), произведены уточнения отдельных текстов по книге С. Гаккеля, хранителя рукописей большинства стихотворений м. Марии.

ВЕСТНИКИ

С. 162. «Близорукие мои глаза...»

И людские слабые тела <...> / Рухнут, как убогое жилище... — образ из послания апостола Павла, ср.: «...когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» (2 Кор 5: 1).

Господи Иисусе, / Ей, гряди... — См. примеч. к с. 145—146 («Последнее солнце и день наш последний...»).

С. 162—163. «И вновь пылающий рубеж...»

Михаил Архистратиг — см. примеч. к с. 115—117.

С. 163. «Гул вечности доходит глухо...»

Образы стих., особенно 1-й строфы, навеяны ветхозаветной книгой Екклесиаста, где «суета» — ключевое понятие, проходящее рефреном через весь текст, а жизнь трактуется как череда повторений, постоянное возвращение «на круги своя»; ср.:

«Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа!» (Еккл 1: 14).

С. 163. «...И были вестники среди нас...»

*Начало ангел вновь вострубит / Священнопламенных ко-
стров* — возвестит конец света и Последний суд (см. Отк 8: 7).

С. 164. «Крылатому вестнику ринусь навстречу...»

Крылатый вестник — архангел Гавриил.

Предтеча — Иоанн Креститель.

акриды — род саранчи; по преданию, ими питался в пустыне Иоанн Креститель (см. Мф 3: 4).

Восток — на востоке возшла звезда, возвестившая рождество Иисуса Христа в Вифлееме. *Восток* — одно из именовании Христа (см. Лк 1: 78).

С. 164. «Подземный гул все слышен мне...»

И голод духа утоли — восходит к тексту книги пророка Амоса: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних» (Ам 8: 11).

ПОКАЯНИЕ

С. 165. «Я верю, Господи, что если Ты зажег...»

Новый Град — новый (небесный) Иерусалим — см. примеч. к с. 94—95 («Волосы спускаются на лоб...»). В целом две последние строфы восходят к Апокалипсису: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали... <...> ...Увидел святыи город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба...» (Отк 21: 1-2 и след.).

преображенный Лаг — здесь: новый миропорядок, основанный на любви и согласии; ср.: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Отк 21: 4).

С. 166—167. «Каждый час желает побороть...»

Я хочу, чтоб просияла плоть, / Жду преображенья крови. — См. примеч. к с. 47—48 («Кто знает, тот молчит...»), с. 72 («Покорно Божий суд приму...»).

бескровная жертва — хлеб и вино, символизирующие Плоть и Кровь Христа во время таинства причащения. См. примеч. к с. 94 («Ветер плачет в трубе...»).

С. 168—169. «Имеющий ухо, да слышит...»

Имеющий ухо, да слышит — измененная евангельская фраза: «кто имеет уши слышать, да слышит» (Мф 11: 15; 13: 9).

Жнец в поле за жатвою вышел — одна из апокалипсических метафор, означающих Последний суд; см. примеч. к с. 102 («Полей Твоих суровый хлебороб...»).

ПОСТРИГ

С. 169—170. «Раздваивает жизнь меня...»

...отблеск Духова огня... — см. примеч. к с. 66.

С. 170—171. «Ввели босого и в рубахе...»

в рубахе — постригаемый облачался в белую рубаху-власяницу.

простертый на полу — см. примеч. к с. 269 («Духов день»).

нерадивый Иоанн — вероятно, Иоанн — московский юридивый по прозвищу Большой колпак. Ходил в веригах, с распущенными волосами и почти нагой. Порицал Бориса Годунова. Скончался в 1589 г., похоронен в Покровском (Василия Блаженного) соборе в Москве.

иное платье — после пострига м. Мария была облачена в мантию.

брат Игнатий — личность не установлена.

клобук — монашеский головной убор цилиндрической формы, без полей, расширяющийся кверху.

имярек — кто-то, некто. До совершения обряда постригаемый сохраняет свое мирское имя (Елизавета).

С. 171. «Отменили мое отчество...»

грубое имя — После пострига Е. Ю. Скобцова получила имя *Мария*.

С. 171. «А в келье будет жарко у печи...»

Четьи-Минеи — жизнеописания святых, собранные по дням и месяцам года; состоят из 12 томов (по числу месяцев).

Иисусова молитва — краткая молитва к Иисусу: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» (Православный молитвослов. М., 1997. С. 113), основанная на скромной молитве мытаря: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» (Лк 18: 13).

С. 172. «Так устать, чтоб быть ничем, исчезнуть...»

клобук — см. примеч. к с. 170—171 («Ввели босого и в рубахе...»).

Плоть истленья, праотец Адам. — Первый человек, Адам, олицетворяет в Библии человека в его плотской, греховной ипостаси, человека тленного, то есть смертного: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут...» (1 Кор 15: 22; ср. 15: 47-49; Быт 3: 19).

Сион — один из холмов, на котором расположен Иерусалим и где находился главный храм, также часто называемый Сионом.

осьмиконечный крест — православный крест, знак распятия Христа.

СТРАНСТВИЯ

С. 172—173. «Приеду. Спросят: „Вы откуда?“»

...гвор Твой овчий... — Согласно Евангелиям, все люди — овцы единого стада (см. Мк 6: 34), чей Пастырь — Иисус Христос.

несметной силы князь — дьявол.

С. 173—174. «Черные фигуры двух монахинь...»

...час последней судной жатвы. — См. примеч. к с. 102 («Полей Твоих суровый хлебоборб...»).

С. 174. «Обрывки снов. Певуче плещут недра...»

мытарь — сборщик податей и пошлин в Риме и его провинциях. У древних евреев мытарь и грешник были равнозначны.

С. 174—175. «Небесный Иерусалим...»

небесный Иерусалим — см. примеч. к с. 94—95 («Волосы спускаются на лоб...»).

тварь голяняя — Божье творение; земляне, люди, живущие на земле. См. примеч. к с. 136 («Когда-нибудь, я знаю, запою...»).

3-я строфа восходит к евангельской притче о богаче и нищем Лазаре, подбиравшем крохи со стола богача. Лазарь умер и был отнесен ангелом «на лоно Авраамово», а богач мучился после смерти в аду. «Лонно Авраамово» здесь означает погусторонний мир (см. Лк 16: 19-31).

С. 175. «Искала я таинственное племя...». С. Гаккель, анализирувавший рукопись, считает, что в книге 1949 г. приведены ошибочные редакции, и предлагает следующие уточнения:

— последняя строка 1-й строфы: «Умеют радоваться в плаче»

— последняя строка 3-й строфы: «Бездомных, голых и бесхлебных»

— последняя строка 4-й строфы: «Приявший рабий знак, осанна»

(см.: Гаккель. С. 102—103).

осанна — см. примеч. к с. 148—149.

С. 175—176. «Земли Твоей убогое житье...»

Быт этот тварный мир добро зело... — восходит к библейскому церк.-слав. тексту, в котором говорится о завершении мироздания: Бог увидел, что «се добро зело» («И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» — Быт 1: 31). Этот мир, сотворенный Господом (тварный), был осквернен грехопадением Адама и Евы.

Солнце незакатного полудня... — Солнце — одно из именованний Христа.

С. 176. «Благовестительство. Се — меч...»

Светлолицый — Иисус Христос. Это определение, видимо, опирается на евангельский рассказ о преображении Господнем, когда Он открыл ученикам Свое мессианское достоинство: «И преобразился перед ними; и просияло лицо Его как солнце...» (Мф 17: 2). Светом Его неоднократно именуется апостол Иоанн (см. Ин 1: 4, 9, 8: 12, 12: 35, 46).

С. 176—177. «Закрутит вдруг среди незнакомых улиц...»

Архангелы, ангелы, господства, серафимы — различные ангельские чины. См. примеч. к с. 248 («Мельмот Скиталец»).

С. 177. «Я высоко. Внизу тюки, бочонки...»

скрижаль — см. примеч. к с. 159 («Вижу одежды сияющий край...»).

С. 177—178. «Кто я, Господи? Лишь самозванка...»

камень краеугольный — одно из именованний Христа; христиане имеют «Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм» (Еф 2: 20-21); см. также у пророка Исаии: «Я полагаю в основание на Сионе камень, — камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится» (Ис 28: 16).

чиноположник — тот, кто установил во всем стройный порядок, иерархичность, т. е. Бог.

С. 178. «О, волны каменные, вы...»

Описывается начало (1-й день) сотворения мира Богом (ср. Быт 1: 1-5).

ОЖИДАНИЕ

С. 179—180. «За этот день, за каждый день ответу...»

...не иду я по воде... — восходит к евангельскому рассказу о хождении по водам Иисуса Христа. Апостолу Петру не удалось, по недостатку веры, последовать за Учителем (Мф 14: 26, 29: 31). В своей записной книжке м. Мария записала (31 августа 1934 г.): «Есть два способа жить: совершенно законно и почтенно ходить по суше, — мерить, взвешивать, предвидеть. Но можно ходить по водам. Тогда нельзя мерить и предвидеть, а надо только все время верить. Мгновение безверия, — и начинаешь тонуть» (Гаккель. С. 11).

И будет мне по слову и по вере... — восходит к фразе Христа: «по вере вашей да будет вам», сказанной Им слепцам, просящим об исцелении и верящим, что Иисус совершит это (см. Мф 9: 27-31).

С. 180. «...И за стеною двери замурую...»

...гал распятому злодею, / Тебя познать на высоте креста. — Один из распятых вместе с Христом разбойников злословил Его, а другой («благоразумный разбойник») говорил о несправедливом осуждении Христа (см. Лк 23: 39-42). Его душу Иисус взял на небо.

Вели, как недостойной Маргарине, / Разбить мой алавастровый сосуд... — Сосуды для благовонного масла (мира) во времена Христа изготавливались из белого или черного плотного камня, разновидности гипса. В Евангелии рассказывается, как некая женщина (Мария Магдалина ?) пришла к Иисусу с таким сосудом, и разбив его, возлила благовоние на Его голову (Мк 14: 3). Это слово может означать, что женщина открыла или распечатала сосуд. Поскольку «миро, в подобных сосудах, иногда было слишком дорого, то подобные сосуды не открывались, но должны были испускать благоухание через свои пористые стенки». Женщина же из благоговейной любви к Господу открыла свой сосуд и возлила драгоценную жидкость с избытком (Библейская энциклопедия. М., 1891). См. также примеч. к с. 275 («Духов день»).

С. 181. «Верчу я на мельнице жернов...»

волчец — в Библии (наряду с тернием): негодные, вредные растения.

С. 181—182. «Господи, Ты видишь — нищета...»

елей — здесь: оливковое масло.

С. 183. «Пусть отдам мою душу я каждому...»

1-я строфа — перифраз евангельской беседы Христа, который в Судный день отметит заслуги праведников: «алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня» (Мф 25: 35-36).

С. 183—184. «От жизни трудовой и трудной...»

херувим у врат небесных — После изгнания Адама из рая Бог «поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламен-

ный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт 3: 24).

...*Сама ограблена собой* — реминисценция стих. О. Мандельштама «Кассандра» (1917):

И в декабре семнадцатого года
Все потеряли мы, любя:
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя.

С. 184. «Трехсолнечный свет и нет страха...»
трехсолнечный свет, триединое пламя — свет и пламя, исходящие от Триединого Бога (Троицы).

С. 184—185. «И в этот вольный, безразличный город...»

Соловецкий гнет — Советский концлагерь на Соловецких островах был организован ОГПУ в 1923 г. и назывался УСЛОН (Управление Соловецких лагерей особого назначения). В 1920-е гг. в СССР «Соловками» открыто гордились, они фигурировали в советских песнях (см.: *Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 3. Гл. 2*). Ср. поэму Н. Клюева «Соловки» (1926) (Новый мир. 1989. № 3. С. 229—232).

...*И на челе избрания печать* — восходит к апокалипсической картине «запечатления избранных», которых не должна постигнуть кара Господня: «...не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» (Отк 7: 3).

С. 185. «Я знаю, зажгутся костры...». У С. Гаккеля указана другая дата — 17 апреля 1938 г. Возможно, в книге 1949 г. ошибка.

...*Конец мой, конец огнепальный* — пророчество о собственной судьбе в фашистском концлагере Равенсбрюке: м. Мария была казнена и стала «лишь горсть седого пепла» (см. стих. «Мертва ли я? Иль все еще живая?..»).

С. 185—186. «Парижские приму я Соловки...»

2-я строфа — картина Соловецкого концлагеря; см. примеч. к с. 184—185 («И в этот вольный, безразличный город...»).

кивки и плевки — ср. в поэме «Духов день»: «Я знаю честь, я знаю и плевки, / И клеветы губительное жало, / И шепот, и враждебные кивки».

ПОКРОВ

С. 187. «Из вечных таинственных книг...»

омофор — наплечное облачение священнослужителя высокого ранга.

С. 188. «Присмотришься, — и сердце узнает...»

Господне лето — см. примеч. к с. 270 («Духов день»).

...*Последних строк грядущие дела...* — имеется в виду Апокалипсис — последняя книга Нового Завета, открывающая будущее мира. Последующие стихи восходят к открытому Иоанну знамению Великой Жены: «Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения» (Отк 12: 2). Когда же дракон стал преследовать жену, «которая родила младенца мужского пола...»

даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия...» (Отк 12: 13-14).

С. 188. «Над тварью, в вечности возносится Покров...»

тварный, тварь — см. примеч. к с. 136 («Когда-нибудь, я знаю, запою...»).

меч обоюдоострый — см. примеч. к с. 270 («Духов день»).

хрустальная сфера — Согласно христианской космогонии, небо состоит из трех сфер: первая до Луны — в ней обитают демоны, ищущие гибели человека; вторая — от Луны до звезд, в ней живут ангелы; третья — над твердью небесной, хрустальная, — в ней находится Бог со всеми святыми; там царство небесное. Позже количество небес было доведено до «мистического» числа семь.

С. 189. «Два треугольника — звезда...». Стихотворение при жизни автора расходилось в списках и устных передачах. Вариант — стих. «Звезда Давида». Анализ выполнен Е. Д. Аржаковской-Клепининой (Христианос. Вып. VIII. Рига, 1999).

два треугольника — звезда, щит Давида (Маген Давид (евр.) — Щит Давида) — гексаграмма, образованная пересечением двух равносторонних треугольников; служит эмблемой иудаизма и толкуется как «Бог, небеса». Упомянув на Бога, Давид называл Его: «щит мой, рог спасения моего, ограждение и убежище мое»; «Ты даешь мне щит спасения Твоего» (2 Цар 22: 3, 36); «щит Он для всех, надеющихся на Него» (2 Цар 22: 31). Этот же образ встречается и в других книгах Ветхого и Нового Заветов: «Всякое слово Бога чисто; Он — щит уповающим на Него» (Пр 30: 5); «возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого» (Еф 6: 16).

Щит веры — это крест Христов.

гроза Синая — Когда евреи во главе с Моисеем остановились у подошвы горы, «гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась» (Исх 19: 18).

Элогим — см. примеч. к с. 118—119 («Господь всех воинств, Элогим...»).

ЗЕМЛЯ

С. 193—194. «Наступающее лето...»

Сок зальет земли просторы, / Сгинут в красном море горы. — Зеленый сок — это кровь травы; летом земля покрывается зеленью, т. е. все заливается ее «кровью». Здесь переключка со строками из стих. Н. Гумилева «Детство»: «... людская кровь не святее / Изумрудного сока трав».

СМЕРТЬ

С. 195. «Только к вам не заказан след...»

негреманное, сияющее Око — см. примеч. к с. 118 («Камни на камни, скала на скалу...»).

...Смерть лишилась губящего жала — восходит к тексту Библии: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (Ос 13: 14; 1 Кор 15: 55). Христос победил смерть своим Воскресением: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ...» (тро-

парь Пасхи); ср. примеч. к с. 94—95 («Волосы спускаются на лоб...»).

С. 195. «Не солнце ль мертвых поднялось сегодня?»

лето благости Господней — то же, что Господне лето — см. примеч. к с. 270 («Духов день»).

С. 196. «Моих молитв бескрылых тонкой нитью...»
...развил кольца змей... — Змей, свившийся в круг, — символ бесконечности и бессмертия. Разорванный круг — предвестник конца.

С. 196. «Мы снискиваем питье и брашно...»

Мы снискиваем питье и брашно / Заклятьем первородного греха. — Изгоняя Адама из рая за грехопадение, Бог наказал его потомство, пообещав, что оно будет добывать себе хлеб насущный «в поте лица» (Быт 3: 17-19).

Посмертные публикации. За полвека, прошедшие после гибели м. Марии, было издано немало ее стихотворений как за рубежом, так и на родине. Некоторые из них позже перепечатывались в разных изданиях, а иные с тех пор ни разу не переиздавались. В настоящем разделе воспроизводятся лишь первопубликации. Основная часть их воспроизводится по публикации Б. В. Плюханова в «Вестнике РХД». Париж, 1991. № 161. Названия циклов приведены Плюхановым по авторской тетради, откуда он выписал стихотворения.

С. 198. «Каждый был безумно строг...» Опубликовано: Литературное наследство. М., 1981. Т. 92. Кн. 2.

10 декабря 1911 г. группа молодых поэтов, среди которых были: Е. Ю. Кузьмина-Караваева, О. Мандельштам, Вл. Гиппиус, Вас. Гиппиус, В. Пяст, собрались в «литературном зале» петербургского ресторана «Вена» и заочно избрали Блока «королем поэтов». Каждый из присутствовавших написал небольшой экспромт на открытке, и этот своеобразный «диплом» был послан Блоку по городской почте.

С. 198. «Увидишь ты не на войне...». Впервые опубликовано в журнале: Байкал (Улан-Удэ). 1980. № 5. Является неотъемлемой частью письма Кузьминой-Караваевой к А. Блоку от 26 июля 1916 г. из Джемете (под Анапой) в Белоруссию.

Великомученик Георгий <...> белый всадник — На белом коне восседает всадник-победитель (Георгий Победоносец). Эта традиция долгое время сохранялась в русской армии. Вспомним «белого генерала» М. Д. Скобелева. Парад Победы в Москве (24 июня 1945 г.) маршал Г. К. Жуков также принимал на белом коне.

...*всадник...* / *Покажет, как идти к гракону...* — переключка с К. Бальмонтом: «Святой Георгий, убив Дракона, / Взглянул печально вокруг себя». Эти строки понравились Блоку, и он переписал их в записную книжку.

напряженья аг — слова из письма Блока Кузьминой-Караваевой: «На войне оказалось только скучно. О Георгии и Надежде, — скоро кончится их искание. Какой ад напряженья». Поэтесса немедленно откликнулась (письмом от 20 июля

1916 г.): «О Георгии и о Надежде Вы пишете. Если бы Бог помог Вам родиться скорее и облегчил бы Вас» (*Кузьмина-Караваева Е. Ю.* Наше время еще не разгадано... Томск, «Водолей», 1996. С. 143).

мой царственный — слова Елены (ее обращение к Герману) из пьесы Блока «Песнь судьбы» (карт. 1-я).

С. 199—200. «А медный и стертый мой грошик...», «Стоит ли быть Бонапартом?», «Средневековых улиц тишь...», «Не попутным, видно, ветром...». Опубликовано Е. Н. Микулиной в альманахе «День поэзии» (М., 1978).

С. 199. «А медный и стертый мой грошик...» *медный и стертый мой грошик..* — переключка с Блоком: «Кладя в тарелку грошик медный...» («Грешить бесстыдно, непробудно...», 1914).

С. 200—201. «Не похожи друг на друга реки...». Опубликовано в журнале «Отчизна». 1979. № 2.

С эту рекой... — р. Гаронна, на которой стоит г. Бордо.
...из города Петрова — из Петербурга.

С. 201—202. «Самое вместительное в мире — сердце...», «Нет, не покорная трусливость...», «Недра земли, океаны, пещеры...». Опубликовано А. Н. Шустовым в журнале «Звезда». 1990. № 5.

С. 202—204. «Внизу написано: „Агата...“», «Глаза, глаза, — я знаю вас...», «Единство мира угадать...», «Испанцы некогда здесь жить хотели...», «Посты и куличи. Добротный быт...», «Ты, серебряная птица, Голубь...». Опубликовано Б. В. Плюхановым в журнале «Даугава» (Рига). 1987. № 3.

С. 203. «Единство мира угадать...»

Предвечная Мать, Преображенная Жена — Образ заимствован из Апокалипсиса, это одно из явлений, сопутствующих преобразению мира в конце времени. Жена, увенчанная звездами и побеждающая дракона — олицетворение Церкви, Новой Евы, рождающей Тело Христово, и сама Дева Мария (см. Отк 12).

«Плывет с двумя баржами тихо катер...», «И в эту лямку радостно впрягусь...», «Смотри, измозолены пальцы...», «Господи, Господи, Господи...», «Нашу русскую затерянность...», Марсель Ленуар. Напечатаны Б. В. Плюхановым в Ученых записках Тартуского гос. университета. 1989. Вып. 857 (Блоковский сборник. IX). Публикация осуществлена по предложению З. Г. Минц, которая познакомилась со стихами м. Марии по подборке журнала «Даугава» (1987. № 3) и так оценила их: «Удивительные стихи матери Марии (нечто противоположное современным поэтам: язык ее не нов, даже во многом слишком традиционен, но зато есть о чем сказать). Хожу до сих пор под их впечатлением» (Вестник РХД. Париж, 1991. № 161. С. 142.).

С. 206. «Нашу русскую затерянность...»

Параклет — см. примеч. к с. 118—119 («Господь всех воинств, Элогим...»).

С. 207. Марсель Ленуар

Марсель Ленуар — подлинное имя: Жюль Ури (1872—1931) — французский художник и эссеист. В стихотворении м. Мария описывает его фреску «Коронование Богоматери», находящуюся в Католическом институте в Тулузе.

меч двоякоострый — «символ страдания, пассивно претерпеваемого не волею избранного, а неизбежного, — оружие, проходящее душу» (м. Мария). См. примеч. к с. 270 («Духов день»).

ЛЮДИ

С. 207. «Номер сто пятидесятый...»

свободный постриг — К этому времени Е. Ю. Скобцова пострига еще не приняла, но внутренне готовилась к нему.

меч обоюдоострый — см. примеч. к с. 270 («Духов день»).

С. 208. «По кофейням, где шлепают карты...»

...Языки богатного света — см. примеч. к с. 66 («Жить днями, править ремесло...»).

С. 209. «В людях любить всю ущербность их...»

...пламенем веющий ангел — Однажды, когда Моисей пас овец у горы Хорив, «явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста» (Исх 3: 2) — несгорающий куст, неопалимая купина.

ГОРОДА

С. 210—211. «Еще мне подарили город...»

аллилуйя — см. примеч. к с. 136—137 («Ты не изменишь... Быть одной...»).

С. 211. «Ты ли, милосердный Пастырь...»

Пастырь — Согласно Евангелию, все люди — овцы единого стада, пасомые добрым, милосердным Пастырем — Иисусом Христом (Ин 10: 11).

Параklet — см. примеч. к с. 118—119 («Господь всех воинств, Элогим...»).

ИНОЕ

С. 211—212. «Десять раз десять...»

...Твержу молитву Иисуса — см. примеч. к с. 171 («Отменили мое отчество...»).

тля — ж. р. к слову «тлен» — гниль, ржа, прах, все тленное.

С. 212. «Помазанность, христовость наша...»

первосвященнический — Первосвященник — глава священников в ветхозаветной иудейской церкви. Первосвященником был и Иисус Христос «по чину Мелхиседека» (Евр 5: 5, 6: 20). См. примеч. к с. 215 («В тысяча девятьсот тридцать первое...»).

С. 212. «Инок и странник-сородич...»

богоизбранный род — см. примеч. к с. 97—98 («На праздник всех народов и племен...»).

В НАЧАЛЕ

С. 213. «И нет меня уже как будто...»

«Я есмь Сый» — *Сый* (церк.-слав.) — Сущий. Это имя Господь открыл Моисею: «Я есмь Сущий» (Исх 3: 14), т. е. истинный, вечный Бог (Ягве).

С. 214—215. «Моих грехов не отпускай...»

умет — грязь, отбросы.

посконная рубаха — рубаха из поскони, грубого домотканого холста.

С. 215. «В тысяча девятьсот тридцать первое...» *от воплощения Слова* — от Рождества Христова. *Слово* — см. примеч. к с. 74 («Тесный мир; вот гневный сев...»).

жрец по образу Мелхиседекову — Иисус Христос. Мелхиседек — Салимский царь и «священник Бога Всевышнего», который поднес патриарху Аврааму хлеб и вино (см. Быт 14: 18); рассматривается как прообраз Христа.

бескровная жертва — литургические хлеб и вино. См. примеч. к с. 94 («Ветер плачет в трубе...»).

заушать — бить, давать пощечины.

аспид — ядовитая змея.

...рأسпятой, / Как разбойники, с Агнцем рядом — Агнец — одно из именовании Христа, который был распят на Голгофе вместе с двумя разбойниками.

С. 216. «Идет устрашающий гнев...»

Покров Жены — Покров Богоматери, см. примеч. к с. 56 («Так. Всем сомненьям дан ответ...»).

Иоанн Богослов... срывает печать... — в Откровении (Апокалипсисе) Иоанн Богослов рассказывает о Божественной книге судьбы, запечатанной семью печатями, которые поочередно снимал Агнец (см. Отк 5, 6: 1).

...в вечность подымается Мать — после своей кончины Богоматерь была воскрешена Христом и вознесена на небеса «в обитель вечной жизни»; одновременно это и образ Преображенной Жены — см. примеч. к с. 203 («Единство мира угадать...»).

омофор — см. примеч. к с. 187 («Из вечных таинственных книг...»).

Афон — гора на северо-востоке Греции, крупнейший центр православного монашества.

СМЕРТЬ

С. 216—217. «Живу в труде. Тяжелый мой кирпич...»

ага Победитель — Иисус Христос своим воскресением попрал смерть и победил дьявола. См. примеч. к с. 195 («Только к вам не заказан след...»).

С. 217. Мир

пийца и ядца — питье и еда. Плоть и Кровь Христа при совершении таинства причащения. См. примеч. к с. 94 («Ветер плачет в трубе...»).

солнечный Запад — закат солнца, вечер жизни. В переносном смысле — русская эмиграция в Европе.

С. 218—219. «Ночью камни не согреешь телом...»

Тебе негде приклонить главу — восходит к словам Иисуса Христа: «Лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф 8: 20; см. также примеч. к с. 43 — «Я не хотела перепутья...»).

С. 219—221. «Все забытые мои тетради...», «Три года гость. И вот уже три года...», «Еще до смерти будет суд...», «Ночь. И звезд на небе нет...»,

Звезда Давида. Опубликовано С. Гаккелем по рукописям к книге: *Гаккель С. Мать Мария. Париж, 1992.*

С. 219. «Три года гость. И вот уже три года...»

Три года гость. — Речь идет об архимандрите Киприане (Керне), который с 1936 по 1939 г. был священником Покровской церкви в пансионате м. Марии на ул. Лурмель, 77 в Париже. М. Мария и о. Киприан не сошлись характерами, и митрополит Евлогий был вынужден заменить священника.

С. 220—221. Звезда Давида. В сокращенном виде опубликовано в сб. «Стихи» (1949), откуда С. Гаккель взял две последние строки (*Гаккель. С. 226*). В рукописи они читаются иначе: «Научишься на знак невольный / Душою вольной отвечать». См. примеч. к с. 189 («Два треугольника — звезда...»).

Суций — см. примеч. к с. 213 («И нет меня уже как будто...»).

исход — Исход евреев из египетского плена описан во 2-й книге Ветхого Завета, носящей это же название.

С. 221—223. «Моего смиренного Востока...», «Обетовал нам землю. Мы идем...», «Знаю я, на скором повороте...», «Глуше гремит труба...», «Будет день, в который с поездом...». Опубликовано Т. В. Емельяновой в журнале «Новый мир». 1998. № 5.

С. 221—222. «Обетовал нам землю. Мы идем...»

Ханаан — см. примеч. к с. 119 («Там было молоко и мед...»). М. Мария считала своей обетованной землей Россию, которую часто называла Ханааном.

И вел нас ночью пламенным огнем. / И вел нас днем / Ты облаком... — повторены события исхода израильтян из Египта под покровительством Господа: «Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном...» (Исх 12: 21).

...наш лазутчик / Нам говорит, — не млеко там и мед... — «Русский Ханаан» противопоставляется своей суровостью библейской «земле обетованной», о которой посланные, чтобы «высмотреть землю», лазутчики сообщают: «...в ней подлинно течет молоко и мед...» (Чис 13: 28).

небесный сад — рай, Эдем.

В публикации в «Новом мире» приведен черновой вариант последней строфы.

С. 223. «Глуше гремит труба...»

Ангел сосуд простер... — В Апокалипсисе семь ангелов по указанию Господа изливают на землю семь чаш гнева (см. Отк 16).

голина Иосафата — местность в окрестностях Иерусалима, где Бог покарал врагов иудейского царя Иосафата (см. 2 Пар 20: 1-26); предполагаемое место Последнего суда (см. Иоиль 3: 2, 12-16).

С. 223. «Будет день, в который с поездом...»

земля чаемая — здесь: Новый Иерусалим — см. примеч. к с. 165 («Я верю, Господи, что если Ты зажег...»).

Поэмы

Мельмот Скиталец. Поэма была издана по рукописи единственный раз в ежегоднике «Памятники культуры. Новые открытия. 1986», Л., 1987. Заглавие поэмы принадлежит первым публикаторам. Печатается с незначительными орфографическими и пунктуационными уточнениями.

Героиня романа Ч. Р. Метьюрина, положенного в основу поэмы, носит имя *Иммали* (см. то же в «Скифских черепках»); в поэме — *Имали*.

Песня первая

С. 236. Строфа, начинающаяся: *Исчезла горизонтта полоса...* — и следующие две были опубликованы в виде отдельного стихотворения в журнале «Руконог» 1914 г. (см. на с. 156).

С. 240. *Майна* — спец. термин такелажников, команда: «По-давай вниз! Опускай!»

Песня третья

С. 244. *Не край родной, где я несу заботы...* — Эта и следующие три строки — картины имени самой Кузьминой-Караваевой в Джемете под Анапой.

И белый дом, таинственный и строгий... — ср. описание белого дома в «Малой Азии» из письма Кузьминой-Караваевой Блоку от 10 июля 1916 г. (*Кузьмина-Караваева Е. Ю.* Наше время еще не разгадано... Томск, 1996. С. 142—143).

...*Уверовать в преображение плоти* — см. примеч. к с. 72 («Покорно Божий суд приму...»).

С. 247. *Белое войско* — ангельское воинство, поскольку ангелы носят белые одежды (белоризцы).

Архистратиг Михаил — см. примеч. к с. 115—177 («Монах»).

С. 248. ...*белый ряд / Серафимов, Сил, Престолов...* — Девять ангельских чинов распределены строго иерархично в трех триадах: 1-я — серафимы, херувимы, престолы; 2-я — господства, силы, власти; 3-я — начала, архангелы, ангелы.

С. 249. ...*Боже, ты закинул сеть...* — см. примеч. к с. 96 («Огнем Твоим поражена...»).

С. 255. ...*прах к праху вернувший...* — опирается на библейский: «...прах ты и в прах возвратишься» (Быт 3: 19) и литургический: «...убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдём... яко земля еси и в землю отыидеши...» тексты.

...*молились Богу Силы...* — см. примеч. к с. 45—46 («Теперь, когда я ближе к цели...»).

Шедшие узким, прискорбным путем... — Христос учил, что «тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь», а не в погибель (Мф 7: 13-14). См. также примеч. к с. 69—70 («День новый наступил суров...»).

Взявшие... Мой крест, как ярём... — см. примеч. к с. 86—87 («Да, каждый мудр, и чудотворец каждый...»).

Иона — Пророк Иона, будучи проглочен китом, молился Господу об освобождении. Бог внял молитве и «изверг Иону на сушу» (Иона 2).

С. 256. *Душу со святыми упокой...* — см. примеч. к с. 114 («Все говорит мне: тяга лет...»).

Там, где нет болезни и ни стоана... — восходит к тексту Апокалипсиса, видению нового неба и новой земли, где «смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет...» (Отк 21: 4).

Песня четвертая

С. 259. Дух Утешитель — см. примеч. к с. 118—119 («Господь всех воинств, Элогим...»).

Вельзевул — глава злых духов, «бесовский князь» (см. Мк 3: 22; Лк 11: 15).

Ангел Хранитель — см. примеч. к с. 124—125 («Людей колючие слова...»).

С. 263. Начало премудрости — страх — перефразированные высказывания из библейских «книг мудрых» (Притчей Соломоновых и Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова): «Начало премудрости — страх Господень» (Притч 1: 7 и 9: 10); «Венец премудрости — страх Господень» (Сир 1: 18).

Похвала труду. Псалом впервые опубликован в книге: *Мать Мария*. Стихотворения, поэмы, мистерии... Париж, 1947. Идеи псалма перекликаются со словами славянофила К. С. Аксакова: «Труд есть долг человека, есть его нормальное состояние на земле. Только труд дает право на наслаждение жизнью. Каков бы ни был труд: вещественное ли это обрабатывание земли, работа ли напряженной мысли — все равно. <...> Жизнь не есть удовольствие, как думают некоторые: жизнь есть подвиг, заданный каждому человеку, жизнь есть труд» (Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1982. С. 25).

С. 264. ...из персти созданных... — созданный из земли (праха, брения), т. е. человек в его земной, плотской (вещественной) природе; ср.: «Первый человек — из земли, перстный...» (1 Кор 15: 47).

Полвека я могла искать — ко времени написания псалма м. Марии исполнилось 50 лет.

Священное избранье человека... — эта и следующие 10 строк подразумевают грехопадение первозданной четы и последовавшее за ним наказание Божие (см. Быт гл. 3).

С. 265. Лишь бы найти упор... и землю сдвинет в воздухе рычаг — пересказ исторической фразы Архимеда: «Дайте мне рычаг и точку опоры, и я переверну мир».

С. 266. Небесный Иерусалим — аллегория будущего Царства Небесного, царства святых на небе. Поскольку созданный Богом земной мир был искажен грехопадением, обновленную вселенную Иоанн Богослов прозрел в образе Небесного (Нового) Иерусалима (Отк 3: 12; 21: 2). Это будет восстановленный райский сад — Эдем. См. также примеч. к с. 165 («Я верю, Господи, что если Ты зажег...»).

Духов день. Впервые поэма была опубликована посмертно в кн.: *Мать Мария*. Стихотворения, поэмы, мистерии... Париж, 1947. Многоточия в тексте второй песни, указывающие на утраченные строки, приняты по этому изданию. Анализ поэмы выполнен Г. И. Беневицем (см.: Реализм святости. СПб., 2000).

Духов День, или Понедельник Святого Духа, — православный праздник в честь сошествия Святого Духа на апостолов, отмечается на 50-й день после Пасхи, вслед за Троицей.

Песня первая

С. 267. ...он червь, он раб, он царь, он Бог — неточная цитата из оды Г. Р. Державина «Бог»: «Я царь — я раб, я червь — я Бог!»

С. 268. ...Петр... по водам / Пошел к Нему... — эпизод хождения апостола Петра по водам взят из Евангелия (Мф 14: 28—32). Учитель — Иисус Христос. См. примеч. к с. 179—180 («За этот день, за каждый день отвечаю...»).

Пошел — иду. Пошла — иду. — См. примеч. к с. 67 («Отвратила снова неудачу...»).

...Рождала в жизнь, и дважды в смерть рождала. — У м. Марии было трое детей: Гаяна, Юрий и Анастасия. Обе дочери умерли до войны (Анастасия в 1926 г., Гаяна в 1936 г.); сын был арестован вместе с матерью и погиб в «филиале» Бухенвальда — Доре в 1944 г.

На запад солнца — выражение из православной молитвы Сыну Божию «Свете тихий»: «Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний...», т. е. дожив до захода солнца (до старости), восходящее к ветхозаветной Книге Иисуса Навина (1: 4). В данном случае, возможно, имеется в виду Франция, где м. Мария проживала с 1924 г.

С. 269. ...Ты гроздь, которую поит лоза — евангельский образ Христа: «Я есмь истинная виноградная лоза... <...> Я есмь лоза, а вы ветви...» (Ин 15: 1, 5). Лоза — символ единения человека с Христом.

Мир иной — монастырь; отсюда название монаха — инок, т. е. живущий иначе, чем все остальные.

...крест распостертых рук / Был образом великим погребенья. — Постригаемый в монахи, разбросив руки крестообразно, простирается на полу. Погребенье — уход из мира в монастырь. Ср. стих. «Ввели босого и в рубахе...» (с. 170—171).

Шлем воина... клобук — монашеский клобук называется шлемом спасения.

Египтянка — св. Мария Египетская, чье имя получила Е. Ю. Скобцова при постриге; празднуется церковью 1 апреля ст. ст.

...Средь площадей ношу мой черный шлем. — Согласно уставу, монах может проявлять себя лишь на четырех путях: в храм, в трапезную, на послушание и в келью. Путь в мир (на площади) ему закрыт.

С. 269—270. Льют новое вино / Не в старые мехи. Перефразировка евангельского текста: «Не вливают... вина молодого в мехи ветхие...» (Мф 9: 17).

Благоприятно лето мне Господне. — Лето (слав). — год, когда Мессия, помазанный Духом Господним, явится «исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам — открывать темницы» (Лк 4: 18-19).

С. 270. И серп жнеца сегодня наострен. — Восходит к евангельскому тексту: «Когда же созреет плод, немедленно посылает

серп, потому что настала жатва» (Мк 4: 29); см. также примеч. к с. 102 («Полей Твоих суровый хлебороб»).

...обоюдоострый меч... разивший сердце Девы. — Евангельский образ: «...Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец» (Лк 2: 35). В одной из статей м. Мария писала: «По Евангелию, меч — это символ страдания, пассивно претерпеваемого, не волею избранного, а неизбежного, — оружие, проходящее ее душу. Крест Сына Человеческого, вольно принятый, становится обоюдоострым мечом, пронзающим душу Матери, не потому, что Она вольно его избирает, потому что Она не может не страдать страданиями Сына» (*Мать Мария (Скобцова)*). Воспоминания, статьи, очерки. Париж, 1992. Т. 1. С. 99).

разбойник похуливший — один из двух распятых рядом с Христом разбойников злословил Его вместе с римскими воинами-палачами.

С. 271. *Вторым крещеньем окрестит в огне.* — Святой Иоанн крестил водою, а Иисус Христос — «Духом Святым и огнем» (Мф 3: 11; Лк 3: 16); см. также примеч. к с. 80 («Нам, верным, суждена одна дорога...»).

Печатью многие отметит лица. — См. примеч. к с. 184—185 («И в этот вольный, безразличный город...»).

Птица (обычно голубь) — традиционное изображение Святого Духа, одной из ипостасей (третьего лица) Троицы.

Песня вторая

...Державных лат отбросивши почет... — см. примеч. к с. 132—133 («Нечего больше тебе притворяться...»).

С. 272. *И две зари полночные не гасли* — перефразировка пушкинских строчек из поэмы «Медный всадник» о петербургских белых ночах: «Одна заря сменить другую / Спешит, дав ночи полчаса».

Преставшихся царей... Иоаннов. — Преставшийся (слав.) — преставившийся, умерший. В Архангельском соборе Московского Кремля похоронены великие князья Рюриковичи: Иван Данилович Калита, Иван Иванович (сын Калиты), Иван III Васильевич; цари: Иван IV Грозный и Иван V Алексеевич (брат Петра I).

среди семи морей. — По старой географии считалось, что Россия омывается семью морями: Черным, Азовским, Балтийским, Белым, Каспийским, а также Северным Ледовитым и Тихим океанами («морями»).

Баскак — наместник золотоордынских ханов в русских городах в XII—XIV вв., в обязанности которого входил сбор податей и надзор за исполнением ханских повелений.

Василий, бос и наг — московский юродивый Василий Блаженный (1465—1552); ходил босой и почти не одетый в любую погоду, говорил правду всем, независимо от чина; скончался до периода злодеяний Ивана Грозного. Похоронен на том месте, где в 1554 г. повелением Ивана Грозного был воздвигнут храм Покрова Богородицы, который неофициально носит имя этого святого. Василий — любимый герой м. Марии. Знавший м. Марию в середине 1930-х гг. Б. В. Плюханов вспоминал о ее приезде в Латвию в 1935 г. и беседах с местной молодежью:

«Она очень увлекалась и много говорила в Риге об одном своеобразном типе духовного жизненного пути, протекавшего в условиях старой русской государственности, при наличии устоявшегося быта, традиций, уставов, определенной эстетики, известного благочестия: о явлении „Христа ради буйственного жития“, то есть о юродивых. С особым увлечением рассказывала о жизни Василия Блаженного. Она отмечала, что в кондаке Василия Блаженного поется, что он хотел „убежать ловления льстивого миродержца“, следовал завету „Не любите мира, ни того, что в мире“ (1 Ин 2: 15. — А. Ш.). Живописуя жизнь Василия Блаженного, говорила, что Блаженный часто швырял камни в церкви и в дома добродетельных людей, а на кабаки крестился, объясняя, что около чистых мест всякая нечисть водится, а около кабаков ангелы о погибших душах поют. Она приводила описание иконы Василия по „Подлиннику“: он „наг, сед, курчеват, брада невеличка, раздвоились космочки, волосы истерхались“. С сочувствием упоминала об отзыве о значении юродства, данном Флетчером в 1588 г., в год канонизации Василия Блаженного: „Блаженные, подобно пасквилям, указывают на недостатки знатных, о которых никто другой говорить не может“. <...> И это она считала одним из основных по важности моментов русской истории»¹. Она выделяла Василия Блаженного как «единственного хозяина, которого <принимала> с радостью» и считала, что «свобода нас призвала юродствовать» (Гаккель. С. 144).

Завтра бой — слова из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».

Дымящееся гуло <...> *был тогда январь* <...> *льгистый царь...* — Имеется в виду дуэль Пушкина с Дантесом и кончина поэта 29 января 1837 г. (ст. ст.), в царствование Николая I.

С. 273. *Ушкуйник* — лихой человек, разбойник.

четвертованный Емелька — Емельян Иванович Пугачев, казненный в 1775 г.

За четверть века — с 1917 г.

Новая порода / И племя незнакомое — немецко-фашистские оккупанты.

В Европе, здесь, на площади, петух... — Эта и следующие пять строф — аллегорический эпизод с «геральдическими» животными; является изложением сна м. Марии, который она тогда же рассказала К. В. Мочульскому. Петух — Франция, тигр — Германия, шакал — Италия, медведь — Россия.

С. 274. *Стал тюрьмою... огромный город* — оккупация Парижа немцами в июне 1940 г. Перед сдачей Париж был объявлен открытым городом.

Земля — Богоневестной Девы — Богородица, дева Мария, издавна считалась небесной покровительницей России.

С. 275. *Езекиил* — пророк Иезекииль, автор одной из ветхозаветных книг, которую он написал в вавилонском плену. Иезекииль пророчествует о том, что Бог откроет могилы и выведет израильтян из плена на родину, где они оживут; были

¹ Плюханов Б. В. РСХД в Латвии и Эстонии, <Париж>, 1993. С. 213—214.

«кости сухие», но Бог сказал: «Обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух» (Иез 37: 12-13, 4-6).

Животворный Крест — оживляющий, воскрешающий. С его помощью многие из погибших на месте Последнего суда, в долине Иосафатовой, будут воскрешены.

Иосафатова долина — см. примеч. к с. 223 («Будет день, в который с поездом...»).

Магалина Мария — раскаявшаяся грешница; в дальнейшем ученица и последовательница Христа. Присутствовала при казни Учителя и снятия Его с креста. Одна из первых узнала о чуде — воскресении Иисуса.

Песнь третья

Киновия — общежитие монашествующих; иногда небольшой монастырь, «филиал» основного.

С. 276. *Он в мир не мир, но меч принес.* — Восходит к словам Иисуса Христа: «...не мир пришел Я принести, но меч» (Мф 10: 34).

Краеугольный камень — см. примеч. к с. 177—178 («Кто я, Господи? Лишь самозванка...»).

...новое вино влить в новый мех... — см. примеч. к с. 269—270 («Духов день»).

С. 277. *Иуда* — один из апостолов Христа, предавший своего Учителя, классический образ предателя, изменника; *Каин* — один из сыновей Адама, убивший своего брата Авеля, классический образ убийцы.

Вода пронзенного ребра — см. примеч. к с. 94—95 («Волосы спускаются на лоб...»).

Печать — см. примеч. к с. 216 («Идет устрашающий гнев...»).

...Прозревшие, как вас осталось мало. — Христос явился в мир, чтобы «проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение» (Лк 4: 18); «чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» (Ин 9: 39).

Давида дочь — Богородица Мария происходила из рода царя Давида. «Православное сознание воспринимает Ее, Деву из колена Иудина, Дочь Давидову, как Мать всего живого... как человеческое Тело Христово» (*Мать Мария (Скобцова)*). Воспоминания, статьи, очерки. Т. 1. С. 100).

С. 278. *Меч и крест* — евангельские символы: крест — вольно принимаемого, а меч — пассивно претерпеваемого страдания. См. примеч. к с. 270 («Духов день»).

Невеста из невест — дева Мария. Ср. *нелегитимная невеста* — т. е. не знавшая брака.

Отпрыск Давида — Иисус Христос — «Сын Давидов» (Мф 1: 1; Лк 1: 32) по линии Иосифа, мужа Марии.

Крещение второе — см. примеч. к с. 271 («Духов день»).

Параklet — см. примеч. к с. 118—119 («Господь всех воинств, Элогим...»).

Пилат умоет руки. — Выдав Христа первосвященникам, Пилат «...взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего...» (Мф 27: 24).

Петуший утренний раздается крик... — О трехкратном отречении Петра от Учителя до утреннего петушиного крика рассказано в Евангелиях. См. примеч. к с. 90 («Когда мой взор расцвет заметил...»).

Сын плотника — Иисус Христос (см. Мф 13: 55).

Утешитель иной — ср. слова Христа накануне ареста: «...Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины...» (Ин 14: 16-17; 16: 7-11). «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин 14: 26).

мытарь — см. примеч. к с. 174 («Обрывки снов. Певуче плещут недра...»).

фарисей — член одной из иудейских сект, притязавшей на особую святость. Отличительными пороками фарисеев были гордость, лицемерие, корыстолюбие. См. евангельскую притчу о *мытаре* и *фарисее* (Лк 18: 10-14).

Варавва — разбойник, убийца, амнистированный по требованию израильского народа; по обычаю «на всякий праздник» отпускали «одного узника», и народ сделал выбор в пользу Вараввы (см. Мф 15: 6-15).

Трехдневная ночь — После смерти и прежде воскресения (на третий день) Иисус «нисходил в преисподние места земли», дабы «наполнить все» (см. Еф 4: 9-10). Это означает подлинность Его смерти как человека и в то же время подлинность Его победы над ней.

...Дух крылом смущает воду... — см. примеч. к с. 74.

С. 279. *Израиль новый* (избранный, Новозаветный) — русский народ. О мессианстве, избранности русского народа писали в России многие: Ф. М. Достоевский, Д. С. Мережковский, В. С. Соловьев. «Россия, уподобляясь душе человеческой, как душа человеческая оказывается просто географическим пространством, <она>, как Новый Израиль, заключает Вечный Завет бесконечного Царства Божия» (Соловьев В. Русская идея. СПб., 1991. С. 26). На Западе в 1930-е гг. под Новым Израилем подразумевалась русская эмиграция. С. Н. Булгаков по поручению митрополита Евлогия сочинил специальную молитву Богу: «Яко же Израилю, в пустыне странствующему, благоволил войти в землю обетованную, тако и сынам рассеяния сего благоволи возвратиться в землю свою и к народу своему и тамо Тебе послужити» (сообщено протоиереем о. Борисом Старком). См. примеч. к с. 97—98 («На праздник всех народов и племен...»).

Дар благодати взвешен на весах <...> для немногих — спасительная сила, помощь Божия. Количество отпускаемой Богом благодати для каждого человека «отвешивается» индивидуально, в соответствии с его верой и благочестием. См. также примеч. к с. 97 («Бодрствуйте, молитесь обо Мне...»).

Что создано из праха, будет прах... — см. примеч. к с. 255.

Где среди потопа Белой Птице сесть? — Во время всемирного потопа праведник Ной спасался на плавучем ковчеге. Чтобы узнать, насколько убывла вода, он выпускал «на разведку» белого голубя.

С. 280. *...распни ее...* — Криками «Распни его!» народ потребовал от Пилата казни Христа.

Прегреченный Вождь — Христос, пришествие которого было предсказано ветхозаветными пророками.

Анна. Мистерия впервые была опубликована в книге «Стихотворения, поэмы, мистерии...» (1947). Переиздана С. Н. Кайдаш-Лакшиной в журнале «Театр» (1989. № 5). Анализ мистерии сделан Т. В. Емельяновой (Страницы. 1997. Т. 2. Вып. 4). Известна единственная постановка пьесы театральной молодежной группой в Париже на франц. яз. в октябре 1998 г.

Действие первое

С. 283. *У корня Господня секира* — Евангельский образ: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь...» (Мф 3: 10); см. также примеч. к с. 30 («Он в рабство продал меня чужому тирану...»).

С. 284. *Прегвечный Саговник* — Бог. См. примеч. к с. 48 («Свершены ль железные законы?...»).

С. 287. *Перстный* — созданный из персти, см. примеч. к с. 264 («Похвала труду»).

С. 288. *Подвигоположник* — Бог, который полагает (устанавливает) каждому человеку его жизненные подвиги.

Четьи-Минеи — см. примеч. к с. 171 («А в келье будет жарко у печи...»).

Виталий-монах — Житие монаха Виталия (VI—VII вв.) м. Мария включила в свою книжку «Жатва духа» (Скобцова Е. Ю. *Мать Мария*). Жатва духа. Томск, 1994. С. 28—31).

Действие третье

С. 304. *тельца упитанного заколоть* — образ из евангельской притчи о блудном сыне, много грешившем, вернувшемся в отчий дом и прощенном отцом; ради его возвращения был заколот телец для праздничной трапезы: «...приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк 15: 23-24).

Семь чаш. Мистерия впервые опубликована в книге «Стихи» (1949). Заглавие пьесы заимствовано из книги Апокалипсис (Откровение святого Иоанна): семь золотых чаш, переданных семи Ангелам, были наполнены гневом Господним (Отк 15: 7). Об изливании этих чаш на землю см. 16-ю главу Апокалипсиса. Осенью 2000 г. в Париже состоялась постановка мистерии на франц. яз. (пер. Е. Д. Аржаковской-Клепининой).

III

С. 310. *Тайнозритель* — святой Иоанн Богослов, получивший от Господа откровения о конечной судьбе мира.

IV

С. 314. *мы голы под голым небом на пустой земле* — образ из пьесы Л. Андреева «Савва»: «Нужно, чтобы теперешний человек голый остался на голой земле. Тогда он устроит новую

жизнь. <...> Голая земля, и на ней голый человек, голый, как мать родила».

С. 315. *Читай в главе девятой Откровенья.* — В этой главе книги Откровения Иоанна Богослова рассказывается о мучениях, возглашаемых Ангелами грешникам по Божьей воле: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Отк 9: 6).

На Патмосе апостол Иоанн... — Апостол Иоанн Богослов записал данное ему свыше Откровение на о. Патмос, неподалеку от о. Самос в Эгейском море (Отк 1: 9).

«По виду саранча ∞ вредили ими» — изложение текста Откровения (см. Отк 9: 7-11, 17-19).

С. 319. *Мариам (евр.)* — возвышенная, превознесенная, здесь: Мария, Мать Иисуса.

VIII

С. 320. *Тора* — см. примеч. к с. 138 («Не помню я часа Завета...»).

Иов — см. примеч. к с. 149 («Сила мне дается непосильная...»).

С. 321. *Мессия* — помазанник (евр.) — так израильтяне называли своих пророков, царей и первосвященников.

...Вознесен на крест людскою злобой... — речь идет об Иисусе Христе. Для окружающих странно слышать это из уст иудея.

Страшный Суд — суд Христа во время Его второго пришествия после воскресения народов.

IX

С. 322. *...И плевелы отделят от пшеницы...* — см. примеч. к с. 102 («Полей Твоих суровый хлебоборб...») и к с. 63 («Из житницы, с травой сорной...»).

Неопалимая Купина — горящий (но несгорающий) терновый куст — явление Ангела Господня Моисею (см. Исх 3: 2-4).

Крещаемы Огнем Святого Духа — см. примеч. к с. 80 («Нам, верным, суждена одна дорога...»).

Солдаты. Мистерия впервые была опубликована в книге «Стихотворения, поэмы, мистерии...» (1947). Анализ пьесы сделан Е. Д. Аржаковской-Клепининой (Христианос. Вып. VIII. Рига, 1999).

Первая сцена

С. 324. *Сколько тысяч лет... дороги мерить...* — Подразумеваются «вечные» странствия Агасфера. Агасфер — еврей, оттолкнувший Христа, остановившегося отдохнуть на крестном пути, и обреченный за это на вечное и мучительное скитальчество.

Долина Иосафата — см. примеч. к с. 223 («Глуше гремит труба...»).

С. 326. *...Как предсказал пророк...* — В ходе Иудейской войны (66—70 гг.) войска римского полководца Тита взяли Иерусалим, полностью разрушив город и храм. Сотни тысяч человек погибли, 70 тысяч были проданы в рабство. События описаны в

книге Иосифа Флавия «Иудейская война». Пророк Иеремия предвещал падение Иерусалима.

Рахиль — жена патриарха Иакова, праматерь израильтян; видя их пленение, она безутешно плакала (Иер 31: 15).

Знак Егови (Ягве) — шестиконечная звезда Давида. См. примеч. к с. 189 («Два треугольника — звезда...»). *Щит Давида* — в переносном смысле — покровительство Божие.

Вторая сцена

С. 328. *Звездоносцы* — Указом гитлеровской канцелярии от 4 марта 1942 г. всем евреям во Франции предписывалось носить желтую звезду. В Париже указ вступил в силу 7 июня. В этот день м. Мария написала стихотворение «Два треугольника, — звезда...».

С. 330. *Другая держава* — Англия, находившаяся в состоянии войны с Германией. В Лондоне обосновалось тогда руководство движения «Свободная Франция» во главе с Ш. де Голлем.

С. 331. *Варвар-народ* — русские.

Третья сцена

С. 334. *Сион* — см. примеч. к с. 172 («Так устать, чтоб быть ничем, исчезнуть...»).

Пусть слушают имеющие уши... — см. примеч. к с. 168—169 («Имеющий ухо, да слышит...»).

С. 335. *...около двух тысяч лет минуло...* — со времени казни Христа на кресте.

...на глазах сестры... повязка. — Две статуи в нишах Страсбургского собора (Франция) м. Мария рассматривает символически как двух гонимых сестер: Синагогу и Церковь. Повязка, по ее мнению, на глазах ветхозаветной Синагоги, а новозаветная Церковь — зрячая и сильная своей правдой. Она должна помочь снять повязку с глаз своей сестры, т. е. христианская культура должна подготовить еврейство к тому, чтобы образовать Христианскую Церковь Израиля (из неопубл. статьи м. Марии, 1941).

дикую маслину к ней привили — перефразировка из послания апостола Павла (Рим 11: 17).

Нет в мире элина, нет иудея... — почти дословная цитата из послания апостола Павла к колоссянам: «Нет ни елина, ни иудея... но все и во всем Христос» (Кол 3: 11).

С. 336. *Ассур* — притеснитель Израиля. Бог избавил израильтян от него (см. Мих 5: 6). Взятию Иерусалима римскими войсками Тита предшествовали различные знамения. В том числе: «Над городом появилась звезда, имевшая вид меча, и в течение целого года стояла комета» (Иосиф Флавий. Иудейская война. VI, 5).

Вот мор, и глаг, и серный дождь, и трус... — В момент смерти Христа на кресте «земля потряслась; и камни расселись» (Мф 27: 51); «сделалась тьма по всей земле... и померкло солнце» (Лк 23: 44-45); здесь речь также идет о грозных явлениях Судного дня (см. Отк 6: 12-17).

Агасфер — см. примеч. к с. 324. Здесь: олицетворение постоянно гонимого еврейства.

Художественная и автобиографическая проза

Проза Кузьминой-Караваевой (Скобцовой / м. Марии) по объему написанного значительно превышает ее поэтическое наследие. Она различна по своим жанровым признакам: автобиографические (мемуарные) очерки, повести, религиозно-философские сочинения, жития святых и многочисленные статьи. В литературно-художественном отношении эти произведения характеризуют их автора скорее как публициста, нежели беллетриста. Даже в повестях *ratio* преобладает над *emotio*. Они почти лишены «украшательств» в виде лирических отступлений, описаний природы и поэтому выглядят суховатыми. В них все скупое, строго, все логически выверено и взвешено, без сентиментальностей. Вместе с тем они проникнуты высокой духовностью и душевной обнаженностью.

И в мемуарных очерках, и в повестях (также содержащих много автобиографических деталей) Е. Ю. Скобцова максимально объективна в изложении событий. Это не только вызывает доверие и уважение к автору, но позволяет обращаться к ним как к историко-литературным документам ушедшей эпохи...



1914 год в жизни и творчестве Кузьминой-Караваевой оказался переломным. В частности, она оставила тогда мысль издать вторую книгу стихотворений «Дорога» и неожиданно обратилась к прозе. В 1915 г. вышла в свет ее «философская» повесть «Юрали», написанная ритмической прозой, стилизованной под Евангелия. Структурная разбивка ее на главки также напоминает новозаветные тексты.

Герой повести — певец, сказочник, мудрец, новый учитель. Он предстает перед читателем в образе то ли мусульманского махди (мессии)¹, то ли христианского проповедника. Искания и поучения его противоречивы и непоследовательны; он во многом (если не во всем) полагается на *судьбу*: «Каждого человека стережет судьба; и никто не может уйти от пути своего»; «С детства видит человек, что пути его от судьбы предначинаны. Но начинается жизнь его зрелая, и о случае говорит он. <...> Я же пришел сказать вам: нет случая. Как зерно не случайно вырастает, как стебель не случайно выкидывают колос свой, так же не случайна дорога человека».

Эта повесть есть не что иное, как «житие» Юрали. Судьба приводит его то на пастбище, то в монастырь, делает его то

¹ Первая часть имени Юрали — усеченное христианское имя Юрий (Георгий), в память о любимом отце Елизаветы Юрьевны, а вторая — распространенное у мусульман имя Али (Мудрый, Возвышенный). С мусульманами-шиитами Кузьмина-Караваева общалась, живя в Анапе. Согласно их учению, где-то существует исчезнувший, сокрытый от людей, некий имам (духовный глава), которому предстоит объявиться на земле в роли махди.

властителем крупного города, то нищим, то вечным странником... В повести Кузьмина-Караваева впервые высказала свое жизненное кредо: жертвенная любовь к людям. Ее Юрали «расточал душу свою всем», «расколол сердце свое на куски... растопил любовь свою» на многих грешников, за что получил упрек от старого монаха: «Кто хочет быть свободным и справедливым, должен выжечь из души своей любовь. <...> Только суровая справедливость должна владеть» помыслами. Но Юрали рассуждал иначе: где нет любви, там нет и жизни, ибо «призваны люди любить и лелеять жизнь».

В тяжелые военные годы молодая писательница устами своего героя дала клятвенное обещание: «Отныне я буду нести и грех, и покаяние, потому что сильны плечи мои и не согнутся под мукой этой».

Вместе с тем в повести немало автобиографических реалий. Прежде всего, это пейзажные картины юга, в которых явно просматриваются очертания окрестностей Анапы. Даже название «великого» приморского города, где некогда жил отец Юрали, а позже он сам, — *Гастогай*. Так называлась казачья станица неподалеку от Анапы. На ее землях у Кузьминой-Караваевой было наследственное имение, состоящее из виноградника и 60 десятин пашни. Весной 1918 г., в разгар революционных событий, поэтесса безвозмездно отдала это имение казакам станицы. Ее неонароднический жест был единственным примером добровольной деприватизации на всей Кубани.

Вскоре после выхода в свет повести «Юрали» Кузьмина-Караваева, как обычно, на лето уехала из Петрограда в Анапу. Но книга эта была ей очень дорога, и в июне 1915 г. она писала в Петроград историку И. С. Книжнику-Ветрову: «Как мой Юрали принят у Вас? <...> Юрали был тесно связан с моей жизнью...» Поэтесса рассматривала повесть как своеобразную ступень в своем творчестве. На одном из экземпляров книги она написала: «Мне хотелось бы, чтобы линия от «Юрали» к «Руфи» показалась Вам не только линией движения вперед, но и расширения, — через уничтожение себя»¹. Судя по содержанию и интимной подписи (Лиза), адресат был близким для автора человеком: он уже прочел только что вышедший сборник «Руфь» и теперь ему предстояло сравнить его с ранее изданной повестью, понять вектор движения авторского замысла.

* * *

В январе 1924 г. семья Скобцовых переехала в Париж и начинала обустроить жизнь подобно многим своим небогатым соотечественникам: Данила Ермолаевич осваивал ремесло шофера, а Елизавета Юрьевна делала кукол на продажу, изготавливала трафареты для вышивок, выводила клопов и тараканов в эмигрантских квартирах, служила прислугой и т. п.

¹ Автограф. РНБ. Шифр 37.65.6.56-а. (Не датирован).

Вскоре после обоснования в Париже, несмотря на материальные лишения, Е. Ю. Скобцова с присущей ей энергией берется за литературную работу.

В 1924 г. в парижском журнале «Современные записки» была опубликована «хроника наших дней» — повесть Е. Ю. Скобцовой «Равнина русская». Это произведение во многом автобиографично. Собственных переживаний и перипетий, выпавших на долю ее самой и членов ее семьи, автору хватило на всех героев: практически каждому из них она дала что-то от своей личности. Через судьбу главной героини Кати Темносердовой и ее братьев показана хроника событий (с конца 1916-го до конца 1920 г.), происходивших в Петрограде, в далеком южном городке (в котором легко угадывается Анапа), в Москве и на фронтах гражданской войны.

Катя Темносердова — это во многом сама Елизавета Юрьевна. Подобно автору повести, героиня приехала с юга и не любила Петербурга с его «рыжим туманом». Описание занятий на женских курсах — это почти дневниковая запись Скобцовой, в прошлом «бестужевки». Характер Кати, ее твердость и решительность, особенно проявился во время революционной перестройки в Анапе: «Вот ведь какая: хочет, чтобы за ней всегда оставалось последнее слово». В конце концов героиня проникается идеей жертвенности: «И знала Катя, что сейчас нельзя думать о том, чтобы сохранить свои белые одежды, — через кровь и через грязь, во имя жертвы, во имя мира, надо перешагнуть тому, кто решился. Надо взять на свои плечи грехи и тяжести многих. Надо принять на себя ответственность за буйство пьяного солдата, за темную волю народную, за смерти неоправданные, за грядущий голод, за слезы детей, за дикий вопль всей равнины русской, которая лежит под небом распростертая, нищая, раскинула бессильные руки свои и плачет слепыми глазами, шепчет имена убитых, имена обреченных смерти своих детей». Это — подлинный реквием по растерзанной родине! Спустя много лет, в поэме «Духов день» (1942), м. Мария вернулась к этой теме:

Звон погребальный... Отпевают мать...

А нам, ее оставшимся волчатам,

Кружить кругами в мире и молчать.

Автобиографичность повести легко просматривается во многих деталях. Так, свою героиню автор «поселила» в квартире Блока: «Два ее окна выходили на залив. В вечернем закате среди тумана вырисовывались доки, черные краны подымались в небо¹. <...> Улица внизу широкая и тихая; она упирается в маленький канал» (реку Пряжку). Обыграна и такая бытовая подробность, как любовь Блока топить печку. Об этом же она вспоминала и в мемуарах «Встречи с Блоком»...

А митинги и вся революционная ситуация в Анапе — это подлинная хроника тех событий. И в этой (фактографической)

¹ Ср. стихотворение из книги «Руфь» — «Смотрю на высокие стекла...».

своей части «Равнину русскую» интересно сравнить с очерком «Как я была городским головой».

Поскольку сама Елизавета Юрьевна была активным членом партии правых эсеров, ее повесть проникнута духом эсеровской идеологии. Ее симпатии к терроризму тоже следствие эсеровской идеологии: «Террор — только подвиг, всячески оправданный, всячески неизбежный, а террорист — никак, ни одной частью своей души не убийца, а только герой и жертва». Позже Скобцова коренным образом пересмотрела эти взгляды и резко осудила партийных организаторов террора.

В финале произведения звучит неприкрытая ностальгия по оставленной родине: «В сердце каждом — ты. В каждой капле крови — ты. Отрава наша. Тоска наша. Любовь наша». Катя Темносердова (оставшаяся в Советской России) после крушения всех ее надежд на победу эсеровских идей, становится богомолкой и уходит странствовать по деревням. Здесь, пожалуй впервые после «Руфи», у Скобцовой возрождается религиозный мотив. Правда, пока еще довольно отвлеченный, неопределенный. Во время революций и в годы гражданской войны она отошла от религии, «забыла» о тех путях, о которых говорила раньше: жила она в то время не столько по религиозным, сколько по партийным заветам.

* * *

В 1925 г. в пражском журнале «Воля России» Е. Ю. Скобцова опубликовала еще одну повесть — «Клим Семенович Барынькин». Действие ее охватывает период с начала 1900-х гг. до гражданской войны. Так же, как и в «Равнине русской», события происходят то на юге (в кубанской станице), то в Петербурге. Главные герои повести — ровесники автора; все они надломлены, ограничены миром личных проблем. Исключением является Клим Барынькин. Но и он — тип неврастенический и аполитичный. Революционной волной Клим был выдвинут на должность командира. Однако хотя он и объявил себя большевиком, идеология его далеко не рабоче-крестьянская (ведь он сын мясника). Многие поступки Клина — бездумно-жестокие, порожденные его необузданным эгоизмом. «Я по-звериному живу. Грабить — грабил. Насиловать — насиловал. Убивать — убивал».

Героиня повести Ольга Малахова во многом похожа на саму Елизавету Юрьевну. Она сетует, что Бог обидел ее, — «крыльев не дал, — она бы уж полетать сумела»; «только и радость, что гореть». *Огневая крылатость* — одна из любимых тем м. Марии в ее поэзии эмигрантского периода. В повести множество автобиографических вкраплений. Муж Ольги — присяжный поверенный. Из их семейных отношений проясняются глубинные истоки конфликта и развода Елизаветы Юрьевны со своим первым мужем, *присяжным поверенным* Д. В. Кузьминым-Караваевым.

В отличие от «Равнины русской», во второй повести практически нет обобщений; в ней больше художественного вымысла,

это не «хроника». Финал ее трагичен — все главные герои погибают.

Обе повести Скобцовой не связаны между собой ни сюжетно, ни персонажами: это не дилогия. Но тем не менее они во многом дополняют друг друга; их герои совершают подлинно *хождение по мукам*. Такое сопоставление не случайно — в эти же годы (1918—1920) А. Н. Толстой работал над романом «Сестры», практически на эту же тему. Свою трилогию он позже так и назвал — «Хождение по мукам». Обратим внимание и на имя героинь романа Толстого и повести Скобцовой — Катя. В итоге следует согласиться с мнением Н. М. Каухчишвили (Италия) в ее оценке повестей Скобцовой: их «можно определить полем той идеологической битвы, которая разразилась после того, как все осознали, какая жестокая судьба стала уделом России и ее культурных ценностей. С тех пор Ел. Юрьевна более прежнего намеревалась спасти эти драгоценности своим словесным и живописным трудом, а позже и древнерусским шитьем»¹.

Повести Скобцовой тогда же были прочитаны и на ее родине. Советский критик в обзоре эмигрантской литературы отметил талант «молодого» писателя, только что начавшего писать в эмиграции (за псевдонимом «Юрий Данилов» он не узнал подлинного лица и «стажа» писательницы). Критик презрительно назвал автора повестей «официальным плакальщиком о растерзанной России»². Сегодня, с учетом серьезных поправок на время, этот оценочный ярлык можно рассматривать «с обратным знаком» — как своеобразный комплимент.

Очевидно, Елизавета Юрьевна сама понимала, что художественная (даже полудокументальная) проза не ее призвание, и больше никогда к этому виду творчества не обращалась³.

* * *

С 1924 г. в эмигрантских журналах начали появляться мемуарные очерки Е. Ю. Скобцовой. Три года послероссийских скитаний и полунищенской жизни позволили ей разобраться в событиях, прошедших на родине. Она поняла главное: гражданская война окончилась, советская власть победила повсеместно и надолго, обратного пути на родину (пока, во всяком случае) нет. И Скобцова решает подвести некоторый итог.

В 19-м номере парижских «Современных записок» за 1924 г., в котором была опубликована первая половина повести Е. Ю. Скобцовой «Равнина русская», вышла статья А. Крайнего (З. Н. Гиппиус) «О молодых и средних», посвященная русским писателям. С явным осуждением автор писал об «измене» В. Брюсова, А. Белого, М. Зощенко, М. Слонимского и других.

¹ Каухчишвили Н. М. Повествовательная проза м. Марии // Russian Literature, 1999. Vol. 46. № 4. P. 441. (Это пока единственная работа, посвященная анализу повестей Е. Ю. Скобцовой.)

² См.: Горбов Д. У нас и за рубежом. М., 1928. С. 31—32, 73, 74.

³ Не считая небольшого рассказа «Соседи», опубликованного в парижской газете «Дни» (21 марта 1926 г.).

По его мнению, все эти литераторы, перейдя в лагерь большевиков, утратили чувство прекрасного.

В Париже тех лет не признавали новую русскую литературу в СССР. Духовные лидеры эмиграции в запальчивости заявляли, что в плоть и кровь оставшейся на родине интеллигенции вошла чуть ли не врожденная «привычка к рабству».

Статья А. Крайнего свидетельствовала о том, что гражданская война не завершилась, но перешла в сферу идеологии. В этой обстановке Елизавета Юрьевна сочла необходимым выступить с большим полемическим очерком «Последние римляне». При этом она сразу же оговорила, что писать о современной советской литературе не будет, поскольку недостаточно знает ее (очень характерная для нее оговорка: «Думаю, что вообще за пределами России трудно знать настолько, чтобы не рисковать ошибиться в ее оценке»). Очерк Скобцовой — это одновременно и воспоминания очевидца (в значительной мере), и критические этюды, и попытка подвести итоги литературной жизни последнего перед революцией десятилетия. Несмотря на некоторую субъективность суждений, этот очерк представляет несомненный интерес для историков русской литературы, как живое свидетельство современника об эпохе Блока, о «серебряном веке» русской поэзии.

Характерным явлением того периода был декаданс, с его настроением безнадежности и неприятия жизни. Многие авторы сознательно устремились к «минус-ценностям жизненного упадка» (А. В. Луначарский). Многие представители русской культуры стали искать красоту в зле и пороке. Именно тогда (в 1907 г.) были изданы на русском языке в переводе Элиса «Цветы зла» Ш. Бодлера. «Реакция надвигалась. Интеллигенция бежала от политики, как черт от ладана. Народились социал-эстетты, которые подобрали брошенный запыленный венок декадентов и щеголяли в нем», — писал тогдашний журнал¹.

Основное внимание в своем очерке Е. Скобцова уделяет хозяину петербургского салона-«башни» Вяч. Иванову. Однако автор пишет не только о символистах, но и о других направлениях эстетизма: акмеизме (своих коллегам по гумилевскому «Цеху поэтов») и футуризме. По ее мнению, ни одно из этих течений не могло спасти русскую культуру.

Но почему все-таки «римляне»? Откуда это сравнение?

Образ «римлянина времен упадка» восходит к Ф. М. Достоевскому. Герой его романа «Братья Карамазовы» Федор Павлович Карамазов гордился своим лицом «римского патриция времен упадка». В образе Карамазова-отца Достоевский вывел тип человека «не только дрянного и развратного, но вместе с тем и бестолкового». Русская интеллигенция начала XX в. считала, что Россия, подобно Римской империи III в., находится в стадии разложения и гибели. Многие тогда обнаруживали это сходство. Карамазов-старший неожиданно стал типом, олицетворяющим собой духовный распад не только одной личности, но и целой социальной группы.

¹ Современник. 1913. № 6. С. 267.

Образ «римлян времен упадка» использовал В. Л. Львов-Рогачевский в книге «Новейшая русская литература» (1919). Она была известна Скобцовой еще до отъезда из России (в ней Львов-Рогачевский упоминал, кстати, и о первом поэтическом сборнике Кузьминой-Караваевой).

Позже, в воспоминаниях о Блоке, описывая атмосферу «башни», Елизавета Юрьевна заключила: «Это был Рим времен упадка». С разлагающейся римской аристократией она сравнивала русскую литературную интеллигенцию, утонченную и духовно пресыщенную. Не случайно и Блок считал ее «умирающей».

В этот период «римляне» и хотели и боялись перемен: «...из многих щелей слышатся крики: „Идут варвары... Культуре грозит гибель... Надвигается орда готтентотов“. Эти испуганные голоса вас пугают из лагеря декадентов, из лагеря интеллигентского, услышите их вы и от истинно русских, мнящих себя истинным народом. Но как последние — не народ, так первые — не интеллигенты. И те и другие стоят вне общего интеллигентно-народного коллектива, вне истинного народа»¹.

О разрыве народа и интеллигенции писали многие, начиная с Достоевского. Ту же мысль высказывал и Блок. А Скобцова назвала этот разрыв «последним актом трагедии»².

Однако вернемся к теме «варварства». Н. А. Бердяев не без основания смотрел на варваров как на спасителей и наследников римской культуры: «Есть варварство плоти и крови и есть варварство духа, не просветленное и не утонченное культурой, которое обновляет дряхлеющую культуру, дает приток новых сил»³. Такой взгляд на «варварство» разделяла и Елизавета Юрьевна. «Варвары» вызывают у нее определенную симпатию — именно как подлинники наследники культурных ценностей. В отличие от многих своих современников, она считала, что с гибелью старого мира культура России, ее богатейшие исторические традиции не могут погибнуть. Она понимала, что возврата к старому эстетизму, к старым формам нет («старые рецепты неприемлемы»). Для создания новых «надо сначала наглядеться вволю, наслушаться. И наслушаться всего: и птичьего свиста, и ружейной трескотни; наглядеться и на солнечный закат, и на кровь, и на мерзость человеческую, — понять, вместить в себя, не испугаться, сочетать». По ее мнению, «новое слово должно родиться в толщах народных». Этот вывод прямо вытекал из ее неонароднической, эсеровской идеологии.

Как уже говорилось, «Последние римляне» явились откликом на выступление З. Гиппиус. По свидетельству современников, немногие в эмиграции были способны вести спор с «декадент-

¹ *Боцяновский В. Ф.* Богоискатели. СПб., 1911. С. 156.

² Не все их современники были настроены столь пессимистически. Были и иные мнения: «Пора уже бросить это деление людей на народ и интеллигенцию»; «На самом же деле непереходимой черты нет» (*Боцяновский В. Ф.* Богоискатели. С. 115, 167).

³ Биржевые ведомости. 1916. 28 дек.

ской мадонной», — так высок был ее авторитет. И в этом свете работа Скобцовой представляет также немалый интерес.

В своих прогнозах дальнейшего развития русской культуры, в главных выводах и оценках Скобцова оказалась не только неординарна, но и во многом права. Не случайно редакция журнала «Воля России», опубликовавшая очерк, сопровождала его знаменательным примечанием о том, что она «не разделяет некоторых оценок, высказанных автором».

* * *

Публикация очерка «Друг моего детства» в 1925 г. явилась своеобразной данью памяти К. П. Победоносцеву в связи с приближающимся столетием со дня его рождения.

Дружба семидесятилетнего государственного мужа с девочкой пяти — четырнадцати лет выглядит довольно необычно, тем более что при упоминании имени Победоносцева на память невольно приходят слова из поэмы А. Блока «Возмездие»:

Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только — тень огромных крыл...

Можно еще вспомнить эпиграммы Вл. Соловьева и многих других авторов — ведь Победоносцев являлся живым символом зла. Однако подлинный облик Победоносцева не так прост; одномерный подход к его личности неприменим. Характеристика, данная ему Блоком, в общем верна и понятна. Это, так сказать, *contra*, но было и *pro*.

При Победоносцеве, например, за четверть века его активной деятельности, в десятки раз увеличилось число церковно-приходских школ по всей России — миллионы крестьянских детей смогли получить начальное образование. Он не являлся врагом подлинной науки, но был противником фетишизации новоиспеченных теорий, под которые хотели подогнать жизнь различные «теоретики» — в основном социалисты. Реакционером и ретроградом, как ни странно, его считали и за то, что он утверждал вечные ценности: Вера, Отечество, Родители — и тем самым хотел укрепить человека, сделать его независимым от земных кумиров.

Личность Победоносцева не соответствовала тем легендам, которые слагались о нем. Он «даже с монархами держал себя весьма достойно и не унижал своей чести. Его сила была не в карьеристских способностях... а в глубине его знаний, в его высокой эрудиции <...> Жил он уединенно, о себе ничего не рассказывал, в обращении был сух и немногословен <...> В общении с простыми людьми был добродушен, часто оказывал материальную помощь бедным. Обладал поистине магической силой убеждать собеседников в правоте своих идей...»¹.

¹ Смолярчук В. И. А. Ф. Кони и его окружение. М., 1990. С. 261—263.

Победоносцев стал истинным другом Лизы Пиленко. Он вообще любил детей и заботился о них, о чем сам признался в одном из писем дочери поэта Ф. И. Тютчева, А. Ф. Аксаковой.

Лиза же, по ее собственным словам, воспринимала Победоносцева не как государственного деятеля и «идеолога реакции царствования Александра III, а исключительно как человека, как старика, повышенно нежно относящегося к детям».

И все же, несмотря на многолетнее общение, глубокого влияния на формирование характера и мировоззрения Лизы Победоносцев не оказал. Разобраться (и разувериться) в нем ей помогли революционные события 1905 г. Разойтись со своим другом во взглядах она могла, но предать его (как и других своих друзей и знакомых) — нет.

* * *

Очерк «Как я была городским головой», опубликованный в 1925 г., формально посвящен не только самому короткому (около трех месяцев) эпизоду, когда поэтесса была избрана на эту должность. Фактически он охватывает около трех лет и касается событий гражданской войны.

Городским головой Анапы Кузьмина-Караваева была избрана в феврале 1918 г. Само по себе избрание женщины на такой высокий пост рассматривалось тогда как прямое следствие революции. Она оказалась последним «мэром» в истории города. Ее головодство совпало с установлением в Анапе советской власти. При организации новой системы управления городом она оказалась механически (как и некоторые другие члены управы) включенной в состав Совета в качестве комиссара по народному здравью и образованию. Большевистской идеологии Кузьмина-Караваева не разделяла и, будучи комиссаром, играла роль «буфера», защищая культурные ценности (людские и материальные) города от всевозможных эксцессов.

Общественная активность молодой женщины еще в дни февральской революции привела ее в ряды эсеров. В мае 1918 г., порвав в Анапе с местными большевиками, Кузьмина-Караваева уехала в Москву в качестве делегата от Новороссийска на VIII совет (съезд) партии правых эсеров. Напомним, что на третий день работы съезда все его делегаты по ордеру, подписанному Ф. Э. Дзержинским, были арестованы и переписаны. В тот раз обошлось без последствий — через день съезд уже продолжал свои заседания. После его завершения Елизавета Юрьевна осталась в столице для подпольной антибольшевистской работы. Однако близкое знакомство с белым движением показало ей всю его бесперспективность, и осенью 1918 г. Кузьмина-Караваева возвратилась в Анапу, где у нее остались мать и пятилетняя дочь.

В Анапе Елизавета Юрьевна была арестована деникинской контрразведкой и несколько месяцев провела в местной тюрьме, а 2 (15) марта 1919 г. она предстала перед екатеринодарским окружным судом. Ее обвиняли в сотрудничестве с большевиками (была комиссаром!) и участии в национализации местных

санаториев и винных подвалов общества «Латипак». По совокупности этих обвинений ей реально грозила смертная казнь, но благодаря умело организованной защите дело закончилось двухнедельным арестом «при тюрьме»¹.

Вскоре после процесса Кузьмина-Караваева вышла замуж за кубанского казачьего деятеля Д. Е. Скобцова. А в марте 1920 г., когда красные войска вошли в Екатеринодар, Скобцовы были вынуждены эмигрировать.

В очерке «Как я была городским головой» приведены многие частные факты, упомянуты лица, связанные с событиями гражданской войны в Анапе. Этот тихий провинциальный городок находился в стороне от железных дорог; серьезные боевые действия его миновали, войска лишь «проходили» через Анапу. При крайней скудости исторических данных, очерк Е. Ю. Скобцовой с полным основанием может служить дополнительным источником.

* * *

В пятнадцатую годовщину гибели А. Блока (1936) монахиня Мария опубликовала в «Современных записках» «Встречи с Блоком», «к смущению многих духовных лиц»². Не в характере писательницы было оглядываться на авторитеты, обращать внимание на «кивки» и «плевки» окружающих. Со своими воспоминаниями она выступала в парижском литературно-философско-религиозном объединении «Круг»³.

В 1910—1916 гг. Кузьмина-Караваева жила под влиянием частых встреч с Блоком, испытывая к нему чувство глубокого почитания и любви. Их сугубо лирические отношения нашли отражение в письмах поэтессы, которые Блок со свойственной ему пунктуальностью сохранил. Эти письма по сути своей во многом напоминают поэзию Кузьминой-Караваевой: они столь же медитативны и «философичны». Многолетнее дружеское общение поэтессы с Блоком в свое время послужило Е. М. Богату основой для его лирического очерка⁴.

Однако встречи Елизаветы Юрьевны с Блоком, оценки его нашли отражение не только в ее письмах.

В общении с Блоком Кузьмина-Караваева черпала бодрость и оптимизм, которые позволили ей устоять против губительных, упадочнических настроений предреволюционных лет; она училась у него борьбе с тоской и печалью. Поэтесса жила тогда словно бы вне реальной окружающей ее действительности; бу-

¹ Подробнее см.: Шустов А. Н. Е. Ю. Кузьмина-Караваева в годы революций и гражданской войны // Новый часовой (СПб). 2000. № 10.

² Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. Лондон, 1990. С. 251.

³ Яновский В. С. Поля Елисейские. СПб., 1993. С. 179. Автор недоумевал: «...о поэте мог рассказать Ремизов, Адамович, Мочульский... Почему она занимается такими темами?»

⁴ Богат Е. М. Что движет солнце и светила. М., 1981. С. 194—217.

дучи влюбленной, «она вообще ничего не замечала, — ни того, что война уже третий год продолжается и по улицам то и дело полки на фронт идут, ни того, что еще что-то новое надвигается на Россию». Даже в бурном 1917 году, находясь на юге, она, по собственному ее признанию, «еще не совсем отрешилась от личных своих переживаний».

Война, отъезд Блока на фронт в Белоруссию и ряд других обстоятельств привели к тому, что в самом начале 1917 г. их пути окончательно разошлись¹. В одном из последних писем Елизавета Юрьевна писала поэту, что сердечное отношение к нему изменилось: «Нет больше по отношению к Вам экзальтации какой-то, как раньше, а ровно все и крепко и ненарушимо» (14 октября 1916 г.). О трагической кончине Блока она узнала в Сербии.

Ко времени публикации очерка м. Мария уже прошла долгий и нелегкий путь эмигрантки, потеряла двоих дочерей, приняла монашество, с головой ушла в социально-христианскую работу, возглавила объединение «Православное дело». Многие в своих прежних взглядах она пересмотрела и переоценила. Хорошо знавший ее в те годы критик Ф. А. Степун отметил, что м. Мария «со свойственной ей глубиной прошла как через мистическую муть петербургской блоковщины, так и через социалистический утопизм»².

За прошедшие два десятилетия м. Мария не изменила своего уважительного отношения к кумиру своей молодости. В воспоминаниях о Блоке она с присущей ей откровенностью воссоздала весь период их общения, отраженный в письмах, но без подчеркивания своей влюбленности. Воспоминания и комплект писем к Блоку взаимно дополняют друг друга... Краткий итог Елизавета Юрьевна подвела раньше (в повести «Клим Семенович Барынькин»): «Что было в жизни? Была любовь, большая любовь, — и ничего не осталось».

По воспоминаниям м. Марии, через отдельные их детали, можно воссоздать живые картины предреволюционной поры, но зачастую она стремится к обобщению: «В известном смысле мы были, конечно, революция до революции, — так глубоко и беспощадно перекапывалась почва старой традиции, такие смелые мосты бросались в будущее». А все оберну-

¹ Подробнее об их отношениях см.: Шустов А. Н. Блок в жизни и творчестве Е. Ю. Кузьминой-Караваевой // Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1991. С. 125—141.

В екатеринодарской газете «Утро Юга» некто, укрывшийся под псевдонимом «Лознгрин», выступил в декабре 1918 г. с резкой критикой поэмы Блока «Двенадцать». В 5-м и 7-м номерах этой газеты за 1919 г. был опубликован «ответ» критику за подписью «Б. Бабина». Кубанский историк высказал вполне вероятное предположение, что автором могла быть Е. Ю. Кузьмина-Караваева: «Из живших в те дни на Кубани только она так убедительно и проникновенно могла отстаивать Блока» (Куценко И. Я. С. Я. Маршак в Краснодаре. Краснодар, 1997. С. 251).

² Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. С. 323.

лось разгромом существовавшего строя, уклада жизни и изгнанием...

Эмигрантская критика обошла «мемуары» м. Марии молча, видимо не желая обострять отношений с неординарной монахиней. О роли поэта в личной жизни Елизаветы Юрьевны читатели могли лишь смутно догадываться: ее письма к Блоку, закрытые в советском архиве, были им, естественно, неизвестны. В поздних публикациях ее современников встречаются отдельные реплики-воспоминания об этом.

«Встречи с Блоком» занимают значительное место в творчестве м. Марии. Исследователь жизни и творчества Блока Д. Е. Максимов дал высокую обобщенную оценку ее мемуарам: «...в этих талантливых, поэтически насыщенных воспоминаниях есть свой вполне индивидуальный аспект, который заставляет читателя признать их значительность и отнестись к ним с интересом и вниманием... Воспоминания ее интересны не объяснением и истолкованием личности Блока и его эпохи, а поэтическим рассказом о них человека, вышедшего из недр этой эпохи, несущего в себе ее противоречия, но умеющего видеть, глубоко чувствовать и по-своему оценивать виденное. Все это гарантирует ценность мемуаров... как поэтического документа истории»¹.

* * *

Созданными в эмиграции произведениями, как мемуарными, так и художественными, Е. Ю. Скобцова подвела черту под прошлым: «римляне», революции, гражданская война, Блок — все ушло в историю... «Эту ее прозу можно считать одним из последних отзвуков и безвозвратным исходом „серебряного века“, которому Ел. Юрьевна осталась верна в своем эмигрантском далеке» (Н. М. Каухчишвили).

* * *

В настоящем томе раздел прозы скомпонован из двух жанровых разделов: художественных произведений и автобиографических (мемуарных) очерков. Внутри разделов произведения располагаются в хронологическом порядке. При этом временной разброс прозы невелик. За исключением раннего, доэмигрантской поры, «Юрали», все произведения написаны в основном в 1920-х гг, то есть до того времени, когда Кузьмина-Караваева, став монахиней, занялась активной христианско-социальной работой и переключила свое творчество в русло религиозно-философской публицистики.

Некоторые из мемуарных очерков были перепечатаны в позднейших изданиях, что оговаривается в соответствующих примечаниях. Беллетристика же не переиздавалась со времен первопубликаций.

¹ Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 209. 1968. С. 257.

Юрали. Повесть была издана единственный раз в Петрограде в 1915 г. тиражом 100 экз. С тех пор не переиздавалась.

Равнина русская. Повесть опубликована в парижском журнале «Современные записки», 1924: № 19 (главы I—VII) и № 20 (главы VIII—XX). Подписана псевдонимом «Юрий Данилов». С тех пор не переиздавалась. В этих же номерах «Современных записок» были опубликованы: статья З. Н. Гиппиус и рецензия Б. Ф. Шлецера — см. примеч. к с. 554 («Последние римляне»).

Прообразами для некоторых героев послужили реальные лица:

Яур — П. И. Протапов; *Кусони* — Х. К. Инджебели. Оба подробно описаны в очерке «Как я была городским головой».

Гродский — в описании неудавшегося покушения на него — Л. Д. Троицкий, который с 6 сентября 1918 г. являлся председателем Реввоенсовета.

Вера Ивановна Маркелова — поэтесса Вера Александровна Меркурьева (1876—1943), с которой Кузьмина-Караваева тесно общалась в Москве летом 1918 г. В поэме Меркурьевой, написанной в те дни, говорится:

Нам — предстоять погибельной черте,
Хотя в Москве, в Анапе иль в Париже...

Париж, упомянутый здесь, очевидно, для «экзотики», оказался пророчеством для Кузьминой-Караваевой. А Анапа — это явные следы бесед двух поэтесс. Сама Меркурьева была родом из Владикавказа и уехала туда по окончании гражданской войны.

Клим Семенович Барынькин. Повесть опубликована в пражском журнале «Воля России», 1925: № 7—8 (главы I—VI) и № 9—10 (главы VII—X). Подписаны псевдонимом «Юрий Данилов». С тех пор не переиздавалась.

Последние римляне. Очерк впервые опубликован в журнале «Воля России» (Прага, 1924, № 18—19), за подписью: «Юрий Данилов» (отсюда встречающиеся в тексте обороты речи в мужском роде), и снабжен следующим примечанием: «Давая место настоящей статье, редакция „Воли России“ должна отметить, что не разделяет некоторых оценок, высказанных автором».

Полностью, без купюр, переиздан в кн.: *Кузьмина-Караваева Е. Ю.* Наше время еще не разгадано... Томск, 1996. Это издание и положено в основу настоящей публикации.

С. 554. *Антон Крайний* — постоянный псевдоним З. Н. Гиппиус. Названная статья ее была опубликована в 19-м номере «Современных записок» (Париж) за 1924 г. Переиздана в кн.: *Литература русского зарубежья. Т. 1. Кн. 2. М., 1990.*

Шлецер Б. Ф. (1881—1969) — критик и музыковед. В 20-м номере «Современных записок» за 1924 г. он опубликовал рецензию на 3-ю книжку литературного сборника «Окно» (изд. М. О. Цетлин), в которой согласился с главным выводом А. Крайнего о том, что «русская литература, в лице лучших

представителей старшего поколения, вся почти эмигрировала», в то же время не разделяя «отвращения и презрения» А. Крайнего к русской послереволюционной писательской молодежи.

С. 555. *После Аттилы трава не росла...* — В годы гражданской войны Елизавета Юрьевна жила в Екатеринодаре со своим вторым мужем, членом Кубанской краевой рады (впоследствии ее председателем), Д. Е. Скобцовым, который писал позже, что в ноябре 1919 г. один из членов Рады «выступил с необыкновенно пространной речью о том, как тяжело переворачиваются страницы истории, какой тяжелой стопой ходил в свое время по полям Европы конь Аттилы... Речь отличалась большой обреченностью и была несомненно глубоко продумана» (Белое дело. Кн. 8. Кубань и добровольческая армия. М., 1992. С. 311). Елизавета Юрьевна наверняка знала об этой речи.

Самому Аттиле приписывают слова: «Клянусь, что где коснется копыто коня моего, там более не вырастет трава».

С. 556. *...«так дальше жить нельзя»* — из предисловия к сб. «Факелы» (кн. 1, СПб., 1906): «Стоустый вопль — так жить нельзя — находит созвучие в сердцах поэтов, и этот мятеж своеобразно преломляется в индивидуальной душе». См. также в воспоминаниях поэта В. Пяста (Пестовского): «„Факелы“ вышли с манифестом „мистического анархизма“, провозглашенного за несколько месяцев до того Г. И. Чулковым: „Стоустый вопль: так жить нельзя!“ — начинается этот забытый манифест».

...«время наше на исходе»... — неточная цитата из Апокалипсиса: «времени уже не будет» (Отк. 10: 6).

С. 557. *...ожидание грядущих гуннов у Брюсова* — имеется в виду стихотворение В. Брюсова «Грядущие гунны» (1905).

...«унести от них свой светильник в катакомбы, в пещеры» — строки из стихотворения В. Брюсова «Грядущие гунны», процитированные В. Ивановым в статье «О веселом ремесле и умном веселии» (1907): «Накануне, быть может, тех катаклизмов и омрачений духа, в годину которых „мудрецы и поэты, хранители тайны и веры, унесут зажженные светлы в катакомбы, в пустыни, в пещеры“, мы как бы торопимся сеять в духе народном грядущие всходы изящного просвещения и отстаивать в башенных кельях таинственные яды, долженствующие преобразить плоть и претворить кровь иных поколений». В газетном очерке (сентябрь 1917 г.) И. Эренбург так передал слова типичного писателя-символиста: «Уходите! Прячьтесь! Спасайте нашу культуру, мудрость, веру от этих варваров! Все достояние в библиотеках, в музеях, в ваших душах. Храните музеи! Запните от голоса улицы ваши уши!» (Люди, годы, жизнь. Кн. 2, гл. 4).

...консерваторами, уносящими свои светильники в катакомбы. — Мнение эстетствующих представителей интеллигенции о сокрытии светочей противоречит евангельскому учению: «...зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф 5: 15).

С. 558. *...на «башне», у Вячеслава Иванова.* — Собрания на «башне» В. Иванова начали угасать после смерти его супруги Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. «Башня» вновь оживилась весной

1910 г. Кузьмина-Караваева посещала «башню» в 1911—1913 гг. Царившая там атмосфера отражена ею в очерке «Встречи с Блоком». Ср. аналогичное мнение о «башне» времен ее расцвета у М. В. Волошиной-Сабашниковой: «Возвращаясь в ту холодную ночь в санях домой, мы с Максом (Волошиным. — А. Ш.) говорили о том, что рядом с этими утонченными людьми мы чувствовали себя варварами. Они смотрели назад, мы же искали будущее» (Зеленая змея. СПб., 1993. С. 153).

...много заниматься философией — В 1909—1911 гг. Кузьмина-Караваева училась на философском отделении историко-филологического факультета Бестужевских курсов.

С. 559. *Штейнер* — О Р. Штейнере см. примеч. к очерку «Встречи с Блоком».

...о страдающем боге Дионисе... — Дионис и «дионисийство» особенно интересовали хозяина «башни», В. Иванова. Его статья «Религия Диониса» вышла в журнале «Вопросы жизни» (1905, № 6, 7). В ней он доказывал наличие глубиной связи дионисийства с христианством через символы и образы.

...соединить Христа с Дионисом... — С таким «соединением» далеко не все были согласны. М. Цветаева, например, считала, что те, кто «слепо чередуют Христа с Дионисом, не понимают, что уже сопоставление этих имен — кощунство и святотатство» (цит. по кн.: Шаховская З. Отражения. М., 1991. С. 235).

...Канта с Крупном... — Эта тема получила развитие с началом войны. 6 октября 1914 г. В. Ф. Эрн произнес речь на публичном заседании религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева — «От Канта к Крупну», посвященную вопросам непрерывности в развитии немецкой культуры. По словам дочери В. Иванова, хорошо знавшей Эрна, автор доказывал, что «диалектическое развитие философии Канта неизбежно приводит к войне» (Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 58): «То, что в духе знаменует позиция Канта, то в плане физическом пытаются сделать полчища Гинденбурга» (Эрн В. Время славянофильствует. М., 1915. С. 35). Речь Эрна вызвала «много недоумений» и привела к скандалу в академических кругах. Несмотря на это, позже он включил статью в свою книгу «Меч и Крест» (М., 1915).

...толкования Вячеслава Иванова — О толковании романа Ф. М. Достоевского см.: Иванов В. И. «Основной миф в романе „Бесы“» // Борозды и межи. М., 1916 (переизд.: Иванов В. И. Родное и вселенское. М., 1994. С. 306—311).

С. 560. «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» — евангельская цитата — Мф 18: 3.

С. 561. *Жизнь мелела*. — Об «обмелении» жизни неоднократно писал и Д. Мережковский в сб. статей «Грядущий хам» (1906).

...о Блоке особо. — См. очерк «Встречи с Блоком» в наст. изд.

С. 561—562. ...о Царьграде и св. Софии — В начале войны 1914 г. в русском обществе были сильны ура-патриотические ноты; войну на первых порах считали справедливой, «второй Отечественной».

Царьград — Стамбул. Изначальная мысль о том, что «Царьград рано или поздно должен быть наш», неоднократно выска-

звалась Ф. М. Достоевским. Ее поддерживали Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев и многие другие. Активизировалась она с началом войны 1914 г. М. Волошин, в частности, писал в 1915 г. из Парижа: «Единственное желание... которое у меня есть в этой войне, это чтобы Константинополь стал русским... Что это внесет в Россию — страшно думать. Весь острый яд Византии войдет в ее кровь... В Константинополе я вижу, прежде всего, религиозный центр для России — именно там вижу моральное кипение, из которого выльется нравственный лик Славянства» (Купченко В. Странствие Максимилиана Волошина. СПб, 1996. С. 206). В. Иванов стоял на той же позиции: «Царьград — наша свобода и свобода всего славянства. Борьба за него есть борьба вместе за нашу внешнюю независимость и за внутреннее высвобождение наших подспудных сил. Без этой свободы, внешней и внутренней, невозможно наше конечное самоопределение» (Лик и личины России // Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994. С. 328). Он считал, что без Царьграда «Россия дышит, как человек, лишенный одного легкого» (Россия, Англия и Азия // Иванов В. Родное и вселенское. С. 379). Аналогично восклицали и поэты:

Россия вновь придет в Царьград,
Кресты на храме заблестит,
А минареты рухнут ниц.

(С. Городецкий)

...снова милая столица (Стамбул. — А. Ш.)
Окрестится «Святой Царьград».

(М. Кузмин)

В отличие от литераторов, политики и военные не верили в необходимость и возможность «освобождения» Царьграда. Известный генерал А. Н. Куропаткин еще до войны считал, что России «не только не выгодно присоединять к себе Константинополь и Дарданеллы, но такое присоединение неизбежно ослабит ее и создаст опасность долгой вооруженной борьбы за удержание этого опасного приобретения» (Куропаткин А. Н. Задачи русской армии. СПб., 1910. Т. 2. С. 525). Так же (в 1917 г.) рассуждали А. Ф. Керенский и А. И. Гучков.

Святая София — православный храм, построенный в Константинополе в VI в. В. Иванов считал, что «на Руси самобытно развивается в обрядовом предании, в древнейшем художестве и, наконец, в умозрении — неведомое Византии мистическое почитания Святой Софии» (Духовный лик славянства // Родное и вселенское. М., 1918. С. 204).

С. 562. «Были, — уже отошли»... — неточная цитата из стихотворения А. Блока «Бред» (1905): «Мы были, — но мы отошли, / И помню я звук похорон...»

...голый человек на голой земле — образ пьесы Л. Андреева «Савва» (1906). В позднейшей статье «Оправдание фарисейства» (1938) м. Мария писала: «Человек в наше время почувствовал, что он стоит нагой и грешный перед лицом Бога, что он не выполнил Божественной заповеди о любви».

«Да будет по слову твоему» — евангельская цитата — Лк 1: 38.

В начале было... — начальные слова Евангелия от Иоанна.

С. 564. *Римлянам не понять варваров...* — Ср. сонет Д. М. Цензора «Рим и варвары»:

Уж варвары идут от солнечной равнины
С душою мощною, как веянье степей.
Свободный, новый храм воздвигнут исполины,
И сокрушат они гниющие руины.

Подробнее о варварах см. с. 724—725.

...*дневник Зинаиды Гиппиус* — имеется в виду одно из первых изданий дневника (первоначальное название — «Современная записка») З. Гиппиус в журнале «Русская мысль» (София), 1921, № 1-2, 3-4.

С. 565. ...*приход «разночинцев»* — О разрушении культуры разночинцами см. у В. В. Розанова в «Опавших листьях» (1913): «Пришел вонючий „разночинец“. Пришел со своею ненавистью, пришел со своею завистью, пришел со своею грязью. И грязь, и зависть, и ненависть имели, однако, свою силу, и это окружило его ореолом „мрачного демона отрицания“; но под демоном скрывался простой лакей. Он был не черен, а грязен. И разрушил дворянскую культуру от Державина до Пушкина. Культуру и литературу...»

...*кровь молодая...* — Ср. слова В. Иванова о «преображении» плоти и крови (см. примеч. к с. 557). В статье «Народ и интеллигенция» (1908) Блок также говорил о «здоровой крови», считая, что она есть, например, у «неинтеллигента» М. Горького.

С. 566. *Игорь Северянин к ним принадлежал.* — Ср. у Ахматовой о том же периоде: «...как и во всякое время, было много безвкусных людей (например, Северянин)...» (Ахматова А. Соч.: в 2-х т. Т. 2. М., 1987. С. 248). В рецензии на «Громокипящий кубок» И. Северянина Н. Гумилев писал в «Аполлоне» (1914, № 1): «И вдруг... новые римляне, люди книги (в отличие от «людей газеты». — А. Ш.), услышали юношески звонкий и могучий голос настоящего поэта»; «мы присутствуем при новом вторжении варваров, сильных своею талантливостью и ужасных своей небрежливостью». См. также примеч. к с. 564.

Поваленный — раскрашенный.

С. 567. ...*в редакции «Аполлона»* — точнее, в «Обществе ревнителей художественного слова» при редакции журнала «Аполлон». Сама Ахматова «какие бы то ни было сопоставления своего творчества с Пушкиным отвергала решительно и в разговорах не допускала даже самых осторожных предположений своих собеседников» (Вопросы литературы. 1997. № 5. С. 348).

С. 568. ...*перчатки...* — образ из первой книги Ахматовой «Вечер» (1912): «Хлыстик и перчатка» («Дверь полуоткрыта...»); «Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки» («Песня последней встречи»). Возможно, имеется в виду и стихотворения Н. Гумилева «Перчатка» (1908).

С. 569. *Муза гальних странствий* — поэтическая формула Гумилева, любителя экзотических путешествий.

С. 570. ...«Седая, незолотая старина»... — контаминация неточных цитат из стихотворения Н. Гумилева: «Такая скучная и темная / Незолотая старина» («Старина») и Блока: «В виденьях седой старины» («Бред»).

Я никогда не встретил гамы... — неточная цитата из стихотворения Гумилева «Он поклялся в строгом храме...».

...«не святей изумрудного сока трав» — неточная цитата из стихотворения Н. Гумилева «Детство»: «...людская кровь не святее / Изумрудного сока трав».

...в желтом Китае... — образ из стихотворения Н. Гумилева «Я верил, я думал...»: «Колокольчик фарфоровый в желтом Китае / На пагоде пестрой...»

Гуссейн — образ из стихотворения Н. Гумилева «Ослепительное».

С. 572. ...*смерть футуризма* — Бесперспективность футуризма понимали и революционеры, к которым он апеллировал. См., например, у Л. Троцкого в статье 1914 г.: «В этом мнимом „футуризме“, будущничестве, от будущего нет ничего. Это помирает наш постылый вчерашний день...» (*Троцкий Л. Д.* Литература и революция. М., 1991. С. 291).

С. 573. ...*становились все дальше и дальше от народа.* — В воспоминаниях о Блоке м. Мария писала: «Мы были последним актом трагедии — разрыва народа и интеллигенции». О разрыве интеллигенции и народа неоднократно писал еще Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя». Эта тема нашла свое отражение в статьях С. Булгакова и М. Гершензона (сб. «Вехи», М., 1909) применительно к тогдашним историческим условиям в России. Ср. мнение Д. Мережковского: «Мы и народ разделены, различны внешне, внешне враждебны, в борьбе, — но мы должны взглянуть друг другу в глаза... От того, встретимся мы или не встретимся и как встретимся, — зависит, быть или не быть Великой России» (Речь, 1908, 16 нояб.).

С. 574. ...«за тех и за других» — из стихотворения М. Волошина «Гражданская война» (1919): «я... всеми силами своими / Молюсь за тех и за других».

С. 575. ...в «Чека» — Имеется в виду сборник «Че-Ка», изданный эсерами в Берлине в 1922 г.

...у Мельгунова... — Имеется в виду документальная книга историка С. П. Мельгунова «Красный террор в России» (Берлин, 1923). В книге содержится множество фактов о зверствах большевиков.

С. 576. *Ставили «Дядю Ваню»* — Имеется в виду обновленная постановка пьесы А. П. Чехова в Московском Художественном театре. В декабре 1919 г. — январе 1920 г. часть труппы МХТ во главе с В. И. Качаловым гастролировала в Екатеринодаре, где Елизавета Юрьевна, скорее всего, и видела «Дядю Ваню» в обновленной постановке.

Друг моего детства. Очерк впервые опубликован в парижской газете «Дни», 1925, 18, 19 сент. (источник указан Т. В. Емельяновой); за подписью: «Е. Скобцова». Переиздан в кн.: *Мать Мария.* Воспоминания, статьи, очерки. Т. 1. Париж, 1992.

С. 578. ...*письма Победоносцева* — Имеется в виду издание: Победоносцев и его корреспонденты. Т. 1 (в двух томах). М.; П., 1923.

Е. А. Яфимович — двоюродная бабушка Е. Пиленко, ее крестная мать.

...*в маленьком городке, на берегу Черного моря...* — в Анапе.

С. 579. ...*Литейный проспект, дом 57* — современный адрес: Литейный пр., 61.

Елена Павловна (1806—1873) — жена Михаила Павловича, младшего брата Александра I и Николая I. Е. А. Яфимович и ее сестра Наталья Александровна были фрейлинами Елены Павловны в 1841—1843 гг.

Екатерина Михайловна (1827—1894) — дочь Елены Павловны.

...*принцесса Елена...* — Елена Георгиевна (1857—?); дочь Екатерины Михайловны, крестница Е. А. Яфимович, т. е. крестная сестра Е. Пиленко.

Л. А. Нарышкин (1733—1799) — двоюродный племянник Петра I, дальний родственник Е. А. Яфимович: ее бабушка была урожденной П. С. Нарышкиной. Дмитриевы-Мамоновы гордились своей близостью к императорскому дому: И. И. Дмитриев-Мамонов был морганатическим супругом племянницы Петра I Прасковьи Ивановны, А. М. Дмитриев-Мамонов — фаворитом Екатерины II.

А. Кауфман (1741—1807) — немецкая художница, имевшая успех в аристократических кругах Петербурга. Ее портреты отличались сентиментальным лиризмом.

Лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невинного. — Автором этой фразы является Петр I, записавший в Военном уставе (1716): «...лучше есть 10 виновных освободить, нежели одного невинного к смерти приговорить» (ПСЗ Российской империи. Т. 5. СПб., 1830. С. 403). В одной из статей журнала «Гражданин» (1873. № 50. С. 1355), редактором которого был Ф. М. Достоевский, слова Петра I приписаны Екатерине II.

...*бабушкиного мужа* — Мужем Е. А. Яфимович был генерал от артиллерии В. М. Яфимович (1809—1888). Его сослуживцем являлся артиллерийский генерал барон М. А. Таубе (1826—?), которого Лиза видела в гостинной у «бабушки».

брат — У Е. Пиленко был брат Дмитрий, на два года младше ее.

Родилась она в 1818 году — Е. А. Яфимович родилась в 1920 г.

С. 580. «*О, родина святая, какое сердце не грозит, тебя благословляя*» — строки из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов».

...*напротив, окно в окно...* — К. П. Победоносцев жил на Литейном пр., 62 (совр. № 60).

С. 581. ...*страстно любил детей...* — Сам Победоносцев признался в письме к дочери поэта Ф. И. Тютчева Анне Федоровне: «Я всегда любил детей, любил с ними знакомиться, любил соединяться с ними в их детскую радость» (Новый мир. 1994. № 3. С. 206).

...книжки английские... — В 1902 г. в Москве вышла книга «История детской души», роман в переводе с англ. Е. А., издание Победоносцева.

...очень молодая женщина... — Жена Победоносцева (урожд. Е. А. Энгельгардт) была моложе своего мужа на двадцать два года.

...с нее Толстой писал свою Анну Каренину... — Об этом см.: Агеева Л. Прототипы: Анна Каренина // Нева. 1999. № 8.

С. 582. Мария Фегоровна — вдовствующая императрица, мать Николая II.

С. 584. Никитский сар — Семья Ю. Д. Пиленко переехала в Никиту (под Ялтой) в мае 1905 г.

С. 586. ...что есть истина?.. — вопрос Понтия Пилата, заданный Христу (Ин 18: 38). Судя по тому, что разговор происходил в 1906 г., Е. Пиленко тогда было уже четырнадцать с половиной лет (в начале очерка неточно: тринадцать).

Умер мой отец. — Отец Е. Пиленко скончался в Анапе 17 июля 1906 г.

Умерла бабушка. — Е. А. Яфимович скончалась 17 августа 1906 г.

...умер Победоносцев. — К. П. Победоносцев скончался 10 марта 1907 г. Лиза тогда заканчивала 5-й класс гимназии.

Как я была городским головой. Очерк был опубликован в левозасероковском журнале «Воля России» (Прага). 1925. № 4 (главы I—III) и № 5 (главы IV—VIII). Подписан псевдонимом Ю. Д. Переиздан: Кузьмина-Караваева Е. Ю. Избранное. М., 1991; *Мать Мария*. Воспоминания, статьи, очерки. Париж. Т. 1. 1992. Оба эти переиздания (особенно «Избранное») имеют значительное количество текстовых погрешностей. В наст. изд. очерк публикуется по ксерокопии машинописного (возможно, наборного) экземпляра, полученного в свое время из Франции от И. А. Кривошеина (ныне — архив А. Н. Шустова). Машинопись представляет собой текст, отпечатанный по старой орфографии и имеющий около полутора десятков рукописных ссылок на предполагаемые сноски. Сами сноски-пояснения в машинописи отсутствуют.

В авторском примечании к первой публикации Скобцова оговорила, что многие имена, упоминаемые в очерке, ей пришлось заменить псевдонимами (в том числе — начальными буквами), «ибо ряд действующих лиц описываемых событий остались в России» и она боялась навлечь на них неприятности. Впрочем, зашифровала она и некоторых уже погибших к тому времени лиц, а также города: Анапу и Новороссийск. То, что удалось расшифровать (с использованием исходного машинописного экземпляра, газетного отчета о судебном процессе и других источников), публикуется нами без оговорок и без скобок. В прямых скобках даны лишь незначительные уточнения текста.

С. 587. Будзинский — доктор В. А. Будзинский (см. также примеч. к с. 600) был городским головой, председателем Городской думы с 1915 г. На этом посту его застала февральская революция.

С. 588. *Гражданский комитет* — создан на основе гарнизонного (совещательный орган наряду с Думой и Советом). Е. Ю. Кузьмина-Караваева была избрана в Гражданский комитет от эсеровской партии как «одна из активнейших женщин».

Н. И. Морев (1871—?) — агроном, бывший эксперт кавказского филлоксерного комитета, трудовик; избирался членом Государственной думы первого созыва (1906) от неказачьего сословия Кубанской области. В августе 1917 г. был избран городским головой Анапы.

Шпак, Мережко и *Варвинский* (директор анапского городского общественного банка) входили в руководство Гражданским комитетом.

С. 589. *Х. К. Инджебели* — при Протапове (см. примеч. к с. 592), в первой половине 1918 г., был председателем революционного трибунала и активным членом редакции «Известий Анапского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» (выходили с конца февраля 1918 г.). В повести «Равнина русская» выведен под именем Кусони.

Арнольд (Рутенберг) — анапский агроном.

С. 592. *Протапов П. И.* (1890—1918). В повести «Равнина русская» он выведен под именем латыша Яура.

С. 593. *Мне предложили выставить свою кандидатуру...* — Товарищем (заместителем) городского головы при Мореве был М. М. Сумцов, секретарь городской управы, который вышел в отставку, и на его место была предложена кандидатура Кузьминой-Караваевой, на что она дала свое согласие.

...в конце февраля... — Кузьмина-Караваева была избрана заместителем городского головы 4 (17) февраля 1918 г. Вскоре после ее избрания не пользовавшийся доверием и популярностью Н. И. Морев ушел в отставку, и Кузьмина-Караваева автоматически стала городским головой.

...заместителем городского головы — т. е. начала официально замещать его, став главой Думы.

С. 595. *Управа* — исполнительный орган местного городского самоуправления. Анапская управа состояла из трех членов и работала под председательством городского головы.

С. 598. *Если Дума не согласна с этим постановлением...* — По этому вопросу сохранилось письмо-указание в управу от 3 марта 1918 г. за подписью Протапова (Краеведческий музей Анапы).

Пески — общее название пригородной территории Анапы в районе пос. Джемете, где размещались частные виноградники. В июне 1909 г. д-р Будзинский открыл на Песках свой новый санаторий.

С. 600. *В. А. Будзинский* (1865—1923). Родился в Кубанской обл. в семье ссыльных (из Перми) поляков. В 1894 г. окончил мед. ф-т Харьковского ун-та. Основатель и владелец водолечебницы (с 1900 г.) и санаториев в Анапе, за «прекрасное оборудование и устройство» которых в 1913 г. удостоен Большой золотой медали. В сентябре 1914 г. Городская дума Анапы ходатайствовала о присвоении доктору звания почетного гражданина города (утверждено Николаем II в мае 1915 г.). В 1915—1917 гг. избирался городским головой Анапы. На судебном про-

цессе Кузьминой-Караваевой (март 1919 г.) выступал главным обвинителем. После окончания гражданской войны перешел на сторону большевиков. В 1920-х гг. работал в Управлении курортов в Екатеринодаре, короткое время заведовал курортами в Ейске и Геленджике. В феврале 1923 г. был назначен директором Сестрорецкого курорта под Петроградом. В 1932 г. на территории санатория «Анапа» установлен бюст Будзинского, а в 1998 г. — памятник около санатория «Кубань».

С. 604. *Правительство и Рага оставили Екатеринодар.* — Большевики взяли власть в Екатеринодаре 1 (14) марта 1918 г. Белыми город был занят 17 (30) августа 1918 г.

С. 605. *...Корнилов уже убит* — Генерал Л. Г. Корнилов погиб под Екатеринодаром 31 марта (13 апреля) 1918 г.

...пог станицей Полтавской... — Бой под ст. Полтавской произошел в ночь на 7 марта 1918 г. Командиром анапского отряда был Г. А. Прохоренко, а комиссаром — его брат П. А. Прохоренко. Подробнее о сражениях анапских красногвардейцев см. газету «Советское Черноморье» от 23 февраля 1988 г. (статья «Далекое — близкое»).

С. 606. *...упразднить управу* — Анапская Дума самораспустилась 3 (18) марта 1918 г.; управа упразднена Советом 12 (25) марта 1918 г.

С. 607. *Саг* — фамильное имя Джемете, которое Кузьмина-Караваева иногда называла *сагом* или *виноградниками*. Сады — иногда общее название освоенной садовладельцами территории вдоль побережья, за Песками.

С. 608. *...на 8-й совет партии* — VIII совет (съезд) партии правых эсеров состоялся в Москве 7 (20)—14 (27) мая 1918 г.

Протапов ранен <...> Разумихины... — Вместе с Протаповым был смертельно ранен 23-летний П. И. Разумихин и тяжело ранен его младший брат Сергей.

С. 610. *Большевики были изгнаны...* — Анапа была занята белыми войсками генерала В. Л. Покровского 15 (28) августа 1918 г.

С. 611. *...прапорщика Ержа* — Н. Т. Ерж был военным комиссаром Анапы, обеспечивавшим пограничную службу и охрану города, а также одним из организаторов анапского красногвардейского отряда. П. К. Воронков — кавалерист анапского отряда, активный участник боев с белыми.

«Латипак» — вино-виноградное акционерное общество по укупорке и продаже «гарантированных лабораторным исследованием вин». Основано в мае 1911 г. Главная контора и правление размещались в Петербурге — Петрограде. Филиалы имелись во многих городах России, в том числе и в Анапе, где «Латипак» являлся крупнейшим скупщиком вина, эксплуатирующим мелких местных производителей-виноделов. В первой журнальной публикации название общества приведено в обратном написании — «Капитал».

С. 612. *Полковник Ткачев* — комендант Анапы, на судебном процессе Кузьминой-Караваевой в Екатеринодаре выступил свидетелем, заявив, что арест ее был произведен по доносу Будзинского.

тетка — сестра отца Кузьминой-Караваевой, Е. Д. Цейдлер; агроном и винодел, одна из основательниц опытной анапской винодельческой станции. Ее имение с виноградниками в Джемете находилось в ближайшем соседстве с имением Кузьминой-Караваевой.

С. 613. *Вознесенский* — присяжный поверенный, юрист-консульт АО санаториев «Курорты Анапа и Семигорье».

...сессию чрезвычайного полевого суда — Заседание военно-полевого суда, где первоначально должно было рассматриваться дело Кузьминой-Караваевой, назначалось на 12 (25) января 1919 г., но было отложено, а сама она выпущена до суда под залог.

С. 615. *...настал день суда...* — Судебный процесс над Кузьминой-Караваевой состоялся 2 (15) марта 1919 г. в военно-окружном суде в Екатеринодаре, где, по словам самой Кузьминой-Караваевой, «было больше законности и гарантий». Председатель суда — полковник Кириченко, обвинитель — помощник военного прокурора подпоручик Петров. В результате она была осуждена на две недели ареста «при тюрьме». Приговор суда был встречен аплодисментами присутствовавших.

...защитники — Защитниками на процессе выступали: присяжный поверенный Коробьин и помощник присяжного поверенного Хинтабидзе.

С. 616. *...по приказу № 10...* — Приказ № 10 Кубанского Краевого правительства от 12 июля 1918 г. являлся правовым документом на территории Кубани.

С. 617. *...начал проводить паралель...* — Адвокат Ю. А. Коробьин сказал на суде: «Великому Канту во время революции пришлось пережить и перечувствовать то же, что и заурядной женщине Кузьминой-Караваевой. Кенигсберг, в котором жил Кант, переходил из рук в руки, но он остается в городе и просит назначить себя ректором университета, чтобы оберегать храм науки, защищать великие сокровища мысли и образования. То, что сделал большой Кант в большом Кенигсберге, сделал маленький человек для маленькой Анапы» // Утро Юга (Екатеринодар). 1919. 6 (19) марта.

В «Известиях»... — Известия. 1919. 27 апр.

Встречи с Блоком. Опубликовано в журнале «Современные записки» (Париж). 1936. № 62, за подписью «Мон[ахиня] Мария». Очерк неоднократно переиздавался за рубежом и в СССР в составе различных сборников. Однако все эти переиздания грешат либо опечатками (вплоть до искажения текста), либо купюрами и почти не имеют комментариев (исключение — З. Г. Минц в Ученых записках Тартуского гос. ун-та, вып. 209, 1968, чьи примечания частично использованы в настоящей публикации).

В настоящем томе очерк печатается по прижизненному тексту «Современных записок». Орфография и пунктуация приближены к современным нормам.

С. 618. *Умер мой отец.* — см. примеч. к с. 586.

...в Басковом переулке... — С. Б. Пиленко (мать м. Марии) с двумя детьми приехала в Петербург в конце августа 1906 г., к началу учебного года, и сняла квартиру в Басковом пер., 26.

Гимназия — С 1 сентября 1906 г. Е. Пиленко начала учиться в 5-м классе гимназии Л. С. Таганцевой.

«Общества английского и русского голубиных стрельбищ» — находились тогда в центре Крестовского острова, за речкой Чу-хонкой, в заболоченном лесочке. Ныне на этом месте — Приморский парк Победы.

С. 619. *Двоюродная сестра* — Ольга Павловна (по первому мужу Лукирская, по второму Ленская), дочь сестры Ю. Д. Пиленко, О. Д. Счастливецва. Окончила женский медицинский институт при Харьковском медицинском обществе в 1897 г.

В *Измайловский ротах* (ныне Красноармейские улицы) было два реальных училища: Второе училище (8-я рота, 3) и училище им. Принца Ольденбургского (12-я рота, 36). Указанный вечер в одном из них предположительно состоялся между 22 января и 1 февраля 1908 г.

«По вечерам, над ресторанами», «Незнакомка»... — У м. Марии неточность: речь идет об одном стихотворении — «Незнакомка» («По вечерам над ресторанами...», 1906; отмечено З. Г. Минц).

С. 620. *На первой странице картинка*... — По мнению З. Г. Минц, это фронтиспис обложки сборника А. Блока «Снежная маска» (СПб., 1907) работы Л. Бакста.

«Убей меня, как я убил когда-то близких мне»... — неточная цитата из стихотворения Блока «Сердце предано метели» (1907).

Входит Блок. — Первая встреча Е. Пиленко с Блоком состоялась около 10 февраля 1908 г. См.: Шустов А. Н. «Письмо» или посвящение? // Русская литература. 1999. № 4. С. 138—140.

...как на известном портрете... — Скорее всего, имеется в виду первый живописный портрет Блока работы Т. Н. Гиппиус (1906), который нигде не экспонировался. Художница подарила его матери поэта, в чьей комнате он и находился постоянно (см.: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 212). Кузьмина-Караваева могла видеть его во время своих частых визитов к Блоку. Впервые воспроизведен в кн.: Судьба Блока. Л., 1930.

...Мне скоро будет пятнадцать лет... — При встрече Е. Пиленко было шестнадцать с небольшим лет, а Блоку — двадцать восемь.

С. 621. ...у ключа тайны... — возможно, реминисценция из статьи В. Брюсова «Ключи тайн» (опубл. в «Весах», 1904, № 1) — своеобразного манифеста русского символизма.

«Когда вы стоите передо мной»... — неточная цитата из стихотворения Блока «Когда вы стоите на моем пути...».

...бегите от нас, умирающих — Спустя четыре года Елизавета Юрьевна «ответила» Блоку в одном из стихотворений книги «Дорога»:

Вы говорили мне о смерти; да, у вас
Короткий день пророчит гибель;

А я привыкла громко славить каждый час
Моря, зарю и низкий стебель.

Письмо из Ревеля — Блок написал Е. Ю. Пиленко из Ревеля, где он 15—22 февраля 1908 г. гостил у матери.

...я вышла замуж — Елизавета Юрьевна венчалась с Д. В. Кузьминым-Караваевым 19 февраля 1910 г. в церкви Рождества Богородицы (Казанская ул., 27). Венчание совершил священник А. С. Сажин.

большевик — Д. В. Кузьмин-Караваев большевиком не был.

С. 622. ...культ памяти Соловьева — Профессор В. Д. Кузьмин-Караваев, свекор поэтессы, был близко знаком с В. С. Соловьевым. После смерти философа он опубликовал статью «Из воспоминаний о Вл. Соловьеве» (Вестник Европы. 1900. № 11).

«Башня» — квартира В. И. Иванова в Петербурге на Таврической ул., 25, кв. 24.

...у Городецких — С. М. Городецкий с супругой жил тогда в Петербурге на наб. Фонтанки, 143.

Рим времен упадка — См. предисловие к очерку «Последние римляне».

...раскрытие третьего Завета — идея третьего Завета еще в 1886 г. была высказана А. Н. Шмидт (посмертная публикация 1916 г.). Ее активно развивал и проповедовал Д. С. Мережковский. По его мнению, первый Завет — с Богом Отцом, второй (или Новый, евангельский) — с Богом Сыном, а третий — «высший синтез, примирение, слияние вечно враждующих, антиномичных христианства и язычества, духа и плоти, „неба и земли“, царства Христа Грядущего, эра любви и свободы» (Русская речь. 1994. № 3. С. 16). О третьем Завете см. также в статье о. Александра Меня о Мережковском (Русская мысль. 1994. 15—21 дек.).

...Кузьмин поет <..> духовные стихи... — Поэт М. А. Кузьмин был одновременно и музыкантом; он нередко выступал с пением своих стихов под собственную музыку. Цикл «Духовные стихи» составил 1-й раздел 3-й части книги Кузьмина «Осенние озера» (М., 1912).

С. 623. ...купол Государственной думы — Государственная дума размещалась в Таврическом дворце (Петербург); заседания Думы проходили в специально устроенном на месте зимнего сада зале, с 1906 г. по 1917 г.

«Цех поэтов» только что созидался. — Акмеистический первый «Цех поэтов» был провозглашен Н. Гумилевым и С. Городецким 20 октября 1911 г.

С. 624. ...на собрании, посвященном десятилетию со дня смерти Владимира Соловьева — Вечер его памяти состоялся 14 декабря 1910 г. Кроме названных лиц, участвовали также Ф. Д. Батюшков и П. С. Соловьева (Allegro) — сестра Соловьева. С чтением стихов выступили Ю. М. Юрьев, М. А. Ведринская, Д. М. Мусина, Ю. Э. Озаровский (Примеч. 3. Г. Мину).

Потом мы у них обедали. — Обед у Блоков состоялся 15 декабря 1910 г.

Е. В. Аничков — профессор, литературовед; А. М. Аничкова — писательница (псевд. Иван Странник).

...снимки *Нормандии и Бретани* <...> о *Наугейме*... — ошибка памяти мемуаристики: в Нормандии и Бретани Блок к тому времени еще не был. В Бад-Наугейм Блок ездил три раза (всегда летом): в 1897, 1903 и 1909 гг. В результате третьей поездки у него появился цикл стихотворений «Через двенадцать лет». О «мистических переживаниях», связанных с Бад-Наугеймом, см. в «Автобиографии» Блока (Блок А. А. Собр. соч. Т. 7. М.; Л., 1963). (Примеч. З. Г. Минц).

С. 625. ...как обдумывал в детстве пьесу... — Анализ этого неосуществленного замысла Блока см. в статье З. Г. Минц и Ю. М. Лотмана «О глубинных элементах художественного замысла. К дешифровке одного непонятого места из воспоминаний о Блоке» (Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб, 1996. С. 670—675).

Она пишет стихи как бы перед мужчиной... — М. И. Цветаева в статье «Искусство при свете совести» также привела слова Блока об Ахматовой, пишущей стихи «с оглядкой» на мужчину, а не на Бога (Блок А. А. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. 1994. С. 361).

...на квартире моей матери... — В 1908—1911 гг. мать Елизаветы Юрьевны жила в Петербурге, на Малой Московской ул., 4. ...в воспоминаниях Пяста — см.: Пяст В. Встречи. М., 1929. С. 256; а также: Лит. наследство. Т. 92. Кн. 2. М., 1981. С. 210—211.

С. 626. ...Андрея Белого, только что женившегося. — А. Белый и А. Тургенева приехали в Петербург 21 января 1912 г. и пробыли в нем весь февраль. Останавливались они на «башне» у В. И. Иванова. Поскольку петербургские друзья и знакомые Белого увидели Тургеневу впервые, у них создалось впечатление, что Белый женился недавно (совместная их жизнь началась в ноябре 1910 г., юридически брак был оформлен в марте 1914 г.).

С. 627. Собачья площадка — московский адрес Е. Ю. Кузьминой-Караваевой: Собачья площадка, Дурновский пер., 4, кв. 13.

Софья Исааковна Толстая — С. И. Дымшиц (1889—1963), художница, гражданская жена А. Н. Толстого. В 1913—1914 гг. Толстые жили в Москве, на Новинском бульваре, 101.

У него на Смоленском... — В. И. Иванов в 1913—1915 гг. жил в Москве, на Зубовском бульваре, 25.

Григорий Нисский (IV в.) — церковный писатель, богослов и философ, представитель греческой патристики.

...о Пикассо... — В начале 1910-х гг. П. Пикассо работал в стиле кубизма. Его творчество в России вызвало бурные дебаты. См., напр.: Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 345.

Рудольф Штейнер (1861—1925) — немецкий мистик-антропософ; пропагандировал идею личного совершенствования, возможности выявления в себе высшей (божественной) сущности, достижения «мистического знания» путем совершенствования духовных сил человека.

С. 628. У России, у нашего народа родился такой ребенок. — Столь необычное представление о Блоке, вероятно, было принято в узком приятельском окружении поэта; не случайно и

С. Городецкий на своей книжке «Царевич Малыш» сделал такую дарственную надпись: «Любимому ребенку Руси Саше Блоку. 2-III-911» (Лики творчества: Каталог выставки. Вып. 1. Л., 1990. С. 13).

...я вольно и свободно свою гушу даю на его защиту. — Ср. со строками из письма Елизаветы Юрьевны Блоку от 26 июля 1916 г.: «Вы должны вспомнить, когда это будет нужно, обо мне; прямо займы взять мою душу».

«Думайте сейчас обо мне»... — Письмо передано по памяти, неточно. Текст см.: Блок А. А. Собр. соч. Т. 8. М.; Л., 1963. С. 430—431. Дата получения также неверна: видимо, имеется в виду дата, указанная на письме Блока.

С. 629. *...во время бури на Азовском море...* — Природные катаклизмы на Кубани (весна — лето 1914 г.) нашли отражение в газетных сообщениях тех дней. В мае прошли обильные дожди; Ейск «пострадал от градобития». В июле наблюдался сильный разлив рек; наводнение длилось более недели. После этого наступила сильнейшая жара (до 40 градусов), имелись случаи солнечного удара. 3 августа произошло землетрясение в Анапе, оно продолжалось в течение одной минуты; «сотрясение почвы сопровождалось сильным подземным гулом и настолько сильным толчком, что со столов падали предметы. Несчастий с людьми не было» (Кубанские областные ведомости. 1914. 10 авг).

...затмение солнца — Солнечное затмение в Екатеринодаре случилось 8 августа 1914 г. и продолжалось два часа. Был закрыт почти весь солнечный диск, наступили светлые сумерки.

...мобилизация, война. — Частичная мобилизация с 18 (31) июля 1914 г. была объявлена Николаем II 17 июля; 19 июля (1 августа) Германия объявила войну России. 24 июля (6 августа) войну России объявила Австрия. Манифест Николая II о вступлении России в войну подписан 20 июля (2 августа).

Брат — Дмитрий Пиленко (1893—1920) с 1912 г. — студент юридич. ф-та Петербургского ун-та. Отчислен весной 1914 г. «за невнос платы» за обучение. Дмитрий записался юнкером в артиллерийское училище, но, не желая дожидаться очереди в тылу, определился добровольцем в пехоту и ушел на фронт. В ноябре 1914 г. было опубликовано специальное правительственное «разъяснение» о льготах студентам, уходящим добровольцами на фронт. Согласно этому постановлению, такие студенты считались «в отпуску до окончания войны». Им было обещано по возвращении освобождение от платы за обучение. За участие в боях Ю. Д. Пиленко повышался в чинах и был награжден орденом св. Георгия. После революции и развала российской армии он побывал в Анапе (об этом упоминается в очерке Е. Ю. Скобцовой «Как я была городским головой» и в повести «Равнина русская», где он выведен под именем Петра Темносердова). В гражданскую войну в чине штабс-капитана Дмитрий воевал в армии Деникина и скончался от тифа. Позже м. Мария с горечью вспоминала о нем: «Что осталось от всего этого горения и жертвенного подъема? Ровным счетом ничего не осталось. Разве только еще одна могила у Перекопа».

Двоюродные сестры <...> поступать на курсы сестер милосердия. — На фронт ушла О. П. Ленская (см. примеч. к с. 619), другая двоюродная сестра, Е. А. Чистович («сестра милосердия военного времени»), служила в городском военном лазарете. Сестрой милосердия, кстати, стала и Л. Д. Блок.

...на Бзуре — река Бзура в Польше; в первую мировую войну — прусский фронт на варшавском направлении. Ожесточенные бои на Бзуре и Равке шли почти непрерывно всю вторую половину января 1915 г. В общей сложности сражения на Бзуре зимой 1914/15 г. продолжались несколько месяцев: «...почти каждую ночь немцы ходят в атаку, положили десятки тысяч своих солдат, но ни на один шаг не приблизились к Варшаве» (Новое время. 1915. 10 янв). На Бзуре немцы применяли против русских войск отравляющие газы. О сражениях на Бзуре и Равке см. также в военном дневнике вел. князя А. В. Романова (Октябрь. 1998. № 4. С. 147—151).

С. 630. *С Офицерской...* — С июля 1912 г. Блок жил на Офицерской ул., 57, кв. 21.

Окна выходят на запад. — Вид из квартиры Блока отражен в стихотворении Кузьминой-Караваевой «Смотрю на высокие стекла...». В эту его квартиру она «поселила» и героиню своей повести «Равнина русская» Катю Темносердову.

...винных магазинах Шитта... — Торговый дом «К. О. Шитт» (владелец В. Э. Шитт) имел около сорока винных магазинов в разных частях Петербурга — Петрограда. Все эти магазины были закрыты в связи с очередной мобилизацией в России и прекращением торговли крепкими напитками. С 22 августа 1914 г. в России был введен «сухой закон» впредь до окончания военного времени.

...сборник патриотических стихов. — Патриотические стихи должны были публиковаться не в сборнике, а в журнале «Аполлон» (1915, № 1). О посылке Блоком своего стихотворения и отказе С. К. Маковского, издателя журнала, см.: Максимов Д. Е. Блок и Империалистическая война // Литературный современник. 1936. № 9. С. 191—194. (Примеч. З. Г. Минц).

...Сологуб воспекает барабаны <...> «Я ваш гушка, ваш единственный, повежу вас на Берлин»... — Имеется в виду стихотворение Ф. Сологуба «Марш» и неточная цитата из стихотворения И. Северянина «Мой ответ». Оба опубликованы в 1915 г.

«Будьте довольны жизнью своей»... — неточная цитата из стихотворения Блока «Голос из хора» (1916).

С. 631. *Ах, этот Штейнер.* — Увлечение А. Белого Штейнером (см. примеч. к с. 627) началось в мае 1912 г. Блок относился к нему «недоверчиво»; весной 1913 г. он сказал А. Белому и А. Тургеневой, что «не сомневается в ослепительной гениальности человеческих проявлений Штейнера, но тем более у него оснований ему не доверять» (Лит. наследство. Т. 92. Кн. 3. М., 1982. С. 811—812). Кузьмина-Караваева интуитивно ощущала «ненужность» антропософии для Блока.

С. 632. *...вы вождь* — Мысль о том, что Блок может быть вождем, высказал и руководитель секты хлыстов «Новый Израиль» П. М. Легкобытов (Блок был у них 14 ноября 1908 г.). Об этом есть свидетельство М. М. Пришвина: «Помню, как

Блок стоял у края чана секты Легкобытова и вождь секты искушал его: „Бросьтесь в наш чан и воскресните вождем народа“. Блок отвечал: „А куда же денется моя личность? Нет! Не могу!“ (Пришвин М. М. Дневники. М., 1990. С. 368; 440).

С. 633. *Пройдете, взглянете наверх* — Ср. в стихотворении Кузьминой-Караваевой: «Смотрю на высокие стекла, / А постучаться нельзя...» (из книги «Руфь»).

...последнее письмо от Блока — «Письмо» Блока (вторая декада июля 1916 г.) известно лишь по воспоминаниям м. Марии. Перепечатано в их переписке в кн.: *Кузьмина-Караваева Е. Ю.* Наше время еще не разгадано... Томск, 1996. С. 143.

Письма

Письма А. А. Блоку. Рукописи писем Е. Ю. Кузьминой-Караваевой к Блоку хранятся в РГАЛИ: ф. 55. оп. 1, ед. хр. 299; листов 30. Попытку публикации их, предпринятую Н. В. Осмаковым (в кн.: *Кузьмина-Караваева Е. Ю. (Мать Мария).* Избранное. М., 1991), следует признать неудавшейся: публикация отличается многочисленными грубыми искажениями текстов. Впервые комплект писем по ксерокопиям, полученным из РГАЛИ, полностью издан в кн.: *Кузьмина-Караваева Е. Ю.* Наше время еще не разгадано... Томск, 1996. Но и это издание оказалось не свободным от ошибок. В наст. изд. письма поэтессы воспроизводятся с уточнением прочтений, пунктуация приближена к современным нормам. Слова, набранные курсивом, выделены самой Кузьминой-Караваевой.

Писать письма м. Мария не особенно любила, и их сохранилось не много: что-то с годами оказалось утерянным, а что-то (единицы), возможно, еще хранится в частных собраниях. В наст. изд. представлены письма Е. Ю. Кузьминой-Караваевой к А. Блоку и ряд писем к другим лицам — из разных источников. Копии писем м. Марии к матери (С. Б. Пиленко), присланных ею из мест заключения, любезно представлены Н. М. Каухчишвили (Милан) и переведены Е. Д. Аржаковской-Клепининой (Париж), которым приносим глубокую благодарность. В дополнение к письмам самой м. Марии приводится несколько сохранившихся писем ее сына Юрия Скобцова периода его заключения, поскольку в них содержатся свидетельства о м. Марии. Даты в письмах, приведенные в скобках, — наши. Для удобства комментирования все письма снабжены единой (сквозной) нумерацией.

С. 635. Открытка из немецкого курорта Бад-Наугейм, на которой изображена панорама городка с горы Иоганнисберг. Дата отправки — по почтовому штемпелю: 24 апреля 1912.

Бад-Наугейм — бальнеологический курорт в Германии, расположенный у подножия горы Иоганнисберг, севернее Франкфурта-на-Майне, на расстоянии около часа езды от него в то время.

С. 635—636. Письмо не датировано; предполагаемая дата: конец апреля — начало мая 1912 г.

С. 635. *градирер* (от нем. gradieren) — градирня (исх. *градир*) на солеварнях. Несколько таких объектов располагалось тогда на окраине Наугейма. Курортники часто ходили туда, дышали их прохладным воздухом, насыщенным солью и озоном. Кузьминой-Караваевой это напоминало ее любимое морское побережье в Анапе.

Фригберг — один из небольших поселков, входивших в курортный комплекс.

Hollur's Kapelle — часовня на окраине Наугейма со скульптурными изображениями Мадонны.

С. 636. ...*что Вы здесь знаете* — Блок неоднократно бывал в Наугейме. Эти поездки были связаны у него с «мистическими переживаниями».

...*на маленьком острове...* — На наугеймском озере было два небольших острова с деревянными домиками для лебедей.

С. 636—638. Письмо из Москвы, не датировано. На нем имеется помета Блока о получении 28 ноября 1913 г.

С. 636. ...*я была у Вас еще девочкой...* — около 10 февраля 1908 г.; тогда ей было шестнадцать с небольшим лет.

В каждый круг вступая... — Образ спирально-кругового движения жизни нашел свое отражение и в одном из стихотворений Кузьминой-Караваевой того же периода:

Я силу много раз еще утрачу;
Я вновь умру, и я воскресну вновь.
<...>

И каждый раз, в свершенья круг вступая,
Я буду помнить о тебе, земля.

С. 637. *Дом в глуши* — Небольшое имение поэтессы с виноградниками — Джемете, доставшееся ей после смерти отца, находилось на морском берегу в 6 километрах от Анапы.

...*у меня дочь родилась...* — Внебрачная дочь поэтессы родилась в Москве 18 октября 1913 г.

...*не надо чуда* — В стихотворении тех лет Кузьмина-Караваева писала: «Да, каждый мудр и чудотворец каждый. <...> Мы идем причастны чуду... Но знаю: я творить чудес не буду». Переключка с Блоком: «Я никогда не мечтал о чуде — / И вы успокойтесь — и забудьте про него» («Просыпаюсь я — и в поле туманно...», 1903).

Штейнер Р. (1861—1925) — религиозный философ, антропософ-мистик. Сообщение В. В. Бородаевского о нем Кузьмина-Караваева слышала на квартире Вяч. Иванова в Москве 26 ноября 1913 г.

это не нужно Вам — об «отречении» от Штейнера см. в воспоминаниях м. Марии «Встречи с Блоком».

верный адрес — Блок в это время жил в Петербурге по адресу: Офицерская ул., 57, кв. 21.

С. 638. *закон* — здесь: «предел, поставленный свободе воли или действий» (В. И. Даль).

С. 638—639. Письмо из Москвы от 19 января 1914 г.

С. 638. *книга* — Кузьмина-Караваева посылала Блоку с А. Н. Толстым свою рукописную книгу «Дорога», помеченную

1914 г., в которую вошло 56 стихотворений, написанных в Бад-Наутейме и Анапе.

«Вестники» — название разделов (циклов) в книгах «Дорога» и «Руфь».

Надо еще научиться ненавидеть... — переключка с Н. А. Некрасовым: «То сердце не научится любить, / Которое устало ненавидеть» («Замолкни, Муза мести и печали!»).

С. 639. *Я много гдую о Вас* — ответ на просьбу Блока из его письма от 1 декабря 1913 г.: «Прошу Вас, думайте обо мне, как я буду вспоминать о Вас».

С. 639—640. Письмо из Москвы.

С. 639. *...Ваши заметки на полях рукописи...* — На предыдущее письмо Кузьминой-Караваевой (и рукопись ее книги) Блок ответил 1 февраля 1914 г. Его ответ утрачен. Критические (далеко не только *технические*) пометы Блока сохранились на страницах рукописи книги «Дорога».

С. 640. *перепутье* — В одном из стихотворений книги «Дорога» Кузьмина-Караваева сказала:

Я не хотела перепутья,
Устала без дорог блуждать.
Так неужели надо ждать?

...попытаюсь переработать <...> и издам — Книга «Дорога» осталась неизданной.

С. 640. Письмо из Петрограда (внутригородское), не датировано. Предположительная дата: между 14 и 19 декабря 1914 г.

...номер телефона — Номер домашнего телефона Блока на Офицерской ул. был: 612-00. Кузьмина-Караваева звонила ему из квартиры своей родной тетки (см. примеч. к с. 649).

В субботу... — Ближайшая суббота приходилась на 20 декабря.

С. 640—641. Письмо из Петрограда (внутригородское).

С. 641. *...говорила в последний раз по телефону...* — накануне, 20 декабря. Таким образом, письмо является продолжением их телефонного разговора.

С. 642—643. Письмо из Джемете.

С. 642. *Дженет* — имя Кузьминой-Караваевой под Анапой называлось Джемете, но в письмах к Блоку она писала: *Дженет*. Так (джиннат) в Коране называется рай.

мобилизация — высочайший указ о призыве ратников ополчения (третья всероссийская мобилизация), каковым являлся и Блок, подписан 4 июля 1916 г. В центральных газетах указ опубликован 7 июля, а в новороссийской «Черноморской газете» (ее читали и в соседней Анапе за неимением своей) — 9 июля. Первым днем призыва было установлено 15 июля.

...в белом доме... — Образ «Белого дома на холмах» у Кузьминой-Караваевой возник под влиянием драматической поэмы Блока «Песня судьбы» (1908).

С. 643—644. Письмо из Джемете.

С. 643. *... мне гана сила...* — В позднем стихотворении м. Мария писала: «Сила мне дается непосильная». Героиня ее повести «Клим Семенович Барынькин» (1925) наделена чертами жертвенности, присущими автору: она «сильная, потому что

всю себя отдавать умеет. Не силою сильная, а напряжением своим, которое все ее существо воедино объединяет. И в любви своей [она] была сильной».

С. 644—645. Письмо из Джемете.

С. 644. ...получили мой ответ... — 21 августа 1916 г. Блок сообщил матери, что получил на фронте первые письма, в том числе и от Кузьминой-Караваевой. А 28 августа — еще одно от нее же. Это были письма поэтессы от 20 и 26 июля.

...медленно восходящая спираль — См. примеч. к с. 636.

С. 645. ...после Вашего письма... — Во второй декаде июля 1916 г. Блок написал Кузьминой-Караваевой небольшое (как оказалось, последнее) письмо. «С этим письмом в руках я бродила по берегу моря, как потерянная. Будто это было свидетельство не только о смертельной болезни, но о смерти», — вспоминала позже м. Мария.

«Увидишь ты не на войне...» — о стихотворении см. примеч. к с. 198.

С. 646. Письмо из Джемете.

...в Кисловодск погнать сердце... — Очевидно, ее поездка весной 1912 г. в Бад-Наугейм также была как-то связана с состоянием здоровья, поскольку этот курорт специализировался в основном на сердечно-сосудистых заболеваниях.

...этой зимой — зима 1915/16 г.

С. 647. Авторская дата на письме — ноябрь (XI месяц), но по содержанию оно относится к сентябрю. Видимо, Кузьмина-Караваева ошибочно в римской цифре поставила «палочку» не с той стороны и получилось XI вместо IX.

С. 648—649. Письмо из Анапы (или из Джемете).

С. 648. ...брата проводить... — Брат Кузьминой-Караваевой Д. Ю. Пиленко (1893—1920), офицер, участник боев на западном фронте, в Анапе был в отпуске.

С. 649. ...Вы еще в городе... — Блок приезжал с фронта на несколько дней в отпуск в Петроград в октябре 1916 г. Очевидно, Кузьмина-Караваева знала об этом.

С. 649. Письмо из Петрограда (внутригородское). Блок окончательно вернулся в Петроград из Белоруссии 18 апреля 1917 г.

...ведь опять уеду... — Кузьмина-Караваева приезжала еще в Петроград на короткое время в сентябре 1917 г.

40-52 — номер квартирного телефона родной тетки Кузьминой-Караваевой Е. Д. Цейдлер, проживавшей в Петрограде в Чернышовом пер., 14, кв. 10.

Ковенский, 16, кв. 33 — Кто из родных или знакомых Кузьминой-Караваевой жил тогда по этому адресу (угол Ковенского пер. и Знаменской ул.), не установлено.

Письма разным лицам

С. 650. Письмо Б. А. Садовскому.

Б. А. Садовский (1881—1952) — критик, историк литературы, поэт.

Публикуется впервые по рукописи: РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 81. Написано в связи с намерением Кузьминой-Караваевой издать вторую книгу стихотворений «Дорога». Состоялось ли знакомство поэтессы с владельцем изд-ва «Альциона» А. М. Ко-

жебаткиным, неизвестно; ее стихи в этом издательстве не печатались.

С. 650. Письмо С. П. Боброву.

С. П. Бобров (1889—1971) — поэт, прозаик, критик, художник.

Знакомство Кузьминой-Караваевой с Бобровым, вероятно, произошло в январе 1912 г. в Петербурге на 3-й выставке «Союза молодежи», где они оба были экспонентами. Письмо публикуется впервые по рукописи: РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 39. Кузьмина-Караваева выслала подборку стихов из готовящейся ею книги «Дорога». После организации группы «Центрифуга» Бобров издал альманах «Руконог» (М., 1914), в котором были опубликованы три стихотворения поэтессы.

С. 650—651. Письмо И. С. Книжнику-Ветрову.

И. С. Книжник-Ветров (1878—1965) — журналист, историк.

Публикуется впервые по рукописи: РНБ. Арх. Дома Плеханова. Ф. 352. Ед. хр. 1864.

С. 650. *Юрали* — герой одноименной повести Кузьминой-Караваевой, вышедшей в свет в апреле 1915 г.

С. 651. *академические занятия* — В этот период Кузьмина-Караваева изучала богословские предметы, которые затем сдавала экстерном профессорам петербургской Духовной академии.

Письма о Сергию Булгакову. Письма из архива о. Сергия в библиотеке Сергиевского подворья (Париж). Оpubл. Т. В. Емельяновой в «Вестнике РХД», № 178, Париж — Нью-Йорк — Москва, 3—4 1998.

Отец Сергей (С. Н. Булгаков; 1871—1944) — религиозный философ и общественный деятель, профессор догматического богословия в парижском Богословском институте; «руководитель, друг» и духовный отец м. Марии. Примечания к письмам, не отмеченные инициалами «А. Ш.» (в скобках), принадлежат первопубликатору — Т. В. Емельяновой.

С. 651. *Отец Киприан* — Керн Константин Эдуардович (1899—1960), активный участник кружка РСХД в Сербии, в 1927 г. принял монашество с именем Киприана, преподавал в семинарии г. Битоля, был начальником Русской миссии в Иерусалиме, затем в 1937 г. профессором по литургике и патристике в Свято-Сергиевском богословском институте. Крупный ученый, автор многих богословских книг и статей.

В 1936 г. был назначен настоятелем в лурмельский приход, охарактеризованный митр. Евлогием как «необычный, особенный, и скажу, очень трудный» (см.: Вестник РХД, 1993. № 168. С. 88). Мать Мария, настаивавшая на значении «внехрамовой литургии», расходилась с другими монахинями, во главе с матерью Евдокией, искавшими более созерцательного образа жизни. Назначение о. Киприана эти трудности только усугубило:

Над потолком моим уже три года,
Три года в доме веет немота.
Не может быть решенья и исхода,
Одно решенье — ветер, пустота.

В мае 1938 г. мать Евдокия и мать Бландина покинули общежитие и основали общину в Муазен-ле-Гран (с 1947 г. переместившуюся в Бюсси-ан-От, где существует и поныне). Отец Киприан оставался на Лурмеле еще несколько месяцев, особенно мучительных для обеих сторон. К этому времени и относится письмо матери Марии.

Православное дело — Обособившись от русского студенческого христианского движения, но отнюдь не порывая с ним, м. Мария создала свое объединение «Православное дело» как «союз православного движения в миру». Среди основателей были Н. А. Бердяев, о. Сергей Булгаков, Г. П. Федотов, К. В. Мочульский, почетным председателем был избран митр. Евлогий.

С. 652. Ул. Дарю — На ул. Дарю, 12 в Париже размещался крупнейший православный Свято-Александро-Невский соборный храм митр. Евлогия, управляющего западноевропейскими русскими церквями.

Отец Михаил — судя по всему, о. Михаил Чертков (1878—1945), бывший земский деятель, казначей «Православного дела», тюремный и больничный священник.

С. 653. ...*как налаживать эту будущую нашу совместную жизнь...* — В итоге о. Киприан оставил лурмельский приход. На его место 4 сентября 1939 г. был назначен «согласно прошению» свящ. Дмитрий Клепинин, с которым у м. Марии установились замечательные отношения взаимного уважения и понимания. Они прошли совместный крестный путь вплоть до мученической кончины в немецких концлагерях.

С. 653. ...*близкие не хотят Вас волновать* — Весной о. Сергей тяжело заболел раком горла. «Сегодня глянула мне в лицо смерть...» — так начинается дневниковая запись от 6 марта 1939 г.

Зеньковский арестован — В начале войны, в сентябре 1939 г., В. В. Зеньковский, среди многих других эмигрантов, был без всякого повода арестован французскими властями. После сорока дней сидения в одиночке в парижской тюрьме Санте (откуда он написал письмо м. Марии), он был переведен в лагерь на юг Франции. После занятия Франции немцами освобожден. Во время заключения, продлившегося 14 месяцев, принял решение стать священником.

Л. Э. Лафон (1879—1946) — французский министр здравоохранения. После официального обращения к нему митр. Евлогия, подготовленного совместно о. Михаилом (Чертковым), м. Марией и Ф. Т. Пьяновым, 1 сентября 1936 г. от Лафона был получен «благоприятный ответ» и вскоре (декретом от 13 января 1937 г.) русские туберкулезные больные получили равные с коренными французами права в области здравоохранения, в том числе — размещения в санаториях (А. Ш.).

С. 654. Ф. Т. Пьянов (1889—1969) — активный сотрудник и помощник м. Марии в христианско-благотворительной работе, особенно — в объединении «Православное дело». При разгроме «Православного дела» был арестован гестапо и содержался в тюрьме Роменвиль одновременно с м. Марией (см. ее письма 21 и 22) (А. Ш.).

Письма к матери, С. Б. Пиленко. Письма С. Б. Пиленко из лагерей заключения — из зарубежных собраний.

С. Б. Пиленко (1863—1962) — помогала дочери в ее социально-христианской работе.

С. 654. Письмо из форта Роменвиль, первого места заключения м. Марии; на франц. яз. (пер. Е. Д. Аржаковской-Клепининой). Датируется по почтовому штемпелю.

...вчетвером — кроме самой м. Марии в той же тюрьме с ней были ее ближайшие помощники и друзья: сын Юрий Скобцов, священник церкви на ул. Лурмель, 77 о. Димитрий (Клепинин) и Ф. Т. Пьянов — сотрудник м. Марии по «Православному делу».

Даниил — Д. Е. Скобцов, муж м. Марии.

С. В. — С. В. Медведева (позже монахиня Елизавета) — сотрудница, помощница м. Марии в социально-христианской работе, заместившая м. Марию после ее ареста. Рукопись «Слова» С. В. Медведевой, посвященного памяти м. Марии, хранится в РО РГБ (Москва).

С. 655. Открытка из Роменвиля на франц. яз. (пер. Е. Д. Аржаковской).

...грузья нас покинули — Юрий, о. Димитрий, Ф. Т. Пьянов и другие мужчины были переведены из Роменвиля в Компьень 26 февраля 1943 г.

...скоро их увижу — м. Марию перевели в Компьень 26 апреля 1943 г.

Игорь и Софья — И. А. Кривошеин и С. В. Медведева. Еще до ареста м. Марии они вместе с ней организовали регулярную передачу посылок заключенным в Компьене.

С. 655. Письмо из концлагеря Равенсбрюк на нем. яз. (пер. М. Ю. Гусевой). Дата отправки — по надписи на конверте.

Тамара Кл. — Т. Ф. Клепинина, жена о. Димитрия, оставшаяся после ареста мужа с двумя малолетними детьми и вынужденная из-за угроз гестапо скрыться из Парижа.

С. 655. Письмо из концлагеря Равенсбрюк на франц. яз. (пер. Е. Д. Аржаковской-Клепининой). Дата отправки — по штемпелю немецкой почты.

...к Пасхе — православная Пасха в 1944 г. праздновалась 16 апреля.

Письма сына м. Марии, Ю. Д. Скобцова (1920—1944)

С. 656. Это «письмо» представляет собой приписку к письму о. Димитрия Клепинина жене от 1 апреля 1943 г. из пересыльного лагеря Компьень, куда о. Димитрий и Юрий были переведены 26 февраля 1943 г. Опубл. в альманахе «Христианос», вып. 8 (Рига, 1999).

Жан и О. М. — личности не установлены.

С. 656—657. Письмо из лагеря Компьень. Опубл. в альманахе «Христианос», вып. 8.

С. 656. *мусенька* — так Юрий называл свою мать. Их последняя случайная встреча произошла в Компьене в ночь с 26 на 27 апреля 1943 г.

...видела папу... — м. Мария последний раз видела Д. Е. Скобцова 26 апреля 1943 г. издали из машины, в которой узниц перевозили из Роменвиля в Компьень.

Проскомидия — первая часть литургии, соответствующая начальной жизни Христа; подготовка к собственно литургии. Во время проскомидии приготавливаются хлеб и вино для таинства причащения. Описание порядка (чина) проскомидии см.: Гоголь Н. В. Размышление о Божественной литургии. СПб., 1894. С. 8—32.

басенька — бабушка Юрия, С. Б. Пиленко.

кумусенька — неустановленное лицо.

Дима — отец Дмитрий Клепинин.

С. 657. *Тамара* — жена о. Дмитрия.

...церковное соединение только с Петелем... — На ул. Петель в Париже находился русский приход, входивший в юрисдикцию Сергия Старгородского, придерживавшегося прогерманской (берлинской) ориентации. Юрия беспокоило возможное соглашение митр. Евлогия (к юрисдикции которого принадлежали они с о. Дмитрием) с Петелем, т. к. это был сомнительным путь к объединению русской «зарубежной церкви в ее оппозиции Московской патриархии с целью противопоставить ей эмигрантскую антибольшевистскую церковь» (из письма о. Дмитрия жене от 22 июля 1943 г. («Христианос», вып. 8).

Ницкий Владыка Владимир — Владимир Тихоницкий (1873—1959) — с 1924 г. епископ в Ницце, после смерти митр. Евлогия (1946) стал экзархом Вселенского (Константинопольского) патриарха.

мои желания — Юрий намеревался со временем стать священником.

сезон монотония — скучный, однообразный, монотонный период.

С. 657. Письмо из лагеря Компьень, на франц. яз. (пер. Е. Д. Аржаковской-Клепининой). В целях конспирации на конверте указано другое имя отправителя — Дмитрий Диаконов (подпись под письмом — латинское «D»). Диаконов оказался одновременно с Юрием в концлагерь Бухенвальд в составе большой группы русских заключенных.

Ростан, Жан, Вера — личности не установлены.

С. 658. Письмо написано перед отправкой Юрия из Компьень в Бухенвальд, куда его перевозили вместе с о. Дмитрием 16 декабря 1943 г. Письмо было найдено в чемодане, который вернули из Компьень с вещами Юрия. Опубл. в составе воспоминаний С. Б. Пиленко в кн.: *Мать Мария*. Стихотворения, поэмы, мистерии, воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. Париж, 1947.

Дима — см. выше примеч. к с. 656; о. *Андрей* — протопресвитер Андрей Врасский; *Анатолий* — А. В. Висковский, хозяйственный рабочий в общежитии м. Марии. Все трое погибли в заключении.

Алфавитный указатель произведений

«А в келье будет жарко у печи...»	171
«А когда прижала книзу длань...»	70
«А медный и стертый мой грошик...»	199
«А на душе всё те же песни...»	51
Анна	281
«Бездумное сердце не ищет тревог...»	90
«Белый голубь рассекает дали...»	79
«Белый цвет и цвет коричневатый...» (Марсель Ленуар)	207
«Бесстрастна я, как в храме жрица...»	33
«Бичом железным — прочь на пажити...»	168
«Благовестительство. Се — меч...»	176
«Близорукие мои глаза...»	162
«Бог мне являлся курганный два раза...»	31
«Бодрствуйте, молитесь обо мне...»	97
«Братья, братья, разбойники, пьяницы...»	125
«Будет день, в который с поездом...»	223
«Будет ли новая сеча?...»	33
«Буду ль тихим молитвам внимать?...»	45
«Была весна, — теперь осенний месяц...»	121
«Ввели босого и в рубахе...»	170
«В двух обликах я землю поняла...»	190
«Вдруг свет упал, и видны все ступени...»	137
«Везде — обряд священной службы...»	77
«Вела звериная тропа...»	89
«Верчу я на мельнице жернов...»	181
«Верю, верю в ваши темные вещанья...»	75
«Весенний дождь поит земные нивы...»	61
«Вестников путь неведом...»	76
«Весь твой подвиг измерила я...»	191
«Ветер плачет в трубе...»	94
«Вечера мои перекликаются...»	217
«Вечером родился человек...»	111
«Вечно громоздить на встречу встречу...»	158
«В земную грудь войти корнями...»	109
«Взлетая в небо, к звездным млечным рекам...»	99
«Взял за руку и прочь повел меня...»	143
«Виджу одежды сияющий край...»	159
«В людях любить всю ущербность их...»	209
«В небе, угольно-багровом...»	87
«В небо, к стаям ястребиным...»	109
«Внизу написано: „Агата“...»	202
«Вновь плен томительный; и вновь...»	107
«Возник. Не отстает. И сердцу нудно...»	131
«В окне взметнулся белый стяг зимы...»	74
«Вокруг меня — золотые пески...»	37
«Волосы спускаются на лоб...»	94
«Вольно льется на рассвете ветер...»	173
«Во мне вселенская душа...»	57
«Вот и надгробный плач творю...»	194
«Вот кружится ничтожной щепкой...»	169

«Вот ты в размеренный планетный круг...»	148
«В последний день не плачь и не кричи...»	78
«Все говорит мне: тяга лет...»	114
«Все горят в таинственном горниле...»	81
«Все еще думала я, что богата...»	167
«Все забыла, все забыла, только знаю...»	58
«Все забытые мои тетради...»	219
«Все обычно: кому-то худо...»	145
«Все пересмотрено. Готов мой инвентарь...»	170
«Всё — только раз, и всё — неповторимо...»	49
«Всех демонов, всех демонов в подвал...»	132
«Всех моих усталых...»	120
«Встает зубчатую стеной...»	105
Встречи с Блоком	618
«В тысяча девятьсот тридцать первое...»	215
«Вы говорили мне о смерти; да, у вас...»	53
«Где, Каин, твой брат, где твой Авель?...»	127
«Глаза, глаза, — я знаю вас...»	202
«Глуше гремит труба...»	223
«Глуше, и туже, и крепче...»	141
«Город больных сердец...»	42
«Господи, Господи, Господи...»	206
«Господи, душе так близки чудеса...»	105
«Господи, на этой вот постели...»	147
«Господи, средь звезд, Тебе покорных...»	97
«Господи, Ты видишь — нищета...»	181
«Господь всех воинств, Элогим...»	118
«Господь мой, я жизнь принимала...»	153
«Гостиничные номера...»	208
«Гул вечности доходит глухо...»	163
«Да, блаженна причастная чуду...»	60
«Да, видно, так назначено...»	44
«Давно я увидела в небе закатном сияющий знак...»	58
«Да, в тебя, судьба, я верю...»	56
«Да, каждый мудр, и чудотворец каждый...»	86
«Да, каяться, чтоб не хватило плача...» (Покаяние)	213
«Да, надо будет в гробовой колоде...»	142
«Да, не беречь себя. Хожу на всех базарах...» (Ликованье)	217
«Два треугольника — звезда...»	189
«Два треугольника, звезда...» (Звезда Давида)	220
«Дверь за спиною распахнулась...»	141
«День новый наступил суров...»	69
«Десять раз десять...»	211
«Довольно. Все равно настанет час последний...»	68
«Довольно, о, довольно, счетовод...»	138
«Дома земные — в щепы, в пыль и в щебень...»	119
«Донесу мою тяжкую ношу...»	107
«Дорога ослепит, изгорбит...»	46
«До свиданья, путники земные...»	160
Друг моего детства	578
«Дух мой, плененный неведомой силой...»	100
Духов день. Терцины	267

«Дух смятенный, знаешь, как бывает...»	129
«Единство мира угадать...»	203
«Еще до смерти будет суд...»	220
«Еще мне подарили город...»	210
«Еще остановилась на пороге...»	112
«Желтый камень, прокорми...»	174
«Жить в клопиной, нищенской каморке...»	137
«Живу в труде. Тяжелый мой кирпич...»	216
«Жить днями, править ремесло...»	66
«Завороженные годами...»	72
«За крепкой стеною, в блистающем мраке...»	85
«Закрутит вдруг среди незнакомых улиц...»	176
«Замедляю шаги торопливые...»	52
«Запишет все протоколист...»	186
«За тонкою перегородкой...»	101
«За этот день, за каждый день отвечу...»	179
Звезда Давида («Два треугольника, звезда...»)	220
«Земле все прегрешенья отпустили...»	103
«Земли родной оторванный осколок...»	60
«Земли Твоей убогое житье...»	175
«Земля человека не хочет...»	144
«Зерна желтые осеннего посева...»	62
«Знак этой книги — стрела...»	162
«Знаю, когда-нибудь правды сразятся...» (Мир)	217
«Знаю я извечное притворство...»	190
«Знаю я, — на скором повороте...»	222
«Знаю я, что будет тишина...»	147
«...И были вестники среди нас...»	163
«И вновь пылающий рубеж...»	162
«И в покаяньи есть веселье...»	167
«И в этот вольный, безразличный город...»	184
«И в эту лямку радостно впрягусь...»	205
«И вынули сердце, и не дали рая...»	39
«Идет устрашающий гнев...»	216
«И жребий кинули, и ризы разделили...»	93
«И за стеной ребенка крик...»	69
«...И за стеною двери замурую...»	180
«Избороздил все нивы плуг...»	95
«Из вечных таинственных книг...»	187
«Из житницы, с травой сорной...»	63
«Измерена верною мерою вера...»	209
«Из недр восстали мертвецы...»	151
«„И каждую косточку ломит“...»	126
«Имеющий ухо, да слышит...»	168
«И нищ, и болен. Был запой...»	123
«И нет меня уже как будто...»	213
«Инок и странник-сородич...»	212
«И около спокойной смерти стоя...»	100
«Искала я таинственное племя...»	175
«Испанцы некогда здесь жить хотели...»	203

«Испепеляющий огонь...»	139
«Испытал огнем; испытывай любовью...»	111
«И стало темно в высоте...»	71
«Исчезла горизонта полоса...»	156
«Каждая мышца свинцом налита...»	154
«Каждый был безумно строг...»	198
«Каждый час желает побороть...»	166
«Как было легко грешить...»	166
«Как вы, веселые, еще не догадались...» (Мать)	213
«Какие праздничные дни...»	140
«Какие суровые дни наступили...»	93
«Как капли серебра, бой башенных часов...»	121
«Как исчислю, Владыка, Твою благодать!...»	155
«Какой бы ни было ценой...»	68
«Как они живут спокойной жизнью...»	127
«Как радостно, как радостно над бездной голубеющей...» (Послание Д. Д. Б.)	41
«Как сладко мне стоять на страже...»	91
«Как тяжело на пути земном...»	93
«Как удочка на землю тянет рыбу...»	142
«Как хорошо, что есть глухая ночь...»	146
Как я была городским головой	587
«Камни на камни, скала на скалу...»	118
«Кипит вражда; бряцают латы...»	73
«Кирпичный дом и небосвод белесый...»	141
«К каждому сердцу мне ключ подобрать...»	209
Клим Семенович Барынькин	493
Когда времени больше не будет («Они говорят, что ты, мертвый, восстанешь из гроба...»)	40
«Когда мой взор рассвет заметил...»	90
«Когда-нибудь, я знаю, запою...»	136
«Когда ты вернешься, то солнце восстанет вторично...»	36
«Когти яростного грифа...»	29
«Крылатому вестнику ринуть навстречу...»	164
«Кто знает, тот молчит...»	47
«Кто я, Господи? Лишь самозванка...»	177
«Куда мне за вами лететь...»	108
«Легкий час голубой...»	84
Ликованье («Да, не беречь себя. Хожу на всех базарах...»)	217
«Людей колючие слова...»	124
Марсель Ленуар («Белый цвет и цвет коричневатый...»)	207
Мать («Как вы, веселые, еще не догадались...»)	213
«Мать, мы с тобою договор...»	187
«Медленно пламень погас...»	91
[Мельмот Скиталец]	224
«Меня не время утомило...»	88
«Мерная музыка тихо звучит в небесах...»	54
«Мертва ли я? Иль все еще живая?...»	183
Мир («Знаю, когда-нибудь правды сразятся...»)	217
«Мне кажется, что мир еще в лесах...»	118
«Мне казалось, — не тихость...»	164

«Мне надоела я. К чему забота...»	166
«Мне не быть рабой господней...»	35
«Мне нечего уже жалеть...»	44
«Много путников прошло; не постучалось...»	106
«Много шумело и стихло неясных, обманчивых вёсен...»	50
«Моего смиренного Востока...»	221
«Может, ничего я не узнала...»	218
«Моих грехов не отпускаяй...»	214
«Моих молитв бескрылых тонкой нитью...»	196
Монах («От севера пришел он к нам...»)	115
«Мы не выбирали нашей колыбели...»	120
«Мы снискиваем питание и брашно...»	196
«На востоке — кресты и сиянье...»	103
«Надо мерно идти, не спешить...»	69
«Над тварью, в вечности возносится Покров...»	188
«На закате загорятся свечи...»	179
«Название улиц незнакомых...»	139
«Наконец-то. Дверь скорей на ключ...»	135
«Наложили на душу запрет...»	110
«Нам, верным, суждена одна дорога...»	80
«На праздник всех народов и племен...»	98
«Напрасно путник утра ждет...»	81
«На пыльной земле все то же...»	78
«Наступающее лето...»	193
«Начало новых, белых лет...»	67
«Наше время еще не разгадано...»	113
«Нашу русскую затерянность...»	206
«Небесного веретена...»	101
«Небесный Иерусалим...»	174
«Не беспокойтесь, сторожа...»	34
«Не буду ничего беречь...»	151
«Неведомый, нездешний человек...»	36
«Не в пристани еще ладья...»	83
«Не все ль равно? Сначала заболело...»	144
«Не голодная рысит волчиха...»	194
«Недра земли, океаны, пещеры...»	202
«Не засыпает тяжелая кровь...»	129
«Не знаю, кто будет крещен...»	86
«Не иные грехи проклинать...»	128
«Не надо всех былых времен...»	106
«Не помню я часа Завета...»	138
«Не попутным, видно, ветром...»	200
«Не похожи друг на друга реки...»	200
«Не прошу Тебя: помилуй, не карай...»	82
«Не слепи меня, Боже, светом...»	148
«Не солнце ль мертвых поднялось сегодня?...»	195
«Не так уж много — двадцать четыре часа...» (Смерть)	216
«Нет, Господь, я дорогу не мерю...»	192
«Нет, и скала несокрушимой веры...»	152
«Нет, не покорная трусливость...»	201
«Не то, что мир во зле лежит, — не так...»	130
«Нет, только грусть и тонкий запах тленья...»	153
«Не удержать моей плотинной...»	167

«Не укрыться в мирозозерцанье...»	150
«Нечего больше тебе притворяться...»	132
«Не хотят колючие слова...»	191
«Никогда, ни на каком пути...»	134
«Никому не стану я рассказывать...»	51
«Ни памяти, ни пламени, ни злобы...»	193
«Ни сахаром, ни калачами...»	145
«Ни формулы, ни мера вещества...»	186
«Новых венцов не сковать...»	89
«Номер сто пятидесятый...»	207
«Ночь. И звезд на небе нет...»	220
«Ночью камни не согреешь телом...»	218
«Обетовал нам землю. Мы идем...»	221
«Обманывать себя. Иль пламя...»	215
«Обрывки снов. Певуче плещут недра...»	174
«Обряд земли — питать родные зерна...»	189
«О, волны каменные, вы...»	178
«О, всепредчувствие, преддверье срока...»	197
«Огнем Твоим поражена...»	96
«О, горлица моя, лети, лети же...»	151
«Он в рабство продал меня чужому тирану...»	29
«Они говорят, что ты, мертвый, восстанешь из гроба...» (Когда времени больше не будет)	40
«О, разве мне нужна борьба с забытыми врагами?...»	54
«Освятя нам темное житье...»	113
«О, страх забытый, страх вчерашний...» (Notre Dame)	43
«От ангелов Ты умалил...»	104
«От будничной житейской суеты...»	112
«Отвратила снова неудачу...»	67
«От жизни трудовой и трудной...»	183
«Отменили мое отчество...»	171
«От пути долины, от пути средь пыли...»	77
«От севера пришел он к нам...» (Монах)	115
«Охраняющий сев, не дремли...»	180
«Паломники к неведомой святыне...»	55
«Парижские приму я Соловки...»	185
«Пахарь, идущий за плугом...»	42
«Перекладыны на мачтах сосновых...»	38
Песнь Иммали («Тихая я, тихая, тихая Иммали...»)	39
Письма А. А. Блоку	635
Письма разным лицам	650
Б. А. Садовскому	650
С. П. Боброву	650
И. С. Книжнику-Ветрову	650
С. Н. Булгакову	651
Письма матери, С. Б. Пиленко	654
Письма Юрия Скобцова отцу (Д. В. Скобцову) и бабушке (С. Б. Пиленко)	656
«Плывет с двумя баржами тихо катер...»	204
«Повели, как на цепи собаку...»	124
«По вечерам горят огни на баке...»	156
«Под бременем Божьего ига...»	96

«Подвел ко мне, сказал: усынови...»	125
«Подвяжут белым платом челюсть...»	143
«Подземный гул все слышен мне...»	164
«Под ноги им душу я кину...»	123
Покаяние («Да, каяться, чтоб не хватило плача...»)	213
«Покорно Божий путь приму...»	72
«По кофейням, где шлепают карты...»	208
«Полей Твоих суровый хлебороб...»	102
«Половина обагренного кольца...»	28
«Помазанность, христовость наша...»	212
Послание Д. Д. Б. («Как радостно, как радостно над бездной голубеющей...»)	41
«Последнее солнце и день наш последний...»	145
Последние римляне	554
«Постучалась. Есть за дверью кто-то...»	182
«Посты и куличи. Добротный быт...»	204
«Постыло мне ненужное витийство...»	178
Похвала труду. Псалом	264
«Премудрый Зодчий и Художник...»	98
«Приеду. Спросят: „Вы откуда?“...»	172
«Прикидываешь тесную колоду...»	143
«Припасть к окну в чужую маету...»	125
«Присмотришься, — и сердце узнает...»	188
«Прихожу к нищете и бездолью...»	88
«Причастились благодати...»	38
«Прославь бессмыслицу и тлен...»	150
«Прощайте, берега. Нагружен мой корабль...»	196
«Пусть будет день суров и прост...»	110
«Пусть отдам мою душу я каждому...»	183
Равнина русская. Хроника наших дней	390
«Разве можно забыть? Разве можно не знать?...»	79
«Разве я знаю, что меня ждет?...»	75
«Развинтил винты, ослабил скрепы...»	122
«Раздваивает жизнь меня...»	169
«Рано стало темнеть...»	99
«Распахивают полосу. Курится пар...»	146
«Расчет, и учет, и плата...»	168
«Родная мать, твой прах люблю...»	31
«Рождающие пену узы...»	210
Руфь («Сбирала колосья в подол...»)	65
«Рыбак плывет, чтобы закинуть сети...»	49
«Рядом пономарь горбатый...»	110
«Самое вместительное в мире — сердце...»	201
«Свершены ль железные законы?...»	48
«Святости, труда или достоинства...»	160
Семь чаш	305
«Сердце никогда мое не билось чаще...»	57
«Сила мне дается непосильная...»	149
«С какой тоской иной печати рвет...»	130
«Скоро мальчик, горбатый и низкий...»	49
«Слишком светлый воздух...»	122
Смерть («Не так уж много — двадцать четыре часа...»)	216

«Смотри, — измозолены пальцы...»	205
«Смотрю на высокие стекла...»	84
«Смотрю, смотрю с одинокой башни...»	28
«С народом моим предстану...»	140
«Снова здесь; среди мирских равнин...»	68
«Снова можно греться у печей...»	92
«Собирала колосья в подол...» (Руфь)	65
«Совершится священная встреча...»	95
Солдаты	323
«Сопряжены во мне два духа...»	136
«С осенними листьями вместе...»	152
«Спокойно, будто опытный анатом...»	130
«Сразу даль обнажена...»	187
«Средневековых улиц тишь...»	199
«Средь знаков тайных и тревог...»	80
«Средь этой мертвенной пустыни...»	157
«С серпом отточенным придет к нам твой косец...»	62
«Стоит ли быть Бонапартом?..»	199
«Стучат по темным, древним плитам...» (Notre Dame)	43
«Суровая тайна земли обетованной...»	53
«Схоронила всю юность мою...»	73
«Так. Всем сомненьям дан ответ...»	56
«Так. Жребий кинут. Связана навеки...»	62
«Так завершаются пути, назначенные людям...»	55
«Так затихнуть — только перед бурей...»	82
«Так. Так. Мои сплелись с землею корни...»	61
«Так устать, чтоб быть ничем, исчезнуть...»	172
«Там было молоко и мед...»	119
«Там, где были груды пепла...»	52
«Там, между Тигром и Ефратом...»	128
«Тебе молюсь, тебя пою...»	37
«Теперь, когда я ближе к цели...»	45
«Тесный мир; вот гневный сев...»	74
«Тихая я, тихая, тихая Иммали...» (Песнь Иммали)	39
«Только б смерть не изменила...»	70
«Только к вам не заказан след...»	195
«Торжественно и звонко, будто первый дождь весною...»	58
«Тот, кто в рану вложил мне кровавые пальцы...»	33
«Трехсолнечный свет и нет страха...»	184
«Три года гость. И вот уже три года...»	219
«Трудный путь мы избирали вольно...»	128
«Тружусь, как велено, как надо...»	108
«Ты ли, милосердный Пастырь...»	211
«Ты не изменишь... Быть одной...»	136
«Ты остановил на берегу потока...»	134
«Ты по-разному отринул всех...»	158
«Ты рассек мне грудь и вынул...»	39
«Ты, серебряная птица, Голубь...»	204
«Тянут невод розоватый...»	59
«Убери меня с Твоей земли...»	133
«У брата крепкий дом и много золота...»	182
«Увидишь ты не на войне...»	198

«У всех есть родина любимая...»	29
«Уже и солнца шар не раскален...»	146
«У каждого — имя и отчество...»	122
«У самых ног раздастся скрип и скрежет...»	160
«Устало дышит паровоз...»	179
«Усталость забаяюкала меня...»	177
«Хлеб ваш на земле родился...»	30
«Холодно ли? — Нету холода...»	157
«Холодом по комнатам сквозняк...»	138
«Хорошо, хорошо, отойду я теперь...»	155
«Царица была королевной...» (Царица усталая)	41
Царица усталая («Царица была королевной...»)	41
Царство-призрак («Я не забуду, всю жизнь не забуду...»)	40
«Черные фигуры двух монахинь...»	173
«Чтобы взять пшеницу с нивы...»	37
«Что Ему я за братьев отвечу...»	126
«Что еще в пути я соберу...»	127
«Что осталось нам? — Только звезды...»	165
«Что скрыто, все сердце узнало...»	84
«Что я делаю? — Вот без оглядки...»	127
«Чудом Ты отверз слепой мой взор...»	133
«Широко разметало руки...»	47
«Щит в руке и шлем блистающий...»	31
«Это там вопрошали бойцы...»	76
Юрали	338
«Я верю, Господи, что если Ты зажег...»	165
«Я весь путь, весь путь держалась за стремя владыки...»	30
«Я высоко. Внизу тюки, бочонки...»	177
«Я знаю, зажгутся костры...»	185
«Я испила прозрачную воду...»	32
«Я, как слепая, бродила, ища уверений...»	35
«Я не буду роптать на Тебя...»	169
«Я не забуду, всю жизнь не забуду...» (Царство-призрак)	40
«Я не ищу забытых мифов...»	30
«Я не хотела перепутья...»	44
«Я сама гадалка и ведунья...»	46
«Я силу много раз еще утрачу...»	87
«Я склонила голову мою...»	35
«Я струпья черепком скребу...»	149
«Я языка и обычаев ваших не знаю...»	32
Notre Dame («О, страх забытый, страх вчерашний...»)	43
Notre Dame («Стучат по темным, древним плитам...»)	43

Указатель имен

- Аввакум, протопоп 561
Агеева Л. 727
Адамович Г. В. 717
Аксаков И. С. 699
Аксаков К. С. 699
Аксакова А. Ф. 716, 726
о. Александр (Ельчанинов) 18
Александр I 726
Александр II 579
Александр III 578, 716
Алигер М. И. 20, 663
Анастасия см. Скобцова А. Д.
о. Анатолий (Висковский) 658, 743
Андреев Л. Н. 619, 705, 723
о. Андрей (Врасский) 658, 743
Аничков Е. В. 624, 626, 732
Аничкова А. М. 624, 626, 732
Антон Крайний см. Гиппиус З. Н.
Аржаковская-Клепинина Е. Д. 24, 692, 705, 706, 736, 742, 743
Аттила 555, 562, 574, 721
Ахматова А. А. 7, 567, 568, 623, 625, 626, 659, 724, 733
Байрон Дж. Г. 555
Бакст Л. С. 731
Балтрушайтис Ю. К. 679
Бальмонт К. Д. 11, 681, 685, 693
Белый А. 626, 627, 631, 712, 733, 735
Беневич Г. И. 673, 678, 699
Бердяев Н. А. 17—19, 25, 558, 560, 561, 714, 741
м. Бландина 741
Блок А. А. 6, 7, 9, 11, 561, 564, 618—649, 660, 665, 667, 669, 670, 673, 674, 678, 685, 693, 698, 710, 714, 715, 717—719, 722—725, 730—739
Блок Л. Д. см. Менделеева Л. Д.
Бобров С. П. 650, 740
Богат Е. М. 662, 663, 717
Бодлер Ш. 713
о. Борис (Старк) 704
Бородаевский В. В. 627, 737
Боцяновский В. Ф. 714
Брюсов В. Я. 11, 557, 630, 712, 721, 731
Будзинский В. А. 587, 600, 601, 603, 607, 610, 613, 614, 616, 727—729
Булгаков С. Н. 14, 18, 651, 653, 654, 794, 725, 740, 741
Бушен Д. Д. 667
Василий Блаженный 701, 702
Ведринская М. А. 732
Величковская Т. 663
Вильде Б. В. 25
Владимир (Тихоничский), еп. Ницкий 657, 743
Войтинская Н. С. 24
Волошин М. А. 7, 12, 574, 627, 722, 723, 725, 733
Волошина-Сабашникова М. В. 722
Воронков П. К. 611
Гаяна 18, 637, 639, 661, 670, 684, 700
Гаккель С. А. 662, 663, 679, 686, 690, 691, 697, 702
Гамсун К. 666
Гершензон М. О. 725
Гёте И. В. 559
Гиппиус Вас. В. 683
Гиппиус Вл. В. 693
Гиппиус З. Н. 11, 554, 555, 563, 564, 574, 575, 630, 712, 715, 720, 724
Гиппиус Т. Н. 731
Гоголь Н. В. 743
Гольц Ш. де 707
Горбов Д. 712
Городецкий С. М. 7, 9, 10, 565, 619, 622, 660, 666, 723, 732, 734
Горький М. 724
Григорий Богослов 559
Григорий Нисский 627, 733
Гроссман Л. П. 12
Гумилев Н. С. 7, 13, 567—570, 623, 692, 724, 732
Гусева М. Ю. 742
Гучков А. И. 723
Даль В. И. 679, 737
Даниил см. Скобцов Д. В.
Данилевский Н. Я. 723
Дантес Ж. 702
Деникин А. И. 612
Державин Г. Р. 700, 724
о. Димитрий (Клепинин) 654, 656, 658, 741—743
Дмитриев-Мамонов А. М. 726
Дмитриев-Мамонов И. И. 726
Дмитриевы-Мамоновы 579, 726
Добролюбов А. М. 11
Достоевский Ф. М. 24, 559, 682, 704, 713, 714, 723, 725, 726
Дымшиц С. И. 7, 627, 733
м. Евдокия 740, 741
Евлогий (Георгиевский), митрополит 14, 15, 17, 18, 652, 697, 794, 740, 741, 743
Екатерина II 579, 726
Екатерина Михайловна, вел. княжна; герцогиня Мекленбург-Стрелицкая 579, 726
Елена (Георгиевна), принцесса 580, 726
Елена Павловна (Фредерика Шарлотта Мария), вел. княгиня 579, 580, 726
Емельянова Т. В. 20, 662, 667, 697, 705, 725, 740
Ерж Н. Т. 611, 729
Есенин С. А. 565
Жуков Г. К. 693
Жуковский В. А. 726
Зандер Л. А. 18
Зеньковский В. В. 17, 18, 653, 741

- Зиновьева-Аннибал
 Л. Д. 11, 721
 Зоценко М. М. 712
- Иван I Данилович Калита 701
 Иван II Иванович Красный 701
 Иван III Васильевич 701
 Иван IV Васильевич Грозный 676, 701
 Иван V Алексеевич 701
 Иванов Вяч. И. 6, 10, 11, 13, 19, 557—559, 561—563, 565, 622—625, 627, 713, 721—724, 732, 733, 737
 Иванов Г. В. 566
 Иванова Л. В. 722
 Ивнев Р. 566
 Инбер В. М. 12
 Инджебели Х. К. 589, 592, 594, 607, 609, 610, 615, 720, 728
 Иоанн, блаженный 688
 Иосиф Флавий 707
- Кайдаш-Лакшина С. Н. 660, 705
 Кант И. 558, 559, 617, 722, 730
 Кауфман А. 579, 726
 Каухчишвили Н. М. 712, 719, 736
 Качалов В. И. 725
 Керенский А. Ф. 723
 о. Киприан (Керн) 651—653, 697, 740, 741
 Клепинина Т. Ф. 655, 657, 742, 743
 Ключев Н. А. 565, 691
 Книжник-Ветров И. С. 650, 651, 709, 740
 Кожебаткин А. М. 739
 Комиссаржевская В. Ф. 619
 Коневской И. И. 11
 Корнилов Л. Г. 604—606, 729
 Коробьин Ю. А. 730
 Крацдиевская Н. В. 12
 Кривошеин И. А. 655, 727, 742
 Кузмин М. А. 13, 622, 723, 732
 Кузьмин-Караваев В. Д. 732
 Кузьмин-Караваев Д. В. 6, 7, 621, 622, 624, 636, 667, 711, 732
 Купченко В. 723
- Курбский А. 676
 Куропаткин А. Н. 723
 Куценко И. Я. 718
- Лафон Л. Э. 653, 654
 Легкобытов П. М. 735
 Ленин В. И. 592
 Ленская О. П. 731, 735
 Леонтьев К. Н. 723
 Лесков Н. С. 13
 Лещенко Ю. И. 679
 Лидин В. Г. 661
 Литовкин 601
 Лозинский М. Л. 7
 Лосский Н. О. 6
 Лотман Ю. М. 733
 Луначарский А. В. 713
 Львов-Рогачевский В. Л. 714
 Лютер М. 561
- Маковский С. К. 630, 735
 Максимов Д. Е. 8, 19, 663, 719, 735
 Мандельштам О. Э. 6, 7, 567, 677, 691, 793
 Манухина Т. А. 16
 Мария Федоровна (Мария София Фредерика Дагмара) 582, 727
 Маркс К. 559
 Маяковский В. В. 571
 Медведева С. В. 655, 742
 Мельгунов С. П. 575, 725
 Менделеев Д. И. 620
 Менделеева Л. Д. 624, 625, 735
 о. Александр (Мень) 732
 Мережко 588, 590, 611, 728
 Мережковский Д. С. 24, 560, 622, 624, 630, 704, 722, 725, 732
 Мерзляков А. Ф. 667
 Меркурьева В. И. 720
 Метерлинк М. 619
 Метьюрин Ч. Р. 666, 698
 Микулина Е. Н. 662, 694
 Минц З. Г. 663, 694, 730—733, 735
 о. Михаил (Чертков) 652—654, 741
 Михаил Павлович, вел. князь 580, 726
 Моравская М. 7, 625
- Морев Н. И. 588, 590, 593, 602, 603, 614, 728
 Мочульский К. В. 17—19, 663, 702, 717, 741
 Мусина Л. М. 732
 Мухаммед 669
- Нарбут В. И. 625
 Нарышкин Л. А. 579, 726
 Нарышкина П. С. 726
 Наталья Александровна 726
 Недоброво Н. В. 558
 Некрасов Н. А. 674, 738
 Николай I 580, 702, 726
 Николай II 727, 728, 734
 Ницше Ф. 559
- Оболенская В. 25
 Озаровский Ю. Э. 732
- Петражицкий Л. И. 6
 Петр I 560, 701, 726
 Петров 730
 Пикассо П. 627, 733
 Пиленко Д. Ю. 726, 734, 739
 Пиленко С. Б. 8, 12, 583, 613, 625, 626, 629, 654—656, 662, 686, 731, 736, 742, 743
 Пиленко Ю. Д. 5, 6, 583—586, 618, 670, 708, 727
 Платон 558
 Пляханов Б. В. 26, 662, 693, 694, 701, 702
 Победоносцев К. П. 13, 578—586, 715, 716, 726, 727
 Покровский В. Л. 610, 729
 Пришвин М. М. 735, 736
 Протапов П. И. 592, 593, 596, 603, 606—609, 612, 720, 728, 729
 Прохоренко Г. А. 729
 Прохоренко П. А. 729
 Пугачев Е. И. 702
 Пушкин А. С. 567, 667, 702, 724
 Пьянов Ф. Т. 17, 654, 741, 742
 Пяст В. А. 625, 693, 721, 733
- Раевский Г. А. 20, 61, 663, 686

- Разумихин П. И. 608, 729
 Разумихин С. И. 608, 729
 Распутин Г. Е. 556, 633
 Рейтлингер Ю. Н. 15
 Ремизов А. М. 13, 717
 Розанов В. В. 724
 Романов А. В. 735
 Роцин М. 662

 Сабов А. 662
 Садовский Б. А. 650, 660, 739
 Сажин А. А. 732
 Северянин И. 566, 630, 724, 735
 Скобелев М. Д. 693
 Скобцов Д. Е. 12, 654—657, 661, 679, 686, 709, 717, 721, 742, 743
 Скобцов Ю. Д. 12, 654—658, 700, 742, 743
 Скобцова А. Д. 12, 13, 700
 Слонимский М. Л. 712
 Смолярчук В. И. 715
 Солженицын А. И. 691
 Соловьев В. С. 20, 24, 622, 624, 704, 715, 722, 732
 Соловьева П. С. 732
 Сологуб Ф. 630, 735
 Степун Ф. А. 717, 718
 Стоюнина М. Н. 6

 Сумцов М. М. 728
 Таганцева Л. С. 6, 731
 Таубе М. А. 580, 726
 Терапиано Ю. К. 663
 Ткачев 612, 614, 615, 729
 Толстая С. И. см. Дымшиц С. И.
 Толстой А. Н. 7, 12, 18, 627, 628, 638, 712, 733, 737
 Толстой Л. Н. 581, 727
 Троцкий Л. Д. 592, 720, 725
 Трубецкой 612, 615
 Тургенева А. 626, 733, 735
 Тэффи Н. А. 12
 Тютчев Ф. И. 716, 726

 Федотов Г. П. 13, 18, 25, 741
 Феодосий 679
 Филипченко И. 10
 Флетчер 702
 Фондаминский И. И. 18, 25, 686
 Франк С. Л. 6
 Франс А. 624

 Хлебников В. 565

 Цветаева М. И. 7, 659, 663, 722, 733
 Цейдлер Е. Д. 730, 739

 Цензор Д. М. 619, 724
 Цетлин М. О. 720

 Четвериков С. 18
 Чехов А. П. 576, 725
 Чистович Е. А. 735
 Чистяков Г. П. 18
 Чулков Г. И. 721

 Шаховская З. 722
 Шитт В. Э. 735
 Шлецер Б. Ф. 554, 720
 Шмидт А. И. 732
 Штейнер Р. 559, 627, 630, 637, 722, 733, 735, 737
 Шустов А. Н. 6—8, 18, 660, 662, 694, 717, 718, 727, 731

 Эйгер-Мошковская Ю. Я. 6
 Эллис 713
 Энгельгардт Е. А. 581, 582, 727
 Эренбург И. Г. 721
 Эрн В. Ф. 558, 722

 Юрьев Ю. М. 732

 Яновский В. С. 717
 Яфимович В. М. 726
 Яфимович Е. А. 578—583, 586, 726, 727
 Яфимович П. С. 579

Содержание

А. Н. Шустов. Сила веры и сила слова

5

СТИХОТВОРЕНИЯ

СКИФСКИЕ ЧЕРЕПКИ (1912)

Предисловие	27
Курганная царевна	
1. «Смотрю, смотрю с одинокой башни...»	28
2. «Половина обагренного кольца...»	28
3. «Когти яростного грифа...»	29
4. «У всех есть родина любимая...»	29
5. «Он в рабство продал меня чужому тирану...»	29
6. «Я весь путь, весь путь держалась за стремя владыки...»	30
7. «Я не ищу забытых мифов...»	30
8. «Хлеб ваш на земле родился...»	30
9. «Родная мать, твой прах люблю...»	31
10. «Щит в руке и шлем блистающий...»	31
11. «Бог мне являлся курганный два раза...»	31
12. «Я языка и обычаев ваших не знаю...»	32
13. «Я испила прозрачную воду...»	32
Невзирающий	
1. «Бесстрастна я, как в храме жрица...»	33
2. «Тот, кто в рану вложил мне кровавые пальцы...»	33
3. «Будет ли новая сеча?...»	34
4. «Не беспокойтесь, сторожа...»	34
5. «Мне не быть рабой господней...»	35
6. «Я склонила голову мою...»	35
7. «Я, как слепая, бродила, ища уверений...»	35
8. «Неведомый, нездешний человек...»	36
9. «Когда ты вернешься, то солнце восстанет вторично...»	36
10. «Вокруг меня — золотые пески...»	37
У пристани	
1. «Чтобы взять пшеницу с нивы...»	37
2. «Тебе молось, тебя пою...»	37
3. «Перекладыны на мачтах сосновых...»	38
Немеркнувшие крылья	
1. «Причастились благодати...»	38
2. «Ты рассек мне грудь и вынул...»	39
3. «И вынули сердце, и не дали рая...»	39
Песнь Иммали («Тихая я, тихая, тихая Иммали...»)	39
Царство-призрак («Я не забуду, всю жизнь не забуду...»)	40
Когда времени больше не будет («Они говорят, что ты, мертвый, восстанешь из гроба...»)	40
Послание Д. Д. Б. («Как радостно, как радостно над бездной голубеющей...»)	41
Царица усталая («Царица была королевной...»)	41

ДОРОГА (1914)

Перекресток

- | | | |
|------|--|----|
| [1] | «Пахарь, идущий за плугом...» | 42 |
| [2] | «Город больных сердец...» | 42 |
| [3] | Notre Dame («О, страх забытый, страх
вчерашний...») | 43 |
| [4] | Notre Dame («Стучат по темным, древним
плитам...») | 43 |
| [5] | «Я не хотела перепутья...» | 44 |
| [6] | «Да, видно, так назначено...» | 44 |
| [7] | «Мне нечего уже жалеть...» | 44 |
| [8] | «Буду ль тихим молитвам внимать?...» | 45 |
| [9] | «Теперь, когда я ближе к цели...» | 45 |
| [10] | «Дорога ослепит, изгорбит...» | 46 |
| [11] | «Я сама гадалка и ведунья...» | 46 |

Вестники

- | | | |
|-----|-----------------------------------|----|
| [1] | «Широко разметало руки...» | 47 |
| [2] | «Кто знает, тот молчит...» | 47 |
| [3] | «Свершены ль железные законы?...» | 48 |

Начало

- | | | |
|------|---|----|
| [1] | «Всё — только раз, и всё — неповторимо...» | 49 |
| [2] | «Скоро мальчик, горбатый и низкий...» | 49 |
| [3] | «Рыбак плывет, чтобы закинуть сети...» | 49 |
| [4] | «Много шумело и стихло неясных, обманчивых
вёсен...» | 50 |
| [5] | «А на душе всё те же песни...» | 51 |
| [6] | «Никому не стану я рассказывать...» | 51 |
| [7] | «Замедляю шаги торопливые...» | 52 |
| [8] | «Там, где были груды пепла...» | 52 |
| [9] | «Вы говорили мне о смерти; да, у вас...» | 53 |
| [10] | «Суровая тайна земли обетованной...» | 53 |
| [11] | «Мерная музыка тихо звучит в небесах...» | 54 |
| [12] | «О, разве мне нужна борьба с забытыми
врагами?...» | 54 |
| [13] | «Так завершаются пути, назначенные людям...» | 55 |
| [14] | «Паломники к неведомой святыне...» | 55 |
| [15] | «Так. Всем сомненьям дан ответ...» | 56 |
| [16] | «Да, в тебя, судьба, я верю...» | 56 |
| [17] | «Во мне вселенская душа...» | 57 |

Земля

- | | | |
|-----|--|----|
| [1] | «Сердце никогда мое не билось чаще...» | 57 |
| [2] | «Все забыла, все забыла, только знаю...» | 58 |
| [3] | «Давно я увидела в небе закатном сияющий
знак...» | 58 |
| [4] | «Торжественно и звонко, будто первый
дождь весною...» | 58 |
| [5] | «Тянут невод розоватый...» | 59 |
| [6] | «Земли родной оторванный осколок...» | 60 |
| [7] | «Да, блаженна причастная чуду...» | 60 |
| [8] | «Весенний дождь поит земные нивы...» | 61 |

[9] «Так. Так. Мои сплелись с землею корни...»	61
[10] «Зерна желтые осеннего посева...»	62
[11] «Так. Жребий кинут. Связана навеки...»	62
[12] «С серпом отточенным придет к нам твой косец...»	62
[13] «Из житницы, с травой сорной...»	63

РУФЬ (1916)

[Предисловие]	64
Руфь ([1] «Собирала колосья в подол...»)	65

Исход

[1] «Жить днями, править ремесло...»	66
[2] «Отвратила снова неудачу...»	67
[3] «Начало новых, белых лет...»	67
[4] «Снова здесь; среди мирских равнин...»	68
[5] «Какой бы ни было ценой...»	68
[6] «Довольно. Все равно настанет час последний...»	68
[7] «Надо мерно идти, не спешить...»	69
[8] «И за стеной ребенка крик...»	69
[9] «День новый наступил суров...»	69
[10] «Только б смерть не изменила...»	70
[11] «А когда прижала книзу длань...»	70
[12] «И стало темно в высоте...»	71
[13] «Завороженные годами...»	72
[14] «Покорно Божий путь приму...»	72
[15] «Схоронила всю юность мою...»	73
[16] «Кипит вражда; бряцают латы...»	73
[17] «Тесный мир; вот гневный сев...»	74

Вестники

[1] «В окне взметнулся белый стяг зимы...»	74
[2] «Разве я знаю, что меня ждет?...»	75
[3] «Верю, верю в ваши темные вещанья...»	75
[4] «Вестников путь неведом...»	76
[5] «Это там вопрошали бойцы...»	76
[6] «От пути долины, от пути средь пыли...»	77
[7] «Везде — обряд священной службы...»	77
[8] «В последний день не плачь и не кричи...»	78
[9] «На пыльной земле все то же...»	78
[10] «Разве можно забыть? Разве можно не знать?...»	79
[11] «Белый голубь рассекает дали...»	79

Война

[1] «Нам, верным, суждена одна дорога...»	80
[2] «Средь знаков тайных и тревог...»	80
[3] «Напрасно путник утра ждет...»	81
[4] «Все горят в таинственном горниле...»	81
[5] «Так затихнуть — только перед бурей...»	82
[6] «Не прошу Тебя: помилуй, не карай...»	82

Обреченность

[1] «Не в пристани еще ладья...»	83
[2] «Что скрыто, все сердце узнало...»	84

[3]	«Легкий час голубой...»	84
[4]	«Смотрю на высокие стекла...»	84
[5]	«За крепкой стеною, в блистающем мраке...»	85
[6]	«Не знаю, кто будет крещен...»	86
[7]	«Да, каждый мудр, и чудотворец каждый...»	86
[8]	«В небе, угольно-багровом...»	87
[9]	«Я силу много раз еще утрачу...»	87
[10]	«Меня не время утомило...»	88
[11]	«Прихожу к нищете и бездолю...»	88
[12]	«Вела звериная тропа...»	89
[13]	«Новых венцов не сковать...»	89
[14]	«Когда мой взор рассвет заметил...»	90
Спутники		
[1]	«Бездумное сердце не ищет тревог...»	90
[2]	«Как сладко мне стоять на страже...»	91
[3]	«Медленно пламень погас...»	91
[4]	«Снова можно греться у печей...»	92
Искупитель		
[1]	«Как тяжело на пути земном...»	93
[2]	«И жребий кинули, и ризы разделили...»	93
[3]	«Какие суровые дни наступили...»	93
[4]	«Ветер плачет в трубе...»	94
[5]	«Волосы спускаются на лоб...»	94
[6]	«Избороздил все нивы плуг...»	95
[7]	«Совершится священная встреча...»	95
[8]	«Огнем Твоим поражена...»	96
[9]	«Под бременем Божьего ига...»	96
[10]	«Бодраствуйте, молитесь обо мне...»	97
[11]	«Господи, средь звезд, Тебе покорных...»	97
[12]	«На праздник всех народов и племен...»	97
[13]	«Премудрый Зодчий и Художник...»	98
Преображенная земля		
[1]	«Взлетая в небо, к звездным млечным рекам...»	99
[2]	«Рано стало темнеть...»	99
[3]	«Дух мой, плененный неведомой силой...»	100
[4]	«И около спокойной смерти стоя...»	100
[5]	«За тонкою перегородкой...»	101
[6]	«Небесного веретена...»	101
[7]	«Полей Твоих суровый хлебороб...»	102
[8]	«Земле все прегрешенья отпустили...»	103
[9]	«На востоке — кресты и сиянье...»	103
[10]	«От ангелов Ты умалил...»	104
Последние дни		
[1]	«Господи, душе так близки чудеса...»	105
[2]	«Встает зубчатую стеной...»	105
[3]	«Не надо всех былых времен...»	106
[4]	«Много путников прошло; не постучалось...»	106
[5]	«Вновь плен томительный; и вновь...»	107
[6]	«Донесу мою тяжкую ношу...»	107
[7]	«Тружусь, как велено, как надо...»	108
[8]	«Куда мне за вами лететь...»	108

[9]	«В земную грудь войти корнями...»	109
[10]	«В небо, к стаям ястребиным...»	109
[11]	«Наложили на душу запрет...»	110
[12]	«Рядом пономарь горбатый...»	110
[13]	«Пусть будет день суров и прост...»	110
[14]	«Вечером родился человек...»	111
[15]	«Испытал огнем; испытывай любовью...»	111
[16]	«От будничной житейской суеты...»	112
[17]	«Еще остановилась на пороге...»	112
[18]	«Освяти нам темное житье...»	113
[19]	«Наше время еще не разгадано...»	113
[20]	«Все говорит мне: тяга лет...»	114
	Монах («От севера пришел он к нам...»)	115

КНИГА «СТИХИ» (1937)

О жизни

[1]	«Мне кажется, что мир еще в лесах...»	118
[2]	«Камни на камни, скала на скалу...»	118
[3]	«Господь всех воинств, Элогим...»	118
[4]	«Дома земные — в щепы, в пыль и в щебень...»	119
[5]	«Там было молоко и мед...»	119
[6]	«Мы не выбирали нашей колыбели...»	120
[7]	«Всех моих усталых...»	120
[8]	«Как капли серебра, бой башенных часов...»	121
[9]	«Была весна, — теперь осенний месяц...»	121
[10]	«Слишком светлый воздух...»	122
[11]	«Развинтил винты, ослабил скрепы...»	122
[12]	«У каждого — имя и отчество...»	122
[13]	«И нищ, и болен. Был запой...»	123
[14]	«Под ноги им душу я кину...»	123
[15]	«Повели, как на цепи собаку...»	124
[16]	«Людей колючие слова...»	124
[17]	«Подвел ко мне, сказал: усынови...»	125
[18]	«Братья, братья, разбойники, пьяницы...»	125
[19]	«Припасть к окну в чужую маету...»	125
[20]	«Что Ему я за братьев отвечу...»	126
[21]	«„И каждую косточку ломит“...»	126
[22]	«Как они живут спокойной жизнью...»	127
[23]	«Где, Каин, твой брат, где твой Абель?..»	127
[24]	«Что еще в пути я соберу...»	127
[25]	«Что я делаю? — Вот без оглядки...»	127
[26]	«Не иные грехи проклинать...»	128
[27]	«Трудный путь мы избирали вольно...»	128
[28]	«Там, между Тигром и Ефратом...»	128
[29]	«Не засыпает тяжелая кровь...»	129
[30]	«Дух смятенный, знаешь, как бывает...»	129
[31]	«Не то, что мир во зле лежит, — не так...»	130
[32]	«С какой тоской иной печати рвет...»	130
[33]	«Спокойно, будто опытный анатом...»	130
[34]	«Возник. Не отстает. И сердцу нудно...»	131
[35]	«Всех демонов, всех демонов в подвал...»	132
[36]	«Нечего больше тебе притворяться...»	132

[37]	«Чудом Ты отверз слепой мой взор...»	133
[38]	«Убери меня с Твоей земли...»	133
[39]	«Никогда, ни на каком пути...»	134
[40]	«Ты остановил на берегу потока...»	134
[41]	«Наконец-то. Дверь скорей на ключ...»	135
[42]	«Сопряжены во мне два духа...»	136
[43]	«Когда-нибудь, я знаю, запою...»	136
[44]	«Ты не изменишь... Быть одной...»	136
[45]	«Вдруг свет упал, и видны все ступени...»	137
[46]	«Жить в клопной, нищенской каморке...»	137
[47]	«Холодом по комнатам сквозняк...»	138
[48]	«Не помню я часа Завета...»	138
[49]	«Довольно, о, довольно, счетовод...»	138
[50]	«Испепеляющий огонь...»	139
[51]	«Название улиц незнакомых...»	139
[52]	«Какие праздничные дни...»	140
[53]	«С народом моим предстану...»	140
[54]	«Глуше, и туже, и крепче...»	141
[55]	«Дверь за спиною распахнулась...»	141
[56]	«Кирпичный дом и небосвод белесый...»	141

О смерти

[1]	«Да, надо будет в гробовой колоде...»	142
[2]	«Как удочка на землю тянет рыбу...»	142
[3]	«Подвяжут белым платом челюсть...»	143
[4]	«Прикидываешь тесную колоду...»	143
[5]	«Взял за руку и прочь повел меня...»	143
[6]	«Земля человека не хочет...»	144
[7]	«Не все ль равно? Сначала заболею...»	144
[8]	«Ни сахаром, ни калачами...»	145
[9]	«Все обычно: кому-то худо...»	145
[10]	«Последнее солнце и день наш последний...»	145
[11]	«Уже и солнца шар не раскален...»	146
[12]	«Как хорошо, что есть глухая ночь...»	146
[13]	«Распахивают полосу. Курится пар...»	146
[14]	«Знаю я, что будет тишина...»	147
[15]	«Господи, на этой вот постели...»	147
[16]	«Вот ты в размеренный планетный круг...»	148
[17]	«Не слепи меня, Боже, светом...»	148
[18]	«Сила мне дается непосильная...»	149
[19]	«Я струпья черепком скребу...»	149
[20]	«Не укрыться в мирозозерцанье...»	150
[21]	«Прославь бессмыслицу и тлен...»	150
[22]	«Из недр восстали мертвецы...»	151
[23]	«Не буду ничего беречь...»	151
[24]	«О, горлица моя, лети, лети же...»	151
[25]	«Нет, и скала несокрушимой веры...»	152
[26]	«С осенними листьями вместе...»	152
[27]	«Господь мой, я жизнь принимала...»	153
[28]	«Нет, только грусть и тонкий запах тленья...»	153
[29]	«Каждая мышца свинцом налита...»	154

ПРИЖИЗНЕННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ АВТОРОМ В КНИГИ

«Хорошо, хорошо, отойду я теперь...»	155
«Как исчислю, Владыка, Твою благодать!...»	155
«По вечерам горят огни на баке...»	156
«Исчезла горизонта полоса...»	156
«Холодно ли? — Нету холода...»	157
«Средь этой мертвенной пустыни...»	157
«Ты по-разному отринул всех...»	158
«Вечно громоздить на встречу встречу...»	158
«Вижу одежды сияющий край...»	159

ИЗ КНИГИ «СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОЭМЫ,
МИСТЕРИИ...» (1947)

[1] «До свиданья, путники земные...»	160
[2] «У самых ног раздастся скрип и скрежет...»	160
[3] «Святости, труда или достоинства...»	160

ИЗ КНИГИ «СТИХИ» (1949)

Вестники

[1] «Знак этой книги — стрела...»	162
[2] «Близорукие мои глаза...»	162
[3] «И вновь пылающий рубеж...»	162
[4] «Гул вечности доходит глухо...»	163
[5] «...И были вестники средь нас...»	163
[6] «Крылатому вестнику ринусь навстречу...»	164
[7] «Подземный гул все слышен мне...»	164
[8] «Мне казалось, — не тихость...»	164

Покаяние

[1] «Я верю, Господи, что если Ты зажег...»	165
[2] «Что осталось нам? — Только звезды...»	165
[3] «Мне надоела я. К чему забота...»	166
[4] «Как было легко грешить...»	166
[5] «Каждый час желает побороть...»	166
[6] «Все еще думала я, что богата...»	167
[7] «Не удержать моей плотиной...»	167
[8] «И в покаяньи есть веселье...»	167
[9] «Расчет, и учет, и плата...»	168
[10] «Бичом железным — прочь на пажити...»	168
[11] «Имеющий ухо, да слышит...»	168

Постриг

[1] «Я не буду роптать на Тебя...»	169
[2] «Вот кружится ничтожной щепкой...»	169
[3] «Раздваивает жизнь меня...»	169
[4] «Все пересмотрено. Готов мой инвентарь...»	170
[5] «Ввели босого и в рубахе...»	170
[6] «Отменили мое отчество...»	171
[7] «А в келье будет жарко у печи...»	171
[8] «Так устать, чтоб быть ничем, исчезнуть...»	172

Странствия

- | | | |
|------|---|-----|
| [1] | «Приеду. Спросят: „Вы откуда?“..» | 172 |
| [2] | «Вольно льется на рассвете ветер...» | 173 |
| [3] | «Черные фигуры двух монахинь...» | 173 |
| [4] | «Обрывки снов. Певуче плещут недра...» | 174 |
| [5] | «Желтый камень, прокорми...» | 174 |
| [6] | «Небесный Иерусалим...» | 174 |
| [7] | «Искала я таинственное племя...» | 175 |
| [8] | «Земли Твоей убогое житье...» | 175 |
| [9] | «Благовестительство. Се — меч...» | 176 |
| [10] | «Закрутит вдруг среди незнакомых улиц...» | 176 |
| [11] | «Усталость забавукала меня...» | 177 |
| [12] | «Я высоко. Внизу тюки, бочонки...» | 177 |
| [13] | «Кто я, Господи? Лишь самозванка...» | 177 |
| [14] | «О, волны каменные, вы...» | 178 |
| [15] | «Постыло мне ненужное витийство...» | 178 |
| [16] | «На закате загорятся свечи...» | 179 |
| [17] | «Устало дышит паровоз...» | 179 |

Ожидание

- | | | |
|------|---|-----|
| [1] | «За этот день, за каждый день отвечу...» | 179 |
| [2] | «...И за стеною двери замурую...» | 180 |
| [3] | «Охраняющий сев, не дремли...» | 180 |
| [4] | «Верчу я на мельнице жернов...» | 181 |
| [5] | «Господи, Ты видишь — нищета...» | 181 |
| [6] | «Постучалась. Есть за дверью кто-то...» | 182 |
| [7] | «У брата крепкий дом и много золота...» | 182 |
| [8] | «Мертва ли я? Иль все еще живая?..» | 183 |
| [9] | «Пусть отдам мою душу я каждому...» | 183 |
| [10] | «От жизни трудовой и трудной...» | 183 |
| [11] | «Трехсолнечный свет и нет страха...» | 184 |
| [12] | «И в этот вольный, безразличный город...» | 184 |
| [13] | «Я знаю, зажгутся костры...» | 185 |
| [14] | «Парижские приму я Соловки...» | 185 |
| [15] | «Запишет все протоколист...» | 186 |

Покров

- | | | |
|-----|---|-----|
| [1] | «Ни формулы, ни мера вещества...» | 186 |
| [2] | «Из вечных таинственных книг...» | 187 |
| [3] | «Мать, мы с тобою договор...» | 187 |
| [4] | «Сразу даль обнажена...» | 187 |
| [5] | «Присмотришься, — и сердце узнает...» | 188 |
| [6] | «Над тварью, в вечности возносится Покров...» | 188 |
| [7] | «Два треугольника — звезда...» | 189 |

Земля

- | | | |
|-----|--|-----|
| [1] | «Обряд земли — питать родные зерна...» | 189 |
| [2] | «В двух обликах я землю поняла...» | 190 |
| [3] | «Знаю я извечное притворство...» | 190 |
| [4] | «Весь твой подвиг измерила я...» | 191 |
| [5] | «Не хотят колючие слова...» | 191 |
| [6] | «Нет, Господь, я дорогу не мерю...» | 192 |
| [7] | «Ни памяти, ни пламени, ни злобы...» | 193 |
| [8] | «Наступающее лето...» | 193 |

- [9] «Вот и надгробный плач творю...» 194
 [10] «Не голодная рысит волчиха...» 194

Смерть

- [1] «Только к вам не заказан след...» 195
 [2] «Не солнце ль мертвых поднялось сегодня?...» 195
 [3] «Моих молитв бескрылых тонкой нитью...» 196
 [4] «Прощайте, берега. Нагружен мой корабль...» 196
 [5] «Мы снискиваем питание и брашно...» 196
 [6] «О, всепредчувствие, преддверье срока...» 197

ПОСМЕРТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

- [1] «Каждый был безумно строг...» 198
 [2] «Увидишь ты не на войне...» 198
 [3] «А медный и стертый мой грошик...» 199
 [4] «Стоит ли быть Бонапартом?...» 199
 [5] «Средневековых улиц тишь...» 199
 [6] «Не попутным, видно, ветром...» 200
 [7] «Не похожи друг на друга реки...» 200
 [8] «Самое вместительное в мире — сердце...» 201
 [9] «Нет, не покорная трусливость...» 201
 [10] «Недра земли, океаны, пещеры...» 202
 [11] «Внизу написано: „Агата“...» 202
 [12] «Глаза, глаза, — я знаю вас...» 202
 [13] «Единство мира угадать...» 203
 [14] «Испанцы некогда здесь жить хотели...» 203
 [15] «Посты и куличи. Добротный быт...» 204
 [16] «Ты, серебряная птица, Голубь...» 204
 [17] «Плывет с двумя баржами тихо катер...» 204
 [18] «И в эту лямку радостно впрягусь...» 205
 [19] «Смотри, — измозолены пальцы...» 205
 [20] «Господи, Господи, Господи...» 206
 [21] «Нашу русскую затерянность...» 206
 Марсель Ленуар («Белый цвет и цвет
 коричневатый...») 207

Люди

- [1] «Номер сто пятидесятый...» 207
 [2] «По кофейням, где шлепают карты...» 208
 [3] «Гостиничные номера...» 208
 [4] «В людях любить всю ущербность их...» 209
 [5] «К каждому сердцу мне ключ подобрать...» 209

Города

- [1] «Измерена верною мерою вера...» 209
 [2] «Рождающие пену узы...» 210
 [3] «Еще мне подарили город...» 210
 [4] «Ты ли, милосердный Пастырь...» 211

Иное

- [1] «Десять раз десять...» 211
 [2] «Помазанность, христовость наша...» 212
 [3] «Инок и странник-сородич...» 212

В начале	
[1] «И нет меня уже как будто...»	213
[2] Мать («Как вы, веселье, еще не догадались...»)	213
[3] Покаяние («Да, каяться, чтоб не хватило плача...»)	213
[4] «Моих грехов не отпускай...»	214
[5] «В тысяча девятьсот тридцать первое...»	215
[6] «Обманывать себя. Иль пламя...»	215
[7] «Идет устрашающий гнев...»	216
[8] Смерть («Не так уж много — двадцать четыре часа...»)	216
[9] «Живу в труде. Тяжелый мой кирпич...»	216
[10] Ликованье («Да, не беречь себя. Хожу на всех базарах...»)	217
[11] Мир («Знаю, когда-нибудь правды сразятся...»)	217
[12] «Вечера мои перекликаются...»	217
[13] «Может, ничего я не узнала...»	218
[14] «Ночью камни не согреешь телом...»	218
[15] «Все забытые мои тетради...»	219
[16] «Три года гость. И вот уже три года...»	219
[17] «Еще до смерти будет суд...»	220
[18] «Ночь. И звезд на небе нет...»	220
[19] Звезда Давида («Два треугольника, звезда...»)	220
[20] «Моего смиренного Востока...»	221
[21] «Обетовал нам землю. Мы идем...»	221
[22] «Знаю я, — на скором повороте...»	222
[23] «Глуше гремит труба...»	223
[24] «Будет день, в который с поездом...»	223

ПОЭМЫ

[Мельмот Скиталец]	224
Похвала труду. <i>Псалом</i>	264
Духов день. <i>Терцины</i>	267

ПЬЕСЫ-МИСТЕРИИ

Анна	281
Семь чаш	305
Солдаты	323

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Юрали	338
Равнина русская. <i>Хроника наших дней</i>	390
Клим Семенович Барынькин	493
Последние римляне	554
Друг моего детства	578

Как я была городским головой	587
Встречи с Блоком	618

ПИСЬМА

Письма А. А. Блоку	635
Письма разным лицам	650
Б. А. Садовскому	650
С. П. Боброву	650
И. С. Книжнику-Ветрову	650
С. Н. Булгакову	651
Письма матери, С. Б. Пиленко	654

ПРИЛОЖЕНИЕ

Письма Юрия Скобцова отцу (Д. Е. Скобцову) и бабушке (С. Б. Пиленко)	656
Примечания	659
Алфавитный указатель произведений	744
Указатель имен	753

Кузьмина-Караева Е. Ю.

К89 Равнина русская: Стихотворения и поэмы. Пьесы-мистерии. Художественная и автобиографическая проза. Письма. — СПб.: «Искусство—СПБ», 2001. — 767 с., ил.

ISBN 5-210-01541-6

Первое полное комментированное собрание поэтических и прозаических произведений Е. Ю. Кузьминой-Караевой представляет во всем объеме ее творческое наследие. В книгу вошли малоизвестные широкому читателю книги стихов, повести, мемуарные очерки, в том числе и не публиковавшиеся в России. В них отразились духовные искания русской интеллигенции, сформированной культурой «серебряного века», прошедшей горнило гражданской войны, эмиграции.

Подробные примечания, фундаментальная вступительная статья и большое количество иллюстраций помогают открыть для читателей, по существу, новое имя в русской литературе.

УДК 821.161.1

ББК 84

Литературно-художественное издание

Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караева

Равнина русская: Стихотворения и поэмы. Пьесы-мистерии. Художественная и автобиографическая проза. Письма

Редактор *А. А. Клочкова*

Компьютерная верстка *С. Л. Пилипенко*

Компьютерный набор *А. А. Клочковой*

Корректор *Л. Н. Борисова*

ISBN 5-210-01541-6



9 785210 015419

ЛР № 000024 от 9.X.98

Подписано в печать 30.VIII 2001. Формат 60x100 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 56,61. Усл. кр.-отт. 57,45. Уч.-изд. л. 47,68. Тираж 3000 экз. Заказ № 4143.

Издательство «Искусство—СПБ», 191014 Санкт-Петербург, Саперный пер., 10, оф. 8

Отпечатано с диапозитивов в Академической типографии «Наука» РАН. 199034 Санкт-Петербург, 9-я линия, 12



Средь холода вечной дороги
Сказать, что усталость земная
Земное мне сердце томит.
Что ангелы Божии строги,
Что в рощах небесного рая
Холодное пламя горит.

